SEMINARIUM KONDAKOVIANUM

RECUEIL D'ÉTUDES.

ARCHÉOLOGIE. HISTOIRE DE L'ART.

ÉTUDES BYZANTINES.

IV

»SEMINARIUM KONDAKOVIANUM«

PRAGUE 1931

СБОРНИКЪ

СТАТЕЙ ПО АРХЕОЛОГІИ И ВИЗАНТИНОВѢДѢНІЮ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

СЕМИНАРІЕМЪ ИМЕНИ Н. П. КОНДАКОВА.

IV

»SEMINARIUM KONDAKOVIANUM«

ПРАГА 1931

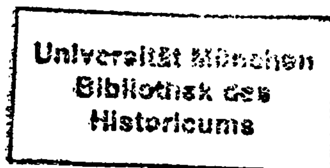
A la mémoire du maître inoubliable

N. P. KONDAKOV

le séminaire de son nom dédie ce recueil à l'occasion

du cinquième anniversaire de sa mort

(17. II. 1925 — 17. II. 1930).



Въ пятую годовщину смерти

Н. П. КОНДАКОВА

(17. II. 1925 — 17. II. 1930)

Семинарій его имени посвящаетъ свѣтлой памяти учителя

настоящій Сборникъ.

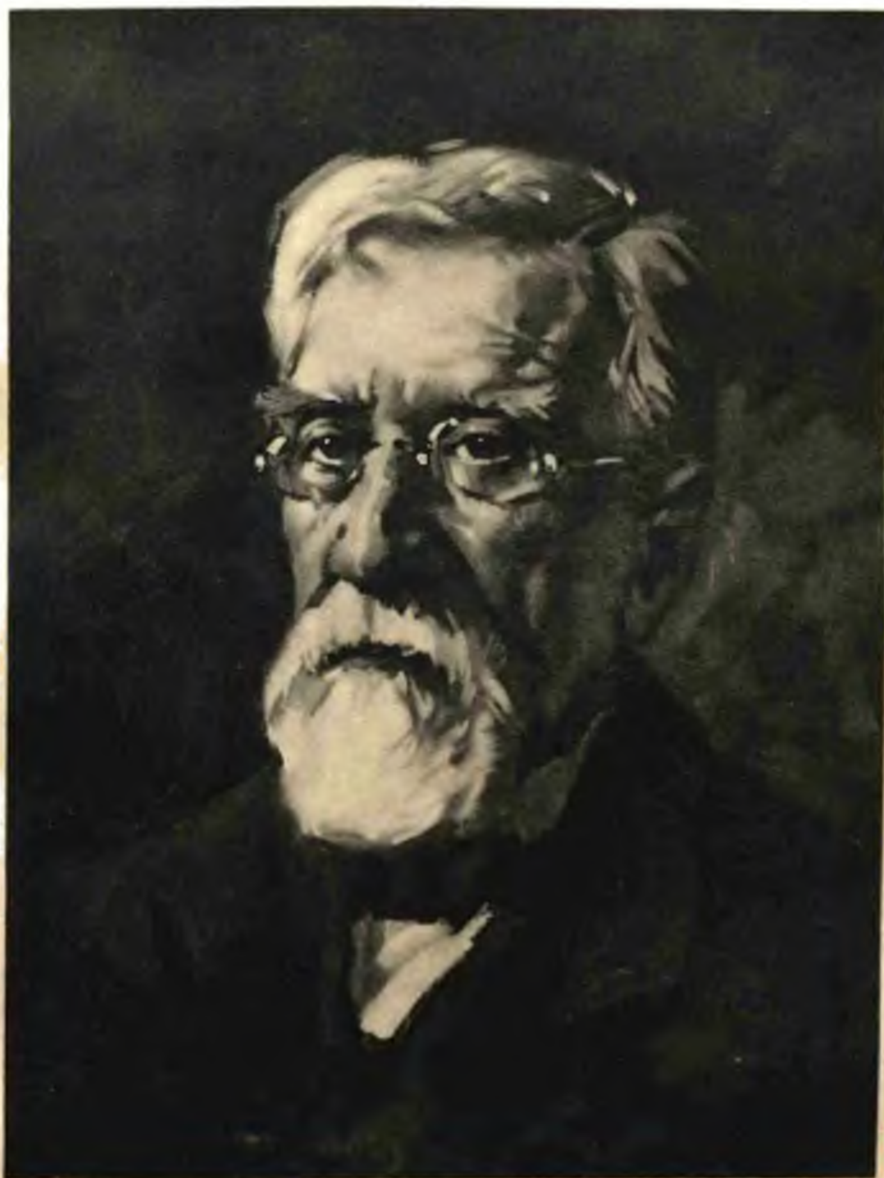
23 декабря 1930 г.

безвременно погибъ секретарь Семинарія

Николай Михайловичъ Бѣляевъ.

Типографія „Политика“, Прага.

Тиражъ 450 экз.



ПОРТРЕТЪ РАБОТЫ Б. МИТОВА.

Н. П. КОНДАКОВЪ. 1920 г.

V Lánech 21. XI. 1930.

VÁŽENÝ PANE REDAKTORE,

jsouc den ze dne v práci poválečné, slyšela jsem vyprávět pana Johna Cranea o hodinách u profesora Kondakova a zdálo se mi, že z toho vypravování zavanula na mě širokým proudem vůně a vzduch rozlehlé stepi, zavoněly růže kavkazských hor, širá svatá Rus že dechla svou svatohorovou silou. Pracovala jsem pro nemocné a pro vypovězené — tím více toužila jsem slyšet slovo o lidech volných, šťastných, tiše budujících kulturní statky.

Pozvala jsem profesora Kondakova a poprosila jsem ho o dvě hodiny týdně. Slíbil: »Slušajus, sudaryňa«. — V pondělí hodiny začaly. Po vrzajících schodech dostala jsem se do útulného bytu profesora Kondakova. Provázela mě Kýra Klinderová; těšila se tak jako já. — Lampa svítila na jednoduchý solidní stůl, na kterém náš učitel rozložil knihy; potřebné stránky napřed pečlivě označil papírovými záložkami.

Vždy věřím, že kdo se dovede zeptat a touží po odpovědi — dostane odpověď.

Věru přišla jsem s touhou — otázky mě byly tak prosté, že jsem mohla čekat odpověď jen od mistra.

A mistrem Kondakov byl.

Často dojímala mě představa, kolik lidských srdcí bilo, kolik rukou pracovalo, kolik duší toužilo a trpělo — nežli vytvořena byla vzdušná prostora, jednoduchá linie nábytku, pevná vazba dřeva a sestavení stěn v měm prostém pokoji na starém hradě. A ptala jsem se Kondakova na to, jak vznikaly lidské příbytky, naše pokoje, nábytek, šaty. Ptala jsem se na barvy a význam barev u různých národů, na ornamenty a jejich symboliku.

A odpovědi pana profesora plynuly živým a klidným tokem.

Někdy dostali jsme se do živého rozhovoru. Když jsme hovořili o Parthenonu — piano přešlo do mezzoforte, snad do forte. Na mě udělalo Parthenon velký dojem. Rozum a míra zdály se mi zde ztělesněny a zdály se mi, jak se na Slovensku říká, »chlebové«. Kondakov oponoval: Neľublju! Na meňa Parthenon sdělal vpečatlenie udručajusčije, udručajusčije«.

Bylo v něm něco veskrze slovanského — miloval prostor víc než kamenný řád sloupů, miloval stany kočovníků a jejich tkaniny a přenosné ikony.

Kdo viděl záblesk Kondakova oka, ten nemohl pochybovat o nesmrtelnosti duše. Jak? Kdož může odpovědět. Dost na tom.

Vydáváte tyto řádky v pětiletou paměť úmrtí mistrova; a on žije.

Jsem Vám vděčna, že jste mě quasi přijali do své kondakovské rodiny, a jsem hrda, že smím ve Vaší publikaci vzpomenout našeho společného učitele.

Velký člověk a dobrý člověk. Čest jeho památce!

S pozdravem

A. Masaryková.

ЧТЕНІЯ ПО ИСТОРІИ АНТИЧНАГО БЫТА И КУЛЬТУРЫ

Отдѣлъ изъ курса лекцій, прочитанныхъ Н. П. Кондаковымъ Д-ру А. Масарикъ съ 10/XI 1924 г. по 3/II 1925 г.[1]

Посвящается, согласно волѣ покойнаго профессора Никодима Павловича Кондакова, его внимательной слушательницѣ Доктору Алисѣ Масарикъ.

I.

При изложеніи нѣкоторыхъ сторонъ быта и культуры древнихъ народовъ слѣдуетъ руководиться принципомъ краткости, не обременяя его излишней эрудиціей, которая нерѣдко только затемняетъ основную идею. Подавляющее количество фактовъ, относящихся и входящихъ въ такую обширную область какъ исторія культуры, также требуетъ большой осмотрительности въ ихъ выборѣ, причемъ реальной сторонѣ должно быть предоставлено преимущество передъ общими разсужденіями.

До настоящаго времени у большинства народовъ исторія быта остается мало изслѣдованной и разработанной. Одной изъ причинъ такого отношенія является то обстоятельство, что человѣкъ главное вниманіе скорѣе обращаетъ на вещи показныя, производящія на него наиболѣе яркое и сильное впечатлѣніе. Главное мѣсто среди нихъ занимаютъ политическія событія, въ силу чего политическая исторія является наиболѣе разработанной, въ то время какъ бытъ и исторія культуры остаются почти нетронутыми научнымъ изслѣдованіемъ, хотя въ исторіи быта есть сторона, производящая наиболѣе сильное впечатлѣніе и являющаяся показателемъ культурнаго уровня — это искусство. Но, конечно, искусство не есть еще бытъ. Въ обширной дисциплинѣ, каковой нынѣ является исторія искусствъ, на первомъ планѣ поставлено — классическое искусство, которое, благодаря совокупнымъ усиліямъ европейскихъ ученыхъ, достигло замѣчательной научной высоты и настолько точно опредѣлено, что является предметомъ школьнаго обученія. Но, даже и въ немъ по быту грековъ и римлянъ сдѣлано до сихъ поръ еще очень мало. Всѣ основныя и крупныя научныя работы въ этомъ направленіи относятся къ 60-ымъ годамъ минувшаго вѣка, а затѣмъ по этому вопросу научный интересъ начинаетъ ослабѣвать

[1]) Печатается по запискамъ, составленнымъ С. Н. Кондаковымъ.

и, уже съ 70-хъ годовъ, лишь немногіе занимаются исторіей быта, предпочитая ему исторію искусствъ. Многочисленныя, повсемѣстныя раскопки посвящены, главнымъ образомъ, открытію памятниковъ искусства, а на бытовую сторону почти не обращается вниманія. Въ результатѣ такого односторонняго отношенія даже въ наиболѣе разработанной исторіи античной жизни грековъ и римлянъ нельзя указать сочиненій, гдѣ было бы систематизировано и изложено главное, касающееся этой области и въ достаточной мѣрѣ иллюстрировано.

Переходя къ вопросу о жилищѣ, какъ къ показателю культурнаго уровня и бытового уклада человѣка, слѣдуетъ по возможности уяснить, что представляло собою жилище, и что такое домъ, который въ нашей современности не есть жилье одного человѣка, или семьи, но представляетъ многоэтажную каменную коробку съ ужасающими лѣстницами, въ которой размѣщаются массы зачастую совершенно разнородныхъ людей, связанныхъ только общей крышей. Между тѣмъ, городской домъ вышелъ изъ подражанія римскому дворцу, подобно тому какъ кресло является, своего рода, имитаціей трона.

Для болѣе точнаго уясненія разницы въ историческомъ отношеніи между домомъ и жилищемъ слѣдуетъ прослѣдить развитіе дома Египта, Месопотаміи и Греціи въ древнѣйшую эпоху. Въ настоящее время, благодаря многочисленнымъ раскопкамъ, имѣются достаточно детально разработанные планы ассирійскихъ дворцовъ, по которымъ можно составить понятіе объ этомъ видѣ древнѣйшихъ жилищъ. У самыхъ дворцовыхъ воротъ расположено нѣсколько помѣщеній, которыя, очевидно, были заняты стражей и привратниками, охранявшими входъ, такъ какъ только въ эту часть и допускались посторонніе люди, въ силу чего она пріобрѣла важное значеніе на всемъ Востокѣ; Оттоманская имперія — такъ называемая — Sublime Porte получила это названіе именно потому, что нѣкогда французскіе послы не допускались далѣе предѣловъ двора. Это обстоятельство характерно для всего Востока; всякій, кто строитъ домъ, прежде всего, заботится о входѣ, но постепенно онъ ограничится вестибюлемъ — (vestibulum, т. е. помѣщеніе для платья, vestis — одежда), который замѣнитъ собою порту. За нимъ идетъ дворъ, и если представить, что этимъ ограничивается жилище, то дворъ собственно и явится жилищемъ. Ассирійскій дворецъ представляетъ соединеніе нѣсколькихъ дворовъ (отъ 1 до 6), съ пристроенными къ нимъ частями, въ результатѣ чего получился обширный дворъ и рядъ глухихъ, выходящихъ въ него, помѣщеній. Дворцы Ассиріи подражали Вавилонскимъ, которые возникли на характерной почвѣ низменныхъ долинъ. Недостатокъ дерева лишалъ возможности возводить цѣликомъ деревянныя постройки, и вызвалъ къ жизни зодчество изъ сырого или обожженнаго кирпича, причемъ камень шелъ лишь на облицовку стѣнъ и отдѣлку оконныхъ и дверныхъ наличниковъ. Росшіе около Месопотаміи гигантскіе кедры употреблялись только для покрытія и стропилъ.

Если обратиться къ другимъ восточнымъ постройкамъ, то также ясно выступаетъ дворъ, какъ центральная часть жилища, что, конечно, до нѣкоторой степени, объясняется теплымъ климатомъ.

Совершенно другой принципъ наблюдается на Дальнемъ Востокѣ; въ Китаѣ центральную часть жилища образуетъ 4-хъ угольная комната, причемъ наличіе такого закрытаго помѣщенія зависитъ отъ болѣе холоднаго климата. Авторъ

сочиненія по „Исторіи Китайскаго искусства" — Мюнстербергъ, высказалъ слѣдующее предположеніе для объясненія формы пагоды: изъ нижней комнаты наружная лѣстница ведетъ въ другую, расположенную надъ ней, и, такимъ образомъ, составляется многоэтажная пагода. Другимъ видомъ китайскаго жилища является одна комната, окруженная галлерееюю или навѣсомъ — типа современной дачной постройки.

Что касается кочевыхъ племенъ, то у нихъ основнымъ видомъ жилища будетъ юрта, т. е. палатка, имѣющая вверху отверстіе для выхода дыма, и служащая, своего рода, покрытіемъ надъ очагомъ. Эта форма повелась издавна, и можетъ быть разсматриваема, какъ результатъ тысячелѣтней культуры номадовъ; впослѣдствіи, она была заимствована многими народами именно въ этой формѣ конусообразной шатровой конструкціи. Такимъ образомъ, само жилище образуетъ какъ бы покрытый очагъ. Итакъ, у однихъ народовъ жилище является въ видѣ одной комнаты-спальни, какъ, напр., въ Китаѣ; у другихъ главную роль играетъ очагъ и покрытіе надъ нимъ.

Совершенно своеобразный характеръ носятъ японскія постройки, составленныя изъ легкихъ подвижныхъ частей на шарнирахъ. Онѣ могутъ быть легко установлены въ любомъ мѣстѣ, затѣмъ собраны и вновь перенесены. Это, своего рода, зонтикъ, который можно раскрывать гдѣ угодно. Въ зависимости отъ этого они не строятъ отдѣльныхъ комнатъ, но дробятъ помѣщеніе ширмами изъ картона или деревяннаго лубка, образуя нѣсколько отдѣльныхъ камеръ; въ ихъ домахъ постоянный очагъ отсутствуетъ, будучи замѣненъ переноснымъ.

При разсмотрѣніи греческаго дома бросается въ глаза также отсутствіе очага въ домѣ. Несмотря на всю культуру, очагъ у грековъ помѣщался во дворѣ, гдѣ и готовилась пища. Объ этомъ свидѣтельствуютъ раскопки въ Троѣ, гдѣ, по остаткамъ фундаментовъ, можно представить расположеніе древняго жилища. Входомъ въ него служатъ ворота, около которыхъ сохранилось помѣщеніе для привратниковъ или стражи, затѣмъ идетъ дворъ, и за нимъ домъ. Онъ состоитъ изъ передней — vestibulum, въ которомъ собирались приходящіе и затѣмъ, большой, длинной залы — μέγαρον, служившей главнымъ помѣщеніемъ для всей семьи, а также пиршественнымъ заломъ; въ хорошую погоду принимали во дворѣ, гдѣ протекала вся домашняя жизнь, въ непогоду же шли въ мегаронъ, хотя онъ, по преимуществу, былъ помѣщеніемъ для мужской половины семьи. Такое распредѣленіе наблюдается и при дальнѣйшихъ постройкахъ, а также въ храмахъ, гдѣ придерживались того же плана, ибо храмъ является жилищемъ божества. При эволюціи дома въ жилище божества, т. е. храмъ, наблюдается три главнѣйшихъ фазиса: а) — жилище человѣка, б) — жилище бога и в) — вѣчное жилище, т. е. гробница. Изъ этихъ трехъ главнѣйшихъ видовъ и сложилось историческое представленіе о жилищѣ.

Древнѣйшія могилы Египта, такъ называемыя — mastaba представляютъ глухую камеру или келію, гдѣ стоялъ саркофагъ съ останками, а преддверье отводилось для приходящихъ родственниковъ и служило пріемной для приношеній и запасовъ, которыми хотѣли обезпечить и въ будущемъ продолженіе жизни умершаго. Съ теченіемъ времени первичная структура эволюціонируетъ въ конусообразную, принимая форму покрытія надъ очагомъ, который составитъ центръ

будущаго жилья. У римлянъ такія гробницы послужили прототипомъ для ихъ мавзолеевъ.

У Хеттовъ, народа нѣкогда обитавшаго въ предѣлахъ нынѣшней Арменіи, а также въ Вавилонѣ и Месопотаміи, была принята аналогичная система домовъ съ центральнымъ дворомъ. Площади въ городахъ имѣли то же значеніе, какъ дворъ для частнаго жилища. Окруженный стѣнами древній городъ походилъ на крѣпость, внутри которой былъ дворъ-площадь. Каждый домъ въ древности имѣлъ видъ помѣщичьей усадьбы со всѣми хозяйственными постройками, отдѣльными семьями слугъ, крѣпостными, рабами. Дворцы Ассиріи были большими усадьбами съ отдѣльными дворами, гдѣ сосредотачивали хлѣбные запасы, домашній скотъ, птицу и т. д. Этотъ же принципъ наблюдается и въ отношеніи греческаго дома, гдѣ грекъ-хозяинъ жилъ у себя въ кругу своей семьи. Но, занятый общественными дѣлами, или развлеченіями, онъ приходилъ домой только ѣсть и спать, проводя все остальное время внѣ дома. Какъ уже указывалось, очагъ въ греческомъ домѣ помѣщался во дворѣ, гдѣ протекала, по преимуществу, домашняя жизнь. Уже ко времени Гомера относится появленіе отдѣльныхъ кухонь и спаленъ, но, правда, только въ богатыхъ домахъ. Кухоньки, отдѣльныя отъ остального жилья, до настоящаго времени встрѣчаются въ Моравіи. Иногда, очагъ устраивался въ аркосоліи, и у стѣнъ двора, гдѣ располагались и другія хозяйственныя постройки — птичникъ, зерновые амбары и кладовыя, въ силу этого жизнь греческаго двора была оживленная и шумная. Таковъ и восточный ханъ, который тоже основанъ на принципѣ центральнаго двора, куда выходятъ всѣ окружающія его строенія. Обыкновенно въ одну часть его стѣнъ врублены полы, образующіе родъ палатей, на которыхъ спятъ мужчины, равнымъ образомъ и женская половина была устроена наверху, надъ службами, которыя шли направо и налѣво по всему двору, гдѣ приготовляли и пищу. Очагъ являлся въ тоже время какъ бы священнымъ алтаремъ, который всегда стоялъ подъ открытымъ небомъ — sub divo.

Храмъ дѣлился на преддверіе и собственно святилище съ изображеніемъ божества или его тотэма, помѣщенномъ въ самомъ концѣ зданія; жертвы приносились во дворѣ на алтарѣ подъ открытымъ небомъ, и потому передъ храмомъ всегда была обязательно площадка. Священнослужители никогда не жили въ храмахъ, но въ отдѣльныхъ или боковыхъ строеніяхъ; впрочемъ, въ нѣкоторыхъ религіяхъ, по преимуществу, варварскихъ, посвященныхъ культу Діониса, Изиды и др., жрецы жили и въ самыхъ храмахъ, но въ подземныхъ помѣщеніяхъ. Одинъ изъ изящнѣйшихъ храмовъ Аѳинъ — Эрехтейонъ — домъ Эрехтея, домъ Аѳины, имѣлъ подземное помѣщеніе, гдѣ хранился сокровенный палладій — особо почитаемое изображеніе Аѳины и священная змѣя, какъ ея тотэмъ.

Если считать установленнымъ, что формы дома перешли на гробницу, и потомъ на храмъ, то, въ свою очередь, и домъ получилъ отъ храма нѣкоторыя детали въ своемъ развитіи, хотя въ началѣ формы храма были сакральны и повтореніе ихъ въ жилыхъ домахъ не допускалось. Лишь съ теченіемъ времени, когда прошелъ извѣстный страхъ передъ божествомъ, такъ какъ первоначально слово „sacer“ — обозначало то, что человѣку приноситъ проклятіе, несчастье, онѣ были распространены и на частныя жилища. Долгое время фронтоны были принад-

лежностью только храмовъ, и примѣненіе ихъ для частныхъ жилищъ было запрещено, лишь Ренессансъ расширилъ ихъ употребленіе, перенеся на частныя строенія.

Тоже наблюдается и по отношенію большихъ залъ во дворцахъ верховныхъ владыкъ, которыя были установлены колоннами, поддерживающими покрытіе. Сначала эти формы были исключительною принадлежностью храма, но съ теченіемъ времени, онѣ были распространены и на дворцы, такъ какъ царь, будучи одновременно и верховнымъ жрецомъ, пріобрѣтаетъ тѣмъ самымъ право на подобное жилище. Позже, уже въ эллинистическую эпоху, наблюдается распространеніе сакральныхъ храмовыхъ формъ и на частныя жилища, такъ, напр. при раскопкахъ въ Ольвіи былъ открытъ домъ, имѣвшій лицевой фронтонъ, или тимпанъ, поддерживаемый колоннами. Римляне также подражали храмамъ въ своихъ частныхъ постройкахъ. Возникновеніе перистиля, т. е. второго двора, внутри жилого дома, относится къ элленистической эпохѣ, когда послѣ Александра Македонскаго, соединеніе Востока съ Греціей и Римомъ создало новую греко-римскую культуру, такъ какъ во времена Перикла греческая архитектура еще не знала перистиля въ частныхъ жилищахъ.

Что касается латинскаго (древній Lacium) или итальянскаго дома, то онъ исходилъ изъ другого принципа, въ основѣ котораго былъ домашній очагъ, и по своей конструкціи тождественъ съ жилищемъ земледѣльцевъ. Римскій домъ имѣлъ длинный вестибюль, собственно переднюю, около которой было помѣщеніе для хозяевъ; за ней обычно устраивался атріумъ съ impluvium'омъ — отверстіемъ въ крышѣ, подъ которымъ находился водоемъ и вблизи котораго стоялъ очагъ для приготовленія пищи. Слово атріумъ происходитъ отъ „ater", что значитъ черный; такимъ образомъ, его можно сопоставить съ русской „черной избою", или „избой по черному" — курной. Въ одномъ изъ монастырей въ Букарестѣ сохранилась такого рода черная кухня — 8-стороннее помѣщеніе съ коническимъ куполомъ, въ которомъ продѣлано отверстіе для дыма. Въ Россіи наименованіе изба—istba, истъ-ба, истопка, отъ истопить, примѣнялось къ отапливаемому помѣщенію. Доказательствомъ этого служитъ изба, открытая при раскопкахъ въ Кіевѣ; она имѣла видъ вала, въ которомъ шелъ корридоръ, вырытый въ землѣ и укрѣпленный 4-мя столбами, соединенными между собою досками, а внутри помѣщался очагъ. Такова была одна изъ первичныхъ формъ бани у кочевниковъ; открытый верхъ, послѣ разведенія огня закрывался, для сохраненія тепла, вѣтками. Очагъ складывали изъ кирпичей или камней, на немъ разводили огонь, надъ которымъ и подвѣшивали котелъ съ водой и мылись. Эта истопка или баня кочевниковъ легла въ основу русской избы.

Модель этрусской погребальной урны представляетъ камеру со входомъ и отверстіемъ въ крышѣ, которое позже становится impluvium'омъ; такая урна является имитаціей жилища древнихъ этрусковъ-тусковъ, кочевниковъ, принесшихъ съ собою скотоводство и употребленіе шерсти. Слѣдуетъ помнить, что Европа въ греко-римскую эпоху ограничивалась Италіей, Испаніей и южной Франціей; уже Балканскій полуостровъ былъ наполовину населенъ кочевыми племенами. Овидій, сосланный на берега Чернаго моря, горько жалуется, что попалъ въ адъ, гдѣ зимою даже замерзаетъ вино.

Встрѣчаемая у этруссковъ коническая форма гробницъ восточнаго происхожденія и является реминисценціей древнѣйшаго дома, когда онъ служилъ покрытіемъ очага. Примѣромъ такой гробницы можетъ служить „Царская могила“ въ Керчи, выложенная внутри конусообразно, какъ вѣчное жилище Босфорскаго царя. Вначалѣ римляне жили только въ атріумѣ, позже появляются спальни — небольшія комнаты съ маленькими отверстіями вмѣсто оконъ и занавѣсями взамѣнъ дверей. Вообще въ древнемъ домѣ оконъ не было, ихъ замѣняли маленькія дверки — turides, θυρίδες — ставни. За атріумомъ шелъ таблинумъ или триклинумъ, крытый залъ, гдѣ обѣдали. Въ античномъ мірѣ за столомъ не сидѣли, но возлежали на особыхъ ложахъ — clinum, отсюда и названіе — triclinum, т. е. три ложа, поставленныя буквою П или Г, около стола, обычно на ложѣ возлежало по трое. Таблинумъ былъ вообще священною частью дома, потому что въ концѣ его хранился домашній архивъ и шкапъ съ ларами (портреты-бюсты предковъ). Было время, когда римляне вѣрили, что умершіе продолжаютъ жить въ видѣ духовъ и потому держали въ домѣ портреты предковъ, и воздавали имъ приношеніе. За таблинумомъ шелъ перестиль — дворъ въ видѣ сада, ибо въ немъ разводили — hortus — собственно садъ. Это прибавленіе къ основной формѣ римскаго дома должно быть всецѣло отнесено за счетъ эллинистической эпохи.

II.

Намѣченныя общія черты формъ жилища и храма являются лишь абрисомъ, дальнѣйшее же ихъ развитіе должно быть разсматриваемо въ историческомъ порядкѣ и послѣдовательности.

Безспорно, что наиболѣе ранняя культура принадлежитъ Востоку — Месопотаміи, Вавилону, Ассиріи, потомъ Персіи, а затѣмъ Китаю и Индіи, однако, это перечисленіе построено внѣ исторической послѣдовательности въ виду того, что, напримѣръ, Китаю и его культурѣ до настоящаго времени не отведено подобающаго мѣста и должнаго вниманія, несмотря на ея крупное значеніе. Современная историческая наука должна отмѣчать, что крупныя событія, также какъ и культурныя явленія развивались одновременно въ разныхъ странахъ; и нельзя упускать изъ виду того обстоятельства, что совершавшееся въ одномъ мѣстѣ зачастую совершалось и въ другой странѣ, несмотря на то, что всякая народность живетъ отъ своего корня и самостоятельно.

Если принять, что комната является созданіемъ Востока, этого центра древнѣйшей культуры, такъ какъ изъ Азіи вышло земледѣліе, садоводство, скотоводство, то, прежде всего, слѣдуетъ разсмотрѣть, какъ развивалась именно эта форма на Востокѣ. Оказывается, что тамъ знали только комнату, а дома, какъ таковаго, не было, хотя иногда встрѣчаются цѣлые комплексы помѣщеній подъ одной крышей. Центромъ былъ дворъ, куда выходили отдѣльныя камеры, что встрѣчается до сихъ поръ на Левантѣ, въ Греціи, Турціи, въ Крыму и на Кавказѣ. Ибо нынѣ жилищемъ турка, левантинца является только комната, въ которой нерѣдко даже нѣтъ оконъ, а только одна застекленная дверь, выходящая на крытую галлерею или длинный балконъ. Доходный домъ на югѣ и востокѣ

до сихъ поръ строится корпусомъ въ нѣсколько этажей, подѣленныхъ на отдѣльныя комнаты, выходящія на общую галлерею. Богатый ханъ въ Индіи — bungalô также представляетъ галлерею, вокругъ двора, на которую выходятъ отдѣльныя помѣщенія. Вся домашняя жизнь протекала во дворѣ — здѣсь варили пищу, стирали, и сюда, прежде всего, стекались всѣ новости.

Этимологически слово комната происходитъ отъ „caminata", т. е. отапливаемая каминомъ камера, въ то время какъ, напримѣръ, чешское названіе — „pokoj" указываетъ ея назначеніе для спанья. Хотя въ понятіе „дома" входитъ представленіе о жилищѣ для цѣлой семьи, однако Востокъ не знаетъ другой формы, кромѣ отдѣльныхъ комнатъ. Идеаломъ такого обособленнаго помѣщенія является восточный кіоскъ, т. е. та же комната, деревянное или фахверковое строеніе, стоящее отдѣльно среди сада или цвѣтниковъ. Его плоская крыша послѣ заката служитъ открытой террасой. Около такого кіоска, а иногда внутри его устраивали фонтанъ или водоемъ. Вода на югѣ всегда составляетъ предметъ особаго вниманія и мусульманскій міръ привилъ вкусъ и любовь къ проточной водѣ, фонтану, который былъ заимствованъ съ Востока, и въ эллинистическую эпоху усвоенъ всѣмъ греко-римскимъ міромъ. Вначалѣ фонтаны или источники были общественнымъ достояніемъ и лишь богатые люди могли имѣть свои собственные водоемы. Подъ вліяніемъ Ислама Турція и Персія узнали иную культуру и въ зависимости отъ этого и строительство изъ дерева, камня и фахверка стало болѣе монументальнымъ. Въ зависимости отъ этого и планъ жилища сталъ болѣе сложнымъ, входъ велъ во дворъ, гдѣ былъ построенъ отдѣльный кіоскъ и при немъ разведенъ небольшой садикъ; слѣдующій дворъ былъ внутреннимъ, вокругъ него шла галлерея, и лѣстница вела въ женское отдѣленіе, расположенное выше, гдѣ большая зала съ фонтаномъ служила гаремомъ, причемъ работа и ѣда происходили въ одномъ и томъ же помѣщеніи. Равнымъ образомъ, Бахчисарайскій дворецъ Крымскихъ хановъ имѣетъ центральный дворъ, обрамленный зданіями, среди которыхъ есть особый пріемный залъ — „диванъ", но эта часть является болѣе позднимъ заимствованіемъ отъ грековъ и римлянъ, черезъ посредство Египта.

Такая планировка создала характерную главную часть — комнату, служившую пріемной и въ то же время помѣщеніемъ для хозяина. Она подѣлена на двѣ части, причемъ одна сторона иногда вся въ окнахъ, нерѣдко тутъ же имѣется и фонтанъ. На женской половинѣ — гаремѣ, окна обыкновенно закрыты желѣзными или деревянными рѣшетками — мушарабіями.

Итакъ, характерною особенностью Востока является все же одна комната, а дома, въ собственномъ смыслѣ, Востокъ такъ и не выработалъ.

Если обратиться къ Китаю, то тамъ домъ богатаго человѣка представляетъ длинное прямоугольное строеніе, стоящее въ саду, гдѣ среди аллей расположено нѣсколько отдѣльныхъ кіосковъ или павильоновъ. Главное помѣщеніе отведено подъ пріемную залу и лишь въ самомъ концѣ сада расположена жилая комната, а также отдѣльныя помѣщенія для слугъ. Попадая на Востокъ, европейцы нерѣдко обвиняютъ туземцевъ, что они въ своихъ постройкахъ имитируютъ Европу. Такъ, въ Китаѣ часто встрѣчаются постройки нѣмецкаго образца, а въ Индіи павильоны, воспроизводящіе архитектуру временъ Людовика XV и XVI. Это про-

исходитъ отъ вышеуказанной причины — отсутствія собственныхъ выработанныхъ формъ для дома.

Естественно возникаетъ вопросъ — почему въ Европѣ создался домъ? Онъ явился въ результатѣ большихъ усилій и въ зависимости отъ силы капитализма, появившагося въ концѣ древняго міра и повлекшаго за собою экономическій кризисъ.

При разсмотрѣніи дворцовъ былъ уже указанъ присущій имъ характеръ — большихъ хозяйственныхъ усадебъ. Такъ, древнее жилище богатаго человѣка въ Египтѣ до извѣстной степени напоминаетъ дворецъ, однако, уже отсутствуютъ большія помѣщенія для стражи. Во дворѣ, уставленномъ большими и малыми колоннами, между которыми протянуты циновки, расположены помѣщенія для прислуги, различныя служебныя постройки, стойла для скота и конюшни для колесницъ. Какъ извѣстно, колесницы и кони пришли въ Египетъ довольно поздно, такъ какъ Африка долго не знала лошадей, которыя были заимствованы отъ кочевниковъ. За службами слѣдуетъ жилое помѣщеніе, средина котораго была открыта и затѣнялась циновками. Далѣе, слѣдуетъ пріемный залъ для обѣдовъ и пировъ. На мужской половинѣ была отведена особая комната для дѣловыхъ разговоровъ, а затѣмъ уже шли спальни. Домашнихъ алтарей, подобно римскимъ ларамъ и пенатамъ, египетскій домъ не зналъ. Вообще, въ цѣломъ комплексѣ, домъ въ Египтѣ сложился довольно поздно и въ этой формѣ былъ заимствованъ греками. Изъ многочисленныхъ раскопокъ жилищъ и домовъ, напримѣръ, въ Херсонесѣ, можно вывести заключеніе, что жизнь древняго человѣка протекала, главнымъ образомъ, внѣ дома. При видѣ крохотныхъ комнатокъ, иногда со слѣдами окраски стѣнъ, служившихъ спальнями, становится ясно, что о домашнемъ комфортѣ въ ту эпоху еще не было проявлено должной заботы. Лишь владыки жили богато, напримѣръ, въ Ассиріи царь имѣлъ домъ на подобіе помѣщичьей усадьбы; затѣмъ появились богатые люди изъ приближенныхъ или купцовъ, которые стали подражать властителю, перенимая видѣнное во дворцѣ, что, однако, не всегда было нужно или удобно въ частномъ обиходѣ, и только къ концу древняго міра явился „домъ", въ смыслѣ удобнаго для жизни помѣщенія. Отсутствіе дома (англ. home) было возможно въ тѣ времена, когда люди предавались общественности, но, когда появилась потребность въ духовной, культурной жизни, домъ сталъ уже необходимостью. Помимо жилого назначенія, у богатыхъ людей онъ иногда служилъ и торговымъ помѣщеніемъ, гдѣ продавались, въ особо устроенныхъ по фасаду лавкахъ, продукты производства ихъ помѣстій.

Патриціи Рима и Греціи, владѣющіе большими имѣніями были, дѣйствительно, хозяевами — ὁ οἰκιακός, и въ своихъ фермахъ и загородныхъ латифундіяхъ являлись производителями сельскихъ продуктовъ, необходимыхъ для города, которые и продавали затѣмъ въ своихъ городскихъ лавкахъ.

Непосредственно за входомъ въ такой древній домъ — „οἶκος" была длинная передняя, за которой шелъ дворъ, куда слѣва и справа выходили помѣщенія для жилья, женская половина и таблинумъ, за которымъ иногда помѣщалась полукруглая экзедра, родъ ложи или балкона, гдѣ принимали гостей на свѣжемъ воздухѣ, съ видомъ на внутренній садикъ, который нерѣдко въ то же время былъ и огородомъ для нуждъ кухни, помѣщавшейся неподалеку.

Климатъ Италіи, суровѣе чѣмъ въ Греціи, вызвалъ необходимость отапливать въ зимніе мѣсяцы дома, причемъ для этого служили жаровни, вродѣ тѣхъ, что встрѣчаются до сихъ поръ, или даже цѣлыя системы отопленія горячимъ воздухомъ, который, проходя подъ поломъ, нагрѣвалъ помѣщеніе. Остатки такого отопленія хорошо сохранились въ баняхъ въ Пріенѣ. Вообще, термы или бани являлись однимъ изъ наиболѣе оборудованныхъ, въ техническомъ и художественномъ отношеніи, общественныхъ зданій. Появившіяся сравнительно поздно оконныя стекла получили широкое примѣненіе именно въ термахъ, въ то время какъ частные дома, въ большинствѣ случаевъ, ихъ не имѣли.

Наиболѣе цѣльно сохранились античные дома въ Помпеѣ, гдѣ, благодаря раскопкамъ послѣднихъ лѣтъ, при которыхъ найденныя вещи остаются на мѣстахъ, можно возсоздать въ относительной полнотѣ не только античную структуру жилища, но и весь домашній обиходъ, въ которомъ уже чувствуется соединеніе извѣстной хозяственности съ элегантной комфортабельностью. Встрѣчаемые въ помпеянскихъ домахъ два двора — первый-атріумъ и другой-перистиль говорятъ объ извѣстномъ соединеніи двухъ принциповъ-двора — „aula", какъ перистиля, съ атріумомъ, какъ очагомъ; сліяніе это нужно относить ко времени эллинистической эпохи, когда, подъ вліяніемъ капитализма, вырабатывались новыя формы или прежнія получали иное значеніе. Созданіе дома этой эпохи обязано именно капитализму, пришедшему на смѣну прежнимъ патріархально-примитивнымъ формамъ жизни. Развитіе въ міровомъ масштабѣ торговли, индустріи, приливъ золота и связанный съ этимъ расцвѣтъ ювелирнаго мастерства, послужили главными факторами для созданія новыхъ формъ жизни. Характернымъ представителемъ этой эпохи является философъ временъ Нерона, Сенека. Это сказывается и въ отношеніи къ женщинѣ. Во времена Гомера, она еще на восточный ладъ живетъ и работаетъ на своей половинѣ, мало принимая участія въ общественной жизни. Римскія матроны уже проводятъ часть времени внѣ дома, занимаясь благотвореніемъ, пользуясь всеобщимъ уваженіемъ и почетомъ. Точно не установлено, принимали-ли женщины участіе въ пирахъ при византійскомъ дворѣ, но есть свѣдѣнія о присутствіи императрицы при пріемахъ и парадныхъ торжествахъ, особенно, если пріѣзжали ко двору знатныя жены. Объ этомъ свидѣтельствуетъ сохранившееся описаніе пріема, оказаннаго русской великой княгинѣ Ольгѣ при дворѣ византійскаго императора.

III.

Нѣкогда Помпея была курортомъ, на подобіе извѣстныхъ Байй, славившихся своимъ купаньемъ. Благодаря тому, что въ этомъ городкѣ жили круглый годъ, велась торговля виномъ и оливковымъ масломъ. Среди ея развалинъ сохранились, какъ частные дома, такъ и общественныя зданія, по которымъ, на основаніи тщательно произведенныхъ раскопокъ, можно составить наиболѣе полное представленіе объ античномъ жилищѣ.

При обозрѣніи древняго дома обращаетъ на себя вниманіе его наружный видъ — глухія стѣны, выходящія на улицу, одинъ входъ и маленькія оконца,

вродѣ бойницъ. Входная дверь днемъ зачастую не закрывалась, что считалось особымъ знакомъ приличія, и жизнь улицы могла свободно вливаться во внутренній дворъ, гдѣ сосредотачивался домашній бытъ; и лишь въ эллинистическую эпоху въ богатыхъ домахъ стали держать двери на запорѣ. Позже, въ домовыхъ фасадахъ были устроены лавки, въ которыхъ шла торговля. Частные дома являются полною противоположностью общественнымъ зданіямъ, гдѣ уже снаружи открывались перспективы. Главный входъ дома велъ въ атріумъ, съ обычнымъ имплювіумомъ — квадратнымъ отверстіемъ въ крышѣ — по сторонамъ шли жилыя комнаты спальни, затѣмъ два помѣщенія, съ дверями, выходящими въ атріумъ, причемъ онѣ завѣшивались взамѣнъ деревянныхъ дверей. Одно изъ нихъ было вродѣ мужского дѣлового кабинета — ἀνδρών. Въ таблинумѣ помѣщался особый шкапъ съ дощечками — Tabulae, своего рода семейный архивъ, отдѣленный отъ остального помѣщенія низенькой преградой. Далѣе была расположена столовая, но еще безъ устроенныхъ въ ней каменныхъ триклинумовъ-ложъ, и, затѣмъ, перистиль, т. е. открытый внутренній садикъ, вокругъ котораго были хозяйственныя помѣщенія и кухня.

Особо чтимую часть составлялъ домашній алтарь — эта особенность латинскаго дома, которую совершенно не зналъ греческій. Какъ выше уже указывалось, грекъ-горожанинъ проводилъ большую часть дня внѣ дома, куда онъ заходилъ въ полдень, а вечеромъ — обѣдать — δεῖπνον — отсюда французское diner. Въ зависимости отъ этого и самый день дѣлился на нѣсколько частей. Раннее утро — „со свѣтомъ“, такъ какъ домашній скотъ рано будилъ человѣка, затѣмъ, „когда базаръ (рынокъ) полонъ“, т. е. открытъ — ἀγορὰ πλήθουσα, что можно пріурочить къ 7—8 часамъ утра; третій срокъ былъ полдень, и четвертый — „базаръ закрытъ“.

Возвращаясь къ греческимъ религіознымъ воззрѣніямъ можно вывести заключеніе, что античный грекъ разсматривалъ религію какъ дѣло политическое, своего рода, государственную обязанность, некасающуюся его души. Самое слово религія, происходящее отъ religio, что значитъ связывать, обязывать, имѣетъ еще и другое опредѣленіе, какъ союзъ или соотношеніе съ Богомъ. По греческимъ надгробнымъ памятникамъ и стелламъ можно заключить, что и у нихъ существовалъ культъ предковъ, причемъ нерѣдко на этихъ памятникахъ заказывались портреты или цѣлыя группы, зачастую болѣе художественныя, чѣмъ у римлянъ, но, видимо, впослѣдствіи этотъ культъ ослабѣлъ. При наличіи общественныхъ богослуженій, на которыхъ приносились жертвы, сопровождаемыя общеніемъ съ божествомъ, грекъ считалъ излишнимъ имѣть домашній алтарь. Что касается латинянъ, то, получивъ еще отъ этруссковъ религіозныя воззрѣнія и преданія, они хранили ихъ въ нѣдрахъ семьи, почитая домашнихъ боговъ и ставя имъ алтари. У римлянъ очагъ былъ символомъ домашней жизни; создавъ домъ съ атріумомъ, перистилемъ и другими частями его, естественно было установить и домашній алтарь, который помѣщался около кухни, т. е. очага. Домашнія божества латинянъ были трехъ видовъ — лары, пенаты и геніи. Лары олицетворяли души умершихъ, которыя, согласно вѣрованіямъ, оставались въ предѣлахъ дома. Они изображались въ видѣ юношей въ короткихъ одеждахъ, ритмически выступающими, какъ будто въ танцѣ, держа два сосуда, вродѣ

кратера или патеры, для вина или елея. Пенаты — особые духи, хранители имущества, подобно русскимъ домовымъ, которые также являются охранителями домашняго скарба. Имъ также приписывали особую заботу о домашней скотинѣ, существуетъ повѣріе, что домовой чиститъ лошадь, заплетаетъ ей гриву, печется о больныхъ животныхъ. Къ сожалѣнію, о томъ, какъ они изображались, свѣдѣній не имѣется. Каждый хозяинъ, равно какъ и хозяйка дома имѣли своего генія, причемъ онъ долженъ былъ изображать то лицо, которому онъ оказывалъ покровительство; въ римскую эпоху было принято помѣщать вмѣсто своего генія изображеніе обожествленнаго императора. Кромѣ того, существовалъ еще „геній мѣста" — genius loci, тоже духъ, который владѣетъ извѣстнымъ мѣстомъ, онъ изображался въ видѣ змѣи съ хохолкомъ-самца, слѣдовательно, являлся геніемъ хозяина, она выползала, какъ бы въ поискахъ пищи, и поэтому передъ нею изображали алтарь съ фруктами и другими приношеніями.

Съ теченіемъ времени прежнее представленіе о ларахъ и пенатахъ измѣнилось, ихъ стали олицетворять въ видѣ бронзовыхъ статуэтокъ боговъ, напр., Меркурія, если хозяинъ былъ торговцемъ, Марса, если онъ былъ воиномъ, Діаны, Венеры и др. За этимъ чувствуется извѣстная религіозная жизнь, опредѣленное понятіе и отношеніе къ изображаемому божеству, въ то время какъ у грековъ религія стала только общественной повинностью и они принимали весьма равнодушно новыя заимствованныя божества. Обыкновенно принято считать, что религія связываетъ людей, но ея интимная сторона умаляется, когда человѣкъ долженъ присутствовать при общественныхъ жертвоприношеніяхъ въ опредѣленный часъ, подобно тому, какъ по-утру онъ идетъ на биржу или рынокъ; и въ такомъ случаѣ исполненіе ея становится общественной обязанностью, въ ущербъ внутреннему содержанію.

Въ конструктивномъ отношеніи античный домъ нерѣдко представляетъ двухэтажное строеніе, причемъ въ нижнемъ этажѣ помѣщались лавки. Такъ, извѣстный въ Помпеѣ домъ Саллюстія былъ частью отведенъ не только подъ торговыя помѣщенія, но тамъ же была устроена и пекарня, отъ которой сохранились каменные конусы для помола муки. Иногда дома отдавались цѣликомъ или по частямъ въ наймы.

Благодаря новому способу веденія раскопокъ, когда всѣ найденные предметы оставляются на мѣстахъ, а въ образовавшіяся пустоты вливается густой растворъ алебастра, получаются точные отпечатки разрушенныхъ предметовъ или конструктивныхъ частей дома, и такимъ путемъ удается возсоздать почти полную картину уклада античной жизни. Примѣромъ подобнаго рода раскопокъ можетъ служить двухэтажный домъ Фавна, сложнаго архитектоническаго характера съ 2-мя атріумами, 2-мя перистилями, цѣлымъ рядомъ службъ и богатымъ триклиніемъ съ экзедрами, гдѣ принимали гостей послѣ пировъ. Мозаичный полъ триклинума, изображающій битву Александра Великаго съ Даріемъ, поражаетъ богатствомъ художественнаго замысла и мастерствомъ исполненія. Не менѣе любопытнымъ является домъ Ветіевъ, также двухэтажный, съ окнами въ обоихъ этажахъ и обширнымъ перистилемъ. Видимо, это былъ домъ богатаго торговца, который устроилъ въ немъ свою посредническую контору, и не пожалѣлъ денегъ на его украшеніе, что можно заключить изъ большого числа фонтановъ со статуэтками

(до 12-ти), предназначенныхъ для развлеченія на пріемахъ. Перистиль былъ весь раздѣланъ подъ небольшіе цвѣтники, а внутреннія стѣны были росписаны орнаментально и сценами на миѳологическіе сюжеты. Наиболѣе характерною чертою этого жилища являются панели стѣнъ, выдержанныя въ такъ называемомъ „второмъ помпеянскомъ стилѣ“, выложенныя богатымъ подборомъ инкрустацій изъ цвѣтныхъ мраморовъ. Наряду съ городскимъ домомъ въ эллинистическую эпоху создалась сельская, загородная, нерѣдко хозяйственная усадьба — villa rustica, что не было свойственно Востоку. Такого рода вилла является, дѣйствительно, домомъ для самого человѣка и все ея оборудованіе принимаетъ осмысленную, опредѣленную конструкцію. Образцомъ такой хозяйственной усадьбы можетъ служить извѣстная вилла въ Bosco Reale, откуда происходитъ знаменитая серебряная посуда, пріобрѣтенная Ротшильдомъ и нынѣ хранящаяся въ Луврѣ. Въ этой щегольской виллѣ одна часть была отведена подъ сельское хозяйство, о чемъ можно судить по большому количеству сохранившейся посуды для масла и вина; другая часть была жилая, съ большимъ садомъ, перистилемъ и даже особою капеллою. Характеръ удобнаго загороднаго дома измѣнился въ Римѣ, пріобрѣтя утилитарно-коммерческое значеніе и настолько разросся, что получалъ названіе „insula“, т. е. острова, иногда занимавшаго даже цѣлый кварталъ, съ большими торговыми помѣщеніями и складами.

Вообще можно сказать, что римская вилла сыграла большую роль и въ жизни Византіи. Такія виллы, какъ Тиволи, Альбано и пр., послужили образцами для византійскаго дворца. Когда Константинъ Великій захотѣлъ перевести на берега Босфора римскій сенатъ, онъ построилъ для нѣкоторыхъ патриціанскихъ семей такія виллы, какія они имѣли у себя на родинѣ.

Съ теченіемъ времени на новой почвѣ уютный характеръ помпеянскаго дома видоизмѣнился, пріобрѣтя колоссальныя пріемныя, иногда двусвѣтныя залы, въ отличіе отъ Востока безъ колоннъ, заимствованныя изъ общественныхъ помѣщеній и религіозныхъ зданій. Для того чтобы яснѣе представить подобное видоизмѣненіе слѣдуетъ ознакомиться съ нѣкоторыми типами общественныхъ зданій и базиликъ.

Византія и Средніе Вѣка приняли художественную форму, которая можетъ быть охарактеризована какъ палаціумъ — большой, парадный двусвѣтный пріемный залъ — и подѣлили его, приспосабливая къ жилью, на небольшія комнаты-клѣтушки и этажи.

Эпоха Ренессанса выработала архитектурныя формы, которыя могутъ быть разсматриваемы, какъ своего рода оковы, наложенные высшей культурой на многія націи; особенно остро должны были почувствовать это славяне и нѣмцы, которые не принимали ближайшаго участія въ Возрожденіи, а восприняли уже готовыя формы, подчинивъ имъ свое зодчество.

Постепенная смѣна архитектурныхъ формъ, въ которой наблюдается почти полное отсутствіе творческихъ началъ, замѣненныхъ лишь имитаціей, привело строительство современной Европы къ выработкѣ колоссальныхъ многоэтажныхъ корпусовъ, подавляющихъ въ своемъ однообразіи всякую индивидуальность. Жизнь, протекающая съ малыхъ лѣтъ въ подобныхъ домахъ, вдали отъ непосредственнаго общенія съ природой, безъ смѣны впечатлѣній и необходи-

маго притока свѣжаго воздуха, пагубно отражается на психикѣ современнаго человѣчества, далеко отошедшаго отъ собственнаго, небольшого 2-хъ этажнаго дома, выработаннаго античнымъ міромъ и являющагося до сихъ поръ идеаломъ человѣческаго жилья.

IV.

Домъ тѣсно связанъ съ храмомъ и гробницей; съ храмомъ, какъ „жилищемъ божества", и гробницею, какъ „вѣчнымъ жилищемъ" человѣка. Въ чемъ проявлялась эта связь, и что было древнѣйшею формою храма и гробницы въ странахъ Востока и сопредѣльныхъ съ ними? Отдѣльная камера или келья (cella), дворъ, или шатеръ надъ очагомъ, одинаково являются человѣческимъ жилищемъ. Что же касается шалаша изъ вѣтокъ, то это только одинъ изъ видовъ убѣжища, примитивнаго крова, но не жилища.

Слѣдуетъ прослѣдить исторически связь между домомъ, гробницей и храмомъ. Если обратиться къ Египту, то въ немъ примитивнымъ видомъ гробницы надъ землею является упомянутая уже „мастаба", т. е. собственно гробница и пріемная комната. Предположеніе, что мастаба послужила основаніемъ ступенчатой пирамиды, не вполнѣ точно, хотя, дѣйствительно, послѣдняя развилась изъ мастабы, путемъ ея увеличенія. Но, на развитіе мастабы, которая строилась въ видѣ ступенчатой терассы, существенно повліяло народившееся въ Египтѣ представленіе, что царь есть богъ, или идея „царя-бога".

Первыя представленія человѣка о божествѣ въ Азіи и въ смежныхъ съ ней странахъ были, что боги живутъ на горахъ. Такъ, пророки Моисей и Илья восходятъ на гору для общенія съ Богомъ, близость котораго ощущается не только въ громѣ и молніи. Подобное представленіе существовало и у грековъ, и ихъ боги жили на Олимпѣ. Даже у сибирскихъ кочевниковъ замѣчается религіозное стремленіе къ горамъ; тамъ слѣдовало молиться и приносить жертвы, ибо тамъ обитаетъ божество. То же встрѣчается въ Иранѣ, Персіи и Индіи. На этомъ идейномъ основаніи при созданіи въ Египтѣ царской гробницы имѣлось въ виду обожествленіе фараона, въ силу чего и стремились построить на равнинѣ искусственную гору. Боги живутъ на высотахъ, и надо обращаться къ нимъ взорами на вершины. Кочевники, проводившіе всю жизнь на равнинахъ, везли хоронить своихъ мертвыхъ обязательно къ горамъ, или на хребты, холмы, и устраивали могилу въ основаніи кургана. Отсюда при погребеніяхъ возникли курганы въ степной Азіи и степной Европѣ. Пирамида въ Египтѣ создалась какъ гробница царя-бога, а вокругъ нея располагались другія. Обыкновенно гробницы и также египетскіе храмы, устраивались на западѣ, гдѣ заходитъ солнце, т. е. по лѣвой сторонѣ теченія Нила. Храмъ, какъ домъ, имѣлъ одинъ дворъ, и лишь въ отдаленной части было жилище божества. Постройка храмовъ около Ливійской пустыни, гдѣ заходитъ т. е. умираетъ солнце, и гдѣ находится безплодное царство смерти, мотивируется тѣмъ, что храмъ въ Египтѣ былъ иногда жилищемъ умершаго божества. Божество солнца ежедневно умираетъ; оно олицетворялось въ египетскихъ божествахъ — Ра, Аммонѣ, Озирисѣ, причемъ первые два были божествами свѣтящагося солнца, а Озирисъ божествомъ, которое умираетъ, но

должно воскреснуть, какъ подземное солнце. Этимъ объясняется отчасти особо сложная конструкція храмовъ и обиліе помѣщеній для запасовъ, необходимыхъ для вѣчнаго жилища. Въ этихъ храмахъ содержались тотэмы, фетиши, какъ эмблемы божества — крокодилы, змѣи, быки-Align Аписъ. Въ позднѣйшую эпоху божество Сераписъ, соединившее въ себѣ всѣ верховныя божества, образовало, своего рода, египетскій Пантеонъ. Сожженный и разрушенный христіанами Серапеумъ былъ величайшимъ храмомъ, съ массою помѣщеній, которымъ не знали счета.

На Востокѣ развились религіозныя космогоніи, по которымъ верховное божество умираетъ и вновь воскресаетъ, и потому храмы строились, какъ жилища умершихъ боговъ. Примѣромъ можетъ служить египетскій миѳъ объ Озирисѣ, разрубленномъ на множество кусковъ злымъ демономъ Сэѳомъ, и брошенныхъ въ воду. Узнавъ объ этомъ, его супруга Изида стала разыскивать и собирать части тѣла своего мужа, ибо въ Египтѣ вѣрованіе въ безсмертіе тѣсно связало его съ сохраненіемъ тѣла, и поэтому храмъ долженъ былъ быть всегда жилищемъ живого или умершаго божества.

Наряду съ такими формами существовали пещерныя гробницы-храмы, но въ началѣ тоже только для фараоновъ или земельныхъ владыкъ. Колоссальныя статуи, нерѣдко изъ гранита, помѣщенныя у дверей, являлись какъ бы стражами входа. Ко времени расцвѣта Египта относятся гробницы Деиръ-эль-Бахри въ отвѣсныхъ скалахъ. Около этого комплекса гробницъ до сихъ поръ возвышаются большіе храмы. Заключенный внутри ограды обелискъ также являлся иногда однимъ изъ видовъ алтаря и почитался, какъ эмблема божества солнца. Извѣстно, что въ Гелюполисѣ, въ Сиріи, среди двора стоялъ обелискъ, а въ Ассиріи храмы имѣли видъ конусообразной пирамиды изъ нѣсколькихъ террасъ (иногда строились около дворца), и на верху послѣдней, подъ открытымъ небомъ, ставили алтарь.

Вообще храмы создавались въ большихъ культурныхъ центрахъ: Египта, Вавилона, Ассиріи, Китая и Индіи, и греки частью заимствовали свои формы изъ этихъ центровъ. Греческій храмъ носилъ названіе „ἱερόν“, что означаетъ „святилище“; другое же названіе „τέμενος“ значило священный „участокъ“ земли, окруженный оградой. Иногда на такихъ участкахъ росли деревья (священныя рощи), или даже одиночные священные дубы.

Въ Малой Азіи встрѣчаются гробницы, въ видѣ пещеръ, башенокъ и коническихъ столповъ; создались онѣ въ культурѣ Вавилона, Фригіи, Лидіи и Іоніи, и въ широкихъ предѣлахъ хеттской культуры. Въ Персіи гробница великаго Кира представляетъ келію, поставленную на террассѣ, которая и есть сакральная форма, принятая для обожествленнаго царя. Что касается Месопотаміи, то тамъ чтили астральныя божества — солнца, луны, звѣздъ, которыя предполагались въ постоянной борьбѣ съ подземными богами. Поклоненіе астральнымъ божествамъ и наблюденіе за планетами, созвѣздіями и звѣздами повлекло выработку астрономическихъ расчетовъ въ Вавилонѣ еще до Ассиріи. Въ Вавилонѣ люди какъ бы созерцали боговъ, живущихъ на небѣ, и потому на землѣ имѣли только воздвигнутые для приношенія алтари, но не жилище бога, и храма, какъ жилища, въ принципѣ могло не быть. Ко времени Зороастра создался ритуалъ

поклоненія божеству солнца въ огнѣ, какъ его эмблемѣ, и огонь стали возжигать на алтаряхъ подъ открытымъ небомъ на возвышеніяхъ. Но были пророки, посланники боговъ, чтившіеся въ памяти, напр., Будда, который почитался достигшимъ нирваны, т. е. того состоянія духа, которое не нуждается въ матеріи-плоти. Ради его прославленія созидались храмы-ступы, т. е. только курганы или холмы, внутри которыхъ только хранились частицы его мощей. По преданію мощи Будды были разнесены его почитателями и послѣдователями по всему міру. Ступа окружалась оградою, и въ ея предѣлахъ все находящееся было священно; входъ же или ворота украшались причудливою рѣзьбою въ деревѣ или камнѣ.

Въ ново-браманской религіи жилище божества получило коническую форму, главную и сакральную и достойную для храма, въ которомъ должно чтить божество, и этимъ объясняется конусъ пагоды. Этотъ типъ идетъ далѣе, развиваясь въ видѣ башенъ, и становится оригинальною храмовою формою, причемъ такія башни могутъ въ себѣ ничего не заключать, такъ какъ все ихъ сакральное значеніе сосредоточено на внѣшней формѣ.

Древнѣйшимъ храмомъ у Евреевъ былъ Соломоновъ храмъ, представлявшій по формѣ продолговатую обширную площадь двора, съ длиннымъ корпусомъ храма, а въ немъ недоступную келію, которая называлась „святая святыхъ" (скинія), гдѣ хранились скрижали завѣта, и куда имѣли право входить только первосвященники. Евреи остановились на пастушеской формѣ палатки — скиніи, которая стала, какъ „келія", святилищемъ. По сторонамъ этой части было расположено жилье священства, службы, и обширный дворъ вокругъ храма. Іерусалимскій храмъ былъ единственнымъ храмомъ, и когда его разрушили, то остались лишь одни синагоги. Слово „синагога" значитъ — собраніе, сходка, т. е. зданіе для собраній, на которыхъ каждый, кто знаетъ Библію можетъ ее толковать и тѣмъ становится Равви, т. е. учителемъ.

Въ этомъ перечнѣ заключаются и тѣ формы, которыя будутъ развиваться у Грековъ и Римлянъ. Въ ихъ типѣ намѣчаются три основныя части храма: 1. Дворъ, окруженный оградой; 2. Святилище или такъ называемая „святая святыхъ". 3. Наружный алтарь. Въ этомъ историческомъ построеніи заключается идея греческихъ и римскихъ храмовъ, покинувшихъ матеріальное представленіе храма, какъ „жилища бога" (за исключеніемъ немногихъ храмовъ для полубоговъ, героевъ и геніевъ, какъ, напр., Эрехтэйонъ). Храмы становятся мѣстомъ общаго моленія, и потому первыми общественными зданіями. Въ зависимости отъ того, поскольку храмъ все же является жилищемъ бога, и въ то же время общественнымъ зданіемъ, частное лицо не имѣетъ права устраивать храма у себя въ домѣ, а самый храмъ послужилъ основою для установленія соціальной жизни. Городъ-государство (въ современномъ понятіи государства) былъ созданъ греками и римлянами.

Соціальная жизнь началась съ возникновеніемъ городовъ-государствъ; именно городъ-государство затѣмъ преобразовало религію въ общественное созданіе, при наличіи котораго устанавливались культы и избирались новые по приговору всего города. Въ силу этого, въ городѣ-государствѣ стали строить храмы на особыхъ открытыхъ, всѣмъ доступныхъ площадяхъ, и общество, т. е. граждане,

илоты, и мѣстные крестьяне (періэки) содержали ихъ на свой счетъ. Бога, котораго почитали въ этомъ городѣ должны были признавать всѣ; даже чужеземцы обязаны были приносить ему жертву; вообще на жертвоприношеніяхъ должны были присутствовать всѣ граждане. Этимъ объясняется и та упорная борьба съ христіанствомъ, пока оно не было признано оффиціальной религіей. Помимо мѣстныхъ божествъ нерѣдко заимствовали ихъ и у другихъ, по преимуществу, восточныхъ народовъ; такъ, въ Римѣ, наряду со своими богами почитали Кибелу, Митру, Изиду и другихъ. Однако, слѣдуетъ отмѣтить, что городъ-государство сосредотачивался на поклоненіи только извѣстнымъ, имъ избраннымъ божествамъ. Какъ уже было указано, греки заимствовали форму храма и гробницъ; подтвержденіемъ этому могутъ служить высокія коническія гробницы, сохранившіяся въ Микенахъ, гдѣ лежатъ герои легендарной Трои.

Въ христіанствѣ греческое слово „ἐκκλησία" сначала обозначало собраніе „по повѣсткамъ", которое могло происходить и во дворѣ, а въ случаѣ непогоды въ базиликѣ, т. е. длинномъ сараѣ, по образцу восточныхъ пріемныхъ залъ. Первоначально базилика, по еврейскому образцу, была лишь продолговатой залой со скамьями, а затѣмъ, въ одномъ ея концѣ появился алтарь. Когда, уже въ раннехристіанскую эпоху, стали полагать подъ престолъ алтаря мощи, что обозначало присутствіе святыни, возникло иное теченіе — поклоненіе святому и его останкамъ, и церковь пріобрѣла уже другой характеръ.

V.

Причины возникновенія храма заключались въ религіи, которая пріобрѣла соціально-нравственный характеръ и объединила въ себѣ народныя массы, исповѣдующія одно ученіе или опредѣленную догму. Въ силу этого архитектура и внутреннее оборудованіе храма могутъ служить достаточнымъ объясненіемъ появленія его опредѣленныхъ формъ.

Допуская извѣстное обобщеніе можно установить, что именно въ Европѣ, сначала у грековъ, отъ которыхъ позднѣе заимствовали римляне, возникло зданіе для собранія вѣрующихъ какой-бы то ни было группы, извѣстнаго круга или городской общины, въ противоположность Азіи, гдѣ храмъ былъ, по преимуществу, жилищемъ божества. Оно присутствовало въ этомъ жилищѣ подъ видомъ статуи или иного воплощенія, находившагося въ сокровенной части святилища, и во время жертвоприношенія черезъ открытыя двери пріобщалось къ происходящему черезъ посредство своего изображенія.

Греки также знали форму храма, какъ жилище божества или его фетиша, причемъ священный палладій скрывался отъ взора всѣхъ и мѣстонахожденіе его было извѣстно лишь верховному жрецу.

Причины созданія такого спеціальнаго зданія для религіозныхъ собраній не могутъ быть вполнѣ выяснены по отношенію къ грекамъ, и точнѣе формулируются понятіемъ „religio" для латинянъ. Однако, римляне, уже ко времени Цицерона, смѣшивали это понятіе, производя его отъ глагола religāre, что значитъ связывать, соединять. Religio стало обязанностью, выражавшейся въ соблюденіи

ритуала, отъ relegere, передаваемаго глаголомъ выполнять, и которая побуждала вѣрующихъ собираться въ опредѣленныя мѣста, отведенныя для культа. Въ то же время на Востокѣ не было строгаго разграниченія, въ силу чего была допускаема свобода въ выборѣ того или иного культа, затѣмъ переданная грекамъ, гдѣ можно наблюдать, какъ одинъ чтитъ Аписа, т. е. божество египетскаго происхожденія, но не признаетъ Діониса, а другой, наоборотъ, почиталъ именно Діониса. Очевидно, что не было прямого обязательства, но существовали лишь положенія общины, избравшей или утвердившей опредѣленный культъ.

Вопросъ о почитаніи боговъ Сократомъ, этимъ величайшимъ умомъ древности, остается невыясненнымъ, хотя онъ и говорилъ, что люди много знаютъ, но у нихъ нѣтъ учтивости, потому они не чтутъ боговъ, между тѣмъ, какъ почитаніе есть высшее проявленіе духовной стороны, и это положеніе отождествлялось въ понятіи religio. У одного античнаго писателя сказано: „religioni mihi est“ — „у меня это на религіи“, т. е. это дѣло совѣсти, онъ долженъ исполнить это по внутреннимъ побужденіямъ совѣсти. Римляне, будучи народомъ положительнымъ и стойкимъ, не только понимали такое моральное правило, но и слѣдовали ему. Въ особенности Лаціумъ, какъ земледѣльческая часть, наиболѣе сохранила традиціи своей исторіи. Существенно отмѣтить, что они остались латинянами до сихъ поръ, въ то время какъ греки, народъ, сложившійся изъ пришельцевъ со всѣхъ концовъ, и не будучи автохтонами, утратили большинство своихъ преданій. Какъ уже было указано, домашнихъ боговъ у грековъ не было. Сократъ первый началъ говорить о демонѣ, какъ духѣ, который, подобно совѣсти, направляетъ его на то или иное дѣяніе, тогда какъ греки представляли ихъ злыми подземными существами, на время укрощенными, но всегда готовыми вырваться и угрожать жизни человѣка.

Населеніе Эллады дѣлилось на двѣ характерныя группы: консерваторовъ и либераловъ; къ первой принадлежали Спартанцы и Доряне, вторую составляли Аѳиняне, которые, несмотря на свой либерализмъ, болѣе сохраняли старинный религіозный укладъ, чѣмъ Спарта.

Спартанцы, горцы по своему происхожденію, спустились внизъ военными дружинами, и оторвались отъ родины, стали закоренѣлыми консерваторами, на подобіе Англичанъ (англо-саксы и норманны). Въ религіозномъ отношеніи ихъ консерватизмъ проявлялся въ томъ, что избранный общиною циклъ божествъ становился обязательнымъ для почитанія всѣми ея членами, ибо для нихъ все прошлое было священно, хотя бы это и выражалось только внѣшнимъ образомъ.

Что же касается Аѳинянъ, которые были выходцами изъ Іоніи и торговцами по преимуществу, то, придя съ Востока, они принесли съ собою и восточные культы, которые они съ теченіемъ времени замѣняли другими, выбирая божества болѣе близкія себѣ по духу или понятію; и это важное обстоятельство можно прослѣдить не только въ проявленіяхъ религіозной жизни, но и на внѣшнихъ формахъ храмовой архитектоники.

Планъ первоначальнаго дорическаго храма является традиціонально закрѣпощеннымъ, онъ характеризуется двумя колоннами по сторонамъ входа и продолговатымъ пронаосомъ-кораблемъ; хотя подобныя сакральныя формы встрѣчаются и у Аѳинянъ, однако, у нихъ наблюдается бóльшая свобода творчества

и допускаются видоизмѣненія внѣшнихъ основныхъ формъ. Эти формы были также свойственны и Египту, что доказывается сохранившейся гробницею Бенигассана, также съ двумя колоннами и продолговатымъ пронаосомъ.

Происхожденіе двухъ колоннъ у входа объясняется первоначальною постройкою жилища, которое вырывалось въ горѣ, въ видѣ пещеры, а для укрѣпленія входа устраивали навѣсъ, заложенный камнемъ и землею, и для его поддержки ставили два, первоначально деревянныхъ, столба. На всемъ Востокѣ горцы живутъ такимъ образомъ до настоящаго времени, и эта форма практически устроеннаго первобытнаго жилища, какъ все традиціональное, изначала становится сакральной.

Храмъ и является именно такимъ зданіемъ, на которомъ создаются сакральныя формы, съ сохраненіемъ всѣхъ традицій, причемъ въ жилищахъ формы развиваются далѣе, тогда какъ въ храмѣ они не только остаются долгое время безъ измѣненія, но, и пріобрѣтая особое сакральное значеніе, становятся запретными для примѣненія въ частномъ строительствѣ. Переходя къ частностямъ, можно указать, что фронтонъ — эта специфическая принадлежность храма — былъ вызванъ необходимостью защиты отъ вліянія непогоды, и, затѣмъ, утративъ свое первичное утилитарное назначеніе, пріобрѣлъ сакральный смыслъ.

Вообще архитектуру дорическихъ храмовъ можно разсматривать какъ воспроизведеніе въ камнѣ конструкцій изъ дерева, чѣмъ и объясняются многія части, потерявшія свой практическій смыслъ въ камнѣ, какъ, напр., структура триглифовъ: построенные изъ дерева они отправляли утилитарное назначеніе, предохраняя балки покрытія отъ сырости и возможности гніенія, что являлось уже безполезнымъ въ камнѣ, но сохранилось по традиціи, какъ остатки древнихъ сакральныхъ формъ.

Съ теченіемъ времени дорическій стиль потерялъ свое основное значеніе и сохранился лишь въ декоративной и орнаментальной раздѣлкѣ храма. Нельзя упускать изъ виду, что греки, введя полихромію, широко примѣняли ее, расписывая нѣкоторыя части храмовъ — метопы, фризы, фронтонъ.

Іоническая архитектура, съ ея болѣе свободной и легкой конструкціей, создавала постройки храма изъ камня, но и, сохраняя традиціи, допускала воспроизведеніе этихъ формъ и въ деревѣ.

Знаменитый Парѳенонъ по своей архитектурѣ представляетъ чудовищныя тонкости, такъ что при созерцаніи его невольно приходитъ на мысль, какъ могло быть создано такое сооруженіе, гдѣ при всей его законченной компонованности не встрѣчается ни одной чисто горизонтальной, или ни одной строго вертикальной линіи; что, однако, и было доказано въ 60-хъ годахъ прошлаго вѣка нѣмецкимъ ученымъ Бёттихеромъ, посвятившимъ почти всю свою жизнь изслѣдованію этого архитектурнаго памятника. Громадные цилиндры колоннъ храма изъ желтовато-палеваго мрамора, прекрасные въ отдѣльности, производятъ въ этой массѣ гнетущее впечатлѣніе. Ихъ характерною особенностью являются барабаны, нарѣзанные и пригнанные съ такимъ расчетомъ, что они заканчиваются конусообразно и даже нѣсколько наклонны внутрь, что однако, простому глазу остается непримѣтнымъ. Полъ также не вполнѣ горизонталенъ, онъ составленъ изъ плитъ, сложенныхъ такимъ образомъ, что образуется общая выпуклость, чѣмъ достигается особая устойчивость.

Тотъ же Бёттихеръ доказалъ, что одна сторона Пареенона лежитъ на скалѣ. Конечно, возведеніе подобнаго зданія стоило колоссальныхъ трудовъ и затратъ, и, тѣмъ не менѣе, несмотря на прекрасно разработанную орнаментировку и художественную раздѣлку, онъ по своей чудовищности и громоздкости своихъ архитектурныхъ формъ не можетъ считаться шедевромъ античнаго строительства, на степень котораго его возводятъ нѣмецкіе археологи. Это было почувствовано и въ древности. Когда Аеиняне, переоцѣнивъ свое значеніе, хотѣли сдѣлать изъ Пареенона своего рода апоееозъ, то, затративъ колоссальныя средства, возбудили лишь всеобщее негодованіе и были вовлечены въ тягостную войну. Этотъ храмъ также являлся жилищемъ божества, такъ какъ въ немъ стояла колоссальная статуя Аеины изъ слоновой кости и золота, но весь парадный и торжественный характеръ Пареенона мало способствовалъ проявленію религіознаго чувства и древніе греки, придя и осмотрѣвъ храмъ, избирали для совершенія молитвы другое, болѣе подходящее для интимнаго настроенія, мѣсто.

VI.

Эпоха процвѣтанія Греціи длилась лишь двѣсти лѣтъ и, несмотря на такой короткій срокъ, оказала сильное вліяніе на весь укладъ жизни страны, установивъ надолго ея общій смыслъ. Религія сложилась у грековъ, и, быть можетъ, даже у грековъ Іоніи, которые черезъ свои факторіи непосредственнѣе воспринимали культуру Азіи и, повидимому, первые ощутили необходимость въ строгомъ оформленіи религіозныхъ идей и выработкѣ общественной морали. Естественно можно предположить, что носителями подобныхъ идей являлись представители высшихъ классовъ. Подтвержденіемъ этому могутъ служить древнія азіатскія религіи, гдѣ наблюдается аналогичное явленіе; онѣ развивались и усваивались главнымъ образомъ среди вождей, владыкъ и дружинъ, оставаясь въ этихъ предѣлахъ и не распространяясь на весь народъ, куда доходили лишь смутныя, отрывочныя понятія, а иногда только одни имена божествъ, въ силу чего народъ не участвовалъ въ религіозной жизни, довольствуясь отдаленными представленіями о господствовавшей религіи, и воспринималъ разсказы и преданія о божествахъ, изъ которыхъ постепенно слагалась миеологія. Равнымъ образомъ, въ Европѣ, среди массъ некультурныхъ племенъ, которыя хотя и имѣли свои собственныя религіи, но слыша о почитаніи высшими классами и сосѣдними народами чуждыхъ, принесенныхъ съ Востока божествъ, какъ Белъ, Ваалъ и др., присоединяли ихъ къ циклу своихъ боговъ и начинали воздавать имъ поклоненіе. Примѣромъ такого заимствованія могутъ служить Евреи, которые, несмотря на существовавшее у нихъ единобожіе, зачастую принимали и поклонялись другимъ божествамъ. Этимъ объясняется гнѣвъ Моисея, увидавшаго своихъ соплеменниковъ поклоняющимися золотому тельцу. Подобное явленіе можно прослѣдить и у варваровъ, которые, имѣя свои религіозныя понятія, основанныя на такъ называемомъ страхѣ Божіемъ, какъ началѣ человѣческой премудрости, тѣмъ не менѣе жаждали, стремились узнать, какихъ боговъ почитаютъ ихъ владыки.

Это же касается и славянъ, которые, помимо извѣстныхъ религіозныхъ представленій и культовъ, имъ присущихъ, всегда имѣли и заимствовали цѣлый рядъ чужихъ вѣрованій и смѣняли ихъ. Это обстоятельство наложило на ихъ миѳологію извѣстный отпечатокъ, что, однако, забывается изслѣдователями, и въ силу чего создаются крупныя, научныя недоразумѣнія.

Насколько извѣстно, у грековъ съ самаго начала былъ установленъ выборъ боговъ всѣмъ обществомъ, въ зависимости отъ чего они поклонялись божествамъ, принятымъ въ опредѣленномъ городѣ, или въ предѣлахъ извѣстной территоріи страны; такъ, циклъ боговъ Спарты разнился отъ признанныхъ въ Аттикѣ. Но, въ то же время, нельзя упускать изъ виду, что греки не ограничивались строго опредѣленнымъ культомъ, допуская поклоненіе и чуждымъ божествамъ. Эту широту ихъ религіозныхъ воззрѣній и отмѣтилъ апостолъ Павелъ въ своей извѣстной рѣчи передъ Аѳинскимъ ареопагомъ, сказавъ: „Аѳиняне! по всему вижу, что вы какъ бы особенно набожны. Ибо приходя и осматривая то, что вы чтите, я нашелъ и жертвенникъ, на которомъ написано: „невѣдомому Богу“. Сего-то, котораго вы не зная чтите, я проповѣдую вамъ“. (Дѣянія Апостоловъ, глава 17, стихъ 22—23). Однако, можно предположить, что Аѳиняне, несмотря на широкую вѣротерпимость, строго слѣдили за выполненіемъ ритуала установленнаго культа и карали отступленія отъ него, чѣмъ и объясняется вызовъ въ судъ Аспазіи, извѣстной подруги Перикла, уличенной въ поклоненіи непринятымъ общиною азіатскимъ божествамъ.

Доказательствомъ того, насколько Іонія играла важную роль въ формированіи духовной культуры и мысли, служитъ Гомеръ, ея уроженецъ. Равнымъ образомъ, нельзя упускать изъ виду, что всѣ эпическія пѣсни сложились въ ея предѣлахъ и были написаны іоническимъ языкомъ. То же самое относится и къ Иліадѣ, гдѣ имѣется уже полный Олимпъ, и укладъ греческой религіи былъ данъ въ разсказахъ о божествахъ, т. е. въ миѳологіи, въ то время какъ въ Аѳинахъ были извѣстны немногія божества, которыхъ аѳиняне почитали. Что же касается изображеній, то во времена Гомера, т. е. за 1000 лѣтъ до Р. Хр., ихъ было очень еще ограниченное количество.

VI вѣкъ является эпохою наиболѣе развитаго греческаго культа, самою высокою порою религіозной и философской мысли. Въ слѣдующемъ V вѣкѣ, на основѣ предъидущаго, Сократъ съ піэтетомъ поминаетъ Пиѳагора, однако, не называя его, указываетъ, что нужно помнить съ почтеніемъ о религіи и почитать то, что говорятъ (пиѳагорейцы). Въ религіозномъ отношеніи Сократъ основывался на ихъ ученіи, полагая, что умирать нужно съ благоговѣніемъ.

Существуетъ сказаніе, что Пиѳагоръ былъ въ Индіи, и особенно любопытно сопоставить его съ Буддою, жившемъ также въ VI вѣкѣ. Итакъ, Сократъ основывалъ свою философію на пиѳагорейцахъ, которыми уже была выработана цѣлая философская система и былъ сдѣланъ извѣстный подборъ въ миѳическомъ циклѣ разсказовъ о богахъ. Какъ извѣстно, Пиѳагоръ основалъ общество своихъ послѣдователей — „посвященныхъ“, которые выбрали рядъ божествъ на основѣ нравственнаго совершенства.

Миѳическій Орфей былъ, по мнѣнію древнихъ, по преимуществу, богословомъ, учредителемъ мистерій, и, что особенно важно, истолкователемъ воли

боговъ. Именно онъ, по преданію, открылъ Өракійцамъ и другимъ грекамъ то, что необходимо знать о божественныхъ дѣлахъ. Орфизмъ, одно изъ самыхъ любопытныхъ явленій религіозной исторіи Греціи, имѣвшій главнымъ принципомъ выборъ божествъ на нравственной основѣ, въ свою очередь, послужилъ базою Платону для созданія его философской системы. Однако, въ вопросахъ, касающихся религіи, Платонъ, несмотря на строгую логичность его философскаго построенія, становился мистикомъ.

Начиная съ VIII—VII вѣка чувствуется своего рода раздвоеніе, расколъ. Эгейская культура (1500—1000 до Р. Хр.), постепенно продвигаясь изъ Малой Азіи, основывается на островахъ, откуда переходитъ и на континентъ, причемъ греки охотно заимствовали съ Востока культы, содержавшіе мистическое начало. Мистика значитъ посвященіе мистовъ, т. е. угодниковъ божьихъ, богамъ. Для обозначенія души у грековъ существовало два понятія „ψυχή“ и „πνεῦμα“, первое служило для обозначенія души тѣлесной, а второе для опредѣленія высшаго духа, который можетъ свободно возноситься. Отсюда возникло позднѣйшее построеніе мистическаго ученія объ ангелахъ, являющееся перерожденными идеями ученія Платона.

Чтобы понять, въ чемъ заключается нравственный типъ высшаго божества τέμενος, должно обратить вниманіе на культъ свѣтлаго бога Аполлона, установленный повсемѣстно въ Греціи въ VIII—VII вѣкѣ до Р. Хр. Его святилище въ Дельфахъ становится мѣстомъ опредѣленнаго паломничества. Вѣрующіе стекались со всѣхъ сторонъ къ знаменитому дельфійскому оракулу, установленному на горѣ, гдѣ прорицала въ припадкахъ священнаго безумія Пиөія, получая свое вдохновеніе отъ Аполлона. Это былъ своего рода ἄδυτον — святая святыхъ, гдѣ, подъ вліяніемъ одуряющихъ паровъ, Пиөія становилась посредницей между богами и людьми. Но, помимо своего сакральнаго значенія, Дельфійскій храмъ являлся неприкосновеннымъ мѣстомъ, гдѣ хранились рѣдкія сокровища и казна союзныхъ государствъ.

VII.

Греки, благодаря Гомеру, почувствовали себя одной націей, но, конечно, лишь въ образованномъ обществѣ: именно благодаря ему они осознали свое единство и Иліада стала ихъ библіей, подобно тому какъ Библія у Евреевъ объединила ихъ различныя колѣна. Греками называлось сначала одно племя — Іоняне, жившіе по Средиземному морю, по побережью Малой Азіи, берегамъ Чернаго моря, гдѣ у нихъ были значительныя торговыя факторіи, островамъ и даже берегамъ самой Греціи, и Доряне — горное племя, спустившееся внизъ и занявшее центръ Эллады, и распространившееся оттуда въ Италію и Сицилію. Съ теченіемъ времени они объединились подъ общимъ именемъ и образовали греческую націю. Они приняли эту религію съ ея Олимпомъ, какъ извѣстную традицію, и она стала настолько національной, что живетъ до сихъ поръ въ различныхъ суевѣріяхъ, идущихъ отъ тѣхъ временъ.

Однако, возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ произошло, что эта религія, ставшая обще-греческой, національной и признанная вполнѣ отвѣчающей нрав-

ственнымъ запросамъ, въ цвѣтущую эпоху возбудила сомнѣнія въ своей истинности. Понять причины, вызвавшія эти сомнѣнія, значитъ уяснить сущность культуры съ наложеннымъ на нее извѣстнымъ отпечаткомъ скепсиса, который былъ позже переданъ Риму, и впослѣдствіи влился въ христіанство. Всѣ художественныя формы, выработанныя для культа, стали въ эллинистическую эпоху достояніемъ для другихъ странъ античнаго міра, которыя черпали оттуда все, что находили себѣ пригоднымъ.

Подготовка греко-римской религіи передалась христіанству и, въ свою очередь, во многомъ послужила апостолу Павлу, Евангелистамъ и Отцамъ Церкви включительно до V вѣка по Р. Хр. Въ этомъ отношеніи именно археологія является могущественной и даетъ богатый матеріалъ, въ то время какъ обоснованной литературы по этому вопросу пока не создано, и всѣ изслѣдованія по исторіи религій ограничиваются поверхностнымъ перечнемъ первичнаго матеріала. Таковы труды Тэйлора, Фразера и другихъ, которые, представляя колоссальное количество свѣдѣній, сосредотачиваютъ главное вниманіе на этнографическомъ изслѣдованіи мелочей и суевѣрій безъ надлежащаго анализа, что вредно отражается на ходѣ развитія исторической науки.

Анимизмъ, тотемизмъ, политеизмъ, фетишизмъ представляютъ большой интересъ, но требуютъ разсмотрѣнія и изученія отъ самаго корня ихъ происхожденія, т. е. Востока, откуда они были заимствованы въ свое время и Греками. Греческой религіи были извѣстны тотемизмъ (т. е. вѣра въ существованіе демоническихъ силъ, демоническаго агента въ животныхъ, куда вселяется божество) и фетишизмъ (т. е. воздаяніе культа божественнымъ предметамъ) которые принесли Іоняне вмѣстѣ со своею культурою и культами, воспринятыми ими съ Востока.

Первичная культура Востока была сосредоточена въ Вавилонѣ, затѣмъ перешла въ Ассирію. Лигія и Фригія являются какъ бы третичною ступенью ея развитія и, наконецъ, Іонія была центромъ, гдѣ Греки восприняли и переработали эту культуру. Доказательство того, какъ много было заимствовано греческою миѳологіею съ Востока можно видѣть въ сходствѣ греческой Аѳины съ главнымъ восточнымъ божествомъ — звѣздою — Иштаръ, Астарта-Венера (утренняя звѣзда). Согласно миѳу, Аѳина вышла изъ головы Зевса и софисты считали ее богинею мудрости. Однако, по преданію, она родилась дѣвою-воиномъ съ эгидой, и потому ее скорѣе можно считать богиней войны, воительницей, схожей съ восточной Иштаръ; затѣмъ ей были приданы аттрибуты мудрости и у римлянъ она стала Минервой. Такое представленіе, вѣками жившее въ народѣ, перешло и въ христіанство. Богоматерь, признанный палладій Византіи, можетъ быть сопоставлена съ Мудрою Дѣвой Аѳиной, нѣкогда также охранявшей государство, а впослѣдствіи возглавившей церковь.

Восточнаго происхожденія и Деметра, отождествляемая съ Матерью земли, происходящей отъ великой Матери боговъ, а также и ея дочь Кора (Персефона), ставшая олицетвореніемъ весны. Эти божества, заимствованныя съ Востока, были введены въ греческую религію по преимуществу Іонянами. Горцы принесли съ собою въ Спарту божества свѣтлыя въ основѣ, среди которыхъ выдѣлялся Аполлонъ — первичное божество Аркадіи. Это былъ богъ свѣта,

олицетвореніе солнца, который, согласно Гомеру, далеко стрѣляетъ, посылая свои лучи, и въ то же время его надѣляли эпитетомъ губителя, который производитъ и сожигаетъ растительность.

Греческій Олимпъ, заключая въ себѣ идею многобожія — политеизмъ, представляетъ борьбу свѣтлыхъ боговъ съ темными, злыми силами, причемъ побѣда остается за первыми, такова битва съ титанами, Хроносомъ и другими. Въ этомъ случаѣ явно сказывается вліяніе восточныхъ религій, которыя представляютъ своихъ боговъ какъ побѣдителей и обыкновенно изображаютъ ихъ въ битвѣ или единоборствѣ со злыми демонами, иногда въ видѣ льва, чудовища, фантастической птицы, которыхъ божество пронзаетъ кинжаломъ. Восточный миѳъ о Гильгамешѣ былъ заимствованъ греками и перенесенъ на Геракла и исторію его подвиговъ. Большинство древнихъ вавилонскихъ и ассирійскихъ цилиндровъ изображаютъ именно такую борьбу свѣта съ демонами. Тоже можно прослѣдить и у египтянъ въ борьбѣ Озириса съ Сэѳомъ.

Греческій политеизмъ также состоялъ въ борьбѣ со злыми демонами, что и отразилось на памятникахъ ихъ искусства, напр., знаменитый рельефъ VII вѣка до Р. Хр., передающій борьбу Тифона, гдѣ изображены звѣрскія лица, съ намѣренно утрированными чертами, остроконечными, умащенными масломъ и посыпанными пескомъ бородами. Затѣмъ появляются статуи Аполлона и его служителей, которыя представляютъ фигуры первыхъ спартанскихъ эфебовъ, получившихъ атлетическое воспитаніе. Бога Аполлона стали почитать гимнасты, спортсмены, затѣмъ любители музыки и поэзіи. По мѣрѣ удаленія отъ первоначальной идеи, изображенія его въ видѣ эфеба, колесничаго, эволюціонируютъ въ изящную фигуру съ высокимъ одухотвореннымъ обликомъ бога-покровителя музъ, напримѣръ, Аполлонъ-Киѳаредъ. Съ теченіемъ времени вокругъ храма, посвященнаго Аполлону стали ставить статуи прославившихся въ атлетическихъ играхъ и всякаго вида спорта, и такимъ образомъ создалось Дельфійское святилище. Затѣмъ появились и женскія фигуры амазонокъ, Артемиды, какъ сестры Аполлона — богини охоты, олицетвореніе луны на Востокѣ, покровительницы конниковъ. Она изображается въ движеніи, съ колчаномъ за плечами и лукомъ въ рукахъ, преслѣдующая звѣрей. Раннія изваянія передавали тяжелую фигуру съ крупными формами, очевидно, взятую съ натуры, которая впослѣдствіи измѣняется въ болѣе легкую и элегантную, пріобрѣтая идеалистическія черты и женственную улыбку.

Вслѣдствіи этого появляется первое святилище спорта — храмъ Зевса Олимпійскаго, такъ какъ первоначальная иниціатива принадлежала дорянамъ, которые главенствовали въ Греціи до V вѣка (до Р. Хр.), когда они принуждены были уступить свое первенство Аѳинамъ. Конечно, это святилище создавалось постепенно, сначала была священная гора Сатурна или Хроноса, тоже дорическаго божества, который, по преданію, съѣдалъ своихъ дѣтей. Эта тема вновь повторяется въ миѳѣ о Танталѣ, который изжарилъ своего сына, но, какъ извѣстно, боги отказались ѣсть приготовленную ѣду и Танталъ былъ осужденъ на вѣчную муку. Около горы, въ древности, была священная роща, но съ теченіемъ времени осталось только нѣсколько деревьевъ, около которыхъ возникли храмы Зевса, Геры, Матери боговъ — Метронъ, затѣмъ залы совѣщаній, ипподромъ, палестры, стадіумъ, сокровищницы. Слѣдуетъ отмѣтить появленіе характерной новой черты,

а именно храмъ Зевса открывался, когда съѣзжались на игры, въ остальное же время онъ оставался запертымъ, причемъ его уже никто не считалъ жилищемъ бога, хотя тамъ стояла колоссальная статуя Зевса изъ слоновой кости и золота. На одномъ фронтонѣ, представляющемъ состязаніе Пелопса, центральное мѣсто занимаетъ Зевсъ, присутствующій при этомъ состязаніи. На другомъ изображенъ Аполлонъ, но уже въ новомъ типѣ; онъ не сражается, не борется, но только покровительствуетъ одной сторонѣ, простирая къ ней руку.

Образцомъ соединія дорическаго и іоническаго типа въ скульптурѣ можетъ служить Гермесъ, замѣнившій Діониса; они оба были хтоническими божествами. Глубоко посаженные глаза говорятъ о страстной натурѣ, въ то время какъ тонкій носъ и изысканное очертаніе губъ свидѣтельствуютъ уже о соединеніи двухъ типовъ — варварскаго съ курчавыми волосами и утонченнаго греческаго.

Относительно архитектуры можно сказать, что аѳинскій акрополь является уже вторичнымъ художественнымъ построеніемъ общественнаго центра, причемъ этотъ центръ остается безжизненнымъ, несоединеннымъ съ жизнью города. Для него была взята прежняя форма крѣпости на горѣ или цитадели, гдѣ были размѣщены пышныя, даже слишкомъ парадныя зданія, но эта вторичная форма Дельфійскаго святилища потерпѣла неудачу и осталась оффиціальнымъ мѣстомъ, куда приходили въ опредѣленные дни осматривать чудеса архитектурнаго искусства и скульптуры. Таковъ Парѳенонъ, посвященный Дѣвѣ Аѳинѣ, Эрехтэйонъ, гдѣ хранился священный палладій города, храмъ Νίκη ἄπτερος, т. е. безкрылой побѣды, которую лишили крыльевъ, чтобы побѣда всегда оставалась на сторонѣ Аѳинянъ (обычно Нике, подобно римской Фортунѣ, изображается крылатой). Но тутъ не было ни судебныхъ зданій, ни агоры, ни пританэи, т. е. современной ратуши, и потому общественная жизнь протекала внѣ акрополя, надъ которымъ царила колоссальная статуя Аѳины.

Что касается жрецовъ, то хотя они и существовали, какъ особая каста, но были немногочисленны и сосредотачивались по преимуществу въ Аѳинахъ, и дробились въ зависимости отъ тѣхъ культовъ, которымъ служили: были жрецы Діониса, Зевса и пр., ихъ функціи ограничивались приношеніемъ жертвъ и они не имѣли такого прямого отношенія къ народу, какъ современный клиръ. Впослѣдствіи греки уничтожили жрецовъ вмѣстѣ съ царями. У римлянъ жрецы назывались — pontifex'ы, что, повидимому, происходитъ отъ слова pons (мостъ).

Какъ уже указывалось, Аѳиняне были въ своемъ составѣ культурнѣе, и въ духовномъ отношеніи стояли выше Спартанцевъ, которые были горцы суровыхъ нравовъ и воспитывали дѣтей съ 7-лѣтняго возраста съ вошедшей въ поговорку строгостью на государственный счетъ, подобно Персамъ. Аѳиняне превосходили ихъ, подобно тому, какъ Геродотъ — Ксенофонта, только хорошо освѣдомленнаго солдата, въ то время какъ первый, въ качествѣ купца, побывалъ во многихъ странахъ и хорошо зналъ торговое дѣло. Однако, купечество скорѣе можно считать антигосударственной силой, которая всегда ищетъ и интересуется чужими капиталами, и въ этомъ смыслѣ аѳиняне были купцами, сосредоточившими въ своихъ рукахъ всю греческую торговлю, и въ зависимости отъ этого ставшими тщеславными. Они воображали, что, если построить храмъ, подобный Парѳенону, то онъ своимъ великолѣпіемъ затмитъ Делосъ, Олимпію и Дельфы.

VIII.

Греки, выбирая для воздаянія наибольшаго почитанія свѣтлыхъ боговъ Олимпа, распространяли конкретное, физическое представленіе свѣта на область души, и тѣмъ создали нравственную теорію, которая находилась въ тѣсной связи съ культами, ими заимствованными съ Востока. Обобщая многобожіе въ основныхъ его формахъ, слѣдуетъ отмѣтить, что восточныя божества подраздѣлялись на два вида: астральныя — свѣта, затѣмъ къ нимъ примыкаютъ божества земли со всѣми ея элементами и явленіями, атмосферою, горами, морями и т. д., и подземный міръ, т. е. божества хтоническія. Къ разряду хтоническихъ божествъ греки относили Плутона, Кору Деметру, которая олицетворяла плодородіе земли. Природа зимою засыпаетъ, подобно тому, какъ и человѣкъ смертенъ. Человѣкъ утверждаетъ, что смерть есть зло, происходящее отъ боговъ, значитъ существуютъ боги добрые и злые. И, дѣйствительно, всѣ восточныя религіи бились надъ разрѣшеніемъ одной проблемы, какъ осознать человѣку, что есть боги добра и зла. Древнѣйшія изображенія божествъ, лучше чѣмъ слово, представляютъ ихъ въ постоянной борьбѣ, причемъ человѣкъ объяснялъ себѣ, что они борятся со злыми силами — демонами.

Первое филисофское противодѣйствіе такому представленію выразилось въ ученіяхъ Зороастры, Будды, Лаодзы, Конфуція, которые старались примирить это основное положеніе. Не отрицая наличія борьбы между свѣтомъ и тьмою, добромъ и зломъ, Ормуздомъ и Ариманомъ, они все же утверждали, какъ, напримѣръ, Конфуцій, что, несмотря на борьбу, міръ приходитъ къ гармоніи. Эту гармонію китайцы представляли себѣ въ видѣ огнедышащаго дракона, который является символомъ зигзага молніи, движущагося по небу, и который съ грозою приноситъ дождь, оплодотворяющій землю; вотъ почему китайскіе императоры носили изображенія двухъ драконовъ у себя на груди. Образъ дракона Ветхаго Завѣта, перешедшій затѣмъ въ христіанство, олицетворялъ собою дьявола и, слѣдовательно, китайцы, по представленію христіанъ, почитали дьявола.

Равнымъ образомъ, греки, создавая въ своемъ представленіи свѣтлый Олимпъ, знали злыхъ — хтоническихъ божествъ, но заставляли ихъ служить на пользу человѣку и дѣлать добро. Это представленіе отразилось въ нѣкоторыхъ миѳахъ, имѣющихъ связь съ идеей безсмертія, такъ, напримѣръ, въ миѳѣ о Діонисѣ, который былъ убитъ ребенкомъ и его тѣло искали по всей землѣ, подобно тому, какъ по египетскому представленію Изида разыскивала части убитаго Сэѳомъ Озириса.

На основѣ такихъ религіозныхъ представленій сложилось философское ученіе, что боги благодѣтельны, и что смерть хотя и существуетъ, но лишь какъ переходная ступень для воскресенія. Еще Сократъ говорилъ, что позже было усвоено и христіанствомъ, „ничто не родится, аще не умретъ". Въ самой жизни сокрыта смерть, а въ смерти скрыта жизнь. Эта теорія мистиковъ въ большой мѣрѣ отразилась въ ученіи Пиѳагора. И Сократъ въ „Федонѣ" Платона строитъ на этомъ все свое ученіе, заявляя, что должно умирать in pietatae, въ надеждѣ на возрожденіе новой жизни, такъ какъ существуетъ безсмертіе души, которая неистребима. Всѣ мистическія ученія у грековъ были чужія, заимствованныя.

Когда впослѣдствіи греки пришли къ скепсису, то осознали, что многобожіе является для ихъ религіознаго мышленія неудовлетворительною формою.

Изображая своихъ боговъ, сохранившихся до настоящаго времени въ памятникахъ искусства, греки передавали борьбу свѣтлаго начала со злымъ. Одно изъ древнѣйшихъ изображеній свѣтлаго бога Аполлона, представляетъ его „ставроктономъ", освободившимъ землю отъ чудовища Пифона. Въ противоположность ему хтоническое божество — Гермесъ — „психопомпъ", т. е. водитель душъ, иногда изображается съ другимъ подземнымъ божествомъ на рукахъ — Діонисомъ, котораго онъ дразнитъ виноградною лозою. Утонченныя черты лица носятъ отпечатокъ хитрости и остроумія. Изображенія Гермеса — „гермы" было принято ставить на перекресткахъ и у входовъ домовъ, въ качествѣ — апотропэя-оберега.

Болѣе поздняя статуя Аполлона Бельведерскаго изображаетъ его въ моментъ борьбы съ Пифономъ, причемъ прежнее объясненіе археологовъ, что онъ держитъ въ рукѣ лукъ, и что воспѣто въ извѣстныхъ стихахъ Пушкина:

...„Лукъ звенитъ, стрѣла трепещетъ
И, клубясь, издохъ Пифонъ
И твой ликъ побѣдой блещетъ,
Бельведерскій Аполлонъ!"...

благодаря разысканіямъ академика Стефани нынѣ объясняется иначе. Имѣющаяся въ Москвѣ бронзовая статуэтка Аполлона „боэдромоса" держитъ въ рукѣ кусокъ руна съ головою окаменѣвшей Медузы. По преданію, въ III вѣкѣ Галлы напали на Грецію, но были устрашены и прогнаны Аполлономъ, появившимся съ такою эгидою въ рукахъ. Изъ этого можно вывести заключеніе, что съ теченіемъ времени божество, боровшееся со злою силою, становится только символомъ, эмблемою.

Подъ вліяніемъ подобной эволюціи весь Олимпъ превращается въ декоративную группу, блещущую физическою силою и умомъ, и хотя все это красиво, но мало отвѣчаетъ религіозно-духовнымъ запросамъ человѣка, въ силу чего греки ввели въ религію синкретизмъ. На смѣну Олимпа пришли другія божества, среди которыхъ главнѣйшую роль играли Сераписъ изъ Египта, хтоническій богъ, рождающійся и умирающій, Изида, Кибела — мать боговъ, Митра — божество умирающаго солнца. Такимъ образомъ ясно обрисовывается, что въ греческой религіи произошло постепенное исчезновеніе ея внутренняго смысла и замѣна его внѣшнею декоративностью, вслѣдствіе чего въ эллинистическую эпоху наблюдается паденіе сакральныхъ архитектурныхъ формъ и распространеніе ихъ на гражданское зодчество. На этой почвѣ народилось христіанство, которое восприняло $^{9}/_{10}$ греческой культуры и подготовило Средніе Вѣка. Наблюдаемыя въ современномъ укладѣ проявленія „большевизма" цѣликомъ зависятъ отъ того своеобразнаго Средневѣковья, въ которомъ прожила Восточная Европа.

Въ древнѣйшую эпоху римляне были болѣе консервативными въ сохраненіи своихъ религіозныхъ воззрѣній, и ихъ круглые храмы, какъ, напримѣръ, храмъ

Весты на римскомъ Форумѣ, воспроизводящій какъ бы покрытіе надъ священнымъ домашнимъ очагомъ, сохранили въ своей конструкціи всѣ древнѣйшія сакральныя формы. Впослѣдствіи они были распространены на круглыя гробницы — мавзолеи, напр., императора Адріана — нынѣ Замокъ св. Ангела въ Римѣ. Однако, подъ вліяніемъ развитія ихъ мірового владычества, они ввели въ кругъ своихъ божествъ цѣлый рядъ боговъ, которыхъ почитали въ завоеванныхъ ими областяхъ и странахъ. Это и привело императора Адріана на мысль построить круглый декоративный храмъ, посвященный всѣмъ богамъ — Пантеонъ, святилища которыхъ онъ посѣтилъ, когда обходилъ пѣшкомъ греко-римскій міръ.

Императоры Траянъ, Титъ и Адріанъ возводили постройки по преимуществу декоративнаго характера, напримѣръ, Адріанъ построилъ столь колоссальнаго размѣра храмъ Зевса Олимпійскаго въ Аѳинахъ, что если бы отъ него до настоящаго времени сохранилось не нѣсколько колоннъ, а весь гигантскій архитектурный комплексъ, то онъ производилъ бы только гнетущее, давящее впечатлѣніе. Но подобнаго рода постройки въ эллинистическую эпоху отвѣчали политическимъ задачамъ — произвести возможно болѣе сильное впечатлѣніе на покоренные народы, и ихъ обычно созидали на рыночныхъ площадяхъ въ центрѣ города.

Отъ древней эпохи Греціи и Италіи городовъ почти не сохранилось, можно предположить, что они представляли собою кучу домовъ, сосредоточенную около опредѣленнаго центра безъ всякаго порядка, подобно тому какъ въ пчелиномъ ульѣ располагаются соты. Тотъ же принципъ былъ сохраненъ и въ планировкѣ средневѣковыхъ городовъ, напримѣръ, Праги, гдѣ постройки были скучены главнымъ образомъ вокругъ дѣтинца — hrad'a.

Правильная, вполнѣ раціональная планировка города появляется лишь въ эллинистическую эпоху, когда одинъ Александръ Македонскій заложилъ до 70-ти Александрій. Она восприняла въ своей основѣ стратегическій планъ военнаго лагеря, съ двумя пересѣкающимися въ центрѣ главными артеріями и параллельными путями, и 4-мя воротами. Таковъ, напримѣръ, планъ Пріэны — городка Малой Азіи и всѣхъ городковъ Центральной Сиріи, возникшихъ уже въ римскую эпоху. Въ подобнаго рода городахъ главное вниманіе удѣляли архитектурѣ храмовъ и общественныхъ зданій, какъ пританэи, гимназіумы, палестры, стои, базилики — судебныя учрежденія, амфитеатры и проч. На работы по постройкѣ привлекали праздный людъ, уже къ тому времени обѣднѣвшій, такъ какъ грекъ обычно работаетъ лишь понуждаемый бѣдностью. Въ самой Элладѣ граждане были освобождены отъ всего, кромѣ воинскихъ обязанностей, никогда не исполняли работъ, поручая ихъ илотамъ, т. е. крѣпостнымъ.

Въ Греціи города долгое время имѣли видъ большихъ деревень, въ частныхъ домахъ лавокъ не устраивали, а онѣ были сосредоточены на рыночной площади — агора. Торговыя помѣщенія въ частныхъ домахъ появились позднѣе, когда владѣльцы помѣстій стали поставщиками продуктовъ производства своего хозяйства на городъ. Иной видъ изначала имѣлъ Римъ, который сложился натурально, тамъ въ домахъ были лавки, помѣщеніе для хозяина, помѣщенія для сдачи въ наемъ и склады, причемъ, какъ уже указывалось, такіе дома занимали иногда цѣлые кварталы.

IX.

Центромъ древняго города была цитадель, градъ, древне-русскій кремль, крѣпость, обычно расположенная на холмѣ, вершинѣ или скалѣ и окруженная стѣнами, гдѣ можно было укрыться во время нападенія. Это огражденное или замкнутое мѣсто являлось верхнимъ городомъ, въ то время, какъ у подножья его размѣщался другой, гдѣ была сосредоточена по преимуществу торговля и частная жизнь. Такая планировка встрѣчается въ Россіи, Грузіи, на Кавказѣ вообще, а въ Средніе вѣка была усвоена феодалами. И въ этомъ смыслѣ аѳинскій акрополь является также цитаделью. Слѣдуетъ напомнить, что первичныя формы греческой культуры были принесены на континентъ Эллады іонянами съ Востока, и впослѣдствіи на греческой основѣ подверглись измѣненію и, между прочимъ, оказали большое вліяніе на выработку плана города-цитадели. Персы, захвативъ Аѳины, разрушили стѣны акрополя. Периклъ, столь блестяще охарактеризовавшій въ своей рѣчи аѳинскій народъ въ такихъ выраженіяхъ: „мы любимъ прекрасное безъ мудрости, любимъ мудрость безъ ея изнѣженности, мы знакомы съ ея опасностями, но переносимъ ихъ съ мужествомъ“, рѣшилъ возстановить Акрополь, придавъ ему сакральное значеніе, наполнивъ его храмовыми зданіями и сосредоточивъ тамъ сокровищницу государства. Этимъ онъ хотѣлъ возвеличить значеніе Аѳинъ, которыя, какъ небольшая область, мало импонировали грекамъ, пользуясь лишь благами торговли.

Но недолго продолжался расцвѣтъ временъ Перикла; каждая отрасль какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ начала стремиться къ самостоятельности. Всѣ внѣшнія обстоятельства и духовное направленіе народа вполнѣ содѣйствовали этому новому направленію, вслѣдствіе чего вся жизнь пошла на убыль, причемъ сохранялись внѣшнія формы въ ущербъ внутреннему содержанію. Доказательствомъ чего служитъ Парѳенонъ, который по замыслу Перикла долженъ былъ затмить прославленное святилище Спарты — храмъ Зевса Олимпійскаго.

Кромѣ Парѳенона на акрополѣ были сосредоточены и другія зданія, какъ Эрехтэйонъ, мѣстное аѳинское святилище, котораго, однако, другіе не признавали, затѣмъ, Одеонъ — мѣсто состязанія пѣвцовъ и, наконецъ, знаменитые Пропилеи. Это была только колоннада съ декоративнымъ боковымъ крыломъ и пышнымъ входомъ, въ помѣщеніи для стражи впослѣдствіи была образована пинакотека — складъ картинъ, дары разныхъ живописцевъ, ясно, что это также имѣло чисто декоративное значеніе. Изъ всей конструкціи этого зданія явствуетъ, что архитекторъ Перикла не успѣлъ выполнить того, что было имъ задумано. Нѣсколько въ отдаленіи былъ поставленъ храмъ безкрылой Побѣды — „Ники аптеросъ“. По величественному плану акрополя явствуетъ, что Периклъ хотѣлъ создать изъ Аѳинъ міровой городъ, но это ему не удалось. Тогда онъ задумалъ и провелъ постройку Элевзіона — громаднаго зала, приспособленнаго для совершенія мистерій, куда могли собираться всѣ поклонники и гдѣ происходило таинственное общеніе съ подземными богами и которому былъ приданъ внутренній религіозный смыслъ не чисто греческій, а восточный — заимствованный. Первоначально

деревенскіе, идиллическіе культы Деметры, Коры — Периклъ задумалъ возвести въ обще-государственные, но выполнить это ему не удалось, между прочимъ потому, что центръ государства — Аѳины не производили сами хлѣба, а получали его съ береговъ Малой Азіи и изъ факторій юга Россіи.

Созданіе громадныхъ декоративныхъ зданій началось со временъ Перикла и продолжалось непрерывно до конца эллинистической эпохи. Огромныя залы термъ, палестръ, гимназіоновъ, амфитеатры, арены цирка и стадіоны оживлялись лишь на время и нерѣдко годами стояли пустыми. Памятникомъ соединенія азіатской культуры съ западной является Пергамъ, гдѣ было два дворца, агора, алтарь, посвященный Зевсу, покрытый высокохудожественными барельефами, частью нынѣ хранящимися въ Берлинскомъ Музеѣ, театръ и террассы съ видомъ на прилегающую долину. Иное явленіе наблюдается въ Египтѣ, гдѣ даже вокругъ храмовъ и во дворѣ при нихъ разводились сады съ полезными растеніями и животными.

Къ этому времени внѣшнія формы, прежде считавшіяся сакральными, постепенно теряютъ свое значеніе и даже допускается возможность ихъ употребленія для нуждъ частныхъ лицъ. Таковъ памятникъ Лизикрата въ Аѳинахъ, имѣющій сакральную круглую форму и увѣнчанный бронзовымъ треножникомъ. Онъ былъ сооруженъ въ память частной побѣды на поэтическомъ состязаніи, гдѣ Лизикратъ прославился своею одою. То же самое можно сказать по поводу гробницы варвара Мавзола, работы Скопаса и Леохара, въ Галикарнассѣ (отъ этого собственнаго имени и происходитъ примѣняемое въ архитектурѣ названіе — мавзолей), гдѣ наблюдается эксплуатація сакральныхъ формъ громаднаго храмоваго зданія, воздвигнутаго надъ могилою одного человѣка. Такія зданія, нося по преимуществу меморіальный характеръ, постепенно стали достояніемъ частныхъ богатыхъ людей; воспроизведенія подобныхъ декоративныхъ построекъ нерѣдко встрѣчается въ стѣнной помпеянской живописи послѣдняго періода.

Къ разбираемой эпохѣ принадлежитъ также рядъ декоративныхъ зданій религіознаго назначенія для совершенія въ нихъ мистерій; къ нимъ относится постройка на Делосѣ, съ характерными колоннами, увѣнчанными капителями съ бычьими головами, что имитируетъ ассиро-персидскіе памятники, и нѣкогда имѣло мистическій смыслъ, усвоенный іоническимъ культомъ, впослѣдствіи его утратившимъ. Сюда же можно включить и любопытное зданіе на островѣ Самотракѣ, также предназначенное для совершенія мистерій, заканчивающееся полукругомъ, на подобіе христіанскихъ базиликъ.

Кромѣ этого рода зданій были разнообразныя общественныя постройки, какъ напримѣръ, большія, въ нѣсколько этажей, библіотеки, гдѣ хранились рѣдкія собранія рукописей въ кожанныхъ и пергаменныхъ переплетахъ. Любовь къ чтенію была развита въ эллинистическую эпоху и поддерживалась просвѣщенными императорами настолько, что они считали нужнымъ разсылать въ крупные центры подборы рукописей сочиненій наиболѣе извѣстныхъ авторовъ, что и давало возможность въ нѣкоторыхъ общественныхъ библіотекахъ выдавать рукописи на домъ для прочтенія, какъ это нынѣ принято по отношенію книгъ въ современныхъ книгохранилищахъ.

Любопытны остатки и другихъ древнихъ зданій, сохранившихся въ руинахъ

до настоящаго времени въ Пуццоли, близъ Неаполя. Въ центрѣ форума находилось круглое зданіе, такъ называемый храмъ Сераписа, на самомъ дѣлѣ, бывшій рынокъ для продажи мяса и живой рыбы, для чего были устроены особые резервуары.

Къ разряду утилитарно-полезныхъ зданій, служившихъ цѣлямъ гигіены, нужно отнести и палестры съ большими бассейнами и съ особыми мужскими и женскими отдѣленіями. Того же назначенія были и термы, колоссальныя постройки временъ разныхъ императоровъ (Каракаллы, Діоклетіана) которыя занимали нерѣдко цѣлые кварталы. О величинѣ ихъ въ настоящее время трудно даже судить, такъ какъ на территоріи термъ Каракаллы нынѣ помѣщается музей, монастырь, а часть ея даже раздѣлана подъ виноградники. Однако, въ древности эти громадные размѣры находили объясненіе въ томъ, что термы служили не только прямымъ цѣлямъ, но являлись своего рода клубами, гдѣ зачастую граждане проводили цѣлые дни, куда стекались всѣ новости, и гдѣ обсуждались общественныя и государственныя дѣла.

Конечно, на подобныя сооруженія затрачивались колоссальные капиталы, которые опустошали государственную казну, обогащая частныхъ предпринимателей и подрядчиковъ.

Отголоскомъ такого рода затратъ на дѣла строительства было стремленіе знати и богатыхъ людей подражать этому, но, не имѣя возможности возводить въ такомъ масштабѣ постройки, они сосредоточили всѣ свои заботы и вкладывали большія средства въ художественное убранство и декоративную раздѣлку своихъ жилищъ, доходя до крайней утонченности, напримѣръ, энкаустическая роспись стѣнъ Помпеи со сложными сюжетами, или мозаическіе полы, воспроизводящіе съ необыкновеннымъ реализмомъ крошки, какъ бы упавшія только что со стола, вѣтки, цвѣты и травы.

Среди общественныхъ зданій выдѣлялись базилики, служившія судебными мѣстами, онѣ имѣли видъ длиннаго сарая, въ концѣ котораго стоялъ столъ и гдѣ сидѣлъ судья — василевсъ, у римлянъ — трибунъ, защищавшій интересы народа.

Когда христіанство, послѣ Миланскаго эдикта, вышло въ своемъ строительствѣ изъ катакомбъ на поверхность земли, то клиръ не нашелъ болѣе подходящей и отвѣчающей требованіямъ формы для храма, какъ базилику. Въ противоположность этому община съ теченіемъ времени предпочла небольшую церковь — мартиріонъ, съ мощами мучениковъ и эта форма восторжествовала.

Н. П. Кондаковъ

LA LÉGENDE DE L'EMPEREUR THÉOPHILE

Il nous est parvenu, du XII[e] siècle byzantin, un curieux petit livre. Il a pour titre Timarion. C'est un dialogue à la manière de Lucien, où est racontée la descente aux enfers du personnage qui est le héros de l'ouvrage. On y trouve, dans l'introduction, des renseignements fort intéressants sur les grandes foires qui, chaque année, à la fin d'octobre, se tenaient à Thessalonique, au moment de la fête de S[t] Démétrius. On y rencontre d'autres détails remarquables, dont l'un, je crois, n'a pas été suffisamment signalé.[1]

Dans le récit que fait Timarion de son voyage dans l'Hadès, il est question naturellement des juges infernaux. Mais la composition du redoutable tribunal est un peu différente de l'accoutumée. A Minos et à Eaque sont adjoints, sans que leur présence soit très clairement expliquée, des médecins comme Galien et Hippocrate, et le dieu même de la médecine, Asclèpios; d'autre part la place de Rhadamante a été prise par un juge chrétien. «Comme la croyance des Nazaréens, dit le texte, s'est répandue dans le monde entier, et qu'elle règne aujourd'hui sur toute l'Europe et sur une bonne partie de l'Asie, il a semblé bon à la Providence qu'aux antiques juges hellènes un juge chrétien fût adjoint.»[2] Ce juge chrétien, c'est l'empereur byzantin Théophile,[3] et voilà justement ce qui est tout à fait curieux. L'empereur Théophile en effet, qui occupa le trône de Byzance de 829 à 842, est le dernier des empereurs iconoclastes. Il professait des opinions hérétiques; il a cruellement persécuté les défenseurs des images; il s'en est fallu de peu que, après sa mort, l'Eglise orthodoxe victorieuse ne l'excommuniât, et il n'a dû qu'à un pieux mensonge de l'impératrice Théodora sa veuve d'échapper à cette condamnation.[4] Encore quelques-unes de ses victimes se montrèrent-elles moins indulgentes, protestant qu'elles réclameraient justice des cruautés que leur avait fait subir le prince au juste tribunal de Dieu.[5] Qu'un personnage aussi compromis ait pu sembler aux gens du XII[e] siècle digne de siéger comme juge suprême au tribunal chargé de juger les morts — et le Timarion ajoute qu'aucune sentence n'est valable, s'il n'y a expressément souscrit[6] — que le prince hérétique et persécuteur des fidèles soit représenté en une manière d'apothéose, flanqué de son ange gardien

[1]) Cf. le commentaire de Hase, qui fut le premier éditeur du Timarion (Notices et extraits des manuscrits, t. IX (1913), 2, p. 163—246, et les notes d'Ellissen dans l'édition qu'il en a donnée (Analekten der mittel- und neugriech. Litteratur, t. IV, 1860).

[2]) Ellissen, loc. cit., p. 72.

[3]) Ibidem.

[4]) Théoph. cont. (éd. Bonn), p. 153.

[5]) Ibid., p. 161.

[6]) Ellissen, loc. cit., p. 72.

qui l'inspire et qui, ajoute notre texte, «l'a accompagné de même toute sa vie» [1] — ce qui, soit dit en passant, justifie tous les actes de cette vie — tout cela est évidemment quelque peu surprenant, surtout si l'on considère que personne ne semble en avoir été choqué à Byzance. Nous avons, de la fin du XIII[e] siècle, une critique fort dure du Timarion, où on déclare qu'il faut jeter au feu ce mauvais livre, afin qu'il ne risque pas de compromettre le salut de quelque bon chrétien.[2] Mais, parmi les reproches assez circonstanciés et fort acerbes faits à l'ouvrage, il n'est nullement question de la place si honorable réservée à l'empereur iconoclaste dans le tribunal des enfers. Il faut donc tâcher d'expliquer cette singularité assez inattendue dans un monde aussi pieux, aussi soucieux de l'orthodoxie que l'était la société byzantine.

*

L'empereur Théophile avait laissé à Byzance un long souvenir de gloire et de magnificence, et une légende semble de bonne heure s'être formée autour de son nom. Il est peu de souverains byzantins sur qui les chroniqueurs aient conté autant d'anecdotes pittoresques, qui vont se répétant, s'amplifiant, s'embellissant, depuis le X[e] jusqu'au XII[e] et au XIII[e] siècle. On se souvenait que Théophile avait été un grand bâtisseur, et qu'il avait embelli le palais sacré de «constructions somptueuses et dignes de mémoire»,[3] salles d'apparat aux colonnes de porphyre et de marbre, aux plafonds dorés, aux murs revêtus de marbres multicolores, aux portes de bronze et d'argent, appartements privés aménagés dans d'élégants pavillons; édifiés, à la mode arabe, parmi les ombrages et les fleurs. On savait qu'il avait été soucieux de luxe et de représentation: il avait fait exécuter des orfèvreries précieuses, le platane d'or, sur lequel étaient perchés des oiseaux d'or qu'un mécanisme ingénieux faisait voleter et chanter, les lions et les griffons d'or qui entouraient le trône, les orgues d'or constellées de pierreries, et le coffret qu'on appelait le Pentapyrgion, où on enfermait les joyaux de la couronne[4]; pour rendre plus efficace encore cette politique de magnificence chère à la cour byzantine, il avait fait refaire les beaux vêtements d'apparat, les robes brodées d'or et chargées de pierreries, que portaient, dans les cérémonies officielles, l'empereur, l'impératrice et les hauts dignitaires du palais.[5] Pareillement — et ici encore sans doute pour rivaliser avec la cour des khalifes de Bagdad ses contemporains — il avait eu le goût des choses de l'esprit, et compris que c'était là une des supériorités «par lesquelles, comme il le disait, le peuple romain est estimé et admiré de tous».[6] On conservait par ailleurs le splendide et minutieux procès-verbal des triomphes qu'il avait célébrés en rentrant vainqueur à Constantinople[7] et où, à travers la ville, «parée comme une chambre de noces», un long cortège se déroulait, éblouissant de l'éclat des costumes et du flamboiement des armes, depuis la porte d'Or jusqu'au palais

---

1) Ibid., p. 76.
2) Byz. Zeitschr., I. p. 361—365.
3) Théoph. cont., p. 139. La description de ces constructions remplit les pages 139 à 148 du chroniqueur.
4) Pseudo-Syméon (dans l'édition de Théoph. cont.), p. 627; Georges le moine (ibid.) p. 793.
5) Ibidem, p. 627, 793.
6) Théoph. cont., p. 193.
7) De Cerim., p. 503.

sacré. De tout ce déploiement de luxe, de tout cet étincellement de pierreries et d'or, l'imagination populaire avait gardé un souvenir émerveillé. Et volontiers on racontait l'histoire de l'ambassade fastueuse que Théophile avait envoyée à Bagdad, et où, «pour montrer aux Sarrasins la puissance de l'autocrator», l'ambassadeur avait répandu l'or «comme le blé», si bien que les sujets du Khalife, éblouis, disaient: «Si l'ambassadeur répand ainsi l'or comme le sable, combien le maître qui l'envoie doit-il donc posséder de trésors».[1]

On contait sur Théophile d'autres pittoresques histoires. C'était celle de son mariage, lorsque, comme Pâris entre les trois déesses, il s'était promené, une pomme d'or à la main, entre les jolies filles candidates à l'alliance impériale, et avait semblé un peu gauche, en face d'une femme d'esprit.[2] D'autres anecdotes assurément le montraient sous un jour plus fâcheux, persécutant, avec un despotisme de sultan oriental et une cruauté souvent aggravée d'ironie, les moines pieux, défenseurs des images, qui osaient lui résister. Mais à ces tragiques épisodes de la persécution religieuse se mêlaient de jolis contes pleins de bonhomie, où l'on voyait le farouche empereur quelque peu berné par l'impératrice sa femme et par sa belle-mère Théoctiste, toutes deux pieusement attachées aux images.[3] Au vrai, de tout cela on avait cessé peu à peu de tenir rigueur à Théophile. Un poète du XII[e] siècle, Constantin Manassès, qui écrivait vers le temps même où était composé le Timarion, rappelait dans sa chronique en vers que, si l'empereur avait été fâcheusement iconoclaste, pour tout le reste il avait été[4] λαμπρόψυχος καὶ μεγαλογνώμων — καὶ τοῦ δικαίου φροντιστῆς καὶ τῶν ἐνδίκων νόμων. Ailleurs ce même auteur vantait chez l'empereur le goût qu'il eut de la justice et l'impartialité de ses jugements.[5] Et c'était là vraiment le grand souvenir que Théophile avait laissé. «Tu sais, dit un des personnages du Timarion, pour l'avoir entendu de ceux qui ont raconté son histoire, qu'il était le plus juste des hommes «ὡς λίαν δικαιότατος ἦν»,[6] et ailleurs il est dit que «c'est par l'exactitude de sa justice (τῇ εὐθυδικίᾳ) et par ses autres vertus qu'il a été illustre et, honoré.»[7] La justice de Théophile, c'était là son grand titre de gloire, le trait sur lequel, avant tout autre, insistaient, dès le début de leur récit, ses historiens.[8]

*

L'empereur avait l'habitude, une fois par semaine de se rendre à cheval du palais à l'église des Blachernes. Au cours de cette promenade, qui lui faisait traverser Constantinople tout entière, il se plaisait à s'arrêter au marché, s'informant du prix des denrées, des boissons, des vêtements; mais surtout il voulait donner ainsi à tous ceux qui avaient à présenter une requête ou une plainte une occasion facile de l'approcher.[9] Si l'on songe combien un empereur byzantin était malaisément accessible,

[1]) Théoph. cont., p. 96.
[2]) Georges le moine, p. 790.
[3]) Théoph. cont., p. 90—92.
[4]) Constantin Manassès (éd. Bonn), vers 4790—4792.
[5]) Ibidem, vers 4832—4833.
[6]) Ellissen, loc. cit., p. 72.
[7]) Ibidem, p. 76.
[8]) Théoph. cont., p. 86.
[9]) Ibidem, p. 87.

combien la sévérité de l'étiquette éloignait de lui le peuple, il y a assurément quelque chose d'assez remarquable dans ce désir de se rendre compte et de faire justice, qui rappelle un peu les promenades nocturnes que le contemporain de Théophile, le khalife Haroun al Raschid, faisait incognito dans les rues de Bagdad. Et les anecdotes que racontent les chroniqueurs attestent que ce désir ne demeurait point sans effet.

Un jour que le prince allait aux Blachernes, une pauvre femme vint tout en larmes se jeter à ses pieds, se plaignant que sa maison eût perdu l'air et la lumière du fait du palais somptueux et colossal qu'élévait tout auprès le drongaire de la veille — nous dirions à peu près le préfet de police — Pétronas. Or ce très haut personnage était par surcroît le propre frère de l'impératrice. Mais le prince n'en prit nul souci. Ordonnant de vérifier sans retard si la femme disait vrai, et ayant su que sa plainte était juste, il fit en pleine rue déshabiller et battre de verges le coupable; puis il commanda de raser le palais, et fit don du terrain à la femme.[1]

Une autre fois, ce fut une autre affaire. Hardiment une femme, se jetant à la tête du cheval que montait l'empereur, l'arrêta par la bride et déclara que la bête de prix que chevauchait le souverain lui appartenait. Grand émoi de Théophile qui, aussitôt rentré au palais, se fit amener la plaignante et voulut lui-même l'interroger. Elle raconta que le stratège de la province où elle habitait avait enlevé de force le cheval à son mari, et l'avait, pour faire sa cour, offert en cadeau à l'empereur; en suite de quoi le soldat, à qui la bête appartenait, avait dû faire campagne dans l'infanterie et avait été tué à l'ennemi. Mandé devant l'empereur, le stratège d'abord nia tout; mais confronté avec la femme, il dut avouer sa faute et demander grâce. Il fut destitué, et une partie de ses biens confisqués fut attribuée à la plaignante.[2]

Ce ne sont là, comme dit Constantin Manassès, que des exemples de la justice de Théophile, «comme une goutte tirée de la mer, comme une étincelle jaillie d'un grand feu»[3]; ils suffisent à montrer combien l'empereur, selon le mot du chroniqueur, aimait à accueillir les requêtes et était soucieux de justice (τὸ φιλήκοον τοῦ βασιλέως καὶ φιλοδίκαιον)[4] et ils expliquent pourquoi l'auteur du Timarion, voulant placer un juge chrétien au tribunal infernal, a pensé tout naturellement au souverain qui avait gardé dans l'histoire le renom glorieux de justicier intègre et impartial entre tous.

L'histoire que je viens de raconter suggère une dernière remarque. L'Orient a, pour sa justice, célébré l'empereur Théophile: de même le moyen âge occidental a, pour sa justice, glorifié l'empereur Trajan.[5] On connaît la légende du César romain partant pour la guerre et s'arrêtant afin de rendre justice à la mère qui demande le châtiment des meurtriers de son fils. On sait aussi comment, bien des siècles plus tard, le pape Grégoire le Grand, ému de cet acte de l'empereur, demanda à Dieu et obtint, dit-on, par ses prières, que l'âme du prince païen fût reçue au paradis[6] et comment cette histoire, répétée à travers tout le moyen âge, est venue jusqu'à Dante qui l'a

---

1) Pseudo-Syméon, p. 627—628. Cf. Constantin Manassès, vers 4832 et suiv.
2) Théoph. cont., p. 93—94.
3) Constantin Manassès, vers 4835—4836.
4) Théoph. cont., p. 94.
5) Cf. de la Berge, Essai sur le règne de Trajan, p. 292—299.
6) Jean Diacre, Vita Greg., IV, 44.

immortalisée dans la Divine Comédie.[1] A la justice de Trajan la justice de Théophile fait pendant. L'Occident catholique a, pour sa justice, pardonné à Trajan son paganisme et l'a fait monter de l'enfer au paradis chrétien. L'Orient orthodoxe a, pour sa justice, pardonné à Théophile son hérésie et ses cruautés et l'a fait lui aussi, asseoir au paradis. Car ce n'est point de l'enfer chrétien qu'il s'agit dans le Timarion, mais bien de l'Hadès antique, et c'est dans la prairie lumineuse, pleine d'ombrages, d'eaux courantes et de fleurs, dans le lieu que l'auteur nomme »la prairie des asphodèles, la plaine élyséenne«,[2] que siège, auprès de Minos et d'Eaque, le souverain byzantin. Pour cette société byzantine toute pénétrée encore des souvenirs classiques, les Champs Elysées, n'est-ce pas toujours une forme du paradis?

Ch. Diehl.

---

¹) Purg., X, 73 et suiv.; Paradis, XX, 106 et suiv.

²) Ellissen, loc. cit., p. 73—74.

ZUR WESTSIBIRISCHEN GRUPPE DER »SCHAMANISTISCHEN FIGUREN«

In seiner grundlegenden Arbeit „Шаманскія изображенія" in den Zapiski VIII. 1, S. 29—145 (J. 1906) der Russ. Abteilung der Russischen Archäologischen Gesellschaft stellt A. A. Spicyn eine Figurengruppe von grober technischer Ausführung als eine eigene (VII.) Sondergruppe der schamanistischen figuralen Darstellungen zusammen. Es handelt sich um gewisse, ein wenig heterogene Erscheinungen, die nach Spicyns Meinung bestimmte schamanistische Szenen und Gebräuche darstellen. Eine Datierung wird nicht versucht. Obwohl Verfasser das ziemlich hohe Alter seiner Figuren erkennt, weist er auch auf analoge und späte, beinahe ethnographische Kompositionen der Jugravölker hin. Spätere Funde haben Spicyn darin recht gegeben, daß die Gruppe wirklich einheitlich ist; sie ist alt und scheint geographisch auf das Uralgebiet und Westsibirien begrenzt zu sein. Es ist jetzt eine beträchtliche Zahl der betr. Funde bekannt.

I. Das Finnische Nationalmuseum zu Helsinki bekam im Jahre 1914 durch Dr. K. R. Donner eine Kollektion von Altertümern von Herrn V. J. Nagnibjeda zum Geschenk, die im Kr. Narym in Sibirien, an der Čižapka,[1] in Raskat bei Ragovica gefunden worden waren. Eine Reihe dieser Gegenstände wurde in „Finskt Museum" 1916, S. 71 von Prof. A. Hackman veröffentlicht. Später ist der Fund vom Unterzeichneten in Eurasia Septentrionalis Antiqua (= ESA), Bd. III, S. 159 ff., erwähnt und mit einigen Randbemerkungen versehen worden.

Der Fund (Hels. Mus. 6607, 1—21) besteht aus 21 Gegenständen. Ich habe die Sachen später aufs Neue untersucht und beobachten können, daß sie alle viel einheitlicher sind, als anfangs angenommen wurde. Einige der Bruchstücke lassen sich zusammenstellen und wahrscheinlich hatten alle ursprünglich die Form eines ortbandähnlichen Gegenstandes: unten etwas zugespitzt, u- oder v-förmig, in der Mitte mit Gitterwerk versehen (Taf. I).

Der Guß dieser Sachen ist grob. Sie sind sämtlich in einseitigen Formen gegossen. Die eine Seite ist ganz flach, ohne jegliche Details oder Ornamente, was beweist, daß der Guß in einer einseitigen Form ausgeführt worden ist. Die obere Seite ist schwach gewölbt. Einige Gegenstände weisen schwache Relieflinien auf, welche Körperformen andeuten sollen (Taf. I, Abb. 2, 3, 15). Die Ränder sind nach dem Guß nicht abgeputzt worden. Sogar deutliche Fehler im Guß wurden nicht beseitigt. Die Technik ist also die denkbar einfachste und unvollkommenste. Es ließe sich denken, daß die technische

---

[1]) Am Obflusse. Die hier zu erwähnenden Flüsse, am südlichsten Iksa, am nördlichsten Vasjugan, münden auf der Westseite in den Ob.

Fertigkeit im sibirischen Waldgebiete nur wenig vorgeschritten war; im Ural jedoch waren sicher schon damals gut ausgeführte Bronzen einheimischer Herstellung im Gebrauch. Der schlechte Guß könnte also absichtlich angewandt worden sein. Wie wir sehen werden, ist nämlich diese Technik — wie ja schon Spicyn bemerkt — für die ganze hier zu behandelnde Gruppe von Gegenständen charakteristisch. Sollte die Technik vielleicht von den Holzgegenständen übernommen worden sein?

Was die Morphologie der Formen der Raskater Bronzen anbelangt, kann Folgendes hervorgehoben werden. Die zwei aufrechtstehenden Ränder zeigen öfters Reminiszenzen von mehr oder weniger deutlichen Tieren: ein im Profil dargestellter Elch mit oder ohne Geweih. Die Mittelpartie dürfte ursprünglich rein ornamentalen und technischen Charakters gewesen sein, hat aber schon früh anthropo-zoomorphe Darstellungsformen erhalten, die vielleicht bisweilen aus dem Rahmen herausgebrochen wurden und Selbstzweck erhielten. Die Abbildungen veranschaulichen die Formen, wobei die Verschiedenheiten deutlich zu Tage treten. Es handelt sich unbedingt um gleichzeitige Varianten eines gemeinsamen Grundthemas. Die Varianten lassen vielleicht eine gemeinsame Urform rekonstruieren. Nichts kann unrichtiger sein, als sie aus typologischen Gründen eine chronologische Reihenfolge vertreten lassen zu wollen.

Aber handelt es sich um e i n e Urform für die ganze Gruppe? Vielleicht waren es verschiedene Urformen, die verschiedene Ideen vertraten und nur durch das technische Verfahren ein einigermaßen einheitliches Aussehen erhielten. Um weiter zu gelangen, sehen wir uns veranlaßt, die anderen analogen Funde einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen.

II. Der östlichste mir bekannte betr. Fund ist der berühmte Fund von I š i m k a, 50 W. nördl. von der Stadt Ačinsk im Jenisseibezirke, am linken Ufer des Čulymflusses (Nebenfluß des Ob, von östlicher Seite). Der FO ist eine Morasteninsel im Taigagebiete. Es handelt sich um einen Schatzfund. In etwa 15—25 *cm* Tiefe wurden 140 Gegenstände gefunden, die vielleicht in einem Leinentuch versteckt worden waren. Der Fund wurde im Jahre 1914 in einer mit sehr guten Abbildungen versehenen Sonderpublikation veröffentlicht.[1] Er stammt aus der Zeit um Chr. G.: der Hanzeit Chinas, der sarmatisch-hellenistischen Zeit Südrußlands. Zum Funde gehören 13 Eisendolche oder Schwerter, 7 lange Angonen und Tüllenlanzen, 20 eiserne und 2 bronzene dreikantige Pfeilspitzen, 38 Scheiben und Metallspiegel, darunter einige chinesische Hanspiegel, Nadeln, Gürtelbeschläge, Ringe, Plakette, sog. permische Vogel- u. a. Figuren, eine Pjanoborschnalle[2] und 8 Gegenstände von der uns hier interessierenden Form.

Die kulturelle Orientierung des in Rede stehenden Fundes ist westlich. Wenngleich die Fundsachen an Ort und Stelle verfertigt sein können, so sind doch die allermeisten Typen westlichen Ursprungs. Die östlichen Hanspiegel tun nur das Zeitverhältnis, nicht aber die Kulturorientierung des Fundes dar. Es handelt sich in diesem Falle um die östlichsten Ausläufer einer Kultur, die über das westsibirische Waldgebiet vom Ural bis zum Jenissei verbreitet und kulturellen Einflüssen teils von den Steppen, teils von Ostrußland ausgesetzt gewesen war. Zu den l o k a l e n Elementen dieser

[1]) A. Jermolaev, Ишимская коллекція. Описаніе колл. Красноярскаго музея I. Krasnojarsk 1914.

[2]) Tallgren, Collection Zaoussaïlov II, S. 12. M. Chudjakov, „Эполето-образные“ застежки Прикамья. Сборник (аспирантов). Leningrad 1929, S. 41 ff.

1 2 3 10 11 12

4 5 6 13 18 14

7 8 9 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kulturprovinz gehören vor allem die durchbrochenen Tierdarstellungen, die den Gegenstand dieses Aufsatzes bilden.

Alle 8 Figuren (Taf. II, 20—27) dieser Gruppe in Išimka sind aus reinem Kupfer im Guß verfertigt. Ihre Technik ist genau dieselbe wie diejenige der vorigen, der Raskater-Gruppe. Auch hier hat keine Nachbehandlung, keine Beseitigung gußtechnischer Mängel stattgefunden. Auch die Oberfläche ist nicht geglättet, Edelpatina ist nicht vorhanden. Wie Jermolaev richtig bemerkt, machen die Sachen einen unbenutzten Eindruck.

Ich bilde hier nach Jermolaev, jedoch in anderer Reihenfolge und oft umgekehrt, die durchbrochenen Figuren ab. Wir finden, daß die Sachen auch in diesem Falle u- oder v-förmige Rahmengegenstände sind. Rein objektiv genommen, steht es gewiß nicht einwandfrei fest, daß die Taf. II, 21, 24--26 zu dieser Gruppe gehören. Sollte dies der Fall sein, so sind sie schon weiter entartet, die Linien sind verschwommen und die Tierform ist weniger naturalistisch. Man erkennt aber immer noch den Elch in den Taf. II, 21—24 wieder, sogar mit Geweih (Taf. II, 21); das innere Gitterwerk in Taf. II, 24 ist jedoch schon animalisch behandelt, sodaß das Ganze wie eine Verdoppelung des Rahmentieres aussieht. Taf. II, 21, 25 haben je einen Tierkopf zu beiden Enden der Stange. Trotzdem bin ich persönlich davon überzeugt, daß man in allen diesen Fällen Entartungen des Typus Taf. II, 20 vor sich hat und daß diese verhältnismäßig deutlichen Varianten uns wichtige Fingerzeige bezüglich der Genesis einiger später zu behandelnder Varianten geben. 2—18, 29, (Reihenfolge: Taf. II, 20; II, 10; II, 24; II, 21).

Das Tomsker Territorialmuseum (Краевой Музей) besitzt aus dem Narymgebiete einige Schatzfunde von Gegenständen „in grobem Bronzeguß".

III. Der erste, Taf. II, 2—18, 29, wurde von Bauern im Jahre 1920 während Feldarbeiten auf dem Kulaikaberge in D. Podgornoje an der Mündung der Iksa (alias Kviega oder Iega) in die Čaja gefunden.[1] Der unzweideutige Verwahr- oder Opferfund lag untief. Von den ursprünglich sehr zahlreichen Gegenständen gelang es dem genannten Museum im J. 1922 und 1927 nur einen Teil zu erwerben. Hierzu gehören ein sog. „skythisches" Bronzegefäß, 21 *cm* hoch, eine Anzahl bronzener dreikantiger Pfeilspitzen, eine Menschenfigur,[2] eine dünne Bronzescheibe, eine Adlerfigur mit einem Menschengesicht auf der Brust, zoomorphe Figuren u. a. m. Weiter 13 Gegenstände der uns jetzt interessierenden Gruppe.

Von den letzterwähnten kleinen Bronzen zeigen zwei die Form Taf. II, 2, 4, zwei (II, 18), erinnern stark an die Abb. I, 12, eine hat Gitterwerk wie II, 21 mit kleinen schematischen Vogelfiguren an dem einen Rande (Taf. III, 6). Die anderen sind selbstständige kleine Tierfiguren mit halboffenem oder geschlossenem Körper, Taf. III, 5—7, 9—10, 14. Die halbdurchbrochenen Tiere dominieren.

Bei seinen späteren Ausgrabungen hat Herr Mjagkov auf dem Burgberge — der wohl wie der Gljadenovo[3] ein Opferberg gewesen sein dürfte — mehrere ähnliche Gegenstände gefunden, von denen einige Abbildungen unter Taf. II wiedergegeben sind. Trotzdem diese Sachen nicht zum Schatze selbst[4] gehört haben dürften, bezeichne ich hier den Fundort, den Kulaikaberg, mit der gleichen Nummer.

[1]) N. Mjagkov, Находка на горе Кулайке. Труды Томского краевого музея I. Tomsk 1927.
[2]) Wie Отчетъ Арх. Комм. (= ОАК) 1899, S. 137, aus dem Kr. Tjukalinsk, Sibirien.
[3]) A. Spicyn, Гляденовское костище. Записки Русск. археол. общества XII. I. (1901).
[4]) Mjagkov, Древности Нарымского края (в собрании Томского краевого музея). Труды Томского краевого музея II. Tomsk 1929.

IV. Eine zweite Fundstelle liegt etwa 27 *km* vom D. Podgornoje entfernt, am Bokčar (Nebenfluß der Čaja). Auch in diesem Falle handelt es sich um einen Schatzfund. Ein „skythischer“ Kessel mit einer großen Menge von Gegenständen wurde im Felde gefunden, jedoch nur z. T. vom Museum erworben. Eine von Herrn Mjagkov im J. 1928 vorgenommene Nachgrabung entblößte noch 8 neue Gegenstände unserer Gruppe.

Auf den Tafeln II, 1, 8, 11—13, 15—16, III, 9 werden die wichtigsten dieser Sachen nach Mjagkov veröffentlicht. Man kann zwei Hauptgruppen unterscheiden: erstens durchbrochene Tierfiguren (Elch, bisweilen doppelt), die zu den Rahmenfiguren der früher erwähnten u-förmigen Gegenstände gerechnet werden können, und zweitens Stangen mit tierförmigen Sprossen, die mehr oder weniger phantastische Formen aufweisen (Taf. II, 1, 8, 11) und die bestimmt morphologisch mit Figuren wie I, 12 verbunden werden können. Eine eigentümliche Variante, die die Entartung in interessanter Weise veranschaulicht, stellt schließlich Fig. III, 9 dar. Man sieht hier die u-Form, bei welcher die Rahmenstangen nicht mit Elch- sondern mit Menschenköpfen verziert sind und in der Mitte eine menschliche Figur hängt. Diese dürfte den Künstler suggeriert haben, die Seiten mit Menschenköpfen zu versehen.

In dem Aufsatze Mjagkovs werden noch sieben andere Fundorte im Narymkreise (V—XI) erwähnt, bei denen die Fundumstände meistens unbekannt geblieben, die Gegenstände selbst aber in das Tomsker Museum oder zu einer privaten Sammlung gekommen sind. Als Fundgegend wird das Gebiet Čaja-Vasjugan genannt. (Fundorte Fl. Bundjur, Fl. Njursa, Fl. Parabel.) Die Funde bestehen aus skythischen Kesseln, Tierplaketten,[1] Gußdegel, aus Gljadenovo-Typen und durchbrochenen Gegenständen der uns interessierenden Gruppe. Von letztgenannten bilde ich aus der Arbeit Mjagkovs die interessantesten ab: III, 7 von demselben Typus wie III, 6 von Kulaika und III, 8 mit zwei affrontierten Vierfüßern mit offenem Maul. Steht diese Figur in Beziehung zu III, 6, 7 und I, 12? Die Komposition ist nicht mehr zu erkennen. Das gleiche gilt von den Menschenfiguren III, 4, 5, die mit Relieflinien auf dem Körper und Tier-, bzw. Vogelköpfen versehen sind. Analogien finden sich innerhalb der Gruppe (siehe II, 3), jedoch steht die Genesis dieser Plaketten augenblicklich nicht einwandfrei fest. Die Vögel finden wir z. B. in den Kulaikafiguren II, 2 und III, 10 wieder. Sicher sind die Formen z. T. durch Liniensuggestion spontan entstanden, aber wie? — Eigentümlich aber verständlich, ist schließlich II, 19.

Außerhalb Sibiriens, wo das Zentrum im Taigagebiete zwischen Ob und Irtysch zu liegen scheint, findet man durchbrochene Bronzearbeiten in schlechter Gußtechnik noch im Ural, in den angrenzenden Provinzen von Perm und Ufa. Mir ist der folgende Fund bekannt: XII. Gouv. Ufa, an dem Kučanakflusse (Nebenfluß der Bjelaja). Nähere FU unbekannt. Die Gegenstände, im Museum von Ufa, bestehen aus 3 Bronzespiegeln mit Schaftansatz, einem feinen, sehr interessanten chinesischen Bronzespiegel der Hanzeit mit stilisierten Tier- und Menschendarstellungen, einer Bronzescheibe im groben

---

[1]) Auch eine Nachahmung einer sibirischen Goldplakette soll hierher gehören. Wenn die Fundumstände feststånden, würde man, wie Mjagkov, beweisen können, daß die hier behandelten Kulturen des Narymkreises unter dem Einfluß der westsibirischen „Gold“-Kulturen gestanden haben und mit diesen gleichzeitig sind. Ich halte dies für durchaus möglich und wahrscheinlich, will aber diese Vermutung keiner eingehenden Erörterung unterziehen.

Guß, mit einem groben Vierfüßer in Relieftechnik auf der Oberfläche, einer Schale, einer bronzenen Tüllenlanze und 5 Bronzen von der jetzt von uns behandelten Form[1] (Taf. III, 11—15). Wie aus den Abbildungen ersichtlich, sind zwei derselben (III, 12, 14) „Brettchenidole“, mit ringförmigen Augen, Mund und Haar durch Relieflinien angedeutet (vgl. I, 2, 3), wohingegen Abb. 11 ein Tierchen, Abb. 13 eine ortbandförmige Scheibe mit 2 groben Vierfüßern zuoberst und zwei baumähnlichen Streifen mit grob angedeutetem Gesicht, darstellen (Vgl. I, 11). Die fünfte Figur (III, 15) kann ich nicht definieren. (Vgl. I, 16). Die Scheiben sind nicht abgeputzt.

Die anderen ostrussischen Parallelen sind etwas verschieden, obwohl diejenigen örtlichen Gruppen von Altertümern, die mit den erwähnten westsibirischen Figuren in Kontakt stehen, deutlich erkennbar sind. Ich meine teils die ostrussischen sog. Gljadenover Figuren, teils einige andere eigentümliche, alte Bronzen: Vogelfiguren mit ausgebreiteten Flügeln (wie ESA III, S. 153, Abb. 15—16), grobe platte Menschenfiguren (wie Spicyn, Шам. изобр., Abb. 437 ff.) und den Fund mit „sarmatischen“ Kriegerfiguren von Sapogovo (vgl. OAK 1911, S. 87). Sie sind chronologisch einheitlich. Ein Blick auf die Gljadenover Figürchen zeigt, daß sie, obwohl viel reicher an Kompositionen — Reiterdarstellungen, Doppelmenschen, Schlangen, Bienen — mannigfaltige Übereinstimmungen mit den oben behandelten westsibirischen Figuren aufweisen. An der Čižapka ist ja übrigens eine echt Gljadenover Rahmenfigur, ähnlich der Spicyn, Gljadenovo Taf. II, 16 abgebildeten, gefunden. Das Išimka-Tier, Tab. II, 23 rechts — obwohl eine Elchfigur — stellt eine zoologisch nicht bestimmbare Tierfigur wie Spicyn, loc. cit. Taf. III, 15 dar. Trotz Parallelen handelt es sich nicht um Vertreter einer einheitlichen Kultur. Viel näher den hier zu behandelnden Figuren kommen diejenigen von Istjackie jurty,[2] die nahe Beziehungen auch zu Gljadenovo aufweisen. Die Gegenstände von Istjackie jurty wurden in einem Helm gefunden. Mehrere Phaleren, u. a. eine Schale mit Dianabild,[3] griechisch-baktrisch, chinesische Spiegel u. a. m., gegossene Einzeltiere mit nicht abgeputzten Rändern gehören zu dem Funde. Unter den Figuren glaube ich den Elch nicht wiederzufinden. — In diesem Falle handelt es sich, wie bei den meisten sibirischen Analogien, um einen Schatz- oder Votivfund. Gljadenovo ist ja ein Opferberg.

Nach Spicyns Atlas von den Шаманскія изображенія erwähne ich noch weitere, osteuropäische Analogien, zuerst die kuriösen heraldischen Reiterfiguren aus dem Gouv. Perm, Spicyn, Abb. 87—93, die vielleicht mit den u-förmigen Gegenständen (bes. a. A., Abb. 92) zu verbinden sind. Spicyn nennt sie „unverständlich“. Ich glaube sie der Obgruppe zurechnen zu können. Vielleicht noch sicherer ist die Zusammengehörigkeit der Obgruppe und der Figuren von Losva, Tobolsk usw., Spicyn, Abb. 437 ff. Das Idol, Spicyn, Abb. 453, läßt sich mit unserer Abb. I, 2—3 ohne weiteres vergleichen, ebenso wie auch die Gußform, Abb. 28 in ESA III, S. 159. Die Vögelchen mit profiliertem Schnabel und ausgebreiteten Flügeln, Spicyn, Abb. 456—469, sind mit den Vögeln aus Kulaika II, 2 u. III, 6 und Nursa III, 7 identisch. Das Zentrum dieser Menschen- und Vogelfiguren-Gruppe ist der Ural. Vgl. auch Spicyn, loc. cit. Abb. 314, 315, 365, 406—409, 470—471, 473—474. — Die „sarmatischen“ Idole von Sapogovo

---

[1]) N. I. Boulitchov, Древности изъ восточной России II, Pl. II, 3—7.

[2]) Zwischen Tobolsk und Omsk. Vgl. Heikel, Antiquités de la Sibérie occidentale, S. 70.

[3]) Recueil Kondakov, Pl. XXV. 1.

(OAK, 1911, S. 87; vgl. auch Mémoires de la Soc. Finno-Ougrienne 58, S. 223) zeigen groben Guß und Relieflinien, die Rippen und Gesichtszüge darstellen, wie aus Abb. III, 4, 5, ersichtlich ist. Man erinnere sich übrigens, daß die Relieflinien-Technik in den eurasischen Waldgebieten schon in der BZ für Ornamente fast immer verwendet wurde. Es ist also ein nationaler alter Zug an den figürlichen Darstellungen der uns jetzt interessierenden Gruppe.

Die Chronologie der hier behandelten Figuren bereitet keine Schwierigkeiten. Die Hanspiegel von Išimka, die hellenistische Dianaphalera von Istjackie jurty, die skythischen Schalen von Narymkreise beweisen einhellig, daß es sich um die Zeit um Chr. Geburt handelt. Derselben Zeit gehören die ostrussischen Pjanoborfibeln an sowie die Funde des Gladjenover Opferberges. Diese chronologisch einheitliche Kultur des Waldgebietes umfaßt ohne Zweifel geographische Sondergruppen, die aber in Beziehung zu einander stehen und die bestimmten gemeinsamen Einflüssen der südlichen Kulturen unterworfen gewesen waren, nämlich der westsibirischen Goldplakettenkultur und der sarmatischen Steppenwelt. Auch der baktrische Einfluß ist für ihre Entwicklung von Bedeutung gewesen.

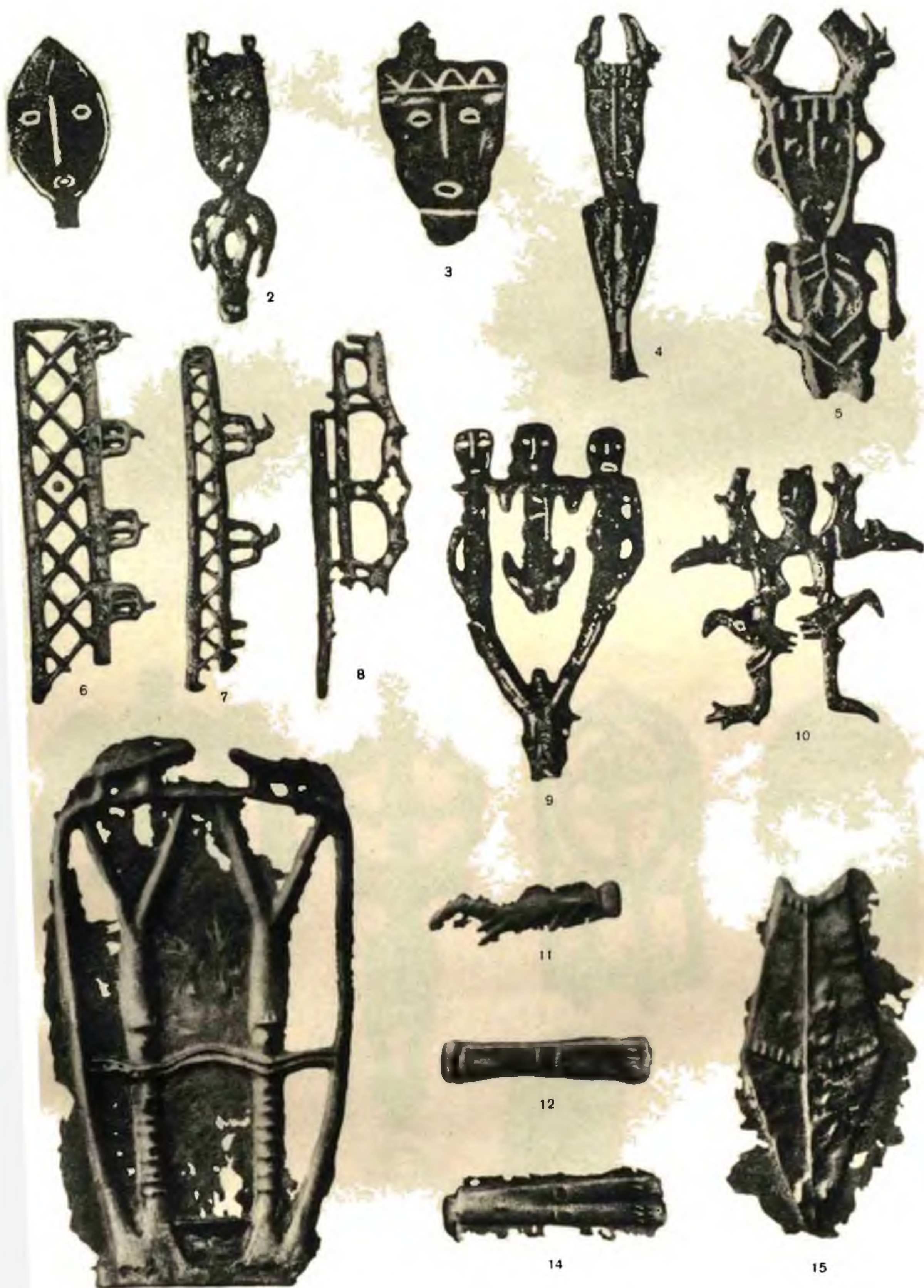
Die Frage hinsichtlich des morphologischen Ursprungs der merkwürdigen westsibirischen Gruppe von Figuren kann noch nicht entschieden werden. Mir scheint es, als ob wir mit drei verschiedenen Möglichkeiten rechnen könnten: A. Entweder handelt es sich um eine lokale Erscheinung, wobei die Jagdtiere, besonders der Elch, abgebildet wurden und die ganze Gruppe eine einheimische Kultur jagdmagischer Darstellungen vertritt. Oder B. es sind entlehnte Motive, die hier aufgenommen, mißverstanden und weiterentwickelt wurden bzw. entarteten. In diesem Falle kann letzter hand nur der Süden befruchtend gewirkt haben. Endlich aber ließe sich C. auch denken, daß die Genesis der Gruppe nicht einheitlich ist, sondern die Figuren vielmehr verschiedene Mythen und Märchen darstellen.

Zum Vertreter der ersten Auffassung macht sich vor allem Mjagkov in seinen mehrfach zitierten und wirklich sehr ergiebigen Aufsätzen. Er erinnert daran, daß die dargestellten Tiere meistens Elche sind und daß diese von ökonomischer Bedeutung gewesen sind. Er, der im übrigen die Chronologie der verschiedenen Kulturen richtig bestimmt hat, macht sogar geltend, daß wir in der betreff. Gruppe die Vorstufe der späteren, phantastischen permischen Figuren zu erblicken hätten und also eine ununterbrochene, lange einheimische Kulturlinie verfolgen könnten (Vgl. unten, S. 108).

Die Erklärung ist ansprechend und ich gebe zu, daß sich Tatsachen anführen ließen, die für die Annahme dieser Theorie sprechen. Falls es sich um schamanistische Bilder handelt — und das dürfte zutreffend sein — hätte man Parallelen zu diesen Figuren in den bekannten Figürchen, die man bei den heutigen „Inorodzen" noch jetzt als Gehänge an die Schamankostüme anzunähen pflegt, und die „Kor", Hilfsgeister des Schamans darstellen (Taf. IV. Abb. 1, 2). Sie sind wohl häufig naturalistischer als die Gruppe, mit welcher wir uns hier beschäftigen; aber auch stilisierte Tiere sind in der mythischen Volkskunst der Taigavölker gut bekannt. Ich denke hier an die bemalten Figuren der Zaubertrommel und an die sibirischen Felsenzeichnungen, bes. im mittleren Jenisseigebiete.[1] Auch diese dürften auf Jagdmagie zurückzuführen sein.

---

[1]) Adrianov, Писаницы по рѣкѣ Манѣ. Записки der Russ. Abteilung der Russ. Archäol. Ges. IX (1913). Kiselev in den Труды секции археологии РАНИОН V S. 97 (1930).


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vieles scheint allerdings für die zweite Annahme zu sprechen, besonders die phantastischen Darstellungen der durch Suggestion entstandenen zufälligen Bilder. Ich persönlich bin der Ansicht, daß die Figuren ursprünglich fremde Motive darstellen, die kopiert und mißverstanden wurden, aus welchen sich aber bald bestimmte, später wiederholte Bilder entwickelten. Ich denke an eine ähnliche Entwicklung wie die der schwedischen sogenannten Goldbrakteaten, die ursprünglich entartete oströmische Kaisermedaillen waren, dann durch phantastisches Linienspiel dem Verfertiger zur Darstellung von Götterbildern suggerierten und in dieser Form festgehalten wurden.

Als Stütze für diese Annahme erlaube ich mir daran zu erinnern, daß mehrere der gleichzeitig mit Funden der fraglichen Figürchen gemachten Begleitfunde, wie Dolche, Pfeile, Kessel, Gürtelschmuck, die Dianaschale, mit Sicherheit als südliche Steppenkomponente anzusprechen sind, und daß die „permischen" schamanistischen Darstellungen, obwohl in einer anderen Gußtechnik ausgeführt, auf südlichere Urtypen, wie Sirenen,[1] Rolltiere usw. zurückgehen, die mißverstanden, lokal behandelt und umgebildet wurden. Schließlich glaube ich, den Urtypus nachweisen zu können, der die Anregung zu den durchbrochenen Figuren der Taigagruppe gegeben hat. Ich meine die sog. Stangenköpfe.[2]

Es handelt sich um eine Gruppe religiöser Gegenstände, die große Verbreitung in Vorderasien, incl. Persien,[3] gefunden haben und die durch die Skythen in den eurasischen Steppen bekannt wurden und dort Verwendung fanden, vielleicht sogar als Amulette am Pferdezeug. Es sind ziemlich hohe plastische Geräte, Stangen, Röhrchen, Taf. IV, 3, 4 deren Kopf mit phantastischen anthropo- und zoomorphen Figuren geschmückt ist. Ich bilde hier zwei von diesen Gegenständen ab. In den etwas variierenden Darstellungen ziemlich stark stilisierter Figuren sind m. E. alle diejenigen Elemente vorhanden, die wir in der uns jetzt interessierenden Gruppe westsibirischer Figuren wiederfinden. Wir finden die zwei aufwärts gebogenen Rahmenfiguren, die eine anthropomorphe Figur umgeben. Wir finden auch Randtiere um eine lange schmale Stange (Taf. IV, 3) (Luristan, Persien), die sich stark an die Taf. II, 1, 8, 11 anlehnen. Bei der Übernahme dieser Motive im Waldgebiete hat man entweder die ganze Figur nachgebildet (Taf. II, 20) oder nur einige Einzelheiten, wie z. B. die Rahmentiere einzeln oder zusammen, oder auch nur die mittlere Stange mit den Accessoiren (vgl. die Taf. I, 12, II, 1, 8, 11).

Barbarisierung und Nationalisierung waren selbstverständliche Begleiterscheinungen bei der Überführung; mehrere Details wurden fortgelassen oder mißverstanden und die richtig aufgefaßten Formen erfuhren eine einheimische Entwicklung: so die Formen des Kopfes, die Gesichtszüge, die Ornamente und die Technik. Dies ist aber an sich durchaus natürlich und nicht anders zu erwarten. Die Veränderung ist nicht größer, als vorauszusehen war.

Falls dieser Deutungsversuch stichhaltig sein sollte, müßte man annehmen, daß die aus den Randtieren der Stangenköpfe (wie Abb. I, 7) hervorgegangenen Elchfiguren sich allmählich separierten und dann zu Doppeltieren (Tab. II, 24, 9 usw.) weiterentwickelten.

---

[1]) A. V. Schmidt, К вопросу о происхождении пермского звериного стиля. Сборник муз. антр. и этногр. VI.

[2]) Rostovtzeff, Iranians and Greeks. Pl. II.

[3]) The Illustrated London News 1930, 391 u. 392, 6./IX. u. 13./IX.

Obwohl ich nicht an die dritte Theorie von der heterogenen Genesis unserer Figuren glaube, möchte ich doch etwas anführen, was für dieselbe zu sprechen scheint. Wie schon oben erwähnt, haben die durchbrochenen Bronzen Analogien unter einigen freien Plaketten Sibiriens (vgl. II, 29) und Ostrußlands, z. B. unter den anthropomorphen Idolen der Schamankostüme. Diese könnten vielleicht wohl Weiterentwicklungen ausgebrochener Mittelfiguren der durchbrochenen Bronzen sein (vgl. III, 4, 9); die Annahme dieser Genesis scheint jedoch etwas gesucht zu sein, umsomehr als sie ihre natürlichen Gegenstücke und wahrscheinlich Vorbilder in den alten hölzernen Brettidolen des Uralgebietes besitzen. In diesem Falle ließe sich also die Möglichkeit annehmen, daß die Einzelfiguren z. T. älter und ursprünglicher sind und die Kompositionen, wie die Tafeln I—III am deutlichsten veranschaulichen, sekundär wickelte Formen darstellen. Ich meinerseits glaube allerdings an die umgekehrte Entwicklung.

Selbstverständlich sind viele Umstände, die für die Erklärung der hier behandelten Bronzen von Bedeutung sind, noch in Dunkel gehüllt; die Problemstellung ist aber bereits gegeben: bei diesen Bronzen haben wir es mit den ältesten metallenen Gruppen von Tier- und Menschenfiguren in dem Waldgebiete zwischen Ural und Jenissej zu tun.

Auf der Tafel IV habe ich einige „permische" Figuren zusammengestellt, die von den skythisch-permischen Stangenköpfen, die vielleicht auch als Pferdegebißpsalien Verwendung fanden, viâ Westsibirien abstammen. Sie gehören einer viel verbreiteten permischen alten Figurengruppe an; ihre Genesis wird durch die oben erwähnten Funde und Tatsachen erklärt. In Taf. IV, 5 (aus Kr. Čerdyn; Mus. Kasan) sieht man die umrahmenden Elchköpfe und die hängenden Vorderbeine des Tieres mit einem menschlichen Kopf zwischen den Tierköpfen (vgl. Taf. IV, 3). Die Tiere stehen auf einem kleinen im Profil gesehenen Vierfüßer. Die weitere Entartung und Entwicklung veranschaulichen die Taf. IV, 6, 8: das Motiv wird verdoppelt oder vervielfältigt. Weitere Variationen, Taf. IV, 7—9 und Spicyn, loc. cit. Abb. 113—143, 149—161,163— (bes. 167) 202.

Diese interessante permische Gruppe, die allgemeinste unter den permischen „schamanistischen" Plaketten, ist in den Funden des römischen EZ und der frühen Völkerwanderungszeit in Perm vertreten (Uchta, Peškovo, Unja, Kišert u. a.). Ich werde an anderer Stelle das Problem vom Standpunkte der permischen Archäologie aus weiter behandeln.

A. M. Tallgren.

VERZEICHNIS DER TAFELN:

УСТРОЙСТВО БОЛГАРІИ И ПОЛОЖЕНІЕ БОЛГАРСКАГО НАРОДА ВЪ ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ПОСЛѢ ПОКОРЕНІЯ ИХЪ ВАСИЛІЕМЪ II БОЛГАРОБОЙЦЕЮ

Тріумфальный въѣздъ императора Василія II Болгаробойцы въ Константинополь въ началѣ 1019 года возвѣстилъ по всей восточной имперіи о томъ, что многолѣтняя борьба между Византіей и Болгаріей окончена и что императоръ, наконецъ, успѣлъ раздѣлаться съ ненавистными ему балканскими славянами: сербо-хорваты были принуждены признать верховную власть ромейскаго императора и ихъ князья и жупаны, которые были имъ оставлены, были объявлены его вассалами, а болгарская держава была уничтожена, болгарскій народъ — покоренъ и Болгарія присоединена къ ромейской имперіи.

Но въ чемъ состояла зависимость болгарскаго народа отъ Византіи и вообще какое устройство получила Болгарія послѣ того, какъ она была присоединена къ имперіи, или, какъ выражается самъ Василій II, послѣ того, какъ „болгарская держава стала подъ однимъ ярмомъ съ ремейской" — вопросы, на которые пока трудно отвѣтить исчерпывающе, вслѣдствіе отсутствія прямыхъ и ясныхъ данныхъ. Однако, какъ бы ни были кратки и неполны извѣстія византійскихъ источниковъ, все же они даютъ возможность до извѣстной степени представить картину положенія болгарскаго народа въ первое время послѣ покоренія его. Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ стоятъ извѣстія тѣхъ весьма цѣнныхъ документовъ того времени, въ которыхъ самъ Василій II рисуетъ намъ положеніе дѣлъ. Мы имѣемъ въ виду три его грамоты, данныя болгарскому архіепископу въ Охридѣ около и въ 1020 году одновременно съ возстановленіемъ діоцезы болгарской церкви.[1]

---

[1]) Объ этихъ грамотахъ узнаемъ изъ одного также отправленнаго къ болгарскому охридскому архіепископу хрисовула, изданнаго императоромъ Михаиломъ VIII Палеологомъ въ 1272 году. Документъ этотъ былъ заимствованъ изъ весьма часто использованнаго греческими издателями кодекса аргосскаго архіепископа Герасима. Но, къ сожалѣнію, эта рукопись содержала только предисловіе хрисовула Михаила Палеолога и ме́ньшую часть (начало) первой грамоты Василія II. Эту именно часть впервые издали Ралли и Потли въ Σύνταγμα τῶν κανόνων, т. V (1855) и оттуда переиздалъ Zachariae von Lingenthal въ Jus graeco-romanum. t. III. (1857). Однако русскому епископу (тогда архимандриту) Порфирію Успенскому посчастливилось открыть полный хрисовулъ Михаила VIII вмѣстѣ съ тремя грамотами Василія II въ одной рукописи на Синаѣ. Текстъ послѣднихъ обнародовалъ по списку еп. Порфирія Е. Голубинскій въ „Краткомъ очеркѣ православныхъ церквей" и пр. Москва 1871, стр. 259—263. По изданію Е. Голубинскаго

Въ предисловіи ко второй грамотѣ, изданной въ маѣ 1020 года, Василій II постановляетъ слѣдующее: „всѣ болгарскія епископіи, которыя были подъ властью царя Петра и Самуила и управлялись тогдашними архіепископами, и всѣ остальные города — эти самыя пускай имѣетъ и ими владѣетъ нынѣшній святѣйшій архіепископъ. Ибо не безъ крови, труда и пота, а многолѣтнимъ терпѣніемъ и божественною помощью Богъ даровалъ намъ эту страну подъ договоромъ (ὑπόσπονδον), поставивъ ее подъ однимъ ярмомъ, такъ какъ Его благость весьма ясно помогала намъ и разъединенное соединяла въ одно, не нарушая (*собств.* не вредя) какъ-нибудь границъ и формы (образа), хорошо установленныхъ царствовавшими передъ нами".[2] Изъ этого мѣста и особенно изъ послѣднихъ его словъ ясно становится прежде всего то, что Василій II признавалъ, какъ дóрого ему стоило покореніе Болгаріи съ одной стороны, а съ другой — что ему удалось сдѣлаться повелителемъ ея только въ силу какого-то договора. Эта мысль станетъ намъ вполнѣ ясною, если только мы вспомнимъ, при какихъ обстоятельствахъ была признана власть византійскаго императора болгарскими воеводами въ 1018 году: нельзя допустить, чтобы столь непримиримые противники Византіи, каковыми были, напр., Кракра, Никулица, Драгашъ и другіе, проявили такую полную покорность и не оказали никакого сопротивленія Василію II, если бы права болгарскаго народа не были обезпечены, по крайней мѣрѣ отчасти, какими-нибудь условіями въ заключенномъ при покореніи договорѣ. Такого характера были, по всей вѣроятности, и личныя желанія болгарской царицы Маріи, супруги царя Ивана Владислава, выраженныя ею Василію II чрезъ охридскаго архіепископа Давида при Струмицѣ, прежде чѣмъ отказаться отъ Болгаріи.[3]

Но каковы были эти договорныя условія? Насколько можно судить по не

М. С. Дриновъ далъ болгарскій ихъ переводъ въ ст. „Три грамоти, дадени отъ императора Василия на българския охридски архіепископъ Иоана ок. 1020 лѣто", см. бр. ПСп., кн. 7 и 8 (1873), стр. 14—25; Съчинения, т. I, стр. 203—214. По тому же изданію текстъ грамотъ опубликовалъ Ofeïcoff, La Macédoine au point de vue éthnografique, historique et philologique. Philippopoli 1888 вмѣстѣ съ ихъ французскимъ переводомъ, стр. 191—205. Впослѣдствіи тотъ же текстъ издалъ и H. Gelzer въ своихъ „Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der orientalischen Kirche". Byz. Zeitschr. II (1893), S. 42—46, указавъ на различія его съ текстомъ рукописи еп. Герасима и сдѣлавъ нѣкоторыя орѳографическія исправленія. Въ послѣднее время Ив. Снѣгаровъ сначала въ „Охридскита патриаршия" (нейнятъ произходъ, граници и епархии). София 1919, стр. 49—53, а послѣ въ своей „История на Охридската архиепископия", т. 1, София 1924, стр. 55—59, также далъ болгарскій переводъ грамотъ. Объ этихъ грамотахъ см. Ст. Новаковиħ, Охридска архиепископиjа у почетку XI. века. Хрисовуље цара Василиjа II од 1019 и 1020 г. „Глас" Ср. Ак. књ. 76 (46) 1908, стр. 1—62. — Йор. Ивановъ, Епархиитѣ на Охридската архиепископия прѣзъ нач. на XI. вѣкъ. СПб. Ак. I (1911), стр. 93—114.

[2]) Byz. Zeitschr. t. II, S. 44: ...πάσας τὰς Βουλγαρικὰς ἐπισκοπὰς, ἃς (вм. αἳ) ὑπὸ Πέτρου τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ Σαμουὴλ ἐδεσπόζοντο καὶ κατείχοντο καὶ παρὰ τῶν τότε ἀρχιεπισκόπων, καὶ τὰ λοιπὰ ἅπαντα κάστρα, τὰ αὐτὰ θεσπίζομεν ἔχειν καὶ διακρατεῖν τὸν νυνὶ ἁγιώτατον ἀρχιεπίσκοπον· οὐ γὰρ ἀναιμωτὶ καὶ πόνων χωρὶς καὶ ἱδρώτων, ἀλλὰ διὰ καρτερίας πολυτελοῦς (вм. πολυετοῦς) καὶ συμμαχίας θεϊκῆς ὑπόσπονδον τὴν χώραν ταυτὴν ὁ θεὸς ἡμῖν ἐδωρήσατο, τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ εὖ μάλα τρανῶς ἡμῖν ἀρωγούσης καὶ τὰ διεστῶτα εἰς ἓν συναπτούσης, ὑπὸ ζυγὸν ἕνα θέμενος, τοὺς ὅρους καὶ τὸν τύπον, τοὺς καλῶς παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν βασιλευσάντων θεσπισθέντας, μηδὲν λυμηναμένης (вм. λυμανομένοις, согласов. съ ἡμῖν).

[3]) Ср. В. Н. Златарски, История на българ. държава и пр, т. I, ч. 2 (1927), стр. 774—778.

совсѣмъ яснымъ словамъ грамоты, вопросъ шелъ прежде всего о территоріальной недѣлимости бывшей болгарской державы, о цѣлости Болгаріи, которую Василій II присоединилъ къ ромейской имперіи, не нарушивъ, во 1-хъ, ея границъ, установленныхъ и признанныхъ прежними императорами, другими словами на Болгарію смотрѣли какъ на нѣчто недѣлимое, на нѣчто цѣльное, и во 2-хъ, ея формы или образа,[4] конечно, не въ географическомъ или геологическомъ отношеніяхъ, потому что перемѣны такого рода не происходятъ и не могутъ происходить по волѣ и желанію византійскаго императора, а въ смыслѣ внутренняго устройства страны, каковое было при царяхъ Петрѣ (927—969) и Самуилѣ (997—1014), и прежде всего формы или образа управленія. Это значитъ, что были сохранены отдѣльныя области или воеводства, которыми раньше управляли особые воеводы, названные теперь „архонтами" или „стратегами", потому что они имѣли военную и административную власть, и назначались непосредственно императоромъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служатъ слѣдующія слова Іоанна Скилицы: „императоръ Василій, покоривъ Болгарію, не пожелалъ измѣнить что-нибудь изъ его (болгарскаго народа) привычекъ, но постановилъ, чтобы они (болгары) жили отдѣльно подъ своими правителями и по своимъ обычаямъ, какъ нѣкогда было при Самуилѣ, который сдѣлался ихъ начальникомъ" и т. д.[5] Такъ, еще въ 1018 году Василій II назначилъ „архонтомъ" — правителемъ Охрида патриція Евстаѳія Дафномила съ необходимымъ гарнизономъ, которымъ послѣдній командовалъ;[6] въ томъ же году командующій войсками (ὁ στρατηγῶν) въ Дристрѣ (Доростолѣ, нын. Силистріи) былъ Цицикій, сынъ патриція Ѳевдата Иверійца[7]; послѣ коварнаго убійства срѣмскаго воеводы Сермона и сдачи гор. Сирміума (нын. Митровица въ Срѣмѣ) осенью 1018 года Василій II передалъ управленіе новопріобрѣтенной Срѣмской областью Константину Діогену, правителю (ἄρχοντα) „сосѣднихъ мѣстъ", т. е. Бѣлградской области.[8] Такіе архонты-правители несомнѣнно были назначены и въ другихъ областяхъ и большихъ и важныхъ центрахъ, имена которыхъ пока остаются неизвѣстными. Но наряду съ этими

---

[4]) Слово ὁ τύπος, употребленное здѣсь, первоначально означаетъ „ударъ" и то, что получается отъ удара — „слѣдъ, знакъ, отпечатокъ, изображеніе" и вообще „форма, образъ, типъ, характеръ"; въ Новомъ Завѣтѣ — „первообразъ, образецъ".

[5]) Skylitzes, ib., p. 715, 1-5: Βασιλείου γὰρ τοῦ βασιλέως, ὁπηνίκα τὴν Βουλγαρίαν ὑπηγάγετο, μὴ θελήσαντός τι νεοχμῆσαι τῶν ἐθίμων αὐτοῦ, ἀλλ' ὑπὸ τοῖς σφετέροις ἄρχουσί τε καὶ ἤθεσι τὰ καθ' ἑαυτοὺς ὁρίσαντος διεξάγεσθαι, καθώς που καὶ ἐπὶ τοῦ Σαμουήλ, ὃς αὐτῶν ἀρχηγὸς ἐγένετο. — Ср. Skyl.-Cedr. ib., p. 530, 9-12.

[6]) Skyl.-Cedr. ib., p. 468, 14-16: ἐπιστήσας οὖν ἄρχοντα τῆς πόλεως ('Αχρίδος) Εὐστάθιον πατρίκιον τὸν Δαφνομήλην καὶ φρουρὰν ἀξιόλογον αὐτῷ δούς, ἐξῆλθε κτλ. — Ср. В. Н. Златарски, История на българ. държава и пр. тамъ же стр. 777—778.

[7]) Skyl.-Cedr. ib., p. 465, 16-17: ἐδέξατο γὰρ καὶ γράμμα τοῦ στρατηγοῦντος ἐν τῷ Δοροστόλῳ Τζιτζικίου τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρικίου Θευδάτη τοῦ Ἴβηρος. Такой командующій войсками въ Доростолѣ или Дристрѣ несомнѣнно былъ поставленъ еще въ 1001 году сразу послѣ покоренія сѣверо-восточной Болгаріи; однако, чтобы Доростолъ еще тогда былъ центромъ отдѣльной ѳемы — военно-административной области — это неизвѣстно и даже невозможно допустить. Объ этомъ см. В. Н. Златарски, Политическото положение на северна България презъ XI и XII вѣкове. Известия на Истор. Дружество, кн. IX (1929), стр. 4 и сл. — Ср. также его же История на Българ. държава и пр. стр. 717.

[8]) Skyl.-Cedr. ib., p. 476, 9: Κωνσταντῖνος ὁ Διογένης, τῶν ἐκεῖσε μερῶν ἄρχων; ib., p. 476, 24: ὁ Διογένης ἄρχειν ἐτάχθη τῆς νεοκτήτου χώρας. — Ср. ib., p. 483, 21-22: ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τὸν Διογένην ἄρχοντα Σιρμίου ὑπάρχοντα. — Ср. В. Н. Златарски, тамъ же, стр. 787—788.

правителями отдѣльныхъ областей, Василій II оставилъ въ Скопьѣ, въ томъ же году, патриція Давида Аріанита „полномочнымъ стратегомъ“, назвавъ его „катепаномъ Болгаріи“.[9]

Что означаютъ эти два термина? Полномочный стратегъ — στρατηγὸς αὐτοκράτωρ назначался только тогда, когда императоръ не принималъ участія въ походѣ или войнѣ и потому во время послѣднихъ онъ замѣнялъ императора, какъ указываетъ и самое слово αὐτοκράτωρ,· слѣдовательно съ этою должностью были связаны полномочія главнокомандующаго войсками; въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ она была аналогична диктаторской власти въ старомъ Римѣ. Полномочія стратега-автократора, которыя имѣли временное значеніе, пока продолжался походъ, были весьма широки. Онъ имѣлъ главное командованіе надъ всѣми родами и видами византійскихъ войскъ, которыя участвовали въ походѣ, и командиры отдѣльныхъ войсковыхъ частей должны были слушаться его совѣтовъ и во всемъ ему повиноваться.[10] Назначеніе однако Давида Аріанита стратегомъ-автократоромъ въ Скопьѣ въ 1018 году нельзя связать съ какимъ-нибудь походомъ, потому что въ этомъ году война съ болгарами была окончена, и Болгарія была уже покорена. Оно не можетъ быть объяснено и тѣмъ, что сразу послѣ покоренія въ странѣ было введено военное положеніе, потому что въ такомъ случаѣ Василій II облекъ бы такими же полномочіями и другихъ правителей-воеводъ въ отдѣльныхъ областяхъ болгарскихъ земель, а между тѣмъ Давидъ Аріанитъ является единственнымъ и то не въ бывшей болгарской столицѣ Охридѣ, а въ Скопьѣ — городѣ-крѣпости, который занималъ центральное мѣсто въ западной половинѣ бывшей болгарской державы. Очевидно, при этомъ назначеніи цѣлью императора было возвысить Давида Аріанита особенными полномочными правами передъ другими воеводами, поставленными имъ въ разныхъ болгарскихъ укрѣпленныхъ центрахъ и обыкновенно носившими имя ἄρχων,[11] рѣдко στρατηγός;[12] они занимали мѣста бывшихъ болгарскихъ мѣстныхъ воеводъ. Какъ стратегъ-автократоръ замѣщалъ во время похода императора и имѣлъ главное командованіе надъ всѣми византійскими войсками, такъ и въ данномъ случаѣ, очевидно, Давидъ Аріанитъ представляетъ не что иное какъ императорскаго

---

[9]) Skyl.-Cedr. ib., p. 467, $_{24}$—468, $_{1}$: στρατηγὸν αὐτοκράτορα λιπὼν ἐν τῇ πόλει (Σκοπίοις) Δαβὶδ πατρίκιον τὸν Ἀρειανίτην, [κατεπάνω Βουλγαρίας προσονομάσας αὐτόν]. — В. Prokić, Die Zusätze in der Handschrift des Johannes Skylitzes. München 1906, S. 33, № 41.

[10]) Подробно см. Н. Скабалановичъ, Византійское государство и церковь въ XI вѣкѣ. С.-Петербургъ 1884, стр. 345—346.

[11]) Такъ Константинъ Діогенъ въ 1026 г. назывался ἄρχων Σιρμίου (Skyl.-Cedr., ib., p. 483, $_{20-21}$) и всѣ почти управители-воеводы Придунайскихъ городовъ до 60-ыхъ годовъ XI вѣка назывались ἄρχοντες (Ib., p. 555, $_{2-3}$; 583, $_{2-12}$; 585 $_{5}$; 654, $_{11}$). — См. В. Н. Златарски, Политическото положение на северна България и пр. тамъ же, стр. 1—34.

[12]) Также и ὁ στρατηγῶν (прич. отъ στρατηγέω). См. Skyl.-Cedr. Ib., p. 465, $_{16-17}$; 715, $_{23}$—716, $_{1}$; 716, $_{18-19}$; 716, $_{20-21}$. См. надпись на моливдовулѣ Θеодора примикирія у Б. Панченко, Каталогъ моливдовуловъ. Изв. Р. А. Ин-та въ Константинополѣ т. VIII (1903), стр. 225, № 66 (67). Ср. Плиска-Абоба, Изв. Р. А. Ин-та, т. X (1905), стр. 295—296. — По должности ἄρχων и στρατηγός — одинаковы, но послѣдній назывался также и ἄρχων, по нашему мнѣнію, еще и потому, что помимо того, что былъ чисто военнымъ начальникомъ, командующимъ войсками въ извѣстномъ округѣ, онъ стоялъ также и во главѣ администраціи округа, гдѣ было расположено находившееся подъ его командою войско, другими словами, ὁ ἄρχων въ этомъ смыслѣ вполнѣ отвѣчалъ болгарскому слову „воевода“.

намѣстника, который управлялъ всею покоренною страною отъ имени императора съ широкими правами, а потому и воеводы — ἄρχοντες или στρατηγοί — мѣстныхъ войскъ, какъ во время похода командиры отдѣльныхъ войсковыхъ частей, должны были слушаться его и во всемъ ему подчиняться.[13] Весьма интереснымъ является и то обстоятельство, что когда во время похода или войны въ предѣлахъ Самуиловой державы назначался главнокомандующимъ войсками или самъ намѣстникъ-правитель, или кто-либо изъ мѣстныхъ воеводъ, то онъ получалъ титулъ ἡγεμών,[14] или τοῦ παντὸς στρατοῦ ἡγεμών,[15] или ἐπὶ πᾶσιν ἡγεμών,[16] очевидно, въ отличіе отъ термина στρατηγὸς αὐτοκράτωρ, который для Болгаріи и болгаръ имѣлъ спеціальное значеніе. На это спеціальное значеніе въ означенномъ смыслѣ указываютъ и титулы, которые носилъ императорскій намѣстникъ-правитель Болгаріи. Такъ первые правители Болгаріи носили слѣдующіе титулы: 1. προνοήτης,[17] который получало заслуженное лицо, награжденное императоромъ недвижимымъ имуществомъ — землею, и означающій того, на котораго возложено было имѣть заботу, попеченіе о чемъ-либо, т. е. „попечителя", а потому и самый предметъ заботы назывался πρόνοια[18]; отсюда этотъ же титулъ употребляется въ широкомъ смыслѣ для правителя Болгаріи, выражая собою то, что бывшая болгарская держава предоставлялась попеченію ея императорскаго намѣстника, который долженъ былъ заботиться о ней не менѣе самаго императора; 2. πραίτωρ,[19] лат. praetor — титулъ, который въ старомъ Римѣ носили консулы и диктаторъ, а во время имперіи въ провинціяхъ — императорскій намѣстникъ, соединявшій въ своемъ лицѣ гражданскую и военную власть; 3. σατράπης,[20] который ясно указываетъ на его широкую и неограниченную власть; 4. ἀρχηγός[21] и 5. даже ἄρχων[22] — титулы, которыми византійцы называли вообще болгарскихъ владѣтелей.

Сообразно съ этимъ высокимъ положеніемъ Давида Аріанита Василій II „назвалъ" его, т. е. далъ ему чинъ „катепана Болгаріи". Какъ извѣстно, византійская

---

[13]) Объ этомъ подчиненіи яснѣе всего говорятъ слѣдующія слова Скилицы, ib., p. 715, 22—716, 1: ὅπερ ἀκούσας ὁ ἐν Σκοπίοις διέπων τὴν ἀρχὴν τοῦ δουκὸς Νικήφορος ὁ Καραντινός, τοὺς ὑφ' αὐτὸν στρατηγοὺς παραλαβών, ἄπεισιν κτλ.

[14]) Skyl.-Cedr. ib., p. 586, 3.

[15]) Ibidem, p. 603, 21-22.

[16]) Ibidem, p. 602, 22.

[17]) G. Schlumberger, Sigillographie de l'Empire byzantin. Paris 1884, p. 240—241. — Ср. Н. Мушмовъ, Монети и печати на българскитѣ царе. Софія 1924, стр. 166, № 254; стр. 167, №№ 255 256. — Того же, Византийски печати съ значение за българската история. Макед. Прегледъ, год V (1929), кн. 2, стр. 95. — Strategicon Cecaumeni ed. W. Wassiliewski et V. Jernstedt. Petropoli 1896, p. 24, 4. — N. Bănescu, Les premiers témoignages byzantins sur les Roumains du Bas-Danube. Byz.-Neugr. Jahrbücher, Bd. III (1922), p. 290—291. — Того же, Changements politiques dans les Balkans après la conquête de l'empire de Samuel (1018). Nouveaux duchés byzantins: Bulgarie et Paristrion. Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine t. X (1923), p. 58—59.

[18]) Н. Скабалановичъ, тамъ же, стр. 264.

[19]) Schlumberger, ib., p. 241. — N. Bănescu, Les premiers témoignages etc. ib., p. 241. — Н. Мушмовъ, Монети и печати и пр., тамъ же, стр. 167, № 257.

[20]) M. Attaleiates, ed. Bon., p. 37, 12; 38, 8.

[21]) Ibidem, p. 39, 8.

[22]) Skyl.-Cedr., ib., p. 587, 11.

имперія въ XI вѣкѣ, какъ и въ предыдущихъ вѣкахъ, въ военно-административномъ отношеніи была раздѣлена на **ѳемы** (θέματα отъ τὸ θέμα, ατος) или **области**, во главѣ каждой изъ которыхъ стоялъ правитель-воевода (στρατηγός) съ военно-административною властью, т. е. они помимо того, что командовали областными войсками, завѣдывали и гражданскимъ управленіемъ области; эти правители-воеводы назначались непосредственно императоромъ и зависѣли прямо отъ него, а потому они были и лично ему преданы. По мнѣнію Н. Скабалановича не всѣ ѳемы имѣли одинаковое значеніе и различались одна отъ другой по важности и значенію для государства, и потому изъ стоящихъ во главѣ ихъ воеводъ-правителей одни назывались **дуками** (δοὺξ, κός, мн. ч. δοῦκες), а другіе — **катепанами** (ὁ κατεπάνω, несклон.).[23] Однако съ подобнымъ опредѣленіемъ едва ли можно согласиться: самая ѳема никогда не давала чина дуки или катепана, потому что въ одной и той же ѳемѣ одинъ воевода-правитель носилъ чинъ „дука", а другой — раньше или послѣ него — чинъ „катепанъ". Такъ, послѣ Давида Аріанита катепанами въ Болгаріи были въ 1066 году Андроникъ Филокалесъ[24] и въ 1073 г. — Михаилъ Саронитъ,[25] а всѣ другіе извѣстные пока намѣстники носили чинъ „дука". Слѣдовательно, эти два чина были связаны не съ ѳемою, а съ личностью, назначенною управлять областью; въ противномъ случаѣ слѣдовало бы признать, что одна и та же ѳема въ теченіе одного пе-

---

[23]) Н. Скабалановичъ, тамъ же, стр. 186—189.

[24]) Strategicon Cecaumeni, ib., p. 72, 6-7.

[25]) По одному его моливдовулу, изданному Dr. A. D. Mordtmann'омъ еще въ 1886 г.; о немъ см. N. Bănescu, Changements etc. ib., p. 60. — По нашему мнѣнію, катепаномъ Болгаріи также былъ Левъ Драмисъ съ конца эпохи Комниновъ или нач. Ангеловъ, какъ это мы выводимъ на основаніи его моливдовуловъ. Такихъ моливдовуловъ пока извѣстно два: первый былъ изданъ также A. Mordtmann'омъ еще въ 1886 г., который надпись его читаетъ: Κύριε, βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Λέοντι βέστῃ καὶ ἐπὶ τῆς Βουλγαρίας τῷ Δριμῦ (см. N. Bănescu, тамъ же, стр. 62); второй недавно былъ изданъ по другому экземпляру Н. Мушмовымъ (см. Византийски печати съ значение за българската история, тамъ же, стр. 94), который пополняетъ и читаетъ надпись такъ: (Κύριε βοή)θει τῷ σῷ δούλῳ Λεοντί(ῳ) βέστῃ | (πρωτο)σπαθ(αρίῳ) Βουλγαρίας τῷ (Κε)δρίνῳ, что, очевидно, невѣрно, потому что, во-первыхъ, помимо того, что нѣтъ мѣста въ печати для слова πρωτοσπαθάριος, послѣднее есть имя чина, а не должности, и потому оно не можетъ имѣть никакого отношенія къ слову Βουλγαρίας и въ соединеніи съ нимъ представляетъ безсмыслицу; во-вторыхъ, Λέοντι — дат. пад. отъ Λέων, а не отъ Λεόντιος; въ-третьихъ, на моливдовулахъ никогда не сокращается начало собственнаго имени и потому дополненіе (Κε)δρίνῳ никоимъ образомъ невозможно допустить и, въ-четвертыхъ, вообще Н. Мушмовъ невѣрно читаетъ послѣднее слово надписи, потому что на самой фототипіи, какъ она представлена у него, совершенно ясно читаются въ концѣ буквы MV, которыя вмѣстѣ съ первыми тремя образуютъ имя Δριμῦς, какъ оно читается и у A. D. Mordtmann'а. Но и чтеніе послѣдняго: καὶ ἐπὶ τῆς Βουλγαρίας, по нашему мнѣнію, также недопустимо, во-первыхъ, потому что подобная формула не встрѣчается въ византійской сигиллографіи; во-вторыхъ, потому что членъ τῆς никогда и нигдѣ на моливдовулахъ не ставится передъ географическимъ именемъ и, въ-третьихъ, потому что при такомъ чтеніи не получается никакого смысла. На основаніи остатковъ буквъ въ первомъ ряду на реверсѣ въ изданіи Н. Мушмова мы бы пополнили надпись въ этомъ мѣстѣ съ κ[αὶ κατ]επ[άνω] Βουλγαρίας по аналогіи съ моливдовуломъ Михаила Саронита, или всю надпись мы читали бы: [Κύριε, βοή]θ(ει) τῷ σῷ δούλῳ Λέοντι βέστῃ | [κ(αὶ) κατ]επ[άνῳ] Βουλγαρίας τῷ Δριμῦ. — Когда мы уже закончили эту статью, намъ попалъ въ руки Byzantion, t. V (1929—1930), fasc. II, въ которомъ V. Laurent въ своемъ Bulletin de sigillographie byzantine останавливаетъ свое вниманіе и на нашемъ моливдовулѣ и даетъ чтеніе, подобно нашему, которое онъ считаетъ наиболѣе вѣроятнымъ (см. стр. 611—614).

ріода считалась болѣе важною, а другого — менѣе важною для государства Кромѣ того были и такія лица, которыя носили титулъ „дука", не будучи связанными съ управленіемъ какой-нибудь ѳемы, а были только главными военачальниками, которымъ довѣрялась команда надъ всѣми соединенными войсками области.[26] Итакъ, разница между этими двумя чинами была чисто ранговою потому что по должности они были одинаковы, а по рангу дука былъ выше катепана. Отсюда становится яснымъ, что Давидъ Аріанитъ былъ „названъ" Василіемъ II „катепаномъ Болгаріи" не потому, что послѣдняя представляла ѳему катепанатъ, а потому, что императоръ пожелалъ и по чину отличить его отъ другихъ мѣстныхъ воеводъ-архонтовъ или простыхъ стратеговъ, которые были ему подчинены. Наравнѣ съ катепаномъ болгарскіе намѣстники носили, какъ уже было сказано, и титулъ δοῦξ, ὁ τῆς Βουλγαρίας δοῦξ, который, какъ самый высшій, постепенно вытѣснилъ терминъ στρατηγὸς αὐτοκράτωρ, не измѣнивъ однако характера и значеніе самой должности.

Но что слѣдуетъ понимать подъ терминомъ „Болгарія" вообще у византійскихъ писателей XI-го вѣка? Уже самое назначеніе Давида Аріанита императорскимъ намѣстникомъ съ полномочными правами, а также отношенія, въ которыя онъ становится по отношенію къ мѣстнымъ воеводамъ-архонтамъ и стратегамъ, показываютъ, что Василій II смотрѣлъ на покоренную страну какъ на одно цѣлое, какъ на одну недѣлимую територію, что подтверждаютъ приведенныя выше слова его второй грамоты, какъ на отдѣльную, внутренне единую, часть имперіи, обнимавшую земли бывшей болгарской (Симеоновской) державы. Однако въ эту територію уже не входили, во 1-хъ, южно-болгарскія области, которыя еще послѣ покоренія ихъ Іоанномъ Цимисхіемъ въ 972 году были присоединены къ ѳемѣ Ѳракіи, начавшей съ тѣхъ поръ называться ѳемою „Ѳракія и Македонія",[27] и, во 2-хъ, болгарскія владѣнія по Адріатикѣ и въ Албаніи, которыя послѣ покоренія Болгаріи въ 1018 году были присоединены къ Диррахійской (Драчской) ѳемѣ, возобновленной еще въ 1005 г. послѣ измѣннической сдачи гор. Диррахія (Драча) Ашотомъ, зятемъ царя Самуила.[28] Что въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать имя „Болгарія" въ эту эпоху, доказывается еще и слѣдующими отдѣльными данными:

1) Еще второй намѣстникъ-правитель Болгаріи въ 1026 году, Константинъ Діогенъ, называетъ себя въ своемъ моливдовулѣ προνοήτης πάσης Βουλγαρίας,[29]

---

[26]) На моливдовулахъ дукъ — правителей ѳемныхъ, непосредственно послѣ титула „дука", означается имя ѳемы, напр., дука Антіохіи, Диррахія, Калабріи и т. д., тогда какъ на моливдовулахъ второй категоріи титула „дука" не сопровождаетъ никакое географическое имя. См. Schlumberger, Sigillographie, p. 341, который замѣчаетъ о приведенныхъ имъ подобныхъ моливдовулахъ, что они встрѣчаются un peu plus fréquement.

[27]) Н. Скабалановичъ, тамъ же, стр. 224, № 8.

[28]) В. Н. Златарски, История на българ. държава и пр. т. I, ч. 2, стр. 272. — G. Schlumberger (Sigillographie, p. 239) замѣчаетъ, что послѣ покоренія болгарскаго царства Василіемъ II его територія была устроена по особому почину, нѣчто подобное тому, что случилось въ наше время съ Эльзасомъ, преобразованномъ побѣдительницей Германіей въ „имперскую страну" (Reichsland), а правителей этой имперской страны онъ сближаетъ съ нынѣшнимъ „чрезвычайнымъ коммисарамъ".

[29]) Schlumberger, ib., p. 240, № 2. — Н. Мушмовъ, Византийски печати и пр., тамъ же, стр. 95.

а Никифоръ Вріенній въ 1073—74 году былъ назначенъ δοῦκα τῆς τῶν Βουλγάρων πάσης χώρας[30] — выраженія „всей Болгаріи“ и „всей страны болгаръ“ употреблены, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть, что какъ первый, такъ и второй полководцы были правителями не какой-либо части Болгаріи и болгарской страны, а всей территоріи бывшаго болгарскаго царства;

2) М. Атталіатъ называетъ Василія Монаха, намѣстника-правителя Болгаріи въ 1048—49 годахъ, ὁ τῶν Βουλγάρων σατράπης,[31] а въ Стратегиконѣ Кекавмена онъ отмѣченъ какъ προνοήτης Βουλγάρων[32] — въ обоихъ случаяхъ τῶν Βουλγάρων говоритъ не объ ограниченной территоріи, а о болгарахъ въ ихъ совокупности;

3) Іоаннъ Скилица говоритъ о Никифорѣ Протевонѣ, болгарскомъ намѣстникѣ-правителѣ въ 1053 году, что онъ былъ τὴν τῆς Βουλγαρίας περιεζωμένος ἀρχὴν,[33] т. е. что „онъ былъ облеченъ властью надъ Болгаріей“, — выраженіе, которое прямо говоритъ не только объ обширности его власти, но и о важности занимаемаго Никифоромъ Протевономъ поста, и потому, быть можетъ, въ Константинополѣ послѣ смерти Константина IX Мономаха въ 1055 году пожелали провозгласить его императоромъ;

4) послѣ усмиренія болгарскаго возстанія Петра Деляна въ 1041 г. Михаилъ IV Пафлагонъ (1034—1041), прежде чѣмъ отправиться обратно въ столицу, по словамъ Скилицы-Кедрина, „устроилъ дѣла въ Болгаріи и назначилъ стратеговъ въ ѳемахъ“.[34] Можно было бы истолковать это въ томъ смыслѣ, что второе предложеніе относится также и къ Болгаріи; но такое толкованіе было бы совсѣмъ ошибочно, такъ какъ тутъ Болгарія противопоставляется другимъ ѳемамъ на полуостровѣ, въ которыхъ распространилось также возстаніе, а именно: въ Диррахійской (Драчской), Никопольской (или Навпактской) и Элладской, которыя тогда же были также усмирены, слѣдовательно, и здѣсь Болгарія представляется какъ нѣчто единое, отдѣльное отъ другихъ ѳемъ на полуостровѣ, которыя не входили въ составъ бывшаго болгарскаго царства;

5) наконецъ, нужно выдвинуть и то обстоятельство, что намѣстничество не было связано съ городомъ Скопьемъ и что правителями Болгаріи назначались архонты другихъ укрѣпленныхъ центровъ, не мѣняя своей резиденціи. Такъ, Константинъ Діогенъ въ 1026 году, „будучи архонтомъ-воеводою Сирмія, пишетъ Скилица-Кедринъ, былъ назначенъ дукою Болгаріи“,[35] что ясно указываетъ на одновременность въ управленіи, т. е. въ бытность свою воеводой Сирмія онъ былъ и намѣстникомъ-правителемъ всей Болгаріи.[36] Романъ Діогенъ точно также

---

30) Nicephorus Bryennius, ed. Bon., p, 102, $_{5-7}$.

31) M. Attaleiates, ed. Bon., p. 37, $_{12-13}$; 38, $_{8}$.

32) Strategicon, ib. 24, $_{4}$. — В. Г. Васильевскій, Совѣты и разсказы византійскаго боярина XI вѣка. Ж. М. Н. Пр. ч. 215 (1881), стр. 262—263. — N. Bănesku, Changements etc., ib., p. 59.

33) Skyl.-Cedr. ib., p. 610, $_{12-13}$. — Zonaras, ed. Dindorfii, IV, p. 180, $_{32}$—181, $_{1}$.

34) Skyl.-Cedr., ib., p. 533, $_{15-13}$: καὶ καταστησάμενος πάντα τὰ ἐν Βουλγαρίᾳ, καὶ στρατηγοὺς ἐν τοῖς θέμασι τάξας κτλ. Ср. M. Attaleiates, ib. 10, $_{10-11}$: τὰ ἐν ταύτῃ καταστασάμενος πράγματα.

35) Skyl.-Cedr. ib. p. 483, $_{21-22}$: ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τὸν Διογένην ἄρχοντα Σιρμίου ὑ ἄρχοντα καὶ δοῦκα τῆς Βουλγαρίας ἐποίησε.

36) Этотъ смыслъ еще яснѣе выраженъ у Zonaras, ib., p. 126, $_{31-32}$: Κωνσταντῖνος ὁ Διογένης ὁ τοῦ Σιρμίου κρατῶν, ὃς καὶ δοὺξ ὠνομάσθη τῆς Βουλγαρίας. А что онъ оставался воеводою Сирмія, доказывается еще тѣмъ, что, когда въ 1029 г. онъ былъ назначенъ солунскимъ дукою, то былъ переведенъ прямо изъ Сирмія въ Солунь. См. Skyl.-Cedr. ib., p. 487, $_{18-19}$.

былъ назначенъ между 1064 и 1067 г. дукою Болгаріи, имѣя свою резиденцію въ Сердикѣ (Срѣдцѣ — Софіи),[37] а въ 1096 г. въ Нишѣ находился „дука Никита, князь болгаръ и начальникъ города Бѣлграда,[38] — оба несомнѣнно были императорскими намѣстниками, изъ которыхъ первый имѣлъ свою резиденцію въ Срѣдцѣ, а второй — въ Бѣлградѣ, гдѣ были расположены командуемыя ими войска. Правда, Скилица, говоря о возстаніи 1040 года, называетъ Скопье ἡ μητρόπολις Βουλγαρίας,[39] т. е. главнымъ городомъ Болгаріи, однако такъ названъ этотъ городъ, очевидно, потому, что въ это время тамъ имѣлъ пребываніе императорскій намѣстникъ — правитель Болгаріи.

Имѣя въ виду вышеприведенныя данныя и выводы, мы не можемъ согласиться съ Н. Скабалановичемъ, который думаетъ, что болгарскія земли Самуиловой державы послѣ ея завоеванія были раздѣлены на три военно-административныя ѳемы, изъ коихъ одна, образуемая изъ центральной части западной половины Симеоновой державы „между сербскими землями и ѳемой Диррахіемъ (Драчемъ) на западѣ, ѳемами Никополемъ и Элладою на югѣ, ѳемами Солунской и Македонской на востокѣ и Балканами на сѣверѣ“, носила имя „Болгарія“ и что въ этомъ смыслѣ нужно понимать это имя.[40] Не можемъ мы согласиться также и съ Н. Банеску, который считаетъ, что болгарская держава царя Самуила была раздѣлена на двѣ совсѣмъ самостоятельныя, не зависящія одна отъ другой, военно-административныя ѳемы, изъ которыхъ одна носила имя „Болгарія“ и обнимала западную половину Симеоновой державы, а другая — „ѳема Придунайскихъ городовъ“ или „Паристріонъ“ съ центромъ въ гор. Дристрѣ (ны-

---

[37]) Attaleiates, ib., p. 97, $_{13-17}$. — Skyl.-Cedr. ib., p. 663, $_{12-13}$. — Zonaras, ib., p. 203, $_{28-29}$.

[38]) У каноника Альберта Ахенскаго (середины XII вѣка), описавшаго первый крестовый походъ до 1211 года, см. Bongars, Gesta Dei per Francos etc. t. I. Hanoviae 1611, p. 187, $_{14-15}$: Duca Nichita nomine, principe Bulgarorum et praeside civitatis Belegrane; ср. также ib., p. 188, $_{24-25}$. О немъ см. Schlumberger, тамъ же, стр. 239. — Н. Мушмовъ, Византійски печати и пр., тамъ же, стр. 90—91. — N. Bănescu, Changements politiques etc., ib., p. 61—62, неправильно считаетъ, что резиденціей Никиты былъ гор. Нишъ, потому что изъ контекста Альберта Ахенскаго становится яснымъ, что въ данномъ моментѣ онъ находился въ этомъ городѣ (qui in eadem civitate praesens habebatur). См. В. Н. Златарски, Политическото положеніе и пр., тамъ же, стр. 38—39.

[39]) Scyl.-Cedr. ib. 527, $_{15-16}$.

[40]) Н. Скабалановичъ, тамъ же, стр. 225, № 36; 227, № 37 и 228, № 38. — П. Мутафчіевъ какъ-бы усваиваетъ мнѣніе Н. Скабалановича, потому что онъ пишетъ: „Отъ земитѣ на разгромената българска държава били образувани четири нови теми: 1. България, която обхващала цѣлата днешна Македония, съ изключение на Солунско и Сѣрско, и Софийската область. 2. Драчка тема съ Албания и Черна Гора. 3. Срѣмска тема съ земитѣ около гр. Срѣмъ (дн. Митровица на Сава) и тия по Морава и най-сетне 4. тема на Придунавскитѣ градове или на Подунавието на грьцки — Паристрионъ“ (см. Сѫдбинитѣ на средневѣковния Дрьстьрь въ „Сборникѣ Силистра и Добруджа“, т. I. София 1927, стр. 158—159). — Означенную здѣсь вторую ѳему нельзя назвать „новою“, потому что Драчская ѳема существовала уже давно какъ византійская и только измѣнялась въ своемъ объемѣ; послѣ покоренія Болгаріи въ 1018 г. она была только возстановлена въ прежнемъ своемъ объемѣ (см. выше, стр. 55). Срѣмская же ѳема никогда не существовала; было только срѣмское пограничное воеводство, какъ и при болгарскихъ царяхъ, и подчинено было бѣлградскому архонту-правителю, а ѳема Придунайскихъ городовъ была учреждена не раньше 60-тыхъ годовъ XI вѣка. См. выше, стр. 51, примѣчаніе 8.

нѣшняя сѣверная Болгарія съ Добруджею), и притомъ, что послѣдняя ѳема была очень старой, т. е. что она была учреждена еще императоромъ Цимисхіемъ сразу послѣ того, какъ была покорена восточная половина болгарской державы въ 972 году.[41]

*

Идея недѣлимости болгарскихъ земель яснѣе всего выразилась въ судьбѣ болгарской церкви послѣ покоренія. Василій II не только не посягнулъ на церковную независимость болгаръ, но, напротивъ, поспѣшилъ закрѣпить автокефальность Охридской церкви и сохранилъ ея болгарскій характеръ. „Изъ многихъ и большихъ благъ, начинаетъ Василій II первую свою грамоту, дарованныхъ человѣколюбивымъ Богомъ нашему царству въ разныя времена и не поддающихся исчисленію, преимущество передъ всѣми имѣетъ то, что произошло прибавленіе къ ромейской державѣ, а болгарская стала подъ однимъ ярмомъ [съ нею]. Поэтому мы утвердили богобоязненнаго монаха Іоанна, да будетъ онъ болгарскимъ архіепископомъ и да управляетъ дѣлами архіепископіи.“[42] Итакъ, послѣ прежняго болгарскаго архіепископа-патріарха Давида, который былъ, вѣроятно, низложенъ какъ замѣшанный въ убійствѣ зетскаго князя Ивана-Владиміра при царѣ Иванѣ-Владиславѣ, а также при сдачѣ царства,[43] на основаніи предоставленной болгарской церкви автокефальности, былъ выбранъ въ архіепископы соборомъ болгарскихъ епископовъ[44] упомянутый монахъ Іоаннъ и былъ только утвержденъ Василіемъ II.[45] Изъ каталога болгарскихъ охридскихъ архіепископовъ, из-

---

[41]) Bănescu, Changements politiques etc., ib. p. 50—55; 60; 64—65. — Его мнѣніе разсмотрѣно подробно, и показана его несостоятельность у В. Н. Златарскаго Политическото положение на северна България и пр., тамъ же, стр. 1—50.

[42]) См. Byzant. Zeitschr., Bd. II (1892), S. 42.

[43]) См. В. Н. Златарски, История на българ. държава и пр. т. I, ч. 2, стр. 764—5; 774—5,

[44]) Что это право болгарскихъ епископовъ было признано Василіемъ II, видно изъ слѣдующихъ словъ архим. Nilos Doxopatres (но не Doxopatrius или Doxapatres) въ его сочиненіи Περὶ τῶν πέντε πατριαρχικῶν θρόνων, написано въ 1143 году (см. K. Krumbacher, Geschichte der byzant. Litteratur, 2-te Aufl. München 1897, S. 415—416, а объ его прозвищѣ см. S. 462, Amm. 3): Ὁμοίως τῇ Κύπρῳ ἐστὶν αὐτοκέφαλος μὴ ὑποκειμένῃ τινὶ τῶν μεγίστων θρόνων, ἀλλ' αὐτεξούσιος ἀγομένη καὶ ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐπισκόπων χειροτονουμένη καὶ ἡ Βουλγαρία... ἔμεινε οὖν καὶ αὐτὴ αὐτοκέφαλος διὰ τὸ ὑπὸ βασιλικῆς ἐξουσίας ἀποσπασθῆναι τῆς χειρὸς τῶν Βουλγάρων ἤτοι τοῦ βασιλέως κυροῦ Βασιλείου τοῦ Πορφυρογενήτου καὶ μὴ ἀνατεθῆναί ποτε τῇ ἐκκλησίᾳ Κωνσταντινουπόλεως, διὸ καὶ ἕως τοῦ νῦν. ἡ Κύπρος καὶ ἡ Βουλγαρία ὑπὸ μὲν τοῦ βασιλέως λαμβάνουσιν ἐπισκόπους. χειροτονοῦνται δὲ οὗτοι ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐπισκόπων, ὡς εἴρηται, καὶ καλοῦνται ἀρχιεπισκοπαὶ ὡς αὐτοκέφαλοι. — G. Parthey, Hieroclis Synecdemus etc. Berolini 1866, p. 285—6, 190-191.

[45]) Е. Голубинскій, Краткій очеркъ и пр. Москва 1871, стр. 40, 49, 107 и 257. — Въ послѣднее время Б. Прокичъ на основаніи, во 1-хъ, того, что въ обнародованныхъ имъ прибавленіяхъ и варіантахъ изъ вѣнской № 74 греческой рукописи списка хроники І. Скилицы вмѣсто Δαβὶδ стоитъ имя Ἰωάννης и, во 2-хъ, того, что въ извѣстномъ каталогѣ болгарскихъ архіепископовъ Дюканжа не упоминается имя архіепископа Давида, пришелъ къ заключенію, что при покореніи болгарскаго царства болгарскимъ архіепископомъ въ Охридѣ былъ не Давидъ, а Іоаннъ, тотъ самый, который, по свидѣтельству первой грамоты Василія II, былъ утвержденъ послѣднимъ, какъ самостоятельный архіепископъ Болгаріи. См. Die Zusätze in der Handschrift des Iohannes Skylitzes, S. 26 и 45. — Ср. Zachariae von Lingenthal, Beiträge zur Geschichte der bulgarischen Kirche. St.-Petersbourg 1864, S. 14—17. Однако такое заключеніе едва ли можно

даннаго Дюканжемъ, узнаемъ объ этомъ монахѣ Іоаннѣ, что онъ былъ изъ Дебра (западной Македоніи), т. е. болгаринъ, а до тѣхъ поръ былъ игуменомъ тамошняго монастыря Св. Богородицы.[46]

Кромѣ того, своими тремя грамотами Василій II возстановилъ діоцезу бывшей болгарской патріархіи въ томъ же объемѣ, какой она имѣла при болгарскихъ царяхъ Петрѣ и Самуилѣ. „Мы постановляемъ: всѣ болгарскія епископіи, которыя были подъ властью царя Петра и Самуила и управлялись тогдашними архіепископами, и всѣ остальные города — тѣ же самыя пусть имѣетъ и владѣетъ (διακρατεῖν) ими нынѣшній святѣйшій архіепископъ“, читаемъ въ началѣ второй грамоты и далѣе: „постановляемъ, чтобы нынѣшній святѣйшій архіепископъ имѣлъ столь большую область (ἐνορίαν), какую и сколь великую онъ имѣлъ при царѣ Петрѣ, и владѣлъ (δεσπόζειν = господствовать) и вполнѣ управлялъ (διακατέχειν) всѣми болгарскими епископіями — не только, разумѣется, тѣми, которыя были упомянуты въ прежней грамотѣ, но и тѣми, которыя по недосмотру были опущены въ перечнѣ — (именно) показанныя настоящею грамотою и поименно поставленныя [въ ней].“[47] А такъ какъ нѣкоторые изъ сосѣднихъ митрополитовъ отняли кое-какія епископіи болгарской церковной области и присвоили ихъ себѣ и такъ какъ императоръ „не одобрялъ, чтобы кто-либо изъ нихъ (митрополитовъ) или изъ ихъ людей перешагнулъ однимъ шагомъ въ болгарскую [церковную] область“,[47] какимъ былъ диррахійскій митрополитъ, то Василій II по этому поводу пишетъ опять во второй грамотѣ: „Диррахійскому митрополиту приказываемъ оставаться на своемъ престолѣ и довольствоваться своими имѣніями и доходами (соб. богатствами) и не врываться ему въ болгарскія епископіи. Ибо мы опредѣлили ихъ для болгарскаго архіепископа, такъ какъ съ давныхъ временъ это право ему принадлежитъ и [его] власть установлена прежними [царями]. Именно, мы не уничтожили ничего изъ того, что было раньше опредѣлено для болгарской архіепископіи, но хотя оно и было помрачено (ἠμαυρώθησαν),[48] мы разслѣдуемъ (ἀνιστοροῦμεν) и возстанавливаемъ (ἀνατυποῦμεν) настоящею нашею грамотою, и пусть сохраняется незадѣтымъ (ἀπαράθραυστα) и нетронутымъ (ἀκαινοτόμησα) все, что отъ стараго времени относится къ архіепископіи, чтобы ни онъ самъ (диррахійскій митрополитъ), ни другіе (епископы) не ссорились въ болгарскихъ епископіяхъ, но пусть будутъ довольны

принять, потому что, имѣя въ виду, во 1-ыхъ, то, что это измѣненіе существуетъ только въ вѣнскомъ № 74 спискѣ и что ни въ одномъ другомъ изъ извѣстныхъ списковъ хроники Скилицы его нѣтъ, на что и самъ Прокичъ указываетъ, и во 2-хъ, то, что вѣнскій списокъ № 74 по C. de Boor'y писанъ не раньше конца XIII или начала XIV вѣковъ (см. Zu Iohannes Skylitzes, Byz. Zeitschr. XIII (1904). S. 366—369), мы считаемъ внѣ всякаго сомнѣнія, что это измѣненіе было сдѣлано самимъ переписчикомъ его, и при томъ на основаніи Дюканжеваго каталога, составленнаго около середины и во второй половинѣ XII в., въ которомъ имя архіепископа Давида не фигуруетъ, вѣроятно потому, что онъ былъ низложенъ съ престола. Подробно по этому вопросу см. В. Н. Златарски, Кой е былъ български архиепископъ въ Охридѣ при покорението на България отъ Василія II въ Християнска Мисъль, год. II (1909), стр. 464—472.

[46]) См. каталогъ Дюканжа подъ № 8 у H. Gelzer, der Patriarchat von Achrida. Leipzig 1902, S. 6.

[47]) См. предисловіе ко второй грамотѣ. Byz. Zeitschr. тамъ же, стр. 44, $_{15-19}$; $_{27-32}$ и здѣсь, стр. 50 и пр. 2.

[48]) Гл. ἀμαυρόω соб. значитъ „дѣлаю темнымъ, затемняю, помрачаю“, отсюда перен. „замарываю, за-, вычеркиваю“.

своими собственными и утвержденными въ старыхъ границахъ и пусть останутся при своей власти навсегда (ἀΐδιον) и ненарушимо."[49] Наконецъ, Василій II не только постановляетъ, чтобы болгарскій архіепископъ имѣлъ всѣ поименно указанныя въ первой и во второй грамотахъ епископіи, но и приказываетъ: „если и другія по забвенію опущены и не показаны, а находятся внутри болгарскихъ границъ, и ими да управляетъ и владѣетъ, и сколько другихъ городовъ не попали въ грамоты моего царства, — всѣ они да будутъ подъ властью того же святѣйшаго архіепископа".[50]

Далѣе Василій II подтвердилъ и опредѣлилъ права и привилегіи какъ болгарскаго священноначальника, такъ и подчиненныхъ ему епископовъ. На основаніи его грамотъ можно установить слѣдующія:

1) Въ пользу архіепископской власти императоръ постановилъ опредѣленную или каноническую подать (вѣроятно, такъ называемую „владычину"), собираемую со всѣхъ епископій, которыя входили въ діоцезу болгарскаго архіепископа, а также съ валаховъ, которые жили во всей Болгаріи и съ турокъ около р. Вардара, сколько ихъ находится въ болгарскихъ предѣлахъ.[51]

2) По желанію самого архіепископа Василій II письменно опредѣлилъ, „сколько клириковъ и париковъ должно было служить церквамъ въ его области (ἐνορίας) и въ областяхъ его епископовъ",[52] т. е. императоръ опредѣлилъ, сколькими

---

[49]) Byz. Zeitschr., II, S. 45, № по ряду 7.

[50]) Byz. Zeitschr. II, S. 46: Οὐ μόνον δὲ τὰς ἐξ ὀνόματος τεθείσας ἐπισκοπὰς ἔχειν θεσπίζομεν τὸν ἁγιώτατον ἀρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας, ἀλλ' εἰ καὶ λοιπὰ ὑπελείφθησαν διὰ λήθην μὴ ἐμφανισθεῖσα καὶ τῶν Βουλγαρικῶν ὅρων ἐντός εἰσι, καὶ ταύτας διακατέχειν καὶ δεσπόζειν παρακελευόμεθα, καὶ ὅσα ἕτερα ὑπελείφθησαν κάστρα ἐκτὸς τῶν σιγιλλίων τῆς βασιλείας μου, ταῦτα πάντα κατέχειν τὸν αὐτὸν ἁγιώτατον ἀρχιεπίσκοπον.

[51]) Ibidem: καὶ [τὸν αὐτὸν ἁγιώτατον ἀρχιεπίσκοπον] λαμβάνειν τὸν κανονικὸν αὐτῶν πάντων [ἐπισκοπῶν] καὶ τῶν ἀνὰ πᾶσαν Βουλγαρίαν Βλάχων καὶ τῶν περὶ τὸν Βαρδάρειον Τουρκῶν, ὅσοι ἐντὸς Βουλγαρικῶν ὅρων εἰσί. — Ср. Θ. И. Успенскій, Образованіе второго болгарскаго царства. Одесса 1879, стр. 19—20.

[52]) Ibidem, p. 42. — Со времени Македонской династіи въ Византіи строго различались два большихъ класса крестьянъ: свободные (χωρῖται), которые, живя въ своихъ селеніяхъ (χωρίον, μητροκωμία, κωμητοῦρα) или въ крестьянскихъ общинахъ (ὁμάδες, ἀνακοινώσεις), платили государству подать, и зависимые, которые селились на земляхъ помѣщиковъ или вслѣдствіе обѣднѣнія послѣ голода, мора, войны или другихъ бѣдствій, или вслѣдствіе постепеннаго расширенія имѣній церкви и монастырей, или же вслѣдствіе императорскихъ поземельныхъ наградъ и появившейся въ XI вѣкѣ системы кормленія или проніи (πρόνοια), и потому они назывались πάροικοι — париками или присельниками. Въ чемъ заключалась личная зависимость парика и каковы были права помѣщика надъ нимъ, точно до сихъ поръ не установлено, потому что зависимое состояніе бывало различнымъ въ силу неодинаковыхъ условій договора между помѣщикомъ и его парикомъ. Но не подлежитъ сомнѣнію, что парику не позволялось ни отчуждать, ни передавать полученный отъ помѣщика надѣлъ земли, ниже покидать его по своей волѣ; кромѣ того парикъ былъ долженъ работать своему господину, но размѣры этой службы не были опредѣлены закономъ и, какъ предполагается, барщина, основанная на обычаѣ, была различна въ разныхъ мѣстахъ, а потому парики были облагаемы и многими другими налогами въ пользу землевладѣльца, смотря по условіямъ, на которыхъ они поселились на помѣщичьей землѣ, вопреки тому, что существовало, повидимому, парическое право (δίκαιον παροικόν). Лучше было обезпечено положеніе парика, когда было проведено правило, что, если одинъ парикъ сидѣлъ и обрабатывалъ свой надѣлъ земли, непрерывно и аккуратно платя налоги и исполняя другія обязанности въ теченіе 30 (а по инымъ документамъ 40) лѣтъ, то онъ становился полнымъ владѣтелемъ обрабатываемой имъ земли, хотя и былъ обязанъ все-таки платить подать. Итакъ

зависимыми крестьянами-присельниками слѣдовало каждому епископу располагать въ своей области, которые бы обрабатывали церковную землю, другими словами, опредѣлялись владѣльческія права каждаго епископа болгарской церкви въ самомъ широкомъ смыслѣ, причемъ императоръ сохранилъ нѣкоторыя особыя права верховной власти надъ подчиненной страною, а также пожаловалъ нѣкоторыя новыя привилегіи. Такъ, напр., костурскому (касторійскому) епископу Василій II опредѣлилъ 40 клириковъ и 30 париковъ, потому что „хотя онъ, пожалуй, прежде имѣлъ больше, однако мы не хотимъ, чтобы онъ превосходилъ архіепископа по числу клириковъ и париковъ".[53] Дристрскому епископу императоръ опредѣлилъ имѣть 40 клириковъ и 40 париковъ (т. е. максимальное число), „потому что въ царствованіе Петра въ Болгаріи она (эта епископія) блистала архіепископскимъ достоинствомъ"[54]; съ другой же стороны бдинскому (видинскому) епископу онъ опредѣляетъ также 40 клириковъ и 40 париковъ, „ибо, пишетъ Василій II, за то, что эта область (епископія) стала для меня весьма полезною и доступною и открыла входы для удобнаго пути въ страну, слѣдуетъ ей быть снабженной всячески и величайшими наградами и во всемъ быть возвышенною надъ лучшими (важными); но чтобы онъ (бдинскій епископъ) не возвысился и не стоялъ выше архіепископа, мы дали ему равную съ архіепископскою часть клириковъ и париковъ, увеличивъ десятью архіепископскихъ 70".[55] Этотъ элементъ личной воли императора, которая высказывалась то въ ограниченіи числа клириковъ и париковъ, то въ увеличеніи этого числа вслѣдствіе особыхъ заслугъ и въ награду за вѣрность, заставляетъ насъ думать, что болгарская церковь, хотя и оставалась автокефальною по отношенію къ константинопольскому патріарху, все же находилась въ то же время въ непосредственной зависимости отъ византійскаго императора, однако только въ отношеніи владѣльческихъ правъ ея представителей, но не въ выборѣ архіепископа (совершавшагося мѣстными епископами, а утверждавшагося императоромъ), и не въ назначеніи епископовъ.[56]

терминомъ πάροικοι означали въ Византіи зависимое сельско-земледѣльческое населеніе какъ на государственныхъ и частныхъ, такъ и на церковныхъ и монастырскихъ земляхъ. Иногда они назывались δουλοπάροικοι, но не потому, что они сравнивались съ рабами (δοῦλοι), а для отличія отъ κληροπάροικοι — церковныхъ париковъ; впослѣдствіи стали называться первые πάροικοι, а вторые — κληρικοί. — См. Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-römischen Rechts. 3-te Aufl. 1892, S. 260—261. — В. Г. Васильевскій, Законодательство иконоборцевъ. Ж. М. Н. Пр. ч. 200 (1878), стр. 126—129. — Н. Скабалановичъ, тамъ же, стр. 242—243. — П. Безобразовъ, Положеніе крѣпостныхъ. Приложеніе къ „Исторіи Византіи" Г. Ф. Герцберга. Москва 1896, стр. 644 и слѣд. — Ф. И. Успенский и В. Н. Бенешевич, Вазелонские акты. Материалы для истории крестьянского и монастырского землевладения в Византии XIII—XV веков. Ленинград 1927, стр. XXXIII—XLII.

[53]) Byz. Zeitschr. II, 42. εἰ τάχα καὶ περισσοτέρους εἶχε πρῴην, ἀλλ'οὖν οὐ βουλόμεθα ὑπερβαίνειν τὸν ἀριθμὸν τῶν κληρικῶν καὶ παροίκων τοῦ ἀρχιεπισκόπου.

[54]) Ibidem, p. 44: Ἐπὶ Πέτρου γὰρ βασιλεύσαντος ἐν Βουλγαρίᾳ αὕτη μὲν τῷ τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ἀξιώματι ἐλαμπρύνετο.

[55]) Ibidem, p. 45. Въ первой грамотѣ Василій II опредѣляетъ архіепископу 40 клириковъ и 30 париковъ; здѣсь однако онъ увеличиваетъ ихъ по 40 еще тѣхъ и другихъ. — Какое событіе въ прошломъ имѣется здѣсь въ виду, см. В. Н. Златарски, История на българската държава и пр. тамъ же, стр. 722, прим. 1.

[56]) Ѳ. И. Успенскій, тамъ же, стр. 17—19.

3) Наряду съ правомъ владѣть населенными землями болгарская церковь получила особыя льготы для своихъ клириковъ и париковъ, которыми послѣдніе отличались отъ свѣтскихъ. „Всѣ эти клирики — читаемъ въ концѣ первой грамоты — да будутъ освобождены отъ οἰκοδομίου и отъ другихъ поборовъ (ἐπηρειῶν), какъ они были освобождаемы и при Самуилѣ“.[57] Но подать οἰκοδόμιον (это слово собственно значитъ „домостроительство“ отъ гл. οἰκοδομεῖν) пока неизвѣстна въ византійской податной системѣ и, очевидно, оно ошибочно поставлено вмѣсто οἰκομόδιον (встрѣчается и οἰκόμοδον) — вознагражденіе, которое платили парики податному чиновнику при измѣреніи пшеницы, а именно, послѣдній бралъ по одному модію (μόδιος) за каждое количество пшеницы, за которое крестьянинъ платилъ подать въ три иперпера.[58] Тутъ, очевидно, идетъ рѣчь объ освобожденіи церковныхъ клириковъ не только отъ οἰκομόδιον, но и отъ разныхъ сверхподатныхъ налоговъ, налагаемыхъ со стороны провинціальныхъ сборщиковъ податей, какъ на это прямо указываетъ и слово ἐπήρεια въ противоположность δημόσια, нормальнымъ государственнымъ податямъ.[59] Итакъ, церковные, а отсюда и монастырскіе клирики и парики освобождались отъ сверхподатныхъ налоговъ, которые шли въ пользу какъ государства, такъ и податныхъ сборщиковъ.

4) Наконецъ, во второй грамотѣ Василія II читаемъ: „Всѣ стратеги въ Болгаріи и другіе — сборщики податей и архонты, пусть почитаютъ его (архіепископа) и весьма (много) уважаютъ и да слушаются его слова и совѣтовъ, и имъ не заглядывать ни въ болгарскій монастырь ни въ церковь, или въ какомъ бы то ни было вообще церковномъ дѣлѣ не мѣшать ему и его боголюбивѣйшимъ епископамъ, или препятствовать имъ, дабы такой не [потерпѣлъ] большого и строгаго негодованія нашего царства.“[60] Изъ этого мѣста не трудно установить, что высшее болгарское духовенство, какъ и монастыри, не только освобождались отъ вѣдомства военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ: стратеговъ, архонтовъ и сборщиковъ податей, но послѣднимъ было запрещено и вообще вмѣшиваться въ дѣла церкви или въ чемъ-нибудь препятствовать представителямъ церкви.

---

[57]) Byz. Zeitschr. II, S. 44: ἵνα ἐξκουσεύωντα οἱ τοιοῦτοι πάντες κληρικοὶ ἀπό τε οἰκοδομίου καὶ τῶν λοιπῶν ἐπηρειῶν, ὡς ἐξεκουσεύοντο καὶ ἐπὶ τοῦ Σαμουήλ.

[58]) См. М. Ласкарисъ, Ватопедската грамота на царь Иванъ Асѣня II. София 1930, стр. 42—43. — Объ οἰκομόδιον см. В. Г. Васильевскій, Матеріалы для внутренней исторіи византійскаго государства. ЖМНПр. ч. 210 (1880), стр. 369—370, гдѣ онъ объясняетъ его какъ „налогъ съ жилья и усадьбенной земли“ и G. Ostrogorsky, Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert. S.-Ab. aus Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Bd. XX (1927), Heft 1—2, S. 53—54, который считаетъ, что οἰκομόδιον была подать съ построекъ.

[59]) F. Dölger, Beiträge zur Geschichte der byzant. Finanzverwaltung des 10. nnd 11. Jahrhunderts. Leipzig 1927, S. 61, Amm. 1.

[60]) Byz. Zeitschr. II, p. 46: παρακελευόμεθα, ... καὶ πάντας τοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ στρατηγοὺς καὶ λοιποὺς ἀπαιτητὰς καὶ ἄρχοντας, καὶ μὴ περικόπτεσθαι (этотъ глаголъ ни въ первоначальномъ, ни въ переносномъ своемъ значеніи не подходитъ къ общему смыслу текста, поэтому мы предлагаемъ вмѣсто него читать παρακύπτεσθαι = нагибаться, чтобы видѣть, заглядывать, перенос. вмѣшиваться во что-нибудь) αὐτοὺς μήτε εἰς μοναστήριον Βουλγαρικόν, μήτε εἰς ἐκκλησίαν ἢ ἐν οἰῳδήποτε ἐκκλησιαστικῷ ὅλως πράγματι, μήτε κωλύειν αὐτὸν μήτε τοὺς ὑπ' αὐτὸν θεοφιλεστάτους ἐπισκόπους ἢ ἐμποδίζειν τούτους, ἵνα μὴ μεγάλην καί ἀσυμπαθῆ ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τῆς βασιλείας ἡμῶν ἀγανάκτησιν...

Итакъ, если вглядѣться въ содержаніе трехъ грамотъ, данныхъ болгарскому архіепископу въ Охридѣ, то легко убѣдиться, что Василій II не только сохранилъ автокефальность и національный характеръ болгарской церкви и возстановилъ ее въ прежнихъ ея границахъ, но и подтвердилъ то, чѣмъ болгарское высшее духовенство пользовалось при своихъ царяхъ, и даже увеличилъ его права и привилегіи. Этими распоряженіями онъ открыто призналъ, что Охридская архіепископія была ни что иное, какъ продолженіе болгарской патріархіи, учрежденной царемъ Симеономъ и признанной Византіей при царѣ Петрѣ, и представляла нѣчто цѣлое и недѣлимое, вполнѣ совпадающее съ политическими и этническими границами болгарскаго народа. Но, вопреки тому, что болгарская патріархія была признана Византіей по мирному договору 927-го года,[61] Василій II все же отказалъ дать охридскому предстоятелю титулъ патріарха, потому что онъ не могъ, да и не хотѣлъ, чтобы священноначальникъ одной изъ уничтоженныхъ имъ державъ, одного изъ покоренныхъ народовъ, былъ уравненъ съ вселенскимъ константинопольскимъ патріархомъ, и потому назвалъ его ἀρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας.

Но если грамоты Василія II даютъ возможность сколько-нибудь установить права и привилегіи высшаго болгарскаго духовенства послѣ покоренія Болгаріи, то онѣ ничего не говорятъ о правахъ другихъ сословій и простого народа, какія несомнѣнно были уже по аналогіи съ правами и привилегіями, данными болгарской церкви. Это можно заключить и изъ словъ самого Василія II, который въ началѣ второй грамоты (въ предисловіи) пишетъ: „ибо хотя мы и стали владѣтелями этой страны (т. е. Болгаріи), однако ея права мы сохранили нетронутыми (собств. незахваченными), подтверждая ихъ своими хрисовулами и печатями“.[61] Изъ этихъ словъ явствуетъ, что императоръ пожаловалъ не только извѣстныя намъ грамоты, но и другія, которыми онъ признавалъ и подтверждалъ права остального населенія страны. Кромѣ того онъ говоритъ, какъ выше было показано, что не нарушилъ не только болгарскихъ границъ, но и внутренняго устройства, какія были при болгарскихъ царяхъ. Это увѣреніе Василія II находитъ свое подтвержденіе въ одномъ, случайно сохраненномъ и дошедшемъ до насъ, извѣстіи у Іоанна Скилицы, которое гласитъ: „императоръ Василій, покоривъ болгаръ, не пожелалъ ни совершенно преобразовать [страну], ни измѣнить положеніе дѣлъ, но [пожелалъ, чтобы] они (болгары) остались при томъ же устройствѣ и жили такъ, какъ устроилъ нѣкогда Самуилъ, и чтобы [каждый] болгаринъ, который имѣетъ пару воловъ, давалъ въ государственную казну модій жита, столько же проса (или ячменя) и мѣру вина“.[62] Извѣстіе это находится въ полной гармоніи со

---

[61]) См. В. Н. Златарски, История на българ. държава и пр. тамъ же, стр. 529—531.

[61]) Byz. Zeitschr. II, S. 44: εἰ γὰρ τῆς χώρας ἐγκρατεῖς ἐγενόμεθα, ἀλλὰ τὰ ταύτης δίκαια ἀπαράσπαστα διετηρήσαμεν, ἐπικυροῦντες αὐτὰ δία χρυσοβούλλων καὶ σιγιλλίων ἡμῶν.

[62]) Skyl.-Cedr. ib., p. 530, $_{9-14}$: Βασιλείου γὰρ τοῦ βασιλέως, ὁπηνίκα Βουλγάρους ἐχειρώσατο, μὴ νεοχμῶσαι θελήσαντος ὅλως μηδὲ τὰ πράγματα μετακινῆσαι, ἀλλ'ἐπὶ τῆς αὐτῆς μένειν καταστάσεως καὶ οὕτω διεξάγεσθαι, καθώς που ὁ Σαμουὴλ διωρίσατο, καὶ διδόναι τὸν ζεῦγος βοῶν ἔχοντα Βούλγαρον εἰς τὸ κοινὸν σίτου μόδιον ἕνα, καὶ κέγχρου τοσοῦτον καὶ οἴνου στάμνον ἕνα, ὁ ὀρφανοτρόφος ἀντὶ τῶν εἰδῶν νομίσματα δίδοσθαι διωρίσατο. — Ср. Skylitzes, ibidem, p. 715, $_{1-5}$ и здѣсь выше, стр. 51 и пр. 5. Ив. Снѣгаровъ, не подозрѣвая, что тутъ подъ ὁ ὀρφανοτρόφος нужно понимать тогдашняго фактическаго правителя имперіи Іоанна, брата императора Михаила IV Пафлагона, передаетъ вторую половину приведенной цитаты такъ: „всѣки българинъ, който е ималъ чифтъ волове,

словами самого Василія II, который не только ничего не тронулъ во внутреннемъ устройствѣ Болгаріи, предоставивъ болгарамъ жить такъ, какъ устроилъ царь Самуилъ, но и оставилъ старую податную систему, а именно поземельную подать (ζευγαρατίκιον), которая была связана съ парою воловъ — зевгарью (ζευγάριον) и съ соотвѣтственнымъ количествомъ воздѣланной земли, покрытой нивами, виноградниками и маслиновыми деревьями,[63] и уплачивалась натурою, какъ это было при болгарскихъ царяхъ. Если къ этому извѣстію прибавимъ и приведенное выше сообщеніе того же лѣтописца, что Василій II постановилъ, чтобы болгары жили отдѣльно (τὰ καθ'ἑαυτούς = сами по себѣ) подъ своими управителями и по своимъ обычаямъ,[64] то едва ли нужно представлять болѣе убѣдительныя свидѣтельства того, что Василій II смотрѣлъ на Болгарію и на болгарскія земли вообще какъ на самостоятельное цѣлое, которое было только присоединено къ ромейской державѣ, оставивъ тамъ старое устройство, и такимъ образомъ онъ предоставилъ болгарамъ внутреннее самоуправленіе, смѣнивъ только, какъ мы видѣли, начальствовавшихъ лицъ въ войскѣ и администраціи.

*

При такихъ выводахъ невольно возникаетъ слѣдующій вопросъ: почему Василій II Болгаробойца, который въ теченіе 32 лѣтъ велъ такую ожесточенную войну съ болгарами и ихъ царями для уничтоженія ихъ политической самостоятельности, послѣ того какъ достигъ своей цѣли, не только не уничтожилъ болгарской церковной независимости, но и сохранилъ за церковью ея національный характеръ и возстановилъ ее въ этнографическихъ границахъ, а болгарскому народу оставилъ внутреннее самоуправленіе и на болгарскія земли смотрѣлъ какъ на нѣчто цѣльное, недѣлимое? — Обыкновенно на этотъ вопросъ отвѣчаютъ, что императоръ Василій II стремился опереться на церковь, чтобы найти въ ней поддержку для укрѣпленія своего господства и власти въ новопокоренной странѣ

билъ дължен да дава годишно по единъ моди (кутла, шиникъ, около 18 оки) жито и просо и сѫдъ вино, а този, който нѣмалъ земя (sic!) плащалъ пари вмѣсто продукты". См. его же, История на Охридската архиепископия, т. I. София 1924, стр. 54. Откуда г. Снѣгаровъ узналъ и почерпнулъ, что ὁ ὀρφανοτρόφος значитъ тутъ „този, който нѣмалъ земя", уже не говоря о томъ, что онъ не точно переводитъ самый текстъ — предоставляемъ ему самому отвѣтить; здѣсь мы замѣтимъ только, во-первыхъ, что каждое историческое извѣстіе нужно изучать въ связи съ разсказомъ, въ которомъ оно находится и, во-вторыхъ, чтобы узнать, кто носилъ имя ὀρφανοτρόφος, пусть онъ обратится къ указанному сочиненію F. Dölger, стр. 40 и 43.

[63]) Слово ζευλάριον (отъ τὸ ζεῦγος — ярмо, тягло, хомутъ) значитъ пара воловъ, а въ переносномъ смыслѣ слова — участокъ земли, который можно обработать парою воловъ. Какое количество земли понимали подъ терминомъ зевгарь (ζευγάριον), точно еще не опредѣлено, потому что въ извѣстныхъ пока данныхъ по этому вопросу на одинъ зевгарь падаетъ различное количество воздѣланной земли и весьма вѣроятно, что это количество опредѣлялось по качеству самой земли. Подробно о значеніи понятія ζευγάριον см. В. Г. Васильевскій, Матеріалы для внутренней исторіи византійскаго государства, тамъ же, стр. 355—367. — Н. Скабалановичъ, тамъ же, стр. 270, 272—273. — Ѳ. И. Успенскій, Слѣды писцовыхъ книгъ въ Византіи. ЖМНПр. ч. 240 (1885), стр. 9—36. — Того же, Византійскіе землемѣры. Наблюденія по исторіи сельскаго хозяйства. Труды VI Археол. съѣзда въ Одессѣ, т. II (1888), стр. 272—341. — F. Dölger, тамъ же, стр. 53. — G. Ostrogorsky, тамъ же, стр. 55.

[64]) См. Skylitzes, ib., p. 715, $_{1-5}$, и здѣсь стр. 4.

и что съ этою же цѣлью были дарованы и иныя политическія права, которыми пользовались другія сословія и народъ.[65] Нѣтъ сомнѣнія, что первое время послѣ покоренія, самые интересы государства требовали избѣгать въ областяхъ бывшаго болгарскаго царства всякихъ репрессивныхъ мѣръ въ отношеніи населенія, потому что воспоминаніе о недавно потерянной свободѣ все еще было свѣжо въ памяти болгарскаго народа, который при первой возможности и по первому поводу не замедлилъ бы поднять возстаніе, тѣмъ болѣе что законный наслѣдникъ болгарскаго престола былъ еще живъ. Съ другой же стороны, послѣ покоренія Болгаріи, Василій II, какъ уже было сказано выше, предпринялъ всѣ необходимыя мѣры для устраненія возможности какой бы то ни было смуты или возстанія въ покоренной странѣ. Помимо того, что онъ назначилъ своего намѣстника-правителя всей Болгаріи, а повсюду въ главнѣйшихъ центрахъ оставилъ сильные гарнизоны и назначилъ стратегами и архонтами своихъ испытанныхъ и преданныхъ ему полководцевъ, онъ увелъ съ собою въ плѣнъ какъ всѣхъ членовъ послѣдняго болгарскаго царскаго рода, такъ и всѣхъ знатныхъ и вліятельныхъ болгарскихъ болярь-воеводъ, которыхъ, послѣ того какъ поженилъ ихъ на ромейкахъ и повыдалъ замужъ за ромеевъ, разсѣялъ по далекимъ малоазіатскимъ областямъ имперіи, назначивъ ихъ на различныя военныя должности. Смыслъ этой политики Василія II по отношенію къ членамъ болгарскаго царскаго рода и къ болгарскимъ воеводамъ особенно рельефно рисуетъ современный арабскій писатель-хронистъ Яхъя Антіохійскій: „И вступили въ бракъ дочери болгаръ съ сыновьями грековъ и дочери грековъ съ сыновьями болгаръ и смѣшалъ онъ (Василій II) однихъ съ другими и тѣмъ уничтожилъ старую вражду, которая была между ними".[66]

При такихъ цѣлесообразныхъ мѣропріятіяхъ, которыя обезпечивали полное спокойствіе въ новопокоренной странѣ, такой сильный императоръ, какимъ былъ Василій II, всей душою ненавидѣвшій болгаръ и все болгарское, едва ли только изъ опасенія передъ возстаніемъ или же подъ вліяніемъ заключеннаго при покореніи договора 1018 года, сталъ бы прибѣгать къ такимъ важнымъ и большимъ уступкамъ покоренному народу. Очевидно, тогда дѣйствовали другія, гораздо болѣе глубокія причины, которыя по своей существенной важности просто вынуждали этого могущественнаго императора сохранить независимость болгарской церкви и цѣлость и единство болгарскихъ земель — подъ однимъ управленіемъ своего намѣстника-правителя, который назначался имъ и зависѣлъ непосредственно отъ него. Эти причины вытекали преимущественно изъ соображеній внѣшней политики Византіи.

Болгарскій церковный вопросъ въ IX вѣкѣ, возникшій вслѣдствіе существовавшаго тогда соперничества между римской и константинопольской церквами о преобладаніи на Балканскомъ полуостровѣ, разрѣшился, какъ извѣстно, тѣмъ, что на экстренномъ засѣданіи собора 869—870 года въ Константинополѣ было признано представителями какъ западной, такъ и восточныхъ церквей внутреннее самоуправленіе новоучрежденной болгарской церкви во главѣ съ архіеписко-

---

[65]) Ѳ. И. Успенскій, Образованіе второго болгарск. царства, стр. 19.

[66]) Баронъ В. Р. Розенъ, Императоръ Василій Болгаробойца. С. Петербургъ 1883, стр. 59.

помъ, выбираемымъ соборомъ болгарскихъ епископовъ и только утверждаемымъ константинопольскимъ патріархомъ. Это признаніе было сдѣлано на основаніи, во-первыхъ, факта, что подобныя автономныя церкви существовали тогда, какъ на востокѣ, каковы были армянская, коптская, сирійская, такъ и на западѣ, какова была какъ разъ въ то время моравская церковь и, во-вторыхъ, государственнаго принципа, по которому каждая независимая держава имѣла, если не вполнѣ независимую, то по крайней мѣрѣ автономную церковь, другими словами, автономность болгарской церкви была тѣсно связана съ существованіемъ болгарской сначала державы, а потомъ и народности. Это положеніе было признано двумя церквами-соперницами — римской и константинопольской, такъ какъ каждая изъ нихъ думала, что на почвѣ автономной церкви будетъ возможно впослѣдствіи легко провести и укрѣпить свое вліяніе въ Болгаріи.[68] Такимъ образомъ, въ IX вѣкѣ были устранены старыя притязанія римскаго первосвященника на юрисдикцію надъ Балканскимъ полуостровомъ, несмотря на то, что римскіе папы и послѣ 870 года не пропускали ни одного случая, который давалъ имъ надежду водворить свое вліяніе въ Болгаріи и подчинить болгарскую церковь своей власти. Такъ было при Борисѣ I (папа Іоаннъ VIII)[69] и при Симеонѣ (папа Іоаннъ X),[70] а можетъ быть и при Самуилѣ.[71]

По уничтоженіи болгарской державы, Василій II, который мечталъ, какъ извѣстно, возстановить имперію Юстиніана I, несомнѣнно домогался, подобно Іоанну Цимисхію, уничтожить и болгарскую церковь, автокефальность которой была признана его предшественниками, и ея діоцезу присоединить къ константинопольской патріархіи. Однако, онъ не рѣшался на такой смѣлый шагъ потому, что этимъ бы далъ основаніе и поводъ римскому папѣ снова предъявить свои старыя права, если не на цѣлый Балканскій полуостровъ, то по крайней мѣрѣ на западную половину его и, такимъ образомъ, нарушить существующій видимый церковный миръ. А что, вопреки всѣмъ успѣхамъ византійскаго оружія въ Италіи (1017—1022), Василій II могъ предвидѣть возникновеніе такой опасности для Византіи со стороны римской куріи, очень легко понять, если только вспомнить, что въ данное время на папскомъ престолѣ сидѣлъ папа Бенедиктъ VIII (1012—1024), графъ тускуланскій, который, хвастаясь своимъ знатнымъ происхожденіемъ отъ римскихъ императоровъ изъ дома Юлія, былъ преисполненъ сознаніемъ большого значенія папства. Онъ кромѣ того былъ большимъ государственнымъ мужемъ и, воодушевляясь мыслью папы Григорія Великаго (590—604), что престолъ св. Петра долженъ служить защитою для всей Италіи, проводилъ идею изгнанія арабовъ и византійцевъ съ Апенинскаго полуострова, съ какою цѣлью онъ призвалъ нормановъ въ Италію (1016) и заключилъ союзъ съ германскимъ императоромъ Генрихомъ II (1020).[72] Наконецъ, что римская

[68]) См. В. Н. Златарски, История на българ. държава и пр., тамъ же, стр. 132—145.

[69]) Тамъ же, стр. 156—201.

[70]) Тамъ же, стр. 504—509.

[71]) Тамъ же, стр. 705—706.

[72]) П. Безобразовъ, Боэмундъ Тарентскій. С. Петербургъ 1883, стр, 3 [ЖМНПр. ч. 226 (1883), стр. 39]. — Г. Ф. Герцбергъ, Исторія Византіи. Москва 1896, стр. 178—179. — Подробно по этимъ вопросамъ см. F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie. T. I. Paris 1907, p. 47—68.

церковь всегда воодушевлялась подобными поползновеніями, показываетъ и дальнѣйшая судьба болгарской Охридской церкви. Чтобы устранить эту большую опасность для Византіи, Василій II долженъ былъ, быть можетъ и противъ воли, не только сохранить автокефальность болгарской церкви, но и подтвердить ея національный характеръ; а чтобы оправдать ея самостоятельное существованіе онъ долженъ былъ показать, что и послѣ покоренія Болгарія продолжала представлять отдѣльное, недѣлимое цѣлое, въ которомъ перемѣнилась только верховная политическая власть, во внутреннемъ же своемъ устройствѣ оставалась въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ она была при болгарскихъ царяхъ.

В. Н. Златарскій.

Софія. 22. XI. 1930.

ORGANISATION DE LA BULGARIE ET SITUATION DU PEUPLE BULGARE, APRÈS LA CONQUÊTE DU PAYS PAR L'EMPEREUR BASILE II

par

V. N. ZLATARSKY

En 1019, l'empereur Basile II conquit la Bulgarie et l'annexa à l'Empire Byzantin. Quelle fut donc l'organisation, introduite en Bulgarie, à la suite de cette conquête?

Trois chartes impériales, remises à l'archevêque bulgare, environ en 1020, nous apprennent, qu'un traité, conclu en 1018, garantissait l'intégrité territoriale de l'ex État bulgare, dans ses anciennes limites et conservait l'organisation intérieure du pays.

Des «archontes» ou «stratèges» grecs sont nommés chefs des anciennes unités administratives — «voyevodstva». Le pouvoir suprême appartient au stratège plénipotentiaire — représentant de l'empereur. Le patrice David Arianid, nommé à ce poste, obtient le titre du cathépan de Bulgarie avec résidence à Skophia. Contrairement à l'opinion de N. Skabalanovitch (indiquant la répartition des terres bulgares du règne de Samuel en trois phèmes administratifs et militaires, après la conquête byzantine) et contrairement à l'assertion de N. Bănescu (qui affirme la division en deux phèmes), l'auteur du présent article soutient, que le pouvoir byzantin avait conservé l'intégrité de l'ex État bulgare, à l'exception des provinces méridionales, annexées au phème de Thrace encore en 972 et des domaines bulgares sur l'Adriatique et en Albanie, annexées au phème de Dirrach en 1018.

Cette intégrité des terres bulgares se manifesta par la confirmation de l'autocéphalie de l'Eglise d'Ochride qui conserva son caractère national. Pour successeur de l'archevêque-patriarche David, l'Eglise Bulgare élut l'archevêque Jean, moine d'origine bulgare; Basile II ne fit que confirmer cette élection. Les trois chartes, mentionnées plus haut rétablissaient le diocèse du partiarcat bulgare, en le protégeant contre les prétentions des mitropolites voisins; ces mêmes chartes fixaient la dîme (impôt ca-

nonique) au profit de l'archevêque bulgare et établissaient la propriété foncière de chaque évêque en particulier.

D'après les chartes en question, l'intervention du pouvoir byzantin se borna aux droits pécuniers du clergé, laissant à l'Eglise Bulgare une indépendance complète dans l'élection de l'archevêque et des évêques. L'empereur affranchit le clergé bulgare de tout impôt extraordinaire, exclut le haut clergé et les couvents de la compétence des fonctionnaires militaires et civiles, en appuyant, de toute façon, le prestige du clergé.

Les mesures de Basile II, ne lésant aucunement les droits de l'Eglise Bulgare, tendent plutôt à les élargir. Certaines indications font croire à des actes impériaux, confirmant les droits civils des autres classes sociales et reconnaissant les organes municipaux.

La modération de Basile II paraît extraordinaire, après trente deux années de guerre acharnées pour conquérir la Bulgarie. Cette tolérence s'explique par la crainte d'un conflit avec le puissant pape, Bénédicte VIII.

Au congrès des églises, réuni à Constantinople, en 869—870, l'autocéphalie de l'Eglise Bulgare avait été reconnue par les représentants des Eglises Occidentale et Orientale, ce qui avait mis fin aux prétentions de Rome dans la presqu'île des Balkans. Toute infraction de l'autocéphalie bulgare aurait fournit au pape un prétexte pour intervenir dans les affaires de l'Eglise Bulgare.

Sofia.

ПРОИСХОЖДЕНІЕ СЛОВА TZITZAKION

Покойный Н. П. Кондаковъ одинъ изъ своихъ послѣднихъ трудовъ посвятилъ изслѣдованію восточныхъ костюмовъ византійскаго двора.[1] На основаніи историческихъ данныхъ и памятниковъ средневѣковаго искусства онъ убѣдительно доказалъ, что т. н. скарамангій, варварскаго (по всей вѣроятности, персидскаго) происхожденія, былъ наиболѣе популярнымъ и излюбленнымъ въ Византіи ѣздовымъ костюмомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ указалъ и на кавалерійскую моду въ западномъ рыцарствѣ, тѣсно связанную исторически съ византійскимъ прототипомъ. Въ введеніи своего упомянутаго выше сочиненія, а также и въ своемъ большомъ посмертномъ трудѣ, незабвенный ученый блестяще охарактеризовалъ то громадное вліяніе, которое оказали кочевые „варвары“ на развитіе византійской культуры. По его словамъ исторія среднихъ вѣковъ издавна страдаетъ отъ ложно-односторонней постановки, такъ какъ варварскій міръ или предавался „полному научному презрѣнію“, или же при его разсмотрѣніи ограничивались только „историческимъ поприщемъ германскихъ народовъ“. Н. П. Кондаковъ не разъ подчеркивалъ фактъ, что кочевые народы эпохи переселенія имѣли свою своеобразную культуру и что сама Византія въ теченіи тысячелѣтней ея борьбы съ варварами подвергалась и непосредственно, и черезъ посредниковъ, вліянію культуры этихъ кочевыхъ народовъ.

Несомнѣннымъ является и то обстоятельство, что съ излагаемой точки зрѣнія значительную роль сыграли въ этомъ процессѣ и турецкіе народы, которые въ теченіе всего существованія византійской имперіи, такъ сказать, „осаждали городъ“, привлекавшій къ себѣ своимъ блескомъ кочевниковъ, какъ фонарь привлекаетъ свѣтомъ ночныхъ бабочекъ. Византія упорно защищалась не только оружіемъ, но и старалась ослабить своихъ враговъ силой утонченной цивилизаціи. Наконецъ, путемъ пріобщенія „варваровъ“ къ христіанской вѣрѣ, Византія пыталась обезпечить себя отъ ихъ нападеній и привлечь ихъ на свою сторону.

Уже, начиная съ пятаго столѣтія, мы находимъ въ византійской арміи турецкіе отряды въ качествѣ союзниковъ или наемниковъ. Гунны, Савиры, Кутригуры, Болгары, Турки, Хазары, потомъ Венгры, Печенѣги, Узы, Половцы и Сельджуки не разъ сражались за Византію, противъ своихъ собственныхъ соплеменниковъ. Цѣлыя массы этихъ народовъ поселились въ предѣлахъ имперіи, гдѣ онѣ потомъ постепенно исчезали. Характернымъ фактомъ въ этомъ отношеніи является,

[1]) Les Costumes orientaux à la Cour Byzantine, Byzantion 1 (1924) 7—49, по-русски въ его посмертномъ трудѣ: Очерки и замѣтки по исторіи средневѣковаго искусства и культуры, Прага 1929, стр. 232 и сл.

между прочимъ, и то, что въ двѣнадцатомъ столѣтіи Іоаннъ Тцетцесъ записалъ нѣкоторыя слова изъ турецкихъ языковъ, которыя онъ по всей вѣроятности слыхалъ въ Константинополѣ.[2]

Очень рано также начинается направляемая изъ Византіи дѣятельность по обращенію турецкихъ народовъ къ христіанству. У насъ есть свѣдѣнія о томъ, что уже въ началѣ VI-го вѣка византійскіе миссіонеры успѣшно распространяли христіанство на Кавказѣ и на сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря. Источники упоминаютъ о цѣломъ рядѣ гуннскихъ вождей, которые крестились въ Византіи и стали такимъ образомъ союзниками византійскаго двора. Не разъ ходили изъ отдаленныхъ странъ гуннскіе князья въ Константинополь, чтобы принять христіанство и получить богатые подарки изъ рукъ самого императора. Извѣстно, что Ковратъ, союзникъ императора Гераклія, основатель имперіи Оногуровъ-Болгаръ, крестился также въ Византіи, и за нимъ послѣдовали затѣмъ многіе изъ венгерскихъ, печенѣжскихъ и другихъ вождей.

Всѣ эти соприкосновенія кочевниковъ турецкаго племени съ Византіей породили тѣсную связь и въ культурномъ отношеніи. Это культурное вліяніе не было одностороннимъ. Византія не только давала, но и получала; въ этомъ процессѣ можно замѣтить извѣстное соотношеніе областей, въ которыхъ были вліянія или въ ту, или иную сторону. Византія повліяла на кочевниковъ преимущественно въ смыслѣ развитія техники, напримѣръ, кочевники нуждались въ мастерахъ строительнаго искусства. Извѣстно, что баня гуннскаго начальника Онигисіи была построена римскимъ плѣнникомъ. Также и къ аварскому кагану Баяну были посланы византійскимъ императоромъ римскіе архитектора, которые построили мостъ черезъ рѣку Саву. Такимъ же образомъ была построена хазарская крѣпость Саркелъ, въ которой приняли участіе присланные императоромъ Ѳеофиломъ византійскіе техники.

Что же касается обратнаго вліянія турецкихъ народовъ на Византію, то прежде всего надо обратить вниманіе на большую роль, которую играли турецкіе элементы въ развитіи византійскаго военнаго искусства. У насъ есть уже отъ VI-го вѣка важное свидѣтельство, сохраненное въ историческомъ трудѣ Агафія (I. 22), на основаніи котораго съ опредѣленностью можетъ быть установленъ тотъ фактъ, что въ 552-омъ году въ одной изъ битвъ готской войны византійской конницей была примѣнена тактика, заимствованная у гуннскихъ народовъ.

Кромѣ военнаго искусства вліяніе турецкихъ народовъ чувствуется и въ области византійскаго костюма. Уже историкъ Прокопій Кесарійскій свидѣтельствуетъ о томъ (Тайная исторія 7, 8—14), что во время царствованія Юстиніана были приняты гуннскіе, по его выраженію, моды, нравы и одѣянія. Изъ книги Константина Багрянороднаго „О Церемоніяхъ“ видно, что одежды варварскаго происхожденія держались и въ X-омъ вѣкѣ при византійскомъ дворѣ. Таковыми были кабатъ, скарамангій, а, позднѣе, скараникъ, о которыхъ мы уже говорили.[3]

---

[2]) См. мою статью: Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes, Byzantinisch-neugrichische Jahrbücher 7 (1930) 352—365.

[3]) Относительно этимологіи этихъ словъ см.: П. Φουρίκης, Περὶ τοῦ ἐτύμου τῶν λέξεων σκαραμάγγιον, καβάδιον, σκαράνικον, Λεξικογραφικὸν Ἀρχεῖον τῆς Μέσης καὶ Νέας Ἑλληνικῆς 6 (1923) 444—476; ср. Византійскій Временникъ 25 (1927) 137.

Тотъ же самый писатель сохранилъ для насъ и наименованіе еще одной одежды, происхожденіе которой до сихъ поръ, насколько я знаю, не выяснено. Въ настоящей моей статьѣ я и имѣю намѣреніе заняться какъ разъ этимъ вопросомъ.

Въ книгѣ „О Церемоніяхъ" неоднократно упоминается верхняя одежда, называвшаяся τὸ τζιτζάκιον или τὰ τζιτζάκια.[4] Н. П. Кондаковъ въ своемъ посмертномъ трудѣ говоритъ, что эта одежда „совершенно неизвѣстнаго вида". Все, что можетъ быть установлено по сообщеніямъ Константина, заключается въ томъ, что цицакій былъ верхнею одеждою, въ частности, выходной одеждой деспотовъ въ 1-ый день Пасхи.[5] Что же касается происхожденія цицакія, мы читаемъ у Н. П. Кондакова слѣдующее: „...цицакій (τζιτζάκιον), совершенно неизвѣстнаго вида и происхожденія (по одной схоліи — именно хазарскаго), будто бы введеннаго въ обычай въ VIII вѣкѣ хазарскою принцессою, матерью Льва Хазара..." Схолія, на которую ссылается Н. П. Кондаковъ, гласитъ (въ Боннскомъ изданіи I, стр. 22) слѣдующее: Ἰστέον, ὅτι τὰ τζιτζάκια ἐκ τῆς χαζάρικος φορέουσι, ἅτινα ἀπὸ τῆς χαζάρικος τῆς αὐγούστης ὑπεδείχθησαν ἐν ταύτῃ τῇ βασιλίδι θεοφυλάκτῳ πόλει. Къ этому тексту комментаторъ текста замѣтилъ еще слѣдующее (II. стр. 126—127): «In scholio ipso pro φορέουσι erat φορεσι in membranis, quod quid sit non expedio. Paullo post restituatur ex iisdem βασιλίδι καὶ θεοφυλάκτῳ". Эта схолія привлекла мое вниманіе, когда я началъ собирать матеріалъ для своего еще неопубликованнаго труда, имѣющаго заглавіе «Sprachreste der Türkvölker und des Ungartums in den byzantinischen Quellen». Уже тогда я замѣтилъ, что та редакція греческаго текста, которую мы читаемъ въ изданіи, не можетъ быть правильной. Выраженіе ἐκ τῆς χαζάρικος φορέουσι непонятно. Кромѣ того въ средневѣковомъ греческомъ языкѣ форма глагола φορέουσι не употребляется. Поэтому я пришелъ къ убѣжденію, что издатель сдѣлалъ ошибку, разбирая почеркъ рукописи. Это мое мнѣніе нашло себѣ полное подтвержденіе при сличеніи изданнаго текста съ подлинникомъ. Какъ извѣстно, текстъ книги „О Церемоніяхъ" сохранился для насъ въ одной рукописи въ Лейпцигской городской библіотекѣ (cod. Lipsiensis Rep. I. 17), бывшей когда-то драгоцѣннымъ сокровищемъ т. н. Корвинской Библіотеки короля венгерскаго Матвѣя.[6] Дирекція Лейпцигской библіотеки, которой я долженъ и здѣсь выразить свою искреннюю благодарность, въ отвѣтъ на мою просьбу послала мнѣ фотографію страницы 28, содержащей интересующій насъ текстъ, и такимъ образомъ я получилъ возможность провѣрить текстъ изданія. Результатомъ этой провѣрки явилась увѣренность, что Reiske не могъ разобрать сокращеній, употребленныхъ переписчикомъ XI вѣка. Подлинный текстъ схоліи въ рукописи, по моему чтенію, гласитъ слѣдующее: Ἰστέον, ὅτι τὰ τζιτζάκια ἔστι χαζάρικος φορεσία, ἅτινα ἀπὸ τῆς Χαζάρας τῆς Αὐγούστης ὑπεδείχθησαν ἐν ταύτῃ τῇ βασιλίδι καὶ θεοφυλάκτῳ πόλει. Этотъ текстъ даетъ правильный смыслъ фразы и съ точки зрѣнія этимологіи средневѣковаго греческаго языка безупреченъ. Страннымъ кажется на первый взглядъ лишь то, что имя прилагательное χαζάρικος передъ словомъ φορεσία имѣетъ форму мужескаго рода, но такія

---

[4]) Изд. Reiske, Bonnae 1829. I. 22_{19}, 86_{14}, 88_{21}, 89_{15}, 90_{3}, 92_{3}, 98_{12}, 141_{2}, 142_{0}, $187_{10, 12}$, 188_{14}, 213_{22}, 440_{2}

[5]) Стр. 225—226, гдѣ и указана прежняя литература объ этой одеждѣ.

[6]) Ср. Fraknói V. — Fógel I. — Gulyás P. — Hoffmann E., Bibliotheca Corvina, Budapest 1927, стр. 77.

непослѣдовательности не разъ встрѣчаются въ народномъ греческомъ языкѣ среднихъ вѣковъ.[7] Что же касается необычнаго ударенія слова χαζάρικος, мы могли бы привести цѣлый рядъ примѣровъ подобнаго рода.[8]

По исправленному тексту схоліи, написанной той самой рукой, которая переписала и весь текстъ рукописи, мы можемъ установить, что τζιτζάκιον былъ дѣйствительно хазарскимъ костюмомъ, привезеннымъ въ Константинополь — по сообщенію неизвѣстнаго автора схоліи — какою-то Хазаркою, которая была византійской императрицей.

Извѣстно, что въ Византіи царствовали двѣ императрицы хазарскаго происхожденія: первая была Θеодора, жена Юстиніана II (685—695, 705—711), вторая — Ирина, жена Константина V Копронима (740—775). Императоръ Юстиніанъ женился на Θеодорѣ во время своей ссылки въ Херсонъ. Θеодора, хотя и была нѣкоторое время царицею, но, по всей вѣроятности, скоро скончалась и не видѣла второго паденія и насильственной смерти своего мужа.[9] Тѣ бурныя обстоятельства, при которыхъ царствовали Юстиніанъ и его жена, и особенно ненависть къ нимъ народа, не позволяетъ намъ предположить, что упомянутая Хазарка нашей схоліи могла быть Θеодорой. Съ другой стороны очень важную роль играла въ Византіи Ирина, жена Константина Копронима. Будучи еще молодой дѣвушкой, она попала въ Византію, гдѣ крестилась и вышла замужъ за Константина.[10] О ней часто упоминаютъ византійскіе источники, называя ее просто Хазаркою (ἡ Χαζάρα)[11] — наименованіе, которое мы встрѣтили и въ схоліи. Ея хазарское происхожденіе было столь общеизвѣстнымъ, что даже и сынъ ея Левъ IV (775—780) получилъ прозвище: Χάζαρις или Χάζαρος.[12] Принимая во вниманіе эти факты, мы считаемъ возможнымъ всецѣло признать правильность предположенія, высказаннаго въ примѣчаніи къ этому мѣсту Reiske, согласно которому подъ Χαζάρα схоліи разумѣется императрица Ирина, жена Константина Копронима. Такимъ образомъ не приходится больше сомнѣваться въ досто-

---

[7]) См. примѣры подобнаго рода у Psaltes, Grammatik der byzantinischen Chroniken, Göttingen 1913, стр. 188. Замѣчательно еще, что у Константина De adm. imp. 168_{22} встрѣчается τῆς αὐτῆς Χαζάρου, это чтеніе подтверждается тоже рукописями.

[8]) Psaltes, стр. 293.

[9]) См. Theophanes, ed. C. de Boor 373, 375; Nikephoros, ed. C. de Boor 40, 41, 43; Zonaras, ed. Bonn. III. 242.

[10]) Theophanes 409—410; ср. краткое житіе Св. Стефана Сурожскаго, Труды В. Г. Васильевскаго, III. Петроградъ 1915, стр. 76.

[11]) Georgios monachos, ed. C. de Boor $765_{7,9}$; Nikephoros, ed. C. de Boor 105_{16}; Leon Grammatikos, ed. Bonn. 185_{7}, $190_{3,6}$, 192_{15}; Kedrenos, ed. Bonn. I. 784_{3}, II 9_{9}; Zonaras, ed. Bonn. III. 283_{1}; Glykas, ed. Bonn. 528_{13}; Ephraim, ed. Bonn. 83_{26}; Ioel, ed. Bonn. 52_{13}; Anecdota Bruxellensia, ed. F. Cumont, Gand 1894, стр. 32_{7}; Κωνσταντίνου Λασκάρεως ἀνέκδοτος σύνοψις ἱστοριῶν„ ἐκδ. ὑπὸ Σπ. Π. Λάμπρου ἐν ’Αθήναις 1910, стр. 74_{25}. — Въ славянскомъ переводѣ Георгія Амартола, изданіе В. М. Истрина I, Петроградъ 1920, стр. 482: ѿ Козарынѣ; у Симеона Метафраста и Логофета, изд. В. Срезневскаго. С,-Петербургъ 1905, стр. 82: ѿ Хазары.

[12]) Λέων ὁ ἐκ μητρικῆς ἐπωνυμίας Χάζαρις ἐπικληθείς Vita Theophanis, ed. C. de Boor II. 4_{27-28}; ср. Vita S. Theodori Studitae, изд. В. Латышевъ, Византійскій Временникъ 21 (1914) 261_{10}; Vita et miracula Ioanicii, Acta SS. Nov. II. 334 A; Nikephoros, ed. C. de Boor 100_{10}; Konstantinos, De cerim. 645_{15} и т. д.

вѣрности сообщенія, что именно она сама познакомила Византію съ хазарской одеждой τζιτζάκιον.[13]

Остается еще рѣшить вопросъ, почему этотъ костюмъ хазарскаго происхожденія носитъ названіе τζιτζάκιον и какого происхожденія это слово? Въ средневѣковомъ греческомъ языкѣ оно неизвѣстно и нигдѣ не встрѣчается кромѣ книги „О Церемоніяхъ". Покойный Н. П. Кондаковъ высказалъ слѣдующее общее положеніе, примѣнимое и въ данномъ случаѣ: „... рядъ именъ, сообщенныхъ у Константина, останется частью задачею со многими неизвѣстными, пока не разработается средневѣковой греческій языкъ и лексикологія передняго Востока".[14] Итакъ, мы должны и въ данномъ случаѣ искать происхожденія этого слова въ восточныхъ языкахъ. То обстоятельство, что рѣчь идетъ о хазарскомъ костюмѣ, заставляетъ насъ предположить, что слово τζιτζάκιον хазарскаго происхожденія. Слѣдуя строго филологическому методу, мы должны прежде всего отвѣтить на вопросъ, можетъ ли соотвѣтствовать дѣйствительности то произношеніе слова, которое такъ распространилось, что и у Кондакова мы также встрѣчаемъ транскрипцію „*цицакій*". Не слѣдуетъ ли произносить его иначе — по правиламъ, транскрипціи иностранныхъ словъ въ средневѣковомъ греческомъ языкѣ?

Сочетаніе τζ въ средневѣковомъ греческомъ языкѣ дѣйствительно часто соотвѣтствуетъ звуку *ц (= c)* иностранныхъ языковъ, напр. въ слѣдующихъ славянскихъ словахъ: Κοτζέλης Migne, PG. 126 c. 1201 A ~ *Kocel*, στράβιτζα Byz.-Neugr. Jahrb. 5 (1926/27) 370. ~ *zdravica*, σέστριτζα тамъ-же 7 (1928/9) 357. ~ *sestrica*, а также въ венгерскомъ имени: Λοσόντζε G. Mercati, Scritti d'Isidoro il cardinale Ruteno, Roma 1926. 71. ~ *Lošonci*. Такихъ примѣровъ мы могли бы привести большое количество. Но сочетаніе τζ употребляется тоже для передачи звука *ч (= č)*, напр. въ слѣдующихъ собственныхъ именахъ: Βουλτζούς Konst. De adm. imp. 175_{14} ~ венг. *Bulču*, Βάϊτζας тамъ-же 165_{6} (такъ въ рукописи XI-го вѣка!) ~ печен. *Baiča;* Παγάτζιον Kinnamos 222_{5} ~ венг. *Bayač* > *Bāč* и въ слѣдующихъ турецкихъ словахъ: γενίτζερι Dukas 137_{18} ~ *jeničeri*, τζελεπής Phrantzes 48_{18} ~ *čelebi*, Γενημπαγτζία Ekthesis Chronike, ed. Lampros 54_{9} ~ *jeni-bayče*. Итакъ τζ, какъ это видно изъ приведенныхъ примѣровъ — а такихъ есть еще очень много, — часто соотвѣтствуетъ звуку *ч (= č)*, преимущественно въ турецкихъ словахъ.[15]

Посмотримъ теперь, какой звукъ представляетъ собою α въ иностранныхъ словахъ? Кромѣ *a* онъ часто употребляется для передачи *e (ä)*. Такіе примѣры встрѣчаются обильно при транскрипціи турецкихъ словъ: Πατζινακῖται (Πατζινάκαι. Πατζινάκοι) въ многихъ источникахъ ~ тур. *bečinek*, русск. *Печенѣги*,[16] но Πετζινάκοι

---

[13]) То же самое мнѣніе высказалъ уже Ebersolt, Mélanges, стр. 56, Les arts somptuaires, стр. 52, 142.

[14]) Цитированный его посмертный трудъ, стр. 226.

[15]) Для передачи *ч (= č)* византійскіе писатели употребляютъ кромѣ τζ и букву τ, н. п. Ἀκάτιροι Priskos Exc. de leg. 139_{23}, 588_{10} (на другихъ мѣстахъ Ἀκάτζιροι!); другіе примѣры у Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge 489. Слѣды этого употребленія встрѣчаются и у Лаоника Халкокондила, н. п. ed. Darkó II. 170_{21} χλουμετίην рукописи: Χλουμουτζίην ошибочно Darkó; II. 195_{18} τάμπεζιν рукописи: Τζάμπαζιν ошибочно Darkó. — Печенѣжское имя Ταλμάτ Konst. De adm. imp. $165_{3,8}$ соотвѣтствуетъ турецкому *tolmač;* см. Németh, Kőrösi Csoma Archivum 1 (1921—25) 223. — Сочетаніе τζ кромѣ *ц (= c)* и *ч (= č)* часто употребляется и для передачи *дж (= ğ)*; н. п. Τζιγκίς Pachymeres I 347_{8} ~ *Čingiz*, ἀκιντζίδες Dukas 189_{17} ~ *aqynğy*, Περκλιτζίας Dukas 113_{14} ~ *Börekliğe* и т. д.

[16]) Ср. Z. Gombocz, Über den Volksnamen besenyő, Turán 3 (1918) 209—215.

у Kinnamos 107_{17} и Niketas Akominatos 23_{2} (въ лучшихъ рукописяхъ, такъ!), Πετζενάγοι и Πετζινάγοι въ одной рукописи Скилицы; *ä* в турецкомъ *bäg* не разъ передается посредствомъ α, такъ напр. Ἀβραμπάξ Georgios Pachymeres II 328_{17}, Ἀταπάκας Anna Komnena, ed. Reifferscheid II 125_{17}, Μακαραμπάκ Leontios Machairas, ed. Miller-Sathas 367, πεκλάρπακις Georgios Akropolites, ed. Heisenberg 138_{12} и т. д.[17]

На основаніи вышеизложеннаго мы читаемъ наше слово τζιτζάκιον такимъ образомъ: *čiček—ιον*. Слово *čičäk* или *čäčäk* имѣетъ въ турецкихъ языкахъ опредѣленный смыслъ; оно обозначаетъ *'цвѣтокъ, die Blume, die Blüte'*.[18] Но вѣроятно ли, чтобы какая-либо одежда могла носить наименованіе *'цвѣтокъ'*? Повидимому, нѣтъ. Чтобы найти правильное значеніе слова *čičäk*, мы должны сдѣлать еще шагъ дальше. Слово *čičäk* у турецкихъ народовъ часто употребляется какъ женское имя. *Čičäk* встрѣчается уже въ томъ турецко-арабскомъ словарѣ, который былъ изданъ M. Th. Houtsma.[19] Въ XIII вѣкѣ жила *Джиджекъ-хатунъ*, жена одного татарскаго хана.[20] У монголовъ тоже извѣстны такія имена; напр., *Dschidschegan*,[21] и у уйгуровъ мы находимъ поэтическое женское имя *Ai-čiček-tängri*.[21] Въ одномъ новогреческомъ нарѣчіи тоже употребляется женское имя *Τσιτσέκα*, свидѣтельствующее о турецкомъ вліяніи.[23] Въ старо-венгерскомъ языкѣ мы тоже имѣемъ примѣръ употребленія *Virág* 'цвѣтокъ' въ качествѣ женскаго имени.[24] О томъ, какъ распространенъ обычай у турецкихъ народовъ именованія женщинъ названіемъ различныхъ цвѣтовъ, свидѣтельствуетъ слѣдующее наблюденіе Гродекова (Киргизы и Каракиргизы I. 98): „Примѣры женскихъ именъ: *Урюкъ* (абрикосъ), *Пистагуль* (фисташковый цвѣтъ), *Мiвгуль* (цвѣтокъ изюма), *Альмагуль* (цвѣтокъ яблони) ... *Турсунгуль* (останься цвѣтокъ)...“.[25]

Принимая во вниманіе всѣ эти данныя, нѣтъ болѣе основаній сомнѣваться въ томъ, что наименованія по цвѣтамъ и въ особенности самое слово *čiček* 'цвѣтокъ' были у турецкихъ народовъ излюбленными и распространенными женскими именами. Такимъ образомъ, мы приходимъ къ заключенію, что хазарскій

---

[17]) Другіе примѣры у Z. Gombocz, Turán 3 (1918) 210, G. Fehér, Известия на Българския Археологически Института 5 (1928/29) 133 и сл., J. Németh, Ungarische Jahrbücher 10 (1930) 28 и сл., J. Németh, A honfoglaló magyarság kialakulása, Budapest 1930, стр. 135.

[18]) Радловъ, Опытъ словаря тюркскихъ нарѣчій III. 1987, 2144—45; Vámbéry, Etymologisches Wörterbuch der turkotatarichen Sprachen 156. — Что слово τζιτζάκιον соотвѣствуетъ турецкому *čiček*, призналъ уже Σ. Δ. Βυζάντιος: Ἡ Κωνσταντινούπολις III. Athenai 1869, стр. 106, ср. Sophocles, Greek Lexicon s. v. τζιτζάκιον; Γ. Σωτηρίου, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 3 (1919) 363; Π. Α. Φουρίκης, Λαογραφία 10 (1930) 20—22; Ebersolt, Mélanges d'histoire et d'archéologie byzantines, Paris 1917, стр. 56, гдѣ мы читаемъ слѣдующее объясненіе: «on peut rapprocher le mot du *tschitschek* fleur» и «un vétement de cérémonie brodé de fleurs».

[19]) Ein türkisch-arabisches Glossar, Leiden 1894, стр. 29.

[20]) В. Д. Смирновъ, Крымское ханство подъ верховенствомъ Оттоманской Порты, С.-Петербургъ 1887, стр. 31.

[21]) Hammer-Purgstall, Geschichte der Ilchane das ist der Mongolen in Persien, Darmstadt 1842—43. I. 85., тамъ-же упоминается Dschidschek какъ мужское имя; ср. I. 85, II. 86.

[22]) L. Rásonyi Nagy, Nyelvtudományi Közlemények 46 (1923—27) 129. *Ai-čiček* было имя и матери шаха Джелаледдина Менгберди († 1230); см. *Nasawī*, Hist. du sultan... Mankobirti, ed. Houdas, Paris 1891, стр. 45 (по сообщенію L. Rásonyi Nagy).

[23]) Ἀ. Χ. Μπούτουρας, Τὰ νεοελληνικὰ κύρια ὀνόματα, ἐν Ἀθήναις 1912, стр. 142.

[24]) E. Jakubovich, Magyar Nyelv 11 (1915) 457; D. Pais, Ungarische Jahrbücher 3 (1923) 247.

[25]) Привожу по любезному сообщенію моего многоуважаемаго друга L. Rásonyi Nagy.

костюмъ назывался въ Византіи именно потому τζιτζάκιον, что хазарская принцесса, привившая моду на него въ своемъ новомъ отечествѣ, носила хазарское имя *Čiček*, которое она только послѣ своего крещенія измѣнила по византійскому обычаю на христіанское имя „Ирины". Въ пользу этого нашего предположенія говоритъ и то обстоятельство, что одежды вообще часто получаютъ названія по именамъ лицъ, ихъ носящихъ. Такъ напр., во время венгерскаго національнаго возрожденія въ началѣ XIX-го вѣка разные роды костюмовъ были поименованы по знаменитымъ героямъ венгерской исторіи: отъ Атиллы, гуннскаго короля, получилось названіе '*atilla*',[26] отъ перваго венгерскаго князя — '*árpádka*', и кромѣ этихъ были въ модѣ — '*magyarka*', '*kossuth*' и т. д. Впрочемъ перенесеніе имени носителя на одежду, которую онъ носитъ, есть такое явленіе, которое и безъ примѣровъ психологически легко понятно.

Наименованіе новаго костюма хазарскаго происхожденія получилось по нашему мнѣнію слѣдующимъ образомъ: молодая хазарская принцесса во время своего пребыванія въ Византіи носила какой-то хазарскій костюмъ, который потомъ при царскомъ дворѣ сталъ популярнымъ и излюбленнымъ, былъ введенъ въ обычай и получилъ имя принцессы '*Čiček*'. Н. П. Кондаковъ, судя по сообщенію Константина, высказалъ мнѣніе, что „цицакій" „держался до X-го вѣка и скоро затѣмъ вышелъ изъ употребленія". Если бы утвержденіе греческаго ученаго П. А. Φουρίκης,[27] что слово τζιτζάκιον съ самою одеждою еще и теперь употребляется на греческомъ островѣ Саламинѣ, было бы правильно, то мы должны были бы предположить, что эта варварская одежда была въ Византіи распространена болѣе, нежели мы до сихъ поръ думали и что она пережила всю византійскую эпоху. Но это предположеніе мнѣ кажется еще не доказаннымъ.

Если наше заключеніе относительно происхожденія слова τζιτζάκιον правдоподобно, то мы открыли до сихъ поръ неизвѣстное хазарское собственное имя, очень важное для изученія хазарскаго языка, тѣмъ болѣе, что о немъ до насъ дошли — по сравненію съ другими турецкими языками эпохи переселенія народовъ — только очень скудныя свѣдѣнія.[28] Въ византійскихъ источникахъ сохранились кромѣ имени народа Χάζαροι (Χάζαρεις или Χαζάρεις) четыре хазарскихъ названія должностей: χαγάνος (во многихъ источникахъ), πέχ (Konst. De adm. imp. 178_2 = Theoph. cont. 122_{20}), тарханъ (въ русскомъ переводѣ житія Стефана Сурожскаго, Труды В. Г. Васильевскаго III. 95), τουδοῦνος (Theoph. 378—379, Nikephoros 45—46), названіе крѣпости Σάρκελ (Konst. De adm. imp. 80, 177 и слѣд., Theoph. cont. 122, 124) и нѣсколько личныхъ именъ: Βαλγίτζις, хазарскій намѣстникъ около 703 г. (Theoph. 373), Ζιέβηλ, хазарскій вождь около 625 г. (Theoph. 316), Ἰβούζηρος Γλιάβανος, шуринъ византійскаго императора Юстиніана II (Preger, Scrip-

---

26) Ср. Gombocz-Melich, Lexicon critico-etymologicum linguae Hungaricae I. 173—174.

27) Ueber ein byzantinisches Kleidungsstück bei den Albanesen von Salamis und über τζιτζάκιον und καπιτζάλιον, Deuxième Congrès International des Études Byzantines, Belgrade 1927, Compte-rendu, Belgrade 1929, стр. 112—113; Τζιτζάκιον — Τζάκ, Λαογραφία 10 (1930) 20—22, гдѣ онъ предполагаетъ, что современное греческое слово τζάκος тождественно съ византійскимъ τζιτζάκιον.

28) О хазарскомъ языкѣ см.: Németh, A honfoglaló magyarság kialakulása, Budapest 1930, стр. 209 и сл.

tores originum Constantinopolitanorum I. 40_4), Παπατζύς, хазарскій начальникъ около 703 г. (Theoph. 373) и Γεώργιος Τζοῦλος, хазарскій князь около 1016 г. (Skylitzes 464_{10}).

Къ вышеприведеннымъ собственнымъ именамъ мы можемъ теперь прибавить хазарское имя императрицы Ирины, найденное нами въ словѣ τζιτζάκιον, которое одновременно сохранило для насъ интересный памятникъ хазаро-византійскихъ отношеній въ VIII вѣкѣ.

Ю. Моравчикъ.

DIE HERKUNFT DES WORTES TZITZAKION

In dem Werk »De cerimoniis« des Kaisers Konstantin wird öfters ein kaiserliches Kleidungstück namens τὸ τζιτζάκιον oder auch τὰ τζιτζάκια erwähnt. Was dies eigentlich war, wissen wir nicht. Laut Kondakovs Feststellungen ist so viel sicher, daß es ein Oberkleid gewesen ist. Über seine Herkunft klärt uns ein Scholion, welches in der berühmten Leipziger Handschrift des »De cerimoniis« aus dem XI. Jh. hinterblieb, auf. Reiske, der die Abkürzungen des Abschreibers nicht deuten konnte, gibt in seiner Ausgabe einen falschen Text, dessen Lösung sowohl in sprachlicher Hinsicht als auch dem Sinne nach Schwierigkeiten bereitet. Der Vergleich jener Stelle mit der Handschrift ermöglichte es, die ursprüngliche Form des Scholions wieder herzustellen. Laut dem Bericht des unbekannten Verfassers war das τζιτζάκιον eine *chasarische Tracht* und wurde von der als Chasarin bezeichneten Augusta in Konstantinopel eingeführt. Diese Kaiserin kann — wie auch Reiske meinte — nur Eirene, die Gattin des Konstantinos V. Kopronymos, deren Beinamen ἡ Χαζάρα die byzantinischen Quellen wohl kennen, gewesen sein. Demnach also müssen wir im τζιτζάκιον ein chasarisches Wort sehen. Das Wort ist nicht als цицакій zu lesen, wie Kondakov meinte, sondern vielmehr als čiček-ιον, da das τζ nicht nur *c*, sondern — hauptsächlich bei der Transkription türkischer Worte — auch *č* bezeichnet. *Čičäk* bedeutet in den türkischen Sprachen 'Blume'. Da das Wort *Cicäk* bei mehreren Türkvölkern als Frauenname gilt, müssen wir uns den Bedeutungswandel so erklären, daß der ursprüngliche Name der chasarischen Princessin *Cicäk* war und sie erst bei ihrer Taufe in Byzanz den Namen Eirene erhielt. Das byzantinische Kleidungstück erhielt seinen Namen — wie dies oft der Fall ist — von seinem Träger. *Cicäk,* den Namen der chasarischen Princessin dürfen wir also zu den wenigen chasarischen Eigennamen zählen, welche die byzantinischen Quellen uns aufbewahrt hatten und im τζιτζάκιον hinterblieb uns ein interessantes Sprachdenkmal der byzantinisch-chasarischen Beziehungen im VIII. Jh.

Gyula Moravcsik.

Budapest.

РУССКО-БОЛГАРСКІЯ ОТНОШЕНІЯ ПРИ СВЯТОСЛАВѢ[1]

I.

О войнахъ русскаго князя Святослава въ Болгаріи писано уже немало. И все же основной вопросъ относительно событій за періодъ 967—972 г. остается неразъясненнымъ: каковы были и какъ развивались отношенія между Святославомъ и болгарами?

Все сказанное до сихъ поръ по этому вопросу сводится къ одному: русскій князь силою оружія преодолѣлъ сопротивленіе, которое болгары пытались оказать ему; затѣмъ насиліемъ и кровавымъ терроромъ не только навязалъ имъ свою власть, но и заставилъ ихъ помогать ему въ войнѣ съ Византіей.[2]

Этотъ взглядъ основанъ, главнымъ образомъ, на нѣкоторыхъ сообщеніяхъ двухъ византійскихъ авторовъ, Льва Діакона и Скилицы. „Святославъ, повѣствуетъ въ одномъ мѣстѣ первый, со свойственной ему жестокостью, запугалъ болгаръ. По занятіи Пловдива (Филиппополя) онъ повелѣлъ посадить на колъ 20 тыс. чел. изъ захваченныхъ въ этой крѣпости въ плѣнъ и такимъ способомъ положилъ конецъ всякому сопротивленію.[3] Когда же позже императоръ Іоаннъ Цимисхій перешелъ въ наступленіе противъ русскихъ, взялъ Преславъ и двинулся къ Доростолу, и когда болгары начали отлагаться отъ Святослава, то послѣдній, разсказываетъ тотъ-же авторъ,[4] повелѣлъ звѣрски перебить въ Доростолѣ около 300 видныхъ болгаръ, а прочихъ ввергнуть въ оковы. Согласно Скилицѣ число этихъ послѣднихъ было 20 тысячъ.[5]

Взятыя сами по себѣ, эти сообщенія дѣйствительно представляются доста-

---

[1]) Настоящая статья, явившаяся докладомъ автора на V съѣздѣ русскихъ ученыхъ въ Софіи, представляетъ собою главу изъ недоконченнаго еще изслѣдованія о болгарской исторіи въ X вѣкѣ.

[2]) См. Гильфердингъ, Исторія сербовъ и болгаръ. Сочиненія, I, стр. 144 сл.; Иречекъ, Исторія болгаръ, русс. перев. Бруна и Палаузова, стр. 242 сл.; Дриновъ, Началото на Самуиловата държава, также Южные Славяне и Византія въ X вѣкѣ. (Съчинения, I, стр. 338 сл., 468 сл.); Schlumberger, Un empereur byzantin au X[e] siècle, Niceph. Phocas, p. 570, 573, 470, l'Epopée byzantine à la fin du X[e] siècle. I, p. 37, 41; Златарски, История на бълг. държава презъ срѣднитѣ вѣкове, I, 2, стр. 600, 604; Балаечевъ, България презъ последнитѣ десетгодишнини на X в. София 1929, стр. 7 сл., 12 сл.; Runciman, A history of the first Bulgarian empire, London, 1930, p. 210. Въ томъ же смыслѣ — Соловьевъ, Исторія Россіи, изд. VI, т. I, стр. 140.

[3]) L. Diac. ed. Bonn. 105. 3.

[4]) Id. 138. 10.

[5]) G. Cedr., ed. Bonn. II, 400. 12.

точнымъ аргументомъ въ пользу взгляда, что въ Болгаріи Святославъ держался только необузданнымъ насиліемъ.

Но тутъ возникаетъ одно затрудненіе. Наряду съ этими данными, тѣ же самые авторы сообщаютъ и другія, свидѣтельствующія о томъ, что отношенія между болгарами и русскими далеко не походили на отношенія между кровожадными завоевателями и дрожащими передъ ними рабами. Прежде всего заслуживаютъ вниманія условія, въ какія во время русскаго завоеванія былъ поставленъ послѣдній преславскій царь, Борисъ II. Считается обыкновенно, что русскіе содержали его какъ настоящаго плѣнника „подъ стражею" въ его дворцѣ[6] и что въ такомъ состояніи, „истомленный плѣномъ у Русовъ" онъ былъ найденъ Цимисхіемъ, когда, $2^1/_2$ года спустя, византійскія войска захватили Преславъ.[7] Въ сущности же Скилица, изъ повѣствованія котораго извлеченъ этотъ выводъ, говоритъ совсѣмъ другое. Когда, разсказываетъ онъ, византійцы хлынули въ городъ, защитники его стянулись въ кремль, гдѣ находились царскія палаты, и стали готовиться къ послѣднему сопротивленію. Бориса, однако, тогда тамъ не было. Воины Цимисхія еще раньше захватили его во внѣшнемъ городѣ. Это значитъ, что болгарскій царь не содержался подъ стражей въ преславскомъ кремлѣ, а могъ свободно передвигаться въ своей столицѣ. Въ противномъ случаѣ, особенно въ такой моментъ, когда непріятель штурмовалъ ея стѣны, — русскіе бы усилили свой надзоръ надъ царемъ и не позволили бы ему выходить изъ его „темницы".

Это еще не все. Когда Бориса привели предъ Цимисхія, онъ — и это послѣ двухлѣтняго „пребыванія въ плѣну"! — еще носилъ знаки царскаго достоинства.[8] Сверхъ того, среди русскихъ воиновъ, составлявшихъ преславскій гарнизонъ, которымъ, слѣдовательно, якобы былъ порученъ надзоръ надъ этимъ „плѣнникомъ", было, какъ дальше увидимъ, очень много болгаръ. Въ то время какъ Борисъ продолжалъ пребывать въ своемъ стольномъ городѣ, Святославъ съ другой частью войскъ находился въ Доростолѣ, гдѣ, какъ кажется, была его постоянная резиденція.[9] Могутъ ли всѣ эти, не подлежащія сомнѣнію, данныя быть согласованы съ представленіемъ о свергнутомъ съ престола владѣтелѣ страны, изнемогавшей подъ невыносимымъ игомъ суроваго варвара? Можно-ли привести въ исторіи другой примѣръ завоевателя, который допустилъ бы, чтобы владѣтель залитой кровью его народа земли жилъ въ условіяхъ, въ какихъ мы находимъ Бориса II?

---

[6]) Гильфердингъ, 146; Иречекъ, 242; Schlumberger, l'Epopée I, 45; cf. Nic. Phocas 740 sq; Златарски, 600; Runciman, 205, 207, 209.

[7]) Дриновъ, Съчинения, I, 474.

[8]) Cedr. II. 396. 10: ἑάλω δὲ καὶ Βορίσης ὁ βασιλεὺς τῶν Βουλγάρων... ἔτι τὰ παράσημα φέρων τῆς βασιλείας.

[9]) Schlumberger, l'Epopée, I, 98, полагаетъ, что когда въ 972 г. Цимисхій выступилъ въ Болгарію, Святославъ находился въ Доростолѣ „вѣроятно для того, чтобы отразить императорскій флотъ," посланный изъ Константинополя по Дунаю. Это объясненіе недопустимо по той простой причинѣ, что князь вообще ничего не зналъ о военныхъ приготовленіяхъ Цимисхія и о его походѣ на Болгарію. Еще менѣе могъ онъ предполагать, что императоръ атакуетъ его и со стороны Дуная. Самъ Левъ Діаконъ подчеркиваеть, что надежды Цимисхія на то, что ему удастся перейти Балканы и попасть въ Сѣверную Болгарію, основывались на томъ, что русскіе не ожидали войны и не были къ ней готовы (см. L. Diac. 131. 23 сл.).

Военная добыча была главной приманкой, благодаря которой вокругъ русскихъ князей собирались многочисленныя дружины для походовъ въ дальніе края. Князья дѣлили награбленныя богатства и контрибуціи со своими соратниками. Святославъ, — въ прочихъ своихъ походахъ, — не составлялъ исключенія среди своихъ предшественниковъ. Однако здѣсь, въ Болгаріи, было, кажется, нѣчто иное.

Правда, если положиться на нѣкоторыя извѣстія преимущественно позднѣйшихъ авторовъ, повѣствующихъ о русскомъ нашествіи въ болгарскія земли, то пришлось бы заключить, что и эти земли не были пощажены. У Скилицы, напр., читаемъ слѣдующее: въ пятый годъ царствованія Никифора Фоки русскіе напали на Болгарію, „сравняли съ землей много городовъ и селъ и, обремененные множествомъ награбленнаго добра, возвратились въ свое отечество; въ шестой годъ его царствованія они снова двинулись противъ Болгаріи и совершили то же самое и даже еще худшее“.[10] Это сообщеніе Скилицы, переданное почти тѣми-же словами, находимъ и у Зонары,[11] откуда оно перешло и въ продолженіе хроники Симеона Логоѳета.[12] Одна изъ миніатюръ Ватиканской рукописи хроники Конст. Манассія, къ тексту, гдѣ разсказывается о русскомъ нашествіи въ Болгарію, изображаетъ русскихъ, гонящихъ стадо скота, отнятаго у болгаръ. Надъ миніатюрой надпись: плѣнъ русы.[13] Однако всѣ эти извѣстія, не говоря уже объ ихъ позднѣйшемъ происхожденіи, черезчуръ общи и лишены сколько-нибудь конкретнаго содержанія; но еще важнѣе то, что, наряду съ ними, находимъ по этому вопросу и другія — прямо противоположнаго свойства. У того-же Скилицы, напр., читаемъ, что отъ времени захвата русскими Преслава до момента, когда онъ былъ отнятъ у нихъ Цимисхіемъ, сокровища болгарскихъ царей оставались нетронутыми въ ихъ дворцахъ. Они были захвачены Цимисхіемъ, отправившимъ ихъ въ Константинополь.[14] Это сообщеніе подтверждаетъ и Левъ Діаконъ, который былъ современникомъ, а отчасти и свидѣтелемъ этихъ событій.[15]

Но Русскіе пощадили не только царскія сокровища. Извѣстно, какъ вообще они, тогда еще язычники, поступали съ христіанскими святилищами въ земляхъ, имѣвшихъ несчастіе подвергнуться ихъ нашествію. Въ 941 году, при Игорѣ, они совершили налетъ на Виѳинію, гдѣ особеннымъ неистовствамъ подверглись церкви и ихъ служители. Современный лѣтописецъ разсказываетъ, что они связывали у плѣнныхъ священнослужителей сзади руки и вбивали имъ въ головы гвозди; храмы же предавали огню.[16] И въ этомъ отношеніи ихъ поведеніе въ Болгаріи было совершенно иное. Въ одной изъ битвъ при Доростолѣ палъ византійскій магистръ Іоаннъ Куркуасъ. Левъ Діаконъ, который отмѣтилъ этотъ эпизодъ, считаетъ смерть императорскаго полководца карой божіей за то, что

---

[10]) Id. II. 372. 12.

[11]) Zonaras, ed. Bonn. III, 513. 11.

[12]) Слав. переводъ, изд. Срезневскаго, СПб. 1905, стр. 149.

[13]) Филовъ, Миниатюритѣ на Манасиевата хроника въ Ватиканската библиотека, София 1927, табл. 35.

[14]) Cedr. II, 413. 10.

[15]) L. Diac. 136. 10, 158. 10.

[16]) Theoph. Contin., ed. Bonn. 425. 8; cp. Cedr. II, 317. 4.

онъ, со своими войсками, грабилъ болгаръ, забиралъ себѣ ихъ священные сосуды и церковное облаченіе.[17] Язычники-русскіе не только пощадили болгарскіе храмы, но не посягнули и на ихъ богатства: нужно было придти православнымъ византійцамъ, чтобы эти богатства подверглись разграбленію.

Не только подобнаго рода данныя должны остановить наше вниманіе. Извѣстно, что болгары появляются въ войскѣ Святослава сейчасъ же по его водвореніи въ ихъ землѣ и остаются его сподвижниками до послѣднихъ мѣсяцевъ его пребыванія въ Болгаріи. Было бы слишкомъ большой натяжкой объяснять это терроромъ, который примѣнялся по отношенію къ нимъ. При помощи террора Святославъ могъ бы сдѣлать ихъ послушными подданными, но никакъ не воинами, на которыхъ онъ могъ бы положиться въ войнѣ, поведенной имъ противъ Византіи. Извѣстно, чего стоятъ войска, набранныя насильственно и принужденныя биться ради интересовъ своихъ угнетателей. Въ этомъ отношеніи исторія болгарскихъ земель до и послѣ Святослава содержитъ весьма поучительные примѣры.[18] Но что касается интересующихъ насъ событій, то здѣсь мы находимъ какъ разъ обратное.

Мы уже упомянули выше о паденіи Преслава. Мы сказали, что защитники города стянулись въ царскіе дворцы, окруженные высокими стѣнами, вокругъ которыхъ завязался послѣдній бой. Всѣ попытки византійцевъ проникнуть въ цитадель были отбиты съ тяжкими потерями; не помогло и присутствіе самого императора, который лично явился руководить приступомъ. Тогда Цимисхій распорядился пустить въ ходъ огонь. Когда начали бросать въ дворцы горящія головни, и когда они были охвачены пламенемъ, то послѣдніе защитники Преслава рѣшили выйти изъ своего укрытія и биться до конца. Окруженные непріятелемъ, они всѣ пали подъ его копьями и стрѣлами, и никто не попросилъ пощады.

Въ этомъ подвигѣ самопожертвованія русскіе были не одни. Левъ Діаконъ прямо говоритъ, что тутъ пало и „очень много болгаръ".[19] Очевидно, они образовали часть гарнизона осажденной столицы. Что заставило этихъ болгаръ жертвовать собою ради Святослава, если онъ точно былъ не болѣе какъ поработитель ихъ отечества? Ужъ не терроръ ли и боязнь мести со стороны русскаго князя? Но когда между ними и имъ стоялъ Цимисхій со своимъ побѣдоноснымъ войскомъ, какую власть могъ имѣть надъ ними Святославъ?[20]

---

17) L. Diac. 148. 18.

18) Ср. напр. случай со славянами, переселенными Юстиніаномъ II въ Опсикій и поведенными имъ въ качествѣ воиновъ противъ Арабовъ (Theoph. ed. de Boor, 364. 11, 365. 30 сл.) Niceph. Patr. ed. de Boor, 36, 17 сл. Равнымъ образомъ случай съ манихеями въ Филиппопольской области во время войны Алексѣя I Комнина съ Норманнами, An. Comn. ed. Reifferscheid, I, 138. 7, 160. 22, 187. 20.

19) L. Diac. 137. 21: καὶ πλείστων ὅτι καὶ Μυσῶν κατὰ ταύτην πεσόντων τὴν μάχην.

20) Въ упомянутомъ Ватиканскомъ спискѣ Манассіевой хроники одна изъ миніатюръ изображаетъ гражданъ Преслава выходящихъ изъ городскихъ воротъ и привѣтствующихъ поклонами Цимисхія. На основаніи этого Дриновъ (Съчинения, I, стр. 473) допустилъ предположеніе, что византійцы захватили Преславъ при содѣйствіи оказанномъ имъ болгарами, „тяжело переносившими русское иго". Въ свое время Schlumberger, l'Epopée I. 106, вполнѣ основательно отмѣтилъ, что миніатюры этой лѣтописи относятся къ XIV вѣку и что, слѣдовательно, не могутъ считаться историческимъ документомъ рѣшающаго значенія. Еще менѣе, добавили бы мы, ихъ содержаніе можетъ быть использовано для опроверженія свидѣтельства современника, какимъ былъ Л. Діаконъ.

Мнѣ кажется, что уже одного этого факта было бы достаточно, чтобы показать, что обычное пониманіе отношеній между Святославомъ и болгарами основано на недоразумѣніи и не можетъ быть поддерживаемо. Если и въ послѣдній моментъ господства его надъ ихъ землею болгары были способны съ такой отчаянной отвагой сражаться на сторонѣ русскаго князя, то явно ошибочно считать, какъ нѣкогда Гильфердингъ, что „своею политикою Святославъ лишилъ себя возможности успѣха въ Болгаріи“ и что еще задолго до похода Цимисхія онъ вооружилъ противъ себя не только легіоны Имперіи, но и „всю силу разъяреннаго народа болгарскаго“.[21]

Однако, данныя, на которыхъ основано это убѣжденіе, все-же существуютъ, и игнорировать ихъ нельзя. Можно спросить себя, нѣтъ ли въ нихъ преувеличеній, дѣйствительно ли, напр., кровопролитіе, учиненное по приказу Святослава въ Пловдивѣ, было столь велико,[22] дѣйствительно ли было такъ много жертвъ его жестокости въ Доростолѣ; но самыя сообщенія объ этихъ двухъ случаяхъ остаются и опровергнуть ихъ мы не въ состояніи. При всемъ томъ они восходятъ къ тѣмъ же самымъ авторамъ, которые даютъ намъ матеріалъ для прямо противоположныхъ заключеній.

Въ чемъ же выходъ изъ противорѣчія?

Мы думаемъ, что такого противорѣчія просто — не существуетъ. Приведенные отдѣльные факты изъ исторіи русскаго завоеванія Болгаріи, кажущіеся намъ сейчасъ столь несовмѣстимыми одни съ другими, свидѣтельствуютъ единственно о сложности отношеній, вызванныхъ этимъ завоеваніемъ, и отмѣчаютъ лишь отдѣльные моменты въ развитіи этихъ отношеній. И взглядъ, что Святославъ, еще при своемъ появленіи въ Болгаріи, нашелъ объединившимися противъ себя болгаръ и византійцевъ и что, въ продолженіе цѣлаго ряда лѣтъ, онъ лишь при помощи безпощаднаго террора могъ держаться въ здѣшней странѣ, — этотъ взглядъ коренится въ томъ обстоятельствѣ, что вниманіе ученыхъ доселѣ привлекали преимущественно событія, дѣйствительно драматическія, но изолированныя и несущественныя, а потому и далеко неподходящія къ тому, чтобы на ихъ основѣ возводить широкія обобщенія. Къ этому присоединяется еще и то, что были оставлены безъ должнаго вниманія факты противоположнаго свойства, а вмѣстѣ съ ними, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, и соотвѣтствующія разъясненія, содержащіяся въ самыхъ историческихъ источникахъ.

II.

Къ походу въ Болгарію Святославъ былъ побуждаемъ императоромъ Никифоромъ Фокой. На Русь съ этой цѣлью былъ посланъ сынъ херсонесскаго намѣстника, Калокиръ; ему была дана съ собой значительная сумма денегъ — часть вознагражденія, обѣщаннаго Святославу за ожидавшуюся отъ него услугу. Из-

---

[21]) Сочиненія, I. 145, 147.

[22]) Гильфердингъ напр. считаетъ (ib. 146), что числу 20 тысячъ, какое Л. Діаконъ даетъ для жертвъ въ Филиппополѣ, „нельзя вѣрить“ и что оно преувеличено. Во всякомъ случаѣ, то, что несчастіе, постигшее тогда этотъ городъ, было необыкновенное, показываетъ фактъ, что воспоминаніе о немъ не угасло и вѣкъ спустя. О немъ вспоминаетъ и An. Comn. II. 257. 1.

вѣстно, что Калокиръ задумалъ воспользоваться случаемъ для осуществленія собственныхъ плановъ. Ему удалось убѣдить Святослава двинуться съ большимъ войскомъ противъ болгаръ: но послѣ побѣды князь долженъ былъ взять ихъ землю за себя, а затѣмъ помочь ему, Калокиру, добыть императорскій престолъ. За все это онъ обѣщалъ Святославу великія награды изъ царской казны.[23] Въ Константинополѣ, гдѣ интриги императорскаго посланца стали извѣстны, встревожились: событія получали неожиданный оборотъ и имперіи уже угрожала опасность, сама столица была подъ угрозою. Всѣхъ больше былъ встревоженъ самъ Никифоръ Фока, такъ какъ дѣло шло уже о его тронѣ. Онъ, разсказываетъ объ этомъ Левъ Діаконъ, распорядился тогда укрѣпить оборонительныя сооруженія Константинополя и стянулъ войска, на которыя возлагалась его защита. Но мѣры этого свойства были недостаточны. И тотъ же авторъ, восхваляя предпріимчивость императора и его глубокій умъ, сообщаетъ и кое-что иное: Никифоръ, говоритъ онъ, учелъ, что польза отъ всѣхъ этихъ приготовленій будетъ не особенно велика, если бы ему „пришлось воевать съ обоими народами" (εἰ πρὸς ἀμφότερα τὰ ἔθνη τὴν διαμάχην ἄροιτο. Ib. 79. 5). Напротивъ, „ему казалось, что было бы полезнѣе, если бы удалось привлечь на свою сторону одинъ изъ нихъ. Такимъ образомъ, расчитывалъ онъ, онъ легче получитъ перевѣсъ надъ другимъ и скорѣе побѣдитъ его".[24] И такъ какъ Калокиръ, которому приписывали въ Константинополѣ главную вину за непріятный оборотъ дѣлъ, пользовался, какъ тамъ думали, большимъ вліяніемъ на Святослава, то Никифоръ, говоритъ дальше Левъ Діаконъ, счелъ безполезнымъ вести переговоры съ русскими и попытался сговориться съ единовѣрными болгарами (πρὸς τοὺς ὁμοθρήσκους Μυσοῦς ἐβουλεύσατο μᾶλλον πρεσβείαν στείλασθαι, 79, 14).

Какъ ни толковать это сообщеніе византійскаго автора, на которое, непонятно почему, ученые изслѣдователи до сихъ поръ не обратили должнаго вниманія, одно несомнѣнно: при самомъ началѣ дѣятельности русскихъ въ Болгаріи, въ Константинополѣ узнали, что между Святославомъ и болгарами подготовлялось, или даже уже было достигнуто, извѣстное соглашеніе, а затѣмъ и союзъ противъ Византіи. Именно эту опасность Никифоръ Фока и стремился предотвратить. Онъ предложилъ болгарамъ, вмѣсто союза съ русскими, дружбу Имперіи, а слѣдовательно и — союзъ и поддержку противъ тѣхъ же русскихъ.

Возникаетъ вопросъ, каковы могли быть причины, которыя содѣйствовали перемѣнѣ въ отношеніяхъ, созданныхъ самимъ фактомъ русскаго нашествія въ Болгарію, и какими путями могло сложиться у Святослава и у болгаръ сознаніе, что для нихъ выгоднѣе примириться и соединить свои силы противъ Имперіи. На этотъ вопросъ приведенное выше мѣсто у Льва Діакона не даетъ никакого отвѣта. Мы находимся въ полномъ невѣдѣніи и относительно событій,

---

[23]) L. Diac. 77. 9 сл. Незачѣмъ опровергать здѣсь мнѣніе Знойко (см. его статьи О посольствѣ Калокира въ Кіевъ, Ж. М. Н. Пр. Мартъ, 1907, и О походахъ Святослава на Востокъ, тамъ же, ноябрь, 1908), считающаго, что вышеприведенное сообщеніе Л. Діакона можно отбросить и, путемъ довольно субъективныхъ и произвольныхъ предположеній и комбинацій, приходящаго къ заключенію, что намѣреніемъ Калокира было не захватъ царьградскаго престола, но обезпеченіе независимости обладанія Крымомъ, Черноморской Русью и Саркеломъ.

[24]) Id. 79. 6: ξυνοῖσον οὖν ἐδόκει εἶναι αὐτῷ, εἰ τὸ ἓν ὑποποιήσῃ τῶν ἐθνῶν. οὕτω γὰρ ἐδόκει ῥᾷστα περιέσεσθαι τοῦ ἑνὸς, καὶ αὐτὸ θᾶττον καταγωνίσασθαι.

коихъ развитіе довело до такого результата. Точно также неизвѣстно, у которой изъ двухъ сторонъ родилась идея и возникла иниціатива этого сближенія. То, о чемъ можно догадываться съ нѣкоторой увѣренностью, это — лишь общія причины, при наличности которыхъ примиреніе между русскими и болгарами въ той или иной степени явилось для обѣихъ сторонъ самымъ разумнымъ исходомъ изъ создавшагося положенія.

Что касается, въ частности, болгаръ, то для нихъ можетъ быть только въ этомъ открывалась возможность уберечь свою землю отъ порабощенія или разоренія. Чтобы это понять, необходимы нѣкоторыя поясненія.

Царствованіе болгарскаго царя Петра (927—969) было временемъ неудержимаго проникновенія византинизма во всѣ области болгарской жизни. Этому процессу благопріятствовала политика петровскаго правительства, а также и личность самого царя, находившагося всецѣло подъ византійскимъ вліяніемъ. Результаты этого сказались скоро. Въ здоровомъ соціальномъ организмѣ Болгаріи появляются трещины, моральное единство народа нарушается и само государство, сбитое съ пути, переставшее опираться на массы, лишенное своихъ необходимыхъ устоевъ, обращается въ тѣнь своего недавняго величія. Реакція противъ всего этого уже давно обнаружилась среди болгаръ. Есть много указаній, что она оформилась въ нѣкоторую оппозиціонную идеологію, отчасти искавшую исхода въ заговорахъ и возстаніяхъ противъ правительства, отчасти выражавшую себя длительно въ богомильскомъ отрицаніи. Основою того и другого было антивизантійское настроеніе, находившее себѣ все болѣе и болѣе широкую почву въ болгарскомъ обществѣ. Кажется, что правящія силы въ Преславской Болгаріи пребывали слѣпы ко всему этому, равно какъ и къ зловѣщему будущему, которое уже вырисовывалось для страны, чья оборонительная сила пришла къ тому же въ полный упадокъ. Такъ дождались они времени, когда Имперіи, достаточно окрѣпшей, не было больше нужды скрывать свои подлинныя чувства и планы относительно болгаръ. Послѣ оскорбленія, нанесеннаго болгарскимъ посламъ въ Царьградѣ въ 966 году, послѣдовало нападеніе, которое всего менѣе могло быть оправдано. Если этихъ неожиданныхъ событій было недостаточно, чтобы показать руководящимъ кругамъ въ Болгаріи пропасть, къ которой они подвели державу, то въ средѣ самого болгарского народа они, эти событія, должны были превратить существующее антивизантійское настроеніе въ стихійную ненависть. Вдобавокъ, болгарамъ довелось узнать, что кіевскій князь, идущій противъ нихъ со своими дружинами, былъ посланъ той же Византіей...

Нашествіе было ударомъ, отъ котораго съ трудомъ могла устоять немощная, разъединенная и внутренно разстроенная Болгарія. Уже первыя стычки съ русскими свидѣтельствуютъ о страшномъ упадкѣ, до котораго была доведена созданная Симеономъ государственная мощь Болгаріи. И несомнѣнно, въ тѣ тревожные дни, когда крѣпости въ сѣверо-восточномъ углу дунайской области сотрясались подъ ударами русскихъ дружинъ и когда неоткуда было ждать помощи, въ лучшихъ умахъ Преславской Болгаріи должно быть зародилась идея, или созрѣла склонность къ рѣшенію, которое одно только могло дать ходу вещей другое направленіе. Если ужъ отразить вторженіе и, значитъ, спасти

независимость и цѣлость государства было задачей явно безнадежной, то не оставалась ли еще открытою возможность сговориться съ завоевателемъ — теперь уже противъ тѣхъ, которые были виновниками его нашествія?

Но если самый инстинктъ самосохраненія долженъ былъ подсказать болгарамъ, что необходимо столковаться и примириться со Святославомъ, то какіе интересы и соображенія могли быть у этого послѣдняго, чтобы дойти до такого же рѣшенія?

Истинныя намѣренія Никифора Фоки, когда онъ призвалъ русскихъ противъ болгаръ, неизвѣстны: мы не знаемъ, надѣялся ли онъ только на то, чтобы ослабить и обезвредить болгаръ, или же на Святослава была возложена задача завоевать ихъ земли для Имперіи. Во всякомъ случаѣ Святославъ явился сюда въ качествѣ орудія византійской политики. За услуги, которыхъ ждали отъ него въ Константинополѣ, онъ могъ, помимо обѣщаннаго вознагражденія, разсчитывать и на добычу отъ ограбленія Болгаріи. При такихъ условіяхъ мы не можемъ сомнѣваться, что русскіе повели войну въ Болгаріи съ эксцессами, свойственными всѣмъ тогдашнимъ варварамъ. Въ сообщеніяхъ нѣкоторыхъ источниковъ, что они подвергли опустошенію и грабежу болгарскія земли, нѣтъ, слѣдовательно, ничего удивительнаго. Но разъ уже въ этихъ послѣднихъ вспыхнулъ пожаръ, локализовать его не зависѣло отъ воли тѣхъ, которые зажгли его. И нельзя было изъ Константинополя помѣшать тому, чтобы у Святослава назрѣли желанія и намѣренія, которыя далеко не совпадали съ цѣлями, ради которыхъ онъ былъ вызванъ. Мы не можемъ опредѣлить, каковы были онѣ и когда собственно онѣ были выдвинуты, для насъ не имѣетъ значенія, былъ ли онъ обязанъ внушеніямъ Калокира, или же участіе этого послѣдняго было дѣломъ совершенно второстепеннымъ. Фактъ, устанавливаемый приведеннымъ выше сообщеніемъ Льва Діакона, тотъ, что тутъ, въ Болгаріи, Святославъ почувствовалъ, что онъ не можетъ быть константинопольскимъ наемникомъ. Страна, открывавшаяся передъ нимъ съ праваго берега Дуная, отличалась сильно отъ всего того, что онъ до сихъ поръ видѣлъ. Не было ли благоразумнѣе — вмѣсто того, чтобы обращать ее въ пепелище и развалины, или же завоевывать для византійцевъ, забрать ее себѣ? И если было возможно сдѣлать ее своею, то не было ли благоразумно сберечь богатства, которыми она располагала, или могла произвести, и слѣдовательно, не было ли расчета въ томъ, чтобы осуществить ея подчиненіе иными средствами и способами, чѣмъ тѣ, какими было начато нашествіе? Или, наконецъ: если то, что всего болѣе могло соблазнить кіевскаго князя, — были богатства южныхъ византійскихъ земель, — то, чтобы добиться ихъ, не было ли выгоднѣе и разумнѣе всего, — вмѣсто того, чтобы воевать съ болгарами, — добиться ихъ содѣйствія противъ Византіи, направившей его въ ихъ землю?

Логика самихъ событій, стало быть, вела къ принятію одного и того же рѣшенія обѣ стороны, которыя третья сторона столкнула другъ съ другомъ.

Эту-то именно опасность Никифоръ теперь попытался предотвратить. Въ Преславъ, разсказываетъ далѣе Левъ Діаконъ, было отправлено посольство во главѣ съ патриціемъ Никифоромъ Эротикомъ и Евхаитскимъ епископомъ Филоѳеемъ. Оно должно было напомнить болгарамъ объ общей у нихъ съ

ромеями вѣрѣ и отъ имени императора предложить имъ „дружбу и миръ“, скрѣпленные родственными узами между обоими дворами. Другими словами, вмѣсто союза съ русскими, Византія предлагала теперь болгарамъ союзъ противъ тѣхъ же русскихъ.[25]

Этотъ дѣйствительно хорошо задуманный маневръ императора удался: поворотъ, ожидавшійся отъ него, наступилъ быстро, потому что были правильно учтены условія, которыя онъ былъ предназначенъ измѣнить. Готовность, или, можетъ быть, уже принятое болгарами рѣшеніе помириться со Святославомъ — было результатомъ безвыходности ихъ положенія. Только такъ они могли спасти себя отъ сугубыхъ бѣдствій и свою землю отъ дальнѣйшаго разгрома. Но Святославъ все же былъ для нихъ чужеземцемъ, захватившимъ оружіемъ часть ихъ земель. Сила къ тому же была въ его рукахъ — и никто не могъ сказать, какія опасности могли еще угрожать имъ отъ вынужденнаго союза съ необузданнымъ варваромъ. Возможно, впрочемъ, и то, что дѣло шло не просто объ обыкновенномъ союзѣ. Если у Святослава тогда уже сложилось намѣреніе остаться въ Болгаріи, то для болгаръ это было равносильно концу ихъ собственной государственности, или, въ самомъ благопріятномъ случаѣ, ограниченію ихъ національной независимости.

Сближеніе съ Имперіей обѣщало болгарамъ поддержку, безъ которой они не

---

[25]) Мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ Златарскаго (Исторія, I, 2, стр. 595, принятое затѣмъ и Runciman'омъ, цит. соч., 203), который относитъ посольство Ник. Эротика и Филоѳея къ концу 969 г., т. е. ко времени, когда Святославъ вторично явился въ Болгарію. Согласно Златарскому посольство было послано въ Преславъ для того, чтобы упрочить уже существовавшій миръ между Болгаріей и Византіей и предложить для сего брачный союзъ между обоими дворами. Что касается самого мира, то Златарскій считаетъ, что онъ былъ заключенъ въ концѣ іюня 968 г., и, притомъ, по иниціативѣ не Никифора Фоки, а болгарскаго царя Петра, принужденнаго искать помощи противъ русскихъ. Ошибка Златарскаго происходитъ отъ того, что отъ его вниманія ускользнуло разсмотрѣнное выше сообщеніе Льва Діакона. Въ немъ категорически засвидѣтельствовано, что шаги къ возстановленію близкихъ отношеній между Царьградомъ и Преславомъ были сдѣланы Фокой. Мы видѣли, что побудило его къ этому. О болгарскомъ посольствѣ, которое въ концѣ іюня 968 г. явилось въ Константинополь, мы знаемъ только изъ Ліутпранда (Legatio, см. Opera, ed. ad. us. scholarum, 144 сл.). Торжественный пріемъ, почести и особенное вниманіе, оказанныя болгарскимъ посламъ при самомъ ихъ появленіи въ Константинополѣ (именно этимъ почувствовалъ себя обиженнымъ Ліутпрандъ, въ качествѣ посла Оттона), показываютъ, что Византія тогда уже относилась къ болгарамъ, какъ къ друзьямъ и союзникамъ. Это значитъ, что въ іюнѣ 968 г., когда посольство, о которомъ идетъ рѣчь, прибыло въ Царьградъ, дружественныя отношенія между Болгаріей и Византіей уже были возстановлены. Цѣль этого посольства, о которомъ мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, кромѣ сообщенія Ліутпранда, неизвѣстна; но можно съ увѣренностью предположить, что оно явилось для улаженія вопросовъ или засвидѣтельствованія связей между двумя уже вполнѣ дружественными сторонами. Свое мнѣніе, что посольство Филоѳея и Эротика слѣдуетъ отнести „къ концу лѣта 969 г.“, Златарскій, повидимому, основываетъ на своемъ собственномъ толкованіи другого мѣста у Л. Діакона. Болгарскія княжны, которыхъ Никифоръ Фока просилъ въ жены вѣроятно для юныхъ императоровъ Василія и Константина, прибыли сюда незадолго до 10 дек. 969 г., — дата убійства Никифора (L. Diac. 86. 13). Но это еще не значитъ, что отправка ихъ въ Византію состоялась именно въ то время, къ которому относится миссія Эротика и Филоѳея. Вообще, что касается хронологіи событій времени русско-болгарской войны, мы не можемъ согласиться со многими высказанными въ послѣднее время мнѣніями. Этимъ вопросомъ мы надѣемся заняться во другомъ мѣстѣ.

были въ состояніи отдѣлаться отъ нежеланнаго гостя. Въ данныхъ обстоятельствахъ это не только не угрожало ихъ политической самостоятельности, но открывало единственную возможность сохранить ее. Вѣроятно въ тогдашней Болгаріи было немало скептиковъ, глядѣвшихъ съ недовѣріемъ на столь неожиданную предупредительность Византіи. Но какъ могли они дать волю своимъ опасеніямъ, разъ дѣло шло далеко не о свободномъ выборѣ и о самоопредѣленіи?

Болгаро-византійскій миръ, заключенный при такой обстановкѣ, являлся вызовомъ Святославу. У самихъ болгаръ не было сомнѣній насчетъ того, что за этимъ послѣдуетъ. И несомнѣнно отвѣтъ не замедлилъ. Именно потому то самое посольство, которое доставило въ Царьградъ вѣсть объ успѣхѣ своей миссіи, передало отчаянные призывы о скорой помощи, раздававшіеся изъ Преслава. Болгары заклинали императора, говоритъ Левъ Діаконъ, „помочь имъ сколь можно скорѣе, дабы отклонить топоръ, занесенный русскими надъ ихъ головами“ (80. 2). Это сообщеніе византійскаго автора раскрываетъ и условія, на которыхъ было достигнуто теперь сближеніе между Царьградомъ и Преславомъ: чтобы оторвать болгаръ отъ Святослава, Никифоръ Фока обѣщалъ имъ военную помощь Имперіи противъ руссовъ въ томъ случаѣ, если тѣ возобновятъ враждебныя дѣйствія въ Болгаріи.

Счастливый случай отдалилъ на сей разъ испытанія, которыя суждено было перенести болгарамъ. Извѣстно, что какъ разъ тогда, въ нач. 968 г., Святославъ былъ принужденъ спѣшно покинуть Болгарію, чтобы спасать отъ печенѣговъ собственное отечество. Въ Болгаріи онъ появляется вторично лишь годъ спустя, на этотъ разъ уже — какъ видно изъ словъ, сказанныхъ имъ согласно лѣтописцу, матери — съ окончательно сложившимся и опредѣленнымъ рѣшеніемъ создать себѣ здѣсь новое княжество и престолъ. Прерванная война возобновилась съ новой силой.

Теперь въ Болгаріи царствовалъ уже Борисъ II, сынъ Петра. Судя по разсказу русскаго лѣтописца объ этомъ второмъ походѣ Святослава, сопротивленіе, оказанное болгарами, было на этотъ разъ сильнѣе, чѣмъ при первомъ. Но въ положеніи, въ какомъ тогда находилось Преславское царство — надо помнить, что западно-болгарскія области, образовавшія ядро Охридскаго царства, уже отпали отъ него — сопротивленіе не могло быть длительнымъ. Безъ содѣйствія Имперіи катастрофа была неминуема. Поэтому, какъ свидѣтельствуетъ другое сообщеніе Льва Діакона (81. 13), изъ Преслава были отправлены въ Константинополь вторично мольбы о немедленной помощи. Тамъ, однако, не спѣшили, а, можетъ быть, и не имѣли серьезнаго намѣренія подать ее. Послѣ того какъ Византіи удалось разстроить соглашеніе между русскими и болгарами и наново стравить ихъ другъ съ другомъ, торопиться не было въ ея интересахъ. Навѣрно этимъ надо объяснять фактъ, упоминаемый у Льва Діак. (81. 14), что Никифоръ Фока едва лишь поздней осенью (конецъ октября) собрался было двинуться съ войскомъ на помощь болгарамъ, но что вѣсть о захватѣ Антіохіи его восточной арміей заставила его отложить свое предпріятіе, котораго онъ никогда больше и не возобновлялъ.

Нетрудно представить себѣ, какъ себя почувствовали тогда болгары. Всѣ надежды, возбужденныя было Византіей, рухнули. Заставивъ ихъ повѣрить въ

ея поддержку и такимъ образомъ столкнувъ ихъ наново съ русскими, она теперь предоставляла болгаръ собственной участи. Вѣроломство было очевиднымъ и самымъ страшнымъ изъ всѣхъ, испытанныхъ доселѣ. Не было ли этого достаточно, чтобы разбудить у болгаръ, — и теперь много сильнѣе, чѣмъ двумя годами раньше, — чувство ненависти и жажду заслуженнаго Византіей возмездія? И, если тогда на русскихъ смотрѣли какъ на орудіе мести, было-ли поздно теперь возложить на нихъ ту же задачу?

III.

Событія, разыгравшіяся въ этотъ моментъ въ восточной Болгаріи, скрыты отъ насъ непроницаемой тьмой. Извѣстія о положеніи здѣсь имѣемъ лишь начиная съ первыхъ мѣсяцевъ 970 г. Эти извѣстія представляютъ Святослава уже какъ государя всѣхъ восточно-болгарскихъ земель. Левъ Діаконъ (105. 1) сообщаетъ, что Святославъ въ то время уже „гордился побѣдами надъ болгарами"; то же самое находимъ и у Скилицы (384. 2). Но отъ обоихъ авторовъ мы узнаемъ еще, что отряды тѣхъ же самыхъ болгаръ дѣйствуютъ вмѣстѣ съ русскими войсками противъ византійцевъ въ южной Ѳракіи. Чтó они не были завербованы насильственно, видно изъ словъ Льва Діакона, говорящаго объ этомъ: наряду съ мадьярами, болгары дѣйствовали теперь какъ сподвижники русскихъ (авторъ употребляетъ слово προσεταιρίσαντες 108. 20). Еще опредѣленнѣе выражается здѣсь І. Скилица: Русскіе, пишетъ онъ, готовясь къ предстоящей войнѣ, „объединились для общаго дѣла" (κοινοπραγήσαντες, 384. 13) съ подчиненными имъ болгарами и двинулись къ югу противъ византійцевъ.

Каковы были степень и формы этого подчиненія, на это сейчасъ никто не въ состояніи отвѣтить. Можно утверждать лишь одно: чтобы добиться привязанности новыхъ подданныхъ, русскій князь долженъ былъ оказать имъ вниманіе и сдѣлать имъ уступки, бывшія для него не незначительными и обычными. Мы уже дали понять, какого характера онѣ могли быть. И, если Борисъ II продолжалъ жить въ своей столицѣ, сохранилъ внѣшніе знаки своего достоинства и, очевидно, пользовался связанными съ этимъ почестями, не значитъ ли это, что Святославъ считалъ себя обязаннымъ проявить, въ лицѣ Бориса, уваженіе къ болгарской государственной традиціи? Или дать удовлетвореніе національному самолюбію болгаръ, которые, утративши уже сущность, должны были довольствоваться хотя-бы внѣшней формой?

Если такъ, то, быть можетъ, не будетъ черезчуръ смѣлымъ заключеніе, что въ данное время въ Преславской Болгаріи было два государя. Одинъ — безпомощный фигурантъ, реликвія великаго прошлаго, боговѣнчанный государь своего христіанскаго народа, воплощеніе фикціи, которой было предоставлено утѣшеніе умереть своей смертью вмѣсто того, чтобы быть уничтоженной силою. Другой — въ мирѣ и въ войнѣ одинаково суровый повелитель и воинъ, предпочитавшій шлемъ и мечъ діадемѣ и царскому скипетру, смѣлый вождь дружинъ, приведенныхъ имъ съ мрачнаго сѣвера, и мститель для новыхъ своихъ подданныхъ, за всѣ ихъ униженія и бѣды, источникъ которыхъ былъ тамъ, въ великомъ городѣ на берегахъ Босфора. Такъ нѣкогда, совершенно иныя условія

и отношенія въ далекой странѣ европейскаго Запада выдвинули противъ лѣнивыхъ потомковъ нѣкогда могущественныхъ королей ихъ замѣстителей, которые, ставши подлинными носителями власти, лишь позже посягнули на корону и свалили ее съ недостойной ея головы.

Въ русской исторіографіи сложился уже давно крайне неблагопріятный взглядъ на Святослава. Этотъ князь изображается, какъ вождь дружины, ради которой онъ забываетъ о своихъ обязанностяхъ государя и о своемъ отечествѣ; который воюетъ ради самой войны и готовъ на любое безразсудство; который зналъ одно лишь удовольствіе — бродить по широкому свѣту, огнемъ и мечомъ покоряя земли, но который не умѣлъ удержать пріобрѣтенное.[26] Точно также, какъ вождь дружины, который не былъ „государственный строитель", представленъ онъ въ своихъ походахъ за Дунаемъ. „Пришедши въ Болгарію, говоритъ Гильфердингъ, для того, чтобы поживиться тамъ съ дружиною, съ перваго шага пустивши дружину грабить и разорять, онъ уже не въ силахъ былъ остановиться на этомъ пути."[27] Послѣ всего сказаннаго выше, намъ кажется, что этотъ взглядъ, по крайней мѣрѣ поскольку это касается дѣятельности князя въ Болгаріи, нуждается въ поправкѣ. Здѣсь, особенно во второмъ походѣ, онъ появляется не для того чтобы разорять, а чтобы создать новую державу, русско-болгарскую имперію, и именно этой цѣли у него подчинены и мысль и дѣло. Въ „Исторіи" Льва Діакона находимъ еще другое извѣстіе, которое подтверждаетъ наше заключеніе.

Когда весною 970 г. Іоаннъ Цимисхій дважды предлагалъ Святославу черезъ пословъ очистить болгарскія земли, Святославъ далъ такой вызывающій отвѣтъ: „Онъ не покинетъ этой богатой страны, если ему не будетъ заплачено огромное количество денегъ и не будетъ дано выкупа за взятые войною города и плѣнныхъ. Если Ромеи не желаютъ заплатить ему столько денегъ, то пусть ужъ лучше убираются скорѣе изъ Европы, которая не для нихъ, и выселяются въ Азію. Только при этомъ возможно будетъ заключить миръ между русскими и ромеями."[28]

Еще передъ вторичнымъ походомъ въ Болгарію Святославъ рѣшилъ, что тамъ „середина его земли". Громадный выкупъ, за который онъ, по его словамъ, былъ бы готовъ удалиться, представлялъ собою условіе, поставленное очевидно съ сознаніемъ, что оно невыполнимо. Но не въ высшей ли степени характерно и то, что утвердившись въ Болгаріи, Святославъ уже сталъ мечтать объ изгнаніи византійцевъ съ Балканскаго полуострова и объ овладѣніи Царьградомъ? Калокиръ сопутствовалъ князю и при второмъ его походѣ. Тѣмъ не менѣе, теперь уже нѣтъ и упоминанія о договорѣ, по которому Святославъ долженъ былъ осуществить притязанія Калокира на цареградскій престолъ. Очевидно, мысль его была занята другими планами и другія вліянія замѣнили вліяніе хер-

---

26) Карамзинъ, Истор. госуд. россійск. СПб. 1842, I, стр. 118. Соловьевъ, Ист. Россіи, изд. 6ое (1883), I, стр. 142—143. Ср. Знойко, ц. ст. ЖМНПр. Мартъ, 1907, стр. 230 сл.

27) Гильфердингъ, id., стр. 144.

28) L. Diac. 105. 11: εἰ δ'οὐ βούλεσθαι Ῥωμαίους ταῦτα καταβαλεῖν, ἀλλὰ τῆς Εὐρώπης θᾶττον ἀφίστασθαι, ὡς μὴ προσηκούσης αὐτοῖς, καὶ πρὸς τὴν Ἀσίαν μετασκευάζεσθαι. ἄλλως γὰρ μὴ οἴεσθαι, Ταυροσκύθας εἰς σπονδὰς Ῥωμαίων ξυμβήσεσθαι.

сонесскаго патриція. И если нужно поставить вопросъ объ ихъ источникѣ, то не приводитъ ли это насъ къ тому моменту, когда одинъ болгарскій царь точно также поставилъ себѣ задачей вытѣснить Имперію изъ Европы? Не напоминаетъ ли намъ дерзкій отвѣтъ Святослава, по тону и по содержанію, рѣчи, которыя Симеонъ говорилъ нѣкогда византійскимъ представителямъ? Въ такомъ случаѣ, не означаетъ ли все это того, что Святославъ чувствовалъ себя преемникомъ политическихъ завѣтовъ этого болгарскаго царя? Если же такъ, то неужели ему были нужны насиліе и терроръ въ качествѣ единственныхъ средствъ, чтобы закрѣпить свою власть надъ болгарами и заставить ихъ биться подъ его знаменами?

Впрочемъ, въ какихъ-либо исключительныхъ средствахъ для того, чтобы можно было всецѣло положиться на болгаръ въ борьбѣ съ Византіей, Святославу не было никакой нужды: болгары подчинялись импульсу посильнѣе страха — ненависти. Левъ Діаконъ заканчиваетъ уже извѣстный намъ разсказъ о взятіи Преслава Цимисхіемъ и о большомъ числѣ болгаръ, павшихъ въ этомъ бою, словами: „они помогали русскимъ изъ ненависти къ ромеямъ, считая послѣднихъ виновниками нашествія русскихъ на ихъ землю“.[29]

Но если терроръ и безпредѣльное насиліе не были главнымъ элементомъ въ отношеніяхъ Святослава къ болгарамъ, какъ объяснить событія въ Филиппополѣ и Доростолѣ?

Филиппополь находится далеко въ западной части сѣверной Ѳракіи. Къ его стѣнамъ Святославъ могъ подступить лишь по овладѣніи всѣми остальными городами и крѣпостями въ восточной Болгаріи. Если они открывали предъ завоевателемъ свои врата только изъ опасенія безпощадной расправы, ожидавшей ихъ въ случаѣ захвата силою, то это значитъ, что Святославъ уже рано далъ достаточно примѣровъ тѣхъ способовъ, какіе онъ примѣнялъ къ непокорнымъ. Но тогда — почему защитники Филиппополя — подчеркиваемъ, одного изъ послѣднихъ городовъ на пути Святослава, — почему они не содрогнулись при мысли о томъ, что ихъ ожидаетъ, и предпочли оборонять городъ до конца? Или же — они не имѣли представленія объ эксцессахъ, на которые князь былъ способенъ? Но если такъ, не значитъ ли это, что до этого момента Святославу не было нужды прибѣгать къ такимъ крайностямъ и что, слѣдовательно, случай съ Филиппополемъ былъ, можетъ быть, единственнымъ? Но тогда этотъ случай доказывалъ бы какъ разъ обратное тому, что до сихъ поръ имъ хотѣли доказать: случай этотъ свидѣтельствуетъ не о репрессіяхъ вообще, которыми было сломлено болгарское сопротивленіе, но о карѣ, которую навлекъ на себя городъ, который и послѣ того какъ болгары уже передались князю, продолжалъ упорствовать — столько же противъ Святослава, сколько и противъ перемѣны въ умахъ въ восточной Болгаріи.

Здѣсь, можетъ быть, требуется одно поясненіе. Мы уже сказали, что замиреніе наступило у болгаръ лишь тогда, когда всѣ надежды на Византію исчезли. Пловдивъ былъ однимъ изъ тѣхъ городовъ, гдѣ византійская традиція была

---

29) L. Diac. 137. 21: πλείστων ὅτι καὶ Μυσῶν κατὰ ταύτην πεσόντων τὴν μάχην· οἵγε συνεπήμυνον Σκύθαις, Ῥωμαίοις δυσμεναίνοντες, ὡς γεγονόσιν αἰτίοις τῆς ὡς αὐτοὺς γεγενημένης ἀφίξεως τῶν Σκυθῶν.

особенно сильна и византійское вліяніе особенно глубокимъ. Его близость къ границѣ вѣроятно поддерживала здѣсь всего дольше надежды на византійскую помощь. Не достаточно ли этого обстоятельства для объясненія отпора, на который здѣсь натолкнулись русскіе, а вмѣстѣ — и кары, которой Пловдивъ поплатился за это?

Что касается злодѣянія въ Доростолѣ, — намъ кажется, что его смыслъ и значеніе — совсѣмъ особенные. Отъ него нельзя дѣлать заключенія объ отношеніяхъ Святослава къ болгарамъ, прежде всего потому, что это — эпилогъ этихъ отношеній, а также потому, что оно было совершено при исключительныхъ условіяхъ.

Событія, имѣвшія мѣсто весною 972 г., а въ особенности паденіе Преслава, убили у болгаръ вѣру въ Святослава: оказалось, что онъ былъ не таковъ, какимъ они себѣ его представляли, надежды, которыя они возлагали на него, не осуществились. Этимъ уничтожалась моральная связь между имъ и ними. Вождя и мстителя не было больше; оставался только завоеватель. И противъ этого завоевателя выступилъ теперь другой чужеземецъ — сильнѣе его. Послѣдняго они ненавидѣли какъ никого другого, но на ненависть онъ отвѣтилъ призывомъ къ забвенію и къ миру. Къ тому же его предпріятіе сопровождалось успѣхомъ. Съ расчетомъ, поистинѣ удивительнымъ, Цимисхій отвратилъ подозрѣніе, что его приходъ имѣетъ цѣлью замѣнить одно иго другимъ. Послѣ паденія Преслава онъ возвѣстилъ Борису и преславскимъ болгарамъ, что несетъ имъ не рабство, а освобожденіе.[30] Если византійцы являли себя готовыми искупить такимъ образомъ всѣ свои прежніе грѣхи, что еще могло связывать болгаръ со Святославомъ?

Мы не имѣемъ никакого намѣренія оправдывать злодѣяніе, учиненное русскимъ княземъ надъ болгарами въ Доростолѣ. Но историческое безпристрастіе требуетъ установить обстоятельства и выяснить обстановку, при которой оно было совершено. Повальное отпаденіе болгаръ отъ русскихъ, начавшееся послѣ взятія Преслава, означало провалъ всего, что было достигнуто княземъ. Когда Цимисхій явился съ войскомъ подъ Доростолъ, этотъ городъ оставался уже почти единственнымъ мѣстомъ въ болгарской землѣ, которымъ Святославъ еще владѣлъ. Но могъ ли онъ чувствовать себя въ полной безопасности здѣсь, разъ и въ этомъ городѣ большая часть гарнизона состояла изъ болгаръ? И, если бы онъ ихъ отослалъ за стѣны города, могъ ли онъ быть увѣренъ, что эти вчерашніе вѣрные его воины не перейдутъ въ ряды непріятеля? Вполнѣ естественно, что суровая душа варвара должна была быть охвачена яростью противъ болгаръ. Но страшное злодѣяніе было совершено не только подъ ея слѣпымъ и неудержимымъ натискомъ. Самъ Левъ Діаконъ (139. 8) говоритъ о мучительныхъ колебаніяхъ, пе-

---

30) L. Diac. 136. 15: τότε καὶ Βορὴν συλληφθῆναι λέγεται τῶν Μυσῶν βασιλέα... καὶ προσαχθῆναι τῷ βασιλεῖ· ὁ δὲ τοῦτον δεξάμενος, διὰ τιμῆς ἦγε, κοίρανον Βουλγάρων ἀποκαλῶν, φάσκων τε, ἥκειν Μυσοῖς τιμωρήσων, δεινὰ πεπονθόσι πρὸς τῶν Σκυθῶν. Cedr. II. 396. 12: τούτῳ (Βορίσῃ) ὁ βασιλεὺς φιλανθρώπως ἐχρήσατο, αὐτόν τε βασιλέα Βουλγάρων ἀποκαλῶν, καὶ πάντας τοὺς ἁλισκομένους Βουλγάρους ἀνέτους ἀφιεὶς καὶ ἐλευθέρους ὅπῃ καὶ βούλοιντο ἀπιέναι, οὐκ ἐπὶ δουλείᾳ φάσκων Βουλγάρων ἀλλ' ἐπ' ἐλευθερίᾳ μᾶλλον ἀφῖξεσθαι. Ῥῶς δέ μόνους γινώσκειν ἐχθροὺς καὶ τούτοις χρῆσθαι ὡς πολεμίοις.

реживавшихся тогда Святославомъ. „Когда онъ видѣлъ, говоритъ этотъ авторъ, что болгары отказывались отъ своего союза съ нимъ и переходили къ императору, онъ, послѣ долгой внутренней борьбы (πολλὰ γνωσημαχήσας), понявши, что, если они объединятся съ Ромеями, то дѣло его погибло“, повелѣлъ перебить и ввергнуть въ оковы болгарскихъ военачальниковъ и воиновъ въ Доростолѣ.[31] Страхъ предъ будущей измѣной, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, проистекалъ изъ положенія въ самомъ Доростолѣ. Только это положеніе и хотѣлъ спасти теперь Святославъ, а вовсе не положить конецъ отпаденію отъ него болгаръ въ другихъ областяхъ. Ибо въ то время онѣ всѣ и безоговорочно уже передались на сторону Цимисхія.

Увлекаемая вихремъ событій, развившихся въ ея земляхъ, Преславская Болгарія была вынуждена, ради своего спасенія, искать опоры въ силахъ, которыя сами состязались въ борьбѣ за ея политическое наслѣдіе. Трагическая судьба склонила ее въ концѣ концовъ къ тому, чтобы содѣйствовать той именно изъ нихъ, чье торжество означало ея истинную гибель.

*

Позволю себѣ заключить изложеніе одной параллелью, которая, кажется, поможетъ уяснить до конца сущность разсмотрѣнныхъ событій.

Нѣкогда, среди славянскихъ племенъ между Дунаемъ и Балканами, насильственно и съ оружіемъ водворилась малая орда туранскихъ пра-болгаръ. Эти славяне, привыкшіе къ свободѣ и относительному безвластію, навѣрно тяготились властью Имперіи, владѣвшей раньше ихъ землею. Теперь они были освобождены отъ Имперіи, и между ними и пра-болгарами было заключено нѣкоторое соглашеніе, или договоръ (πάκτον)[32], очевидно, относительно совмѣстнаго жительства и взаимной защиты. Въ сущности хозяевами здѣсь были пра-болгары. Чтобы дать имъ мѣсто, славяне должны были даже потѣсниться и

---

[31]) Дриновъ. Съчиненія, I, 342 сл., 474 сл. считаетъ, что это были болгары „изъ окрестностей Силистріи“ (Доростола), которые „ожидали прибытія Цимисхія, чтобы добровольно подчиниться ему и сложить съ себя иго руссовъ“. Если авторъ имѣлъ въ виду просто обывателей изъ окрестности Доростола, то съ его толкованіемъ нельзя согласиться по ряду соображеній. Согласно вполнѣ опредѣленному замѣчанію Л. Діакона, 300 болгаръ, которые были преданы смерти, „выдѣлялись происхожденіемъ и могуществомъ“ (τοὺς γένει καὶ δυναστείᾳ διαφέροντας, 139. 11). Это были, слѣдовательно, болгарскіе бояре, которыхъ „могущество“ въ данное время могло имѣть только военный характеръ. Число же заточенныхъ болгаръ было, по Cedr. II, 400. 14, двадцать тысячъ. Святославъ повелѣлъ расправиться съ ними тогда, когда Цимисхій уже находился подъ Доростоломъ и когда, слѣдовательно, Святославъ уже не распоряжался въ окрестностяхъ города. Кединъ замѣчаетъ при этомъ, что причиною принятыхъ противъ болгаръ мѣръ, было опасеніе ихъ возстанія (ἐπανάστασιν φοβηθείς). Значитъ, это были вооруженные люди, а не мирное населеніе города. Наиболѣе естественное объясненіе — что они составляли часть войска, которымъ располагалъ Святославъ. По Кедрину Святославъ приказалъ перебить болгарскихъ военачальниковъ, когда, послѣ паденія Преслава, болгары начали отлагаться отъ него. Этой мѣрою онъ, навѣрно, надѣялся удержать въ подчиненіи болгаръ-воиновъ. Когда же Цимисхій появился подъ Доростоломъ, боязнь измѣны со стороны болгарскихъ воиновъ, вѣроятно, усилилась у него и онъ рѣшилъ обезопасить себя и отъ послѣднихъ.

[32]) Theoph., ed. de Boor. 359. 17.

занять горныя области страны.[33] Но прочная политическая организація туранцевъ и суровая власть ихъ хановъ оказались тоже въ концѣ концовъ не слишкомъ пріятными славянскимъ подданнымъ. Конфликты учащаются и расшатываютъ внутреннюю жизнь страны въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій. Тѣмъ не менѣе, и именно въ этотъ періодъ, славяне съ неменьшей готовностью и самопожертвованіемъ, чѣмъ и пра-болгары, отстаиваютъ свою землю отъ домогательствъ Византіи.[34] Ибо, если господство пра-болгаръ и было для нихъ тягостно, византійское означало настоящее рабство. Значитъ, не внутренняя спайка сама по себѣ, но сознаніе общей внѣшней опасности поддерживало единеніе между господами и покоренными. И все-же антагонизмъ между ними подчасъ вспыхивалъ съ такою силою, что владычество Византіи начинало казаться славянамъ едва ли не сноснѣе, нежели власть болгарскихъ хановъ. Таковъ былъ наприм., случай, когда къ 761 году многотысячная славянская масса оставила предѣлы державы и кинулась искать новое отечество въ азіатскихъ областяхъ Византіи.[35] Это было какъ разъ въ то время, когда энергичный императоръ Константинъ Копронимъ употреблялъ всѣ свои усилія, чтобы добиться уничтоженія неокрѣпшей болгарской державы.

Еще до сихъ поръ вѣрятъ, что причиной, отвратившей болгаръ отъ Святослава, была суровость его правленія и что именно потому рухнула его попытка созданія на Дунаѣ русско-болгарской имперіи. Но что бы сталось, если бы, какъ въ X в. Цимисхій, Копронимъ еще въ VIII в. успѣлъ убѣдить мизійскихъ славянъ, что онъ борется не съ ними, а съ ихъ господами и что онъ несетъ имъ освобожденіе?

Не случилось ли бы тогда, съ неокрѣпшимъ созданіемъ Аспаруха, того же самаго, чѣмъ кончилось дѣло Святослава?

П. Мутафчіевъ.

Софія.

---

[33]) Id. 359. 14; ср. Niceph. patr., ed. de Boor. 35. 20.

[34]) Такъ, напримѣръ, Телецъ, въ войну, веденную имъ противъ Копронима въ 761 г., имѣлъ въ своемъ войскѣ много славянъ (см. Theoph. 433. 2; Niceph. patr., 69. 14). Славунъ, князь славянскаго племени Сѣверцевъ, былъ однимъ изъ самыхъ надежныхъ защитниковъ болгарской державы и именно поэтому нѣсколько лѣтъ спустя Копронимъ прибѣгнулъ къ коварству, чтобы устранить его (Theoph. 436. 14).

[35]) Theoph. 432. 27; Niceph. patr. 68. 27.

RELATIONS RUSSO-BULGARES AU TEMPS DE SVIATOSLAV

par

P. MUTAFČIEV

On a beaucoup écrit au sujet de la campagne de Bulgarie du prince russe Sviatoslav, en 967—972. Cependant, les relations entre Sviatoslav et les Bulgares restent peu éclairées.

La littérature historique est inclinée à voir dans l'épopée de Sviatoslav en Bulgarie une conquête purement militaire, suivie d'un régime de terreur, forçant les Bulgares à appuyer le conquérant dans sa lutte contre Byzance. Ce point de vue est basé sur certains renseignements de Léon Diacre et Jean Skylitzès.

Pourtant, dans les œuvres des mêmes auteurs, on trouve des indications, qui jettent une lumière toute différente sur l'attitude de Sviatoslav en Bulgarie. Ainsi, les mêmes sources parlent d'égards, témoignés par Sviatoslav au tzar Boris II; durant l'occupation russe, ce dernier conserva son trône et tous les signes du pouvoir souverain. A une époque, où le pillage et atrocités de toute espèce faisaient partie des mœurs guerrières, Sviatoslav ne toucha pas à la trésorerie du tzar bulgare, après la prise de sa capitale — Preslav. Les églises orthodoxes de la Bulgarie furent respectées par les païens vainqueurs. Il paraît également peu probable, que, seule, la crainte de représailles eût pu forcer les Bulgares à la défense héroïque de Preslav, côte à côte avec les guerriers de Sviatoslav, contre les troupes byzantines, assiégeant la ville. Il est à noter, qu'au moment du siège, la chance guerrière commençait à abandonner Sviatoslav. Ces réflexions et plusieurs faits, que nous citerons plus bas, démentent le système de terreur, attribué à Sviatoslav. Les massacres de Plovdiv (Philipoppolis) et Dorystolon apparaissent comme exceptions et ont des raisons spéciales.

Est à noter le passage dans „l'Histoire" de Léon Diacre (79, 5—14), indiquant que, dès l'apparition des Russes en Bulgarie, les bruits d'une prochaine entente et alliance russo-bulgare, dirigées contre l'empire byzantin, étaient parvenus à Constantinople. Des intérêts réciproques poussaient Sviatoslav et les Bulgares à opposer des forces réunies à la politique byzantine. Les Bulgares cherchaient à sauver leur pays d'une ruine définitive, en dirigeant l'hostilité de Sviatoslav contre Byzance — instigatrice de l'invasion russe en Bulgarie. Le mouvement anti-byzantin répondait au désir du peuple bulgare, énervé par des années de pression byzantine. D'autre part, Sviatoslav fut tenté par la perspective d'attacher à ses domaines le pays florissant de Bulgarie, au lieu de le conquérir pour le compte de Byzance. Ayant pressenti le rapprochement russo-bulgare, Constantinople chercha à l'empêcher. Une ambassade de l'empereur Nicéphore Phocas réussit à s'assurer l'alliance des Bulgares, obtenant la rupture entre ces derniers et Sviatoslav. Ce nouvel accord rendit aux Bulgares l'espoir de reconquérir leur indépendance politique. L'empereur promit son appui militaire en cas d'hostilités russes. C'est à ce moment (an 968), que l'invasion des Petchenègues dans les terres russes força Sviatoslav à abandonner provisoirement son entreprise en Bulgarie. Il y reparut, après avoir chassé les Petchenègues, et les Bulgares se soumirent à son autorité, n'ayant pas reçu le secours promis par l'empereur.

L'hypocrisie de la politique byzantine excitant la rancune des Bulgares, ces derniers se réunissent dès lors (année 970) à Sviatoslav dans la lutte contre l'empire byzantin (Léon Diacre 108, 20, Jean Skylitzès 384, 13). Sviatoslav de son côté, respecta la forme traditionnelle du gouvernement bulgare, en la personne du tzar, se chargeant de la réalisation de la politique nationale. Dans sa tactique envers l'empire byzantin Sviatoslav chercha à continuer la mission historique de l'Etat bulgare et sembla poursuivre l'ancien idéal politique du tzar Siméon, qui rêva de chasser les Grecs en Asie. En agissant de la sorte, Sviatoslav ne pouvait, évidemment, s'appuyer exclusivement sur un régime de terreur.

Les représailles de Sviatoslav à Philipoppolis furent provoquées par l'opposition acharnée de cette ville (habitée en majorité par des partisans de Byzance), qui refusait de se soumettre à l'autorité de

Sviatoslav, reconnue dans tout le pays. Quant à l'exécution des chefs et guerriers bulgares à Dorystolon, elle fut provoquée par une nécessité de guerre; ayant subi plusieurs défaites, Sviatoslav se trouva assiégé par les Grecs à Dorystolon; son prestige ebranlé, Sviatoslav vit les chefs bulgares prêts à s'entendre avec les assiégeants et, „après bien des hésitations" (Léon Diacre, 139, 8) eut recours à des représailles sanglantes pour prévenir la trahison. Ce fait ne se rapporte pas à la tactique administrative de Sviatoslav en Bulgarie, car, au moment du siège, il avait définitivement perdu son autorité sur le reste du territoire bulgare.

Sophia.

СОФІЯ РУССКАЯ, КОРОЛЕВА ДАТСКАЯ, А ЗАТѢМЪ ЛАНДГРАФИНЯ ТЮРИНГЕНСКАЯ

Вальдемаръ Великій, король Датскій, былъ женатъ на княжнѣ Софіи Русской. Искать въ русскихъ источникахъ какое-либо указаніе на этотъ бракъ былъ бы тщетный трудъ: лѣтописи совершенно о немъ молчатъ. Извѣстенъ онъ исключительно по иностраннымъ источникамъ. Но свѣдѣнія, передаваемыя ими, настолько запутаны, что нѣсколько разобраться въ нихъ возможно лишь послѣ цѣлаго ряда сопоставленій.

Помолвка короля состоялась въ 1153 году, а самъ бракъ былъ заключенъ въ 1154 году.[1] Тотъ же самый хроникеръ даетъ при этомъ и нѣкоторое указаніе на происхожденіе невѣсты: «patre Rutheno procreata».[2] Въ генеалогіи королей Датскихъ находится уже болѣе точное опредѣленіе: «dicta autem Sophia regina filia fuit Waledar Ruthenorum regis. Cuius Sophie mater filia fuit Boleslavi ducis Polonie.»[3] Также и Альберикъ говоритъ о ея русскомъ происхожденіи, но свѣдѣніе его явно запутано: «et genuit ex ea Bolislaum, patrem ducis Vrescelavie Heinrici, et filiam unam nomine Rikissam, que facta est in gentem magnam. Primo namque fuit regina Suecie et post regi Russie nomine Musuch duas peperit filias, Sophiam reginam Dacie, que multam prolen habuit, et Rikissam, que imperatori Castelle Alfunso peperit sanctiam.»[4] Королева Рикса Кастильская, о которой онъ здѣсь говоритъ, была двоюродной сестрой Софіи, дочерью Владислава Силезскаго.[5]

Объ этомъ бракѣ сообщаютъ также норвежскія хроники и саги, но онѣ титулуютъ отца Софіи не русскимъ, а польскимъ королемъ. Норвежскіе (исландскіе) первоисточники дошли до нашихъ дней только въ копіяхъ, начиная съ XIV и даже XV столѣтія. Этимъ объясняется то довольно частое смѣшиваніе Польши съ Россіей, которое въ нихъ наблюдается; въ данномъ же случаѣ такое смѣшиваніе могло произойти тѣмъ легче, что польское происхожденіе матери Софіи было отнесено къ ея отцу. Въ исторіи норвежскихъ королей записано: «Valdimar Dana Konungr fekk Suffiu, dottur Valadz Konungs a Pulinalandi ok Rikizu

---

1) Langebeck «Script. rer. Dan.» Chronica Danorum Sialandica подъ 1154 г.; Annales Lundenses (Monum. Germ. Hist. S. S. T. XXIX, 205); Saxo Gram. (изд. A. Helder, Strassburg 1886), стр. 475.

2) Saxo Gram., 475.

3) Langebeck «Script. rer. Dan.» II, 161, 162. Въ одномъ изъ варіантовъ вмѣсто Waledar стоитъ Walerdar.

4) Monum. Germ. Hist. S. S. XXIII, 834 (Chronica Albrici).

5) Grotefend «Stammtafeln», I. 5.

drottningar»;[6] Книтлинга-сага сообщаетъ: «Post haec nuptum dedit Knut rex Waldemaro Sophiam, sororem suam germanam, quae erat filia Waladari regis Poloniae» (hun var dottir Valadars Konungs af Polina landi).[7] Въ Геймскрингла сага отецъ королевы Софіи названъ Владиславомъ,[8] вмѣсто Володаря или Владиміра, но въ тѣ времена среди польскихъ князей не было ни одного Владислава, который могъ бы быть отцомъ Софіи. Ошибка тѣмъ болѣе очевидна, что въ этомъ извѣстіи упомянуто и имя Риксы, матери Софіи. Польское же происхожденіе Риксы безспорно. Цѣлый рядъ источниковъ упоминаютъ, что Софія была единоутробною сестрою Канута: «uterina Kanuti soror», «sororem Kanuti ex parte matris»,[9] «soror germana».[10] Отецъ же Канута V, король Магнусъ былъ женатъ на Риксѣ Польской. Въ германскихъ и датскихъ источникахъ находимъ по поводу этого брака слѣдующія указанія: «At Magnus incidentem sibi nupciarum cupidinem Polanorum presidis Bokisclavi filiam postulando complevit»;[11] «Magnus, filius Nicolai, uxor filia Bochislai ducis Polonie»[12] и «duxit uxorem filiam Bolizlavi ducis Polanorum».[13] Затѣмъ встрѣчаются указанія на то, что Софія была дочерью (падчерицею) Сверкера короля Шведскаго.[14] Сверкеръ же былъ женатъ какъ разъ на вдовѣ Магнуса, матери короля Канута; объ этомъ имѣются свидѣтельства автора датскихъ дѣяній, саксонца Лонга: «Huic siquidem (Suerconi) occiso Magno Canuti mater coniugio obvenit»[15] и Книтлинга саги: «han atti Rikizu, modur Knutz Konungs»,[16] тоже подтверждаютъ и датскіе источники.[17]

Изъ всего вышеизложеннаго вытекаетъ, что Софія была дочерью русскаго князя Володаря, или Валада и Риксы Польской, бывшей кромѣ того еще замужемъ за королемъ Магнусомъ и за Сверкеромъ Шведскимъ. Для выясненія вопроса, кто изъ русскихъ князей былъ отцомъ королевы Софіи, необходимо сначала опредѣлить время, когда собственно Рикса могла быть за нимъ замужемъ. Исходя изъ указанія саксонца Лонга,[18] можно было бы полагать, что Рикса вышла замужъ за Сверкера немедленно послѣ смерти Магнуса и такимъ образомъ первымъ ея мужемъ былъ русскій князь. Но этому противорѣчатъ во первыхъ, точное указаніе на то, что Софія не могла родиться ранѣе, чѣмъ черезъ шесть лѣтъ послѣ смерти Магнуса, а, во вторыхъ, юный возрастъ, въ которомъ сама Рикса вышла замужъ за Магнуса, исключаетъ всякую возможность заключенія передъ тѣмъ другого брака.

Рикса была дочерью Болеслава III Кривоустаго Польскаго отъ его второго

6) Fagrskinna, cap. 213.
7) Knytlinga-Saga, cap. 109.
8) Heims Kringla II, 179 (изд. Perings Kiöld, Stockholm 1697).
9) Langebeck «Script. rer. Dan.» II, 224; II, 374; II, 615.
10) Knytlinga-Saga, cap. 109.
11) Saxo Gramm. 420—421, также и въ Mon. Germ. Hist. S. S. XXIX, 75.
12) Langebeck «Script. rer. Dan.» (Генеалогія датскихъ королей), II, 164.
13) Langebeck «Script. rer. Dan.» «Geysm. Hist. comp. Dan.» II, 365.
14) Ibidem, II, 224; II, 374; IV, 279.
15) Saxo Gramm. 460.
16) Knytlinga-Saga, cap. 108.
17) Langebeck «Script. rer. Dan.» II, 221; II, 374.
18) См. выше текстъ къ выноскѣ № 15.

брака съ Соломеей Бергской; происхожденіе ея отъ этого брака, а не отъ перваго брака съ Сбыславою Святополковною, установилъ совершенно точно Бальцеръ.[19] Она могла быть только третьимъ ребенкомъ отъ этого брака, а потому родиться она могла только въ промежутокъ времени между 1116 и 1118 годомъ, ибо въ 1115 году родился ея братъ Лешко[20], второй ребенокъ Болеслава отъ брака съ Соломеей, а въ 1119 г. сестра, вышедшая впослѣдствіи замужъ за маркграфа Нордмаркскаго.[21] Наиболѣе вѣроятнымъ годомъ ея рожденія является 1116 годъ, иначе трудно представить себѣ, чтобы она была матерью до 1134 года. Выдана замужъ она была очень рано, но не надо забывать, что тѣ времена были эпохою исключительно раннихъ браковъ. О ея помолвкѣ съ Магнусомъ упоминается подъ 1129 г., немедленно послѣ сообщенія о провозглашеніи Магнуса королемъ Готландскимъ. Затѣмъ слѣдуетъ повѣствованіе о походѣ короля Николая Датскаго совмѣстно съ Болеславомъ Кривоустымъ противъ Поморянъ и о съѣздѣ королей, во время котораго состоялось и само бракосочетаніе.[22] Былъ ли заключенъ бракъ еще въ томъ же 1129 г. или въ началѣ слѣдующаго 1130 года, судить трудно, но послѣдняя дата (1130) принята датскими историками.[23] Въ 1134 г. Рикса овдовѣла, 4 Іюня этого года ея мужъ былъ убитъ; отъ брака съ нимъ она имѣла двухъ сыновей: короля Канута V и Николая, умершаго въ дѣтствѣ; послѣдній могъ родиться и послѣ смерти отца. Время вступленія Риксы въ бракъ съ королемъ Сверкеромъ Шведскимъ неизвѣстно. Существуетъ одно только указаніе, свидѣтельствующее, что бракъ этотъ былъ заключенъ до 1150 г. Въ 1150 году сынъ Риксы, Канутъ V (съ 1147 г. король Датскій) спасся бѣгствомъ къ своему отчиму королю Сверкеру »apud vitricum Suerconem«,[24] тоже самое передаетъ и Книтлинга-сага: »Hann fann i Gautlandi Sørkvi Kolsson, magsinn«.[25] Датскія же хроники „короля Эрика" и Сіаландская сообщаютъ объ этомъ подъ 1152 г.[26] Такимъ образомъ замужество Риксы съ русскимъ княземъ падаетъ на время между 1134 и 1150 годами. Это подтверждается также и нѣкоторыми подробностями, сохраненными хрониками и позволяющими заключить, что Софія, дочь русскаго князя, не могла родиться ранѣе 1140 года. Король Вальдемаръ, какъ извѣстно, былъ помолвленъ съ нею въ 1153 году; по ея пріѣздѣ въ Данію, въ виду ея малолѣтства, король отдалъ ее на воспитаніе нѣкоей Ботильдѣ: »puellam despondit eamque matrone cuidam Botilde ad usque maturam thoro etatem educandam committit«.[27] Изъ этого можно заключить, что ей въ это время не могло быть болѣе тринадцати или четырнадцати лѣтъ и, слѣдовательно, въ 1140 г. бракъ Риксы съ русскимъ княземъ несомнѣнно существовалъ.

Вопросъ заключается въ томъ, кто изъ русскихъ князей былъ ея мужемъ.

---

[19]) O. Balzer »Genealogia Piastów« 144—150.
[20]) Grünhagen »Sches. Reg.« I 24.
[21]) Balzer »Genealogia Piastów« стр. 5. Табл. III.
[22]) Saxo Gramm. 420—421.
[23]) Dahlmann »Gesch. Dänem.« I, 223.
[24]) Saxo Gramm. 471.
[25]) Knytlingasaga, cap. 108.
[26]) Langebeck »Script. rer. Dan.« I, 162; II, 435, 615.
[27]) Saxo Gramm. 475.

Имя Валедаръ наиболѣе подходитъ къ имени Володарь. — Русская исторія знаетъ трехъ князей, носившихъ это имя: во первыхъ, Володаря Ростиславича Перемышльскаго, умершаго 19 Марта 1124 г., во вторыхъ Володаря Глѣбовича Минскаго, умершаго только послѣ 1167 г. и, наконецъ, въ третьихъ, Володшу Васильковича Полоцкаго, жившаго еще въ 1159 году.[28] Очевидно ни одинъ изъ нихъ не удовлетворяетъ требуемымъ условіямъ. Тѣмъ не менѣе издатели »Antiquités russes« предположили, что мужемъ Риксы былъ князь Володарь Глѣбовичъ Минскій и что бракъ по всей вѣроятности былъ расторгнутъ около 1140 года. Но такого рода предположеніямъ, во первыхъ, противорѣчитъ то, что никакихъ намековъ на разводъ Риксы не имѣется, во вторыхъ, что дочь ея Софія была выдана замужъ своднымъ братомъ, а не отцомъ, какъ долженствовало быть въ данномъ случаѣ въ тѣ времена, въ третьихъ, что братъ Софіи, Борисъ, былъ изгоемъ и владѣлъ имуществомъ только въ Швеціи, будь же онъ сыномъ Володаря Глѣбовича, онъ, очевидно, имѣлъ бы удѣлъ въ Полоцко-Витебскомъ княжествѣ и, наконецъ, въ четвертыхъ, что Болеславу III въ политическомъ отношеніи не было никакого разсчета выдавать дочь за Минскаго князя.

Но имя Валедаръ, Валадъ равнозначно также и имени Владиміра. Къ тому же можно достовѣрно полагать, что датскимъ хроникерамъ отецъ Софіи былъ извѣстенъ подъ симъ послѣднимъ именемъ. Въ Копенгагенѣ въ 1728 г., какъ извѣстно, сильнымъ пожаромъ было уничтожено громадное число манускриптовъ. Датскій же серьезный историкъ Понтанусъ, напечатанный въ 1631 году и пользовавшійся еще этими исчезнувшими манускриптами, нигдѣ не называетъ иначе отца Софіи какъ Владиміромъ, а Софію единоутробною сестрою Канута: «patre Valdamiro Rutheno prognatu», «uxor ei fuit filia Bugislai regis Polanorum, vidua Valdamari principis Ruthenorum», «Sophia Ruthena soror uterina Canuti».[28]

Среди русскихъ князей Владиміровъ значительно больше, чѣмъ Володарей, остается только опредѣлить, кто изъ нихъ могъ жениться послѣ 1134 г. и умеръ между 1140 и 1150 годомъ. Съ этою цѣлью необходимо остановиться на всѣхъ Владимірахъ, жившихъ около этого времени и такимъ образомъ установить, кто изъ нихъ удовлетворяетъ требуемымъ условіямъ. Всего имѣемъ одиннадцать Владиміровъ, жившихъ около половины одиннадцатого столѣтія.[30] 1) Владиміръ Мстиславичъ, сынъ великого князя Мстислава I, родился только въ 1131 году и женился въ 1150 году на дочери Белы, бана Венгерскаго, умеръ въ 1172 году. 2) Владиміръ Андреевичъ Дорогобужскій умеръ въ 1170, а въ 1151 году былъ еще малолѣтнимъ. 3) Владиміръ Святославичъ Рязанскій умеръ въ 1161 году. 4) Владиміръ Мстиславичъ, сынъ Мстислава II, умеръ молодымъ въ 1173 г., къ тому же онъ былъ сыномъ младшей сестры Риксы. 5) Владиміръ Святославичъ Черниговскій родился не ранѣе 1144 года. 6) Владиміръ Глѣбовичъ Переяславскій родился лишь въ 1157 году. 7) Владиміръ Глѣбовичъ Рязанскій не могъ родиться ранѣе 1140 г. 8) Владиміръ Ярославичъ Галицкій родился не ранѣе

---

[28]) N. de Baumgarten »Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes« T. III, N 3; T. VIII, NN. 13 et 32.

[29]) Ioh. Is. Pontano «Rerum Danicorum Historie» Amsterodami, 1631., стр. 231 и 324.

[30]) Указатель къ первымъ восьми томамъ полнаго собранія русскихъ лѣтописей, стр. 134—166; N. de Baumgarten «Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides russes», p. 83—84.

1150 г. 9) Владиміръ Давидовичъ Черниговскій, убитый при Рутѣ въ 1151 году, былъ женатъ съ 1144 г. на дочери князя Всеволодка Городненскаго, вышедшей замужъ послѣ его смерти за Башкорда Половецкаго. 10) Владимірко Володаревичъ Галицкій умеръ раннею весною 1153 года, что уже само по себѣ противорѣчитъ возможности женитьбы его на Риксѣ, тѣмъ не менѣе западные историки обыкновенно считаютъ его за отца Софіи. Между тѣмъ до смерти Болеслава III (1138) нельзя допустить и мысли о заключеніи такого брака, такъ какъ черезчуръ сильная вражда разъединяла обоихъ князей. Допустить, что Рикса была выдана уже послѣ 1138 г. наслѣдникомъ Болеслава, Владиславомъ II, также невозможно изъ за враждебныхъ отношеній Владимірки къ Ольговичамъ, союзникамъ и своякамъ Владислава II. Остается такимъ образомъ только одинъ князь Владиміръ Всеволодовичъ, сынъ Всеволода Мстиславича Новгородскаго. Лѣтописи упоминаютъ о немъ только одинъ разъ подъ 1136 годомъ,[31] когда Новгородцы, изгоняя его отца, пожелали оставить у себя молодого княжича и воспитать его. Отецъ Владиміра Всеволодовича, Всеволодъ-Гавріилъ Мстиславичъ, старшій сынъ Мстислава I и Христины Шведской, былъ старшимъ въ родѣ Мономаха и ближайшимъ наслѣдникомъ Кіевскаго престола. Съ 1113 г. онъ княжилъ въ Новгородѣ, наибогатѣйшемъ княжествѣ древней Руси; изгнанный оттуда въ 1136 г., онъ получилъ отъ дяди, великаго князя Ярополка Вышгородъ и, призванный въ 1137 г. въ Псковъ, умеръ 11 февраля 1138 г. До года его смерти; старшій сынъ его, Владиміръ считался первымъ княземъ, и только преждевременная смерть отца низвела его въ разрядъ князей изгоевъ. Но тѣмъ не менѣе его исчезновеніе со страницъ исторіи можно объяснить только его раннею смертью. Отецъ его женился въ 1123 году на дочери Святослава (Святоши) Давидовича Черниговскаго, такъ что самымъ раннимъ годомъ его рожденія можно считать тотъ же 1123 годъ, слѣдовательно ко времени смерти отца ему было пятнадцать или шестнадцать лѣтъ. Очевидно, что отецъ его могъ смѣло женить его за нѣсколько лѣтъ до этого. Польскіе князья и Мстиславичи Кіевскіе стремились въ эти времена заручиться поддержкою другъ друга и этимъ объясняются многочисленные брачные союзы ихъ между собою. Въ 1137 г. Всеволодъ выдалъ свою дочь Верхуславу за двѣнадцатилѣтняго Болеслава Кудряваго, сына Болеслава III. Породниться тѣснѣе съ будущимъ великимъ княземъ Кіевскимъ входило въ расчеты Болеслава, тоже самое можно сказать и о Всеволодѣ относительно польскаго князя. Приблизительно къ этому времени овдовѣла дочь Болеслава, Рикса. Ей было тогда не болѣе восемнадцати лѣтъ, такъ что разница въ возрастѣ между нею и сыномъ Всеволода была незначительная, она могла быть старше его лѣтъ на пять или на шесть. Заключеніе этого брака имѣло смыслъ и значеніе только при жизни Всеволода и Болеслава, а поэтому отнести его можно къ промежутку времени между 1134 и 1137 годамъ, такъ какъ Всеволодъ умеръ въ февралѣ, а Болеславъ въ октябрѣ 1138 года. На основаніи имѣющихся данныхъ надо полагать, что Владиміръ Всеволодовичъ не долго пережилъ отца и умеръ въ очень молодомъ возрастѣ, тѣмъ болѣе, что вся вѣроятность за то, что Сверкеръ Шведскій женился на его вдовѣ за нѣсколько

---

[31]) Полное собраніе русскихъ лѣтописей III, 7; IV, 5; V, 157; VII, 30.

лѣтъ до 1150 года. Годъ рожденія дочери Владиміра опредѣляется, какъ было указано выше, приблизительно въ 1140 г., имѣлъ онъ также, какъ видно, сына Бориса, родившагося по всей вѣроятности тоже около этого времени. Такъ что весьма возможно, что его не стало въ началѣ сороковыхъ годовъ.

Король Вальдемаръ Датскій, женившійся на княжнѣ Софіи Русской, приходился двоюроднымъ братомъ Владиміру Всеволодовичу, такъ какъ мать его Ингеборга Мстиславна[32] была родною сестрою Всеволода Мстиславича. Сохранилось одно несомнѣнное, но искаженное извѣстіе, подтверждающее такое происхожденіе королевы Софіи. Въ хроникѣ Альбрика подъ 1157 г. стоитъ слѣдующая запись: «Iste Waldemarus causa pacis faciende sororem accepit tertii Kanuti filiam Magni, tertio grado sibi consanguineam, et genuit ex ea Waldemarum II, qui duxit Sophiam de Russia.»[33] Очевидно, переписчики, не будучи въ состояніи понять какимъ образомъ жена Вальдемара Датскаго могла приходиться ему родственницею въ третьей степени, сдѣлали изъ нея двѣ отдѣльныя личности. Вальдемару они оставили жену-родственницу въ третьей степени, а сыну его Вальдемару II дали въ жены его собственную мать. Между тѣмъ это указаніе степени родства, какъ оказывается, соотвѣтствовало истинѣ, во всякомъ случаѣ изъ него можно вывести заключеніе, что первоначально хроникамъ происхожденіе королевы Софіи было извѣстно. Итакъ, Софія должна считаться несомнѣнно дочерью Риксы Польской отъ ея второго брака съ Владиміромъ Всеволодовичемъ.

Софія, послѣ смерти брата, наслѣдовала земельную собственность въ Швеціи. Вѣроятнѣе всего собственность эта являлась наслѣдствомъ бабки Софіи, жены Мстислава I, Христины Шведской, старшей дочери и наслѣдницы короля Инга I Стенкильсона. У Лангебека приведена точная перепись этихъ помѣстій, но все остальное явно перепутано: братъ Софіи названъ Болеславомъ вмѣсто Бориса, затѣмъ указано, что онъ наслѣдовалъ эти земли отъ отца (отчима) Сверкера. Врядъ ли Сверкеръ, имѣвшій дѣтей отъ перваго брака, смогъ бы завѣщать владѣнія пасынку, скорѣе всего онъ могъ только, еще при жизни, утвердить его во владѣніяхъ его прабабки. Его дѣдъ Всеволодъ былъ старшимъ сыномъ Христины Шведской и являлся ея прямымъ и естественнымъ наслѣдникомъ. Помѣстія эти находились главнымъ образомъ въ Остроготіи (родинѣ короля Инга Стенкильсона), Смаландѣ и Маммингѣ: «Hec sunt possessiones regis Waldemari in Swethia: in Arem XVI octonarii; Hallaestatha viij octonarii; Galuae viij octonarii; Rynkebu iiij octonarii; Hwalsbyargh vilj octonarii; Istath iiij octonarii; Enaebu vi octonarii; Burghaer iiij octonarii; Wighbu xxiiij octonarii; Vluaeruth vi octonarii; Enaebu in Thyustae ij octonarii, preter alia multa que pertinent ad Syghridlef et preter illas possessiones quas Bulizlaws hereditavit mortuo patre suo Swaercone antiquo et morto dicto Bulizlauo, easdem possessiones hereditavit soror ejus Sophia regina Danorum, mater regis Waldemari II. Et sciendem quod omnes predictas possessiones dedimus duci Kanuto preter hereditatem Bulizlaui.»[34]

Овдовѣла королева Софія 12 Мая 1182 г.;[35] отъ брака съ Вальдемаромъ она

---

[32]) Langebeck «Script. rer. Danic.» VI, 42.

[33]) Monum. Germ. Hist. S. S. XXIII, 841.

[34]) Langebeck «Scriptores rer. Danicarum» T. VII, p. 529.

[35]) Mas Latrie (de) «Trésor de Chronologie», p. 1754.

имѣла Канута VI († 1202) и Вальдемара II „Побѣдителя“ († 1241), королей Датскихъ и дочерей: Ингеборгу, жену короля Филиппа II Августа Французскаго, Риксу, жену короля Эрика Кнутсона Шведскаго и Елену, жену Вильгельма Брауншвейгскаго, герцога Люнебургскаго.

Несмотря на свой сорокалѣтній возрастъ, королева Софія долго вдовою не оставалась. Въ началѣ (послѣ 27 Января) 1186 года она была торжественно сосватана и выдана замужъ за Людовика V, Ландграфа Тюрингенскаго, племянника императора Фридриха Барбароссы: «Circa dies illos Lothewigus lantgravius de Thuringia, filius sororis imperatoris, repudiata uxore, quam prius habebat (графиня Маргарита Клеве), opponens ei titulum consanguinitatis, uxorem duxit matrem Kanuti regis Danorum. Que dum cum multo thesauro et suppellectili egressa fuisset de terra sua, occurit ei lantgravius ad Egdorum fluvium, et suscipiens eam de manu regis et episcoporum eius, ibat per viam suam gaudens.»[86] Счастливымъ этотъ бракъ не былъ. Едва только начались осложненія (послѣ 20 октября 1187) между императоромъ Фридрихомъ Барбароссою и ея сыномъ, королемъ Канутомъ VI, какъ Ландграфъ Тюрингенскій расторгъ бракъ съ нею и она вынуждена была вернуться въ Данію: «Mater etiam eius a Lothewico lantgravio repudiata et ad terram nativitatis sue sine honore reversa conquesta est, in multis se a marito iniuratam. Unde etiam magis instimulatus, instam se causam contra Teutonicos habere arbitratus est.»[87] Ея мужъ долго не прожилъ послѣ этого, онъ умеръ въ 1190 году на возвратномъ пути съ крестоваго похода, предпринятаго его дядею императоромъ Фридрихомъ.

О послѣднихъ годахъ Софіи ничего не извѣстно, хроники отмѣчаютъ только ея смерть: «1198 Obiit Sophia Regina».[88]

Н. фонъ Баумгартенъ.

Римъ.

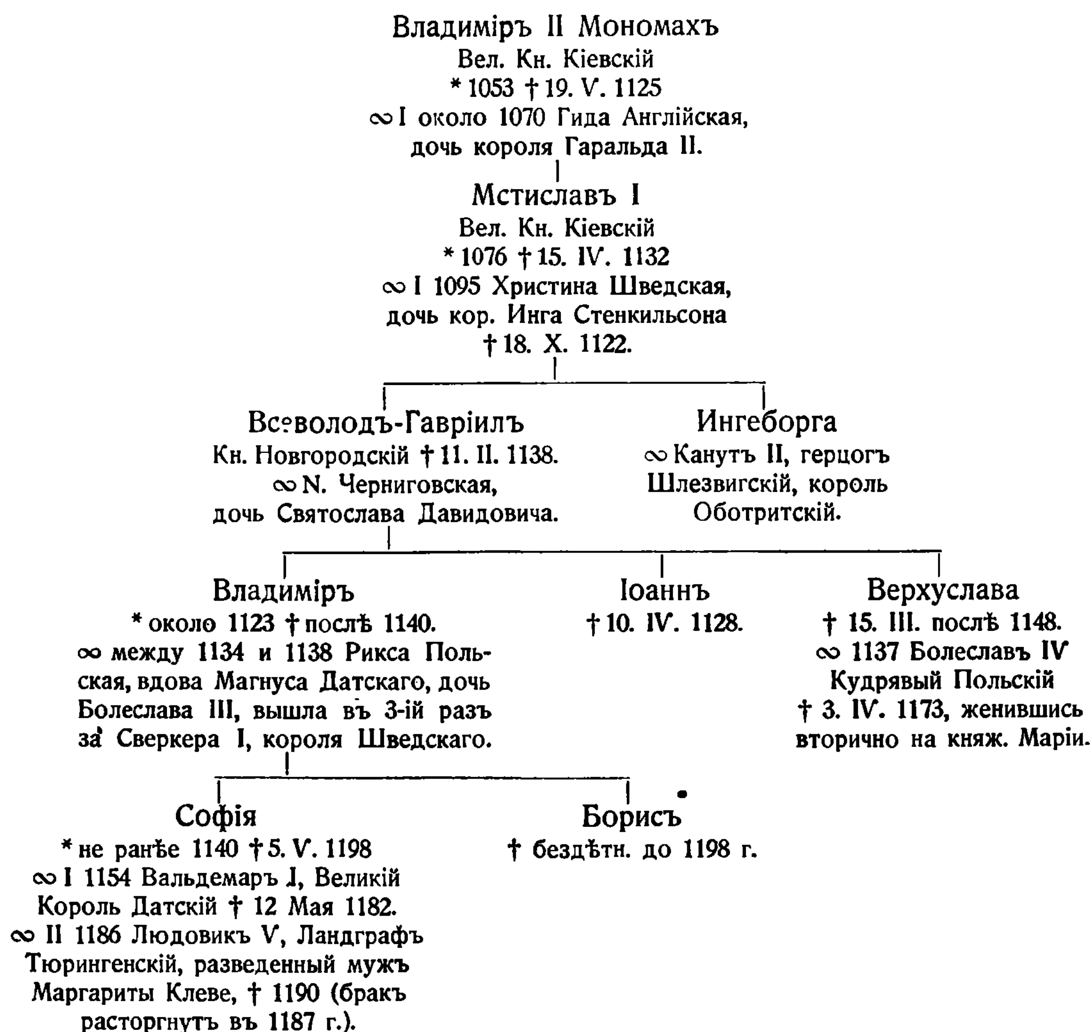
---

[36]) Monum. Germ. Hist. S. S. («Arnoldi chronica slavorum»), T. XXI, p. 158.

[37]) Ibidem, p. 162.

[38]) A n n a l e s B y e n s e s (Monum. Germ. Hist. S. S.), T. VI, p. 405; Chron. Danor. Sialandica (Monum. Germ. Hist. S. S.) T. XXIX, p. 213; Annales Lundenses (Ibidem. T. XXIX, 206).

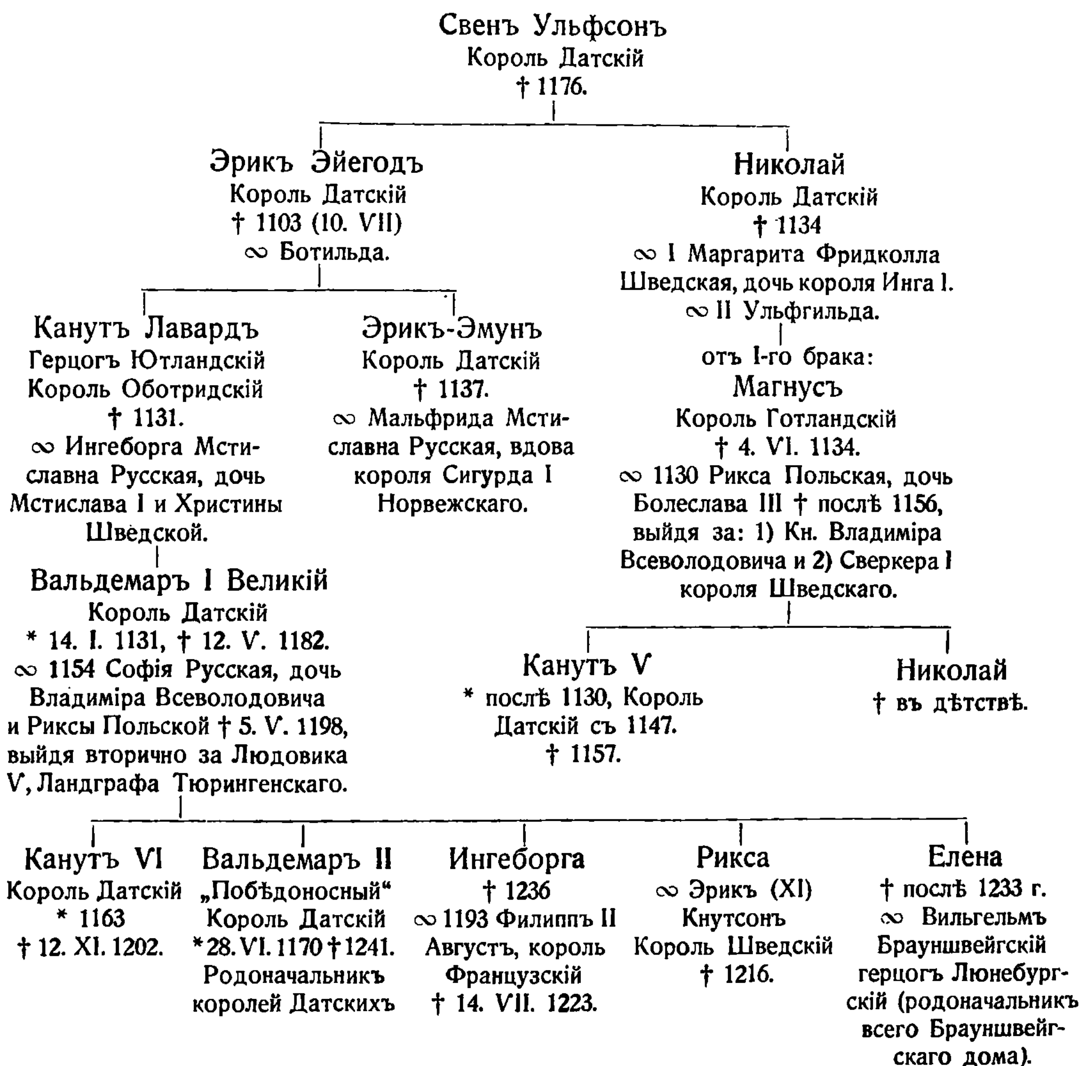
РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА № 1.



Объясненіе знаковъ:

*** = рожденіе, † = смерть, ∞ = бракосочетаніе.**

РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА № 2.



SOPHIE DE RUSSIE, REINE DE DANEMARK, PUIS COMTESSE DE THURINGE

par

N. DE BAUMGARTEN

La question de l'origine de la reine Sophie de Danemark, épouse du roi Valdemar I le Grand, fut soulevée plusieurs fois. La raison en est dans les interprétations différentes des indications des sources, parvenues jusqu'à nos jours. Mais en vérifiant ces indications et en les confrontant les unes aux autres, on parvient à constater l'origine russe de Sophie. Il s'agit seulement d'établir qui des nombreux princes Volodar ou Vladimir de Russie pouvait être son père.

Pour y arriver on a en premier lieu l'indication de 1154, qui permet de fixer la date de naissance de Sophie entre 1140 et 1145. Et en second lieu on a les témoignages unanimes, que sa mère, Rixa de Pologne, fille de Boleslas III a contracté trois alliances matrimoniales: outre le prince russe elle a eu pour époux Magnus roi de Gothlande et Sverker I roi de Suède. Or, Magnus est mort en 1134 et déjà avant 1150 elle était mariée avec Sverker. Ces indications facilitent la tâche, car elles permettent de préciser l'époque de son mariage avec le prince russe (1135—1149). De tous les Vladimir russes on ne trouve qu'un seul, qui puisse satisfaire à ces conditions: c'est Vladimir Vsevolodovitch, fils de Vsevolod de Novgorod, petit-fils aîné de Mstislav I et arrière petit-fils de Vladimir II Monomaque. On a un témoignage, quoique fort altéré, des chroniques allemandes qui le confirme aussi. D'après ce témoignage l'épouse de Valdemar I était sa parente au troisième degré: «tertio grado sibi consanguineam»; il n'y a que la fille de Vladimir Vsevolodovitch qui puisse correspondre à cette indication. Vladimir Vsevolodovitch et Valdemar I étaient des cousins germains: Ingueborge de Russie, fille de Mstislav I et mère du roi Valdemar I était la propre sœur de Vsevolod de Novgorod, père de Vladimir.

Rome.

ЭТРУССКАЯ СИВИЛЛА

I. Въ сохраненныхъ намъ античныхъ спискахъ Сивиллъ, разобранныхъ съ большой тщательностью, не лишенной однако доброй доли гиперкритицизма Э. Маассомъ въ его извѣстной диссертацiи „de Sibyllarum indicibus“, Сивиллы этрусской не имѣется, и понынѣ она не фигурируетъ въ изложенiяхъ этрусской религiи; мнѣ кажется, однако, что мы должны признать ея существованiе — въ легендѣ ли только, или также въ дѣйствительности, это другой вопросъ — на основанiи слѣдующихъ соображенiй.

Въ сочиненiяхъ латинскихъ „громатиковъ“ (т. е. землемѣровъ) сохранилось пророчество нѣкоей Вегоны, гласящее такъ: „Люди вслѣдствiе жадности восьмого вѣка, который будетъ почти послѣднимъ (ob avaritiam prope novissimi octavi saeculi) будутъ коварно нарушать, разбивать и сдвигать съ мѣста поставленные имъ граничные камни, это будетъ великимъ грѣхомъ; ибо Юпитеръ — согласно тому, что слышалъ отъ Вегоны Аррунтъ Велѳимнъ (Arruns Velthymnus) — оставилъ себѣ этрусскую землю какъ свою личную собственность и самъ приказалъ мѣрить землю и ставить граничные камни“. Какъ видно изъ этого свидѣтельства, имя Вегоны связано, съ одной стороны, съ этрусскою „легендою вѣковъ“, съ другой же — съ легендой объ Аррунтѣ Велѳимнѣ. Поговоримъ и о той, и о другой легендѣ.

II. Но сначала нѣсколько словъ о самой Вегонѣ. Ея имя въ нашихъ источникахъ пишется различно: встрѣчаются формы Begoe, Vegoe, Vegone. Въ пользу послѣдней говоритъ то, что книги ея пророчествъ, которыя хранились въ Римѣ наравнѣ съ извѣстными „Сивиллиными книгами“, называются libri Vegonici. Этрусскiй языкъ звуковъ b, g, d не признаетъ; если бы форма Begoe была первоначальной, то ей по этрусски должна бы была соотвѣтствовать форма Pec- (окончанiе остается подъ сомнѣнiемъ), а отъ нея никакъ бы не могло быть образовано Vegone. Послѣдней въ силу того же правила по этрусски соотвѣтствовало бы Vec-; ученые поэтому сопоставили это имя съ именемъ клузинскаго рода Vecu. Не нахожу это сопоставленiе удачнымъ: во-первыхъ, имя родовое нимало не помогаетъ намъ разобраться въ легендѣ такого, во всякомъ случаѣ, сверхъестественнаго существа, какимъ была Вегона, а во-вторыхъ, и главнымъ образомъ, сѣверо-этрусскiй городъ Клузiй не можетъ играть роли въ древне-этрусской легендѣ, которая, какъ мы это увидимъ тотчасъ, прикрѣплена къ Этрурiи южной. Ужъ если искать родичей нашей Вегоны, то естественнѣй будетъ сослаться на сабинскую богиню или нимфу Вакуну, у развалившагося — а, стало быть, очень древняго — капища которой (post fanum putre Vacunae) Горацiй написалъ одно изъ своихъ посланiй (I, 10).

Что же касается самой Вегоны, то Сервій въ своемъ комментаріи къ Энеидѣ (VI, 72) называетъ ее нимфой и говоритъ, что она „написала“, т. е. очевидно продиктовала Аррунту, „науку о молніяхъ“. Это послѣднее обстоятельство сближаетъ ее съ другой, этотъ разъ уже совсѣмъ сверхъестественной фигурой этрусской легенды, которой мы должны поэтому заняться обстоятельнѣе.

III. Эта фигура — Тагетъ. Легенду о немъ сообщаетъ — правда, въ нѣсколько насмѣшливомъ тонѣ, соотвѣтствующемъ вольнодумческому характеру сочиненія — Цицеронъ въ своихъ книгахъ „о вѣдовствѣ“ (II, 50). „Когда какой-то крестьянинъ тарквинійскаго округа (а, стало быть, въ южной Этруріи) пахалъ землю, то изъ борозды внезапно явилось дитя — да, дитя, но съ сѣдыми волосами и съ мудростью старца. Былъ это Тагетъ (Tages), сынъ Генія и внукъ Юпитера. Испугался крестьянинъ и громко закричалъ; собрались люди, скоро вся Этрурія (очевидно не переросшая еще своей исконной тарквинійской области) стеклась къ этому мѣсту. Тогда Тагетъ въ присутствіи многихъ свидѣтелей сказалъ многое; тѣ сохранили въ памяти всѣ его слова и (впослѣдствіи) записали ихъ. А все его откровеніе заключало въ себѣ науку, называемую дисциплиной гаруспицины; та со временемъ развилась вслѣдствіе обращенія вниманія на другіе факты и отнесенія ихъ къ тѣмъ же принципамъ“. Дополняя это свидѣтельство другими, можемъ прибавить, что къ Тагету сошлись „лукумоны“ (т. е. сановники) изъ другихъ городовъ (а всѣхъ было двѣнадцать) Этруріи, изъ чего мы можемъ заключить, что каждый изъ нихъ обладалъ экземпляромъ откровенія Тагета и считалъ его также оригинальнымъ, какъ и другіе; но что по другой, очевидно болѣе древней, формѣ преданія ученикомъ Тагета былъ только Тархонъ, основатель Тарквиній, изъ чего мы опять заключаемъ, что этотъ древнѣйшій городъ Этруріи приписывалъ себѣ первую редакцію мудрости Тагета.

Объ этомъ Тархонѣ преданіе гласитъ, что былъ онъ сѣдымъ отъ рожденія; нѣтъ сомнѣнія, что эта черта была перенесена на него отъ самого Тагета. Намъ предстоитъ еще ею заняться; пока же читатель безъ труда убѣдится, что Тархонъ относится къ Тагету точно такъ же, какъ Аррунтъ Велѳимнъ къ Вегонѣ. Параллелизмъ станетъ еще болѣе очевиднымъ, если вспомнимъ, что откровеніе Вегоны заключалось въ наукѣ о молніяхъ, т. е. въ гаданіи на основаніи наблюденій надъ ними; эта самая наука входила также въ составъ той „дисциплины гаруспицины“, которую свидѣтельство Цицерона приписываетъ Тагету. Но Тархонъ, а съ нимъ и авторъ librorum Tageticorum, принадлежатъ южной Этруріи; что же мы скажемъ о Вегонѣ и ея ученикѣ Велѳимнѣ? Къ этой парѣ мы и переходимъ теперь.

IV. Arruns — извѣстное этрусское praenomen, ничего въ данномъ случаѣ не говорящее; главное — это nomen, т. е. Velthymnus. Само собою разумѣется, что мы имѣемъ здѣсь, такъ же какъ и въ имени Вегоны, латинскую транскрипцію, лишь болѣе или менѣе соотвѣтствующую этрусской фонетикѣ; не будемъ поэтому при сближеніяхъ смущаться мелкими звуковыми уклоненіями. А коли такъ, то не излишнимъ будетъ припомнить, что по свидѣтельству Ливія (IV, 23 и др.) мѣстомъ собраній для делегатовъ южной Этруріи было fanum Voltumnae — причемъ полъ этого послѣдняго божества оставленъ подъ сомнѣніемъ. Но современные ученые давно уже — и повидимому правильно — отожествили

его съ богомъ Vertumnus, котораго Варронъ называетъ главнымъ богомъ этрусковъ; мѣстомъ почитанія обоихъ были окрестности lago di Bolsena въ южной Этруріи, а Велѳимнъ, коль скоро онъ тожественъ съ ними, прикрѣпляетъ и Вегону къ той же мѣстности.

На дальнѣйшія заключенія наводитъ параллелизація этого Велѳимна съ Тархономъ, основателемъ Тарквиній и вообще чиноначальникомъ этрусской колонизаціи Италіи, т. е. тѣмъ, отъ котораго начинается лѣтосчисленіе италійской Этруріи. Но они тѣсно связаны съ этрусской „легендой вѣковъ“, къ которой мы и переходимъ теперь.

V. Всѣмъ извѣстенъ историософическій циклъ Гесіода, согласно которому за исконнымъ золотымъ вѣкомъ слѣдовалъ серебряный, за нимъ — мѣдный, за нимъ (съ пропускомъ неорганически имъ вставленнаго вѣка героевъ) — желѣзный, послѣ чего кругъ начинается опять сначала; эта послѣдняя мысль, положимъ, не высказана ясно, но мы о ней заключаемъ по нѣкоторымъ недомолвкамъ. Не менѣе извѣстенъ и другой, легшій между прочимъ въ основу знаменитой „мессіанической“ эклоги Виргилія и приписываемый имъ (куманской) Сивиллѣ, согласно которому кругъ міровой исторіи состоитъ изъ десяти поколѣній, каждое подъ покровительствомъ особаго божества, причемъ — и этотъ разъ эта мысль высказана ясно — послѣ десятаго, поколѣнія Аполлона, произойдетъ возрожденіе міра и возвращеніе перваго, поколѣнія Сатурна. Изъ этихъ двухъ цикловъ первый, гесіодовскій, безнадежно неопредѣлимъ: поэтъ не говоритъ намъ ни съ какого времени слѣдуетъ считать начало его круга, ни сколько лѣтъ приходится на каждое его поколѣніе. Напротивъ, второй, сивиллинъ, получаетъ извѣстную хронологическую опредѣленность, если сообразить, что Сивилла, она же и Кассандра, считалась свидѣтельницей разрушенія Трои, этой катаклизмы древнѣйшаго міра, и что каждый вѣкъ равняется ста годамъ. Тогда надобно только знать, когда была разрушена Троя; а такъ какъ Эратосѳенъ высчиталъ, что годомъ ея разрушенія былъ (переводя на нашу эру) г. 1184/3 до Р. Хр., то годъ 184/3 получался самъ собой какъ годъ новаго свѣтопреставленія.

Бѣда только въ томъ, что въ этомъ 184/3 году, несмотря на всѣ страхи, не случилось ничего такого, что указывало бы на происшедшую катаклизму. Тогда былъ придуманъ слѣдующій исходъ: вѣкъ состоитъ не изъ ста, а изъ ста десяти лѣтъ. Этимъ самымъ и свѣтопреставленіе передвигалось съ 184/3 на 84/3 годъ. И этотъ разъ пророчество могло считаться исполненнымъ; почему и какъ, это я развилъ въ своей статьѣ La Sibylle et la fin de Rome, изданной въ книжкѣ «La Sibylle» (Paris 1924).

VI. Такъ вотъ на этой греческой или греко-римской легендѣ вѣковъ основана та, которая насъ интересуетъ здѣсь — этрусская. Мы находимъ ее у поздняго, но хорошаго автора, Цензорина, въ его любопытной книжкѣ de die natali ad Qu. Caerellium (238 г. по Р. Хр.) со ссылкой на знаменитаго современника Цицерона, Марка Варрона, и гласитъ она такъ: „Въ исторіи этрусской, написанной въ VIII-омъ вѣкѣ народа этрусскаго, стоитъ, сколько вѣковъ (saecula) суждено этому народу житъ, и равнымъ образомъ сколько времени выполнили тѣ, которые уже прошли, и какіе знаки ознаменовали ихъ конецъ. И такъ, написано, что первые четыре вѣка обнимали каждый по сто лѣтъ, пятый — сто двадцать три, шестой — сто девят-

надцать, седьмой то же число, восьмой — это настоящій, девятый и десятый принадлежатъ будущему, послѣ чего наступитъ конецъ этрусскому имени".

Тутъ насъ поражаетъ прежде всего это неравенство вѣковъ. Этруски, говорятъ намъ, держались теоріи такъ наз. „естественнаго вѣка", согласно которой каждый вѣкъ равняется самой долгой жизни рожденныхъ въ его началѣ людей. Превосходно; но какъ же тогда объяснить странное совпаденіе, что первые четыре вѣка, и притомъ только они, сохранили принятое не только у насъ, но уже и въ древнемъ мірѣ число ста лѣтъ? На этотъ вопросъ послѣдній ученый, писавшій о нашемъ предметѣ, C. Clemen (die Saecularrechnung der Etrusker, въ Studi e materiali di storia delle religioni IV, 1928, 235 сл.) отвѣчаетъ — согласно впрочемъ съ нѣкоторыми своими предшественниками — что эти четыре столѣтніе вѣка — это именно четыре гесіодовскіе, относительно которыхъ этрусскій авторъ имѣлъ дѣло съ установившейся традиціей.

Прекрасно; но вотъ чего ни Клеменъ, ни его предшественники не замѣтили. Слѣдующіе за гесіодовской группой вѣка всѣ оказываются длиннѣе первыхъ четырехъ, т. е., если держаться теоріи естественнаго вѣка, живущее въ нихъ человѣчество было долговѣчнѣе того прежняго; это какъ будто не вяжется съ теоріей его постепеннаго вырожденія, которое должно привести къ катаклизмѣ. Но еще интереснѣе — цифры, на которыя еще никто не обратилъ вниманія. Вѣкъ V — 123 г., VI — 119, VII — 119; для VIII-го историкъ числа не даетъ и не можетъ дать, такъ какъ прикидывается, что самъ въ немъ живетъ (въ такого рода пророческой литературѣ апокрифичность — явленіе естественное), но мы врядъ ли отойдемъ отъ его мысли, предполагая и для него то же число. Итакъ — 123 плюсъ 119 плюсъ 119 плюсъ 119 — всего 480 лѣтъ; прибавивъ ихъ къ четыремъ столѣтнимъ вѣкамъ, получаемъ восемь вѣковъ съ общей суммой 880 лѣтъ, то есть по 110 лѣтъ каждый. Не представится ли намъ несомнѣннымъ, что авторъ этого счисленія хотѣлъ привести этрусскую теорію въ соотвѣтствіе съ той исправленной римской, о которой у насъ была рѣчь только что?

VII. Зависимость этрусской легенды вѣковъ отъ гесіодовской однако этимъ не ограничивается. Греческій поэтъ, говоря о предстоящемъ концѣ желѣзнаго вѣка, пророчитъ, что онъ наступитъ тогда,

Дѣти когда ужъ рождаться начнутъ съ волосами сѣдыми.

Другими словами: когда наступитъ окончательное физическое вырожденіе человѣчества — ясное вѣдь дѣло, что кто ужъ родился старикомъ, тотъ къ дѣторожденію не способенъ. Таковъ ясный, убѣдительный и по своему глубокій смыслъ этого пророчества, которое и теперь не потеряло значенія; хитросплетенія нѣкоторыхъ современныхъ ученыхъ можемъ оставить въ сторонѣ.

И вотъ теперь прошу припомнить приведенную мною раньше легенду о Тагетѣ и Тархонѣ, этихъ дѣтяхъ съ сѣдыми волосами; не ясно ли, что ея авторъ понялъ пророчество Гесіода въ его буквальномъ значеніи? Вѣдь не забудемъ, что оба они предполагаются жившими въ самомъ началѣ исторіи италійской Этруріи, то есть именно тогда, когда началось счисленіе этрусскихъ вѣковъ, или, другими словами, когда кончился желѣзный вѣкъ минувшаго великаго круга.

VIII. А какъ это было? Это разсказываетъ Геродотъ (I, 94). При лидійскомъ царѣ Атисѣ (конецъ тринадцатаго вѣка до Р. Хр.) на народъ обрушился страшный бичъ — голодъ. Восемнадцать лѣтъ боролись съ этимъ несчастіемъ съ помощью изобрѣтенныхъ именно съ этой цѣлью игръ, заглушая чувство голода ими и ѣдя только черезъ день; наконецъ, когда стало совсѣмъ не въ моготу, царь подѣлилъ своихъ подданныхъ на двѣ половины и одна изъ нихъ подъ предводительствомъ царевича Тиррена отправилась искать новой родины въ заморской странѣ Умбровъ, принявъ имя Тирренцевъ. Когда же это случилось? Разумѣется, этотъ вопросъ имѣетъ для насъ значеніе только въ связи съ легендой, и намъ нѣтъ надобности разбираться въ сложныхъ теоріяхъ о началахъ исторической Этруріи въ Италіи. А что касается легенды, то ея цѣль ясна: уже по Геродоту переселеніе Тирренцевъ въ Италію придется отнести къ началу XII вѣка, т. е. къ тому времени, къ которому Эратосѳенъ пріурочилъ осаду Трои; еще яснѣе другія свидѣтельства. Тархонъ, основатель Тарквиній, а съ ними и италійской Этруріи, былъ братомъ Тиррена; оба были сыновьями Телефа мисійскаго, того, который былъ проводникомъ греческихъ войскъ подъ Трою; Тархонъ, уже находясь въ Этруріи, заключилъ союзъ съ Энеемъ, когда судьба завела этого послѣдняго въ Италію.

Что слѣдуетъ для насъ изъ всѣхъ этихъ синхронизмовъ? Одно: легенда всячески старается связать переселеніе Этрусковъ въ Италію съ эпохой разрушенія Трои — такъ же, какъ это дѣлаетъ параллельная легенда о переселеніи родоначальника перваго римскаго царя Энея. Но личность Энея неотдѣлима отъ личности многообразной Сивиллы: она, какъ Сивилла троянская Кассандра, отправляетъ его на поиски новой родины; она же, какъ Сивилла куманская, встрѣчаетъ его при его вступленіи на почву этой новой родины и предсказываетъ ему дальнѣйшую судьбу его и его потомковъ.

IX. Этотъ параллелизмъ объясняетъ намъ и то, что до сихъ поръ могло считаться необъясненнымъ: одинаковую для обоихъ народовъ необходимость исправленія счета вѣковъ. Если римское счисленіе вело къ тому, чтобы признать годъ 183 какъ годъ ожидаемаго свѣтопредставленія и, слѣдовательно, къ разочарованію въ виду его ненаступленія, то въ совершенно тѣхъ же условіяхъ находились и этруски: и въ ихъ исторіи годъ 183 ничего не значилъ. Въ такихъ случаяхъ вѣрующіе отнюдь не теряютъ вѣру въ данное пророчество, а всегда стараются найти ошибку въ его толкованіи, т. е. въ исчисленіи сроковъ; любопытный примѣръ изъ русской исторіи я привелъ въ вышеупомянутой своей книжкѣ; онъ далеко не единственный. А поправка и этотъ разъ оказалась удачной: годъ 83 совпалъ не только съ пожаромъ Капитолія, этого символа Рима, но и съ хозяйничаніемъ Суллы въ Италіи, жертвой котораго стала именно Этрурія: при немъ дѣйствительно наступилъ „конецъ этрусскаго имени". И тутъ Сулла дѣйствовалъ вполнѣ сознательно: не даромъ производилъ онъ свое имя отъ имени легендарной пророчицы — Sylla: Sibylla.

X. Вернемся, однако, къ нашей первоначальной темѣ. Прошу припомнить приведенное въ самомъ началѣ пророчество Вегоны: „Люди вслѣдствіе жадности восьмого вѣка, который будетъ почти послѣднимъ, будутъ коварно нарушать" и т. д. Итакъ, Вегона признавала легенду вѣковъ; это разъ. Она называетъ

восьмой вѣкъ — почти послѣднимъ; это будетъ совершенно правильно, если окончательно послѣднимъ будетъ вѣкъ десятый, какъ это имѣетъ въ виду и куманская Сивилла, и авторъ сохраненнаго Цензориномъ пророчества. Можно бы еще спросить, почему она именно съ восьмого вѣка считаетъ начало этрусскаго безбожія; не имѣемъ ли мы здѣсь слѣды той теоріи, которая, отожествляя четыре гесіодовскихъ вѣка съ десятью сивиллиными, должна была пріурочить къ желѣзному послѣдніе два съ половиной вѣка Сивиллы, т. е. начать его съ половины восьмого вѣка? И еще можно бы обратить вниманіе на то, что и авторъ пророчества у Цензорина, притворяясь, что живетъ въ восьмомъ вѣкѣ, отводитъ ему особое мѣсто въ своемъ счисленіи.

Но нѣтъ надобности пускаться въ эти дебри апокрифической литературы; резюмированныя въ этомъ очеркѣ соображенія достаточно, полагаю я, оправдываютъ наименованіе, данное мною миѳической Вегонѣ — наименованіе „этрусской Сивиллы“.

Ѳ. Зѣлинскій.

Варшава.

LA SIBYLLE ÉTRUSQUE

par

TH. ZIELINSKY

Nous avons le droit de donner ce nom à Végone (Vegone, probablement non différente de la Vacuna des Sabins), dont les livres prophétiques étaient conservés à Rome ensemble avec les livres Sibyllins; quant à elle même, on racontait d'elle, qu'elle avait prédit à Arruns Velthymnus l'avarice du huitème siècle, et encore, qu'elle avait écrit, c'est-à-dire dicté à Velthymnus, une partie de la discipline étrusque. Ce dernier trait la rapproche de Tagès, personnage mythique, lié étroitement avec Tarkhon, le fondateur de Tarquinii; d'où il s'ensuit, ce qui d'ailleurs est vraisemblable par soi-même, que Végone appartient au commencement même de l'histoire des Etrusques en Italie. Quant à la "légende des siècles“, dont elle traitait dans sa prophétie, on peut facilement démontrer, en examinant le témoignage de Censorin, qu'étant tout à fait parallèle à celle des Romains, c'est-à-dire, de la Sibylle de Cumes, elle a subi elle aussi une correction dans les derniers temps de la république, correction, selon laquelle le siècle, qui dans l'origine était de 100 ans, a été porté à 110 ans afin d'éviter dans les deux cas un flagrant démenti par l'histoire.

Varsovie.

L'ORIGINE BYZANTINE DES CARTONS DES ÉCOLES DE PEINTURE PERSANE, À HÉRAT, AU XVᵉ ET AU XVIᵉ SIÈCLES

L'enluminure des manuscrits est née en Perse, au XIᵉ siècle, de l'imitation des peintures exécutées pour illustrer quelques livres arabes, dans les ateliers de Mésopotamie; ces tableaux mésopotamiens, entre 1180 et 1240, ont été imités de ceux qui décoraient les Bibles et les Évangiles des Syriens, lesquels recopiaient, dans une manière inférieure, les illustrations des manuscrits grecs. Cette transmission des formules du bas-Empire à l'art des écoles mésopotamiennes est certaine; on trouve dans les peintures des livres arabes, et dans celles qui les ont imitées en Perse, des éléments chrétiens, le souvenir très net de cartons byzantins, dont l'existence à Baghdad, au début du XIIIᵉ siècle, à Tabriz, entre 1260 et 1310, sont inexplicables si l'on se refuse à l'admettre.

L'évolution de la peinture persane, comme celle de sa civilisation, s'est faite de l'Occident vers l'Orient[1]: les enluminures des XIIᵉ—XIIIᵉ siècles recopient les tableaux

[1]) Si l'on excepte les peintures d'un petit manuscrit des Fables de Bidpaï, enluminé vers 1150, à Ghazna, dans les contrées les plus orientales de l'Iran, tous les livres illustrés en Perse, de 1180 à 1400, sans aucune restriction, que j'ai vus à la Bibliothèque nationale de Paris, ou dans la collection de M. Chester Beatty, à Londres, laquelle est aussi riche qu'une collection d'État, sont originaires de l'Ouest de la Perse; ce que montrent, soit leurs colophons, soit les caractéristiques de leur graphie; il en est de même pour toutes les peintures découpées dans des livres, qui font partie des collections du Louvre, de Madame de Béhague, de M. Pozzi, de M. Demotte; aucun de ces manuscrits n'a été copié, aucune de ces peintures n'a été exécutée à l'Orient du grand désert de sable. Le fait s'explique historiquement, sans l'ombre d'une difficulté; il ne subsiste presque aucune des enluminures des XIᵉ—XIIᵉ siècles, sous les Ghaznavides, dans l'Est; mais l'on sait, par le petit manuscrit des Fables de Bidpaï de la Bibliothèque nationale, que, vers 1150, les artistes de Ghazna recopiaient les cartons mésopotamiens, en y introduisant des clichés hindous; et cela est la preuve que ces peintures ont bien été exécutées sur les frontières de l'Hindoustan, où les Ghaznavides régnaient jusqu'à Lahore, car cette intrusion de personnages empruntés à l'art radjpoute du XIIᵉ siècle était absolument impossible dans l'Ouest de l'Iran, où l'Inde était inconnue. Après les Ghaznavides, le centre politique de l'Iran fut transporté dans l'Ouest par les Saldjoukides, et il y demeura jusqu'au début du XVᵉ siècle; les provinces orientales de l'Iran furent laissées dans un abandon complet, et cette situation ne prit fin qu'avec les princes de la dynastie timouride, qui transférèrent la capitale de Tabriz à Hérat, où elle resta à peu près un siècle. La capitale des premiers Saldjoukides, Toghroul Beg et Alp Arslan (1037—1063) fut Baghdad; leurs successeurs, aux XIᵉ—XIIIᵉ siècles, eurent Isfahan ou Tabriz comme centre administratif; Sindjar (1117—1157), qui était gouverneur à Marw, se proclama sultan dans cette ville, mais le centre de la civilisation persane resta en Occident. De la carence de manuscrits enluminés dans l'Orient de la Perse, entre 1180 et 1420, il ne faut pas voir l'effet d'une calamité qui les aurait tous fait disparaître; les Mongols saccagèrent l'Est de la Perse, mais ils saccagèrent tout autant Baghdad et ses provinces occidentales, et l'on connaît un certain nombre de livres, enluminés entre 1180 et 1220 certainement dans les contrées occidentales, qui ont échappé à leur destruction. L'invasion mongole,

mésopotamiens; les écoles du XIV^e s'inspirent des compositions du XIII^e, et elles repassent, au XV^e, leurs procédés aux artistes des écoles timourides, qui les transportent dans l'Est de l'Iran, à Hérat, dans le Khorasan.

Ces conclusions sont absolument opposées à la théorie qui impose à la peinture persane une origine chinoise, que j'ai eu le tort d'indiquer au début de ce siècle, sans avoir suffisamment étudié la question, et qui, depuis, s'est trouvée répétée dans

---

d'ailleurs, eut une fin et, vers 1226, l'Iran retrouva son calme; or, c'est en vain que l'on chercherait, entre cette date et le début du XV^e siècle, avant la date à laquelle les Timourides transférèrent la capitale à Hérat, des livres enluminés en Orient. Cette remarque, de plus, ne s'applique pas seulement aux manuscrits illustrés, mais également aux livres les plus communs; il est très rare, avant le XV^e siècle, de trouver des livres copiés à Hérat, à Samarkand, à Boukhara, et quand on en rencontre, ce sont des exemplaires dénués de toute valeur artistique. Si l'on en croyait un auteur arménien (Arménag Beg Sakisian, la *Miniature persane*, Paris, 1929, planches I—XI), il existerait à la bibliothèque de Yildiz, à Constantinople, plusieurs peintures, arrachées à un manuscrit des *Fables* de Bidpaï, qui seraient des spécimens authentiques de la manière d'une école orientale du XII^e siècle, laquelle aurait évolué sous l'influence chinoise; cette opinion est intéressée, comme je l'ai fait remarquer à M. Arménag Beg Sakisian, qui le sait fort bien, dans un article où j'ai étudié ces pièces (*Bulletin de la Société française de reproduction de manuscrits à peintures*, Paris, 1926 (sic), page 19 note), sans qu'il ait rien trouvé à répondre à mes arguments, que de m'attaquer sur des points qui n'ont aucun rapport avec cette très importante question, et de garder sur elle un silence prudent et habile. Son but n'est autre que d'antidater ces pièces, pour postdater d'autant les peintures de très anciens manuscrits dont j'ai parlé, de deux siècles environ, même quand ils sont dûment datés, sans tenir compte des constantes paléographiques et artistiques, ou d'autres impossibilités, dont sa carrière d'inspecteur des finances en Turquie ne lui a pas permis d'acquérir la notion. Si les peintures des *Fables* de Bidpaï de la bibliothèque de Yildiz sont des environs de 1140, comme le laisse entendre M. Arménag Beg Sakisian, ou même plus anciennes, car il a l'habileté de ne pas indiquer la date exacte du XII^e siècle à laquelle il pense, celles du *Livre des Rois* de M. Chester Beatty, celles de l'histoire de Tabari de M. Kévorkian sont bien des environs de 930, date à laquelle ces ouvrages n'étaient pas écrits, certainement antérieures à l'an 1000, d'une époque à laquelle l'enluminure du livre était sévèrement proscrite dans l'Islam; quant au *Livre des Rois* dont j'ai reproduit deux tableaux dans le *Bulletin de la Société française*, 1928, planches I et II, il serait des environs de l'an 1000, ce qui est une opinion également invraisemblable; or, quoiqu'en dise M. Arménag Beg Sakisian, M. Kélékian, en qui j'ai plus de confiance qu'en lui, a lu la date de 1206—1207 dans le colophon de ce livre, et non celle d'une année du milieu du XIV^e siècle, comme il prétend l'avoir lu lui-même, ce qui est une pure invention. Cela explique pourquoi les enluminures de ces manuscrits de 1180—1220 rappellent la décoration des vases de Rhagès; or l'on sait (*Monuments Piot*, 1918, page 142) que la fabrication de ces céramiques cessa brusquement en 1221, par la destruction intégrale de cette ville, qui fut anéantie par les Mongols, et que, par conséquent, aucune poterie de Rhagès n'est postérieure à cette date. Or, jamais, à partir du milieu du XIII^e siècle, on ne retrouve le type des céramiques de Rhagès dans les peintures des livres, encore bien moins dans celles datées du XIV^e, siècle; ce qui montre bien que le *Livre des Rois* de M. Kélékian, dont M. Arménag Beg Sakisian prétend avoir lu la date sous la forme d'une année du milieu du XIV^e siècle, est antérieur à l'année 1220. Or, si tous ces manuscrits sont de la fin du XII^e siècle, ou bien du commencement du XIII^e, il en faut déduire que les tableaux des *Fables* de Bidpaï de la bibliothèque de Yildiz sont de 1380—1400, du commencement de l'époque timouride, ce qui répond à leurs idiosyncrasies. L'ouvrage de M. Arménag Beg Sakisian et celui de F. R. Martin sont des catalogues de vente *ante mortem*, dans lesquels les pièces qui appartiennent à leurs auteurs sont très habilement mélangées, avec des attributions fantaisistes, aux pièces qui appartiennent aux collections d'État, de manière à déprécier celles-ci aux yeux des amateurs; ou, comme dans le cas des peintures des *Fables* de Bidpaï de la bibliothèque de Yildiz, à créer un genre fortement antidaté, dont on produira ensuite des exemples, que l'on proposera à l'admiration des amateurs. En fait, la collection dont l'auteur a tenu à nous donner les prémices dans son livre se compose de quelques feuillets découpés dans des

tous les manuels, et dans les livres qui en dérivent[2]; leurs auteurs jugent de ces questions d'après un simple sentiment esthétique, sans même savoir comment l'on prépare une palette, avec la compétence d'un critique musical qui voudrait juger des rapports qui existent entre Bach, Weber et Wagner, sans savoir lire une portée de musique.[3]

Il faut n'avoir aucune notion de la technique de la peinture pour soutenir l'origine

---

manuscrits, et d'une valeur toute secondaire; la pièce la plus importante était la coupe de Sultan Hosaïn Mirza (fin du XV[e] siècle), à laquelle l'auteur a consacré un article très intéressant, et qui est aujourd'hui dans la collection de M. Cartier. J'avais prévenu Martin que les peintures qui sont en tête de son livre ont été exécutées au Caire, entre 1351 et 1354, et que certaines des pièces qu'il attribue à Behzad sont signées de tout autres noms; ce qui ne l'a pas empêché, d'accord avec Karabaček et Arnold, d'attribuer les premières à un atelier mésopotamien (sic), vers 1180 (sic), et je fus, durant un quart de siècle, couvert de sarcasmes par tous les Orientalistes, pour avoir soutenu une opinion contraire, jusqu'au jour où M. Riefstahl alla lire le colophon du manuscrit, qui porte la date de 1354; malgré cette évidence, M. Vignier (Collection J. Doucet, 1930, N° 100) n'en attribue pas moins une de ces pièces, qui est du milieu du XIV[e] siècle, à la fin du XII[e]; en même temps que la pièce 99 est attribuée à Gentile Bellini ou à Behzad, qui se seraient rencontrés à Constantinople (! sic); la signature de cette pièce, attribuée à Behzad, n'est nullement dans la graphie de l'artiste; c'est un faux du XVIII[e] siècle, comme il y en a des centaines; sans compter que ce portrait ne ressemble que vaguement à celui de Madame Gardner; tout au plus, en est-il une imitation maladroite, par un maladroit, qui a assez bien copié le visage de l'original italien, lequel ne porte aucune signature qui permette de l'attribuer à Bellini, en changeant la palette et en supprimant les ombres. Ce portrait se réduit à une tête, avec le haut du buste, tout le reste du corps étant absent, ce qui donne au personnage qu'il représente l'aspect d'un monstre; cette pièce est indigne de Behzad, lequel, comme ses disciples, savait camper un portrait debout. On connaît l'emploi du temps de Behzad: de 1470 à 1510, il resta à Hérat, à des centaines de lieues de Constantinople; en 1510, Shah Ismaïl l'emmena à Tabriz, où il le donna comme professeur de dessin à son fils, Tahmasp Mirza, et le nomma directeur de l'Académie de peinture; à cette date Behzad était vieux; il ne fit certainement pas le voyage de Constantinople; aucun texte persan ne parle de cette fantaisie absurde et intéressée. En fait, ce qui prouve bien qu'il n'exista jamais d'art autonome dans les provinces orientales de l'Iran, c'est qu'il n'y eut jamais de continuité dans ses productions; en 920, on copiait du chinois à Boukhara; en 1150, du mésopotamien à Ghazna; vers 1423, du chinois à Samarkand, subsidiairement, comme le montrent plusieurs manuscrits de la collection de M. Chester Beatty, du modèle occidental; durant tout le XV[e] siècle, du carton de Tabriz et de Shiraz à Hérat; dans la première moitié du XVI[e], le modèle de Hérat à Boukhara, auquel succéda sporadiquement le modèle hindou; après 1530, à Hérat et le milieu du XVI[e] siècle, à Samarkand, l'art disparut de ces provinces orientales, comme une importation artificielle et inutile, dont on ne trouve plus, de temps en temps, que des exemples sporadiques et isolés.

[2]) Cette thèse, dans tous les ouvrages qui l'exposent, est née, m'a-t-on dit, d'un article que j'ai publié en 1905, dans la Revue Archéologique, sous le titre les Écoles de peinture en Perse; j'avais remarqué, ce qui est l'évidence même, que les plus somptueuses peintures persanes ont été exécutées dans l'Est, entre 1430 et 1530; cette constatation venait à l'appui d'une opinion que j'avais souvent entendu exprimer par mon maître Schefer; Schefer me citait constamment le témoignage des poètes anciens, qui parlent des merveilleuses peintures faites à la Chine, et du nom kâr-i tchînî «style chinois» que les Persans actuels donnent à leur peinture: Schefer m'imposa, un peu malgré moi, cette théorie, que rien, à Paris, ne me permettait de vérifier; je ne tardai pas à m'apercevoir de l'inexactitude de cette théorie, quand je connus les peintures sur soie du Musée Guimet, et je n'hésitai pas un instant à revenir sur mon opinion pour la corriger.

[3]) Il ne faut jamais parler d'un procédé que l'on ignore; Rodin, vers 1893, reprit vertement un certain nombre de jeunes amateurs, hommes et femmes, qui savaient plus ou moins dessiner et peindre, parmi lesquels je me trouvais, et qui se moquaient de la statue du maréchal Ney, à Paris, que l'on venait de placer dans une situation qui prête au ridicule; Rodin nous fit taire, et nous démontra, en quelques mots, que le mouvement de cette statue est comparable à ce qu'ont fait les Anciens, ce dont aucun de nous ne se doutait, parce qu'il ne savait pas tenir un ciseau, ni modeler une figure en relief.

chinoise des anges qui décorent un manuscrit persan, enluminé en 1272, à Césarée de Cappadoce, lesquels sont copiés sur des illustrations de livres grecs, ou même plutôt sur des mosaïques byzantines, avec une telle exactitude que leur auteur a fidèlement reproduit un procédé caractéristique de la méthode romaine et byzantine, qui consiste à indiquer le saillant de la pommette, au milieu du visage, par une petite touche de couleur rouge, ce qui est à l'antipode de la manière chinoise.[4]

Il faut penser que les arguments que j'ai accumulés dans plusieurs mémoires pour combattre cette théorie ont porté juste, puisque M. Arménag Beg Sakisian s'est vu, en 1929, obligé, contre le dogme de l'école, d'admettre les origines byzantines des ateliers qui ont fleuri dans l'Occident de la Perse; mais M. Arménag Beg Sakisian ne veut pas admettre qu'il s'est trompé, ou plutôt qu'il a été trompé sur l'origine de la peinture persane, et il entend garder à la majeure partie des enluminures iraniennes, celles des provinces orientales, ce caractère d'exotisme, qui en rehausse le prix commercial aux yeux des amateurs; il veut que j'aie raison contre moi-même; il invente une école orientale de peinture, essentiellement différente des ateliers occidentaux, qui aurait évolué sous l'influence directe du procédé chinois, dont des exemples, antérieurs à l'époque mongole, du XII[e] siècle, seraient des peintures découpées dans un Kalila et Dimna, lesquelles appartiennent à la bibliothèque de Yildiz, à Constantinople et sont, en fait, des environs de 1390, nettement occidentales et timourides.[5]

---

[4]) Peintures de manuscrits arabes, persans et turcs de la Bibliothèque nationale, Paris, 1911, planche 4; les Enluminures des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale, Paris, 1926, planche 19; Musulman painting, Londres, 1929, planche 34. Des exemples aussi caractéristiques de l'influence du bas-Empire sur la technique musulmane sont rares: ils ne peuvent se trouver que dans des peintures du commencement du XI[e] siècle, ou dans des illustrations copiées, sans aucun intermédiaire, directement, sur des œuvres de cette époque, ou enfin dans des copies, faites à une date plus tardive, d'originaux byzantins, comme cela est le cas pour ces anges. Mais il existe dans les tableaux des manuscrits musulmans, arabes ou iraniens, qu'ils aient été illustrés à Baghdad, à Tabriz, à Hérat, bien d'autres souvenirs de cette emprise classique sur l'art de l'Islam; les deux Victoires ailées, au fronton des arcs de triomphe de la Ville Éternelle, par exemple, qui se retrouvent à Hérat, dans la seconde moitié du XV[e] siècle, dans le procédé des écoles behzadiennes, qu'Arnold a prises pour un thème manichéen (sic), comme si les Manichéens, dans l'Asie antérieure, avaient jamais fait autre chose que copier le modèle classique (Bulletin de la Société française de reproduction de manuscrits à peintures, 1926, page 18), parce qu'un artiste grec, Botros-Pierre, les a sculptées, au VII[e] siècle, sur un monument élevé par Khosrau Parwiz, presque sur la frontière qui séparait ses domaines de l'Empire romain. Les artistes musulmans, aux XII[e]— XIII[e] siècles, s'écartèrent progressivement de la manière grecque, exactement comme le fit Cimabuë en la même période, vers 1260, car, d'après le cardinal Bottari: «egli fù il primo che si scostò della greca maniera, o che almeno si scostò più degli altri», beaucoup plus que ce Giunta de Pise (vers 1210), dont Angeli a dit: Juncta Pisanus, ruditer Graecis instructus, primus ex Italis artem apprehendit, ce qui montre bien que les premiers maîtres des peintres italiens furent des artistes venus de l'empire byzantin, car il faut bien admettre qu'Angeli et Bottari savaient mieux que nous ce qui se passait en Italie à leur époque.

[5]) Il n'y eut aucune pénétration de la Chine en Perse avant 1230—1310; encore fut-elle extrêmement superficielle, et le fait du snobisme de quelques amateurs; en réalité, on n'aura jamais une certitude matérielle sur la date à laquelle ces peintures ont été exécutées, puisqu'elles ont été arrachées à un livre dont le colophon a disparu; il est, au premier chef, anti-scientifique d'opposer des pièces qui ne sont pas datables, dont on ne peut dire où elles ont été exécutées, en leur assignant une date et une provenance de fantaisie, à des pièces datées, pour les déprécier, et pour étayer des théories intéressées; je ne sais d'ailleurs si l'auteur sait bien ce qu'il veut; il a, en 1920, porté un coup mortel à la

Les Persans donnent le nom de kâr-i tchînî «manière chinoise» aux enluminures antérieures au début du XVI[e] siècle, et à toutes les œuvres qui, en son commencement, furent inspirées par la méthode du XV[e], d'où est née la théorie de l'origine chinoise de la peinture persane. J'ai insisté sur ce fait[6] qu'il ne faut pas attribuer à cette expression une valeur absolue, et prétendre que les Persans entendent parler d'un genre qui rappelle celui des tableaux peints sur soie dans le Céleste Empire,[7] qu'ils ignorent absolument; j'ai soutenu que ce terme de «style chinois» a été inventé au XVII[e] siècle, ou même plus tard, à Isfahan, par antiphrase, par opposition avec une autre expression, celle de kâr-i abbâssî «style abbassi», laquelle désigne une manière beaucoup plus moderne, et tire son nom de celui du roi Shah Abbas I[er] (1587—1629), sous la souveraineté duquel elle atteignit son apogée, ou peut-être de celui de Shah Abbas II (1642—1667).

Cette hypothèse était audacieuse, car je n'avais rencontré cette expression dans aucun texte, et je ne l'avais jamais entendu formuler; ce qui ne l'empêchait point d'être exacte, car je l'ai trouvée, employée vers 1800, dans la notice, rédigée en Perse, par un amateur persan, de très belles enluminures du commencement d'un Livre des Rois, enluminé vers 1645, à Isfahan,[8] pour le roi Solaïman; elle indique que ces quelques feuillets sont ornés de peintures dans le «style abbassi» amal-i abbâssî,[9] et de deux peintures, qui sont l'œuvre de Mohammad Zaman; ces tableaux sont un exemple splendide de la technique d'Isfahan, au milieu du XVII[e] siècle, le seizième recopiant un tableau florentin du commencement de ce siècle; la formule de ces belles compositions, qui ont été exécutées dans l'atelier de Mohammad Zaman, est essentiellement différente de celle des peintures que les amateurs persans qualifient de «style chinois» kâr-i tchînî.

Il est possible que cette expression de «style chinois»[10] kâr-i tchînî ait pris

---

théorie de l'origine chinoise de la peinture persane, et détruit le principal argument de ses partisans, en démontrant que le peintre chinois Goung, qui serait venu du Céleste Empire, pour enseigner les secrets de son art aux Persans, est une invention funambulesque et à peine croyable de Huart et de Martin; ce prétendu peintre chinois est tout simplement un Turk oriental, qui apprit des Persans l'art de l'enluminure, (sur cette erreur insensée de Clément Huart, voir le n° de janvier 1930 de la Revue Critique d'histoire et de littérature).

[6]) Les Peintures des manuscrits orientaux de la Bibliothèque nationale, Paris, 1914—1920, page 191.

[7]) Cette expression de «style chinois» n'a pas plus de valeur que celle de «style gothique» appliqué sous Louis XV aux œuvres du moyen âge français ou italien, laquelle ne signifie nullement que l'écriture dite «gothique» a été inventée par les Goths de Théodoric, que les cathédrales prétendues «gothiques» sont des œuvres germaniques, alors que l'on sait d'une manière certaine qu'elles sont un opus francigenum.

[8]) Ces peintures font partie de la collection de M. Chester Beatty de Londres.

[9]) Dans amal-i abbâssî, amal est la traduction arabe du persan kâr, dans kâr-i tchînî «style chinois»; amal-i abbâssî est donc rigoureusement synonyme de kâr-i abbâssî «style abbassi», dont j'ai supposé l'existence.

[10]) Le fait est très vraisemblable, car le cliché du «salon de peinture de la Chine» se lit dans des vers du Parterre de roses de Sadi, en même temps que celui de l'album de Mani, où ils sont une imitation servile des clichés d'Anwari ou de Khaghani, et rien de plus; il faut être bien illettré dans l'Iran pour ne pas avoir lu le chef-d'œuvre de Sadi; les personnes qui, sous le règne de Shah Abbas I[er], et plus tard, s'intéressaient à la peinture persane en savaient la moitié par cœur. Rien ne dit que ce terme de «manière chinoise» kâr-i tchînî ne soit une réminiscence, mieux encore l'héritage

naissance dans l'esprit des Persans, au XVII[e] siècle, sous l'influence d'un cliché dont tous les poètes anciens ont fatigué leurs lecteurs, celui de la galerie, du musée de tableaux de la Chine, dont ils parlent sans les avoir jamais vus, sans jamais avoir prétendu que ces pièces hypothétiques aient eu la moindre influence sur l'art persan, qu'ils dédaignaient. Il se peut aussi qu'il faille l'entendre dans un sens beaucoup plus simple: les Persans, les Musulmans, en général, à toutes les époques, sauf à la

lointain d'une expression ancienne; il garde le souvenir d'un fait réel: en 920, des ambassadeurs chinois s'en vinrent à Boukhara et amenèrent, au prince samanide qui y régnait, une fille, ou une prétendue fille du souverain du Céleste Empire, lequel recherchait l'alliance de l'Iran oriental, ou plutôt le considérait comme l'une de ses dominions; des peintres chinois étaient attachés à cette mission, ou quelques-uns de ses membres savaient peindre; ils enluminèrent un livre persan à Boukhara, sans doute un livre du prince samanide; les gens du pays n'avaient jamais rien vu de semblable; ils furent transportés d'enthousiasme; au début du X[e] siècle, la peinture était sévèrement prohibée dans tout l'Islam; l'enluminure du livre fut considérée, non sans logique, comme une spécialité chinoise, puisque rien de pareil n'existait dans l'Iran; il est très probable que ce terme de «manière chinoise» kâr-i tchînî fut inventé à cette date; il ne paraît pas dans les vers des poètes persans anciens, qui célébrèrent ces merveilles sous une forme plus majestueuse: celle du salon de peintures de la Chine, et du miraculeux album du peintre Mani, qui venait du Céleste Empire, ce qui, comme je l'ai expliqué dans le Bulletin de 1926, page 18, doit être pris dans le sens, exactement inverse, de Mani le Byzantin, ou, tout au moins, de Mani le Syrien, travaillant d'après les normes byzantines. Ce salon de peintures de la Chine, dans les vers des anciens poètes de l'Iran, n'a rien à voir avec celui dont il est parlé dans les Mille et une nuits, tantôt comme une fantaisie du khalife Haroun al-Rashid, tantôt comme celle de son épouse Zobaïda; il est dit formellement dans les Mille et une nuits que cette galerie contenait des tableaux exécutés par des artistes iraniens, que le Commandeur des Croyants avait fait venir de Perse; le fait est impossible vers 790; à cette date, il n'y avait pas de peinture dans l'Islam, pas plus en Perse qu'à Baghdad; cette mention reporte aux toutes dernières années du XIV[e] siècle, en lesquelles les Mille et une nuits, au Caire, furent mises sous leur forme actuelle; elle est curieuse, car elle montre que, si on ne les imitait guère en Egypte, on y connaissait parfaitement l'habileté des artistes de Tabriz ou de Shiraz. Les poètes des XI[e]—XIII[e] siècles, en Perse, répétèrent l'enthousiasme de leurs prédécesseurs, en recopiant leurs termes, sans savoir au juste ce qu'ils signifiaient; la poésie lyrique persane est faite de répétitions et de réminiscences; l'expérience de Boukhara n'eut pas de lendemain, et elle n'en pouvait avoir; si des peintres chinois sont venus dans l'Iran à des dates postérieures, ce fut à l'époque mongole, vers 1300, et uniquement en cette période; mais ils vinrent à Tabriz, dans l'Occident de la Perse, où se trouvait la capitale des Mongols, où ils pouvaient employer leurs talents, et non à Hérat, en Orient; jamais des peintres chinois ne sont venus à Hérat, dans le Khorasan. Je sais mieux que personne (Introduction à l'histoire des Mongols, Leyde, 1910, pages 242—269) que des missions chinoises sont venues de Pékin à Hérat, au XV[e] siècle, sous les Timourides, puis dans la Transoxiane, sous les Shaïbanides; mais, ce qui est non moins certain, c'est que nous ne possédons aucune œuvre qui ait été peinte par un Chinois à Hérat, pas plus d'ailleurs qu'à Samarkand ou à Boukhara, mais uniquement des copies, ou mieux des imitations, et encore en très petit nombre, quoiqu'on en ait dit, par les artistes persans de Tabriz, venus à Hérat, pour gagner leur pain, des imitations de dessins chinois sur soie, que ces missions, et surtout le négoce, apportaient dans les domaines du prince timouride. La chose est d'importance; une technique ne se crée pas par l'imitation d'un style étranger; c'est un fait dont conviendra toute personne qui a passé six mois chez un peintre pour apprendre le métier, l'opinion des autres n'ayant pas l'ombre d'importance; jamais, par ce procédé mécanique, l'on ne retrouverait les tours de main, les trucs, les ficelles, qui sont une partie essentielle de la manière; Raphaël, Michel-Ange, Léonard, qui furent des géants, eurent des maîtres; ils ne se firent pas d'eux-mêmes; l'autodidactisme est impossible dans la technique de l'art; il est possible, jusqu'à un certain point, dans certains domaines, parce qu'il existe des livres, qui valent souvent mieux que de mauvais maîtres; mais comment saurait-on codifier dans une langue quelconque le procédé des arts plastiques, sans un exemple tangible et matériel? La technique ne peut naître en dehors de l'enseignement immédiat, en l'espèce en des leçons données aux élèves des écoles de la Perse orientale par des

fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, à Tabriz, avec Rashid ad-Din, ont parlé de la Chine d'une manière qui montre qu'iis l'ignoraient absolument, qu'ils ne savaient même pas où elle est située, qu'ils la faisaient commencer derrière l'Oxus, à Kaboul, dans les contrées du Khorasan, qui sont un Iran sauvage, essentiellement différent de la Perse occidentale.[11] La très grande majorité de ces peintures antérieures au XVIe siècle, dans lesquelles ils reconnaissaient avec raison des œuvres tout-à-fait différentes du «style abbassi», avaient été exécutées à Hérat, au XVe siècle, à Boukhara, dans la première moitié du XVIe; ils ne les distinguaient pas des enluminures de l'époque mongole, qui avaient vu le jour à Tabriz, entre 1260 et 1310, ni de celles, bien antérieures, qui remontaient à la période saldjoukide; ces pièces étaient rares; un grand nombre des tableaux de l'époque saldjoukide avait péri dans le saccage auquel les Mongols s'étaient livrés dans l'Iran, et l'art, sous le règne des descendants de Tchinkkiz Khan, n'avait fleuri que durant quelques années de la fin du XIIIe et du commencement du XIVe; les Persans, sous la souveraineté de Shah Abbas, ne prêtaient aucune attention à la peinture; ils lui préféraient de beaucoup la calligraphie; ils s'inquiétèrent peu de discriminer entre ces œuvres anciennes, et cette confusion fut évidemment favorisée par cette circonstance que l'époque timouride, au XVe siècle, vit une surproduction d'œuvres d'art, qui noya tout le reste.

La comparaison des enluminures exécutées dans les écoles occidentales, au XIVe siècle, avec les tableaux peints dans les ateliers orientaux, au XVe, montre que le canon iconographique de Hérat est le même que celui de Tabriz, que ce sont les cartons de Tabriz, de 1310, qui ont été utilisés à Hérat pour l'illustration des livres comme les cartons de Hérat, à Boukhara, au XVIe; il serait aussi facile que fastidieux de citer les compositions de Hérat, au XVe siècle, qui recopient textuellement les enluminures peintes à Tabriz, vers 1310, pour illustrer les œuvres de Rashid ad-Din.

---

maîtres venus du Céleste Empire; en admettant que le cas se soit présenté une fois ou deux, au XVe siècle, grâce à ces ambassades, il ne s'est certainement pas renouvelé souvent. Je sais bien qu'un peintre persan, nommé Moïn, de la seconde moitié du XVIIe siècle, se prétend le disciple de Riza-i Abbassi, qu'il ne connut pas, et dont il imite la technique, si piteusement d'ailleurs que je l'ai pris, par erreur, pour un méchant copiste turc, parce que plusieurs de ses œuvres sont mélangées, dans un recueil qui appartient à la Bibliothèque nationale, à des peintures exécutées à Constantinople. Mais le cas est tout différent: Moïn apprit les éléments de son métier d'un maître très médiocre, de l'infériorité duquel il se rendit compte, ce qui lui inspira l'idée d'imiter la technique de Riza-i Abbassi, qui fut le coryphée des artistes du début du XVIIe siècle, ce en quoi il réussit assez mal.

11) Et le fait continue; en 1908, l'ambassadeur de Moulay Hafidh, alors sultan du Maroc, qui était un personnage très lettré, s'en vint à la Bibliothèque nationale, pour y consulter des ouvrages de rhétorique arabe; il savait que l'empire germanique était sur les marches de la France, mais ses connaissances n'allaient pas plus loin, car il me demanda si la Chine en était très distante; en fait, entre la Germanie et le Céleste Empire, il n'y avait que la monarchie des tsars, dont il n'avait jamais entendu parler, par conséquent rien; il faut transposer cette naïveté; les Persans d'Isfahan, qui, au XVIIe siècle, ou à une date quelconque, inventèrent le terme de «manière chinoise», croyaient de bonne foi que la Chine était à Samarkand ou à Boukhara; ils ne se trompaient pas autant qu'on pourrait le croire; au moyen âge, l'aire de l'influence chinoise s'étendait jusqu'à l'Oxus; avant l'Islam, celle de l'Inde bouddhiste, que les Musulmans confondent absolument avec la Chine, arrivait jusqu'à Bactres, jusqu'à Kaboul, jusqu'à Hérat, et encore bien plus à l'Ouest; toutes ces contrées étaient de la mauvaise Perse, ou plutôt du mauvais Iran; elles l'avaient toujours été; le Zend Avesta les traite de pays d'infidèles, et les accuse de toutes les turpitudes; la Perse, pour les Iraniens, non sans raison, était la Perside, la Médie, l'Hyrcanie; le reste étant plus ou moins un hinterland suspect de la Chine.

Que la méthode de Hérat, au XV[e] siècle, soit née du procédé des ateliers de l'Occident de la Perse, que le célèbre Behzad, le coryphée des écoles de Hérat, et ses élèves, aient créé le genre behzadien du style de Shiraz et d'Isfahan, c'est ce que montrent les illustrations d'un livre, enluminé à Isfahan pour le prince timouride Mirza Iskandar, lequel régna dans cette ville de 1410 à 1415. Et cela seul suffirait à ruiner la théorie qui veut à toute force reconnaître une influence chinoise dans les peintures de l'Iran oriental, laquelle est d'ailleurs suffisamment infirmée par les différences essentielles qui séparent la palette persane de celle des Célestes[12]; mais il est facile d'administrer la preuve directe que les cartons de Hérat sont ceux mêmes de Tabriz, aux XIII[e]—XIV[e] siècles, copiés sur ceux des écoles mésopotamiennes des XII[e]—XIII[e] siècles; le fait est tangible; il m'avait échappé jusqu'au jour où j'examinai de très près, pour la faire reproduire en couleurs, une peinture exécutée à Hérat, vers 1526, qui est l'un des chefs-d'œuvre des écoles dites behzadiennes; je m'aperçus que, dans les figures des personnages qui portent la barbe, à l'exclusion de ceux qui ont seulement la moustache, il existe une demi-teinte formellement indiquée aux endroits où la barbe va commencer; cette teinte est très délicate; elle est intermédiaire entre la couleur rose de la peau et la couleur noire de la barbe; de plus, dans quelques-uns de ces visages, la saillie de la pommette est indiquée par une très légère touche de couleur rose,[13] exactement dans la technique des peintures du livre persan enluminé

---

[12]) Ces peintures des écoles orientales, qui auraient évolué sous l'influence de la technique chinoise, qui est une manière presque monochrome, à nuances sombres, sont infiniment plus riches en couleurs variées que les tableaux des écoles occidentales, qui ont évolué sous l'emprise du bas-Empire, dont la palette était extrêmement rutilante; d'où il serait, en apparence, plus logique, tout au moins, moins ridicule, d'inverser les termes de la proposition, d'admettre une influence chinoise sur la peinture de Tabriz, dans l'Ouest, et une influence occidentale sur la technique de Hérat; ce sont là des vérités évidentes pour qui sait tenir un pinceau et faire une palette; elles échappent manifestement à toute personne qui ignore l'un et l'autre; je ne comprends pas par quelle aberration M. Arménag Beg Sakisian peut attribuer une origine chinoise aux peintures de Hérat, qui sont aussi vivement éclairées, aussi riches en couleurs, dans des nuances diaprées, que les tableaux de Fra Angelico, dans une technique éclatante, qui est aux antipodes de celle du Céleste Empire, presque monochrome, sombre et pâle; je ne comprends pas davantage comment l'auteur, et les manuels dont il s'inspire, peuvent parler d'influence chinoise dans des œuvres d'art qui abusent du fond d'or, autant que les maîtres toscans du Quattrocento; le fond d'or apparaît timidement, sous l'influence byzantine, dans l'Ouest, vers 1200, très timidement; il rutile à Hérat, sur les frontières de l'Asie Centrale, puis à Boukhara, aux XV[e]—XVI[e] siècles, sous l'influence directe des Primitifs italiens, que les missionnaires chrétiens et les peintres toscans apportaient dans ces contrées sauvages.

[13]) Cette touche est particulièrement visible sur la photographie de ces pièces, parce que le rose vient en noir plein et fait une tache caractéristique.

[14]) Les personnes qui soutiennent la thèse de l'origine chinoise de la peinture persane seraient bien incapables d'expliquer pourquoi il y a infiniment plus d'éléments d'origine chinoise dans les peintures exécutées aux XII[e]—XIV[e] siècles, dans la Perse occidentale, que dans celles qui ont vu le jour en son Orient au XV[e]; je ne parle naturellement, pour éviter toute chicane, que des compositions qui décorent des livres de l'origine occidentale desquels, pour des raisons paléographiques qui ne sont pas du ressort des marchands, occidentaux ou orientaux, on est absolument sûr: le Livre des Rois de M. Chester Beatty, l'histoire de Tabari de M. Kévorkian, les manuscrits de la chronique de Rashid ad-Din, le Livre des Rois de M. Demotte; c'est par suite d'une erreur inconcevable, comme je l'ai exposé dans la Revue Rupam, de janvier 1930, que Migeon, qui ne savait même pas lire, a attribué ce manuscrit à Samarkand. Qu'il y ait infiniment plus d'éléments qui rappellent la Chine dans ces peintures que dans celles datées de Hérat, au XV[e], c'est un fait certain; j'ajouterai même que c'est tout

en 1272, à Césarée de Cappadoce, d'après un modèle byzantin, dont il a été question plus haut; ces deux particularités sont un moyen de marquer les modalités de l'éclairement des visages; il est caractéristique de l'art du bas-Empire, qui le tient de Rome; il est absolument contraire aux idiosyncrasies de la technique chinoise,[14] qui n'indique pas, pour des raisons que j'ai longuement discutées autre part ces variations de l'éclairement, lesquelles reviennent, en fait, à tenir compte des ombres, dont les hommes de l'Extrême Orient ont une horreur instinctive.

E. Blochet.

Paris.

au plus si, dans les tableaux que M. Arménag Beg Sakisian attribue, sans raison, à une province orientale de l'Iran, au XII^e siècle, il existe un motif, qui rappelle réellement un thème familier aux artistes chinois, un cerisier en fleurs; mais un cerisier en fleurs est un cerisier en fleurs; l'idéal de l'artiste, qu'il travaille n'importe où, est de reproduire son modèle jusqu'à l'illusion; des cerisiers en fleurs parfaitement copiés se ressembleront sous tous les méridiens; il y a un axiome géométrique, suivant lequel deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. Ce qui est encore plus important, c'est que les éléments d'origine chinoise, à Hérat, au XV^e siècle, sont une simple imitation des mêmes éléments dans les peintures de Tabriz, aux XIII^e—XIV^e siècles, sauf un ou deux exemples, sur lesquels je crois inutile d'insister, la chose étant sans importance. C'est en vain que l'on chercherait dans les peintures de la seconde moitié du XV^e siècle, de l'époque behzadienne, les armures chinoises, le fatras militaire de l'époque des Thang et des Soung, dont sont accoutrés les guerriers du Livre des Rois de M. Chester Beatty, de l'histoire de Tabari de M. Kévorkian, des manuscrits de Rashid ad-Din, les trônes chinois, et tous les ustensiles que les Turcs saldjoukides, puis les Mongols, avaient apportés de leur Asie Centrale, où ils se déguisaient en Chinois, tout attirail qui avait depuis longtemps passé de mode à l'époque des Timourides, à la fin du XV^e siècle, et dont il ne subsistait même pas le souvenir. Si l'influence du Céleste Empire, à Hérat, vers 1490, avait été aussi grande qu'on veut bien le dire; si elle avait eu assez d'importance pour codifier les normes de la manière persane; s'il y avait eu, dans la capitale du Khorasan, tant d'objets chinois, il n'y a aucun doute que les peintres des écoles behzadiennes les auraient figurés, par exotisme, dans leurs compositions, alors qu'il n'en existe pas l'image d'un seul; parce que Akbar, vers 1590, possédait dans son palais quelques douzaines de potiches Ming de la période tching-hoa, les artistes qui ont enluminé son exemplaire de l'Akbar-nama les ont reproduites à satiété dans nombre de ses tableaux.

ОТНОШЕНІЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА ВЪ ВИЗАНТІИ

(Докладъ, прочитанный на V Съѣздѣ Русскихъ Ученыхъ въ Софіи)

Вопросъ объ отношеніи церкви и государства въ Византіи разрѣшается обычно, особенно въ западной наукѣ, въ томъ смыслѣ, что византійская церковь полагается лишь составной частью византійскаго государства, всецѣло подчиненной волѣ главы свѣтской власти.[1] Это предполагаемое отношеніе опредѣляется словомъ „цезарепапизмъ", каковое слово должно характеризовать то обстоятельство, что византійскій императоръ будто бы являлся одновременно главой и государства и церкви. Нѣкоторыми изслѣдователями — особенно русскими[2] — противъ этого воззрѣнія выдвигались возраженія, но вопросъ не былъ поставленъ съ достаточной широтой, а главное не былъ разсмотрѣнъ въ надлежащей исторической перспективѣ. Противъ приводимыхъ одними изслѣдователями свидѣтельствъ, дѣйствительно достаточно краснорѣчиво рисующихъ подчиненное положеніе византійской церкви, выдвигались другія свидѣтельства, столь же краснорѣчиво говорящія о свободѣ и неподвластности византійской церкви главѣ византійскаго государства. Создавалось противорѣчіе, которое и оставалось неразрѣшеннымъ; общей и убѣдительной картины не получалось, не получалось же ея потому, что моментъ историческаго развитія слишкомъ мало принимался во вниманіе какъ при разсмотрѣніи судебъ византійскаго міра вообще, такъ и при попыткахъ разрѣшить данный вопросъ въ частности. Недостаточно учитывалось не только различіе значенія и вѣса отдѣльныхъ свидѣтельствъ, но и различіе времени.

Такъ теорія „цезарепапизма", все еще несомнѣнно господствующая въ наукѣ византиновѣдѣнія, грѣшитъ тѣмъ, что извѣстные факты, сообщаемые законо-

[1]) Перечислить всѣхъ авторовъ, придерживающихся этого воззрѣнія, невозможно. Назову только наиболѣе авторитетныхъ и яркихъ представителей этого взгляда: H. Gelzer, Das Verhältnis von Staat und Kirche in Byzanz, Hist. Ztschr. 86 (1901) 193 sq.; J. B. Bury, The constitution of the Later Roman Empire, Cambridge 1910; L. Bréhier et P. Batiffol, Les survivances du culte impérial romain, Paris 1920. Сюда же относятся и почти всѣ изслѣдователи церковнаго права и историки церкви. Однако встрѣчаются и исключенія, напримѣръ: F. Kattenbusch, Lehrbuch der vergleichenden Konfessionskunde. 1892, стр. 379.

[2]) Напр. В. Болотовъ, Лекціи по исторіи древне-христ. церкви, т. III, С. Петербургъ 1913. В. В. Сокольскій, О характерѣ и значеніи Эпанагоги (Виз. Врем. I [1894]). Г. В. Вернадскій, Византійскія ученія о власти царя и патріарха (Recueil-Kondakov, Prague 1926, стр. 143 сл.) и Die kirchlich-politische Lehre des Epanagoge (Byz.-neugr. Jahrb. VI, 1928, 119 sq.).

дательными актами Юстиніана или еще болѣе ранними документами, она считаетъ присущими византійскому церковно-государственному организму во всѣ времена тысячелѣтняго его бытія. Какъ будто не стало давно и всѣмъ извѣстно, что выращенное въ эпоху просвѣщенства представленіе о тысячелѣтнемъ единообразіи, тысячелѣтнемъ застоѣ и окостенѣніи византійской имперіи есть легенда, порожденная неспособнымъ къ историческому мышленію вѣкомъ. Какъ будто не знаемъ мы, сколь, напротивъ, разнообразны и перемѣнчивы были пути византійской имперіи, черезъ какія глубокія преобразованія и превращенія эта имперія прошла, не разъ совершенно обновляясь и перестраиваясь. Поэтому необходимо строго различать отдѣльныя эпохи византійской исторіи, привлекая свидѣтельства различныхъ временъ и понимая ихъ въ ихъ исторической обусловленности.

Византійскій государственный строй не былъ созданъ самой христіанской Византіей. Онъ былъ созданъ, во первыхъ и прежде всего, римскимъ императоромъ-язычникомъ Діоклетіаномъ, а во вторыхъ, Константиномъ Великимъ, стоящимъ на рубежѣ между старымъ и новымъ Римомъ, между язычествомъ и христіанствомъ. Это обстоятельство опредѣлило судьбу Византіи. По своему государственному сознанію византійцы навсегда остались римлянами; римлянами именовали они себя съ гордостью еще въ XV в., наканунѣ паденія имперіи, да иного наименованія для себя и не знали. Но по духу они были, и чѣмъ дальше, тѣмъ все болѣе, греками, — греками, а вмѣстѣ съ тѣмъ и прежде всего — христіанами. Перенесенная въ сферу иной культуры, римская государственная форма послужила сосудомъ для греко-христіанскаго духа. И основнымъ для историка Византіи является вопросъ: какъ этотъ греко-христіанскій духъ жилъ и развивался въ римской формѣ, насколько онъ съумѣлъ себѣ эту форму подчинить и насколько самъ ей подчинялся и къ ней примѣнялся. Разсматривая исторію взаимоотношеній византійской свѣтской власти и церкви, мы останавливаемся лишь на одномъ моментѣ этого вопроса, но моментѣ весьма существенномъ.

Не менѣе чѣмъ византійскій народъ, а то и болѣе, ощущали себя римлянами византійскіе императоры, — наслѣдниками и преемниками императоровъ древняго Рима, вплоть до Августа. Съ римской государственной формой они переняли и всѣ прерогативы и аттрибуты императорской власти древняго Рима. Но къ этимъ прерогативамъ принадлежала и прерогатива первосвященства. Императоръ — не только верховный судья и полководецъ, онъ и Pontifex Maximus; религіозная жизнь подданныхъ, какъ часть публичнаго права, ему подвластна. Въ древнемъ Римѣ, гдѣ государственной религіей являлся культъ генія божественнаго императора, это было вполнѣ естественно. Въ христіанской Византіи такое положеніе, казалось-бы, было немыслимо. Дальнѣйшее развитіе и доказало его невозможность, но прошло не мало времени прежде чѣмъ новый духъ прорвалъ путы старыхъ традицій.

Самый титулъ „Pontifex Maximus“ былъ отмѣненъ лишь черезъ полъ столѣтія послѣ христіанизаціи имперіи,[3] а пережитки представленій о первосвященническомъ характерѣ царской власти наблюдаются и дальше. Еще на соборахъ V

[3]) Эдиктомъ императора Гратіана отъ 375 г.

и VI в. императора встрѣчаютъ возгласами „βασιλεὺς καὶ ἱερεύς“. До VII вѣка включительно императоры сплошь не только созываютъ соборы, но и руководятъ ими въ качествѣ ихъ предсѣдателей. Такъ не только церковное управленіе, но и самое вѣроученіе находится подъ сильнѣйшимъ воздѣйствіемъ свѣтской власти.

Константинъ Великій созвалъ въ 325 г. I Вселенскій соборъ въ Никеѣ, онъ руководилъ его работами, онъ (въ то время еще язычникъ!) подсказалъ рѣшающую догматическую формулу, слово ὁμοούσιος — единосущный. Сынъ его, аріанствующій Констанцій, напрямикъ заявилъ, что его желанія должны для церкви имѣть каноническую силу.[4] Наряду съ формулой римскаго права: „Quod principi placuit, legis habet vigorem“ какъ бы устанавливалась параллельная ей формула: „Quod principi placuit, canonis habet vigorem“. О Ѳеодосіи Великомъ повѣствуется, что на II Вселенскомъ соборѣ онъ всѣ произведенія, вносящія раздѣленіе въ св. Троицѣ, вынеся имъ порицаніе, изорвалъ, содержащія же исповѣданіе единосущія съ похвалой принялъ.[5] Такъ глава свѣтской власти выступаетъ арбитромъ въ вопросахъ вѣры. И въ ранне-византійское время это явленіе отнюдь не рѣдкое: Зинонъ въ своемъ извѣстномъ „энотикѣ“ предписалъ своимъ подданнымъ, какъ имъ слѣдуетъ вѣрить. Ираклій обнародовалъ „уложеніе“ (ἔκθεσις), Константъ II „образецъ“ (τύπος) вѣры. Юстиніанъ издалъ эдиктъ съ десятью анаѳемами противъ Оригена; онъ, императоръ, осудилъ знаменитыя три главы.

Характерно, что именно Юстиніанъ, этотъ великій римлянинъ на византійскомъ престолѣ, такъ помыкалъ церковью, какъ не рѣшался этого дѣлать ни одинъ византійскій императоръ ни до, ни послѣ него. Подобно тому, какъ въ государственномъ механизмѣ онъ во все самъ входилъ и надъ всѣмъ неограниченно властвовалъ, Юстиніанъ стремился самовластно регулировать во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ и жизнь церковную. Страстный и одаренный богословъ, онъ желалъ быть одновременно и свѣтскимъ и духовнымъ законодателемъ. Но замѣчательно, что и сама церковь признавала царя-богослова своимъ руководителемъ. На помѣстномъ константинопольскомъ соборѣ 536 года тогдашній патріархъ заявилъ во всеуслышаніе, что помимо воли и повелѣнія императора въ церкви ничего не должно предприниматься.

Слѣдовательно указаніе, если и не на цезарепапизмъ,[6] то во всякомъ случаѣ на полное подчиненіе церкви государственной власти во времена Юстиніана правильно. Съ извѣстными оговорками оно правильно и примѣнительно ко всему ранне-византійскому времени. Но совершенно неправильно видѣть въ этомъ явленіи нѣчто специфически византійское, присущее лишь православному Во-

---

[4]) Athanas. Hist. Arian. c. 33.

[5]) Socrates, Hist. eccl. V, 10.

[6]) О цезарепапизмѣ можно было бы говорить только въ томъ случаѣ, если бы вся полнота церковной власти находилась въ рукахъ главы власти гражданской, если бы императоръ дѣйствительно являлся главой церкви. Ничего подобнаго, конечно, здѣсь не было, поскольку императоръ не имѣлъ ни права ученія, ни тѣмъ болѣе права священства и рукоположенія, а, слѣдовательно, разговоръ о цезарепапизмѣ приходится считать простымъ недоразумѣніемъ. Вопросъ можетъ ставиться только о мѣрѣ фактическаго подчиненія церкви государственной власти.

стоку. Такой великій западный іерархъ, какъ папа Левъ I, руководство церковью не только считалъ правомъ императора, но и вмѣнялъ императору въ прямую обязанность. „Ты долженъ" — такъ писалъ онъ императору Льву — „непрестанно памятовать о томъ, что царская власть вручена тебѣ не только для управленія міромъ, но и въ особенности для руководства церковью". (Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam).[7]

Значитъ, это воззрѣніе не восточное, а попросту свойственное данному времени, и основывается оно не на византійскихъ, а на античноримскихъ представленіяхъ. Въ ту эпоху оно было присуще какъ Востоку, такъ и Западу; въ средніе вѣка оно теряетъ свою силу какъ на Западѣ, такъ и въ Византіи. И важно, что теряетъ оно свою силу на Востокѣ въ той самой мѣрѣ, въ какой византійскія начала здѣсь торжествуютъ надъ римскими.

Но даже и въ ранне-византійскую эпоху неоднократно раздаются на Востокѣ протесты противъ того, чтобы религіозная жизнь считалась простою частью жизни государственной, подвластной императору. Великіе отцы церкви древнехристіанскаго періода — Аѳанасій Великій,[8] Іоаннъ Златоустъ[9] и мн. др. — уже требуютъ яснаго разграниченія между сферами свѣтской и духовной власти, выступая глашатаями новой и незнакомой античному міру идеи автономности религіозной стихіи.

Подлиннымъ же борцомъ за эту идею былъ Отецъ церкви VII в., св. Максимъ Исповѣдникъ. Съ чрезвычайной рѣзкостью возстаетъ онъ противъ вмѣшательства свѣтской власти въ вопросы вѣры; прямо и рѣшительно выдвигаетъ онъ то положеніе, что императоръ не изобрѣтать долженъ догматы, въ которыхъ онъ, какъ міряннинъ, въ сущности, ничего не смыслитъ, а лишь защищать и оберегать существующее, въ нѣдрахъ церкви сложившееся православіе. На возраженіе противниковъ: Развѣ христіаннѣйшій императоръ не имѣетъ достоинства священства? — Максимъ Исповѣдникъ безъ обиняковъ отвѣчаетъ: „Нѣтъ! Ибо онъ не предстоитъ предъ алтаремъ и послѣ благословенія не подымаетъ св. даровъ, восклицая: Святая Святымъ; не совершаетъ таинства крещенія, не елеосвѣщаетъ, не рукополагаетъ и не поставляетъ епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ"[10] и т. д. и т. д., нанизывая примѣръ за примѣромъ, ведетъ Максимъ Исповѣдникъ нить доказательствъ въ пользу своего основного положенія, что императоръ всего только міряннинъ и, слѣдовательно, въ церковныхъ дѣлахъ авторитета не имѣетъ.

Фигура Максима Исповѣдника, открывающая новую эпоху въ православномъ богословіи, знаменуетъ и церковно-политически нѣкій поворотный пунктъ въ исторіи византійской церкви. Именно въ VII в., когда, благодаря великому имп. Ираклію и его преемникамъ, имперія кореннымъ образомъ перестраивается и для Византіи наступаетъ государственно и культурно новая эра, новая эра наступаетъ и въ отношеніяхъ византійскихъ церкви и государства. Типичный

---

[7]) Mansi VI, 325.

[8]) Athanas. Hist. Arian. c. 51 et 52. Migne, Patr. Gr. 25, 756.

[9]) Chrysost., Hom. V., Migne, Patr. Gr. 56, 130.

[10]) Acta Maximi, Mansi XI, 6.

представитель своего времени, св. Максимъ Исповѣдникъ является какъ бы воплощеніемъ нарождающагося византійскаго средневѣковья.

Однако, въ слѣдующемъ VIII в. наблюдается со стороны императорской власти сильная реакція, желаніе въ принципѣ возстановить прежнее положеніе. Еще разъ пытаются императоры-иконоборцы наложить на церковь государственныя оковы, стремясь насильственно искоренить принятое церковью почитаніе иконъ. И опять желаетъ Левъ III именоваться царемъ и первосвященникомъ.[11] Но противодѣйствіе, которое онъ и его послѣдователи встрѣтили, показало, что императоры эти не учли и не дооцѣнили силу своихъ противниковъ, — представителей новой, средневѣковой церковной идеологіи.

Всѣ дошедшія до насъ произведенія защитниковъ преслѣдуемаго свѣтской властью иконопочитанія нарочито настаиваютъ на томъ, что вѣроученіе есть дѣло церкви и церковной іерархіи, императоръ же не имѣетъ права что-либо мѣнять въ церковныхъ установленіяхъ и долженъ безоговорочно подчиняться имъ, какъ и всякій другой христіанинъ.

„Царямъ надлежитъ управлять государствомъ. Церковное же управленіе находится въ вѣдѣніи пастырей и учителей. Всякое вмѣшательство есть разбой".

Такъ говоритъ Іоаннъ Дамаскинъ.[12] А у Θеодора Студита[13] читаемъ:

„Церковные вопросы должны передаваться на разрѣшеніе собора іерарховъ, царю же ввѣрено управленіе внѣшними дѣлами. Они (іерархи) рѣшаютъ все, что касается догматовъ и вѣры. Ты же (такъ обращается Θеодоръ къ имп. Льву V) долженъ слушаться ихъ и никоимъ образомъ не посягать на ихъ санъ."

Эти свидѣтельства привожу лишь какъ примѣръ заостренности мысли и тона. Изъ твореній Дамаскина и Студита, а равно и изъ писаній ихъ единомышленниковъ, можно было бы привести сколько угодно подобныхъ изреченій. Такъ думали всѣ иконопочитатели той эпохи. Духъ, который ими руководилъ, не сломить было мѣрами внѣшняго насилія. И разгорѣвшаяся изъ-за иконопочитанія борьба завершилась великой побѣдой византійской церкви.[14]

---

[11]) „Βασιλεὺς καὶ ἱερεύς εἰμί" писалъ Левъ III папѣ Григорію II, какъ то видно изъ отвѣтнаго письма папы къ императору, Mansi XII, 975. Сомнѣваться въ подлинности дошедшихъ до насъ въ греческомъ переводѣ писемъ Григорія II къ Льву III нѣтъ основанія, ср. G. Ostrogorsky, Les débuts de la Querelle des Images (Mélanges Ch. Diehl, 1930, p. 244 sq.).

[12]) Migne, Patr. Gr. 94, 1296.

[13]) Theod. Stud. Vita, Migne, Patr. Gr. 99, 184.

[14]) K. Schwarzlose, Der Bilderstreit, ein Kampf der Griechischen Kirche um ihre Eigenart und um ihre Freiheit (Gotha 1890) заканчиваетъ свое изслѣдованіе такимъ заключеніемъ: »Unter den Bildern kämpfte sie (sc. die griechische Kirche) um ihre Eigenart und um ihre Freiheit. Im Kampfe um die Freiheit unterlag sie... ihre Eigenart wahrte und rettete sie...« и даже: »Gerade weil die griechische Kirche ihre eigenartige Religiosität rettete, büßte sie ihre Freiheit für immer ein.« Всѣ эти утвержденія Шварцлозе самъ выписываетъ курсивомъ, какъ свои главныя заключенія. Но на чемъ основываются эти столь категорическія утвержденія о потерѣ греческой церковью въ результатѣ борьбы за иконы своей свободы, рѣшительно ни изъ чего не видно. Шварцлозе даже не задается вопросомъ, каково было отношеніе церкви и государства въ Византіи послѣ иконоборческаго періода, онъ просто почтительнѣйше присоединяется къ формуламъ своего учителя Гарнака, усвоеннымъ имъ уже въ заглавіи своего изслѣдованія. H. Gelzer накидываетъ еще нѣсколько дѣсятилѣтій и относитъ (op. cit. 239) „окончательное пораженіе идеи свободы церкви въ восточной имперіи" къ... эпохѣ Фотія; и, раз-

Съ окончаніемъ иконоборчества миновали наиболѣе тяжкія распри въ нѣдрахъ византійской церкви, а шедшая параллельно этимъ распрямъ тяжба церкви со свѣтской властью привела въ конечномъ итогѣ къ соотношенію, рѣзко отличному отъ характернаго для ранне-византійскаго періода положенія. Вмѣсто подчиненія церкви государству устанавливается извѣстное равенство и равновѣсіе между обоими началами, нѣкая діархія константинопольскихъ императора и патріарха.

Для того, чтобы исторически уразумѣть, какъ такое положеніе могло установиться, нужно еще разъ оглянуться назадъ и прослѣдить длительное и постепенное восхожденіе константинопольскаго патріархата. Когда Константинъ Великій перенесъ государственный центръ на берега Босфора, ядро будущей столицы имперіи, греческая колонія Византіонъ, была незамѣтнымъ и неважнымъ въ церковномъ отношеніи городкомъ Гераклейской епархіи. Молодой градъ Константина вступаетъ въ соревнованіе съ религіозными центрами Запада и Востока, славными великими церковными традиціями. Константинополь никакихъ церковныхъ трацицій не имѣетъ, но изъ политическаго его призванія смѣнить и замѣнить старый Римъ вытекаетъ и призваніе религіозное, — и пядь за пядью онъ завоевываетъ себѣ искомое положеніе. На II Вселенскомъ соборѣ, полъ вѣка съ небольшимъ послѣ градооснованія, Константинополь объявленъ первымъ по достоинству престоломъ послѣ Рима, ибо онъ есть Новый Римъ (3-ій канонъ). Послѣ побѣды Константинопольскаго патріархата надъ Александрійскимъ, дотолѣ значительно болѣе могущественнымъ и авторитетнымъ, на Халкидонскомъ соборѣ это постановленіе подтверждается, при чемъ рѣчь уже идетъ о равенствѣ чести (ἴσα πρεσβεῖα) стараго и новаго Рима (28-ой канонъ), а значеніе этого постановленія еще углубляется тѣмъ, что константинопольскій патріархъ признается верховнымъ судіей во всѣхъ возникающихъ въ восточныхъ митрополіяхъ распряхъ (9-ый канонъ, ср. также 17-ый канонъ). Съ VI вѣка константинопольскій патріархъ начинаетъ именоваться вселенскимъ, чтó Римомъ воспринимается какъ прямой вызовъ.

Да и катастрофа, постигшая византійскую имперію въ VII вѣкѣ, константинопольскому патріархату послужила только на пользу и поспособствовала его дальнѣйшему восхожденію: арабское нашествіе затопило Египетъ, Палестину и Сирію; тѣ области, въ которыхъ находились три восточныхъ патріархата, христіанскимъ міромъ были утеряны. Отнынѣ патріархъ константинопольскій не имѣлъ въ имперіи соперниковъ. А съ другой стороны растетъ, и именно съ VII вѣка сильно ускоряясь, отчужденіе между Византіей и латинскимъ Западомъ вообще, а Римомъ въ частности. За иконоборческій періодъ эта намѣчающаяся пропасть

сказавъ далѣе о столкновеніи патріарха Николая Мистика съ Львомъ VI и о соборномъ постановленіи 920 г., восклицаетъ: »ein letzter, aber gewaltiger Sieg der Kirche über den Staat«. Но почему же, спроситъ изумленный читатель: »ein letzter« ? Просто потому, что Гельцеръ не пожелалъ серьезно заняться дальнѣйшимъ развитіемъ этого вопроса. Въ дѣйствительности ни о какой утерѣ независимости византійской церковью не можетъ быть рѣчи; развитіе идетъ не отъ какой-то первоначальной свободы къ закабаленію, а какъ разъ наоборотъ: отъ естественнаго въ римскомъ государствѣ подчиненія церкви государству къ все возрастающей независимости и естественному увеличенію удѣльнаго вѣса церкви въ средневѣковомъ мірѣ. Никакой принципіальной разницы въ этомъ отношеніи между Востокомъ и Западомъ не наблюдается.

еще расширяется, а въ итогѣ дальнѣйшихъ событій становится окончательно непереходимой.

То пятиглавое церковное водительство, которое какъ идеалъ выставляетъ еще Θеодоръ Студитъ,[15] въ дѣйствительности давно уже отошло въ область преданія; средневѣковая византійская церковь имѣла только одного руководителя: патріарха константинопольскаго, который въ той же мѣрѣ являлся средоточіемъ всей церковной, какъ императоръ средоточіемъ всей государственной жизни.

Въ то время, какъ авторитетъ константинопольскаго патріархата все возросталъ, авторитетъ императора, по мѣрѣ созрѣванія специфически средневѣковаго міроощущенія, какъ мы уже видѣли, изъ церковной сферы все болѣе и болѣе вытѣснялся. Рѣшающимъ моментомъ при этомъ былъ свѣтскій характеръ императорской власти, на который настойчиво указывали уже древне-христіанскіе отцы церкви, особенно же Максимъ Исповѣдникъ. Отсутствіе священническаго сана заводило церковныя притязанія главы государства въ тупикъ. Правда, византійскій василевсъ извѣстнымъ образомъ выдѣлялся изъ числа прочихъ мірянъ. Такъ, въ день коронаціи, послѣ совершеннаго надъ нимъ религіознаго обряда вѣнчанія (позднѣе — вѣнчанія и помазанія), онъ принималъ причастіе не съ мірянами, но съ клиромъ — въ алтарѣ и изъ чаши. Онъ могъ входить въ алтарь, куда міряне доступа не имѣли; во время великаго входа онъ имѣлъ право нести свѣчу передъ св. дарами, иногда императоръ несъ свѣчу и на маломъ входѣ передъ евангеліемъ. Но этимъ и исчерпывались церковныя функціи василевса. При этомъ онъ имѣлъ извѣстный церковно-служебный чинъ, но, какъ сообщаютъ византійскіе писатели, всего на всего чинъ депутата. О высотѣ этого чина мы обладаемъ достаточно ясными свѣдѣніями. Псевдо-Кодинъ сообщаетъ списокъ церковно-служебныхъ чиновъ, состоящій изъ 45 ступеней: депутатъ стоитъ на 44-омъ, т. е. предпослѣднемъ мѣстѣ. Что при такихъ обстоятельствахъ императоръ никакъ не могъ почитаться главой церкви, разумѣется само собой. Формула „царь и первосвященникъ" оказывалась абсурдной, объединеніе этихъ двухъ функцій въ одномъ лицѣ немыслимымъ. Византійскій церковно-государственный организмъ требовалъ раздѣльнаго возглавленія двумя лицами, царемъ и патріархомъ.

Такой порядокъ и установился въ средневѣковой Византіи. Наиболѣе полное выраженіе онъ нашелъ въ знаменитомъ законодательномъ памятникѣ конца IX в., — Эпанагогѣ. Царство и священство здѣсь опредѣляются по аналогіи къ человѣческому организму, состоящему изъ тѣла и души. Въ рядѣ выдержанныхъ параллельно параграфовъ перечисляются обязанности, задачи и права свѣтскаго и духовнаго правителя, при чемъ нарочито подчеркивается, что, подобно тому какъ интерпретація гражданскихъ законовъ является прерогативой императора, объяснять догматы, ученія отцовъ церкви и постановленія соборовъ призванъ только патріархъ; императоръ же долженъ лишь охранять существующее православіе.

Резюмируются эти разсужденія слѣдующимъ образомъ: „Человѣческое общество („жительство", по выраженію славянскаго перевода) составляется изъ частей и членовъ, подобно отдѣльному человѣку. Величайшія и необходимѣйшія части — царь и патріархъ. Поэтому душевный и тѣлесный миръ и благоденствіе под-

---

[15]) Ep. II, 129 ad Sacellarium Leonem, Migne, Patr. Gr. 99, 1416 sq.

данныхъ зависитъ отъ единомыслія и согласія во всемъ царства и священства."[16]

Таково ученіе о царствѣ и священствѣ Эпанагоги, оффиціальнаго свода законовъ могущественнѣйшей византійской династіи.[17] Эпанагога устанавливаетъ равенство между главой свѣтской и духовной власти, независимое другъ отъ друга, но параллельное и солидарное ихъ дѣйствіе. Ни государство церкви, ни церковь государству не подчинены. На ученіе Эпанагоги, конечно, уже давно было обращено вниманіе, и тѣ изслѣдователи, которые возражали противъ теоріи о византійскомъ „цезарепапизмѣ", естественнымъ образомъ ссылались въ первую голову именно на Эпанагогу. Послѣднимъ, и особенно настойчиво, указывалъ на устанавливаемую въ Эпанагогѣ „діархію" царя и патріарха — Г. В. Вернадскій. Но поскольку прекрасная краткая статья Г. В. Вернадскаго,[18] изъ которой я лично почерпалъ больше чѣмъ изъ какого бы то ни было другого изслѣдованія даннаго вопроса, не разсматривала проблемы въ историческомъ аспектѣ, лишь бѣгло касаясь предшествующаго идеямъ Эпанагоги развитія и совсѣмъ почти не касаясь вопроса о дальнѣйшемъ вліяніи ученія Эпанагоги,[19] она не могла не вызвать нѣкоторыхъ недоумѣній и возраженій. Возражая Г. В. Вернадскому, извѣстный славистъ Г. Ф. Шмидъ указывалъ, что на основаніи одной Эпанагоги нельзя дѣлать заключеній ни о характерѣ взаимоотношеній византійской свѣтской и духовной власти, ни даже о господствовавшихъ по этому поводу въ Византіи воззрѣніяхъ.[20] Отнюдь не впервые, но особенно настойчиво, Г. Ф. Шмидомъ выдвигается вопросъ, не явилось ли ученіе Эпанагоги всего только эпизодомъ въ многовѣковомъ развитіи Византіи.

Въ противовѣсъ этому — вполнѣ законному — вопросу и необходимо особенно подчеркнуть, что діархическое ученіе Эпанагоги отнюдь не было въ Византіи чѣмъ-то единичнымъ, эпизодическимъ, что оно имѣло свою подготовительную исторію въ предшествующемъ и длительное дѣйствіе въ послѣдующемъ времени, т. е. явилось звеномъ опредѣленнаго и при томъ длительнаго развитія. Не осталось оно и простой теоріей, но явилось (хотя и довольно сильно идеализированнымъ) отраженіемъ фактическаго взаимоотношенія свѣтской и духовной власти въ средневѣковой Византіи. И именно въ силу всего этого ученіе Эпанагоги о царствѣ и священствѣ представляется исторически чрезвычайно важнымъ.

О предшествовавшемъ развитіи мы уже говорили: ученіе Эпанагоги было въ высокой степени подготовлено тѣми церковно-политическими идеями, которыя воодушевляли во время борьбы за иконопочитаніе всю православную партію; совершенно аналогичныя высказаннымъ въ Эпанагогѣ воззрѣніямъ находимъ, напримѣръ, и въ посланіи, съ которымъ восточные патріархи обратились къ патріарху Тарасію по случаю созыва VII Вс. Собора въ 787 году. Здѣсь читаемъ,

---

[16]) Epanagoge, tit. III, cap. VIII. Τῆς πολιτείας ἐκ μερῶν καὶ μορίων ἀναλόγως τῷ ἀνθρώπῳ συνισταμένης, τὰ μέγιστα καὶ ἀναγκαιότατα μέρη βασιλεύς ἐστι καὶ πατριάρχης. Διὸ καὶ ἡ κατὰ ψυχὴν καὶ σῶμα τῶν ὑπηκόων εἰρήνη καὶ εὐδαιμονία βασιλείας καὶ ἀρχιεροσύνης ἐν πᾶσιν ὁμοφροσύνῃ καὶ συμφωνία.

[17]) Ср. В. В. Сокольскій, ук. соч.

[18]) См. указ. соч. въ Сборникѣ памяти Н. П. Кондакова.

[19]) Къ этому вопросу, однако, Г. В. Вернадскій вернулся въ своей послѣдующей статьѣ, напечатанной въ Byz.-neugr. Jahrb. VI (1928).

[20]) H. F. Schmid въ Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Kan. Abt. XII (1927), стр. 530 и сл.

между прочимъ, слѣдующее: „Священство освящаетъ царство, а царство даетъ силу священству. Объ этомъ нѣкій мудрый государь и благочестивый императоръ сказалъ: Величайшіе дары, которыми Богъ удостоилъ человѣчество, суть священство и царство, изъ коихъ одно управляетъ дѣлами небесными, а другое, при помощи справедливыхъ законовъ, правитъ земными дѣлами. Нынѣ (т. е. послѣ побѣды надъ иконоборствомъ) духовная и свѣтская власть находятся опять въ счастливомъ единеніи и мы, которые доселѣ были всѣмъ сосѣдямъ нашимъ въ посмѣяніе, возрадуемся.“ [21]

Эти слова восточныхъ іерарховъ относятся еще къ VIII вѣку. Однако теорія діархіи и еще значительно старше; она выношена тѣмъ условно названнымъ мною средневѣковымъ міросозерцаніемъ, зачатки коего относятся къ первымъ вѣкамъ христіанства и совершенно ясны уже въ твореніяхъ отцовъ древнехристіанской церкви. Отсюда проникла она еще въ ранне-византійское время въ свѣтское законодательство. Тотъ мудрый государь, на котораго ссылается цитированное посланіе восточныхъ патріарховъ, никто иной, какъ императоръ Юстиніанъ, а слова, въ немъ приведенныя, какъ бы они Юстиніаномъ ни толковались, находятся въ предисловіи къ VI новеллѣ этого императора. Ученіе Эпанагоги о царствѣ и священствѣ явилось неизбѣжнымъ результатомъ постепенно нарождавшейся въ Византіи средневѣковой церковно-политической идеологіи.

Съ другой стороны, въ послѣдующее время ученіе Эпанагоги имѣло вліяніе и дѣйствіе исключительное. Оно глубоко внѣдрилось въ византійское сознаніе. Патріархи ссылались на него при столкновеніяхъ со свѣтской властью постоянно. Но и сами цари его исповѣдывали.

Такъ одинъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ византійскихъ императоровъ X в., Іоаннъ Цимисхій, въ дошедшей до насъ рѣчи говорилъ своимъ подданнымъ: „Въ жизни сей я знаю власть двоякаго рода: священство и царство; первому Творецъ міра ввѣрилъ заботу о душахъ, второму — управленіе плотью; если обѣ части не терпятъ ущерба, то и въ мірѣ царитъ благоденствіе.“ [22]

Конечно, дѣйствительность часто не отвѣчала идеалу. „Одна изъ частей“ нерѣдко ущербъ терпѣла. Византійская исторія богата повѣствованіями о столкновеніяхъ свѣтской и духовной власти, о насильническихъ удаленіяхъ патріарховъ съ законнаго престола. Но было бы легкомысленно отсюда дѣлать заключенія о наличіи „цезарепапизма“. Во-первыхъ, не всегда даже (хотя и въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ) при такихъ столкновеніяхъ побѣда оставалась за императоромъ. Во-вторыхъ, сила не всегда рѣшала дѣло: несомнѣнно, что въ спорѣ

---

[21]) Mansi XII, 1130.

[22]) Leo Diaconus, p. 101 sq. — Сходныя мысли находимъ и въ новеллахъ цѣлаго ряда императоровъ XI—XII в.: въ новеллѣ Никифора Ватаніата отъ 1080 г. (Zachariae, Jus III, 338), Алексѣя Комнина отъ 1107 г. (ib. 413), Мануила Комнина отъ 1145 или 1160 или 1175 г. (ib. 501, ср. F. Dölger, Regesten II, № 1341), а также въ письмѣ Іоанна Комнина къ папѣ Гонорію II (Sp. Lambros, Νέος Ἑλληνομνήμων XI, 1904, p. 109). Поэтому эту „діархическую“ струю въ церковно-политической мысли византійскаго средневѣковья слѣдуетъ признать господствующей, значительно болѣе сильной и жизненной, чѣмъ струю, представляемую Вальсамономъ или Димитріемъ Хоматиномъ, по ученію которыхъ власть императора и въ церкви неограничена. Это лишь отголоски старыхъ и отжившихъ представленій.

по поводу четвертаго брака имп. Льва VI моральная побѣда всецѣло осталась на сторонѣ патріарха Николая Мистика, хотя онъ и былъ путемъ насилія свергнутъ съ престола. Требованія Николая Мистика, кстати сказать, убѣжденнаго защитника идеи діархіи,[23] и по сейчасъ являются обязательными для всего православнаго міра, и самъ патріархъ былъ возстановленъ въ своемъ санѣ. Главное же, что насильственныя смѣщенія патріарховъ свѣтской властью и т. п. въ Византіи и воспринимались всегда какъ незаконное насиліе, какъ злоупотребленіе властью и нарушеніе ея законныхъ границъ. Я же въ этомъ докладѣ намѣренно ограничиваюсь изображеніемъ общаго и нормальнаго положенія, оставляя въ сторонѣ частные и анормальные случаи.

Важно, что съ IX—X вѣка между верховной свѣтской и духовной властью фактически устанавливается нѣкій параллелизмъ, охватывающій наимельчайшія подробности. Государственному централизму соотвѣтствуетъ централизмъ церковнаго строя и управленія въ константинопольской епархіи. Какъ при императорѣ существуетъ сенатъ, такъ при патріархѣ — синодъ, давно уже ставшій постояннымъ учрежденіемъ. Какъ императору, такъ и патріарху подчиненъ цѣлый рядъ канцелярій и чиновниковъ, при помощи коихъ патріархъ управляетъ своей епархіей, и которые частично носятъ тѣ же титулы, что̀ чиновники императорскіе. Наконецъ, патріархъ имѣетъ свой дворъ, во всемъ подобный императорскому.

Этотъ параллелизмъ, это уравненіе верховной свѣтской и духовной власти никоимъ образомъ не означало отдѣленія церковной сферы отъ государственной. Подобная идея была совершенно чужда Византіи. Напротивъ, идеаломъ Византіи былъ тѣсный и нерушимый союзъ между царствомъ и священствомъ, соединеніе и сліяніе православнаго государства съ православной церковью подъ водительствомъ православныхъ императора и патріарха константинопольскихъ.[24] Этотъ идеалъ въ значительной мѣрѣ и осуществлялся жизнью, хотя и не безъ перебоевъ. Церковное значеніе императора заключалось, конечно, не въ тѣхъ пустяковыхъ церковныхъ функціяхъ, которыя онъ, какъ мы видѣли, могъ отправлять при богослуженіи, и не въ томъ давленіи, которое онъ могъ отъ времени до времени оказывать на церковныя дѣла, вообще не въ томъ, что онъ дѣлалъ въ самой церкви, а въ томъ, что, стоя вовнѣ, онъ, какъ православный государь, являлся общепризнаннымъ защитникомъ церкви, и что эта миссія была возложена на него самимъ Всевышнимъ, поскольку власть его отъ Бога.

Императоръ является защитникомъ церкви, а патріархъ совѣтникомъ императора. Сотрудничество же византійскихъ церкви и государства, сотрудничество тѣсное и постоянное, диктовалось прямыми интересами обѣихъ сторонъ. Государство преслѣдовало еретиковъ какъ государственныхъ преступниковъ, а церковь анаѳематствовала бунтовщиковъ.[25] Того, кто противился православному государю, церковь карала отлученіемъ; того, кто не подчинялся православной церкви, отвергало и государство.

Для уясненія интересующаго насъ вопроса слѣдуетъ хоть вкратцѣ остановиться на исторіи коронованія византійскихъ императоровъ. И тутъ мы наблюдаемъ ту

[23]) Cp. Sp. Lambros, Die Abdankungsurkunde des Patriarchen Nikolaos Mystikos, Byz. Z. I (1892) 551.
[24]) Это совершенно правильно настойчиво подчеркиваетъ Г. В. Вернадскій, ук. соч.
[25]) Ср. синодальное постановленіе 1026 г. (Zachariae, Jus III, 320).

же эволюцію. Первоначально вѣнчаніе на царствоноситъ чисто свѣтскій характеръ, церковь въ немъ не участвуетъ. Но, начиная съ середины V в., обрядъ вѣнчанія неизмѣнно совершается константинопольскимъ патріархомъ[26] (стоитъ отмѣтить, что при этомъ патріархъ никогда не преклонялъ колѣна передъ императоромъ, какъ это сдѣлалъ папа Левъ III послѣ коронаціи Карла Великаго). Первоначально церковное вѣнчаніе на царство въ Византіи было актомъ чисто формальнымъ, механически слѣдующимъ за провозглашеніемъ императора сенатомъ или войскомъ и народомъ. Но постепенно оно получило значеніе церковнаго утвержденія и несовершеніе его ставило императора въ трудное положеніе.[27] Такъ что если императоръ имѣлъ возможность оказывать сильнѣйшее вліяніе на замѣщеніе патріаршаго престола, то и патріарху при коронованіи императора принадлежало отнюдь не послѣднее слово.

При возведеніи на престолъ необходимымъ условіемъ было правовѣріе императора. Постепенно устанавливается обычай, чтобы императоръ передъ вѣнчаніемъ давалъ письменное завѣреніе, что будетъ неизмѣнно придерживаться православной вѣры, не пытаясь въ чемъ либо измѣнить церковныя установленія.[28] Въ нѣкоторыхъ случаяхъ патріархъ могъ поставить коронацію въ зависимость отъ выполненія императоромъ извѣстныхъ условій.

Когда Іоаннъ Цимисхій, будучи провозглашенъ императоромъ, направился для вѣнчанія въ св. Софію, патріархъ Поліевктъ просто на-просто не впустилъ императора въ храмъ, считая способъ, какимъ Цимисхій достигъ престола, преступнымъ. Императоръ долженъ былъ подчиниться, пойти на всѣ требованія патріарха, согласиться на отбываніе наложеннаго на него покаянія. Лишь послѣ этого ему былъ дозволенъ входъ въ церковь (тѣмъ временемъ прошло 15 дней), лишь послѣ этого былъ совершенъ надъ нимъ обрядъ вѣнчанія.

Эта византійская Каносса имѣла не малыя послѣдствія. Въ XI в. видимъ дальнѣйшее увеличеніе силы и независимости церкви; выборы патріарховъ и епископовъ происходятъ зачастую при строжайшемъ соблюденіи установленнаго выборнаго порядка.[29] А отмѣна тѣхъ законодательныхъ актовъ императора Никифора Фоки, которыми возбранялось основаніе новыхъ монастырей и затруднялось увеличеніе церковныхъ землевладѣній, укрѣпило церковь экономически.[30] Снова движимыя и недвижимыя богатства широкимъ потокомъ устремляются

---

[26]) Первое въ исторіи церковное вѣнчаніе на царство было произведено въ 450 г. патріархомъ Анатоліемъ надъ императоромъ Маркіаномъ (ср. W. Sickel, Das byzantinische Krönungsrecht bis zum 10. Jahrh. Byz. Z. VII, 1898, стр. 517—518 и 539—540), т. е. за годъ до Халкидонскаго собора, столь поспособствовавшаго возвышенію константинопольскаго патріархата. На чемъ основано убѣжденіе Sickel'a, что патріархи, коронуя императоровъ, дѣйствовали не какъ представители церкви, а какъ представители государства, остается совершенно неяснымъ.

[27]) См., напримѣръ, разсказанный ниже случай съ Іоанномъ Цимисхіемъ. G. Schlumberger, L'épopée byzantine I, 13 изъ этого случая справедливо заключаетъ, что смѣна правленія «ne prît le caractère de la légalité qu' après avoir été solennellement consacré par l'église».

[28]) W. Sickel, указ. соч. стр. 523 и 547.

[29]) Ср. И. Соколовъ. Выборы патріарховъ въ Византіи съ середины IX до середины XV в. С.-Петербургъ 1907.

[30]) Новелла Никифора Фоки 964 г. (Zachariae, Jus III 292) была отмѣнена Василіемъ II въ 988 г. (ib. p. 303). Ср. чрезвычайно характерную мотивировку этой послѣдней мѣры въ указ. новеллѣ.

въ церковь. Въ эпоху Комниновъ, и особенно во времена имп. Мануила, церковное и монастырское землевладѣніе сверхъ того, какъ изъ рога изобилія, осыпается различными привиллегіями и иммунитетными правами. Могущество церкви подкрѣпляется необычайно стойкимъ ея хозяйственнымъ фундаментомъ.

Если для послѣднихъ вѣковъ византійской имперіи строгая централизація церковнаго управленія не столь характерна, какъ для періода средневѣковаго расцвѣта, то и въ этомъ только отражаются общія судьбы Византіи. Въ цѣломъ же, удѣльный вѣсъ церкви въ Византіи продолжаетъ неизмѣнно расти. Эпоха Палеологовъ являетъ все усиливающееся оцерковленіе византійской жизни. А съ побѣдой исихастскаго движенія въ XIV в. и монашество достигло апогея своего могущества.

Наслѣдница римской имперіи, Византія исходитъ изъ государственныхъ идей древняго Рима. Характерной чертой ранне-византійскаго времени, которое съ тѣмъ же правомъ можетъ быть называемо и временемъ поздне-римскимъ, является поглощеніе церковной жизни государствомъ, прямо вытекающее изъ римскихъ традицій. Верховный представитель церкви, патріархъ, заслоняется фигурой императора. Однако незнакомая античному міру, но необходимо вытекающая изъ самыхъ основъ христіанства идея автономности церковной жизни постепенно пробивается наружу. Средневѣковая Византія являетъ существенно иной строй отношеній между церковью и государствомъ. Фигуры императора Ираклія и патріарха Сергія, стоящія на порогѣ византійскаго средневѣковья, имѣютъ прямо-таки символическое значеніе, знаменуя нарожденіе этого новаго строя. Пройдя сквозь бури иконоборчества, новый строй отношеній между государствомъ и церковью въ IX—X в. окончательно выкристаллизовывается. Устанавливается равенство и равновѣсіе верховной государственной и верховной церковной власти. Несліянно сливаясь въ единое государственно-церковное тѣло, Византія возглавляется и руководится нераздѣльно православнымъ царемъ и православнымъ патріархомъ.[81]

Георгій Острогорскій

[81]) Пренія по моему настоящему докладу выяснили, что новѣйшія археологическія изслѣдованія всецѣло подкрѣпляютъ выводы, сдѣланные мною на основаніи изученія историческаго матеріала. Мой покойный другъ, Н. М. Бѣляевъ, указалъ, что въ искусствѣ средневѣковой Византіи идеи царства и священства олицетворялись въ образахъ Моисея и Аарона, тогда какъ въ ранне-византійскую эпоху обѣ идеи представлялись объединенно въ образѣ Мельхиседека, и что поворотнымъ въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ считать именно VII вѣкъ.

DAS VERHÄLTNIS VON STAAT UND KIRCHE IN BYZANZ

von

GEORG OSTROGORSKY

Die alte und vollkommen unhistorische Vorstellung von einer tausendjährigen entwicklungslosen Stagnation des byzantinischen Reiches scheint in einem Punkt noch heute nachzuleben, denn heute noch ist der Satz von einer restlosen und zu allen Zeiten der byzantinischen Geschichte bestehenden Unterordnung der Kirche unter den Staat den meisten eine unumstößliche Wahrheit. Demgegenüber wird der Historiker, dem nicht unbekannt ist, welche tiefgreifende Umbildungen das byzantinische Reich im Laufe seiner Entwicklung auf allen Lebensgebieten durchgemacht hat, auch in dieser Frage scharf zwischen den einzelnen Epochen unterscheiden und die Gültigkeit des obigen Satzes im wesentlichen auf die frühbyzantinische Zeit beschränken müssen.

Das byzantinische Reich entsteht aus dem Zusammenwirken sehr heterogener Faktoren; hieraus ergibt sich die Heterogenität der die Geschicke dieses Reiches bestimmenden Tendenzen: ein ausgesprochen römisches Staatsbewußtsein verbindet sich mit einer das Staatsleben immer stärker durchdringenden griechisch-christlichen Kultur und einer neuen christlichen Gesinnung.

Sofern das christliche Byzanz eine direkte Fortsetzung des heidnischen Imperium Romanum bildete und die byzantinischen Herrscher sich als direkte Erben der Kaiser von Altrom betrachteten, war das Nachleben altrömischer Staatsideen zumal in frühester Zeit eine Selbstverständlichkeit. Zu dem römischen Erbe gehörte u. a. auch die Vorstellung, daß der Kaiser über die Religion seiner Untertanen als einen Teil des ius publicum zu verfügen hat; diese Vorstellung geriet zwar sofort in Konflikt mit der neuen christlichen Gesinnung, war aber zu stark in der Vergangenheit verankert, um nicht längere Zeit — obwohl in abgeschwächter Form — auch in dem christlichen Byzanz zu triumphieren. Daß sie triumphierte, beweist nebst vielem anderen die Rolle Konstantins d. Gr. auf dem Konzil von Nicaea oder die Theodosius' d. Gr. auf dem Konzil von Konstantinopel, das herrische Eingreifen in die kirchlichen Angelegenheiten des Constantius, das religiöse Dekretieren der Kaiser Zeno, Heraclius, Constans' II., die Verdammung der drei Kapitel durch Justinian. Es ist bezeichnend, daß gerade Justinian, der größte Römer auf dem byzantinischen Thron, wie kein anderer christlicher Kaiser die Kirche beherrschte, und noch wichtiger ist es, daß die Kirche selbst diesen Kaiser als ihren Leiter anerkannte. So wird nicht nur die Kirchenverwaltung, sondern auch der Glaube von den weltlichen Herrschern aufs tiefste beeinflußt.

Es ist also richtig, von einer Unterordnung der Kirche unter den Staat in frühbyzantinischer Zeit zu sprechen. Es ist aber falsch, hierin etwas spezifisch byzantinisches, östliches zu sehen. Ein westlicher Kirchenfürst und zwar kein geringerer als Papst Leo I. betrachtete — gleich anderen Päpsten dieser Zeit — die Leitung der Kirche als eine direkte Pflicht des Kaisers (Mansi VI, 325). Diese Auffassung ist also nicht eine östliche, sondern einfach eine jener Zeit angemessene und weniger eine byzantinische als eine antik-römische. In jener Zeit ist sie sowohl im Westen wie auch im Osten verbreitet, im Mittelalter schwindet sie sowohl in Byzanz wie im Abendlande. Und zwar schwindet sie im Osten in dem Maße, wie der Byzantinismus über den Romanismus siegt.

Selbst in der frühesten Zeit machen sich schon in Byzanz starke Widersprüche gegen die religiöse Omnipotenz des Kaisers geltend. Die großen Kirchenväter der altchristlichen Zeit — Athanasius von Alexandria, Johannes Chrysostomus — vertreten bereits die ausgesprochen unantike Idee einer Autonomie der religiösen Lebenssphäre und möchten den Klerus und das Laientum als zwei abgesonderte Welten betrachtet wissen. Der eigentliche Träger dieser Idee ist aber Maximus Confessor, der unter Hinweis auf den profanen Charakter der kaiserlichen Gewalt sich gegen die kaiserlichen Eingriffe in die Glaubenssachen mit unerhörter Schärfe auflehnt. Im 7. Jahrhundert, in derselben Zeit also, in welcher der byzantinische Staat in völligem Umbau begriffen ist und das Reich auch kulturell ein neues Gepräge erhält, gewinnt auch die Kirche in Byzanz ein größeres Gewicht. Eine noch viel rigoristischere Haltung als Maximus Confessor nehmen die Verteidiger der Bilderverehrung im 8. und 9. Jahrhundert ein, als die bilderstürmenden Kaiser darauf ausgehen, der Kirche wieder staatliche Fesseln aufzulegen. Der Kampf um die Bilder ist zugleich auch ein kirchenpolitischer Kampf und er schließt mit der völligen Niederlage der kaiserlichen Politik. Das ist der eine Grund dafür, daß an die Stelle der frühbyzantinischen Unterordnung des ganzen staatlich-religiösen Wesens unter den Willen des weltlichen Herrschers im mittelalterlichen Byzanz eine Dyarchie des Kaisers und des Patriarchen von

Konstantinopel tritt, wie sie zum erstenmal schon im 7. Jahrhundert sich in den Gestalten des Heraclius und des Sergius personifiziert. Der andere Grund hierfür liegt in dem allmählichen, aber unaufhaltsamen Aufstieg des Patriarchats von Konstantinopel im Laufe der vorangehenden Jahrhunderte. Die wichtigsten Etappen dieses Aufstiegs sind: das Konzil von Konstantinopel (381), das Konzil von Chalcedon (451), dann vor allem der Verlust der orientalischen Patriarchate an die Araber und die immer wachsende Entfremdung zwischen Byzanz und Rom. Der Patriarch von Konstantinopel steht nun ebenso konkurrenzlos im Brennpunkt des gesamten geistlichen Lebens des Reiches, wie der Basileus von Konstantinopel von jeher im Brennpunkt des gesamten staatlichen Lebens gestanden hat. Dieser Aufstieg des Patriarchats von Konstantinopel fällt zeitlich zusammen mit der Verdrängung des Kaisertums aus der kirchlichen Sphäre, die sich mit dem Heranreifen der spezifischen christlich-mittelalterlichen Gesinnung (Maximus Confessor, die Bilderverehrer!) vollzieht. Es liegt im Wesen der christlichen Kirche eine Trennung zwischen dem Klerus und dem Laientum und die Vorstellung von dem sakralen Charakter des in einer minutiös ausgearbeiteten Weise hierarchisch gegliederten und abgestuften Priesterstandes. In dieser vielstufigen Hierarchie fand der Kaiser keinen Platz. Das kirchliche Amt, das der Kaiser bei gewissen kirchlichen Zeremonien versorgen durfte, war das des Deputatus, d. i. nach der Rangliste der byzantinischen kirchlichen Dienstämter (Pseudo-Codinus), der 44ste und vorletzte Rang. Daß unter diesen Umständen der Kaiser unmöglich als oberhaupt der Kirche und der kirchlichen Hierarchie gelten konnte, ist klar. Die Vereinigung der obersten weltlichen und geistlichen Gewalt in einer Person führte angesichts der priesterlichen Impotenz des weltlichen Fürsten in eine Sackgasse. Der byzantinische kirchlich-staatliche Organismus erforderte zwei gesonderte Leiter, und dahin hat die Entwicklung auch geführt. Ihren vollkommensten Ausdruck findet die Gestaltung des kirchlich-staatlichen Wesens der mittelbyzantinischen Zeit in der Epanagoge, die im II. und III. Titel eine ausgesprochene Zweigewaltenlehre vorträgt. In der byzantinischen Geschichte ist die Zweigewaltenlehre der Epanagoge keineswegs — wie das häufig behauptet wird — eine bloße Episode geblieben, sie war vielmehr das notwendige Glied einer logischen Entwicklung, sie hat eine lange (oben angedeutete) Vorgeschichte und eine anhaltende Wirkung gehabt: die Kaiser selbst haben sich in der Folgezeit sehr häufig zu den Grundsätzen dieser Lehre bekannt, mit dem mächtigen Johannes Tzimisces an der Spitze (s. Leo Diaconus S. 101). Indessen bedeutete die hier angestrebte Parallelität und Gleichsetzung der beiden Gewalten nichts weniger als eine Trennung der kirchlichen und der weltlichen Sphären von einander. Nichts lag den Byzantinern ferner als das: was ihnen vielmehr als Ideal vorschwebte und auch weitgehend verwirklicht wurde, war ein enges, unzertrennliches Bündnis der beiden Gewalten, eine Zusammenschweißung des orthodoxen Staates und der orthodoxen Kirche zu einem kirchlich-staatlichen Organismus unter der Führung der orthodoxen Kaiser und Patriarchen von Konstantinopel. Der byzantinische Staat und die byzantinische Kirche arbeiteten Hand in Hand und leisteten einander Gegendienste: die Kirche belegte die Rebellen mit dem Anathem, der Staat behandelte die Häretiker als Verräter; wer sich der Staatsgewalt widersetze, wurde aus der Kirche ausgeschlossen, wer sich der Kirche nicht fügte, galt eo ipso dem Staat als Abtrünniger.

Wenn in späterer Zeit die straffe Zentralisation der Kirchenverwaltung — übrigens, ebenso wie die der Staatsverwaltung — erschlafft, so ist das allgemeine Schwergewicht der Kirche im byzantinischen Reiche nichtsdestoweniger dauernd im Steigen. Für das Komnenen- und namentlich für das Paläologenzeitalter ist eine immer stärker werdende Theokratisierung des Staatswesens charakteristisch. Mit dem Sieg im Hesychastenstreit war auch das griechische Mönchtum am Gipfel seiner Macht angelangt.

Ungemein charakteristisch ist in diesem Zusammenhang auch die Geschichte der Kaiserkrönung, denn sie zeigt ganz klar dieselbe Entwicklungslinie: ursprünglich eine rein profane Angelegenheit, an der die Kirche gänzlich unbeteiligt bleibt, werden Kaiserkrönungen seit der Mitte des 5. Jahrhunderts (zum erstenmal um die Zeit des Konzils von Chalcedon, das zur Machtsteigerung des Patriarchats von Konstantinopel so viel beigetragen hat!) regelmäßig durch den Patriarchen von Konstantinopel vollzogen; anfangs immer noch eine bloße Sache der Form, erhielt die Krönung durch den Patriarchen allmählich die Bedeutung einer kirchlichen Sanktion. Bei der Kreierung des Kaisers war seine Orthodoxie eine unbedingte Voraussetzung. Allmählich kam aber auch der Brauch auf, daß der Kaiser vor der Krönung ein Glaubensbekenntnis unterzeichnete nebst der Versprechung, an den kirchlichen Satzungen nichts zu ändern. Unter Umständen konnte der Patriarch die Kaiserkrönung von der Erfüllung gewisser Bedingungen abhängig machen (man braucht nur an das byzantinische Kanossa von 969 zu denken, mit dem die Regierung des großen Johannes Tzimisces beginnt).

APOLLONIOS VON TYANA UND PHILOSTRATOS[1]

§ 1.

Philostratos sagt selbst, daß ihn die Kaiserin Julia Domna, die zweite Gattin des L. Septimius Severus, zu deren Umgebung er gehörte, zur Herausgabe der Biographie des Apollonios von Tyana aufforderte.[2] Schon hieraus mußte sich eine tendenziöse Beeinflußung des Werkes ergeben: Denn Julia war Syrerin, eine Tochter des Sonnenpriesters Bassianus aus Emesa am Orontes (Höms),[3] und zugleich als solche für Philosophie, Theosophie und Mystik hervorragend eingenommen,[4] so daß Philostratos mit Bestimmtheit darauf rechnen konnte, daß eine Erhöhung des Syrers Apollonios zu einer Art Heidenheiland Julias Erwartungen entsprechen werde; denn auch die Gestalt des Christenheilands Jesu kann der religiös-mystisch interessierten Orientalin unmöglich unbekannt und gleichgültig geblieben sein. Die Kaiserin fühlte sich zu diesem Auftrag veranlaßt, als ihr eine Sammlung von Erzählungen und Berichten über Apollonios Geburt und Leben in die Hände geraten war, die ein gewisser Damis, angeblich in Ninive geboren, der treueste Anhänger des Apollonios und Begleiter auf seinen Reisen, verfaßt haben sollte; dieses Memoirenwerk, das jedenfalls griechisch und im Tone eines Volksbuches geschrieben war, dabei aber sehr weitschweifig gehalten,[5] soll die Kaiserin von einem Nachkommen jenes Damis erhalten haben. Da sie dem Philostratos befahl, dieses Werk »umzuschreiben«, so war damit jedenfalls zunächst nichts anderes gemeint, als es aus der gemeingriechischen Umgangssprache, aus der sogenannten Koine, in feines Attisch umzugießen, da die Umgangssprache in gebildeten und literarischen Kreisen für roh und bäuerisch galt; darauf verweist die Bemerkung des Philostratos, »daß der Stil des Damis schlecht gewesen sei«.[6] Nun ist es zwar nicht unwahrscheinlich, daß es wirklich einen Apolloniosjünger Damis gegeben hat und daß dieser Damis vielleicht auch das Leben und die Reisen seines Meisters in griechischer, vielleicht aber ursprünglich syrischer Sprache beschrieb, wovon gewiß bald griechische Übersetzungen angefertigt wurden; es kann aber auch sein, daß jenes Damisbuch nur auf den Namen jenes Apolloniosjüngers gefälscht wurde, um einem der Berichte, deren es hundert Jahre nach dem etwa 96 erfolgten Tode des

---

¹) Vgl. für den ganzen Artikel W. Schmid, Gesch. d. griech. Lit. 5 (1920) II 1, S. 379 ff, II 2 (1924), S. 776 ff u. J. Miller, Pauly-Wissowa, Realencyclop. d. class. Altertumsw. II (1895), Sp. 146 ff.

²) Vita Apoll. I, 3.

³) Hist. Aug., Sever. 3, 8; 5, 4; Geta 3, 1; Cassius Dio LXXV 15, 7.

⁴) Philostrat., Vit. soph. 622.

⁵) Vit. Apoll. I 19; VII 28.

⁶) Vit. Apoll. I 3.

Apollonios gewiß mehrere, sowohl in syrischer wie in griechischer Sprache gab, größere Glaubhaftigkeit zu verleihen. Mag also das Damisbuch der Julia Domna echt oder nur auf den Namen des Apolloniosjüngers gefälscht worden sein, immer bleibt die Frage offen, in welchem Ausmaße Philostratos bei der Abfassung seiner uns jetzt vorliegenden Apolloniosbiographie jenes Damisbuch als Quelle benutzte, d. h. ob er es ganz, ohne alle Auslassungen umarbeitete, oder ob er aus dem Damisbuche nur eine Auswahl traf, und endlich ob er nicht neben dem Damisbuche auch noch andere Quellen benutzte.[7] Die erste Frage wird sich, da wir das Damisbuch selbst nicht mehr besitzen, nicht einwandfrei erledigen lassen; denn obwohl Philostratos den Damis auch innerhalb seiner Arbeit hie und da zitiert,[8] läßt sich doch deshalb noch keineswegs behaupten, daß er das Damisbuch ganz, ohne jede Kürzung oder Auslassung, umgearbeitet habe. Bezüglich der zweiten Frage dagegen, ob nämlich Philostratos nicht auch noch andere Quellen neben dem Damisbuche benützte, lautet die Antwort entschieden; denn Philostratos selbst nennt als Quellenschriften, die er noch neben dem Damisbuche herangezogen hat, die Schrift des Maximos von Aigai und das ausführliche Werk des Moiragenes;[9] in der eigentlichen Biographie aber zitiert er dann den Maximos nur noch einmal,[10] den Moiragenes überhaupt nicht mehr, so daß wir also auch hier nur auf Vermutungen angewiesen sind, was von dem Erzählten diesen beiden Quellschriften entnommen ist. Bezüglich des Maximos wissen wir, daß er »ein glänzender Redner und kaiserlicher Sekretär«,[11] nur die Jugendgeschichte des Apollonios, d. h. sein Wirken in Aigai in Kilikien geschildert hat, vielleicht als Ergänzung zur umfassenden, die späteren Jahre des Wundermannes behandelnden Biographie des Moiragenes;[12] Moiragenes selbst ist sonst nicht weiter bekannt, könnte aber der Lebenszeit nach mit jenem Moiragenes identisch sein, der von Plutarch erwähnt wird.[13] Seine Apolloniosbiographie nennt Philostratos »als mit großer Unkunde geschrieben«; damit ist jedenfalls nichts anderes gesagt, als daß Moiragenes den Apollonios nicht als göttlichen Idealphilosophen und Weisen wie Philostratos, sondern vielmehr als Zauberer und großsprecherischen Charlatan geschildert hatte, so daß wir mit einiger Wahrscheinlichkeit jene Stellen als aus Moiragenes geschöpft ansehen können, in denen Philostratos bemüht ist, den Apollonios vom Vorwurf der Zauberei zu reinigen.[14] Als weitere Quellen nennt ferner Philostratos öfter Werke des Apollonios selbst, und zwar sein angebliches Testament,[15] und namentlich seine Briefe, von denen die Mehrzahl ebenfalls unecht gewesen ist, worüber unten mehr;[16] möglicher Weise hat er auch seine Schrift über die Opfer herangezogen. Für die Biographie selbst hat Philostratos auch das verwendet, »was man in den Städten, die den Apol-

---

7) Vgl. dazu Miller, Philolog. 66 (1907), 511 ff.

8) z. B. Vit. Apoll., VI 3, 4.

9) Vit. Apoll. I 3.

10) Vit. Apoll. I 12.

11) Vit. Apoll. I 12.

12) Vgl. R. Reitzenstein, Hellenist. Wundererzähl., Leipzig 1906, S. 40 ff.

13) Quaest. conv. IV 6.

14) Jedenfalls ist Moiragenes eine historische Person und seine Apolloniosvita sehr bekannt gewesen, da ihn und sein Werk auch Origenes (c. Cels. VI 41) zitiert.

15) Vit. Apoll. I 3.

16) Vgl. unten § 4.

lonios hoch hielten, und in den Tempeln, die er aus ihrem Verfall wieder zum Ansehen gebracht hatte, erzählte,« so daß also neben die schriftlichen Quellen des Damisbuches, des Maximos von Aigai, des Moiragenes und der Werke des Apollonios selbst auch noch die mündliche Tradition einer einseitigen Richtung tritt, eine Quelle von verdächtiger Reinheit.[17] Endlich läßt sich nachweisen, daß Philostratos auch noch andere Schriftsteller, aber nicht für die eigentlich biographischen Notizen, sondern nur zur Ausfüllung des Rahmens verwertete; das gilt besonders für seine Reiseberichte über Indien und Aethiopien, wo er viel Stoff aus Ktesias, Megasthenes, Onesikritos, Nearchos, Arrian und anderen Geschichtsschreibern der Alexanderzeit schöpfte, ferner aus Herodot, Xenophon, Diodor und Juba; auch hat er aus Eigenem manches hinzugefügt, das er allerdings nur hie und da ausdrücklich als nicht seinen Quellen Entnommenes bezeichnet.[18] Aus dem Gesagten ergibt sich, daß Philostratos zwar viele Quellen benützte, sie aber fast niemals nennt, woraus sich die Schwierigkeit ergibt, das von ihm Erzählte bezüglich seiner Herkunft zu bestimmen und auf seine Zuverlässigkeit abzuschätzen. Hauptquelle ist das Damisbuch gewesen, dieses selbst eine der in jener Zeit nicht seltenen Aretalogien oder Wundererzählungen, in der neben guten biographischen Nachrichten auch allerhand Legendäres und Märchenhaftes stand, das von dem Wundermann hundert Jahre nach seinem Tode im Umlaufe war. Auch ist es wahrscheinlich, daß auch schon das Damisbuch, als es in die Hände der Julia Domna und des Philostratos gelangte, von Neupythagoreern, jedenfalls unter starker Heranziehung der von Apollonios selbst geschriebenen Pythagorasbiographie erweitert und aufgeputzt worden war,[19] die übrigens auch Philostratos selbst kannte und wohl auch seinerseits als »Quelle« benützte, indem er verschiedene Züge von dem bereits mythisch gewordenen Pythagoras auf seinen begeisterten Anhänger und Nachtreter übertrug.[20]

§ 2.

Nach dieser Beleuchtung der Quellenfrage lasse ich zunächst eine Übersicht über den Lebenslauf des Apollonios nach dem Wortlaut der Biographie des Philostratos folgen:

Um das Jahr 3 vor Christus wurde Apollonios auf wunderbare Weise und unter wunderbaren Vorzeichen zu Tyana im kleinasiatischen Kappadokien geboren (I 4, vgl. I 12); 14jährig, also etwa im Jahre 11 n. Chr., kam er nach Tarsos zu dem Rhetor Euthydemos, übersiedelte aber bald darauf nach dem nahen Aigai in Kilikien zu dem Pythagoreer Euxenos. Mit 16 Jahren, also etwa im Jahre 14 n. Chr., verließ er diesen seinen Lehrer (I 7), lebte fortan streng nach der Vorschrift des Pythagoras und wohnte im Asklepiostempel zu Aigai, wo er als Liebling des Gottes höchstes Ansehen genoß (I 8/12). Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 17 n. Chr. zu Tyana, kehrte Apollonios, damals 20jährig, nach Tyana zurück und überließ die Hälfte seines Erbteiles

[17]) Vit. Apoll. I 2.
[18]) Vgl. z. B. Vit. Apoll. IV 25, VIII 20 u. III 15.
[19]) Vgl. Miller, Philolog. 51 (1892), 141.
[20]) Vgl. unten § 4.

seinem 23jährigen Bruder und den übrigen Verwandten (I 13). Die folgenden 5 Jahre (17—21 n. Chr.) verlebte er in Pamphylien und Kilikien und beobachtete die pythagoreische Schweigepflicht; bei einem Aufenthalte in Aspendos dämpfte er einen Volksaufstand (I 14/15). Nach Beendigung der Schweigezeit, also etwa im Jahre 22 n. Chr., reiste er nach Antiocheia in Nordsyrien, lehrte dort und versammelte bereits Schüler um sich, von denen sich 7 als seine Jünger enger an ihn anschlossen, ihn aber doch nicht begleiten wollten, als er zu den indischen Weisen zu pilgern beschloß (I 16/18). Im Sommer 43 n. Chr.[21] reiste er über Zeugma am Euphrat und Ninive, wo sich Damis, fortan sein treuester Jünger, an ihn anschloß, zunächst nach Ktesiphon am Tigris, nahe Babylon; hier durch einen Traum gemahnt, bog er vom Wege ab und besuchte die viel weiter südlich an der Mündung des Choaspes in den Tigris und um Susa in der Landschaft Kissia wohnenden Eretrier, die von Dareios I. im Jahre 490 v. Chr. dorthin deportiert worden waren. Hierauf reiste er, vermutlich den Tigris aufwärts, bis Ktesiphon und von da quer durch Mesopotamien nach Babylon (I 19|25).[22] So trafen Apollonios und Damis erst im Dezember 43 n. Chr. bei dem Partherkönige Vardanes in Babylon ein;[23] ihr dortiger Aufenthalt dauerte 1 Jahr und 8 Monate (I 22) und wird in I 27/40 geschildert. Von Vardanes mit alien Reisebedürfnissen ausgestattet und von Führern geleitet, zogen sie im Sommer 45 n. Chr. (I 40) zunächst über die westlichen Ausläufer des Hindukusch (»Kaukasos«, II 1/5), wobei ihnen am jenseitigen Fuß des Gebirges das Gespenst der Empuse erschienen sein soll (II 4), und trafen in der jenseitigen Ebene schon auf Inder, die sie freundlich bewillkommneten (I 6); dann durchquerten sie diese Ebene bis zum Flusse Kophen (Kabul), dem größten Nebenflusse des Indus auf dem rechten, westlichen Ufer, überschritten ihn und betraten jetzt das Land des Inderkönigs Phraotes. Hier bestiegen sie zunächst den Berg Nysa, um das von Dionysos angeblich selbst gestiftete Heiligtum auf dem Gipfel zu besichtigen (II 8/9). Den Felsen Aornos bei Seite lassend (II 10), kamen sie an den Indos (II 11/17) und überschritten ihn, worauf sie die Führer direkt nach Taxila, der Residenz des Königs Phraotes, geleiteten (II 20); von diesem 3 Tage lang gastfreundlich aufgenommen (II 23/40), zogen sie mit einem Empfehlungsschreiben des Phraotes an die indischen Weisen versehen (II 41), 2 Tagreisen weit über das Schlachtfeld, auf dem Poros von Alexander d. Gr. besiegt worden war (II 42), an den Hydraotes, einen Nebenfluß des Akesines, und überschritten ihn (II 43), stießen dann auf die Denkmäler, die Alexander bei seiner unfreiwilligen Rückkehr aus Indien errichtet haben sollte, und gelangten an den Hyphasis (Bias), den östlichsten der Pendschabströme (II 43).[24] Nachdem sie über diesen Fluß gesetzt, überschritten sie die Gebirgszüge auf seinem linken, östlichen Ufer, die »Kaukasos« genannt werden, »der sich zum roten Meere hinabzieht« (III 4), und gelangten so in eine weite Ebene, deren zahlreichen Kanäle vom Ganges gespeist wurden (III 5). Vom Fuß jenes Gebirges, an dem die große Stadt

[21]) Das ergibt sich aus I 28.

[22]) Die Biographie nennt diese Reisestationen in folgender konfuser Abfolge: Ninive(I 19), Zeugma (I 20), Ktesiphon (I 21), »Gegend nahe Babylon« (I 23), Kissia (I 23/24), Babylon (I 25).

[23]) Das ergibt sich aus I 28, wo gesagt wird, daß bei ihrer Ankunft in Babylon Vardanes das 3. Jahr wieder König war, nachdem er eine Zeitlang den Thron verloren hatte.

[24]) Sind diese Angaben zuverlässig, so müßte Apollonios vorher noch den Hydaspes (Behat oder Djalam) u. den Akesines (Tchandrabagha) überschritten haben, ehe sie an den Hydraotes (Rāwi) gelangten.

Paraka lag (III 9), zogen sie 4 Tagreisen weit durch die Ebene in ein Gebirgsland, wo die indischen Weisen mit Jarchas als ihren Haupte wohnten (III 10), die demnach als jene brachmanischen Einsiedler aufzufassen sind, die in der Gegend des oberen Diamuna und Ganges hausten. Da der in III 13—50 geschilderte Aufenthalt bei diesen Weisen 4 Monate dauerte (III 50), erstreckte sich des Apollonios Aufenthalt in Indien von etwa August bis November des Jahres 45 n. Chr.; in III 26/33 wird der eintägige Besuch des Königs, d. h. des indoskytischen Dynasten, in dessen Bereich »der Berg der Weisen« lag, bei den Brachmanen geschildert. Hierauf zog Apollonios mit Damis in südwestlicher Richtung, ungefähr parallel mit dem Indos, innerhalb von 10 (!) Tagen an die Küste des Roten Meeres (III 50);[25] dort bestiegen sie ein Schiff und passierten, nach Westen längs der Küste segelnd, die Indosmündungen, in deren Delta die Stadt Patala lag (III 53).[26] Auf der weiteren Fahrt nach Westen legten sie in Pegada im Land der Oreiten (III 54), dann in Stobera, der Stadt der Fischesser (III 55), dann in Balara, gegenüber der sagenhaften Nereïdeninsel Selera an (III 56), liefen hierauf in den persischen Meerbusen ein und fuhren an seinem östlichen Ufer bis zur Euphratmündung ins Meer; dann fuhren sie den Euphrat hinauf bis Babylon, wo sie wieder von Vardanes aufgenommen wurden.[27] Von hier zogen sie dann wahrscheinlich über Ninive und Zeugma zurück nach Antiocheia und seiner Hafenstadt Seleukeia an der syrischen Küste, wo sie etwa im Juni oder Juli des Jahres 46 n. Chr. angekommen sein mögen;[28] von hier setzten sie nach Paphos auf Kypros über, um dort das berühmte symbolische Idol der Aphrodite zu besichtigen (III 58).

Von dort reisten Apollonios und Damis nach dem griechischen Kleinasien, und zwar zunächst nach Ephesos zu längerem Aufenthalt, wo der Weise lehrte und reformierte und auch eine Pest voraussagte, ohne Aufmerksamkeit zu finden (IV 1/4); dann zog er nach Smyrna, wo er das Fest der kleinen Panionien mitmachte, ein Erdbeben voraussagte und lehrte (IV 6, IV 7/9). Als jetzt die Pest in Ephesos wirklich ausbrach, erschien er auf wunderbare Weise gleichzeitig in Ephesos und Smyrna und ließ den

[25]) Im Text allerdings heißt es »sie seien den Ganges zur Rechten u. den Hyphasis zur Linken binnen 10 (!) Tagen zum Meere hinabzogen«, während sie diese Reiserichtung in Wirklichkeit in die eisstarrenden Höhen des Hymalaja geführt hätte.

[26]) Dabei soll Apollonios auch »die Mündung des Hyphasis ins Meer bewundert haben« (III 52), was ein grober geographischer Schnitzer ist, da der Hyphasis (Bias) überhaupt nicht ins Meer, sondern sehr weit oberhalb der Indosmündungen in den Indos strömt.

[27]) Auf diese Weise müßte Apollonios von der Mündung des Indos bis zur Mündung des Euphrat und bis zur Ankunft in Babylon genau denselben Weg zurückgelegt haben wie Nearchos, der Admiral des Alexander, im Jahre 326/25 v. Chr.; nach Nearchos-Arrian brauchte Nearchos hiezu 130 Tage oder 4½ Monate (vom 2. Oktober 326 — 8. Feber 325), wobei er in See allerdings nur 60 oder 61 Tage war. Nehmen wir an, daß im 1. Jahrh. nach Chr. die Fahrtzeit infolge der genaueren Kenntnis der See- und Küstenverhältnisse nicht unbeträchtlich abgekürzt war, so müssen wir doch auf diese gewaltige Küstenfahrt auch des Apollonios eine Dauer von wenigsten 3 Monaten veranschlagen, da man kaum mehr als 10 *km* per Stunde zurücklegte und in diesem fremden Meere gewiß zumeist nur bei Tage oder in nur sehr ruhigen und mondhellen Nächten zu segeln wagte; deshalb muß Apollonios auch viel öfter gelandet haben — schon der Trinkwassereinholung wegen — als bei Philostratos angegeben ist. Daher würde die Ankunft des Apollonios in Babylon etwa Ende April oder Anfang Mai des Jahres 46 n. Chr. anzusetzen sein, da auch die Landreise vom »Berge der Weisen« bis ans Meer mindestens einen Monat gedauert haben muß.

[28]) Da auf die Landreise von Babylon bis Antiocheia-Seleukeia mindestens eîn Monat zu veranschlagen sein wird.

Pestdämon im Theater von Ephesos steinigen, worauf die Seuche aufhörte (IV 10). Dann begab er sich nach Pergamon, lehrte dort und heilte Kranke im Asklepiostempel, um dann die Stätte des alten Troja im Nordwesten Kleinasiens an den Dardanellen aufzusuchen (IV 11). Hier übernachtete er am sogenannten Grabhügel des Achill, dessen Seele er beschwor (IV 11), und reiste dann, einem Auftrage des Achill gemäß, nach Methymna auf der Insel Lesbos, wo er das verfallene Grabmal des Achillesfreundes Palamedes wieder herstellte (IV 13) und das Heiligtum des Orpheus besuchte (IV 14).

Von Lesbos fuhr Apollonios mit Damis und den übrigen Jüngern, die sich während seines etwa 13jährigen Aufenthaltes in Kleinasien um ihn gesammelt hatten, in südwestlicher Richtung quer über das Aegäische Meer nach Griechenland, am Vorgebirge Artemision im Norden der Insel Euboia vorüber, durch die Meerenge zwischen Euboia und Boiotien-Attika und um die Südspitze von Attika nach dem Piraeus, der Hafenstadt von Athen (IV 15), während welcher Seereise er auch von seinem Verkehr mit Achill's Totenseele ausführlich erzählte (IV 16); im Piraeus landete er zur Zeit der großen Eleusinien, u. zw. am Tage der Epidaurien, d. h. also im September—Oktober des Jahres 59 n. Chr. (IV 17/18).[29] Vom Oberpriester der Mysterien als Zauberer nicht in die Eleusinien eingeweiht (IV 18), hielt er in Athen Vorträge, besonders auch über den Opferdienst (IV 19), trieb aus einem besessenen Jüngling einen Dämon aus (IV 20), tadelte die unzüchtigen Mimosaufführungen an den großen Dionysien des Frühjahres 60 (IV 21) und wandte sich scharf gegen die Gladiatorenspiele im Theater von Athen (IV 22). Dann besuchte er die Thermopylen, wo er das Grab des Leonidas wiederherstellte (IV 23), die Heiligtümer des Amphiaraos und Trophonios bei Lebadeia in Boiotien und den Helikon (IV 24), die Apollotempel zu Delphoi und Abai in Phokis (IV 24), dann das südliche Thessalien, wo er den Opferdienst und Heroenkult für Achill wieder erneuerte (IV 23), und endlich in Epirus das Orakel des Zeus zu Dodona (IV 24). Dann reiste er nach Süden und befand sich noch im Jahre 60 in Lechaion, der Hafenstadt von Korinth, wo er den vergeblichen Versuch des Kaisers Nero, die Landenge von Korinth zu durchstechen, voraussagte (IV 24).[30] In Korinth befreundete sich mit ihm der Kyniker Demetrios und ebendort entlarvte er das Vampirgespenst der Empuse, die sich in Gestalt eines reizenden Weibes an den Jüngling Menippos herangemacht hatte, der sich hinfort als Jünger an Apollonios anschloß (IV 25); hier trat er auch gegen den Korinther Bassos auf, der als Vatermörder galt (IV 26). Im Hochsommer des Jahres 60 reiste Apollonios zu den Festspielen nach Olympia, wo er einer Gesandtschaft der Lakedaimonier, die ihn nach Sparta einladen kam, allerhand Reformvorschläge an die Ephoren mitgab (IV 27); den Aufenthalt in Olympia schildern die Kapitel IV 28/31. Dann überschritt er den Taygetos und kam nach Sparta (IV 31), wo er sich längere Zeit (IV 32), d. h. nämlich vom Hochsommer 60 bis Frühlingsanfang 61, aufhielt[31] und die Lakedaimonier auch im Verkehr mit dem ihnen übelwollenden Nero durch seinen Rat unterstützte (IV 33). Hierauf reiste er nach Kap Malea, um sich nach Rom einzuschiffen; durch einen Traum belehrt, fuhr er zunächst noch nach Kreta, besuchte hier die Städte Knossos, Gortyn und Lebaneion mit seinem

---

[29]) Das ergibt sich aus IV 24.

[30]) Diese Datierung ergibt sich aus IV 24, da dort gesagt wird, Nero habe 7 Jahre später den Durchstich begonnen.

[31]) Dies folgt aus IV 34.

Asklepiostempel und sagte während eines Seebebens das Auftauchen einer kleinen Insel zwischen Kreta und Thera an (IV 34).

Jetzt fuhr er von Kreta direkt nach Italien, kam aber auf dem Landwege, nämlich auf der Via Appia, über Aricia nach Rom, so daß er jedenfalls in Terracina-Anxur gelandet sein wird; in Aricia warnte ihn der Philosoph Philolaos aus Kittion, der vor Nero aus Rom geflohen war, vor dem Betreten der Stadt, wo Nero gegen die Philosophen feindselig verfahre (IV 36). Durch die Warnungen dieses Mannes eingeschüchtert, verließen den Apollonios von seinen 38 Jüngern, die ihn bis Aricia begleitet hatten, alle bis auf 8, unter denen sich auch Damis, Menippos und der Aegypter Dioskorides befanden (IV 37). Nachdem Apollonios diese durch eine Rede gestärkt hatte (IV 38), betrat er mit ihnen im Jahre 61 Rom (IV 39).[32] Hier traf er mit dem Kyniker Demetrios zusammen, den er in Korinth kennen gelernt hatte (IV 25) und der jetzt gelegentlich der feierlichen Einweihung eines Gymnasiums durch Nero selbst sich durch eine Hetzrede verhaßt und seinen Freund Apollonios sehr verdächtig machte (IV 42), den fortan Tigellinus, damals Polizeipraefekt von Rom, heimlich beobachten ließ.[33] Auch machte sich Apollonios selbst durch seine zweideutigen Reden und Prophezeiungen gelegentlich einer Sonnenfinsternis und eines Blitzschlages in die kaiserliche Villa zu Sublaqueum beim Hofe unbeliebt (IV 43).[34] Im Jahre 65 machte er die Epidemie mit, die Rom schwer heimsuchte (IV 44) und der vermutlich auch jenes Mädchen zum Opfer gefallen war, das Apollonios vom Tode erweckt haben soll (IV 45). Als hierauf Nero, unmittelbar vor seiner Abreise nach Griechenland im Hochsommer 66 n. Ch., einen Ausweisungsbefehl gegen die Philosophen erlassen haben soll, muß Apollonios Rom schon verlassen haben, so daß seine Abreise aus Rom noch in das Jahr 65 n. Chr. fiel;[35] da nämlich Apollonios während der Epidemie allerhand despektierliche Äußerungen über Nero getan (IV 44) und sich außerdem durch seinen Verkehr mit dem damals angeblich eingekerkerten Philosophen Musonius verdächtig gemacht hatte, war er von Tigellinus vorgeladen und verhört, dann aber unbehelligt entlassen worden (IV 44).[36]

Jedenfalls noch im Herbst des Jahres 65 nach Chr. segelte Apollonios mit Damis, Menippos und den übrigen Jüngern von Rom, wo ihm der Boden zu heiß geworden sein dürfte, nach Südspanien, und zwar nach Gadeira (Cadix), das mit seinem berühmten Heraklestempel eingehend geschildert wird (V 1/4, 4/5), ebenso die Provinz Baetica (V 6). Hier erfuhren sie von den Triumphen, die Nero im Hochsommer 66

---

[32]) Diese Datierung ergibt sich aus der in IV 42 erwähnten Gymnasiumseinweihung durch Nero; dadurch wird aber zugleich auch die Notiz in IV 40, C. Lucceius Telesinus sei beim Eintreffen des Apollonius Konsul gewesen, als irrig erwiesen, da Telesinus erst im Jahre 66 dieses Amt bekleidete. Das erste Eintreffen des Apollonios in Rom aber kann unmöglich auf 66 gefallen sein.

[33]) Auch diese Notiz über Tigellinus weist auf das Jahr 61 als Ankunftstermin des Apollonios in Rom hin, da Tigellinus bereits im Jahre 62 nach Burrus Tode Gardepraefekt geworden ist.

[34]) Diese Dinge kann Apollonios nicht in Rom erlebt haben, da die Sonnenfinsternis bereits auf den 30. April 59 und jener Blitzschlag in das Jahr 60 fiel; jedenfalls hat man den Wundermann erst nachträglich mit diesen Vorzeichen in Beziehung gebracht, woraus sich die chronologischen Fehler erklären.

[35]) Das ergibt sich aus V 7, wo Apollonios, schon in Gades in Spanien weilend, sagt, das vorhergehende Jahr sei ein Olympiadenjahr gewesen, was unmöglich auf das Jahr 65, wohl aber auf das Jahr 64 paßt, welch letzteres Jahr das 1. Jahr der 210. Olympiade gewesen ist; ebendort wird die Kunstreise des Nero nach Griechenland vom Jahre 66 als erst bevorstehend erwähnt.

[36]) Der Verkehr des Apollonios mit Musonius ist eine Erfindung wahrscheinlich des Philostratos.

in Griechenlands Theatern und Rennbahnen feierte (V 8). Apollonios aber sah nicht nur das kommende Unheil in Gestalt der Empörung des Vindex vom Jahre 68 voraus, sondern gewann gelegentlich einer Unterredung mit Cluvius Rufus, dem Statthalter der Baetica, im Jahre 67 diesen für Vindex, ehe er sich noch gegen Nero erhoben hatte (V 10). Dann unternahm er einen Abstecher nach Nordafrika und fuhr hierauf zu Schiff nach Sizilien; in Messana (Messina) erfuhren sie von der Flucht des Nero, die kurz vor dem 9. Juni 68 erfolgt war, und daß Galba und Vitellius als Thronpraetendenten aufgetreten seien (V 11); in Syrakus deutete Apollonios ein schlimmes Vorzeichen auf das unheilvolle Dreikaiserjahr (V 13); dann hielt er sich in Katane (Catania) und in Sizilien überhaupt »ausreichend lange« auf (V 18) und segelte hierauf im Herbst des Jahres 68 über die Insel Leukas und durch den korinthischen Meerbusen nach Athen (V 18).

Hier ließ er sich in die gerade gefeierten Mysterien von Eleusis einweihen und erneuerte die Bekanntschaft mit dem Kyniker Demetrios, der ihm unter anderem auch von der Zwangsarbeit des Philosophen Musonius auf dem Isthmus von Korinth erzählte (V 19).[37] Während des Winters 68/69 bereiste Apollonios »alle Tempel Griechenlands«, lehrte und reformierte den Kult und fuhr dann im Frühjahre 69 zunächst nach Chios und von da nach Rhodos, wo er den Koloß bewunderte und den berühmten Flötenvirtuosen Kanos kennen lernte (V 20/21). Von da fuhr er nach Aegypten, um die sogenannten aethiopischen Nacktphilosophen (Gymnosophisten) zu besuchen.

Noch im Spätherbst des Jahres 69 landete er in Alexandria (V 24), wo er die blutigen Opfer im Serapistempel rügte und die wüsten Szenen verurteilte, die sich bei dem Rennfahren im Zirkus abzuspielen pflegten (V 26). In Alexandria hatte er noch in demselben Herbste 69 mehrere politische Unterredungen mit Vespasian, der sich, nach der Krone strebend, in den Besitz von Alexandria und Aegypten gesetzt hatte (V 27/29); während einer dieser Unterredungen soll Apollonios den Brand des von den Vitellianern gestürmten Kapitols in Rom vom 19. Dezember 69 hellseherisch vor sich gesehen haben (V 30); am folgenden Tage, also am 20. Dezember 69, beriet sich Vespasian wieder mit Apollonios und diesmal auch mit dem Philosophen Euphrates und Dion von Prusa über die Übernahme der Kaiserwürde, bei welcher Gelegenheit der Grund für die langjährige Feindschaft zwischen Apollonios und Euphrates gelegt worden sein soll (V 31/37). Nach der Abreise Vespasians nach Rom im Mai-Juli oder August-September des Jahres 70 n. Chr. bekämpften sich nunmehr Apollonios und Euphrates öffentlich (V 39/40) und in diese Zeit fiel auch die wunderbare Geschichte von dem Löwen, in dem Apollonios angeblich die Seele des Königs Amasis entdeckte (V 42).[38]

Vermutlich noch im Spätherbst des Jahres 70 n. Chr. brach dann Apollonios mit 10 seiner Jünger nach Aethiopien auf, während die restlichen 20 mit Menippos in Alexandria zurückblieben, um den feindseligen Euphrates nicht aus dem Auge zu lassen (V 43). Die Reise ging angeblich am östlichen Nilufer über das Ruinenfeld von Theben (Luxor-Karnak) mit den Memnonskolossen (VI 3/4), über Syene (Assuan)

---

[37]) Von dieser Zwangsarbeit des Musonius wird sonst nicht berichtet.

[38]) In V 41 wird vorgreifend von dem Tadel erzählt, den Apollonios dem Vespasian angeblich zukommen ließ, als dieser im Jahre 73 die den Griechen von Nero Ende November 67 geschenkte Freiheit wieder entzog.

und Hiera Sykaminos (VI 2) bis zum 2. und 3. Nilkatarakt (VI 26), wo Apollonios südlich von Hiera Sykaminos mit den aethiopischen Nacktweisen verkehrt haben (VI 10/22) soll;[39] genau so wie diese »Weisen« selbst ist auch die Verleumderrolle, die Euphrates bei ihnen gespielt haben soll (VI 7, 9, 13), eine tendenziöse Erfindung, jedenfalls des Philostratos selbst.[40] Das Gleiche gilt auch von der sehr wunderbaren, aber auch sehr albernen Geschichte, daß Apollonios in dieser Gegend einen geilen Satyr beschwor, betrunken machte und bekehrte (VI 27).[41]

Die Rückkehr des Apollonios aus Oberaegypten, denn weiter ist er nicht gekommen, erfolgte erst nach der Eroberung Jerusalems durch Titus am 3. September 70 n. Chr.,

---

[39]) Dieser ganze Reisebericht strotzt so sehr von den gröbsten geographischen Schnitzern, daß er unmöglich ernst genommen werden kann; so wird z. B. Meroë (VI 1) als Grenze zwischen Aegypten und Aethiopien angegeben, ebenso aber auch wieder Hiera Sykaminos (VI 2), obwohl diese Orte durch fast einen Breitengrad von einander getrennt sind, und die geographische Grenze zwischen Aegypten und Aethiopien einen halben Breitengrad nördlich von Hierasykaminos und anderthalb Breitengrade nördlich von Meroë bei Syene (Assuan) am 1. Katarakt verlief. Ferner wird erzählt, daß Apollonios zuerst nach Hierasykaminos und erst dann zu den Memnonskolossen bei Theben (Luxor) gelangte, während in Wahrheit die Stätte von Theben einen vollen Breitengrad nördlich von Hierasykaminos liegt (VI 2, VI 3/4). In VI 23 werden die Katadupen beschrieben, die regelmäßig den 1. Katarakt bei Syene (Assuan) bedeuten, hier aber weit südlicher, oberhalb von Hiera Sykaminos und der Wohnstätte der »Weisen«, lokalisiert werden. Geradezu ungeheuerlich klingt es, wenn es in VI 26 heißt, Apollonios sei von den Katadupen, d. h. vom 1. Katarakt, noch 15 Stadien, d. h. nicht einmal 3 *km*, weiter nach Süden vorgedrungen und habe so den 2. Katarakt erreicht, der in Wirklichkeit vom 1. Katarakt bei Syene um zwei Drittel Breitengrade oder um mehr als 1000 Stadien entfernt ist. Nach VI 25 wohnten südlich von den „Weisen" und nördlich vom 1. Katarakt allerlei aethiopische Nomadenstämme, die in Wahrheit um mindestens 2 Breitengrade südlicher hausten; Philostratos (oder seine Quelle?) läßt sogar die Nasamonen hier wohnen, obwohl sie ein nordafrikanisches Volk in der Gegend des heutigen Tripolis gewesen sind. Ferner ging die Reise am rechten, östlichen Nilufer vor sich und von einer Überschreitung des Nil ist nirgends die Rede; trotzdem besuchten die Reisenden die Pyramiden bei Gizeh und die Memnonskolosse bei Theben (Luxor), die aber alle auf dem linken, westlichen Nilufer liegen. Das Tatsächliche, das dieser heillosen Konfusion zu Grunde liegen kann, ist nichts anderes als eine Reise des Apollonios nach Oberaegypten bis zum 1. Katarakt (Katadupen) bei Syene (Assuan), den er in seiner ganzen beträchtlichen Ausdehnung besichtigt haben mag, alles andere aber nur flüchtig zusammengestoppeltes und falsch verstandenes Beiwerk, bestimmt, den Wundermann auch noch zum größten Entdeckungsreisenden zu machen.

[40]) Von derartigen »Nacktweisen« in Aethiopien oder Oberaegypten, wie sie hier geschildert werden, wird sonst nirgends berichtet; sie sind auch nichts anderes als eine Erfindung des Philostratos, um ein Gegenstück zu den historischen Brachmanen in Indien zu schaffen und dem Apollonios Gelegenheit zu geben, die sonst in jenen Zeiten hochangesehene Theosophie der Aegypter, die z. B. der Stoiker Chairemon, der Erzieher des Kaisers Nero, nicht genug zu rühmen wußte, zu Gunsten der von Apollonios selbst und auch von Philostratos verhimmelten indischen Theosophie und Philosophie schlecht zu machen; denn die angeblichen Unterredungen mit diesen sogenannten aethiopischen Weisen drehen sich bezeichnender Weise nicht um aethiopische Theosophie und Weltweisheit, sondern immer nur um aegyptische oder quasiaegyptische Dinge und auch Sätze der griechischen, speziell pythagoreischen Philosophie, die mit der indischen stets als der ägyptischen hoch überlegen erwiesen werden soll. Mit gutem Grunde hat daher Philostratos seine aethiopischen Weisen in Gegenden versetzen müssen, die damals so gut wie unerreichbar waren, da bei ihrer Lokalisierung etwa in Oberaegypten die Erfindung gar zu handgreiflich gewesen wäre; denn Oberaegypten war damals schon längst keine terra incognita mehr. So mußte er aber auch seinen Wundermann in Gegenden reisen lassen, die auch damals noch nicht sehr bekannt waren. Welchen Unsinn er dabei zusammenschrieb, ist oben zur Genüge erwiesen worden.

[41]) Das Geschichtchen ist aus der Midassage und einer jedenfalls bildlich gemeinten Stelle in einem, wahrscheinlich unechten Apolloniosbriefe zusammengesponnen.

und jedenfalls erst im Frühjahr des Jahres 71 n. Chr. (VI 28/29); von Titus zu einer Unterredung brieflich eingeladen, verließ Apollonios Alexandria und traf mit Titus in Tarsos in Kleinasien zusammen, jedenfalls noch vor Mitte Juni 71, wo er ihm allerhand politische Ratschläge und auch Andeutungen über sein Lebensende zukommen ließ (VI 30/32); die Empfehlung des Kynikers Demetrios an Titus (VI 32/33) ist verdächtig. In VI 35/43 werden verschiedene Erlebnisse des Weisen geschildert, die er während anderer Reisen in den Jahren 71 bis 91 in Unteraegypten, Phoenizien, Kilikien, im jonischen Kleinasien, Griechenland und Italien gehabt haben soll, speziell sein Auftreten in Sardes (VI 37), in Antiocheia in Syrien (VI 38), in Knidos (VI 40), an der Südküste des Hellespont (VI 38) und in Tarsos (VI 43).[42] In der Zeit vom Oktober 91—September 92 muß sich Apollonios in Ephesos aufgehalten haben, da in VII 5 von der Wühlerei des Apollonios gegen Kaiser Domitian, der im Jahre 81 den Thron bestiegen hatte, bei dem damaligen Statthalter von Kleinasien während einer tragischen Aufführung im Theater von Ephesos erzählt wird; ebenso regierungsfeindlich hat sich Apollonios schon vorher benommen, da in VII 6 und 7 zwei historische Ereignisse aus der Zeit vom Oktober 82 bis September 83, beziehungsweise aus dem Jahre 89 oder kurz vorher berichtet werden, die Apollonios ebenfalls zu gehässigen Äußerungen über Domitian benutzt haben soll. Ebenso feindselig trat er auch in Smyrna auf, als in der ersten Hälfte des Jahres 93 n. Chr. Orfitus, Nerva und Rufus wegen antidynastischer Umtriebe verbannt wurden, in denen sie Apollonios brieflich und durch Boten unterstützt haben sollte (VII 8). Eine solche feindselige Äußerung des Apollonios zu Smyrna hinterbrachte nach VII 9 Euphrates dem Kaiser, der den Apollonios nach Rom schaffen lassen wollte, um ihn wegen des Prozesses gegen Orfitus, Nerva und Rufus zu verhören; als der Haftbefehl bereits erlassen worden war, habe Apollonios zwar, wie gewöhnlich auf übernatürliche Weise, die Absicht des Kaisers erkannt, habe sich aber entschlossen, sich dem Kaiser freiwillig zu stellen (VII 10).

Daher fuhr er noch im Jahre 93 nach Italien, und zwar zunächst bis Dikaiarcheia-Puteoli (Pozzuoli), wo er mit dem Kyniker Demetrios zusammentraf, der ihm und Damis von der bevorstehenden Klage auf Hochverrat, Religionsfrevel und Zaubermord berichtete und sie beschwor, aus Italien ans Ende der Welt zu fliehen (VII 13), was zwar auf Damis einigen Eindruck machte, den Apollonios aber natürlich nicht im Geringsten schreckte, der in einer langen Rede seine Selbststellung rechtfertigte und versicherte, daß ihm der Kaiser nichts antun könne (VII 14). Auch Damis fühlte sich durch diese Rede gestärkt, worauf beide nach herzlichem Abschiede von Demetrios nach Rom fuhren (VII 15), wo sie 3 Tage später ankamen. Apollonios wurde sogleich von dem ihm freundlich gesinnten Gardekommandanten Aelianus verhört, in strenge Haft genommen (VII 16/21), dann aber in das sogenannte freie Gefängnis überführt, wo er seine vielen Mitgefangenen tröstete und ermutigte (VII 22/26) und auch zwei von Domitian angeblich selbst hingeschickte Aushorcher abfertigte (VII 27/28). Am nächsten Morgen dem Kaiser im sogenannten Adonishofe des Palastes vorgeführt, versuchte er sich bezüglich des Nerva und Genossen zu rechtfertigen, wurde aber auf Befehl des erzürnten Kaisers kahl geschoren, in Eisen gelegt und ins Gefängnis zurückgeschafft (VII 33/34). In VII 35 gibt Philostratos, allerdings unter heftiger Po-

[42]) Die Datierung ergibt sich aus VII 42 und 28/29.

lemik, ein Stück der anders lautenden und jedenfalls echten Überlieferung dieses Vorfalls, die vielleicht auf Moiragenes zurückging. Zwei Tage im Gefängnis eingesperrt, fertigte er wieder einen hineingeschickten Aushorcher ab (VII 36/37) und bewies dem geängstigten Damis gelegentlich eines Besuches, daß er jederzeit seine Fesseln abstreifen könne (VII 38), was dem Philostratos Anlaß gibt, gegen die Zauberei loszuziehen (VII 39). Hierauf erschien ein Bote des Kaisers, der ihn von den Fesseln löste, wieder in das sogenannte freie Gefängnis überführte und die Gerichtsverhandlung auf den 5. Tag danach ansagte (VII 40); da verabschiedete Apollonios den ängstlichen Damis und riet ihm, zu Lande nach Dikaiarcheia-Puteoli zu Demetrios zurückzukehren, da, wie sich später herausstellte, während dieser Zeit ein Sturm die Seefahrt sehr gefährlich machte (VII 41). Fünf Tage darauf, noch in der ersten Hälfte des Jahres 93 n. Chr., hatte sich Apollonios vor dem Kaiser und einem großen Auditorium zu verantworten, trieb aber den Kaiser angeblich derart in die Enge, daß ihn dieser zwar freisprach, ihm aber abzureisen verbot, worauf Apollonios unter Rezitierung eines Homerverses plötzlich aus dem Saale verschwand (VIII 1/5).[48] Mit VIII 7a/q folgt dann die von Philostratos selbst abgefaßte ausführliche Verteidigungsrede des Weisen, die mit demselben Verse und dem wunderbaren Verschwinden des Angeklagten aus dem Gerichtssaale schließt. Letzteres sollte um Mittag erfolgt sein und schon am Abend desselben Tages soll Apollonios wieder bei Damis und Demetrios in Puteoli gewesen sein, wo ihn letzterer wieder bestürmte, so weit als möglich zu fliehen, natürlich ohne jeden Erfolg (VIII 10/14).

Trotzdem reisten Damis und Apollonios schon am nächsten Morgen nach Sizilien, wo sie 3 Tage später in Tauromenion (Taormina) ankamen, um von hier nach Olympia zu segeln, wo sie 6 Tage darauf eintrafen und sich bereits (!) eine Unmasse Fremder aus allen Teilen Griechenlands versammelt hatte, um den so wunderbar Geretteten zu sehen (VIII 15). In Olympia blieb Apollonios 40 Tage (VIII 16/18) und reiste dann zum Orakel des Trophonios bei Lebadeia in Boiotien; da ihm die Priester als gottverhaßtem Magier die Einfahrt in die Orakelhöhle versagten, stieg er bei Nacht eigenmächtig und ohne die geforderte langwierige Vorbereitung hinab, um erst 7 Tage später mit einem Buche, das die Lehren des Pythagoras enthielt und ihm von dem Gotte angeblich persönlich überreicht worden war, in dem weit entfernten Aulis wieder auf die Oberwelt zurückzukehren (VIII 19/20). Während des jetzt folgenden zweijährigen, d. h. von Hochsommer 93 bis Hochsommer 95 dauernden Aufenthaltes in Griechenland hat Apollonios keine besondern Mirakel gewirkt (VIII 21/24) und muß Ende 95 oder Anfang 96 wieder nach Kleinasien gereist sein.

Als nämlich am 18. September des Jahres 96 n. Chr. Domitian in Rom ermordet wurde, befand sich Apollonios in Ephesos und sah dort die Bluttat mit allen Einzelheiten vor sich und machte sie auch sogleich öffentlich bekannt (VIII 26). Da nicht lange darauf Apollonios, der nach der Darstellung des Philostratos wenigstens im 100. Lebensjahre stand, sein Ende herannahen fühlte, schickte er seinen treuen Jünger Damis, um ihm die Trennung für immer leichter zu machen, mit einem Briefe an Nerva nach Rom, der dem Domitian auf dem Throne gefolgt war (VIII 28), und starb

[48]) Die Datierung ergibt sich daraus, daß Apollonios nach dem Prozeß die olympischen Spiele des Hochsommers 93 besuchte (VIII 15/18).

nach einigen Berichten wie ein gewöhnlicher Mensch in Ephesos, nach andern aber wurde er entweder im Athenetempel in Lindos auf Rhodos oder im Diktynnatempel auf Kreta wunderbar entrückt und von einem Chor himmlischer Stimmen begrüßt, obwohl ihm auch die Diktynnapriester als einem Zauberer den Eintritt in den Tempel verwehren wollten und ihn sogar als des beabsichtigten Tempeldiebstahls verdächtig, gefesselt hatten (VIII/30). Später erschien er einem Jüngling zu Tyana, der an seiner Entrückung zweifelte, und pries in schwungvollen Versen die ebenfalls bezweifelte Unsterblichkeit der Seele (VIII 31).

§ 3.

Was haben wir nun in diesem Berichte, von dem handgreiflich Märchen- und Sagenhaften abgesehen, für historisch zu halten?

Eine einwandfreie Antwort auf diese Frage schließt das oben (in § 1) skizzierte Quellenmaterial für die Biographie des Philostratos aus. Hiezu kommt, daß Apollonios ähnlich wie Christus von anderen Schriftstellern so sehr selten auch nur genannt wird, wenn wir von allen jenen Nachrichten absehen, die offensichtlich erst auf die Philostratosbiographie zurückgehen und daher bei einer Abschätzung dieser selbst nicht in Betracht kommen können. Somit bleibt für eine Rekonstruktion des historischen Apollonios doch nur die Philostratosbiographie die Hauptquelle; da diese aber den Stempel der Aretalogie und daher der historischen Unzuverlässigkeit an der Stirne trägt, schwankt auch das Lebens- und Charakterbild des Apollonios im Urteil der Gelehrten, von denen manche so weit gingen, die Existenz des Mannes rundweg zu leugnen. Von dieser Auffassung ist man zwar heute doch wieder abgekommen, doch bedeutet z. B. auch die Ansicht E. Meyers ein Extrem,[44] der den frühen Ansatz der Geburt des Apollonios bei Philostratos verwirft, ihn zum Zeitgenossen des Euphrates und Lesbonax macht,[45] seine Blüte erst unter die Flavier setzt und als einziges historisches Faktum der Philostratosvita nur das Verhör und die Einkerkerung unter Domitian im Jahre 93 gelten lassen will. Ähnlich urteilt auch J. S. Phillimore in der Einleitung zu seiner Übersetzung der Apolloniosbiographie (Oxford 1912), wo er die Chronologie nach der Darstellung des Philostratos einer eingehenden Prüfung unterzieht (VI pag. CV-CXXVI); auch er bekämpft mit Recht den frühen Ansatz der Geburt des Apollonios durch unseren Sophisten auf die Zeit zwischen 6—1 v. Chr. oder, wie Olearius in seiner Ausgabe (Leipzig 1709, pag. 14, Anm. 12 zu I 12) feststellte, auf das Jahr 3 oder 4 v. Chr. Von den Gegenargumenten Phillimores seien hier nur 2 angeführt: In VII 36 der Biographie läßt Philostratos den Apollonios von seinem Haare sagen daß es schon mit Grau untermischt sei. Diese Szene fiel in das Jahr 93 n. Chr.; wäre nun Apollonios tatsächlich im Jahre 3 oder 4 v. Chr. geboren worden, so wäre er damals 96 beziehungsweise 97 Jahre alt gewesen und hätte kaum graumeliertes, sondern vielmehr schlohweißes Haar gehabt. Ferner erwähnt Philostratos in seinen

[44]) Hermes 52 (1917) 403 ff; dieses Urteil gründet sich vor allem darauf, daß E. Meyer das Damisbuch als bloße Erfindung des Philostratos hinstellt; indes wäre es dann unbegreiflich, wieso Philostratos die Kaiserin Julia Domna als Spenderin dieses von ihm nur erfundenen Werkes hätte ausgeben können.

[45]) vgl. ep. Apoll. 10; 34.

Sophistenbiographien (pag. 77, 1 ff Kayser) das Liebesverhältnis zwischen Apollonios und der schönen Mutter des Sophisten Alexander Peloplaton; diese kann aber nur zwischen 70 und 75 n. Chr. geboren sein. Wäre nun Apollonios tatsächlich im Jahre 3 oder 4 v. Chr. geboren worden, so hätte ihn eine Frau lieben müssen und zwar »der Erzeugung schöner Kinder wegen«, die etwa 80 Jahre jünger gewesen wäre als er selbst. Daraus folgt mit Notwendigkeit, daß die Geburt des Weisen viel später anzusetzen ist. Nun ist die Reise des Apollonios über Babylon nach Indien für das Jahr 43. n. Chr. gut bezeugt; Apollonios muß aber diese sehr anstrengende Reise als bedeutend jüngerer Mann unternommen haben, nicht erst, wie Philostratos will, mit nahezu 50 Jahren, sondern jedenfalls als Jüngling von etwa 20 Jahren, so daß seine Geburt auf etwa 23 n. Chr. anzusetzen wäre. Dann hätte er zur Zeit, da ein Liebesverhältnis mit Alexanders Mutter möglich war (frühestens 88 n. Chr.), allerdings auch schon etwa 65 Jahre alt sein müssen, doch läßt sich vielleicht die Liebe der kaum Zwanzigjährigen zu dem Sechziger aus der ungewöhnlichen Verehrung, die sie dem schon berühmten Wundermanne entgegenbrachte, einigermaßen erklären. Auch kann Apollonios infolge seiner streng vegetarischen und natürlichen Lebensweise selbst in diesem Alter über eine ungewöhnliche Lebensfrische verfügt haben. Das in I 12 erzählte Erlebnis des Apollonios mit dem »römischen Gerichtsherrn von Tarsos«, das für des Philostratos Chronologie den Angelpunkt bildet, erklärt Phillimore (pag. CXI/XII) mit Recht als einen Irrtum des Philostratos. Dieser fand nämlich in einer seiner Quellen (nach Phillimore bei Maximos von Aigai) eine Notiz, daß ein Statthalter Kilikiens kurz nach dem in I 12 geschilderten Erlebnis mit dem jugendlichen Weisen verurteilt worden sei; während damit in jener Quelle nur Cossutianus Capito gemeint sein kann, den Nero im Jahre 57 n. Chr. wegen Erpressung an den Provinzialen verurteilte (Tac., Annal. XIII 33, vgl. Juvenal., Sat. VIII 93), warf ihn Philostratos mit Ateius Capito zusammen, der unter Tiberius wegen Majestätsbeleidigung belangt worden war (Cassius Dio LVII 17), von Philostratos aber auch noch mit dem im Jahre 17 n. Chr. abgeschlossenen Prozeß des Archelaos, Königs von Kappadokien, in Verbindung gebracht wurde. Daher kann das in I 12 Erzählte unmöglich schon in das Jahr 17 n. Chr. gefallen sein, sondern vielmehr erst in das Jahr 57, und Apollonios ist damals nicht erst 21 Jahre alt gewesen, sondern vermutlich schon 34, so daß Philostratos diese Notiz nicht bei Maximos von Aigai, der nur die Jugendgeschichte geschildert hatte, sondern wahrscheinlich bei Moiragenes gefunden haben wird. Denn dieses Erlebnis gehörte jedenfalls nicht in die Zeit des Jugendaufenthaltes des Apollonios in Aigai, sondern vielmehr in die Zeit seines zweiten Aufenthaltes daselbst nach der Rückkehr aus Indien während der Jahre 46—59 n. Chr., während welcher sich Apollonios nach Philostratos (IV 1/12) in Kleinasien aufgehalten hat. Damals wird er außer Ephesos, Smyrna, Pergamon und Neuilion wohl auch die Stätte seiner Jugend Aigai aufgesucht haben. Erst für diesen zweiten Aufenthalt wird die Bitte des Statthalters um Empfehlung beim Asklepios verständlich, da Apollonios erst in dieser Zeit der bewunderte Mann gewesen sein kann, dessen Fürsprache sogar ein Statthalter Roms bei den Priestern und ihrem Gotte für wünschenswert hielt. Philostratos hat dieses Erlebnis während des zweiten Aufenthaltes in Aigai in die frühe Jugend des Apollonios hinaufgerückt, um ihn, den damals erst Zwanzigjährigen, mit höherem Ruhme zu bedecken. Da ferner Philostratos allem Anschein nach infolge der Verwechslung des Cossutianus Capito

unter Nero mit Ateius Capito unter Tiberius die Geburt des Apollonios um etwa 20 Jahre zu früh auf das J. 3—4 v. Chr. statt auf etwa 23 n. Chr. ansetzte, boten ihm seine annalistisch gehaltenen Quellen für etwa 20 Lebensjahre des Apollonios keine näheren Angaben; dem suchte er nun dadurch abzuhelfen, daß er in VI 35/43 Erlebnisse des Apollonios in Unteraegypten, Phoenizien, Kilikien, im jonischen Kleinasien, Griechenland und Italien und speziell in Sardes, im syrischen Antiochia, in Knidos, am Hellespont und in der Troas zusammendrängte, die dieser während der Zeit von 71—91 n. Chr. gehabt haben sollte, also gerade innerhalb von 20 Jahren, um die Philostratos die Geburt des Apollonios zu früh angesetzt hatte. In diesen Kapiteln wird auch, was besonders zu beachten ist, kein historisches Zeitereignis erwähnt und Apollonios mit keinerlei historischen Personen verkehrend vorgeführt. Das in diesen Kapiteln Erzählte hat also Philostratos entweder frei erfunden, um die Lücke von 20 Jahren im Lebenslauf des Apollonios auszufüllen, oder er hat hier auch Erlebnisse nacherzählt, die seine Quellen bereits für die Jahre 46—59 (vgl. IV 1/14) berichteten, d. h. für den ersten Aufenthalt des Apollonios in Kleinasien nach der Darstellung des Philostratos; denn daß sich Apollonios wenigstens in Sardes tatsächlich aufhielt, wie in VI 37 erzählt wird, beweisen seine Briefe Nr. 38/41, 56 und 75/76 an die Bewohner dieser Stadt. Sehr auffallend ist in dieser Partie auch die Zusammendrängung und summarisch kurze Behandlung von Ereignissen, die sich nicht nur an so vielen und so weit auseinander liegenden Örtlichkeiten, sondern auch innerhalb eines so langen Zeitraumes zugetragen haben sollen; denn das steht in scharfem Gegensatz zu der sonstigen streng annalistischen Gestaltung der Biographie, die Philostratos offenbar schon in seinen Quellen, namentlich im tagebuchartig gehaltenen Bericht des Damis vorfand, mag dieser nun echt oder auf Damis Namen gefälscht gewesen sein.

Obwohl uns das Gesagte gegen die Chronologie bei Philostratos mißtrauisch machen muß, möchte ich doch, unter Herabdrückung der Geburt des Apollonios auf etwa 23 n. Chr. und seiner Blüte auf etwa 63, d. h. in die Zeit Neros, alle an sich glaubhaften Nachrichten der Biographie, soweit sie sich auf Ereignisse von der Zeit Neros ab beziehen, als historisch anzusprechen wagen und ebenso die auf Maximos zurückgehenden Notizen über des Apollonios Jugendzeit in Aigai. Das Gleiche möchte ich auch für jene Stellen der Biographie annehmen, in denen Philostratos offenbar den Moiragenes bekämpft, dessen nüchterner gehaltene Vita jedenfalls mehr Glauben verdiente als des Philostratos phantastische Tendenzschrift. Reine Fiktion des Philostratos ist wohl der Reisebericht über Aethiopien, vielfach von Philostratos aufgeputzt der Reisebericht über Indien und von der Legende ganz überwuchert die Notizen über den Ausgang des Weisen.

Mag sich hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Philostratosbiographie und damit auch hinsichtlich des historischen Apollonios wohl kaum jemals eine allgemeine Übereinstimmung erzielen lassen, so viel steht fest, daß in dieser Biographie selbst zwei Auffassungen vom Wesen des Mannes nebeneinander hergehen, sich oft miteinander verschlingen, oft einander aber auch feindlich gegenübertreten, nämlich die Auffassung des Apollonios einerseits als eines Idealphilosophen pythagoreischer Richtung und gottbegnadeten Wundermannes, ja göttlichen Wundertäters, andrerseits aber als eines Zauberers und Gauklers. Nach beiden Richtungen hin ist die Biographie noch etwas näher zu betrachten:

§ 4.

Apollonios als Idealphilosoph phythagoreischer Richtung.

Nicht viel älter als 14 Jahre wurde Apollonios nach dem Bericht des Maximos von Aigai[46] in Aigai durch Euxenos in die Philosophie des Pythagoras eingeführt, der er sich sofort mit ganzer Seele ergab, obwohl er in Aigai auch die andern bedeutendsten Richtungen der griechischen Philosopie wie die jüngere Akademie, den Stoizismus, die Lehre des Aristoteles und seiner Nachfolger, der Peripatetiker, und auch des Epikur kennen lernte; warum er dem Pythagoreismus den Vorzug gab, läßt ihn Philostratos im Verkehr mit den angeblichen Nacktweisen in Aethiopien sagen (VI 11). Als Knabe noch soll er seinen Anschluß an Pythagoras so ernst genommen haben, daß er selbst seinen Lehrer Euxenos verließ, als er merkte, daß dieser nur in der Theorie, nicht aber in der praktischen Lebensführung Pythagoreer war, während er auf die strengste Beobachtung der sogenannten pythagoreischen Lebensvorschrift das Hauptgewicht legte. Daher ergab er sich dem strengsten Vegetarianismus (I 8), enthielt sich vollständig des Weingenusses (I 21) und überhaupt aller berauschenden Getränke, wie des indischen Palmweins (II 6/7), verabscheute alle aus tierischem Stoffen, wie Schafwolle und Leder gefertigten Kleidungsstücke und trug nur Linnengewänder und Bastschuhe, falls er nicht überhaupt barfuß ging (I 8; VIII 5, 1; VIII 7 d e). Des Liebesgenusses enthielt er sich völlig (I 13) und blieb, da er sich ihm nicht einmal der Kindererzeugung wegen hingeben wollte, sein Leben lang unbeweibt.[47] Überhaupt predigte er auch durch sein Beispiel größte Genügsamkeit und war daher auch ein Gegner des warmen Bades (I 16). In mehreren dieser Lebensregeln ging er über Pythagoras, den er selbst wiederholt, z. B. in VI 11, VIII 7 d als sein Vorbild pries, hinaus, da Pythagoras selbst sich keineswegs völlig aller Fleischnahrung, sondern nur gewisser Tiere enthalten, den Weingenuß nach aegyptischer Priesterlehre nur tagsüber verboten und mit Theano verheiratet gewesen sein und mit ihr eine Tochter Damo und einen Sohn Telauges gezeugt haben soll.[48/62] Im Sinne des Pythagoras legte er der Übung des Gedächtnisses (I 14) und der Ausbildung strengster Selbstbeherrschung (I 14, 15) die größte Bedeutung bei und nahm daher die Pflicht, durch 5 volle Jahre unverbrüchliches Stillschweigen zu beobachten auf sich (I 14, 15, 16), ein Gebot, das Pythagoras auch seinen Schülern zur Pflicht gemacht hatte,[63] und auch Apollonios den eigenen Jüngern auferlegte (I 16, V 43). In seinen Vorträgen und Briefen soll er sich der berühmten pythagoreischen Kürze und symbolischen Ausdrucksweise bedient haben (I 17, VI 11, III 15).[64] Alles das sind nur Äußerlichkeiten gewesen, wozu z. B. auch seine Gewohnheit, langherabwallendes Haar zu tragen (I 8, VIII 34, VIII 7 f) gehörte, worauf er sich aber besonders viel eingebildet zu haben scheint. Auch mit seinen Reisen zu

---

[46]) Vit. Apoll. I 7.

[47]) Indes sagt Philostrates selbst in I 13, »daß einige ihm Liebeshändel vorgeworfen hätten«.

[48/62]) Für Pythagoras selbst vgl. Diogenes Laërt. VIII 13, 19/20, 12, 24, 34; 19 vgl. Plutarch, De Iside 6; VIII 42/43, VIII 9, obwohl diese Stellen einander zum Teil widersprechen.

[63]) Vgl. Diogenes Laërt. VIII 10.

[64]) Diogenes Laërt. VIII 17/18.

den persischen Magiern nach Babylon und zu den sogenannten aethiopischen Nacktweisen, d. h. aber nur mit seiner Reise nach Oberaegypten (I 18, 26ff; VI 1ff), kopierte er den Pythagoras,[65] ging aber durch die indische Reise noch weit über ihn hinaus, wobei er sich wieder an das Beispiel des Demokrit von Abdera, des Anaxarchos aus derselben Stadt und des Pyrrhon aus Elis anschloß.[66] Während Philostratos über diese Äußerlichkeiten oft und viel spricht, erfahren wir aus seiner Biographie des Weisen recht wenig darüber, inwieweit er auch in der Theorie, in der philosophisch-religiös-metaphysischen Lebensanschauung Pythagoreer war. Hier wird nur betont, daß er die Seelenwanderungslehre des Pythagoras vertrat (III 23 und oft),[67] wie dieser selbst auch seine Schicksale während längst vergangener Lebensphasen kannte (III 23) und die gleiche Kenntnis auch bezüglich anderer Menschen besaß (V 42, VI 3, 5, VII 18, VI 43). Aus der Lehre von der Seelenwanderung ergab sich auch für Apollonios das oben geschilderte Speise- und Kleidungsgebot, ganz besonders aber auch die Vorschrift, nichts Lebendes zu opfern, die wiederholt betont wird (z. B. I 38, V 25) und in der er wieder über sein Vorbild Pythagoras hinausgegangen sein soll;[68] damit hängt seine Bevorzugung der Zukunftserforschung auf Grund der Beobachtung des als Opfer verbrennenden Weihrauchs zusammen (I 31, V 25), die auch Pythagoras besonders hoch einschätzte,[69] ebenso auch die Beachtung offenbarender Traumgesichte (I 23, II 37, IV 34).[70] Pythagoreisch war ferner das auch von Apollonios gepredigte Gebot, die Götter nicht mit bestimmten Gebetsforderungen oder Bitten zu belästigen, sondern vielmehr einfach zu beten: »Götter, gebet mir, was mir frommt!« (I 11).[71] So vertrat Apollonios auch nach den dürftigen Angaben des Philostratos eine höhere und geistig reinere Auffassung von den Göttern und ihrem Verhältnis zur Menschheit und Schöpfung, woraus sich für ihn wie für Pythagoras die Abneigung gegen die derbsinnlich-anthropomorphe Einschätzung der Götter durch das homerische Epos und die Tragiker ergab (V 14).[72] Wenn endlich in der uns beschäftigenden Biographie gerade die Hauptstücke der pythagoreischen Philosophie, die mystische Zahlenlehre, die Elemententheorie und die Physik, nicht erwähnt werden, so ist das auf Philostratos Abneigung gegen derartige Theoreme zurückzuführen, die er in III 30 durch den indischen Weisen Jarchas hinsichtlich der Zahlenphilosophie direkt aussprechen läßt.[73] Im Übrigen wird Apollonios von Philostratos als leidenschaftslos, menschenliebend, opferbereit, gerecht und edeldenkend geschildert, in politischer Hinsicht als Vertreter einer gesunden Monarchie (V 35/36), womit er dem Pythagoras, dem Anwalt der aristokratischen Oligarchie, den geänderten Zeitverhältnissen entsprechend, nacheiferte. So zeigt sich also auch in diesem Punkte die Biographie des Philostratos wenig zuverlässig; zur Ergänzung und auch Korrektur des in ihr entworfenen Apolloniosbildes hat daher

---

65) Diogenes Laërt. VIII 2.

66) Diogenes Laërt. IX 35, 61, 63.

67) Für Pythagoras vgl. Diogenes Laërt. VIII 4/5, 14, 36 ff.

68) Vgl. die einander widersprechenden Angaben bei Diogenes Laërt. VIII 12, 13, 20, 22, 34.

69) Diogenes Laërt. VIII. 20.

70) Diogenes Laërt. VIII 32.

71) Diogenes Laërt. VIII. 9.

72) Diogenes Laërt. VIII 21.

73) Vgl. I. Miller, Philolog. 51 (1892), 144.

Ed. Meyer im »Hermes«, 52 (1917), S. 412/14 mit Recht die unter Apollonios Namen überlieferten Briefe herangezogen, um uns aus ihnen, so weit sie echt sein dürften, folgende Auffassung vom historischen Apollonios hinsichtlich seiner philosophisch-theosophischen Richtung zu vermitteln: »Die von Apollonios selbst in seinen Briefen ausgesprochenen Sätze enthalten kein durchgebildetes philosophisches System, so wenig wie bei Philostratos, sondern die Mahnung zu sittlicher, durch Einsicht begründeter Lebensführung, zu der vor allem die praktische Tätigkeit, die Sorge für Freunde, Verwandte und Heimatstadt, die Uneigennützigkeit und bei den Beamten ein gerechtes und zur Tugend erziehendes Regiment gehört. Der Philosoph aber soll sich nicht nur von allem Eigennutz und aller Begehrlichkeit frei halten und Wohltätigkeit üben (ep. 48, vgl. 4 u. a.) — über das Geld war Apollonios schon erhaben, ehe er Philosoph wurde (ep. 45) —, sondern allein der Erkenntnis und Verkündung der Wahrheit leben, mit Verschmähung der Zierate der Rhetorik und voller Ablehnung der sophistischen Künste. Außerdem wird von ihm die pythagoreische Lebensweise verlangt, einschließlich des niemals Badens (ep. 43, vgl. 8) und des Schweigens (ep. 81, 82). Das gewährt die Sichselbstgenügsamkeit (αὐτάρκεια, ep. 52, 79, 85) und führt zu allen Wissenschaften einschließlich der Heilkunst, die auch für die Seele nötig ist (ep. 23), und „aller göttlichen Mantik" und vor allem zur „Erkenntnis der Götter, nicht zum bloßen Wähnen über sie, und zur sinnlichen Wahrnehmung der Dämonen, nicht etwa nur zum bloßen Glauben an sie, und zur Freundschaft mit beiden Klassen" und so zu allen Tugenden und zur Unsterblichkeit (ep. 52). Die Götter sind in der richtigen Weise zu ehren, ohne blutige Opfer und viele Feste, die lediglich zu Völlerei und Krankheit führen (ep. 26, 27, 29); sie sorgen für Menschen und Städte (ep. 11 f), aber suchen sie auch heim, so durch Erdbeben (ep. 68); das Schicksal des Einzelnen leitet der persönliche Schutzgeist, das δαιμόνιον (ep. 45, 73). Das Geschick, die Moira, dagegen, die bei Philostratos in den Reden des Apollonios eine so große Rolle spielt, mit starker stoischer Färbung, kommt in den Briefen nicht vor. Das geistige Wesen, die οὐσία, des Menschen ist ewig und unvergänglich, Geburt und Tod sind nur Wechsel der Erscheinungsform, das Leben auf Erden eine Strafe, der Tod kein Übel, sondern das Bessere (ep. 58, 55, 13). Denn der Mensch ist „seiner Gattung nach Gottes, von einer Natur mit ihm, durch jegliche Vernunftbegabung und durch alle seine Regungen mit ihm zur Gemeinschaft verbunden, und zwar als Mensch an sich, wo und wie immer er geboren sein mag, gleichgültig ob als Nichtgrieche oder Grieche" (ep. 44). Wer aber zur wahren Gotteserkenntnis gelangt ist, wie ehemals Pythagoras und jetzt Apollonios selbst, steigt auf zum Geschlecht der Dämonen (ep. 50) und wird ein göttlicher Mensch wie die Magier der Perser, ja ein Gott (ep. 16). Als gottgleich, ja als Gott wird Apollonios nicht nur von vielen Menschen angesehen (ep. 44), sondern auch die Götter haben ihn nicht nur häufig privatim, bei Anfragen anderer, sondern sogar auch öffentlich als göttlichen Menschen anerkannt (ep. 48).« In dieser ausgezeichneten Charakterschilderung des historischen Apollonios aus seinen Briefen durch Ed. Meyer ist für uns besonders wichtig, daß er schon hieraus auch als Mystiker erscheint, worüber gleich noch mehr zu sagen sein wird. Von all dem finden wir dagegen bei Philostratos fast nichts, bei dem die Figur des Weisen auf den unbefangenen Leser der Biographie sogar einen zumeist ungünstigen Eindruck hervorruft; denn Philostratos läßt ihn leider nur allzuoft als den rechthaberischen, spitzfindigen und aufgeblasenen Sophisten auftreten, der Philostratos selbst

gewesen ist. Gerade die Eigenschaft, um derenwillen ihn Philostratos fast göttlich verehrt werden läßt, „weil nämlich sein Wesen so fern von aller Prahlerei war" (VIII 15), vermissen wir bei der Lektüre seiner Biographie des Wundermannes am meisten und schmerzlichsten.

§ 5.

So ermöglichen also eine Korrektur dieses Zerrbildes schon die Briefe des Apollonios, die nicht den Charakter der Aretalogie an sich haben und uns den Mann im schriftlichen Verkehre mit seinem Bruder Hestiaios, mit verschiedenen Gemeinden, Stämmen und Städten, soweit sie echt sind, »weit ernsthafter und schlichter« vor Augen führen, als es »der eitle und großtuerische Wechselbalg aus Wundertäter und Sophist ist, mit dessen Fratze Philostratos dem schlechten Geschmack der Weiber am Hofe des Septimius Severus genugtun konnte«, wie sich W. Schmid treffend ausdrückt.[74] Daher müssen wir den fast vollständigen Verlust der sonstigen Werke des Apollonios, vor allem »Der Weihungen oder über die Opfer« und des »Testamentes«, lebhaft bedauern, da uns auch diese Schriften wie die echten Briefe den historischen Apollonios näher bringen würden. Aus diesen Werken würden wir dann wahrscheinlich auch die abgöttische Verehrung, die Apollonios bei vielen Leuten schon zu Lebzeiten, noch mehr aber nach dem Tode gefunden hat, leichter begreifen als wenn wir, wie jetzt, nur den Apollonios des Philostratos betrachten. Denn selbst das einzige, kurze Bruchstück, das uns Eusebios erhalten hat, zeigt uns die Gottesanschauung des Weisen in einem reinen Lichte und erweist ihn überdies auch als Mystiker, da Apollonios dort folgendes lehrte:[75] »Dem göttlichen Wesen gegenüber, das ich das erste (ursprünglichste) genannt habe, das ein Einziges (Einheitliches) und von allem andern (Existierenden) geschieden ist und auf dessen Erkenntnis erst die der andern göttlichen Wesen folgen kann, diesem göttlichen Wesen gegenüber kann man die ihm gebührende Sorge nur in der Weise an den Tag legen, um seiner Huld und Gnade teilhaftig zu werden, daß man ihm überhaupt kein (materielles) Opfer darbringt, kein Opferfeuer anzündet, ja nichts von all dem, was der sinnlichen Wahrnehmung unterliegt, vor ihm auch nur nennt. Denn das Göttliche bedarf überhaupt keiner Sache, auch nicht etwa so, wie wir Menschen der Gaben der höheren Wesen bedürfen, und ist auch nicht das, was von Uranfang die Pflanzen aufsprießen läßt oder die Tierwelt ernährt (so daß jedes Opfer von Dingen der sinnlichen Schöpfung auch als sogenanntes Erstlingsopfer unsinnig ist); es ist aber auch nicht etwa der Luftraum, dem keine Befleckung beigemengt ist. Diesem göttlichen Wesen gegenüber darf man sich nur der »besseren Rede« bedienen, d. h. nicht jener, die durch den Mund geht; denn von dem Besten und Schönsten alles Existierenden darf man sich die Güter auch nur durch das erbitten, was auch in uns das Beste und Schönste ist, nämlich nur durch die reine Vernunft (den Nus), der keines Werkzeuges bedarf. So also darf man dem großen Gotte, dem Herrn über Alles, keine (materiellen) Opfer darbringen.« Das alles ist reine Mystik: Denn Apollonios unterscheidet hier ein einziges, einheitliches, rein geistig-transzendentales Gotteswesen, das über allem Sinnli-

---

[74]) Griechische Literaturgeschichte II 1, 6. Aufl. (1920), S. 382.

[75]) Praep. evang. IV 13 = Dem. evang. III 3, 11.

chen und über aller sinnlichen Wahrnehmung steht, den reinen Geist und die reine Vernunft in ihrer höchsten Potenz, die nur durch den göttlichen Funken, die Vernunft in uns, nur durch geistige Versenkung in das sinnlich Unbegreifbare begriffen werden kann und nur durch das heilig-mystische Schweigen im Zustande der Betrachtung verehrt und angebetet werden darf. Als rein geistiges, über allem Sinnlichen himmelhoch erhabenes Wesen kann es unmöglich selbst die Tier- und Pflanzen- und überhaupt die Sinnenwelt erschaffen haben, und ist auch mit den höchsten und daher absolut »reinen« Luftschichten nicht identisch, da auch diese sinnlich und materiell sind. Als Herr über alles Existierende muß es zwar auch der Schöpfer alles Existierenden sein, aber nicht direkt, sondern mittels »der anderen göttlichen Wesen«, die als sinnlich wahrnehmbare und auch sinnlich zu verehrende Äußerungen des schöpferischen rein übersinnlichen Nus nach seiner Entschließung die Sinnenwelt und alles Existierende hervorbrachten. Damit können nur die großen Gestirngottheiten Sonne, Mond und die fünf großen Planeten gemeint sein, denen Apollonios nach unserer Biographie bestimmenden Einfluß auf alles Werden und Geschehen zuteilte.[76] So verbindet sich mit der mystisch transzendenten Auffassung von dem höchsten Gottgeist die astrologische von den schicksalbestimmenden Gestirngottheiten, wie denn auch Apollonios nach unserer Biographie ein Buch über die Sternmantik geschrieben hat.[77] In beiden Richtungen zeigt sich Apollonios als Sohn des Orients, dem er als Syrer der Geburt nach angehörte, und so ist er jenen Orientalen beizuzählen, die in den Jahrzehnten um Christi Geburt die Durchdringung des griechischen Westens mit orientalischem Geist, orientalischer Theosophie und Mystik vorbereiteten. In dieser Eigenschaft mag er sich selbst nicht mit Unrecht als Sendbote einer neuen Heilslehre gefühlt haben und als solcher mag er seiner vom Skeptizismus gegen die alte Religion erfüllten Zeit, die nach Höherem und Geistigerem dürstete, wie ein Messias, ja wie ein göttliches Wesen im Fleische erschienen sein. So erklärt es sich auch, daß man ihm wohl bald nach seinem Tode so viele übermenschliche Fähigkeiten und Kräfte zuschrieb, die ihm ohne jenen mystisch-orientalischen Einschlag als einfachem Neupythagoreer wohl kaum zugetraut worden wären. Auch hat Apollonios jedenfalls schon von Natur über einzelne der heute mediumistisch genannten Eigenschaften verfügt, über das »zweite Gericht« und sowohl aktive wie passive telepathische Disposition, jedenfalls auch über eine bedeutende suggestive Kraft, durch die ihm bei seinen Gläubigen Heilungen nervös-hysterischer Leiden und auch sogenannte Daemonenaustreibungen geglückt sein mögen, was alles die Wurzel zu den Legenden gebildet haben mag, die auch das Bild des Apollonios bei Philostratos verschleiern. Gewiß hat diese seine ungewöhnlichen Anlagen die jahrzentelang geübte Askese gefördert, die ständige Beschäftigung mit den Gedanken an das Göttliche, der Aufenthalt in den Tempeln und der Verkehr mit Priestern und religiös erregten Leuten, seinen Jüngern. Die Beachtung, Bewunderung, ja nahezu göttliche Verehrung, die er so in weiten Schichten gefunden haben muß, wird ihn, der Orientale war, zweifellos in seinem Selbstbewustsein bedeutend gehoben und ihn wohl auch hie und da verleitet haben, Wunder gelegentlich auch durch jene Praktiken zu wirken, die auch damals schon

---

[76]) Vit. Apoll. III 41 (die 7 Planetenringe des Inders Jarchas).
[77]) Vit. Apoll., a. a. O. (Vier Bücher über Weissagungen aus den Gestirnen).

außergewöhnliche Erscheinungen hervorrufen konnten, wobei sein Aufenthalt in Indien, dem Lande der Yogadoktrin, natürlich ganz bedeutend ins Gewicht gefallen sein wird. Dadurch überschritt er bewußt und unbewußt den schmalen Rain, der den ungewöhnlich veranlagten Theosophen, Philosophen und Mystiker vom berufsmäßigen Gaukler, Zauberer und Charlatan scheidet, so daß er in dieser Hinsicht seinen Zeitgenossen, noch mehr aber der Nachwelt und ganz besonders uns Epigonen, als durchaus problematische Figur erscheinen mußte. Daher noch ein paar Bemerkungen über

§ 6.

Apollonios als gottbegnadeten Wundertäter und Zauberer:

Die besondere Gnade der Götter offenbarte sich angeblich durch allerhand übermenschliche Fähigkeiten und Kräfte, unter denen das Vorausahnen, beziehungsweise Vorauswissen erst zukünftiger und das Schauen gegenwärtiger, aber meilenweit entfernt sich abspielender Vorgänge mit Hilfe des sogenannten »zweiten Gesichtes« in der Biographie des Philostratos den breitesten Raum einnimmt. Apollonios selbst gibt übrigens in der ihm von Philostratos in den Mund gelegten Verteidigungsrede vor Kaiser Domitian (VIII 7 i) eine Erklärung für diese wunderbare Gabe, die er bei der historischen Gerichtsverhandlung wirklich vorgebracht haben kann und die das Wunderbare daran absichtlich recht natürlich erklärt, da sich Apollonios ja gerade damals von dem Verdachte der Zauberei zu reinigen hatte. Galt doch gerade das Vorauswissen der Zukunft als eines der wichtigsten und wertvollsten Resultate aller magischen Kunst.[78] Zum erstenmale offenbarte sich der übernatürliche Scharfblick des Apollonios während seines Jugendaufenthaltes in Aigai im dortigen Asklepiostempel, indem der damals kaum 20jährige Weise einen Mann, der vor der Befragung des Asklepios sehr reiche Opfer dargebracht hatte, als gottverhaßten Lüstling erkannte, was unmittelbar darauf der Gott selbst seinem Priester in einem Traumgesichte bestätigte (I 11); um dieselbe Zeit sah er auch die Hinrichtung des damaligen Gerichtsherrn von Kilikien voraus, die drei Tage darauf wegen politischer Umtriebe gegen Rom erfolgt sein soll (I 13). Ebenso prophezeite er auch am Hofe des Vardanes den Frevel eines der königlichen Eunuchen (I 34, 37) und sagte, etwa 49 bis 50jährig, die Pest von Ephesos voraus (IV 4, IV 10). Als man ihn im Jahre 59 n. Chr. als Zauberer nicht in die Mysterien der eleusinischen Demeter einweihen wollte, gab er sogleich den Namen jenen Mannes an, der ihn bei seinem zweiten Besuche Athens 9 Jahre später einweihen sollte (IV 18, V 19). Während eines Seebebens vom Jahre 60/61 sah er hellseherisch das Auftauchen einer kleinen Insel zwischen Thera und Kreta (IV 34) und sagte im Jahre 65 in Südspanien voraus, daß Nero's erst 66/67 unternommener Versuch, den Isthmus von Korinth zu durchstechen, nicht zur Vollendung gelangen werde, wobei er ausdrücklich betonte, »die Götter hätten ihn das schon längst erkennen lassen« (V 7). Ebendort kündigte er schon im Jahre 67 die Empörung des Vindex gegen Nero an, obwohl sie erst in das Jahr 68 fiel (V 10), und weissagte bald nach Nero's Tode am 9. Juni 68 das Auftreten der drei Kaiser Galba, Otho und

---

[78]) Vgl. meinen Griechisch-ägyptischen Offenbarungszauber I, II, Leipzig 1921, 1923 = Studien z. Palaeographie u. Papyruskunde, herausgegeben v. C. Wessely, Bd. 21 u. 23.

Vitellius, obwohl erst Galba allein zum Kaiser ausgerufen worden war (V 11/12). Während der Seefahrt von Sizilien nach Athen im Herbste 68 verließ er in Leukas sein Schiff und setzte die Reise auf einem anderen Schiffe fort, da er den Untergang des ersten Schiffes im krisäischen Meerbusen vorauswußte (V 18). Als ihm bei seinem feierlichen Einzuge in Alexandria im Sommer oder Herbstanfange 69 zwölf Männer begegneten, die als Räuber zur Hinrichtung geführt wurden, sah er voraus, daß sich die Unschuld eines der Delinquenten herausstellen werde, verzögerte die Hinrichtung und rettete so den unschuldig Verurteilten (V 24). Am 20. Dezember 69 sah er kraft seines zweiten Gesichtes in Alexandria den Brand des Kapitols von Rom vor sich (V 30) und weissagte ebendort dem Aelian die hohe Stellung eines Gardepraefekten, die Aelian erst 24 Jahre später unter Domitian bekleiden sollte (VII 18). Während einer politischen Unterredung mit Titus vor Mitte Juni 71 von diesem über die Art seines Todes befragt, soll er ihm den Tod durch Vergiftung angedeutet haben (VI 32). Als Kaiser Domitian im Jahre 93 in Rom einen Haftbefehl gegen Apollonios erlassen hatte, merkte er es sogleich in Kleinasien (VI 14). In eben demselben Jahre nach Italien gekommen und von Demetrios bestürmt, sich nicht dem Kaiser zu stellen, erklärte er, daß ihm Domitian nichts anhaben werde und auch nichts antun könne, was er, kraft seiner Erkenntnis, genau wisse, die weiter reiche als die der übrigen Menschen und überhaupt alles durchschaue (VII 14). Unmittelbar vor dem Prozeß entließ er den Damis aus Rom nach Puteoli, befahl ihm aber diese Reise auf dem Landwege zurückzulegen, da er ein Unwetter zur See voraussah (VII 41). Endlich offenbarte sich sein »zweites Gesicht« auch am 18. September 96; denn damals sah er—wie auch Cassius Dio berichtet[79] — in Ephesos in Kleinasien die an jenem Tage erfolgte Ermordung Domitians in Rom mit allen Einzelheiten vor sich und machte sie auch augenblicklich öffentlich bekannt (VIII 26). Wie dieser Blick in die Zukunft, so war auch sein Blick in die Vergangenheit und in jene Lebensverhältnisse etwas Göttliches, die sowohl er selbst als auch andere Menschen gemäß dem Gesetze der Seelenwanderung vor langen Zeitperioden durchlebt hatten.[80]

Noch deutlicher als durch diesen Scharfblick beglaubigte sich Apollonios durch übernatürliche Kräfte als Götterliebling: Hierher gehört vor allem seine angebliche Macht über die Daemonen, worin er sich schon bedenklich den Zauberern näherte, die sich gerade dieser Macht mit Vorliebe zu rühmen pflegten. So verjagte er beim Überschreiten des westlichen Hindukusch (»Kaukasos«) das Gespenst der Empuse (II 4), ließ in Ephesos den Pestdaemon steinigen, den er in einem Bettler entdeckt hatte (IV 10), trieb in Athen einen bösen Geist aus einem Jüngling aus (IV 20), entlarvte in Korinth das Vampirgespenst der Empuse (IV 25) und soll auch in Aethiopien einen geilen Satyr beschworen und unschädlich gemacht haben (VI 27). Natürlich waren ihm auch die Totenseelen untertan, was er dadurch bewies, daß er den Achill auf die Oberwelt zitierte (IV 11, 16). Da schließlich auch die Krankheiten und der vorzeitige Tod auf böse Daemonen zurückgehen, heilte er Kranke im Asklepiostempel zu Pergamon (IV 11) und erweckte ein totes Mädchen in Rom zu neuem Leben (IV 45).

War Apollonios schon durch die bisher erwähnten »Wunder« in Gefahr, für einen Zauberer gehalten zu werden, so sind es jedenfalls folgende drei Umstände gewesen,

[79]) LXVIII 18.

[80]) Vgl. oben § 4.

die ihn zum Zauberer stempeln mußten, d. h. zu einem Manne, der, als im Besitze unbeschränkter Gewalt, die er auch zur Vergewaltigung der Götter und des Schicksals und zum Verderben der Menschen anwenden konnte, im allgemeinen als Götter- und Menschenfeind Haß, Verfolgung und Strafe verdiente. Denn seine angebliche Fähigkeit, sich von Fesseln zu befreien (VII 38, VIII 30), sich unsichtbar zu machen (VIII 5, 7 q) und sich über jede räumliche Entfernung hinwegzusetzen, ja gleichzeitig an zwei räumlich weit auseinander liegenden Orten anwesend zu sein (VIII 12; IV 10), gehörte zu den von den Zauberern besonders heiß erstrebten Zielen. Endlich ist wohl auch noch seine angebliche Gabe, eine Menge fremder Sprachen ohne jedes Studium zu sprechen (I 19) und natürlich auch die Tiersprachen zu verstehen (I 20) ihm nur als Zauberer zugetraut worden, da auch die griechischen Zauberpapyri aus Aegypten gerade hiefür Rezepte bieten. Daher wird man auch ihn verdächtigt haben, daß er sich um solche übermenschliche Resultate zu erzielen, nicht nur auf seine »Begnadung« verließ, sondern auch regelrechte Zauberei trieb. Ganz besonders galt dies jedenfalls hinsichtlich der Mittel, durch die er dem Nerva einen Blick in die Zukunft tun ließ, indem er nämlich einen arkadischen Knaben weihte und schlachtete, um aus seinen Eingeweiden die Zukunft des Nerva zu erkennen, was ihm eine Anklage auf Zaubermord zu politischen Zwecken eintrug (VIII 7 k/p).

Unter diesen Umständen ist es sehr begreiflich, daß Apollonios bald als gottbegnadeter Wundertäter und Götterliebling, bald als gemeingefährlicher Zauberer und gottverhaßter Frevler, von nüchtereren Leuten aber wenigstens als Betrüger oder Charlatan aufgefaßt wurde, beides noch zu seinen Lebzeiten, noch vielmehr aber nach seinem Tode. Philostratos, der dem Lager der gläubigen Verehrer angehört, spricht daher wiederholt davon, daß Apollonios noch bei Lebzeiten sogar für einen Gott gehalten und durch die Kniebeuge verehrt wurde (z. B. VIII 5, 2, VIII 7 g, wo Apollonios vor Gericht dies abzuleugnen versucht). Eunapios bezeugt, daß er Anbetung genoß, da man von ihm glaubte, er besitze bloß scheinbar einen Leib und sei nur scheinbar ein Mensch.[81] Ein Jahrhundert nach seinem Tode erbaute ihm Kaiser Karakalla (211—217) als Heros ein Heiligtum,[82] Alexander Severus (222—235) betete zu seinem, Christi und Moses Bild, das in seiner Hauskapelle aufgestellt gewesen sein soll,[83] in Ephesos wurde er als Herakles, der Übelabwehrende, verehrt[84] und seinen Tempel zu Tyana, der ihm auf kaiserliche Kosten errichtet worden war, erwähnt schon Philostratos (VIII 31). Aber schon in der Zeit des Kaisers Aurelianus (270—275) soll seine Statue in vielen Tempeln aufgestellt gewesen sein.[85] Diese abgöttische, ja geradezu göttliche Verehrung des Weisen wird verständlicher, wenn wir uns erinnern, daß auch der Schwindler Alexander von Abonuteichos in Paphlagonien, der dort eine förmliche Orakelfabrik einrichtete, die mehr als hundert Jahre blühte, übrigens vielleicht der Schüler eines Apolloniosjüngers und kurz vor Philostratos von etwa 105—171 n. Chr. lebend, ebenfalls, trotz einer starken und immer wieder einsetzenden Opposition, fast göttliche Ehren genoß, obwohl er jedenfalls auf viel tieferer sitt-

[81]) Vit. sophist., Chrysanth., pag. 189 Boiss.; vgl. auch das Prooem.
[82]) Cassius Dio LXXVII 18.
[83]) Hist. Aug., Alex. Sev. 29.
[84]) Hierocles bei Lactantius, Div. inst. V 3.
[85]) Hist. Aug., Aurelian, 24).

licher Stufe stand als Apollonios.[86] Aus den Kreisen dieser gläubigen Bewunderer, zu denen später auch der berühmte Redner und Sophist Libanios (314—393) zählte,[87] stammt das Legendäre, das uns auch Philostratos, namentlich über das Entrückungswunder (VIII 30) und seine wunderbare Erscheinung nachher in Tyana (VIII 31) auftischt, wobei er nach seinem eigenen Zeugnis (I 2) auch die Tempeltradition benützte.

§ 8.

Daß er trotzdem doch weit öfter als Zauberer denn als göttlicher Wundertäter aufgefaßt wurde, und zwar noch vor Philostratos, beweisen dessen Angaben über die Schrift des Moiragenes[88] und des Philostratos eigene Polemik gegen diese Auffassung seines Helden (I 2/3, VII 38/39); auf diese Einschätzung des Apollonios gehen auch die jedenfalls verläßlichen Nachrichten bei Philostratos zurück, daß ihn insbesondere die Priester, wohl auch aus Eifersucht auf seinen Ruhm und aus Ärger über seine Reformversuche, als Zauberer nahmen, wie die Demeterpriester zu Athen, die des Trophonios im boiotischen Lebadeia und endlich die der Diktynna auf Kreta (IV 18, VIII 19, VIII 30). Aber auch aus späterer Zeit, ja kurz nach dem Tode des Weisen, fehlt es nicht an Notizen, die ihn als Zauberer und Charlatan brandmarken: Lukian sagt von dem oben erwähnten Schwindler Alexander von Abonuteichos, er habe sich als Jüngling mit einem Manne in ein paederastisches Verhältnis eingelassen, der, aus Tyana stammend und ein Schüler des Apollonios von Tyana, sich zwar öffentlich für einen Arzt ausgab, in Wahrheit aber alle Arten von Zauberei trieb und quacksalberte; dann setzt Lukian noch hinzu: »Man sieht, welche Schule es war, die den Alexander ausbildete.«[89] Ferner hat ihn vielleicht auch Apuleius (um 125 geboren) in seiner Verteidigungsrede gegen die Anklage auf Zauberei in einer Reihe mit den berühmtesten Zauberern, Karmendas, Damigeron, Moses, Jannes, Dardanos, Zoroaster und Ostanes erwähnt.[90]

Gesichert ist seine Auffassung als Zauberer bei Cassius Dion, der von Kaiser Karakalla berichtet, er habe an Zauberern und Gauklern seine besondere Freude gehabt und daher auch den Apollonios, der unter Kaiser Domitian blühte, gelobt und geehrt und ihm sogar ein Heroon erbaut, »obwohl Apollonios doch unzweifelhaft ein Gaukler (γόης) gewesen sei«.[91] Näheres über des Apollonios Wirken als Zauberer erfahren wir erst aus byzantinischen Schriftstellern, die einer von Philostratos wohl absichtlich völlig ignorierten Lokaltradition folgen; ihre Notizen beziehen sich fast durchwegs auf Amulette, die Apollonios in Byzanz-Konstantinopel geweiht haben soll, um allerlei Unheil abzuwehren. Daß Apollonios bei seinen zahlreichen Reisen in Kleinasien auch das blühende Byzanz besucht hat, wo sich ebenfalls eine Tradition an ihn anknüpfte, ist selbstverständlich, obwohl Philostratos den Aufenthalt in dieser Stadt totgeschwiegen hat. In allen diesen Stellen handelt es sich um plastische Figuren, die Apollonios auf

---

86) Vgl. Lukians bissiges, aber in den Hauptsachen verläßliches Pamphlet »Alexander oder der Lügenprophet«.

87) 4. Rede (»Man soll nicht leeres Geschwätz treiben«).

88) Vgl. oben § 1.

89) Alex. 5.

90) De magia § 90; die Handschriften bieten hier apollo hec, apollo h., was jetzt meist als Abkürzung für Apollobex oder Apollobeches genommen wird.

91) LXXVII 18, 4.

rituelle Weise hergestellt und durch Beschwörungen geweiht haben soll, um durch diese Amulettfiguren allerlei Landplagen abzuwenden.[92] Den ausführlichsten Bericht hierüber finden wir bei Cedrenus,[93] wo Folgendes erzählt wird: Apollonios hat durch Zauberei Wunder gewirkt und in Byzanz auf Bitten der Bevölkerung durch seine magischen Künste durchgesetzt, daß die Stadt weder von Schlangen, noch Skorpionen, noch Mücken heimgesucht wurde, ebenso aber auch das Scheu- und Wütendwerden von Pferden verhindert (was für die Byzantiner als leidenschaftliche Liebhaber des Pferdesportes eine wichtige Sache war). Ferner habe er die Stadt auf dieselbe Weise auch vor Überschwemmungen des Flusses Lykos behütet. An einer andern Stelle[94] berichtet Cedrenus dasselbe, aber mit dem Zusatze, Apollonios habe die gleichen Dienste auch den Bewohnern von Antiocheïa erwiesen, indem er aus Bronze einen Skorpion goß, in der Erde vergrub und darüber eine kleine Säule errichtete; dann habe er dem Volke befohlen, Rohrhalme zu nehmen, durch die Stadt zu ziehen und die Halme schwingend zu schreien: »Frei sei die Stadt von Mücken!« Gleich darauf beruft sich Cedrenus auf das Zeugnis des Anastasios, Bischofs von Theopolis, des späteren Patriarchen von Antiocheia (gest. 599), daß viele Amulette dieser Art von Apollonios geweiht, noch nach seinem Tode ihre Wirkung taten. Aber auch am Grabe des Mannes (zu Antiocheia?) taten die Dämonen auf seinen Befehl viele Wunder, um die Menschheit zu betrügen und vom wahren Glauben abzubringen. Trotzdem habe ein anderer Zauberer, namens Manetho, die Kunst des Apollonios gering geschätzt und verlacht, da Apollonios, um seine Wunder zu wirken, Amulette herstellen mußte, während er, Manetho selbst, ebendasselbe durch das bloße Wort zu leisten imstande sei. Einzelheiten bringt ferner auch Malalas:[95] Apollonios habe in Byzanz eine Schildkröte als Amulett aufgestellt und auch in Antiocheia ein Apotropaion gegen den Nordsturm, das am Osttor der Stadt angebracht wurde. Außer den Skorpionen habe er ebendort auch die Mücken ausgetrieben, und zwar auf folgende Weise: Er selbst stellte die eigentliche Abwehrfigur her, und zwar am Neumondtage des Juni; dann befahl er den Bewohnern am 7. Juni, an welchem ein großes Pferderennen abgehalten wurde, mit folgendem Amulett zu erscheinen: jeder Bürger sollte am oberen Ende eines Halmes ein Bildchen des Ares aus massiven Blei bei sich haben, von dem an einem roten Riemen ein Schildchen und an einem Leinenfaden ein kleines Schwert herabhing; damit versehen sollten alle Bürger herumziehen und rufen: »Die Stadt sei frei von Mücken!«, was auch von diesem Tage an der Fall war. Ebendort sei Apollonios nicht imstande gewesen, ein Amulett, das zur Zeit des Kaisers Caligula (37—41) ein Zauberer namens Debborios gegen Erdbeben errichtet hatte, das aber durch einen Blitzschlag zerstört worden war, wieder herzustellen oder ein anderes an seine Stelle zu setzen, obwohl er voraussagte, daß die Stadt wieder von Erdbeben bedroht sei. Übrigens soll er damals mit den Antiochenern nur schriftlich verkehrt haben, da er damals gerade die pythagoreische Schweigepflicht geübt haben wird (vgl. Vit. Apoll. I 14, 15).[96]

---

[92]) Vgl. über diese »beseelten Statuen« den Offenbarungszauber I, § 805/818.

[93]) I p. 346.

[94]) I p. 431/32.

[95]) Chron., pag. 264/66.

[96]) Durch diese letzte Bemerkung wird vielleicht die offenbar falsch angegebene Lebenszeit des Apollonios in unserer Stelle mit 34 Jahren 8 Monaten berichtigt; denn nach Philostratos war Apollo-

Ein Detail für ein solches Amulett in Byzanz berichtet Tzetzes:[97] Da in Byzanz Störche dadurch viele Todesfälle bewirkten, daß sie tote Schlangen in die Brunnen und Wasserleitungen warfen, durch die das Wasser vergiftet wurde, stellte Apollonios Störche aus Marmor auf, die die wirklichen Störche fortscheuchten. Ferner erzählt Georgios Kodinos, Apollonios habe außer zahlreichen geweihten Statuen in ganz Byzanz, deren Amulettwirkung den Kundigen offenbar sei, an den ehernen Torflügeln auch eine Darstellung der Ereignisse der letzten Tage anbringen lassen, um, was erst geschehen werde, bekannt zu machen.[98] Nikephoros Kallisti endlich bringt zwar nichts Neues, weiß aber, daß Apollonios von Rom nach Byzanz gekommen sei.[99] Isidoros von Pelusion dagegen bezeichnet alle diese Berichte als eine gehässige Erfindung der Feinde des Apollonios, die ihn dadurch in den Verdacht der Zauberei bringen wollten; denn in den ausführlichen Biographien des Apollonios würden diese Dinge überhaupt nicht erwähnt.[100]

§ 8.

Da somit Apollonios einerseits als gottbegnadeter Wundertäter, Prophet, religiös-sittlicher Reformator und sogar als Gott aufgefaßt wurde, andrerseits aber auch als Gaukler und Zauberer, lag es nahe, ihn zu dem größten Wundertäter aller Zeiten, Jesus Christus, als dessen Zeitgenosse er bei Philostratos erscheint, in Beziehung zu setzen; denn genau so wie Apollonios galt auch Christus den einen, den Christen, als gottbegnadeter Wundertäter, Prophet und religiöser Reformator, ja als Sohn Gottes und Gott selbst, den andern, den Heiden und Juden, als Gaukler und Zauberer. Das beweist sehr deutlich die Schrift des Kirchenschriftstellers Origenes gegen das »Wahrer Bericht« betitelte und um 150 n. Chr. abgefaßte Pamphlet des Platonikers Kelsos, in welchem dieser Christus ebenso aufgefaßt haben muß. Aber auch Clemens von Alexandria, Eusebios, Arnobius und andere Kirchenschriftsteller der ersten vier Jahrhunderte wenden sich immer wieder gegen die Verdächtigung Christi als Zauberer, als der er auch in der jüdischen Tradition und im Talmud erscheint.[101] Eine direkte Parallele zwischen Apollonios und Christus zog erst Sossianus Hierokles, der den Kaiser Diokletian zu der im Jahre 303 angeordneten Christenverfolgung bestimmt haben soll;[102] als Statthalter von Bithynien gab er nämlich, und zwar nicht vor dem Jahre 307, unter dem Titel

nios, als er sich nach Beendigung der Schweigezeit nach Antiocheia begab, etwa 24 bis 25 Jahre alt, so daß mit der verderbten Zahl 34 Jahre 8 Monate nicht seine Lebenszeit, sondern sein Alter während des 1. Aufenthaltes in Antiocheia angegeben sein mag.

[97]) Chil. II 60, 925 ff.

[98]) De sign. Constantinop. p. 54 Bonn.

[99]) Hist. eccles. III 11.

[100]) Ep. I 398 ed Migne, vol. 78; vgl. noch Euseb., c. Hierocl. 44; Ps.—Justin, quaest. ad orthod. 24; Phot., Bibl. 44, p. 10 a 18 B; Hesych. Miles., Patr. Constantinopol. 25, Fragmenta histor. Graec. IV 151a ed. Müller; Notizen aus arabischen Quellen bei Leclerc, Journ. asiat. VI 14 (1869) 111 ff; Philolog N. F. V 581 ff. — Auch Synesios (Calvit. enc. 6) bezeichnet den Apollonios als Gaukler und als in dämonischen Künsten wohl erfahren und rühmt sein wallendes Haar.

[101]) Vgl. z. B. L. Blau, Das altjüd. Zauberwesen, Berlin [2] 1914, S. 29/30, 41; J. B. Aufhauser, Antike Jesuszeugnisse, S. 38 ff (Lietzmanns Kleine Texte 126, 1913); H. Laible, Jesus Christus im Talmud, [2] Berlin 1896.

[102]) Lactant., Div. inst. V 2, 12; De mort. persec. 16, 3.

„die wahrheitsliebenden Berichte" (Φιλαληθεῖς λόγοι) eine Schrift in 2 Büchern heraus, die an die Christen gerichtet waren und in denen er unter Hinweis auf Apollonios, den heidnischen Wundertäter und Propheten, die Christen zum Heidentume bekehren wollte.[103] Sein berühmter Zeitgenosse, der Kirchenvater Eusebios Pamphili (um 265—340) bekämpfte dieses Pamphlet in einer noch erhaltenen Gegenschrift.[104]

Diese Gegenüberstellung Apollonios-Christus ist für das 4. Jahrhundert umso weniger auffallend, da schon der Kaiser Alexander Severus (222—235) in seiner Hauskapelle (lararium) Apollonios und Christus nebeneinander angebetet haben soll.[105]

Tatsächlich wird in der Biographie des Philostratos nicht wenig erzählt, was an die evangelischen Berichte über Christus erinnert: So denkt man bei dem Blitze, der bei der Geburt des Apollonios vom Himmel gefallen und dann wieder in den Himmel zurückgekehrt sein soll, zum Zeichen, daß er ein Sohn des Blitzgottes Zeus sei (I 5, 6), unwillkürlich an die Taube bei der Taufe Christi;[106] die wunderbaren Krankenheilungen zu Aigai (IV 11) und die Dämonenaustreibung in Athen (IV 20) haben in der Lebensgeschichte Christi viele Parallelen, ganz besonders aber erinnert die angebliche Totenerweckung in Rom (IV 45) auffallend an das gleiche Wunder, das Christus an der Tochter des Jairus gewirkt haben soll;[107] der feierliche Einzug des Apollonios in Alexandria (V 24) kann mit Christi Einzug in Jerusalem verglichen werden,[108] sein unerhört langer Aufenthalt in der Orakelhöhle des Trophonios (VIII 19/20) mit der dreitägigen Höllenfahrt Christi,[109] der Abfall der Mehrzahl seiner Schüler in Aricia (IV 37) mit der Flucht der Jünger Christi bei seiner Verhaftung,[110] seine wunderbare Entrückung (VIII 30), die ein Grab des Apollonios unmöglich machte (VIII 31), mit der Auferstehung und Himmelfahrt Christi,[111] sein Zusammentreffen nach dem Prozeß mit Demetrios und Damis zu Puteoli (VIII 12) mit der Szene zwischen dem auferstandenen Christus und dem ungläubigen Thomas,[112] ebenso endlich auch des Apollonios Erscheinung in Tyana nach seiner Entrückung (VIII 31). Natürlich sind damit nur die auffallendsten Berührungspunkte zwischen der Apolloniosbiographie und den Evangelien angedeutet, während überhaupt das Lehren und Prophezeien, die Opposition gegen die bestehenden Kultformen und die Staatsgewalt und die daraus erwachsende göttliche Verehrung, aber auch heftige Anfeindung den Eindruck einer Abhängigkeit der Apolloniosbiographie von den Evangelien noch bedeutend verstärkt. Daher zog schon Jean Bodin um 1593 in seinem Dialog Heptaplomeres ebenso eine Parallele zwischen Apollonios und Christus wie mehr als zwölfhundert Jahre vorher Hierokles, und Lord Herbert von Cherbury (1582—1648) und Jean de Castillon (1709—1791) führten die Philo-

---

[103]) Lactant., Div. inst. V 3, 22.

[104]) Gegen Hierokles trat wahrscheinlich auch Makarios, der Bischof von Magnesia (Ende d. 4. Jahrh.), auf (Ausgabe von Blondel, pag. 52, 65 ff.; Crafer, Journ. of Theol. Stud. 8 (1906/07), 401/23, 546/71, 409 ff.; Harnack, Texte und Unters. 37, 4, S. 10 ff.).

[105]) Hist. Aug. Alex. Sever. 29.

[106]) Vgl. Matth. 3, 16/17; Marc. 1, 10/11; Luc. 3, 22.

[107]) Vgl. Matth. 9, 18/19; Marc. 5, 35/43; Luc. 8, 49/55.

[108]) Vgl. Matth. 21, 8/9; Marc. 11, 8/10; Luc. 19, 36/40; Joh. 12, 13.

[109]) Matth. 12, 40.

[110]) Vgl. Matth. 26, 56; Marc. 14, 50.

[111]) Vgl. Marc. 16, 19; Luc. 24, 50/51.

[112]) Vgl. Joh. 20, 24/29.

stratosvita in ihrer Opposition gegen die Kirche ins Feld, letzterer durch Friedrich den Großen hierzu angeregt.[113] Seit dem 18. Jahrhunderte ist daher die Frage, inwieweit sich Philostratos durch die Evangelien, beziehungsweise durch die Legende über Christus, beeinflussen ließ und welche Absicht er bei der Abfassung seines Werkes hegte, nicht zur Ruhe gekommen, wurde aber auch sehr verschiedenartig beantwortet. Aus der gewaltigen Literatur hierüber lassen sich etwa folgende Grundanschauungen der älteren und jüngeren Gelehrten herausheben:[114] Die einen sind der Meinung, Philostratos habe das Leben des historischen Apollonios mit allerhand Zügen aus der Geschichte Jesu ausgestattet, um den Apollonios, der bisher entweder als Wundertäter oder aber als Zauberer gegolten hatte, bewußt der Person Christi gegenüberzustellen. Dabei scheidet sich diese Gruppe von Gelehrten in zwei Lager, von denen die Angehörigen des einen Lagers annehmen, Philostratos habe das ebenso wie später Hierokles in einer dem Christentume feindlichen Absicht getan, um einen Heidenheiland dem Christenheiland gegenüberzustellen und den weitern Abfall vom Heidentume einzuschränken, ja laue Heidenchristen wieder zum alten Glauben zu bekehren. Die Angehörigen des andern Lagers dagegen sind der Ansicht, Philostratos habe bei dieser bewußten Gegenüberstellung keine dem Christentume feindliche Absicht verfolgt, sondern vielmehr ein synkretistisches Idealbild schaffen wollen, indem er auf den pythagoreischen Weisen allerhand Züge des »Galiläers« übertrug und so zeigen wollte, daß sich die heidnisch-pythagoreische Auffassung vom Menschen- und Philosophenideale mit dem christlichen Idealbilde des Erlösers sehr wohl vereinigen lasse. Zum ersten Lager gehören ferner jene Gelehrten, die in der Figur des Apollonios bei Philostratos eine bewußt durchgefürte Parodie auf die Gestalt Christi und sein Lehren und Wirken sehen, bestimmt, Christus, den seine Anhänger für Gottes Sohn, ja Gott selbst erklärten, in die Sphäre eines nur menschlichen Wundertäters herabzuziehen, der sogar im Verdachte der Zauberei stand. Während die Gelehrten dieser Richtungen wenigstens daran festgehalten haben, daß Apollonios tatsächlich gelebt hat, sind andere aufgetreten, die zwar dieselben Ansichten wie jene hinsichtlich der Stellung der Apolloniosvita zum Christentume verfechten, dabei aber die Person des Apollonios überhaupt als erfunden hinstellen und so in der Biographie nichts anderes als ein tendenziöses Phantasieprodukt des Philostratos sehen zu müssen glauben. Endlich sind Gelehrte auch noch der Meinung, daß Philostratos, mag Apollonios eine historische Persönlichkeit sein oder nicht, überhaupt nicht durch die Evangelien beeinflußt wurde, sondern vielmehr entweder das über den historischen Apollonios Berichtete zu einem historischen Roman

---

[113]) Vgl. W. Diethey, Arch. f. Gesch. d. Philosophie 6 (1893), 114.

[114]) Vgl. bes. J. B. Lüderwald, Anti-Hierokles, Halle 1793; Ferd. Chr. Baur, Apollonios u. Christus, Tübinger Zeitschr. f. Theologie 1832. = Drei Abhandl. zur Gesch. d. alten Philosoph. u. ihres Verhältn. z. Christus, neu herausgegeb. von Ed. Zeller, Leipzig 1876; A. Wellaur in Jahns Arch. 10 (1844) 418/467; Rieckher, Studien d. evangel. Geistl. Württembergs 19, 2, 1 ff.; Neander, Gesch. d. christl. Rel., Bd. 1, S. 172; L. Noack in Psyche I 2, Gießen 1858; Ed. Müller, War Apollonios v. T. ein Weiser oder ein Betrüger oder ein Schwärmer u. Fanatiker? Liegnitz 1861; Réville, Le Christ Païen in Revue des deux mondes 1865, I 59; C. H. Pettersch, Apollonios v. T., der Heidenheiland, Reichenberg 1879; Chr. L. Nielsen, Apollonios fra Tyana, Kopenhagen 1879; A. Duméril, in den Annal. de la fac. des lettres de Bordeaux, 5, 2, S. 133/168; weitere Literatur bei Olearius, Philostrat. XXXI ff.; dann Ersch u. Gruber, Encyclopaedie s. v. A., endlich Göttsching, Apollonios v. T., Dissertation Leipzig 1889, Überweg-Prächter, Grundriß d. Philosophie d. Altert., 11 Aufl., Berlin 1920, S. 204/05.

erweiterte, oder aber die Figur des Apollonios einfach erfand, um an dieser erfundenen Philosophen-, Theosophen- und Wundermannsgestalt seine eigenen Ansichten von einem ideal-göttlichen Menschen und Philosophen vorzutragen.

In neuerer Zeit ist der Zweifel an der Geschichtlichkeit des Apollonios so gut wie verstummt, hinsichtlich des Verhältnisses der Philostratosbiographie zu den Evangelien aber die Auffassung so ziemlich durchgedrungen, daß Philostratos zwar einzelne Züge von Christus auf Apollonios übertrug, aber vermutlich ohne irgendeine zum Christentume in Beziehung stehende Tendenz,[115] sondern lediglich in der Absicht, den Ruhm des zu seiner Zeit schon göttlich verehrten Mannes noch zu steigern. Das gleiche Ziel verfolgte er auch dadurch, daß er auch aus der Legende über Pythagoras, der damals schon zu einer mythischen Figur geworden war, viele Züge auf Apollonios übertrug, was ihm dadurch sehr erleichtert wurde, daß Apollonios nicht nur selbst diesem Idealbilde nahe zu kommen strebte, sondern auch eine Biographie des Pythagoras geschaffen hat, wie sich Apollonios selbst den alten Weisen vorstellte, und die daher auch für die ausschmückende Apolloniosbiographie des Philostratos eine reichlich fließende und bequem benutzbare Quelle gewesen sein wird.[116] Aus der gleichen Absicht hat er aber auch die Berichte über andere berühmte Leute herangezogen und so auch Züge aus dem Prozeß des Sokrates auf seinen Helden übertragen. Endlich schmückte er das über die Reisen des Apollonios Erzählte aus[117], hat die Reise zu den aethiopischen Nacktweisen aus Eigenem hinzugetan und den Apollonios auch in möglichst genau datierte Beziehungen zu Kaisern, Philosophen, Rhetoren, Sophisten, hohen Beamten und Künstlern seiner Zeit gesetzt, ohne daß wir heute genau angeben könnten, wo er Historisches oder schon vor ihm Berichtetes mitteilt, beziehungsweise wo er selbst erst derartige Beziehungen erfand.[118] Auf diese Weise hat Philostratos eine sogenannte Aretalogie geschaffen, d. h. eine Wundererzählung über eine historische Persönlichkeit mit religiös-ethischer Tendenz, wie R. Reitzenstein in seinem grundlegenden Werke »Hellenistische Wundererzählungen«, Leipzig 1906, überzeugend dargetan hat. Aus all dem Gesagten ergibt sich daher, daß die Apolloniosbiographie des Sophisten Philostratos nur mit Vorsicht zu benützen und nur als eine Art historischer Tendenzroman zu werten ist, wo Historisches mit Unhistorischem, Wahrheit und Dichtung gemischt sind.

§ 9.

Das Werk hat zu allen Zeiten große Beachtung gefunden:[119]

Unter Diocletian (285—305) verfaßte Soterichos aus der afrikanischen Stadt Oasis, der vier Bücher über Dionysos, ein mythologisches Gedicht über Ariadne[120] und zwei Epen über die Weltschöpfung, eines davon auf der Grundlage der sogenannten hermetischen Theologie geschrieben hat,[121] eine epische Biographie unseres Apollo-

[115]) Eine solche nahm Baur a. a. O. wenigstens für seine Auftraggeberin, die Kaiserin Julia Domna, an.
[116]) Vgl. J. Miller, Philolog. 51 (1892) 137/145; 581/584.
[117]) E. Strazzeri, Apollonio di Tyana e la chronologia dei sui viaggi, Terranova 1901.
[118]) Vgl. F. W. Gr. Campbell, Apoll of T., London 1908; A. v. Gutschmid, Kl. Schrift. III 56 ff.
[119]) Vgl. W. Schmid, a. a. O. II 2, S. 776, 11; S. 777, 5.
[120]) Suidas s. v. Σωτήριχος.
[121]) Vgl. W. Crönert, Archiv f. Papyrusforschung 2, 350.

nios.[122] Eine lateinische Darstellung seines Lebens stellte Flavius Vopiscus aus der Zeit der Kaiser Konstantius und Konstantin (323—337) in Aussicht,[123] die aber erst Virius Nicomachus Flavianus aus dem Ende d. 4. Jahrh. auf der Grundlage unserer Philostratosvita lieferte, da er neben der berühmten Familie der Symmachi für die alte heidnische Religion energisch eintrat und wie früher Hierokles im Apollonios einen Heidenheiland dem Christenheiland gegenüberstellen wollte; seine Biographie bearbeitete dann Tascius Victorianus[124] und in dieser Rezension übersendete sie der Bischof Sidonius Apollinaris (um 430—480) seinem Freunde Leo.[125] Daher ist es sehr begreiflich, daß auch der Historiker und gesinnungstreue Heide Ammianus Marcellinus (um 330—um 400) den Apollonios bewunderte[126] und ihn der Rhetor Themistios (um 320 bis um 390) einem Platon und Musonius an die Seite stellte.[127] Aber auch die Christen haben der Philostratosvita große Beachtung geschenkt; denn schon Hieronymus (um 331—420 n. Chr.) und dann der Patriarch Photios im 10. Jahrh. machten Auszüge daraus,[128] Eunapios im 5. Jahrhundert preist sie hoch,[129] der barbarische Ethicus des 7. Jahrh. kennt sie[130] und im 10. Jahrh. schrieb der Erzbischof von Kaisareia sogar Scholien dazu.[131] Auch Suidas, der derselben Zeit angehört, zitiert oft aus Philostratos; wenn er aber einen zweiten Apollonios aus Tyana in der Zeit des Kaisers Hadrian (117—138) erwähnt,[132] so könnte damit vielleicht jener, nicht mit unserem Wundermann identische Sophist Apollonios gemeint sein, dem nach einer Inschrift seine Schüler in Delphoi eine Ehrenstatue um das Jahr 100 n. Chr. gesetzt haben.[133] Aber nicht nur in literarischen Kreisen und Werken der Literatur erhielt sich das Andenken an diesen jedenfalls ungewöhnlichen Mann; denn an der Zimmerwand eines römischen Hauses hat sich noch das halb erloschene Medaillonbild des Weisen mit der Umschrift [Ap]olonius Thyanens erhalten.[134] Ebenso hat auch eine Münze (Contorniat) mit seinem Bilde und der Umschrift Apollonios Teaneus die Jahrhunderte überdauert;[135] da die Rückseite das Bild eines Siegers auf einem Viergespann mit der Umschrift Eliane nica, d. h. »Elianus siege!« aufweist, galt diese Münze offenbar als Talisman, der Sieg im Rennen verleihen sollte.[136] So erscheint auch hier Apollonios als Zauberer. Als solcher lebte er unter dem Namen Balinas auch im nationalen Orient weiter, da ihn das arabische »Buch der Talismane« als seinen Verfasser nennt und interessanter Weise dort auch ein Amulett erwähnt wird, das »ich (Balinas-

[122]) Vgl. K. Münscher, Philolog. Suppl. 10 (1905), 484, 37.
[123]) Vita Aurelian. 24.
[124]) Apollin. Sidon., ep. 8, 3, pag. 173 Mohr.
[125]) Vgl. Traube, Abh. Akad. München III. Kl. XXV 1 (1904), S. 16, u. Apollin. Sidon. ep. 8, 3.
[126]) XXI 14, 5.
[127]) Or. VI, pag. 72 d.
[128]) Hieronym., ep. 53, 1; Photios, bibl. eod. 241.
[129]) Vit. soph. praef.
[130]) Vgl. A. v. Gutschmid, Kl. Schriften V 418.
[131]) Vgl. R. Müller, De Lesbon. grammat., Berlin 1890, 102 f, 106 ff; A. Sonny, Analecta ad Dion. Chrysostom. 86.
[132]) S. v. Ἀπολλώνιος.
[133]) Dittenberger, Sylloge 3. Aufl., Nr. 828.
[134]) CIL VI 29.828 = Dessau 2918; vgl. Maass, Die Tagesgötter, 1902, S. 50.
[135]) Cohen, Méd. impér. VIII p. 281; Baumeister, Denkmäler I 109.
[136]) Vgl. Ed. Meyer, Hermes 52 (1917), 386, 2.

„die wahrheitsliebenden Berichte“ (Φιλαληϑεῖς λόγοι) eine Schrift in 2 Büchern heraus, die an die Christen gerichtet waren und in denen er unter Hinweis auf Apollonios, den heidnischen Wundertäter und Propheten, die Christen zum Heidentume bekehren wollte.[103] Sein berühmter Zeitgenosse, der Kirchenvater Eusebios Pamphili (um 265—340) bekämpfte dieses Pamphlet in einer noch erhaltenen Gegenschrift.[104]

Diese Gegenüberstellung Apollonios-Christus ist für das 4. Jahrhundert umso weniger auffallend, da schon der Kaiser Alexander Severus (222—235) in seiner Hauskapelle (lararium) Apollonios und Christus nebeneinander angebetet haben soll.[105]

Tatsächlich wird in der Biographie des Philostratos nicht wenig erzählt, was an die evangelischen Berichte über Christus erinnert: So denkt man bei dem Blitze, der bei der Geburt des Apollonios vom Himmel gefallen und dann wieder in den Himmel zurückgekehrt sein soll, zum Zeichen, daß er ein Sohn des Blitzgottes Zeus sei (I 5, 6), unwillkürlich an die Taube bei der Taufe Christi;[106] die wunderbaren Krankenheilungen zu Aigai (IV 11) und die Dämonenaustreibung in Athen (IV 20) haben in der Lebensgeschichte Christi viele Parallelen, ganz besonders aber erinnert die angebliche Totenerweckung in Rom (IV 45) auffallend an das gleiche Wunder, das Christus an der Tochter des Jairus gewirkt haben soll;[107] der feierliche Einzug des Apollonios in Alexandria (V 24) kann mit Christi Einzug in Jerusalem verglichen werden,[108] sein unerhört langer Aufenthalt in der Orakelhöhle des Trophonios (VIII 19/20) mit der dreitägigen Höllenfahrt Christi,[109] der Abfall der Mehrzahl seiner Schüler in Aricia (IV 37) mit der Flucht der Jünger Christi bei seiner Verhaftung,[110] seine wunderbare Entrückung (VIII 30), die ein Grab des Apollonios unmöglich machte (VIII 31), mit der Auferstehung und Himmelfahrt Christi,[111] sein Zusammentreffen nach dem Prozeß mit Demetrios und Damis zu Puteoli (VIII 12) mit der Szene zwischen dem auferstandenen Christus und dem ungläubigen Thomas,[112] ebenso endlich auch des Apollonios Erscheinung in Tyana nach seiner Entrückung (VIII 31). Natürlich sind damit nur die auffallendsten Berührungspunkte zwischen der Apolloniosbiographie und den Evangelien angedeutet, während überhaupt das Lehren und Prophezeien, die Opposition gegen die bestehenden Kultformen und die Staatsgewalt und die daraus erwachsende göttliche Verehrung, aber auch heftige Anfeindung den Eindruck einer Abhängigkeit der Apolloniosbiographie von den Evangelien noch bedeutend verstärkt. Daher zog schon Jean Bodin um 1593 in seinem Dialog Heptaplomeres ebenso eine Parallele zwischen Apollonios und Christus wie mehr als zwölfhundert Jahre vorher Hierokles, und Lord Herbert von Cherbury (1582—1648) und Jean de Castillon (1709—1791) führten die Philo-

---

[103]) Lactant., Div. inst. V 3, 22.

[104]) Gegen Hierokles trat wahrscheinlich auch Makarios, der Bischof von Magnesia (Ende d. 4. Jahrh.), auf (Ausgabe von Blondel, pag. 52, 65 ff.; Crafer, Journ. of Theol. Stud. 8 (1906/07), 401/23, 546/71, 409 ff.; Harnack, Texte und Unters. 37, 4, S. 10 ff.).

[105]) Hist. Aug. Alex. Sever. 29.

[106]) Vgl. Matth. 3, 16/17; Marc. 1, 10/11; Luc. 3, 22.

[107]) Vgl. Matth. 9, 18/19; Marc. 5, 35/43; Luc. 8, 49/55.

[108]) Vgl. Matth. 21, 8/9; Marc. 11, 8/10; Luc. 19, 36/40; Joh. 12, 13.

[109]) Matth. 12, 40.

[110]) Vgl. Matth. 26, 56; Marc. 14, 50.

[111]) Vgl. Marc. 16, 19; Luc. 24, 50/51.

[112]) Vgl. Joh. 20, 24/29.

stratosvita in ihrer Opposition gegen die Kirche ins Feld, letzterer durch Friedrich den Großen hierzu angeregt.[113] Seit dem 18. Jahrhunderte ist daher die Frage, inwieweit sich Philostratos durch die Evangelien, beziehungsweise durch die Legende über Christus, beeinflussen ließ und welche Absicht er bei der Abfassung seines Werkes hegte, nicht zur Ruhe gekommen, wurde aber auch sehr verschiedenartig beantwortet. Aus der gewaltigen Literatur hierüber lassen sich etwa folgende Grundanschauungen der älteren und jüngeren Gelehrten herausheben:[114] Die einen sind der Meinung, Philostratos habe das Leben des historischen Apollonios mit allerhand Zügen aus der Geschichte Jesu ausgestattet, um den Apollonios, der bisher entweder als Wundertäter oder aber als Zauberer gegolten hatte, bewußt der Person Christi gegenüberzustellen. Dabei scheidet sich diese Gruppe von Gelehrten in zwei Lager, von denen die Angehörigen des einen Lagers annehmen, Philostratos habe das ebenso wie später Hierokles in einer dem Christentume feindlichen Absicht getan, um einen Heidenheiland dem Christenheiland gegenüberzustellen und den weitern Abfall vom Heidentume einzuschränken, ja laue Heidenchristen wieder zum alten Glauben zu bekehren. Die Angehörigen des andern Lagers dagegen sind der Ansicht, Philostratos habe bei dieser bewußten Gegenüberstellung keine dem Christentume feindliche Absicht verfolgt, sondern vielmehr ein synkretistisches Idealbild schaffen wollen, indem er auf den pythagoreischen Weisen allerhand Züge des »Galiläers« übertrug und so zeigen wollte, daß sich die heidnisch-pythagoreische Auffassung vom Menschen- und Philosophenideale mit dem christlichen Idealbilde des Erlösers sehr wohl vereinigen lasse. Zum ersten Lager gehören ferner jene Gelehrten, die in der Figur des Apollonios bei Philostratos eine bewußt durchgefürte Parodie auf die Gestalt Christi und sein Lehren und Wirken sehen, bestimmt, Christus, den seine Anhänger für Gottes Sohn, ja Gott selbst erklärten, in die Sphäre eines nur menschlichen Wundertäters herabzuziehen, der sogar im Verdachte der Zauberei stand. Während die Gelehrten dieser Richtungen wenigstens daran festgehalten haben, daß Apollonios tatsächlich gelebt hat, sind andere aufgetreten, die zwar dieselben Ansichten wie jene hinsichtlich der Stellung der Apolloniosvita zum Christentume verfechten, dabei aber die Person des Apollonios überhaupt als erfunden hinstellen und so in der Biographie nichts anderes als ein tendenziöses Phantasieprodukt des Philostratos sehen zu müssen glauben. Endlich sind Gelehrte auch noch der Meinung, daß Philostratos, mag Apollonios eine historische Persönlichkeit sein oder nicht, überhaupt nicht durch die Evangelien beeinflußt wurde, sondern vielmehr entweder das über den historischen Apollonios Berichtete zu einem historischen Roman

[113]) Vgl. W. Diethey, Arch. f. Gesch. d. Philosophie 6 (1893), 114.

[114]) Vgl. bes. J. B. Lüderwald, Anti-Hierokles, Halle 1793; Ferd. Chr. Baur, Apollonios u. Christus, Tübinger Zeitschr. f. Theologie 1832. = Drei Abhandl. zur Gesch. d. alten Philosoph. u. ihres Verhältn. z. Christus, neu herausgegeb. von Ed. Zeller, Leipzig 1876; A. Wellaur in Jahns Arch. 10 (1844) 418/467; Rieckher, Studien d. evangel. Geistl. Württembergs 19, 2, 1 ff.; Neander, Gesch. d. christl. Rel., Bd. 1, S. 172; L. Noack in Psyche I 2, Gießen 1858; Ed. Müller, War Apollonios v. T. ein Weiser oder ein Betrüger oder ein Schwärmer u. Fanatiker? Liegnitz 1861; Réville, Le Christ Païen in Revue des deux mondes 1865, I 59; C. H. Pettersch, Apollonios v. T., der Heidenheiland, Reichenberg 1879; Chr. L. Nielsen, Apollonios fra Tyana, Kopenhagen 1879; A. Duméril, in den Annal. de la fac. des lettres de Bordeaux, 5, 2, S. 133/168; weitere Literatur bei Olearius, Philostrat. XXXI ff.; dann Ersch u. Gruber, Encyclopaedie s. v. A., endlich Göttsching, Apollonios v. T., Dissertation Leipzig 1889, Überweg-Prächter, Grundriß d. Philosophie d. Altert., 11 Aufl., Berlin 1920, S. 204/05.

Apollonios) zu Antiocheia gegen Wanzen verfertigte.«[137] In einer arabischen, Picatrix, d. h. Bukratis-Hippokrates, betitelten Bearbeitung eines hellenistischen Handbuches über Magie aus der Mitte des 5. bis 11. Jahrh. n. Chr., wird ihm folgende Beschreibung eines Zeusbildes zugeteilt, das jedenfalls als wundertätige Zauberfigur aufzufassen ist: »Zeus hat die Gestalt eines Mannes, der in einen Mantel eingehüllt ist und auf einem Adler sitzt, mit den Beinen auf den Schultern des Adlers und einer Schriftrolle (?) in der rechten Hand.«[138] In der arabischen, dem Balinus-Apollonios zugeschriebenen Schrift »Das Geheimnis der Natur« wird erzählt, wie Apollonios durch die Inschrift einer Hermesstatue veranlaßt wird, zu deren Füßen nachzugraben; er stößt auf ein dunkles Gewölbe mit heftig wehenden Winden, die ihn eine schöne Traumerscheinung zu bemeistern lehrt. Hierauf sieht er im Gewölbe einen Greis auf goldenem Throne sitzen, vor dem das Buch der »Geheimnisse der Natur« liegt, dessen Inhalt Apollonios dann mitteilen will.[139] Alles das beweist, daß auch das vielgepriesene und vielgelesene Buch unseres Philostratos den Apollonios von der Auffassung als Zauberer nicht zu befreien vermochte, mögen ihn auch die »Orakel der griechischen Götter« mit den Propheten Moses und Hermes Trismegistos[140] und mag ihn auch der Araber Abul Pharaji wieder mit Christus in eine Reihe stellen.[141]

Theodor Hopfner.

Prag.

---

[137]) Vgl. Leclerc, L'identité de Balinas et d'Apollonius de Tyane, Journal Asiatique, 6. Serie, 14 (1869), S. 111—131, S. 129.

[138]) H. Ritter, Picatrix, Studien d. Seminars f. Sprache u. Kultur d. Orients, Hamburg 1922, S. 20; vgl. Steinschneider, Zeitschr. d. Deutschen morgenländischen Gesellsch. 45, S. 439 ff.

[139]) De Sacy, Kitāb sirr el-halīqa li Balīnūs el-hakīm, Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, IV, S. 109 ff, 119 f; H. Ritter, a. a. O., S. 29; die Picatrix bietet eine erweiterte Version (H. Ritter, a. a. O., S. 27/28; vgl. den Poimander d. Hermes Trismegistos).

[140]) Buresch, Klaros 108.

[141]) Hist. dyn. 75.

DAS RELIQUIAR DER DESPOTEN VON EPIRUS

von

GEORG OSTROGORSKY und PHILIPP SCHWEINFURTH

I.

Im Kirchenschatz der Kathedrale von Cuenca wird ein doppelteiliges, mit reicher Goldschmiedearbeit und Malerei verziertes byzantinisches Reliquiar aufbewahrt, (Taf. V) das der Überlieferung nach als Geschenk des Kardinals Albornož dorthin gelangt ist. Die Kenntnis dieses historisch, ebenso wie kunsthistorisch interessanten Denkmals wurde den Verfassern durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Prof. Diego Angulo Iñiguez in Sevilla vermittelt.

Die Höhe des Reliquiars beträgt 0·385 *m*; die Breite jedes der beiden Flügel 0·275 *m*. Auf dem linken Flügel erblickt man die Gest alt der Gottesmutter, die von den Brustbildern von 14 Heiligen umrahmt ist. (Taf. VI, Abb. 1.) Auf dem rechten Flügel ist in gleicher Weise die Gestalt Christi, ebenso von 14 Heiligen umrahmt, abgebildet (Taf. VI, Abb. 2). Jeder dieser Heiligen ist mit einem Reliquienbehälter versehen und weist eine Namensbeischrift auf. Die Namen der die Gottesmutter umrahmenden Heiligen sind: Theodoros Tyron, Theodoros Stratelates, Anna — die Mutter der Theotokos, Prokopios, Artemios, Eustratios, Barbara, Pelagia, Kosmas, Damianos, Panteleemon, Amonas, Gurios Homologetes und Nikolaos Neos. Die Gestalt Christi ist umgeben von den Aposteln: Andreas, Lukas, Thomas und Bartholomaeos und den Heiligen: Johannes Eleemon, Spyridon, Eleutherios, Laurentios, Stephanos Protomartyros, Stephanos Neos, Theodoros Sikeotes, Paulos Homologetes, Antipas und Blasios.

Außerdem waren auf dem Reliquiar des Kirchenschatzes von Cuenca die Darstellungen von zwei Stifterfiguren angebracht. Die eine von ihnen, eine weibliche Gestalt, ist zu Füßen der Gottesmutter deutlich wahrzunehmen. Sie ist, ebenso wie die Gestalt der Gottesmutter selbst, in Malerei ausgeführt und durch eine Inschrift auf dem über ihr befindlichen Metallgrunde gekennzeichnet. Das ursprüngliche Vorhandensein einer zweiten in gleicher Weise angeordneten Stifterfigur zu Füßen Christi wird durch eine ebenfalls im Metallgrunde über ihr erhaltene Inschrift bezeugt. Diese zweite Stifterfigur ist indessen nicht mehr vorhanden, und der Malgrund, auf dem sie sich befand, ist in späterer Zeit mit Farbe überzogen worden.

Die auf die beiden Stifter des Reliquiars in Cuenca bezüglichen Inschriften lauten:

„die wahrheitsliebenden Berichte" (Φιλαληθεῖς λόγοι) eine Schrift in 2 Büchern heraus, die an die Christen gerichtet waren und in denen er unter Hinweis auf Apollonios, den heidnischen Wundertäter und Propheten, die Christen zum Heidentume bekehren wollte.[103] Sein berühmter Zeitgenosse, der Kirchenvater Eusebios Pamphili (um 265—340) bekämpfte dieses Pamphlet in einer noch erhaltenen Gegenschrift.[104]

Diese Gegenüberstellung Apollonios-Christus ist für das 4. Jahrhundert umso weniger auffallend, da schon der Kaiser Alexander Severus (222—235) in seiner Hauskapelle (lararium) Apollonios und Christus nebeneinander angebetet haben soll.[105]

Tatsächlich wird in der Biographie des Philostratos nicht wenig erzählt, was an die evangelischen Berichte über Christus erinnert: So denkt man bei dem Blitze, der bei der Geburt des Apollonios vom Himmel gefallen und dann wieder in den Himmel zurückgekehrt sein soll, zum Zeichen, daß er ein Sohn des Blitzgottes Zeus sei (I 5, 6), unwillkürlich an die Taube bei der Taufe Christi;[106] die wunderbaren Krankenheilungen zu Aigai (IV 11) und die Dämonenaustreibung in Athen (IV 20) haben in der Lebensgeschichte Christi viele Parallelen, ganz besonders aber erinnert die angebliche Totenerweckung in Rom (IV 45) auffallend an das gleiche Wunder, das Christus an der Tochter des Jairus gewirkt haben soll;[107] der feierliche Einzug des Apollonios in Alexandria (V 24) kann mit Christi Einzug in Jerusalem verglichen werden,[108] sein unerhört langer Aufenthalt in der Orakelhöhle des Trophonios (VIII 19/20) mit der dreitägigen Höllenfahrt Christi,[109] der Abfall der Mehrzahl seiner Schüler in Aricia (IV 37) mit der Flucht der Jünger Christi bei seiner Verhaftung,[110] seine wunderbare Entrückung (VIII 30), die ein Grab des Apollonios unmöglich machte (VIII 31), mit der Auferstehung und Himmelfahrt Christi,[111] sein Zusammentreffen nach dem Prozeß mit Demetrios und Damis zu Puteoli (VIII 12) mit der Szene zwischen dem auferstandenen Christus und dem ungläubigen Thomas,[112] ebenso endlich auch des Apollonios Erscheinung in Tyana nach seiner Entrückung (VIII 31). Natürlich sind damit nur die auffallendsten Berührungspunkte zwischen der Apolloniosbiographie und den Evangelien angedeutet, während überhaupt das Lehren und Prophezeien, die Opposition gegen die bestehenden Kultformen und die Staatsgewalt und die daraus erwachsende göttliche Verehrung, aber auch heftige Anfeindung den Eindruck einer Abhängigkeit der Apolloniosbiographie von den Evangelien noch bedeutend verstärkt. Daher zog schon Jean Bodin um 1593 in seinem Dialog Heptaplomeres ebenso eine Parallele zwischen Apollonios und Christus wie mehr als zwölfhundert Jahre vorher Hierokles, und Lord Herbert von Cherbury (1582—1648) und Jean de Castillon (1709—1791) führten die Philo-

---

103) Lactant., Div. inst. V 3, 22.

104) Gegen Hierokles trat wahrscheinlich auch Makarios, der Bischof von Magnesia (Ende d. 4. Jahrh.), auf (Ausgabe von Blondel, pag. 52, 65 ff.; Crafer, Journ. of Theol. Stud. 8 (1906/07), 401/23, 546/71, 409 ff.; Harnack, Texte und Unters. 37, 4, S. 10 ff.).

105) Hist. Aug. Alex. Sever. 29.

106) Vgl. Matth. 3, 16/17; Marc. 1, 10/11; Luc. 3, 22.

107) Vgl. Matth. 9, 18/19; Marc. 5, 35/43; Luc. 8, 49/55.

108) Vgl. Matth. 21, 8/9; Marc. 11, 8/10; Luc. 19, 36/40; Joh. 12, 13.

109) Matth. 12, 40.

110) Vgl. Matth. 26, 56; Marc. 14, 50.

111) Vgl. Marc. 16, 19; Luc. 24, 50/51.

112) Vgl. Joh. 20, 24/29.

stratosvita in ihrer Opposition gegen die Kirche ins Feld, letzterer durch Friedrich den Großen hierzu angeregt.[113] Seit dem 18. Jahrhunderte ist daher die Frage, inwieweit sich Philostratos durch die Evangelien, beziehungsweise durch die Legende über Christus, beeinflussen ließ und welche Absicht er bei der Abfassung seines Werkes hegte, nicht zur Ruhe gekommen, wurde aber auch sehr verschiedenartig beantwortet. Aus der gewaltigen Literatur hierüber lassen sich etwa folgende Grundanschauungen der älteren und jüngeren Gelehrten herausheben:[114] Die einen sind der Meinung, Philostratos habe das Leben des historischen Apollonios mit allerhand Zügen aus der Geschichte Jesu ausgestattet, um den Apollonios, der bisher entweder als Wundertäter oder aber als Zauberer gegolten hatte, bewußt der Person Christi gegenüberzustellen. Dabei scheidet sich diese Gruppe von Gelehrten in zwei Lager, von denen die Angehörigen des einen Lagers annehmen, Philostratos habe das ebenso wie später Hierokles in einer dem Christentume feindlichen Absicht getan, um einen Heidenheiland dem Christenheiland gegenüberzustellen und den weitern Abfall vom Heidentume einzuschränken, ja laue Heidenchristen wieder zum alten Glauben zu bekehren. Die Angehörigen des andern Lagers dagegen sind der Ansicht, Philostratos habe bei dieser bewußten Gegenüberstellung keine dem Christentume feindliche Absicht verfolgt, sondern vielmehr ein synkretistisches Idealbild schaffen wollen, indem er auf den pythagoreischen Weisen allerhand Züge des »Galiläers« übertrug und so zeigen wollte, daß sich die heidnisch-pythagoreische Auffassung vom Menschen- und Philosophenideale mit dem christlichen Idealbilde des Erlösers sehr wohl vereinigen lasse. Zum ersten Lager gehören ferner jene Gelehrten, die in der Figur des Apollonios bei Philostratos eine bewußt durchgefürte Parodie auf die Gestalt Christi und sein Lehren und Wirken sehen, bestimmt, Christus, den seine Anhänger für Gottes Sohn, ja Gott selbst erklärten, in die Sphäre eines nur menschlichen Wundertäters herabzuziehen, der sogar im Verdachte der Zauberei stand. Während die Gelehrten dieser Richtungen wenigstens daran festgehalten haben, daß Apollonios tatsächlich gelebt hat, sind andere aufgetreten, die zwar dieselben Ansichten wie jene hinsichtlich der Stellung der Apolloniosvita zum Christentume verfechten, dabei aber die Person des Apollonios überhaupt als erfunden hinstellen und so in der Biographie nichts anderes als ein tendenziöses Phantasieprodukt des Philostratos sehen zu müssen glauben. Endlich sind Gelehrte auch noch der Meinung, daß Philostratos, mag Apollonios eine historische Persönlichkeit sein oder nicht, überhaupt nicht durch die Evangelien beeinflußt wurde, sondern vielmehr entweder das über den historischen Apollonios Berichtete zu einem historischen Roman

---

113) Vgl. W. Diethey, Arch. f. Gesch. d. Philosophie 6 (1893), 114.

114) Vgl. bes. J. B. Lüderwald, Anti-Hierokles, Halle 1793; Ferd. Chr. Baur, Apollonios u. Christus, Tübinger Zeitschr. f. Theologie 1832. = Drei Abhandl. zur Gesch. d. alten Philosoph. u. ihres Verhältn. z. Christus, neu herausgegeb. von Ed. Zeller, Leipzig 1876; A. Wellaur in Jahns Arch. 10 (1844) 418/467; Rieckher, Studien d. evangel. Geistl. Württembergs 19, 2, 1 ff.; Neander, Gesch. d. christl. Rel., Bd. 1, S. 172; L. Noack in Psyche I 2, Gießen 1858; Ed. Müller, War Apollonios v. T. ein Weiser oder ein Betrüger oder ein Schwärmer u. Fanatiker? Liegnitz 1861; Réville, Le Christ Païen in Revue des deux mondes 1865, I 59; C. H. Pettersch, Apollonios v. T., der Heidenheiland, Reichenberg 1879; Chr. L. Nielsen, Apollonios fra Tyana, Kopenhagen 1879; A. Duméril, in den Annal. de la fac. des lettres de Bordeaux, 5, 2, S. 133/168; weitere Literatur bei Olearius, Philostrat. XXXI ff.; dann Ersch u. Gruber, Encyclopaedie s. v. A., endlich Göttsching, Apollonios v. T., Dissertation Leipzig 1889, Überweg-Prächter, Grundriß d. Philosophie d. Altert., 11 Aufl., Berlin 1920, S. 204/05.

Apollonios) zu Antiocheia gegen Wanzen verfertigte.«[137] In einer arabischen, Picatrix, d. h. Bukratis-Hippokrates, betitelten Bearbeitung eines hellenistischen Handbuches über Magie aus der Mitte des 5. bis 11. Jahrh. n. Chr., wird ihm folgende Beschreibung eines Zeusbildes zugeteilt, das jedenfalls als wundertätige Zauberfigur aufzufassen ist: »Zeus hat die Gestalt eines Mannes, der in einen Mantel eingehüllt ist und auf einem Adler sitzt, mit den Beinen auf den Schultern des Adlers und einer Schriftrolle (?) in der rechten Hand.«[138] In der arabischen, dem Balinus-Apollonios zugeschriebenen Schrift »Das Geheimnis der Natur« wird erzählt, wie Apollonios durch die Inschrift einer Hermesstatue veranlaßt wird, zu deren Füßen nachzugraben; er stößt auf ein dunkles Gewölbe mit heftig wehenden Winden, die ihn eine schöne Traumerscheinung zu bemeistern lehrt. Hierauf sieht er im Gewölbe einen Greis auf goldenem Throne sitzen, vor dem das Buch der »Geheimnisse der Natur« liegt, dessen Inhalt Apollonios dann mitteilen will.[139] Alles das beweist, daß auch das vielgepriesene und vielgelesene Buch unseres Philostratos den Apollonios von der Auffassung als Zauberer nicht zu befreien vermochte, mögen ihn auch die »Orakel der griechischen Götter« mit den Propheten Moses und Hermes Trismegistos[140] und mag ihn auch der Araber Abul Pharaji wieder mit Christus in eine Reihe stellen.[141]

Theodor Hopfner.

Prag.

---

[137]) Vgl. Leclerc, L'identité de Balinas et d'Apollonius de Tyane, Journal Asiatique, 6. Serie, 14 (1869), S. 111—131, S. 129.

[138]) H. Ritter, Picatrix, Studien d. Seminars f. Sprache u. Kultur d. Orients, Hamburg 1922, S. 20; vgl. Steinschneider, Zeitschr. d. Deutschen morgenländischen Gesellsch. 45, S. 439 ff.

[139]) De Sacy, Kitāb sirr el-halīqa li Balīnūs el-hakīm, Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, IV, S. 109 ff, 119 f; H. Ritter, a. a. O., S. 29; die Picatrix bietet eine erweiterte Version (H. Ritter, a. a. O., S. 27/28; vgl. den Poimander d. Hermes Trismegistos).

[140]) Buresch, Klaros 108.

[141]) Hist. dyn. 75.

DAS RELIQUIAR DER DESPOTEN VON EPIRUS

von

GEORG OSTROGORSKY und PHILIPP SCHWEINFURTH

I.

Im Kirchenschatz der Kathedrale von Cuenca wird ein doppelteiliges, mit reicher Goldschmiedearbeit und Malerei verziertes byzantinisches Reliquiar aufbewahrt, (Taf. V) das der Überlieferung nach als Geschenk des Kardinals Albornoz dorthin gelangt ist. Die Kenntnis dieses historisch, ebenso wie kunsthistorisch interessanten Denkmals wurde den Verfassern durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Prof. Diego Angulo Iñiguez in Sevilla vermittelt.

Die Höhe des Reliquiars beträgt 0·385 *m*; die Breite jedes der beiden Flügel 0·275 *m*. Auf dem linken Flügel erblickt man die Gest alt der Gottesmutter, die von den Brustbildern von 14 Heiligen umrahmt ist. (Taf. VI, Abb. 1.) Auf dem rechten Flügel ist in gleicher Weise die Gestalt Christi, ebenso von 14 Heiligen umrahmt, abgebildet (Taf. VI, Abb. 2). Jeder dieser Heiligen ist mit einem Reliquienbehälter versehen und weist eine Namensbeischrift auf. Die Namen der die Gottesmutter umrahmenden Heiligen sind: Theodoros Tyron, Theodoros Stratelates, Anna — die Mutter der Theotokos, Prokopios, Artemios, Eustratios, Barbara, Pelagia, Kosmas, Damianos, Panteleemon, Amonas, Gurios Homologetes und Nikolaos Neos. Die Gestalt Christi ist umgeben von den Aposteln: Andreas, Lukas, Thomas und Bartholomaeos und den Heiligen: Johannes Eleemon, Spyridon, Eleutherios, Laurentios, Stephanos Protomartyros, Stephanos Neos, Theodoros Sikeotes, Paulos Homologetes, Antipas und Blasios.

Außerdem waren auf dem Reliquiar des Kirchenschatzes von Cuenca die Darstellungen von zwei Stifterfiguren angebracht. Die eine von ihnen, eine weibliche Gestalt, ist zu Füßen der Gottesmutter deutlich wahrzunehmen. Sie ist, ebenso wie die Gestalt der Gottesmutter selbst, in Malerei ausgeführt und durch eine Inschrift auf dem über ihr befindlichen Metallgrunde gekennzeichnet. Das ursprüngliche Vorhandensein einer zweiten in gleicher Weise angeordneten Stifterfigur zu Füßen Christi wird durch eine ebenfalls im Metallgrunde über ihr erhaltene Inschrift bezeugt. Diese zweite Stifterfigur ist indessen nicht mehr vorhanden, und der Malgrund, auf dem sie sich befand, ist in späterer Zeit mit Farbe überzogen worden.

Die auf die beiden Stifter des Reliquiars in Cuenca bezüglichen Inschriften lauten:

links:	rechts:
ΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛ[ΙΣ]	
ΣΑΑΓΓΕΛΙ[Ν]Α	
ΔΥΚΕΝ	ΘΩΜΑΣΔ[ΕΣ]
ΑΗΠΑΛΑ	ΠΟΤΗΣΚ[ΟΜΝ]
ΙΟΛΟ[ΓΙ]	ΗΝΟΣΟΠ[ΑΛΑ
Ν[Α]	Ι[ΟΛΟΓΟΣ]
Μαρία Βασίλισσα Ἀγγελῖνα Δούκαινα ἡ Παλαιολογῖνα	Θωμᾶς Δεσπότης Κομνηνὸς ὁ Παλαιολόγος

Die weibliche Stifterfigur ist ganz unverkennbar jene Maria Angelina Dukaina Palaiologina, Tochter des „Palaiologen" Symeon Uroš und Nichte des großen Dušan, die 1367—1394 mit ihren beiden Gatten, dem Serben Thomas Preljubovič und nach dessen gewaltsamen Tode dem Italiener Esau de Buondelmonte, die Herrschaft von Joannina teilte. Die männliche Stifterfigur, die nachträglich übermalt worden ist, stellte, wie die erhaltene Inschrift erkennen läßt, den ersten Gatten Marias dar, jenen Despoten von Joannina Thomas Preljubovič, der 1367—1384 in der Hauptburg des Epirus regierte. Unser Reliquiar stammt also aus dem epirotischen Gebiet und fällt in die Regierungszeit des Despoten Thomas.[1] Die auf den ersten Blick merkwürdig anmutende Tatsache, daß die Figur des Thomas, die ursprünglich zu Füßen Christi, ebenso wie die Figur seiner Gattin zu Füßen Marias angebracht war, später getilgt worden ist, erklärt sich aus der Geschichte dieses Mannes, die wir uns kurz vergegenwärtigen

---

[1]) Wie die Inschrift unseres Reliquiars zeigt, pflegte auch der Despot Thomas Preljubovič, gleich seiner Gattin, sich byzantinische Kaisernamen beizulegen. Das war aus anderen Quellen noch nicht bekannt, paßt aber sehr gut zu dem Milieu, mit dem wir es hier zu tun haben. Wenn auch nur ein entfernter Anlaß dazu bestand, waren die Vertreter des damaligen slavischen Adels bestrebt, sich klangvolle griechische Familiennamen anzueignen. Am häufigsten wurde der Name der Mutter rezipiert (so trug auch Maria Angelina selbst den Namen Dukaina nach ihrer Mutter, der Dukaina Thomais von Epirus, den Namen Palaiologina — wie schon ihr Vater, der »Palaiologe« Zar Symeon — nach der Großmutter, Maria Palaiologina); bisweilen, obgleich seltener, wurde auch der Name der Ehefrau übernommen. Herr Professor Alexander Solovjev, dem ich auch an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte, verweist mich hierfür auf folgende Fälle. Der König Stephan Radoslav unterzeichnet 1234 eine Urkunde als Στέφανος ῥὴξ ὁ Δούκας (Miklosich, Mon. Serb. 20), weil seine Frau Anna eine Tochter des Theodoros Angelos Dukas Komnenos von Epirus war (vgl. den Ausdruck „Δουκικῆς ῥίζης" auf der Inschrift ihres Trauringes bei K. Krumbacher, Sitz.-Ber. Bayer. Akad. III, 1906, 423 und Čajkanović, Byz. Z. XIX, 111). Einer der Gehilfen Stephan Dušans, der einer bescheidenen serbischen Familie entstammende Radoslav Povića (so heißt er noch in einer Urkunde von 1355, vgl. A. Solovjev, Glasnik Skopsk. Naučn. Dr. II, 28), erscheint 1365 plötzlich als Ῥαδοσθλάβος κῦρ Τορνίκης, γαμβρὸς der Kaiserin Helena (Viz. Vrem. XII, Anh. 38). Schon Jireček (Gesch. der Serben II, 316 und III, 70) weist darauf hin, daß Radoslav in der Zwischenzeit eine Tornikissa geheiratet haben mußte und daher den neuen Namen erhielt (vgl. jetzt auch A. Solovjev, Glasnik Sk. Nar. Dr. VII, 157). Der Bruder des Bulgarenzaren Johannes Alexander, Johannes Asěn, unterzeichnet eine Urkunde von 1350 als Johannes Despotes Komnenos (Spomenik Srp. Kral. Akad. XI, 30); das ist zweifellos auf sein Ehebündnis mit Anna, der Witwe des Despoten Johannes' II. von Epirus, zurückzuführen. — Was nun unseren Thomas Preljubovič betrifft, so hatte er doppelte Möglichkeit in Besitz byzantinischer Namen zu gelangen. Seine Mutter war eine vornehme, dem königlichen Hause nahestehende Frau (vgl. die von D. Anastasievič, Spomenik Srp. Kr. Akad. LVI, 6 publizierte Urkunde) und zweifellos eine By-

wollen.[2] Im Rahmen der Geschichte jener Kleinstaaterei, die auf den Trümmern der Macht Stephan Dušans aufblühte, bildet das blutige Walten des Despoten Thomas in Joannina einen nicht uninteressanten Abschnitt.

Nachdem der Cäsar Preljub, der als Statthalter Dušans über einen großen Teil Thessaliens und über Joannina regiert hatte, im Jahre 1355 gestorben und der ehemalige byzantinische Despot von Epirus, Nikephoros, seinem Versuch, das Despotat noch einmal an sich zu reißen, 1358 zum Opfer gefallen war, konnte Symeon Uroš, der seinem jungen Neffen die Nachfolge Dušans strittig machte und sich den Titel »Kaiser der Griechen und Serben« beilegte, über Aetolien und Akarnanien hinaus sich zunächst auch in Thessalien und im Epirus behaupten. Allerdings stand er im Epirus auf sehr schwachen Füßen, und als die Familie Preljubs ihre Rechte auf das Land geltend machte, schlug Symeon Uroš, der zwar viel Ehrgeiz, aber nur wenig von der kraftvollen Energie seines großen Bruders besaß, den Weg der Verständigung ein. Er vermählte seine Tochter Maria, welche den wohlklingenden Namen Maria Angelina Dukaina Palaiologina führte, mit dem Sohn des verstorbenen Cäsars Preljub und setzte diesen in Joannina ein; der nördliche Teil des Epirus fiel in die Hände der albanischen Häuptlinge Ghin Bua Spatos und Peter Ljoša. Damit war der Riß, der seit Dušans Tode zwischen dem nördlichen und dem südlichen Epirus bestand, besiegelt. Auch Aetolien und Akarnanien mußte Stephan Uroš albanesischen Häuptlingen preisgeben und sich mit einer nominellen Anerkennung seiner Oberherrschaft begnügen.

So begann in der Zeit des jähen Abstiegs der serbischen Macht im Jahre 1367 die Herrschaft des Thomas Preljubovič über den südlichen Epirus. Es war eine ausgesprochene Fremdenherrschaft, die infolge der persönlichen Eigenschaften des »habgierigen Tyrannen« Thomas für die einheimische Bevölkerung völlig unerträglich wurde. Die Bewohner Joanninas, die den Gemahl der frommen »Kaiserin« Maria anfangs mit Freuden begrüßten, merkten bald, daß sie, »die albanesische Sklaverei fliehend, einem noch größeren Übel verfallen waren«. Während der Chronist der εὐσεβὴς βασιλίσσα Maria stets mit größter Achtung gedenkt, kann er nicht genug Schmähungen finden, um alle Untaten des φιλόχρυσος und μισόχριστος Thomas zu brandmarken. Vor allem wird immer wieder seine Habsucht betont, und in der Tat scheint Thomas das Land in der rücksichtslosesten Weise ausgebeutet zu haben, indem er weder die Vertreter

---

zantinerin; sie trug den in Serbien damals nicht üblichen Namen Irene und ihr Sohn aus zweiter Ehe, Stephanos, ein Stiefbruder unseres Thomas, erhielt den Namen Dukas. Noch mehr spricht indessen dafür, daß Thomas die stolzen Namen, die er auf unserer Inschrift führt, seiner Gattin Maria Angelina zu verdanken hatte. Wir sehen, wie gerade im Epirus damals Generation für Generation dynastische byzantinische Namen infolge ehelicher Verbindungen auf die slavischen Machthaber übergehen: Johannes Asĕn nannte sich Komnenos, weil er mit Anna, der Witwe des Despoten von Espirus, eine Ehe schloß; Symeon der Palaiologe war mit Annas Tochter, Thomais, verheiratet und Thomas Preljubivič, der die Tochter des Thomais, Maria Angelina, zur Frau erhielt, ließ sich Komnenos Palaiologos nennen.

[2]) Die wichtigste Quelle sind die Epirotica, ed. Becker im Bonner Corpus (die vollständige Ausgabe der Chronik des Comnenus und des Proclus ed. G. Destunis, Petersburg 1858, ist uns unzugänglich). C. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit in Ersch & Gruber, Bd. 86, S. 32 ff.; derselbe, Chroniques gréco-romanes inédites ou pen connues, S. 529 ff.; C. Jireček, Geschichte der Serben, Band I (1911); F. Herzberg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart II (1877), 314 ff., 341 ff., 418 f.; N. A. Bees, Zeitschr. f. osteurop. Gesch. III (1913), 209 ff.; Βυζαντίς I (1909), 191 ff.; Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογική 1911, S. 182, Nr. 3.

der angesehendsten lokalen Geschlechter noch die breiten Volksmassen schonte. Die größte Erbitterung erweckten seine Gewalttaten gegen den allgemein hochgeehrten Metropoliten Sebastianus und die Enteignungen der Kirchengüter, die er an seine Serben verteilte. Doch auch unter den Serben wandten sich nach und nach viele von ihm ab.

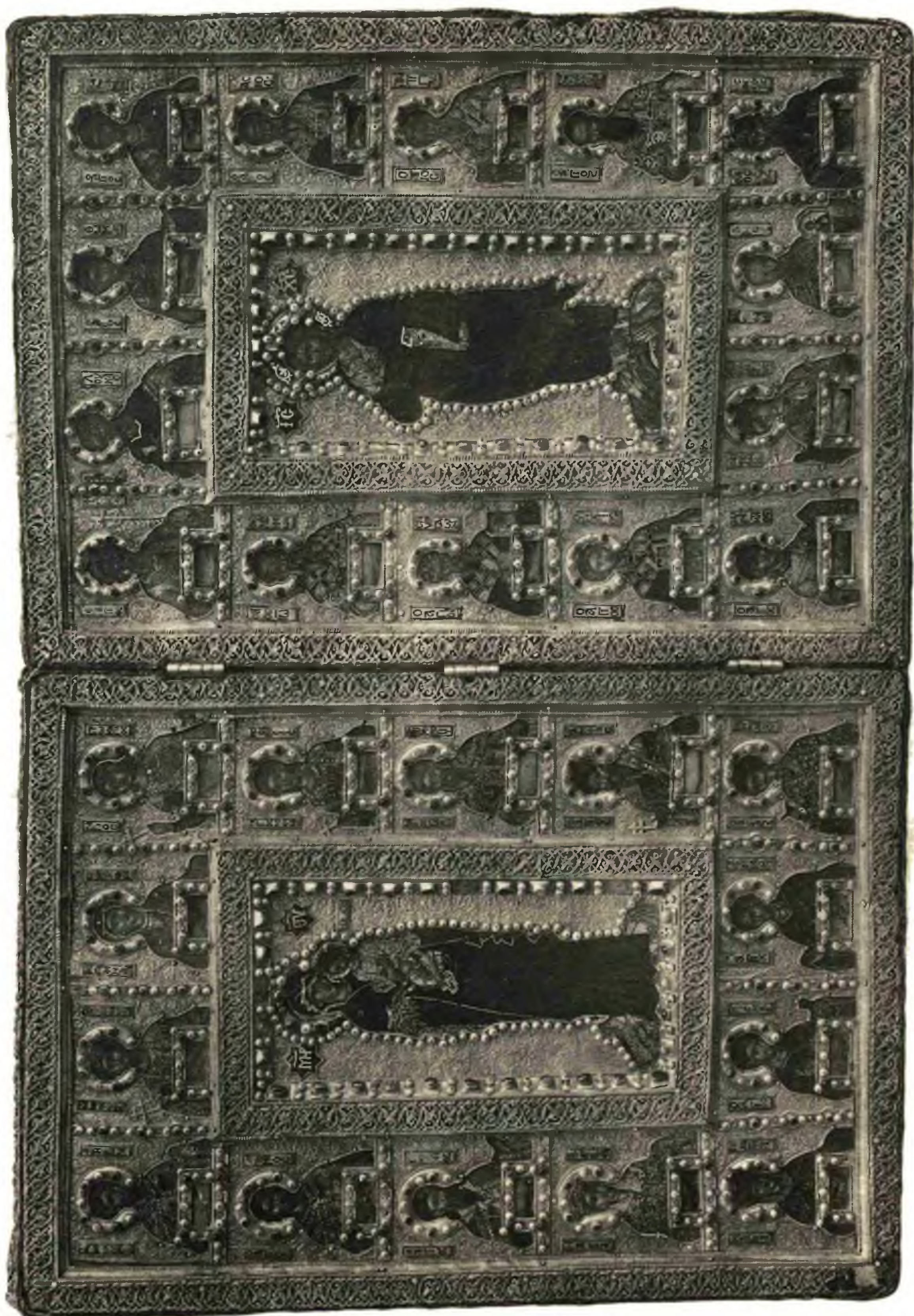
Das Elend stieg noch infolge von Hungersnöten, die unter Thomas' Regierung das Land mehrfach heimsuchten und ganz besonders infolge der endlosen Kriege gegen die Albanesen. Mit Peter Ljoša, dem Despoten von Arta und Rogus, dann mit Ghin Bua Spatas an der Spitze suchten die Albanesen die serbische Herrschaft von Joannina niederzuwerfen und standen mehrfach vor den Mauern der Stadt. In den schwierigsten Stunden wußte Thomas die albanesischen Häuptlinge durch Ehebündnisse und Geschenke zu beschwichtigen, während er bei gelegentlichen Siegen mit abscheulicher Grausamkeit Rache an dem Gegner nahm. Den gewaltigen Bezwinger des Bulgarenreiches, Basileios II Bulgaroktonos, parodierend, legte sich der kleine Tyrann den Titel „Albanitoktonos" bei.

Der Kampf des Thomas gegen die Albanesen endete wie die meisten Kriege dieser Zeit. Thomas rief die Osmanen ins Land und wurde mit deren Hilfe im Sommer 1382 seiner Gegner los. Die Erwägung, daß dadurch einem unendlich mächtigeren Feind die Tore geöffnet wurden, lag einem Thomas natürlich ferne; sie hat in ähnlichen Fällen auch einsichtigeren Fürsten keine Sorgen bereitet. Thomas hatte gesiegt und konnte es als Ergebnis dieses Erfolges buchen, daß er im Herbst desselben Jahres 1382 vom byzantinischen Kaiser durch offizielle Verleihung der δεσποτικὰ ἀξιώματα als Despot von Epirus anerkannt wurde.

Zwei Jahre darauf wurde aber das Land von der Schreckenherrschaft befreit; am 23. Dezember 1384 ward der allen verhaßte Despot Thomas von seinen eigenen Leuten ermordet.

Nun brach für die Epiroten wieder eine bessere Zeit an. Das Volk von Joannina, das der Maria Angelina Dukaina Palaiologina stets zugetan war, rief diese zur Regentin aus. Maria stellte sich in den Schutz ihres Bruders, des Johannes Dukas Palaiologos, der 1371 Symeon Uroš auf dem Thron von Thessalien abgelöst hatte. Ein Schüler des heiligen Mönches Athanasius, war Johannes ein milder, frommer Mann, der sich mit Vorliebe im Meteorenkloster aufhielt, in das er sich später als Mönch Josaph endgültig zurückziehen sollte. Er setzte sich nach bestem Können für seine Schwester ein, als aber Bua Spatas den Regierungswechsel zu einem neuen Ansturm gegen die serbische Herrschaft in Joannina benutzte, erblickte Johannes in einer Wiedervermählung seiner Schwester die Lösung. Mit Zustimmung des Volkes wurde zum neuen Gatten Marias der Italiener Esau de Buondelmonte auserkoren. Die Wahl war glücklich, denn die Buondelmonti, die seit dem XII. Jahrhundert in der Geschichte von Florenz eine so große Rolle spielen und in Dantes Paradies (16, 66 und 16, 140) erwähnt werden, waren im XIII. Jahrhundert auch eines der mächtigsten italienischen Geschlechter des fränkischen Griechenlands. Eines großen Ansehens erfreute sich hier auch das Geschlecht der Acciajouli, dem die Mutter Esaus entstammte, während seine Schwester Maddalena, die Witwe Leonardos I. Tocco, zu jener Zeit für ihren minderjährigen Sohn in Kephalenia die Regierung führte. Am Hofe von Kephalenia hielt sich auch Esau auf, als ihn der Ruf von Joannina erreichte. Schon am 31. Januar 1386 wurde

V.



1

2

er in Joannina von der jubelnden Bevölkerung als neuer Despot begrüßt. Der Rückhalt, den er einerseits im fränkischen Griechenland und andererseits bei seinem Schwager in Thessalien hatte, die guten Beziehungen zum byzantinischen Kaiser und nicht zuletzt seine eigenen Fähigkeiten erlaubten Esau in Epirus festen Fuß zu fassen und — soweit es die schweren Verhältnisse des vielgeplagten Landes zuließen — die Ordnung wiederherzustellen.

So atmete man in Joannina wieder auf. Das Andenken, welches Thomas im Lande allenthalben hinterlassen hatte, war düster genug. Und es kann nicht Wunder nehmen, daß man auch auf unserem Reliquiar — vermutlich einem Familienreliquiar des fürstlichen Hauses — die Figur des verhaßten Tyrannen getilgt hatte, um den »μισόχριστος« nicht zu Füßen Christi und nicht mehr neben der frommen Maria Angelina sehen zu müssen.

Georg Ostrogorsky.

Breslau.

II.

Die zahlreichen Kultbilder (Ikonen) der orthodoxen Kirche, die sich in den griechischen Kirchen, in den Klöstern des Athos, in der Vatikanischen Pinakothek, in den Museen von Venedig, Bologna, Catania und Palermo und sonst noch in europäischen und auch in amerikanischen Sammlungen vorfinden, gehören zum allergrößten Teil einer Spätschule an, die nach dem Untergang Konstantinopels für den christlichen Osten weiterarbeitend, vor allem in Venedig, Süditalien, Sizilien und Kreta ihren Sitz gehabt hat. Diese Spätschule muß als italo-byzantinisch bezeichnet werden, weil ihre Werke in Ikonographie und Technik nach wie vor der alten byzantinischen Tradition folgen, gleichzeitig aber auch Elemente der Renaissance in einer ausgeprägten Körperlichkeit der Gestalten, in freieren Bewegungsmotiven, perspektivisch entwickelten Hintergründen, sowie in ornamentalen Motiven aufweisen. Das Hauptmerkmal der italo-byzantinischen Schule ist demnach ein mehr oder weniger deutlich erkennbarer Mischstil. Ihre Werke, die immer heterogene Elemente vereinigen, entbehren oft nicht einer bestimmten künstlerischen Qualität, können aber keinen Anspruch auf absoluten Kunstwert erheben. Auf letzteren hat weit eher die seit dem XIV. Jahrhundert feste Gestalt gewinnende und bis ins XVII. Jahrhundert hinein blühende altrussische Ikonenmalerei ein Recht, deren Erzeugnisse das Niveau der italo-byzantinischen Schule in vieler Hinsicht überragen. Solche altrussische Ikonen finden sich, zusammen mit den Werken der italo-byzantinischen Schule, in einigen der obengenannten Sammlungen, vor allem in der Vatikanischen Pinakothek.[3] Von größtem Interesse sind aber aus der Zahl der alten Kultbilder der orthodoxen Kirche naturgemäß diejenigen, bis jetzt immer noch sehr seltenen Ikonen, die unmittelbar dem Kreise der eigentlichen byzantinischen Kunst angehören. Die große byzantinische Kunst, die Bewahrerin der klassischen Form während des Mittelalters, kennen wir — nach einem Ausspruch von Charles Diehl, dessen Berechtigung nicht in Abrede gestellt werden kann — nur aus ihren Trümmern. Es ist

[3]) A. Munoz: I quadri bizantini della Pinacoteca Vaticana. Rom 1928.

aber ein ausgedehntes und sehr reiches Trümmerfeld, um das es sich hier handelt, und die byzantinistische Forschung sowie die ihr verwandten Disziplinen (von denen vor allem die russische Kunstforschung zu nennen ist) sind unablässig bemüht, diese Reste ihrem Wert und ihrer Bedeutung nach zu erkennen. So sind in den letzten zehn Jahren auf dem Gebiet der mittel- und spätbyzantinischen Wandmalerei Entdeckungen von größter kunstgeschichtlicher Bedeutung in Vladimir und in Novgorod (Rußland) gemacht worden.

Der uns auf dem Gebiet der byzantinischen Tafelmalerei aus einem Jahrtausend, vom VI.—XV. Jahrhundert erhaltene Denkmälerbestand ist in gemeinsamer Arbeit von O. Wulff (Berlin) und M. Alpatov (Moskau) neuerdings abgebildet und beschrieben worden.[4] Die Gesamtzahl der erhaltenen byzantinischen Ikonen ist sehr gering. Auch aus der spätbyzantinischen Periode des XIV. und XV. Jahrhunderts besitzen wir nur sehr wenige Tafelbilder, von denen als die hauptsächlichsten die Mosaikikonen im Louvre, im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum, im Londoner South-Kensington-Museum und in der Opera del Duomo in Florenz, und die Temperaikonen in Ochrida (Bulgarien), Moskau und Petersburg zu nennen sind.[5]

Das »Reliquiar der Despoten von Epirus« im Schatz der Kathedrale von Cuenca, das nach dem Befund seiner Inschrift zwischen 1367 und 1384 entstanden sein muß, und dessen stilkritische Merkmale in jeder Hinsicht auf die spätbyzantinische Epoche verweisen, ist in hervorragendem Maße geeignet, die Zahl der bisher bekannt gewordenen Werke der spätbyzantinischen Ikonenmalerei zu ergänzen und unsere Vorstellung von ihrem Wesen zu festigen.

Während auf den mittelbyzantinischen Reliquiaren, der Staurothek von Limburg (X. Jahrh.) und der Staurothek von Gran (XI. Jahrh.) sämtliche figürliche Darstellungen in Goldemail ausgeführt sind, weist das spätbyzantinische Reliquiar im Schatz der Kathedrale von Cuenca figürliche Darstellungen in Malerei auf, die in Edelmetall, Perlen und kostbare Steine gefaßt sind. Es gleicht hierin dem Reliquiar des Bessarion[6] (früher im Wiener Hofmuseum, jetzt in der Akademie in Venedig), dessen Schauseite um die Mitte des XV. Jahrhunderts und bereits als Werk der italo-byzantinischen Schule wahrscheinlich in Venedig entstanden sein dürfte.

Für die Stilbestimmung des spätbyzantinischen Reliquiars in Cuenca kommen zunächst die beiden größten der auf ihm dargestellten Gestalten, die Gestalt Christi auf dem rechten und die der Gottesmutter auf dem linken Flügel des Reliquiars in Betracht. Die Gestalt Christi ist auf einem Kissen (Omphalion) stehend dargestellt, das mit Goldlichtung versehen ist. Christus trägt ein mit breitem goldenen Clavus besticktes, mit Goldlichtung verziertes Untergewand, über das ein dunkler Mantel geworfen ist. Sein geradeaus blickendes Haupt ist bärtig und von reichen, in der Mitte gescheiteltem Haar umgeben. Der rechte Arm Christi ist, nach der Art der antiken Philosophen- und Rednerdarstellungen, in den Mantel gewickelt, aus dem nur die in der »namenbezeichnenden« Segensstellung dargestellte rechte Hand herausragt. Mit der Linken hält Christus das Evangelienbuch, das er zugleich an sich zu pressen scheint. Der

---

[4]) O. Wulff und M. Alpatov: Denkmäler der Ikonenmalerei in kunstgeschichtlicher Folge. Dresden-Hellerau (1925).

[5]) Wulff-Alpatov: l. c. Abb. 38—46, 51, 52, 57.

[6]) G. Millet: Recherches sur l'iconographies de L'Evangile. Paris 1916, Abb. 478.

ikonographische Typus dieser Christusgestalt ist von den Pantokratordarstellungen abgeleitet, wie wir sie aus den Kuppelmosaiken der mittelbyzantinischen Zeit in Daphni und Kiev, in spätbyzantinischer Zeit in Arta und Konstantinopel kennen.[7] Als Werk der spätbyzantinischen Stilphase des XIV.—XV. Jahrhunderts gibt sich diese Christusdarstellung vor allem durch ihre schlanken Proportionen, dann durch das freie, antik anmutende Standmotiv (Sophokles des Laterans) und den differenzierten, in leichten Kurven dahingleitenden Umriß der Gestalt zu erkennen. Für die ganze Gestalt ist der vor dem Stifter Theodoros Metochites († 1333) thronende Christus aus den Mosaiken der Kachrije-Djami in Konstantinopel zu vergleichen.[8] Für den Kopf das Brustbild Christi aus den Mosaiken der Kachrije-Djami[9] und die (in ihrem Ausdruck indes bedeutend starrere) Ikone des Christus »ψυχοσώστης« in Ochrida.[10]

Die Gestalt der Gottesmutter, vom Typus der Hodegitria, auf einem Omphalion stehend, erweist sich ebenfalls durch die überaus schlanken und graziösen Proportionen, wie man sie aus den Mosaiken der Kachrije-Djami und den Fresken von Mistra kennt, als spätbyzantinisches Werk. Bemerkenswert ist der Typus des Kindes, dessen Darstellung mit der des Kindes auf der bedeutendsten spätbyzantinischen Ikone der Gottesmutter, die bis jetzt bekannt geworden ist, der »Gottesmutter vom Don« in der Verkündigungs-Kathedrale in Moskau, nahe verwandt ist.[11]

Bei der Darstellung der Gottesmutter auf dem Reliquiar von Cuenca muß auch auf die von den Rändern des Maphorions gebildeten Zickzacklinien hingewiesen werden (über dem Kopf der Gottesmutter und rechts). Sie finden sich bereits in der mittelbyzantinischen Kunst, aus der sie die Madonnendarstellung des italienischen Dugento (vgl. die Madonnen Duccios) übernimmt.

Die 28 Heiligenbüsten, von denen die Gestalten Christi und der Gottesmutter umrahmt werden, weisen gegenüber dem frontalen, streng symmetrischen Charakter mittelbyzantinischer Darstellungen gleicher Art freiere Bewegungsmotive und mannigfaltige Umrisse auf. In der Lebhaftigkeit ihrer Bewegungen erinnern sie in gewissem Sinne

---

[7]) Charles Diehl: Manuel d'art byzantin. Zweite Auflage. Paris 1925/26, Abb. 231, 397, 398.

[8]) Th. Schmitt: Kachrije-Djami. »Nachrichten (Izvestija) des Russischen Archäologischen Instituts in Konstantinopel«, Bd. XI. Sofia, München 1906. Taf. I. und LVII. Ch. Diehl: Manuel d'art byzantin, Abb. 396.

[9]) Schmitt: l. c. Taf. IV.

[10]) B. D. Filov: Die altbulgarische Kunst. Bern 1919. Wulff-Alpatov: l. c. Diehl: l. c. Abb. 426.

[11]) Die »Gottesmutter vom Don« in der Verkündigungskathedrale in Moskau soll nach der Tradition dem Großfürsten Dmitrij Donskoj nach der Schlacht auf dem Feld Kulikovo 1380 vom russischen Heer dargebracht worden sein. Sie ist vermutlich ein Werk des »Griechen Theophanes«, über dessen Tätigkeit in Rußland Daten aus den Jahren 1378—1405 vorliegen. Die Darstellung der Gottesmutter auf der Schauseite dieser Ikone ist in ihrer Malweise dem Reliquiar von Cuenca verwandt. Dagegen überrascht eine auf der Rückseite der Ikone der »Gottesmutter vom Don« befindliche Darstellung des Marientodes (Koimesis) durch eine illusionistische Technik, die in der bisher bekannt gewordenen byzantinischen Ikonenmalerei vereinzelt dasteht, während sie der illusionistischen Art des spätbyzantinischen Freskos (so den Fresken des Theophanes von 1378 in Novgorod) durchaus verwandt ist. Allem Anschein nach hat Theophanes sich bei der Ausführung der Schauseite der »Gottesmutter vom Don« an die übliche Malweise der spätbyzantinischen Ikonen gehalten, so wie sie uns nun auch im Reliquiar von Cuenca vorliegt, während er die Koimesis auf der Rückseite der Tafel in der Art seiner illusionistischen Fresken ausgeführt hat. Vgl. Wulff-Alpatov: l. c. Abb. 61. P. Muratov: La peinture byzantine. Paris 1928. N. P. Kondakov: Die russische Ikone. II. Prag 1929. Ph. Schweinfurth: Geschichte der russischen Malerei im Mittelalter. Haag 1930. Abb. 116, 117.

an die Gestalten der Apostelversammlung auf einer spätbyzantinischen Ikone des Historischen Museums in Moskau.[12]

An den Stifterfiguren, die sich zu Füßen Christi und der Gottesmutter befinden (erhalten ist nur die Stifterin, doch muß sich der verschwundene Stifter in derselben Haltung, wenn auch etwas mehr zur Erde gebeugt, befunden haben), fällt im Vergleich zu den älteren Darstellungen dieser Art (der Admiral Georg von Antiochia zu Füßen der Gottesmutter, im Mosak des XII. Jahrhunderts in der Martorana in Palermo) ein freierer Aufblick zu den großen göttlichen Gestalten auf.

Die gemalten Figuren des Reliquiars von Cuenca werden von einer reichen Fassung aus vergoldetem Silber umgeben, die ein getriebenes Ranken- und Blattornament zeigt und mit Filigranstreifen (ebenfalls aus vergoldetem Silber), Perlen und Edelsteinen geschmückt ist. Die Namenszeichen Christi und der Gottesmutter sind in sternförmige Emailplatten eingelassen, die Beischriften des Christuskindes und der Heiligen in Niello auf länglichen Metallplatten angebracht, die Nimben mit Perlen, Edelsteinen und Emailarbeit verziert.

Das Ranken- und Blattornament der getriebenen Metallgründe hat verwandte Formen in der Kachrije-Djami, wo sich auch Analogien für das Flechtwerk der Filigranstreifen finden.[13]

Das Reliquiar der Despoten von Epirus im Schatz der Kathedrale von Cuenca ist ebenso auf Grund der stilistischen Eigentümlichkeiten seiner Malerei, wie auf Grund des Charakters der Ornamentik seiner Goldschmiedearbeit mit Sicherheit als Werk der spätbyzantinischen Kunst anzusprechen. Die Entzifferung seiner Inschriften hat seine Entstehungszeit auf die Jahre 1367—1384 beschränkt. Der (bis auf die verlorene Gestalt des Stifters) vorzügliche Erhaltungszustand des Ganzen sowie die ausgezeichnete Qualität der Malerei dieses Reliquiars gestatten sein Bekanntwerden als eine überaus wertvolle Bereicherung des bisher vorhandenen Bestandes an authentischen byzantinischen Ikonen zu bewerten.[14]

Ph. Schweinfurth.

Breslau.

VERZEICHNIS DER TAFELN:

Tafel V: Reliquiar der Kathedrale von Cuenca.
Tafel VI: Abb. 1. Gottesmutter des Reliquiars von Cuenca.
Abb. 2. Christus des Reliquiars von Cuenca.

---

[12]) Wulff-Alpatov: 1. 6. Abb. 43.

[13]) Alexander Rüdell: Die Kahrie-Dschamissi in Konstantinopel. Berlin 1908. Taf. 27 und 29.

[14]) Das von G. Sotiriu, dem hervorragenden Kenner der altchristlichen und mittelalterlichen Kunst Griechenlands, 1930 neu organisierte Byzantinische Museum in Athen besitzt eine umfangreiche Ikonensammlung, in der sich mehrere byzantinische Tafelbilder von hoher Qualität befinden. Ferner sind im Athener Museum und in der Sammlung D. Loverdos in Athen die besten Provinzen der italobyzantinischen Schule mit einer Anzahl von signierten Stücken vertreten.

THE TEMPLES AT DURA-EUROPOS, AND CERTAIN EARLY CHURCHES

The excavations of Dura-Europos, on the Euphrates, carried on successively by Professor Breasted, for the Oriental Institute of the University of Chicago,[1] M. Franz Cumont, for the Académie des Inscriptions et Belles Lettres,[2] and M. Maurice Pillet, for Yale University and the Académie,[3] have yielded the ground plans of three temples. The first, dedicated to the Palmyrene gods Malikbel, Aglibol and Iarhibol was the first building explored, though it was not until the campaign of 1928-9 that it was completely cleared. The second, sacred to Artemis, was discovered by M. Cumont, who excavated a large part of it in 1922-3. At the same time he also entered the third, the temple of Atargatis, which, however, he took to be a part of the second. The Yale excavations of 1929-30 by clearing both of these have completed our knowledge of the ground plan of all three. Even with his incomplete evidence, M. Cumont had rightly concluded that the arrangement was Babylonian rather than Greek, and subsequent discoveries have supplied the details to substantiate his theory. It is a remarkable fact that the three temples present plans practically identical, though one might expect considerable variation in the worship of the divinities represented. It is clear, then, that we are dealing with a local school of architecture whose conventions were independent of the cults. I reproduce a preliminary draft of the temple of Atargatis, made by M. André Naudy, Secretary of the Yale Expedition to Dura (Pl. VII, Fig. 1) which will exhibit the features of all three to which I wish to call attention. The main door to the sacred edifice faces east and opens into a central court which, in this and the temple of Artemis, is surrounded by rooms, presumably for priests or servants of the temple. Directly facing this outer door is a second which leads into a room whose long side is at right angles to the main axis of the temple. That this room was intended to be used for a spectacle of some sort is clear from the fact that, in the temples of Artemis and Atargatis, there were steps for the worshippers to stand or sit on rising in tiers on each side of the center. Beyond this, a door, on a line with the other two, leads to the naos, which is flanked by two small chambers opening from it. In the temple of the Palmyrene gods there is only one of these chambers since the south side of the naos is against a tower. None of these elements is original at Dura, and their

---

[1]) Oriental Forerunners of Byzantine Painting. Chicago, 1924.

[2]) Fouilles de Doura-Europos 1922—1923. Paris, 1926.

[3]) Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of First Season, 1928. New Haven, 1929. Preliminary Report of Second Season, 1929. New Haven, 1931.

antecedents and historical significance will be found discussed in the Preliminary Report of the Third Season of Excavations, 1929—30. For the present discussion, the important point is not that the temples reproduce a much older plan, but that they were in use as late as the middle of the 3rd Century A. D., and therefore represent a style of architecture with which the builders of early churches in that region should have been familiar. Evidence of such familiarity has been sought in the published accounts of Syrian and Mesopotamian Churches, and is here set forth rather as a suggestion to specialists in that field than as an exhaustive study.

The open court, which is so prominent at Dura and which seems also to have been a feature of the great temple of Atargatis at Hieropolis, is so natural an adjunct to a religious building that it would be useless to attempt to draw any conclusion from all the churches which are connected with a court in one position or another. But, in the present case, the court is not a mere adjunct of the sacred building, but an organic part of it. In the temple of the Palmyrene gods the main door is not symmetrically placed because the court leads not only to the sanctuary but also to the tower, which modifies the general plan. But in the temples of Artemis and Atargatis it is so placed that the direct line from the main door to the sanctuary itself runs through it. This arrangement has a striking parallel in the 4th or 5th century monastery of Id-Der in the southern Hauran, about 8 kilometers to the south of Bosra. The plan of the building (Pl. VII, Fig. 2) is published by Howard Crosby Butler.[4] Here we have again the gateway on axis with the sanctuary, though here, of course, since the building is Christian instead of pagan the door is to the west instead of to the east. In both cases it is flanked by rooms surrounding the court on three sides and opening into it. In the case of the monastery there are two stories of these rooms, and, in that of the temple, we have evidence for a second story, of uncertain extent, in the staircase immediately to the south of the gateway. In the monastery, the church has, of course, developed to a far greater extent than had the pagan sanctuary, and the former lies beyond the court instead of enclosed by it, but the entrance to the sanctuary is still through the court, which gives the same effect of two elements combined into a unit which is characteristic of the temples at Dura.

Further to the south in the Hauran at Sabhah is another interesting example of the use of a court.[5] In this case, however, there is a double church to the east with the southernmost of which the west gateway is almost but not quite on axis. The rooms around the court are reduced to three chambers, and the chief similarity to the plan of the temple of Atargatis is the fact that court and churches together fill one rectangle. A better parallel is furnished by the monastery at Il-Uber (Pl. VII, Fig. 3)[6] in the Ledja, to the north of Jebel Hauran. Here the development of the church is midway between those of Sabhah and Id-Der. It protrudes somewhat to the east, but its main portion is contained within the rectangle of the court and monastery buildings. Most of these buildings are two stories in height.

The central court is peculiarly appropriate to monasteries where the living quarters

---

[4]) Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in 1904—1905. — Division II. Architecture. Section A. Southern Syria p. 103.

[5]) Ibid p. 114.

[6]) Ibid p. 427.

of the monks are grouped around it, but there is one remarkable adaptation of the scheme at Il-Anderin, northwest of Hama. Among a number of churches of the 6th century is one, called the south church, or N° 6 by Butler (Pl.VII, Fig.4)[7] which is entirely enclosed by the court (as is the temple of Artemis at Dura) but where the sides are lined with habitations not of the living but of the dead, for the niches in the exterior walls were arcosolia, as proved by the discovery of two of the sarcophagus covers. Another church at Il-Anderin, N° 7. (Pl. VII, Fig. 5)[8] lies in a rectangular court whose east wall is also the east wall of the church, like the arrangement in the temple of Atargatis. Again the west gateway is on axis with the church, but, in this case, there are no other buildings in the court at all.

Another plan very close to that of Id-Der is to be found in the convent of Der Nawa, east of Hama.[9] This building, which bears the date 598 A. D. reproduces all the features of Id-Der except the peristyle in the court and the rooms along the west wall. Instead, the court is double, being divided into two equal parts by a wall running north and south, pierced by a single gateway which is on axis with the west gateway and the church.

There is one other monument to which I should like to call attention in this connection. This is the great church of St. Simeon Stylites at Kalaat Siman. (Pl.VIII, Fig. 6).[10] The differences between that magnificent buildind and these temples are as important as they are obvious, but it is worth remark that the central octagonal court, in the middle of which stood St. Simeon's pillar, separates the sanctuary from the doorway in just the manner we have been describing. Point is given to the comparison by the presence of the column, for in the court of the temple of Atargatis at Hieropolis there were also columns which were ascended by worschippers in a fashion which is clearly like that of Simeon.[11] One detached column, possibly for such a purpose, has been found in the court of the temple of Atargatis at Dura, and, as already mentioned, the plan of the building at Hieropolis seems to have been similar to that of its humbler relative on the Euphrates. The great sanctuary of Atargatis was still famous in the middle of the 2nd century A. D. and may very well have been the source of some of the ideas of the builders of Kalaat Siman, who had certainly never heard of the ruined town of Europos.

The second peculiarity of the temples is the room in front of the naos with its greater length at right angles to the axis of the temple. Churches with this unusual feature were discovered in 1910 by Gertrude Bell in the Tur Abdin, a district in northern Mesopotamia near the Tigris. In publishing the plan of the 6th century church of Mar Yakub at Salah (Pl. VIII, Fig. 7),[12] she says, "From what prototype did

7) Ibid p. 59.

8) Ibid p. 61.

9) Butler. op. cit. Div. II. B. Northern Syria p. 15.

10) De Vogüe La Syrie Centrale pls. 139—148. A corrected plan published by Butler op. cit. pl. XXIII, p. 280.

11) Lucian De Dea Syria chaps. 28, 29. Cf. the note of A. M. Harmon in the Loeb edition, Vol. IV, p. 380. He there quotes C. R. Conder (Palestine p. 206). "It was perhaps the memory of this strange rite (not however peculiar to Syria, but known also in India) which led Simeon the Stylite to ascend his columns four centuries later at a site not very far west of the old temple of the Dea Syria."

12) Amurath to Amurath p. 316.

the Christian architects of the Tur Abdin derive the singular feature of the nave lying with its greater length at right angles to the main axis of the building? I can only suggest that they may have preserved the ancient scheme of the Babylonian temple and palace hall." The solution of her doubt is unquestionably to be found in the temples of Dura. The church builders did indeed derive their plan from the Babylonian but it was from a scheme that had been perpetuated in pagan temples into the 3rd century of the Christian era. Strzygowski[13] who considers this the normal Mesopotamian plan, refers also to a church at Kesum near Edessa, and says, "The type may be connected with the church plan of the early third century, when Christianity was for a while the official religion at Edessa, and is perhaps directly based on ancient oriental method." He then makes the suggestive addition "It had no influence on the further development of Christian art, unless it be on the formation of the transept. — In the west the introduction of the transept may have been suggested by the Mesopotamian church with the transverse nave."

One other observation of Miss Bell is worth repeating here. In returning to the study of the Tur Abdin she writes,[14] "I have already alluded (Amida, p. 233) to the problem presented by the two types of ground plan which prevail in the Tur Abdin, the monastic church, so placed that the longer axis of the nave lies N. and S. and the parochial church with its longer axis E. and W. I suggested that the monastic churches preserve a Babylonian architectural tradition, the latitudinal chamber of palace and temple with doors in the center of the long side, whereas the parochial churches recall the later Assyrian scheme of longitudinal chambers, a scheme which Dr. Andrae conjectures to have been borrowed from western Asia. It is curious to observe that even the second type seems to have been considered by the Christian builders of this region in the terms of the first (e. g. Mar Azizael p. 75). The longitudinal nave of the parochial churches is always approached from the broad side, the doors are invariably in the S. wall, newer at the W. end, where a complete adherence to the longitudinal type would place them; the narthex and atrium lie to the S.; the whole conception is that of the latitudinal chamber, although the nave is actually disposed in the contrary fashion with relation to the apse. Thus an old architectural tradition may be said to be still perceptible, to a greater or less degree, in all these buildings, though they are stamped so profoundly with the impress of western artistic influences." She also calls attention to the fact that similar characteristics are to be found in the earliest dated church in Syria, the church of Julianus.[15]

The two chambers which flanked the naos of the temples had in all cases been rifled before they were excavated. From the objects still left in them, however, it is clear that they were for the use of the priests or for the storing of temple treasures. That is, their function was exactly that of the prothesis and diaconicum which lie to the north and south of the apse in the normal Syrian church plan. The difference is that the prothesis and diaconicum regularly open into the side aisles of the nave, while the temple chambers open into the naos. But there are numerous

---

13) Origin of Christian Church Art p. 68.

14) Churches and Monasteries of the Tur Abdin and Neighbouring Districts. Zeitschrift für Geschichte der Architektur. Beiheft 9. 1913

15) Butler. op. cit. Section A. part. 3, p. 171, plan, p. 175.

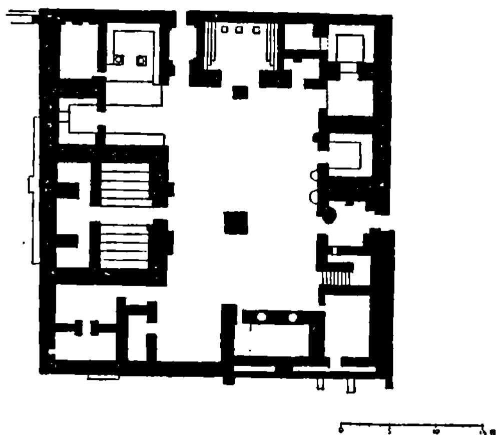


Fig. 1. Temple of Atargatis.
Dura-Europa. Yale Archeol. Expedition

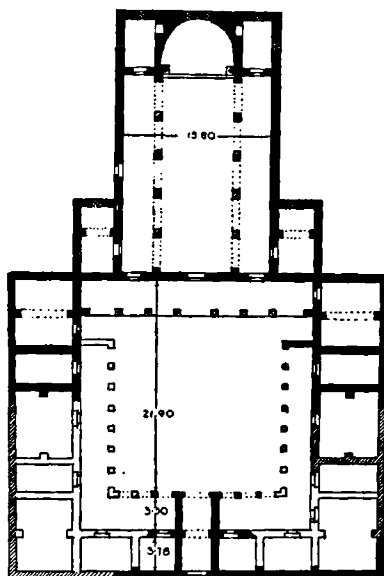


Fig. 2. Id-Dêr Monastery.
Pg. 103. Princeton Archeol. Expedition
to Syria. Div II. sect. A. Pt. 2.

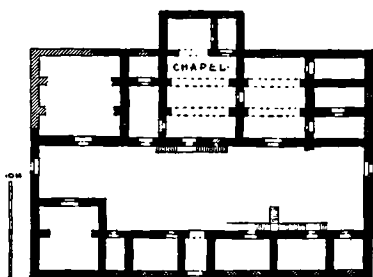


Fig. 3. Il-Ubêr Monastery.
Pg. 427. Princeton Archeol. Expedition
to Syria. Div II. sect. A. Pt. 7.

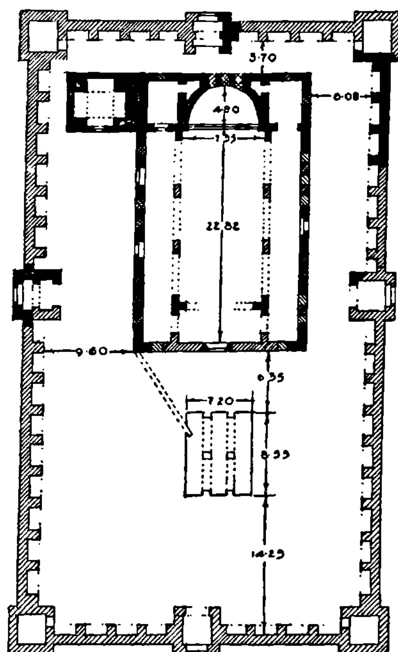


Fig. 4. Il-Anderîn. South Church N. 6.
Pg. 59. Princeton Archeol. Expedition
to Syria. Div II. arch. sect. B. — N. Syria.

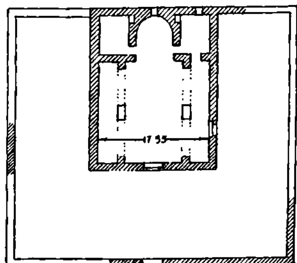


Fig. 5. Il-Anderîn church N. 7.
Pg. 61. Princeton Archeol. Expedition
to Syria. Div II. sect. B. — N. Syria 1904.

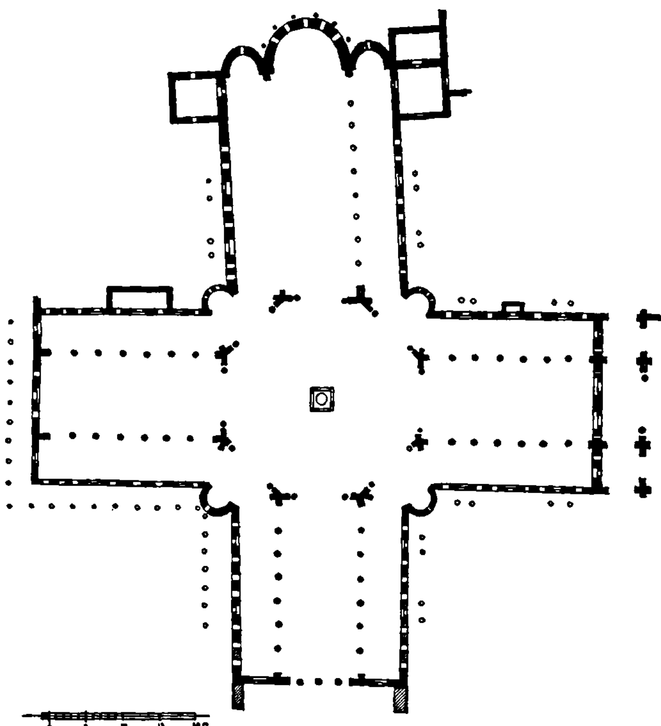


Fig. 6. Kal'at Sim'ân. From »Der syrische Kirchenbau« von H. W. Beyer. Pg. 61.

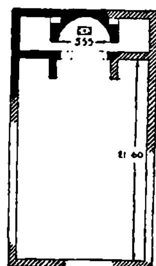


Fig. 9. Umm it-Tuwêneh church. Pg. 11. Princeton Archeol. Expedition to Syria. 1904.

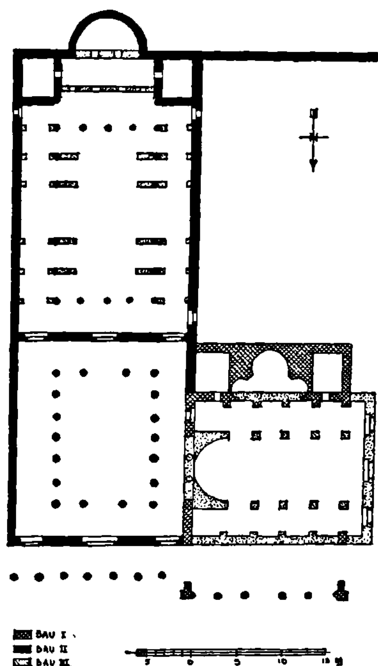


Fig. 8. »Der Palast in Kanawât.« From »Der syrische Kirchenbau« von H. W. Beyer.

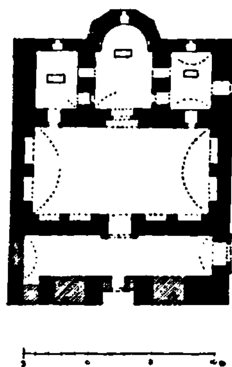


Fig. 7. Salah Mâr Ya'gûb el Habis. From "Churches and Monasteries of the Tûr'Abdîn and neighbouring districts" by G. L. Bell.

instances of the pagan arrangement in Christian churches. Butler published a chapel at Rbeah and one at Kfer[16] which have only a single aisles, and chambers opening from the presbyterium. Texier and Pullan saw and published a church at Dana,[17] since probably destroyed, which had three aisles with the prothesis and diaconicum cut off entirely from the side aisles and opening directly from the presbyterium. An important monument in this connection is the basilica at Kanawat (Pl. VIII, Fig. 8).[18] De Vogüe and Dussaud[19] hold that this is an early Christian church, but Butler more convincingly argues that it is a temple of the 3rd century A. D. which was later modified for Christian use. The two chambers opening from the "presbyterium" then, are other examples, like those of Dura, of the immediate forerunners of the Christian prothesis and diaconicum. Undoubtedly Christian instances of this arrangement are found at Um-It-Tuweneh (Pl. VIII, Fig. 9)[20] and in a chapel at Il-Anderia.[21]

Whatever was the reason that led to the change, there is abundant evidence of the transition between the pagan and the Christian plan in the churches whose diaconicum and prothesis open both into the presbyterium and the side aisles. One of these, church 7 at Il-Anderia, has already been cited in another connection (Fig. 5) and may be used as typical of a scheme that spread far beyond the bounds of Syria. It may be that the idea of two small rooms flanking the sanctuary did not come into Christian architecture from Mesopotamia alone, but we can at least assert that such a plan, of great antiquity in Mesopotamia, was still in use in the generation just preceding the beginning of Christian architecture.

Alfred R. Bellinger

Yale University.

---

[16]) Publications of an American Archaelogical Expedition to Syria in 1899—1900. Part II Architecture pp. 102 and 149.

[17]) Architecture Byzantine Pl. LIX.

[18]) de Vogüe op. cit. Pl. 19: Butler op. cit. pp. 402 ff. Brünnow and Domaszewski Die Provincia Arabia III pp. 118 ff.

[19]) Mission dans les régions désertiques de la Syrie Moyenne p. 20.

[20]) Butler, Princeton Expedition II. B. p. 11

[21]) ibid. p. 56. The question of the origin of this threefold presbyterium is dealt with by H. W. Beyer, Der Syrische Kirchenbau, pp. 144—147. He argues that it is native to southern Syria.

LIST OF PLATES:

О ЦАРСКОЙ СУМЕРІЙСКОЙ МИНѢ, О ДАРИКѢ И О ЗОЛОТНИКѢ

Памяти Николая Михайловича Биляева.

Совокупность имѣющихся у насъ наблюденій надъ величинами разновѣсковъ сумерійскаго и вавилонскаго періода указываетъ на существованіе въ Месопотаміи трехъ главныхъ минъ вѣсомъ 491,14 *g*, 502,20 *g* и 511,83 грамма[1]; онѣ были нами названы Дарикъ I, Дарикъ II и Дарикъ III[2] и обозначены *D* I, *D* II и *D* III.

Вполнѣ независимыми изъ этихъ трехъ являются лишь двѣ мины *D* II и *D* I, т. к. послѣдняя связана съ *D* III слѣдующимъ простымъ соотношеніемъ:

$$D\ \mathrm{III} = \frac{25}{24} D\ \mathrm{I}, \quad \text{или} \quad D\ \mathrm{III} = D\ \mathrm{I} + {}^{1}/_{24}\ D\ \mathrm{I},$$ [3]

откуда слѣдуетъ, что прибавленіе къ основной минѣ ея двадцатьчетвертой части переводитъ ее въ слѣдующій повышенный разрядъ, который Lehmann-Haupt принимаетъ за „Царскій Вѣсъ“.[4] Еще интереснѣе соотношеніе между Дарикомъ III и миной, имѣющей 50 шекелей типа *D* I[5]; такая мина имѣла большое распространеніе по всей передней Азіи, и ею пользовались Вавилоняне въ торговыхъ сношеніяхъ съ Сиріей и Палестиной.[6] Такъ какъ въ минѣ *D* I шестьдесятъ шекелей, то такая мина будетъ равняться $^5/_6$ *D* I; обозначимъ ее *Ф*. Замѣняя въ предыдущемъ выраженіи *D* I его величиной, получимъ:

$$D\ \mathrm{III} = \frac{25 \times 6}{24 \times 5} \Phi = {}^{5}/_{4}\ \Phi = \Phi + {}^{1}/_{4}\ \Phi.$$

---

[1]) Н. Т. Бѣляевъ, „Сумерійская мина, ея происхожденіе и величина“, Seminarium Kondakovianum (сокращенно *S. K.)*, II, 1928, 216; также N. T. Belaiew, «Au sujet de la valeur probable de la mine sumérienne», Revue d'Assyriologie (сокр. *R. A)*, XXVI, 1929, pp. 115—132 и "On the Sumerian Mina", Transactions of the Newcomen Society, vol. VIII (1927—1928), 1930, London, pp. 120—153.

[2]) Сохраняя родовое обозначеніе „Дарикъ“, предложенное Sir Flinders Petrie въ "Ancient Weights & Measures", London, 1926; см. *S. K.*, II, 203.

[3]) "On the Sumerian Mina", Ibidem, pp. 144 и прим. 149.

[4]) Verhandlungen, Anthropologische Gesellschaft, Berlin, 1889, p. 255; Verhandl. Physikal. Gesellschaft, 1890, VIII, p. 81; „Real=Encyklopädie“, (Gewichte) и отдѣльныя статьи въ журналѣ *Klio*, особенно см. „Historisch-Metrologische Forschungen“, *Klio*, XIII, 1913, p. 119, *Klio*, 1926, p. 50 (о Царскомъ вѣсѣ) и *Klio*, 1915, p. 370 (гдѣ приведены тексты клиновыхъ надписей съ упоминаніемъ: „Мины Царя“, увеличеннаго вѣса).

[5]) 8,186 $g \times 50 = 409{,}3$ *g*.

[6]) *S. K.*, I, 277; II, 217; Petrie, "Weights & Measures", *E. B.*, XIII[th] Ed., v. 28, p. 486; Lehmann-Haupt, Ibidem.

Такъ какъ *D* III = 511,83 *g*, то ея шестидесятая часть, шекель,[7] будетъ 8,53 *g*, а половина послѣдняго, т. н. zûzu',[8] 4,265 *g*. Съ другой стороны, величина нашего фунта по Менделѣеву[9] 409,51241 *g*, а золотника — 4,26575 *g*. Отсюда слѣдуетъ, что величина полушекеля, zûzu', равна нашему золотнику, а 50 шекельная мина — нашему фунту.[10] Полная, шестидесятишекельная мина *D* III будетъ, слѣдовательно, содержать 120 золотниковъ и, по опредѣленію Торговой Книги,[11] является нашимъ русскимъ *полубезменомъ*.[12]

По опредѣленію той же книги, безменомъ будетъ называться вѣсъ въ 240 золотниковъ,[13] т. е. безменъ будетъ отвѣчать тяжелой ассиро-вавилонской минѣ, равной двумъ легкимъ, т. е. 120 шекелямъ.[14] Въ этой формѣ, т. е. въ видѣ простой и двойной, а также и четверной,[15] Сумерійская мина существовала по крайней мѣрѣ со времени III-ей Урской Династіи (2300—2180) и до Ахеменидовъ.[16]

Четверная форма для мины *D* III, т. е. 240 шекелей, въ русскихъ мѣрахъ равная 480 золотникамъ, т. е. 5 фунтамъ, будетъ представлена полу-батманомъ.[17] Въ сумеро-вавилонской шкалѣ болѣе крупныхъ минъ неизвѣстно, и слѣдующей единицей является талантъ изъ 60 легкихъ или 30 тяжелыхъ минъ; въ русской же шкалѣ удвоеніе основной единицы продолжается далѣе вверхъ, отъ полубатмана къ батману, или $^1/_4$ пуда, далѣе къ полупуду и, наконецъ, къ пуду.[18] Сопоставляя легкія и тяжелыя мины типа *D* III съ русскими мѣрами, получимъ слѣдующую таблицу, гдѣ приводятся соотвѣтствующія подраздѣленія мины, Дарикъ III и безмена:

---

[7]) О сумерійской шестидесятиричной системѣ см. *S. K.* II, 194 и “On the Sumerian Mina”, Ibidem, p. 121, гдѣ приведены и ссылки на послѣднія работы Thureau-Dangin *(R. A.*, 1921, XVIII p. 123; 1928, XV, p. 187; 1930, XVII, p. 74) и Lehmann-Haupt'a *(Klio*, 1901, p. 381 и слѣдующія статьи).

[8]) *S. K.*, II, 218, гдѣ приводится ссылка на статью S. Smith'a въ Numismatic Chronicle, II, 1922, p. 3.

[9]) Д. И. Менделѣевъ. „Фунтъ Русскій“. *Э. С.*, т. 36А, с. 882.

[10]) Съ точностью до 0,05%, а въ золотникѣ до 3-го десятичнаго знака.

[11]) Начала XVII в. См. Д. И. Прозоровскій, „Монета и Вѣсъ въ Россіи до конца XVIII вѣка“.

[12]) „... а въ полубезменѣ полъ-третьи гривенки малыхъ, а золотниковъ ... въ полубезменѣ 120“. См. также *S. K.*, I, 1927, 278 и II, 1928, 218.

[13]) „Въ безменѣ вѣситъ пол—3-я фунта, а малыхъ гривенокъ въ безменѣ 5 гривенокъ ... а золотниковъ въ безменѣ 240 золотниковъ“.

[14]) Такъ знаменитая стэла Навуходоноссора-Шульги вѣситъ 978,3 грамма и является тяжелой миной типа *D* I (*S. K.*, II, 197).

[15]) Thureau-Daugin, *R. A.*, XXIV, p. 69.

[16]) Если принять во вниманіе, что объемъ вазы Энтемена (ок. 2900 до Р. Хр.) отвѣчаетъ вѣсу 10 фунтовъ воды (см. “On the Sumeria Mina”, p. 124), то можно считать, что уже въ до саргонидскую эпоху существовали выдѣлы мины *D* I; о разновѣскѣ Уракагина (ок. 2700 г.) см. *R. A.*, p. 115; Въ послѣдней своей замѣткѣ о минѣ *(R. A.*, 1930, p. 55) Thureau-Dangin говоритъ: »Il paraît certain que le poids de la mine commune n'a pas changé de Gudéa (2300 г.) à Darius« (520—485).

[17]) Въ Запискѣ для обозрѣнія русскихъ древностей полубатманъ, какъ русская мѣра, показанъ въ 5 фунт.; На восточной окраинѣ батманомъ называлась мѣра въ $^1/_2$ пуда или пудъ; грузинскіе и турецкіе батманы колеблются отъ 8 до 48 фунтовъ.

[18]) См. шкалу Магницкаго, *S. K.*, I, 276.

Таблица I.

Соотношеніе Сумерійской Мины D III и ея шекеля съ русскимъ безменомъ и золотникомъ.

Сумеро-Вавилонскія М.		Древнія Русскія Мѣры		Вѣсъ		
Названіе	Число *D* III	Названіе	По шкалѣ Магницкаго	Золотники	Фунты	g / kg
легкая мина	1	полубезменъ	—	120	$1^1/_4$	511,83 *g*
тяжелая мина	2	безменъ	—	240	$2^1/_2$	1,024 *kg*
четверная мина	4	полубатманъ	—	—	5	2,047
—	8	батманъ	четверть	—	10	4,095
—	16	—	полпуда	—	20	8,189
—	32	—	пудъ	—	40	16,38 *kg*
шекель	$^1/_{60}$	—	—	2	$^1/_{48}$	8,53 *g*
полушекель–Zûzû	$^1/_{120}$	золотникъ	—	1	$^1/_{96}$	4,265 *g*

Разсматривая эти данныя, мы видимъ, что безменъ и полубезменъ органически входятъ въ древнюю вавилонскую систему вѣса; кромѣ того, шекель, т. е. шестидесятая часть соотвѣтствующей мины *D* III, въ видѣ половины своей, становится золотникомъ, т. е. основной единицей какъ всей нашей системы вѣса, такъ и монетной единицей. Это, въ свою очередь, наводитъ на мысль, что проникновеніе на русскую равнину изъ Месопотаміи полу-шекеля, золотника и мины — безмена было одновременнымъ; нѣкоторымъ указаніемъ на время проникновенія можетъ служить то обстоятельство, что безменомъ, т. е. главной единицей въ русской системѣ, стала тяжелая ассирійская, а не легкая сумерійская мина; на то же указываетъ и значеніе въ нашей системѣ полушекеля золотника, отвѣчающаго ассирійскому zûzu'.[19] Слѣдовательно, мѣры эти могли попасть къ намъ черезъ Ассирію, въ періодъ ея владычества и, какъ выше нами указывалось,[20] всего вѣроятнѣе черезъ Киммерійцевъ и, далѣе, черезъ Босфорское царство и греческія колоніи на скиѳское приднѣпровье.[21]

Разсмотримъ теперь разновѣски сумерійскаго періода, принадлежащіе къ типу „Безмена", т. е. мины *D* III. Они были приведены въ таблицѣ XII предыдущаго изслѣдованія о минѣ,[22] но для удобства сравненія снова приводятся въ таблицѣ II.

---

[19]) *S. K.*, II, 218; Sidney Smith (Numism. Chronicle, 1922, II, 4) указываетъ, что ассирійское Zûzu' для полушекеля, было въ употребленіи еще нѣсколько столѣтій въ Сиріи, но обозначало тамъ не вѣсъ, а монету.

[20]) *S. K.*, I, 1927, стр. 277–278.

[21]) *S. K.*, II, 1928, стр. 216. Спицынъ (*S. K.*, II, 84) видитъ въ Киммерійцахъ южно-русскихъ обитателей бронзоваго вѣка.

[22]) *S. K.*, I, Ibidem, 277.

Таблица II.

Разновѣски типа Дарикъ III.

№. разновѣска по каталогу В. М. или по списку Weissbach'a	Обозначеніе разновѣска *S. K.* II,216	Вѣсъ разновѣска въ граммахъ P_i	Величина соотвѣтствующей мины M_i	Часть мины P_i/M_i	Число шекелей $\check{S}$	Число полушекелей, т. е. золотниковъ
—	Ur_ω	42,30	507,60	$1/12$	5	10
117.993	Ur_f	4,26	511,20	$1/120$	$1/2$	1
117.900	W_b	25,57	511,40	$1/20$	3	6
№ 18	Wb_{18}	85,50	513,0	$1/6$	10	20
№ 49	Wb_{49}	1520 (+20)	513,0	3	180	360
U 6165 *E*	Ur_q	2,86	514,8	$1/180$	$1/3$	$2/3$

Изъ крупныхъ подраздѣленій мины тутъ встрѣчаются $1/6$, $1/12$ и $1/20$; изъ болѣе мелкихъ, которыя слѣдуетъ разсматривать какъ части шекеля, $1/120$ мины, т. е. $1/2$ шекеля, или zûzu' — нашъ золотникъ (табл. IX, фиг. 1) и $1/180$ мины, т. е. $1/3$ шекеля или $2/3$ золотника; послѣдняя дробь часто встрѣчается у сумерійцевъ и носитъ названіе šuš-šana.[23] Подраздѣленіе въ $1/6$ (Wb_{18}) являлось еще болѣе употребительнымъ и носило названіе šuš; также часто встрѣчаются и подраздѣленія въ $1/12$ и $1/20$.[24]

Въ таблицѣ II эта двадцатая часть мины представлена грузикомъ изъ Варки Wb (табл. IX, фиг. 2) въ 3 шекеля и, слѣдовательно, въ 6 золотниковъ. Съ одной стороны, $1/6$ этого разновѣска, его šuš и есть золотникъ, съ другой, помноживъ его на 16, получимъ 96 золотниковъ, т. е. нашъ фунтъ, иначе сказать 50 шекельную мину; помноживъ его на другой часто встрѣчающійся множитель 12, получимъ новый выдѣлъ мины, вѣсомъ въ 72 золотника (и 307,12 граммовъ), который мы назовемъ литрой[25] и обозначимъ черезъ L. Получимъ слѣдующія соотношенія:

$$W_b \times 16 = \Phi \text{ и } W_b \times 12 = L, \text{ откуда } L = 3/4\,\Phi.$$

$$\text{Такъ какъ } \Phi = 5/6\,D\,\text{I}, \text{ то } L = \frac{15}{24}\,D\,\text{I} = \frac{60}{96}\,D\,\text{I}, \text{ откуда}$$

$$L/60 = D\,\text{I}/96, \text{ т. е.}$$

одна шестидесятая литры равняется $1/96$ основной мины D I.

---

[23]) "On the Sumerian Mina", Ibidem, p. 122.

[24]) Изъ 29 разновѣсковъ типа дарикъ подраздѣленіе $1/12$ встрѣчается 7 разъ, а въ $1/20$ — три раза.

[25]) Въ древней русской метрологіи выдѣлъ $3/4$ фунта назывался литрой, отъ византійской литры золота въ 72 з., т. е. $3/4$ русскаго фунта серебра въ 96 золотниковъ.

Такъ какъ $D\,\mathrm{I} = {}^{24}/_{25}\, D\,\mathrm{III}$, то окончательно,

$$L/_{60} = D\,\mathrm{III}/_{100}.$$

Замѣтивъ, что по сумерійскому счисленію $^1/_{60}$ мины называется шекелемъ, а по греческому, $^1/_{100}$ — драхмой,[26] можемъ сказать, что шекель литры равняется драхмѣ D III.

Соотношеніе это пріобрѣтаетъ еще большее значеніе въ виду того, что рядъ грузиковъ сумерійскаго періода, которыми пользовались для взвѣшиванія спеціальныхъ веществъ, повидимому медицинскаго характера, принадлежатъ къ шкалѣ „Литры", или, по крайней мѣрѣ, находятся съ нею въ простомъ вѣсовомъ отношеніи. Грузики эти находятся въ Британскомъ музеѣ (№ № 91,438, и 91,439) и на ихъ спеціальное значеніе обратилъ мое вниманіе хранитель Отдѣла Ассирійскихъ и Египетскихъ Древностей Mr. Sidney Smith.[27] Оба грузика вѣсомъ по $6^1/_2$ англ. унцій, т. е. по 184,27 грамма и на каждомъ имѣется надпись, что это шесть *su*. И такъ,

$$6\ su = 184{,}27\ g,$$
$$1\ su = 30{,}712\ g \text{ и}$$
$$10\ su = 307{,}12\ g, \text{ т. е. 1 литрѣ.}$$

Слѣдовательно *su* является $^1/_{10}$ литры, и шкала *su* связана именно съ этимъ выдѣломъ.[28] Обозначимъ нашъ золотникъ Z, а шестидесятую часть литры — Z'; тогда получимъ изъ предыдущаго уравненія: $Z' = \frac{D\,\mathrm{III}}{100}$, или, $D\,\mathrm{III} = 100\,Z'$. Такъ какъ, въ золотникахъ, $D\,\mathrm{III} = 120\,Z$, то получимъ $Z = {}^5/_6\,Z'$. Съ другой стороны, т. к, по опредѣленію $Z' = 5{,}12\,g$,[29] а $su = 30{,}712\,g$, то $su = 6\,Z'$, а $Z' = {}^1/_6\,su$[30]; подставляя это выраженіе въ предыдущее, получимъ для зависимости золотника и *su*:

$$Z = {}^5/_{36}\ su.$$

Точное совпаденіе вѣса золотника и съ полушекелемъ мины D III, и съ „золотымъ выдѣломъ"[31] шестой части вѣса *su*, указываетъ на ту роль, которую золотникъ игралъ въ сумерійской системѣ вѣса. Обратимъ вниманіе, что и въ

---

[26]) Первоначально греческая драхма, какъ показываетъ и ея названіе, отъ ассирійскаго „дарах-мана", было слиткомъ въ $^1/_{60}$ мины, т. е. шекелемъ.

[27]) Въ письмѣ отъ 6 февраля 1928 года.

[28]) Чрезвычайно интересно появленіе шкалы типа „литры" уже въ сумерійскія времена; ея устойчивость видна въ ея возрожденіи въ Византіи и, оттуда, по переходѣ въ Россію, о чемъ см. ниже, въ связи съ „кунами" и договоромъ Олега.

[29]) Т. к. $D\,\mathrm{III} = 511{,}83\,g$, то $D\,\mathrm{III}/_{100} = 5{,}1183\,g \cong 5{,}12\,g$.

[30]) Т. к. $su = 30{,}712\,g$, то $Z' = {}^1/_6\,su = 5{,}1187\,g$.; отсюда видно, насколько близки другъ къ другу, до третьяго десятичнаго знака, численныя значенія Z', какъ $^1/_{100}\,D$ III и какъ $^1/_6$ *(šuš)* отъ *su*.

[31]) Изъ выраженія $Z = {}^5/_{36}\,su$, подставляя $su = \frac{184{,}27}{6}\,g$, получили $Z = 4{,}26550$, что отличается отъ Менделѣевскаго 4,26575 g, лишь на 0,00025 g, т. е. на 0,06%.

томъ и другомъ случаѣ понятіе о полу-шекелѣ золотникѣ связывается съ золотомъ, даже можно сказать, съ расчетомъ на золото.

Дѣйствительно, 1) мина *D* III, какъ мы видѣли выше, по отношенію къ основной вѣсовой минѣ *D* I, является „Царскимъ Вѣсомъ", т. е. тѣмъ увеличеннымъ на опредѣленную долю вѣсомъ, которымъ пользовались при внесеніи податей и даней, т. е. при расчетѣ частнаго лица съ государствомъ; 2) выдѣлъ въ $^5/_6$ вѣсовой мины *D* I, т. е. 50-ти шекельная „расчетная" мина, нашъ русскій фунтъ, связывается съ полушекелемъ мины *D* III простымъ соотношеніемъ: $\Phi = 96\ Z$; 3) на рядѣ разновѣсковъ типа *D* III есть надписи, указывающія на денежный или расчетный ихъ характеръ, напр. на разновѣскѣ изъ Ниппура (№ 18 Weissbach'a) въ 85,5 *g* (20 золотниковъ) — надпись: „10 шекелей — з о л о т о й вѣсъ купца" [32]; 4) значеніе, приписываемое въ этой системѣ полушекелю, zûzu', и, съ другой, указаніе Сеннахериба (705—681 до Р. Хр.), на отливку п о л у ш е к е л е й, какъ на всѣмъ извѣстное, въ его время, производство [33]; наконецъ, 5) соотношеніе между золотникомъ и системой *su*, гдѣ даже можно видѣть намекъ на пробу, ибо равенство $Z = {}^5/_6\ Z'$ означаетъ, что золотникъ составляетъ $\frac{5 \times 16}{6 \times 16}$, т. е. $^{80}/_{96}$ или „восьмидесятую пробу" отъ Z', гдѣ Z' есть драхма ($^1/_{100}$) отъ *D* III; аналогичное сотношеніе имѣется и между золотникомъ и аѳинской вѣсовой драхмой (полукедет'омъ) въ 4,54 *g*, гдѣ проба была бы $^{15}/_{16}$, т. е. 90-ая.[34]

Вполнѣ естественно было бы предположить, что при такой устойчивости золотника отъ древне-сумерійскихъ временъ и до Сеннахериба и его преемниковъ, именно золотникъ былъ бы положенъ въ основу монетнаго обращенія, при появленіи монеты, т. е. при переходѣ отъ расчета драгоцѣнныхъ металловъ по вѣсу къ опредѣленной и постоянной, устанавливаемой государствомъ стоимости; особенно можно бы было этого ожидать въ тѣхъ государствахъ, которые явились непосредственными наслѣдниками и продолжателями культуры Сумера и Вавилона, т. е. въ Мидіи и Персіи.

Первыя, дошедшія до насъ безспорныя „монеты" со штампованными надписями [35] относятся къ Малой Азіи и были выбиты въ Лидіи и Іоніи около 700 года,[36] т. е. еще не только до разрушенія Ново-Вавилонскаго Царства, но и лѣтъ за сто до его послѣдняго расцвѣта при Навуходоноссорѣ (604—561).[37] Въ VI вѣкѣ монетное обращеніе уже широко распространилось по Греціи и передней Азіи, и къ царствованію Дарія Гистаспа (521—485 до Р. Хр.) относятся знаменитые персидскіе з о л о т ы е съ изображеніемъ лучника — *Дарики* (табл. IX, фиг. 3). До насъ дошло значительное количество персидскихъ монетъ этого типа, большей или меньшей сохранности, и, въ зависимости отъ того, какія группы монетъ изслѣдовались,

---

[32]) *S. K.* II, 200.

[33]) *S. K.* II, 218.

[34]) *S. K.* I, 1927, стр. 269.

[35]) О возможности болѣе ранняго существованія монеты см. Sidney Smith, "A Pree-Greek Coinage in the Near East", N u m i s m. C h r o n i c l e, 1922, v. II, p. 176.

[36]) G. Hill, "A guide to the Department of Coins & Medals in the British Museum", 1922, London. О древне-греческихъ монетахъ см. статью Ф. Винклера, *Э. С.*, XI, 124 и классическое сочиненіе Babelon «Les monnaies grecques».

[37]) *S. K.*, II, 197.

Фиг. 1. Разновѣсокъ изъ Ура; 2000 л. до Р. Хр. — В. М. No. 117.993 (*Urf*, *S. K.*, II, 204). — Вѣсъ 4,26 грамма = 1 золотникъ. Эталонъ Сумера, Аѳинъ, Александра Македонскаго и Россіи.

„Золотникъ“.

Фиг. 2. Разновѣсокъ изъ Эреха (Варки). — 2000 л. до Р. Хр. — В. М. No. 117.900 (*Wb*, *S. K*, II, 202). Вѣсъ 25,57 грамма = 6 золотниковъ. Шкала царской сумерійской мины *D* III (Безмена; 1×2×60 золотниковъ = 511,83 грамма). Эталонъ Сумера, Аккада и Вавилона.

„Золотникъ“.

Фиг. 3. Золотой персидскій дарикъ. (Средній вѣсъ *D* = 8,37 грамма.) Эталонъ Персіи, Индіи и Китая.

„Дарикъ“.

Фиг. 6. Статеръ Лизимаха Ѳракійскаго (306—281) съ изображеніемъ Александра Македонскаго. — Средній вѣсъ статеровъ Л. 8,5305 грамма, т. е. 2 золотника. Эталонъ Александра Македонскаго.

„Золотникъ“.

Фиг. 4. Разновѣсокъ въ ⅔ мины типа Дарикъ II съ надписью по персидски, эламитски и вавилонски: „Двѣ трети; Дарій Великій Царь сынъ Гистаспа, Ахеменидъ“. В. М. No. 91,117. Эталонъ Ассиріи и Персіи Мина *D* II въ 502,2 *g* и ея щекель въ 8,37 *g*.

Фиг. 7. Златьникъ великаго князя Владиміра (1 типъ). — Надпись: „Володимиръ а се его злато“. — Вѣсъ одинъ золотникъ. Эталонъ Россіи Владиміра Святаго.

„Золотникъ“.

Фиг. 5. Золотая драхма (изъ Киренаики, 320—310 г. до Р. Хр. — В. М. Catalogue No. 124 (*S. K.*, I, 277) — Вѣсъ 4,278 *g* (1 зол.). Эталонъ эллинистическаго міра отъ Африки до Бактріаны (×2).

„Золотникъ“.

Фиг. 8. Золотой пятирублевикъ императора Николая II. — Вѣсъ 1,008 золотн. Эталонъ Россійской Имперіи. (×2)

„Золотникъ“.

вѣсъ дарика принимался отъ 8,34 до 8,40 грамма;[38] среднее между этими двумя, а именно 8,37 *g* будетъ въ точности отвѣчать шекелю нашей мины Дарикъ II въ 502,20 *g*[39] (табл. IX, фиг. 4).

Почему же Персы, въ теченіе столѣтій входившіе въ непосредственное соприкосновеніе съ культурой Ассиріи и Вавилона и даже, при Ахеменидахъ, заимствовавшіе отъ нихъ на ряду съ клинописью и самый аппаратъ государственнаго управленія, остановились на этой минѣ, а не на вѣсовой *D* I или на ея „Царской нормѣ" — *D* III? Sir Flinders Petrie отвѣчаетъ на вопросъ о происхожденіи дарика слѣдующимъ образомъ:[40] дарикъ ничто иное какъ нѣкоторая средняя двухъ, прежде существовавшихъ основныхъ единицъ, одной около 8,52 *g* — это нашъ удвоенный золотникъ — и другой, представляемой стэлой Навуходоносора-Шульги, т. е. нашей мины *D* I съ шекелемъ въ 8,186.[41] Дѣйствительно, если мы возьмемъ средне-ариѳметическое изъ этихъ двухъ,[42] то получимъ 8,36, т. е. шекель мины *D* II.[43]

Считая весьма вѣроятнымъ, что дарикъ образовался именно такимъ образомъ,[44] т. е. что вслѣдствіе близости эталоновъ *D* I и *D* III въ странахъ, какъ напр., въ Персіи, гдѣ путемъ торговыхъ сношеній появлялись вѣса обѣихъ

---

[38]) *S. K.*, 1928, II, 217; въ примѣчаніи 8 тамъ приведены значенія дарика-монеты, принимаемыя различными изслѣдователями, а именно 8,3362 *g* (*ZDMG; 61;* 402) — Weissbach'омъ и 8,37 Petrie ("Ancient Weights & Measures", 1926, 12). Прежніе изслѣдователи б. ч. принимали по Hultsh'у („Griechische und Römische Metrologie") и Babelon («Les monnaies grecques») — 8,41 *g*. Это значеніе принималъ въ 1907 нумизматъ Regling и къ нему же вернулся Thureau-Dangin въ 1930 (*R. A.*, *27*, 1930, p. 55). — Въ 1915 г. Regling (*Klio*, 1915, XIV, 91) снова вернулся къ этому вопросу и привелъ рядъ взвѣшиваній группъ дариковъ отъ 8,27 до 8,40 со среднимъ (стр. 97) въ 8,354 *g*, а послѣ исправленія на истираніе — 8,375 *g*. Такимъ образомъ изслѣдованія взвѣшиваніемъ ряда серій монетъ даютъ для дарика величину меньшую 8,40, а именно отъ 8,336 (Weissbach) до 8,375 (Regling).

[39]) *S. K.*, 1928, II, 216 и Transactions Newcomen Society, VIII, 140; Изъ 12 наблюденій средняя (вѣроятная) величина мины *D* II = 502,2 ± 0,07. Вѣроятное отклоненіе средняго результата въ 0,07 грамма составили всего 0,014% и даже нѣсколько ниже англійскаго монетнаго, допуска въ 0,016%. — На фиг. 4, съ любезнаго разрѣшенія Директора Британскаго Музея, воспроизводится разновѣсокъ въ ⅓ мины Дарія Гистаспа. Вѣсъ разновѣска 166,7 грамма, что указываетъ на мину въ $\frac{500,1}{2}$ *g;* ввиду истиранія образца (о чемъ см. *Klio*, 1915, 98) точный вѣсъ мины былъ бы весьма близокъ къ *D* II; надпись по вавилонски говоритъ: „два карша, или 1 шекель", по чтенію Sidney Smith'a; ранѣе эта надпись читалась „два карша *и* 1 шекель" (см. B. M. Guide, 1922, p. 144), что вызывало трудности по расчету мины. Regling (*Klio*, Ibidem, p. 98) считаетъ этотъ разновѣсокъ ⅓ соотвѣтствующей мины; во всякомъ случаѣ вѣсъ разновѣска указываетъ на типъ мины *D* II, съ поправкой же на истираніе — и на точную ея величину.

[40]) "The late coin of the daric was intermediate, 129,2 (8,37 *g*); most likely it was a mean example of the fused standards in late times", "Ancient Weights and Measures", 1926, p. 12.

[41]) *S. K.*, 1928, II, 197; въ древне-сумерійскія времена Petrie принимаетъ мину съ шекелемъ въ 8,26 *g* (p. 28).

[42]) Т. е. изъ 8,53 для *D* III и 8,19 для *D* I.

[43]) Собственно мины въ 501,6, т. е. весьма близкой къ 502,20 и лежащей въ предѣлахъ 4 вѣроятныхъ отклоненій.

[44]) Другая попытка объяснить происхожденіе *D* II принадлежитъ Видебанту („Antike Gewichtsnormen", 1923, 22), который хотѣлъ бы въ *D* II видѣть на $^1/_{10}$ увеличенную его Marduk-Mine въ 489,5 *g*.

шкалъ, а спеціальное назначеніе каждой не могло строго соблюдаться, обѣ группы вѣсовъ постепенно смѣшивались и въ употребленіе входилъ нѣкоторый средній вѣсъ, слѣдуетъ все же отмѣтить, что процессъ такого смѣшенія начался довольно рано, не позже Касситской династіи, ибо небольшое число разновѣсковъ этого типа[45] имѣется уже среди изслѣдованныхъ нами разновѣсковъ изъ Варки и Ура, относящихся, приблизительно, къ 2000 году до Р. Хр.[46]

Во всякомъ случаѣ въ теченіе первой вавилонской династіи и, особенно въ эпоху Ново-Вавилонскаго Царства, какъ то особенно рельефно видно на примѣрѣ стэлы Навуходоноссора-Шульги, было стремленіе придерживаться основного типа *D* I. Съ другой стороны, группа разновѣсковъ Саргона, со средней величиной мины въ 501 *g*, и Хорсабадскій левъ (M = 502,5 *g*) указываютъ, что Ассирійцы, еще до Персовъ, приняли этотъ средній типъ, и Персы лишь пошли по расчищенному для нихъ пути.

Принятіе Персами мины *D* II за вѣсовую единицу, а ея шекеля въ 8,37 *g* — за монетную сыграло большую роль въ распространеніи этой именно единицы по тогдашнему культурному міру, вездѣ гдѣ персидское государственное и культурное вліяніе давало себя сильно чувствовать, т. е. особенно въ Индіи и, черезъ Индію, или непосредственно черезъ Парѳію и Туркестанъ — въ Китаѣ.

Дѣйствительно, и индійскій пала въ 37,6 *g*,[47] и китайскій таэль въ 37,3—37,8 *g* лежатъ чрезвычайно близко къ соотвѣтствующему подраздѣленію мины *D* II; всѣ эти системы имѣютъ одинъ и тотъ же талантъ въ 60,26 *kg*, и только подраздѣленія его отличны — въ Месопотаміи и Иранѣ 60 × 60, а въ Китаѣ и древней Индіи на 100 × 16[48]. Китайскія мѣры идутъ слѣдующимъ образомъ: талантъ (*hu*) = 100 минъ (*kin*) = 100 × 16 лановъ (таэлей) = 100 × 16 × 10 цянъ; Т. о. китайскій талантъ, *hu* = 100 китайскихъ минъ (*kin*), тогда какъ въ ассиро-вавилонской системѣ 1 талантъ равняется 60 тяжелыхъ и 120 легкихъ минъ. Средняя величина *xy* въ 60,262 *kg* въ точности равна ассиро-вавилонскому (тяжелому) таланту въ 60 × 2 *D* II (120 × 502,20 = 60,264 *kg*), и выдѣлъ („золотой") въ $^5/_6$ кина[49] въ точности равенъ минѣ *D* II: съ другой стороны, дѣленіе таланта на сто частей привело къ фунту — *kin*'у въ 602,62 *g*, т. е. равному эгинской

[45]) Шесть изъ 29, т. е. около 20%.

[46]) *S. K.*, 1928, II, 205.

[47]) Petrie (Ibidem, p. 24) для опредѣленія истинной величины основной единицы индійскаго вѣса, покоющейся на вѣсѣ сѣмени rati (дикаго Licorice), произвелъ большой рядъ взвѣшиваній различныхъ группъ сѣмянъ и получилъ для единицы „Pala", появляющейся, какъ „золотой" вѣсъ, 581 ± 3 грана. т. е. 37,6 *g*. Первые образцы бактрійскихъ монетъ даютъ pala отъ 577 до 612 грановъ; потомъ величина эта быстро падаетъ.

[48]) Petrie, Ibidem, p. 26.

[49]) Опредѣленіе величины таланта, hu въ 60,262 *kg* основано на средней величинѣ таэля въ 37,66 грамма; въ таблицѣ III приведены соотвѣтствущія данныя (см. табл. III на стр. 187).

Сравнивая величины мины по этой таблицѣ и по табл. XI (*S. K.*, II, 216) минъ *D* II, мы видимъ, что крайнія значенія лежатъ въ тѣхъ же предѣлахъ, и средняя величина та же. Оффиціальный (трактатный) вѣсъ нѣсколько уменьшилъ вѣсъ таэля, чтобы приблизить ее къ $^1/_{10}$ англійскаго фунта трой въ 373,24 грамма; большій таможенный вѣсъ, вѣроятно явился округленіемъ вѣса въ 37,78 до 38,00; эти 2 вѣса исключаютъ другъ друга и среднее изъ 4 весьма близко къ среднему изъ двухъ, полученныхъ фактическимъ взвѣшиваніемъ лучшихъ разновѣсковъ.

Таблица III.

Величины таэля, кина и таланта — Ху.

чьи данныя	цянъ = $^1/_{10}$ *T*	таэль-ланъ	кинъ = = 16 таэлей	мина (для сравненія) = = $^5/_6$ *K*	Талантъ, *Ху* = = 100 кинъ
оф. вѣсъ 1914 г.	3,73 *g*	37,30 *g*	596,82 *g*	497,35 *g*	59,682 *kg*
Burgess	3,76	37,57	601,12	500,93	60,112
Petrie	3,78	37,78	604,53	503,78	60,453
таможенный	3,80	38,00	608,00	506,67	60,800
средній	3,772	37,66	602,62	502,18	60,262

минѢ.[50] Аналогичный *кинъ*[51] весьма рано былъ положенъ въ основу японскихъ мѣръ и вѣсовъ[52]; одна шестнадцатая его, *пео* равнялась 37,59 *g*, т. е. весьма близка къ величинѣ таэля полученной взвѣшиваніемъ древнихъ китайскихъ разновѣскомъ Burgess'мъ (табл. III); дальнѣйшій крупный вѣсъ назывался *ко* и былъ равенъ 10 кин'амъ и 6,015 *kg*; т. о. *ко* соотвѣтствовалъ десятой части китайскаго таланта *hu*, т. н. *ten*.

Такимъ образомъ весь ближній и дальній востокъ заимствовалъ черезъ Персію шкалу Дарикъ II; это заимствованіе не могло произойти ранѣе, нежели въ самой Месопотаміи мины *D* I и *D* III были окончательно вытѣснены миной *D* II, съ другой стороны, оно должно было произойти не позже паденія династіи Ахеменидовъ, т. к. приходъ Селевкидовъ и Арзакидовъ принесъ снова въ самую Персію шкалу *D* III въ видѣ ея шекеля — аѳинской драхмы[53]; того же вѣса были

[50]) Объ эгинской минѣ и драхмѣ въ Аѳинахъ и о реформѣ Солона см. *S. K.*, 1927, I, 269—270; если мы раздѣлимъ кинъ на сто, то получимъ драхму въ 3,01 *g*, равную эгинской и аѳинской торговой; Китайцы такихъ подраздѣленій не знали, но дѣлили кинъ на 16 таэлей и 160 цян'овъ, тогда цянъ получался равнымъ отъ 3,73 до 3,80 *g* (Т. III). Первая величина равняется $^1/_{100}$ англ. фунта Трой, а вторая — $^1/_{72}$ оско-латинскаго фунта въ 273 *g* (*S. K.*, I, 268); $^1/_{36}$ O. L. фунта, т. е. вѣсъ, равный 2 цянамъ былъ принятъ Римлянами въ III в. до Р. Хр. за ихъ серебряную дидрахму (7,54 — 7,58 *g*) Такъ какъ O. L. фунтъ = $^1/_2$ Ансыря, а Ансырь = 128 золотн., то имѣемъ: 128 зол. = 72 × 2 цянъ („тамож."), откуда 8 z = 9 ц., и золотникъ равенъ $^9/_8$ цян'а; слѣдуетъ только имѣть ввиду, что здѣсь берется не средняя величина цяна въ 3,77 *g*, а верхн. предѣлъ въ 3,80, отв. мины 506,7 *g*.

[51]) 601,47 граммовъ. См. И. В. Маховъ. „Введеніе въ Японіи мѣръ, вѣсовъ и монетъ и сравненіе ихъ съ русскими", Изв. Импер. Археолог. Общества, 1863, Спб., IV, 206. Маховъ опредѣляетъ кинъ какъ 1 фунтъ 45 зол. (т. е. 409,51 + 191,96 = 601,47 *g*) и 1 ко какъ 14 фунт. 66 зол. (5733,17 + 281,56 = 6014,73 *g*).

[52]) При 42-мъ Императорѣ Монму въ 706 году по Р. Хр., который установилъ по всему государству однообразную систему мѣръ и вѣсовъ. Маховъ, Ibidem, 206.

[53]) Главной монетой Арзакидовъ была серебряная драхма (золотникъ), по образцу Селевкидскихъ, съ изображеніемъ основателя династіи Арзака (250 до Р. Хр.), съ лукомъ въ рукахъ, но были и тетрадрахмы, соотвѣтствовавшія двойному шекелю въ 17,04 *g* (а, слѣдовательно, и тяжелой минѣ — безмену въ 1024 грамма). Начало Бактрійской нумизматикѣ было положено трудами ген. Л. Бартоломеи; описаніе его коллекціи было въ 1875 г. сдѣлано ак. Дорномъ.

и бактрійскія монеты.[54] Тѣмъ не менѣе, несмотря на оживленныя торговыя сношенія Парѳіи[55] и Бактріаны[56] съ Средней Азіей и Индіей, и Индія, и Китай остались вѣрны системѣ *D* II, т. е. вѣсовой системѣ Ахеменидской Персіи. Это обстоятельство заставляетъ предполагать, что торговыя сношенія между восточными областями Персіи и прилежащими частями Индіи, а также и караванныя дороги черезъ цѣпь срединно-азіатскихъ оазисовъ съ Китаемъ существовали уже въ ближайшія столѣтія до Рождества Христова, т. е., если мы обратимся къ Китаю, то въ періодъ предшествовавшій Ханьской династіи,[57] а именно къ концу Чжоу'ской (Чу) династіи.

---

[54]) Т. е. вѣса аттической драхмы — золотника. См. G. F. Hill. "A Guide to the D^nt of Coins & Medals: B. M."; "The Coins of the Creek and Scyphic Kings of Baktria and India", by P. Gardner London, 1886 и „Numismatics", Ibidem, p. 903.

[55]) Парѳія (см. карту, табл. X) въ эпоху Ахеменидовъ называлась Parthava и лежала къ Ю. В. отъ Каспійскаго моря, гранича на сѣверѣ съ Гирканіей, на западѣ съ Мидіей, а на югѣ съ Караманіей. Въ Македонскую эпоху управлялась сатрапами, но съ 250 г., послѣ возстанія Арзака противъ Селевкидовъ, получила самостоятельность; при Митридатѣ I (150—140 гг.) Парѳія завоевываетъ собств. Персію, Месопотамію и разрушаетъ Бактрійское царство. Въ эпоху войнъ Цезаря и Помпея, Парѳяне были на сторонѣ Помпея и одно время объединили въ своихъ рукахъ всю державу Ахеменидовъ, до р. Инда; до конца существованія Парѳянскаго царства, оно удачно сопротивлялось Риму, новъ 226 году оно пало отъ внутреннихъ междоусобій, и Арзакиды уступили мѣсто національной династіи Сассанидовъ. — Черезъ Парѳію съ востока въ Римъ шли желѣзо и сталь, ткани, и особенно изъ Китая шелкъ. — Работы Ростовцева *(S. K.*, I, 143) устанавливаютъ связь и вліяніе Ирана черезъ Парѳянъ, Саковъ и Сарматовъ на Босфорское царство и югъ Россіи.

[56]) Бактріана (см. карту) входила въ составъ Ахеменидскаго царства и лежала между Согдіаной, Парѳіей и Гандаріей. Александръ Македонскій, послѣ сильнаго сопротивленія, въ 330 году покорилъ Бактріану и, затѣмъ, поселилъ въ ней до 14.000 грековъ и основалъ много городовъ, между ними Александрію Арахозійскую (Кандагаръ), Александрію Азійскую (Гератъ) и Александрію „Кавказскую", около Чарыкара, гдѣ, впослѣдствіи имп. Канишка основалъ гор. Капису, посѣщенную въ 629 г. Хьюнъ-Цан'емъ. Съ этихъ поръ Бактрія сдѣлалась центромъ эллинистическаго вліянія на востокѣ; когда впослѣдствіи Парѳяне и Саки оттѣснили Бактрійцевъ въ Индію, они тамъ держались до 90 года до Р. Хр. и сильно способствовали тамъ укрѣпленію греческаго культурнаго вліянія. Главнымъ городомъ была Бактра (нынѣ Балкъ), узелъ всѣхъ главныхъ караванныхъ дорогъ изъ Индіи, Персіи и Сред. Азіи. Черезъ Бактру, „матерь городовъ", проходилъ и Александръ Македонскій, и китайскіе паломники Фа-сянъ и Хьюнъ-цянъ, и Марко Поло; послѣдовательно она побывала въ рукахъ „Ассиріянъ, Мидянъ, Персовъ, Грековъ, Скиѳовъ, Парѳянъ, Кушанъ, Гунновъ, Турокъ и Монголовъ" (A. Godard, «Délégation Archéologique Française en Afghanistan», 1925) и теперь еще лежитъ на караванной дорогѣ изъ Самарканда въ Афганистанъ.

[57]) Двѣ Ханьскія династіи, западная съ 202 г. до Р. Хр. по 9 г. по Р. Хр., и восточная съ 25 по 220 г.г. по Р. Хр. оставили глубокій слѣдъ въ исторіи Китая и наложили свою печать на ея культуру; въ это же время, чувствуется и сильное вліяніе кочевниковъ Хун-Ну и Юе-Чи (Ростовцевъ, „Срединная Азія, Россія, Китай и звѣриный стиль", ΣΚΥΘΙΚΑ, *S. K.*, 1929, стр. 26). Въ царствованіе императора Ву-ди (140—87) произошло настоящее открытіе Китаемъ „Западнаго Края", Ферганы (Да-вань), Согдіаны (Юэ-ши), Бактріаны (Да-Ся) и Парѳіи (Ань-Си), куда былъ посланъ Чангъ-Кіенъ для понужденія Юе-Чи къ нападенію на гунновъ; послѣдніе были сначала въ зависимости отъ Юе-Чи, но потомъ потѣснили ихъ, и Юе-Чи двинулись въ Илійскій край (въ 165 году до Р. Хр.). Чангъ-Кіенъ, сначала былъ захваченъ гуннами въ плѣнъ, но черезъ 10 лѣтъ бѣжалъ и началъ странствовать за Юе-Чи по всей средней Азіи; не успѣвъ убѣдить Юе-Чи вернуться къ сѣвернымъ предѣламъ Китая для нападенія на хун-ну, онъ въ 129 году черезъ Тибетъ вернулся въ Китай. Во время путешествія онъ замѣтилъ, что китайскія ткани, несмотря на закрытіе сѣверной дороги, находятъ путь въ Среднюю Азію черезъ Тибетъ и Индію. Съ 121 года китайцы начали систематическое завоеваніе „западныхъ" странъ, которыя, съ этого времени, періодически попадаютъ подъ ихъ власть. («La Chine», H. Cordier; Н. Соловьевъ „Китай", Ibidem).

Уже первымъ императорамъ этой династіи, какъ напр., Му-ван'у, жившему въ X в. до Р. Христова, пришлось усиленно воевать съ западными кочевниками, „собаками-варварами" китайскихъ лѣтописей, по всей вѣроятности предками позднѣйшихъ Хун-ну (Hiung-nu) — Гунновъ. О походахъ противъ тѣхъ же Гунновъ и Тангутовъ Императора Сюань-ван'я (827—782 г.г. до Р. Хр.) сообщаетъ „Книга Одъ". Такимъ образомъ, еще въ періодъ ассирійскаго владычества въ Мессопотаміи и Сузіанѣ Китайцы были вовлечены въ борьбу съ кочевниками въ степяхъ Туркестана и Монголіи.[58] Начиная съ VIII столѣтія (около 750 г.), Китай начинаетъ распадаться на удѣлы, а въ V столѣтіи, т. е. одновременно съ расцвѣтомъ Ахеменидскаго царства, начинаетъ постепенно выдвигаться Цинь'ское княжество, на верховьяхъ Желтой рѣки (въ теперешнихъ провинціяхъ Гань-су и Шэнь-Си), на западной окраинѣ Китая, настолько подвергавшееся гуннскому вліянію, что въ глазахъ другихъ удѣловъ оно считалось „Варварскимъ".[59] Несомнѣнно, что, благодаря этимъ связямъ и китайское вліяніе, въ свою очередь, распространялось далеко въ глубь средне-азіатскихъ степей, а съ этимъ вліяніемъ шли китайскіе товары, и среди нихъ въ первую голову шелкъ. Т. о. весьма вѣроятно, что около VII столѣтія до Р. Хр., т. е. въ то время, къ которому относится приводимое Геродотомъ повѣствованіе Аристея объ Аргиппэяхъ,[60] китайскіе отряды и китайскіе караваны бывали въ ихъ странѣ, т. е. въ Вост. Туркестанѣ или у оз. Балкаша. И въ это время, какъ и впослѣдствіи, кочевники Гунны должны были быть падки на шелковыя матеріи, и для себя и для обмѣна съ своими сосѣдями въ Согдіанѣ и Бактріанѣ. Такъ, очень рано, еще въ до-персидскій періодъ, должны были завязываться торговыя сношенія между Ираномъ и Китаемъ; въ виду отсутствія прочныхъ государственныхъ образованій въ „Срединной Азіи", эти отношенія сначала были спорадическими, то устанавливались, то порывались; очень вѣроятно, что долгое время китайскіе караваны не доходили даже до Бактріаны, а лишь передавали свои товары кочевникамъ — Хун-ну и Юе-чи. Какъ бы то ни было, непосредственно, или черезъ вторыя или третьи руки, шелкъ проникалъ не только въ Персію, но даже и въ Грецію до Александра Македонскаго,[61] а ассирійскіе архитектурные мотивы[62] и вави-

---

[58]) Первая дата событій Чжау'ской династіи, подтверждаемая астрономическими данными, это затмѣніе 29 авг. 776 года до Р. Хр., падающее на царствованіе Ю-ван'а; ближайшія къ этой датѣ царствованія, могутъ быть поэтому довольно точно расчитаны по китайскимъ источникамъ. Съ 722 года и до 479 г.г. событія изложены въ лѣтописи Конфуція „Чунь-Цю" („Весна и Осень").

[59]) "China", *E. B.*, XIII[th] Ed., VI, 193. — Въ 221 году Ванъ-Чженъ Циньскій принимаетъ титулъ „Du", Императора и этимъ закрѣпляетъ объединеніе Китая подъ главенствомъ западнаго („варварскаго") Циня.

[60]) Н. П. Толль. „Замѣтки о китайскомъ шелкѣ на югѣ Россіи". *S. K.*; 1927, I, 88.

[61]) Уже у Аристотеля имѣется упоминаніе о шелковичномъ червѣ (A. F. Kendrick. "Catalogue of Early Mediaeval Woven Fabrics", V. & A. Museum. London, 1925, p. 27); въ Индію шелкъ проникалъ еще ранѣе, не позже V вѣка до Р. Хр. (Ibidem, p. 28); въ сочиненіяхъ Конфуція (551—479 до Р. Хр.) встрѣчаются указанія на шелковыя матеріи и шелковыя одежды, а китайскія традиціи относятъ введеніе шелка къ 3-му тысячелѣтію до нашей эры, имп. Хси-Лин-Ши.

[62]) Въ началѣ Чжоу'ской династіи въ резиденціяхъ императоровъ воздвигались высокія башни „Гу", стоявшія на рядѣ съуживающихся къ верху платформъ, типа зиггуратовъ Вавилоніи и Ассиріи. „Китайское Искусство" А. Соловьевъ, *Э. С.*, (29), 123.

лонскій талантъ просачивались въ Китай. Самый фактъ проникновенія въ Китай изъ всей шкалы вѣсовъ самой большой мѣры — таланта (см. выше табл. III) указываетъ, что первоначально нужда чувствовалась именно въ немъ, а не въ мелкой размѣнной монетѣ; а это, въ свою очередь, говоритъ объ оптовой торговлѣ, о товарахъ въ большихъ, тяжелыхъ тюкахъ, о караванахъ, словомъ, о тѣхъ именно условіяхъ, которыя могли существовать въ то время, да и почти посейчасъ, въ Средней Азіи.[63] Принявъ талантъ, какъ мы выдѣли выше, Китай раздѣлилъ его по своему, на 16 и 10; тѣмъ не менѣе точную величину таланта типа *D* II и Китай, и Японія, и Индія сохранили до нашихъ дней. Съ „метрологической“ точки зрѣнія мы можемъ всѣ эти страны назвать областью д а р и к а (монеты и мины *D* II); это будетъ въ точномъ смыслѣ слова „востокъ“, и граница между культурнымъ вліяніемъ востока и запада пройдетъ по линіи раздѣла между „дарикомъ“ и его соперникомъ — золотникомъ.

Что же дало возможность сыграть эту роль полу-шекелю Царской мины *D* III и что дало золотнику его міровое значеніе? Сдѣлали это два факта: принятіе Аѳинами при реформѣ Солона своей денежной единицей — драхмой этого полушекеля въ 4,266 грамма, и походы Александра, которые разнесли эту единицу по всему міру отъ Киренаики (табл. IX, фиг. 5), до Парѳіи, Бактріи и Индіи. Такъ, недавно, въ раскопкахъ въ Таксилѣ[64] Sir John Marshall среди клада въ 1167 инійскихъ монетъ, нашелъ, бокъ-о-бокъ, 2 тетрадрахмы Александра Македонскаго и персидскій дарикъ.[65] Здѣсь по Инду и Михрану, отъ скалы Аорна[66] черезъ

[63]) О караванныхъ дорогахъ изъ Китая на западъ въ эпоху Ханьской династіи см. Толль, Ibidem, p. 89, по китайскому сочиненію III в. до Р. Хр. Wei-Lio. Первый путь шелъ южнѣе Тарима на Хотанъ и далѣе въ долину Кабула и Индію. Этимъ путемъ отъ Бактры и далѣе на востокъ шелъ Марко Поло (см. карту, табл. X). Средній путь шелъ черезъ Кара-Шаръ, Аксу и Кашгаръ въ Согдіану и Бактріану. Этимъ путемъ, но съ отклоненіемъ въ Хотанъ, пользовался въ 399 г. китайскій пилигримъ-путешественникъ Фа-Сянъ. Около Р. Хр. сталъ проходимымъ сѣверный путь, Тянь Шянемъ къ р. Или. Частью этого пути шелъ въ 629 г. Хьюнъ Цянь. Далѣе этотъ путь велъ сѣвернѣе Аральскаго и Каспійскаго моря на Волгу и Донъ. Въ 1245 г. здѣсь шелъ Плано Карпини. Слухи о западной части этого пути дошли до Геродота, и его Аргиппэи жили, повидимому, тамъ же, гдѣ голубоглазые и рыжеволосые У-сун'и. Этимъ путемъ, хотя и періодически, сообщалось Причерноморье съ „Срединной Азіей“ и, участками этого пути, на западъ и на востокъ, шли тѣ вліянія, которыми „звѣриный“ стиль (Ростовцевъ, *S. K.* I, 1927, 141—146; ΣΚΥΘΙΚΑ, стр. 26; Recueil Kondakov, 1926, „Сарматскія и Индо-скиѳскія древности“, стр. 239—258) распространился на западъ и на востокъ.

[64]) Въ эпоху Александра Таксила (см. карту, табл. X), индійское Такшасила, была уже древнимъ и большимъ городомъ; король ея Амби принялъ сторону Александра противъ Пора. Здѣсь, въ Таксилѣ, далъ Александръ нѣкоторый отдыхъ своимъ войскамъ. Городъ временъ Александра (Bhir Mound) былъ раскопанъ Маршаллемъ; этотъ городъ былъ смѣненъ скиѳопарѳянскимъ (раскопки у Sirkap'a) и послѣдній — т. н. Sirsukh'омъ. Въ 400 году, въ среднемъ городѣ былъ Фа-сянъ.

[65]) Sir John Marshall, "Where Alexander halted etc.“, Ill. L. News, 1926, 1104.

[66]) Аорнъ — Aornos. — Арріанъ (VIII, 28. 1—4) говоритъ, что послѣ взятія Оры (въ долинѣ Сват'а, притока р. Кабула; санскритское названіе Свата Uḍḍiyāna, и это имя носила вся долина; см. карту, Удіана), „варвары очистили городъ и бѣжали къ скалѣ, наз. Аорносъ“. Т. к. существовала легенда, что самъ Геркулесъ не могъ ее взять, то Александръ загорѣлся желаніемъ овладѣть ею, что въ концѣ концовъ Александръ и сдѣлалъ во главѣ отборныхъ 700 воиновъ и съ помощью насыпи съ сосѣдней вершины (Арріанъ, IV, 30, 1). Sir Aurel Stein недавно показалъ, что эта скала находилась на самомъ берегу Инда Ill. L. News, 1926, 831).

Таксилу къ Хараппѣ и Мохенджо-Даро[67] прошла граница между западомъ и востокомъ, между эллинскимъ міромъ и міромъ варваровъ;[68] все, что къ западу отъ этой линіи, Бактрія, Согдіана, Парѳія, Месопотамія, Сирія — на цѣлыя столѣтія остаются „эллинистическими"; исламъ — „послѣдняя реакція востока",[69] но Арабы и Турки — культурно данники той же греческой цивилизаціи; наряду съ просвѣщеніемъ они заимствуютъ черезъ Византію всю ту же шкалу мѣръ,[70] а когда, черезъ нѣсколько столѣтій, вновь начинается поступательное движеніе запада и русскіе аванпосты появляются въ Маргіанѣ и Согдіанѣ, то съ ними возвращается и драхма Александра, на этотъ разъ русскій золотникъ, и снова граница между западомъ и востокомъ проходитъ тамъ, гдѣ ее провели побѣды Александра.

Обратимся теперь къ аѳинской драхмѣ и къ опредѣленію точной величины ея вѣса. До насъ дошелъ рядъ аѳинскихъ разновѣсковъ и монетъ V и VI в. до Р. Хр., по которымъ вѣсъ драхмы этого періода опредѣляется съ достаточной точностью.[71] Pernice[72] считаетъ наиболѣе заслуживающимъ довѣрія изъ этихъ разновѣсковъ бронзовую гирьку очень хорошей сохранности съ надписью, удостовѣряющей, что она вывѣрена; она вѣситъ 426,63 грамма и даетъ для золотника 4,2663 грамма, т. е. точный вѣсъ золотника.

Viedebantt[73] приводитъ вѣса 109 архаическихъ аѳинскихъ тетрадрахмъ (560—480 г. до Р. Хр.) изъ собраній Берлина, Лондона и Аѳинъ; средній вѣсъ драхмы опять таки получается 4,27 грамма.

Аѳинскій монетный вѣсъ былъ принятъ Александромъ Македонскимъ, и его статеры въ 8,53 *g*, т. е. равные по величинѣ вѣса шекелю мины *D* III, распространились по всему эллинистическому міру. Наибольшей извѣстностью пользуются

---

[67]) Хараппа на „Гифазисѣ" и М. Даро на нижнемъ Индѣ недавно раскопаны Маршаллемъ; онъ обнаружилъ рядъ городовъ, существовавшихъ, одинъ послѣ другого съ 3-го тысячелѣтія до нашей эры. О связи этой „Индской" цивилизаціи съ Сумеромъ, см. *S. K.*, 1928, II, 219.

[68]) Интересно сравнить эту мысль съ выводомъ Тураева, что „новую силу греческій языкъ получилъ въ Египтѣ и Эфіопіяхъ съ принятіемъ христіанства; уже самый этотъ фактъ указываетъ на принадлежность этихъ странъ къ западному міру, въ противоположность персидскому, стоявшему подъ знаменемъ „Зороастризма". Б. А. Тураевъ, „Исторія Древняго Востока", Спб., 1913, ч. II, 300.

[69]) Ibidem, p. 300.

[70]) Арабскій золотой „Динаръ" Абдэль-Малика (695 по Р. Хр.) вѣситъ 4,3 грамма (золотникъ) и является копіей византійскаго солида того времени (см. H. R. Hill, «Numismatics», Ibidem, p. 904). Группа разновѣсковъ 765 года по Petrie (Numism. Chronicle, 1918, p. 115) даетъ вѣса полудинаровъ въ 2,11 и 2,12 грамма, т. е. вѣсъ динара въ 4,24 *g*, весьма близкій къ золотнику. Къ той же шкалѣ принадлежитъ La pile de Charlemagne, вѣсомъ въ 10 ока, посланная калифомъ Гарунъ-аль-Рашид'омъ Карлу В. (*S. K.*, I, 280) и положенная въ основу французскаго фунта въ 489,3 *g* (типъ D I), существующаго и понынѣ на островахъ Джерси и Гернсей; арабскій ока = 4 чеки по 307 *g*, т. е. 4 византійскимъ литрамъ; изъ одного чеки билось сто диргэмовъ (драхмъ) серебра по 3,07 *g*. — Теперешній турецкій ока вѣситъ 1282 грамма, т. е. 300 золотниковъ (3 аттическія мины).

[71]) О реформѣ Солона и критическій разборъ Видебантомъ соотвѣтствующаго текста Аристотеля, см. *S. K.*, 1927, I, 269—270.

[72]) Pernice, „Griechische Gewichte", s. 81.

[73]) „Forschungen etc", 1917, s. 171; см. *S. K.*, I, 240. 60 монетъ изъ общаго числа въ 109, т. е. 55% заключаются въ предѣлахъ отъ 16,9 до 17,3 гр. и даютъ среднюю величину драхмы въ 4,27 грамма.

статеры Лизимаха Ѳракійскаго[74] съ изображеніемъ на лицевой сторонѣ Александра Македонскаго (табл. IX, фиг. 6) въ видѣ Зевса-Аммона.

По счастливой случайности до насъ дошелъ цѣлый кладъ такихъ статеровъ въ 20 золотыхъ монетъ; при этомъ онѣ находятся не только въ полной сохранности, т. к., повидимому, не были даже въ обращеніи, но, какъ указываетъ G. F. Hill[75] были штампованы лишь двумя различными штампами. Такимъ образомъ эта серія удовлетворяетъ всѣмъ выше нами указаннымъ условіямъ для опредѣленія точнаго средняго вѣса[76] и даетъ намъ возможность расчитать подобно тому, какъ это было сдѣлано для Мины *D* I,[77] ошибки отдѣльныхъ наблюденій и ошибку (точность) средняго результата.

Въ таблицѣ IV (стр. 193) приводятся во 2 столбцѣ вѣса монетъ въ порядкѣ возрастанія вѣса; т. к. монеты эти статеры, то ихъ вѣсъ отвѣчаетъ шекелю соотвѣтствующей мины (типа *D* III), которыя приведены въ столбцѣ 3-емъ. Въ 4 и 5 столбцахъ даны величины отклоненій вѣсовъ отдѣльныхъ монетъ отъ средняго результата λ_i и ихъ квадраты λ_i^2. Средняя ариѳметическая величина статера получается 8,5305 грамма, и этому, слѣдовательно, равняется шекель мины *D* III, а самая мина равняется 511,83 граммамъ; соотвѣтствующій полушекель — золотникъ будетъ 4,26525 *g*. Такъ какъ по Менделѣеву золотникъ равенъ 4,26575 *g*, то мы видимъ, что эти двѣ величины совпадаютъ до половины четвертаго десятичнаго знака, т. е. являются тождественными.

Опредѣлимъ точность средняго результата. Для этого сначала расчитаемъ среднюю квадратическую ошибку и вѣроятную ошибку отдѣльнаго наблюденія.[78]

$$\varepsilon_2 = \sqrt{\frac{\Sigma\lambda_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0,0575}{19}} = 0,0550;\ r = {}^2/_3\,\varepsilon_2 = 0,0367.$$

Для полученія средней квадратической ошибки средняго результата нужно ε_2 раздѣлить на корень квадратный изъ числа наблюденій; получимъ:

$$\varepsilon_\xi = \frac{\varepsilon_2}{\sqrt{n}} \quad \text{и} \quad r_\xi = \frac{r}{\sqrt{n}};$$

подставляя вмѣсто $n = 20$ и опредѣляя прямо вѣроятную ошибку, получимъ:

$$r_\xi = \frac{0,0367}{\sqrt{20}} = \frac{0,0367}{4,47} = 0,00821.$$

---

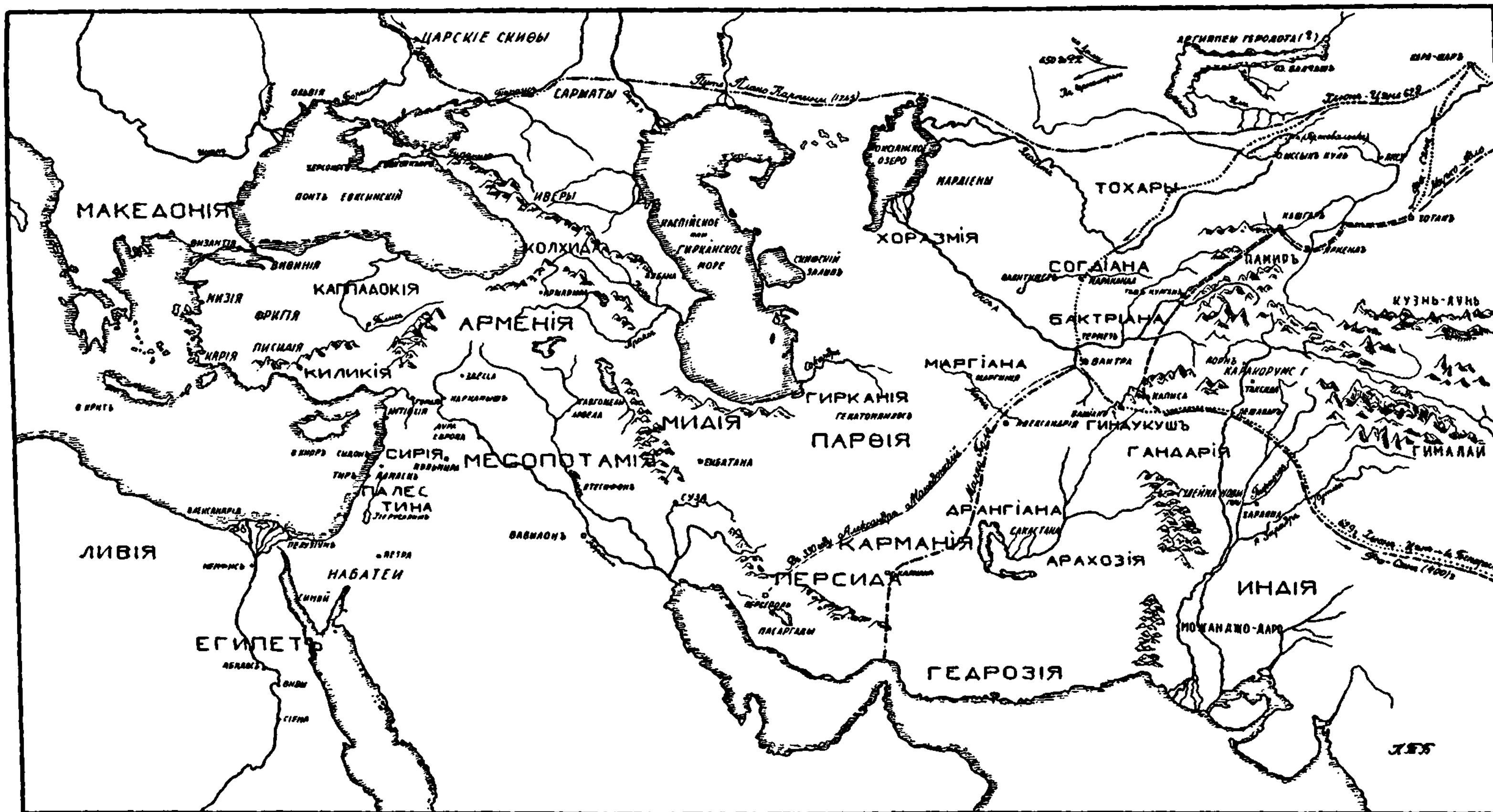
[74]) Лизимахъ (361—281 до Р. Хр.), полководецъ Александра Македонскаго. Послѣ его смерти получилъ Ѳракію, а послѣ смерти Антигона захватилъ Малую Азію. Воевалъ съ задунайскими Гетами и былъ у нихъ въ плѣну; освобожденъ царемъ Гетовъ, который женился на его дочери. Убитъ въ сраженіи съ Селевкомъ Никаторомъ. Монеты Лизимаха обильно лились въ южное Приднѣпровье и въ одномъ Анадольскомъ кладѣ монетъ Лизимаха и Александра оказалось болѣе тысячи. *S. K.*, I, 277.

[75]) Numism. Chronicle, 1919, p. 9; 1924, p. 82.

[76]) *S. K.*, 1928, II, 201; взвѣшиваемые предметы должны быть хорошей сохранности и принадлежатъ къ одной т. н. серіи, т. е. одному мѣсту и періоду и, желательно, одному и тому же мастеру или монетному двору.

[77]) *S. K.*, Ibidem, 202—215; мина D I = 491,4 опредѣлена съ точностью ± 0,56 грамма.

[78]) *S. K.*, Ibidem, 211.



Карта Персидской монархіи съ раздѣленіемъ на области при Ахеменидахъ.

Путь Марко Поло нанесенъ по Юлю (Jule) и по В. Массальскому („Памиръ", *Э. С. 44.* 665); путь Плано Карпини по „Routes to Kathay", E. Power въ серіи „Travel and Travellers of The Middle Ages. 1926"; путь Фа-Сяна (399 г.), по „The Travels of Fah-hsien", переводъ съ китайскаго H. A. Giles, Cambridge, 1923; путь Хьюнъ-Цяна (629) по A. Foucher, „Itinéraire du pélerin chinois Hiun Tzang"; карта составлена по В. Бартольду „Исторія Персіи", *Э, С, 45, 3, 88* и друг.; объ Аргиппэяхъ см. Н. П. Толль, *S. K.*, 1927, I, 88; древніе города Хараппа и Мохенджо Даро нанесены по Sir J. Marshall'y; русло Михрана по Бартольду и Маршаллу; Аорнъ — по Sir Aurel Stein'y.

Таблица IV.

Вѣса 20 золотыхъ статеровъ Лизимаха,

соотвѣтствующіе величинѣ мины, типа Дарикъ III, и отклоненія ихъ

отъ средняго вѣса.

I	II		III	IV	V
№№ статеровъ по порядку возрастанія вѣса	Вѣсъ монеты въ граммахъ	Онъ же вѣсъ шекеля	Вѣсъ соотвѣтствующей мины *D* III въ граммахъ	Отклоненіе отдѣльнаго значенія S_i отъ средняго $\check{S}_\xi$	Квадраты отклоненій
№№	P_i	$\check{S}_i$	$\check{S}_i \times 60 = M_i$	$\lambda_i = \check{S}_\xi - \check{S}_i$	λ_i^2
1	8,62		517,2	— 0,09	0,0081
2	8,60		516,0	— 0,07	0,0049
3	8,58		514,8	— 0,05	0,0025
4	8,57		514,2	— 0,04	0,0016
5	8,57		514,2	— 0,04	0,0016
6	8,57		514,2	— 0,04	0,0016
7	8,57		514,2	— 0,04	0,0016
8	8,55		514,2	— 0,02	0,0004
9	8,55		513,0	— 0,02	0,0004
10	8,55		513,0	— 0,02	0,0004
11	8,53		511,8	0,00	0,0000
12	8,53		511,8	0,00	0,0000
13	8,52		511,2	+ 0,01	0,0001
14	8,52		511,2	+ 0,01	0,0001
15	8,51		510,6	+ 0,02	0,0004
16	8,49		509,4	+ 0,04	0,0016
17	8,49		509,4	+ 0,04	0,0016
18	8,45		507,0	+ 0,08	0,0064
19	8,42		505,2	+ 0,11	0,0121
20	8,42		505,2	+ 0,11	0,0121
$\Sigma n = 20$	$\check{S}_\xi = \frac{\Sigma \check{S}_i}{n} = 8,5305$		$M_\xi = \frac{\Sigma M_i}{n} = 511,83$	$\Sigma\lambda_i = -0,01$	$\Sigma\lambda_i^2 = 0,0575$

И такъ, $\check{S}_\xi = 8{,}5305 \pm r = 8{,}5305 \pm 0{,}0082$,
т. е. въ предѣлѣ отъ 8,5387 до 8,5223.

Для соотвѣтствующей величины мины та же вѣроятная ошибка будетъ $r_\xi \times 60 = 0{,}00821 \times 60 = 0{,}4926$, слѣдовательно $M_\xi = 60 \times \check{S}_\xi \pm 60 \cdot r_\xi = 511{,}83 \pm 0{,}49$.

Т. к. M_ξ есть нашъ Дарикъ III, то, окончательно,

$$D\ \text{III} = 511{,}83 \pm 0{,}49 \text{ грамма}$$

И такъ, на основаніи монетъ Лизимаха, мина Дарикъ III нами опредѣлена съ тою же, и даже нѣсколько большею точностью, нежели основная мина D I = 491,4 ± 0,56 грамма[79]. Такимъ образомъ, на протяженіи тысячелѣтій, отъ III-ей

Таблица V.

Частости N при измѣненіи величины статера на 1 вѣроятное отклоненіе.

Предѣлы величины статера черезъ одно вѣроятное отклоненіе	Вѣроятное отклоненіе r	Частота N	Частота въ %	Теорет. % Гаусса
8,420 —8,457	0,037	2	10	7 (+2)
8,457 —8,494	0,037	3	15	16
8,494 —8,5305	0,037	5	25	25
8,5305—8,567	0,037	3	15	25
8,567 —8,604	0,037	5	25	16
8,604 —8,641	0,037	2	10	1

Урской династіи и до Александра Македонскаго, царская мина D III и ея шекель (статеръ) въ 8,53 грамма и полушекель (драхма, золотникъ) въ 4,26 грамма сохранили необычайную устойчивость и ни на іоту не измѣнили свой величины.

Мы уже видѣли выше, что тетрадрахмы Александра дошли до Индіи, и съ бактрійскими и парѳянскими властителями продержались тамъ и въ Персіи еще нѣсколько столѣтій. Въ Индіи, начиная съ II вѣка до Р. Хр., греческія монеты начинаютъ терять свой характеръ и постепенно вытѣсняются персидскимъ эталономъ, золотникъ уступаетъ мѣсто дарику; греческіе владѣтели продолжаютъ держаться въ Индіи почти до нашей эры (до 20 года до Р. Хр.) и успѣваютъ еще наложить свою печать на все буддійское искусство, но возвращеніе къ дарику знаменуетъ отходъ отъ эллинской культуры, и Индія на два тытячелѣтія оста-

[79]) *S. K.*, Ibidem, 215; распредѣленіе отдѣльныхъ наблюденій въ таблицѣ IV также соотвѣтствуетъ закону случайныхъ ошибокъ и близко слѣдуетъ кривой Гаусса (*S. K.*, Ibidem, 211). Дѣйствительно, если мы расчитаемъ частости и ихъ % (табл. V), то получимъ для лѣвой вѣтви совпаденіе, а для правой близость къ кривой Гаусса.

нется „востокомъ". Нѣсколько дольше удерживается греческое вліяніе въ Персіи; Арзакиды пользуются аттическимъ эталономъ монетъ и вѣса и всячески подчеркиваютъ свою дружбу съ западнымъ міромъ; всѣ ихъ цари, въ числѣ другихъ греческихъ титуловъ, именуютъ себя и филэллинами; серебряныя монеты Сассанидовъ сначала слѣдуютъ шкалѣ Арзакидовъ, но золотые Сассанидовъ уже другіе, они принимаютъ за образецъ римскіе Ауреусы, и это приводитъ насъ къ весьма интересному вопросу о римской монетой системѣ, вопросу тѣмъ болѣе важному, что Византія — Новый Римъ — слѣдовала Римской системѣ или, вѣрнѣе, хотѣла слѣдовать, ибо, въ концѣ концовъ византійскій солидъ все же превратился въ золотникъ.

Какъ мы видѣли выше,[80] въ основу римскаго вѣса въ первые вѣка республики былъ положенъ т. н. оско-латинскій фунтъ въ 273 грамма[81]; наряду съ нимъ, какъ провинціальный вѣсъ, существовала и т. н. италійская мина въ 491 граммъ,[82] т. е. мина Дарикъ I, вѣсовая сумеро-вавилонская мина. Когда въ 338—312 г. Римъ началъ собирать Лаціумъ и Кампанію противъ Самнитовъ и появилась необходимость въ болѣе усовершенствованныхъ формахъ обмѣна, то стали выбиваться первыя бронзовыя монеты Aes Grave по вѣсу O. L. фунта.[83] Въ 269 г. до Р. Хр. была введена серебряная монета, денарій, по расчету отношенія серебра къ мѣди 1:120 для двойного осколатинскаго фунта въ 546 граммовъ, или 1:60 для O. L. фунта, т. е. вѣсомъ въ 27,3 : 6 = 4,55 грамма. Этотъ вѣсъ является чрезвычайно показательнымъ: во 1-хъ, какъ $^1/_{60}$-ая, денарій является „шекелемъ" O. L. фунта, въ чемъ видно вліяніе Месопотамской шестидесятиричной системы; во 2-хъ, вѣсъ въ 4,55 грамма есть вѣсъ солоновой вѣсовой драхмы, а, слѣдовательно, въ 3-хъ, половина египетскаго кедета.[84]

Около этого же времени произошло уменьшеніе вѣса Аса до $^1/_5$ O. L. фунта, т. е. до 54,6 грамма; тогда же появился и новый, болѣе тяжелый римскій фунтъ, для котораго эти 54,6 *g* явились одной шестой, т. о. вѣсъ новаго фунта оказался въ 327,6 грамма. Этотъ фунтъ, „libra", имѣлъ и то удобство, что онъ находился въ простомъ отношеніи къ италійской минѣ, а именно его половина, весьма распространенный вѣсъ въ 163,72 *g*, равнялась одной трети *D* I. Такимъ образомъ новый фунтъ объединялъ въ себѣ и O. L. фунтъ и южно-итальянскую мину, равную *D* I.[85] Когда стала появляться золотая монета, и Августъ началъ чеканить золотые ауреусы по 40 на фунтъ,[86] то $^1/_{40}$ фунта оказалась

[80]) *S. K.*, 1927, I, 262—266.

[81]) „Roman Coins", Guide, G. F. Hill, Ibidem, p. 33. Асъ дѣлился на 12 унцій; чеканились Semis ($^1/_2$), Triens ($^1/_3$), Quadrans ($^1/_4$), Sextans ($^1/_6$) и Uncia.

[82]) *S. K.*, I, 217; Petrie, „Weights and Measures", E. B., 1926, v. 28, p. 486.

[83]) На лицевой сторонѣ Semis'а чеканилась голова Юпитера, а у слѣдующихъ Dea Roma, Гераклъ и Меркурій; на оборотной у всѣхъ голова корабля.

[84]) *S. K.*, I, Ibidem, т. VII, стр. 268; тамъ указано, что двойной O. L. фунтъ въ 546 граммовъ является серебряной вавилонской миной Lehmann-Haupt'а и равняется нашему Ансырю въ 128 золотниковъ.

[85]) Съ одной стороны римскій фунтъ (lb.) = $^6/_5$ O. L., а, съ другой lb. = $^2/_3$ *D* I.

[86]) Подробныя данныя о римской монетной реформѣ имѣются у Плинія въ его Historia Naturalis; о введеніи золота онъ говоритъ: „Aureus nummus post annos *L* I percussus est quam argenteus it a ut scripulum valeret sesterciis vicenis, quod effectum in librali ratione sestertii qui tunc erat CCCC. Postea placuit X XL signari ex auri libris..." (*H. N.*, 47).

равной $^1/_{60}$ D I, и ауреусъ Августа оказался ничѣмъ инымъ какъ шекелемъ вѣсовой мины D I.[87] Такимъ образомъ, послѣ многихъ попытокъ установить свою монетную систему императорскій Римъ также остановился на древней сумерійской минѣ, только онъ принялъ, въ отличіе отъ Аѳинъ и эллинистической Греціи, вѣсовой эталонъ D I, а не царскій D III. Дальнѣйшая исторія Рима и Византіи показываетъ какъ постепенно произошелъ переходъ отъ шекеля мины D I къ золотнику — полушекелю мины D III, и отъ римской либры въ 327,6 грамма — къ литрѣ въ 307 граммовъ.

Вѣсъ ауреуса при послѣдующихъ императорахъ Неронѣ, Доминиціанѣ и Діоклетіанѣ продолжалъ уменьшаться и, соотвѣтственно, число ауреусовъ на фунтъ увеличивалось; наконецъ Константинъ въ 312 году установилъ это число въ 72 на фунтъ, и тогда вѣсъ ауреуса получился въ 4,55 грамма и сталъ равенъ вѣсу прежняго денарія; въ свою очередь, вѣсъ серебрянаго денарія тоже сталъ падать и при Неронѣ упалъ до 3,41 граммовъ, т. е. 96 на фунтъ. Константинъ Великій приравнялъ денарій по цѣнѣ $^1/_{1000}$ золотого фунта, откуда за нимъ установилось названіе миліаресій (или миліарисій, отъ греко-римскаго miliarense); сначала вѣсъ его былъ поднятъ опять до 4,55 грамма, но при Геракліи (610—641) былъ введенъ двойной или тяжелый миліаресій („гексаграмъ") въ 6,83 грамма, т. е. прежній миліаресій снова понизился до вѣса денарія Нерона. При этомъ, тяжелый миліаресій, какъ $^1/_{48}$ lb. оказался равенъ $^1/_{60}$ русскаго фунта.[88] Такимъ образомъ, какъ разъ не задолго до открытія торговыхъ сношеній Византіи съ Русью, византійская серебряная единица встала въ простое, „шекельное" отношеніе къ русскому фунту. Весьма возможно, что это сыграло роль въ популяризаціи этой единицы въ Россіи, и въ томъ, что тяжелый миліаресій сталъ равноцѣненъ русской кунѣ.[89]

---

[87]) $\frac{327,6}{40} = \frac{491,4}{60} = 8,19$; здѣсь D I взятъ не 491,14, а какъ $^3/_2$ lb. = 491,4.

[88]) $\frac{327,6}{48} = \frac{409,5}{60} = 6,825$ грамма, ибо lib. (либра) = $^2/_3$ D I, а Ф (фунтъ) = $^5/_6$ D I и, слѣдовательно, lb. : 4 = Ф : 5.

[89]) „Куны", Д. Прозоровскій, Извѣстія Имп. Русскаго Археологическаго Общества, 1872, VII, 128. Прозоровскій сравненіемъ статей Олегова договора („... 5 литръ серебра по закону русскому") и Русской Правды, опредѣляющейся за тотъ же проступокъ 12 гривенъ, выводитъ вѣсъ гривны въ 50 миліаресій. Тотъ же выводъ получится, если считать, что договоръ Олега именовалъ литрой русскій фунтъ въ 60 миліаресій; тогда 5 × 60, т. е. 300 мил. соотвѣтствуютъ 12 гривнамъ, а 1 гривна = 25 двойныхъ м. (гексаграмъ) = 50 миліаресій легкихъ. Далѣе, по смоленской жалованной грамотѣ 1150 года, Прозоровскій получаетъ 100 кунъ = 2 гривны и 1 гривна = 50 кунъ; откуда, окончательно: куна = миліаресію. — Авенаріусъ (Ibidem, стр. 113), соглашаясь съ Прозоровскимъ, что „куны были иностранныя монеты, имѣвшія у насъ обращеніе", хотѣлъ въ нихъ видѣть англійскіе pennies или нѣмецкіе Pfennige. Ключевскій („Курсъ", 1920, I, 265) считаетъ гривны кунъ серебряными слитками, а монетный эквивалентъ куны — арабскимъ диргэмомъ; Трутовскій (Нумизмат. Сборникъ, Москва, 1911, I, 401—482) считаетъ куны исключительно мѣховыми единицами (стр. 410), а „мордки куньи", по всей вѣроятности, кредитными знаками (стр. 456).

Оставляя открытымъ вопросъ о возможности существованія въ разное время въ разныхъ областяхъ Россіи различныхъ соотношеній между цѣнностью мѣховыхъ единицъ кунной системы (мордки, ногаты, рѣзаны) и гривенъ (серебра или золота), я лишь хочу отмѣтить, что литра договора Олега должна имѣть въ виду русскій фунтъ изъ 96 золотниковъ, т. е. сама равняется

Что касается золотого ауреуса, то нѣкоторое время, какъ показываютъ вѣса монетъ Константина,[90] онъ продолжалъ держаться на уровнѣ 4,55 грамма, т. е. аѳинской вѣсовой драхмы, но со временъ Анастасія (491—518) начинается колебаніе въ вѣсѣ различныхъ выпусковъ, и, когда въ VII столѣтіи Арабы заимствуютъ у Византіи свой золотой динаръ (denarius aureus), то вѣсъ его, какъ мы видѣли выше, уже равняется вѣсу з о л о т н и к а.[91]

Одновременно съ этимъ появляется и византійская (золотая) литра изъ 72 драхмъ-золотниковъ, вѣсомъ въ 307,15 грамма,[92] и дѣленіемъ ея на сто получаются новыя легкія драхмы въ 3,07 грамма, которыя Арабы принимаютъ за свои серебряные диргэмы.[93] Тѣ же монеты попадаютъ и къ намъ въ Россію и, напр., въ Нѣжинскомъ кладѣ вся средняя группа монетъ имѣетъ сред. вѣсъ въ 69,4 доли,[94] т. е. 3,07 грамма.

Еще много раньше, какъ мы указывали выше,[95] аѳинскіе золотые драхмы и статеры въ изобиліи лились черезъ греческія колоніи и Босѳорское Царство въ

96 аттическимъ драхмамъ (такая литра, для серебра, тоже была въ употребленіи въ Византіи, о чемъ см. Ф. Винклеръ, „Византійская монета", Ibidem, XI, 276). Тогда гривна, равная $^5/_{12}$ литры, (ибо 5 литръ эквивалентны 12 гривнамъ) будетъ равна $^5/_{12} \times 96$ *з.* = 40 золотникамъ, т. е. $^1/_3$ нашего безмена и мины *D* III. Большинство дошедшихъ до насъ миліаресіевъ изъ за употребленія стерлись и нѣсколько меньшаго, хотя и близкаго къ 3,41 *g* вѣса, такъ Sabatier, (»Description générale des monnaies byzantines«, Paris, 1862) нашелъ, что ихъ вѣса колеблются отъ 3,15 до 3,23 грамма; очень м. б., что тутъ уже замѣчается пониженіе вѣса миліаресія отъ $^1/_{130}$ Ф (3,41 *g*) до $^1/_{100}$ *L* (3,07 *g*), которое приведетъ къ арабскому дирѓэму въ 3 грамма и къ „Новгородкѣ" въ 18 долей (18 д. = 0,8 грамма; 0,8 × 4 = 3,20 *g*); впрочемъ гексаграмы Ираклія обыкновенно еще близки къ теоретическому вѣсу. (См. „Византійскія Монеты", гр. И. И. Толстого, Спб. 1912, стр. 744 и W. W. Wroth, »Catalogue«, Heraclius, silver.)

Такимъ образомъ наша куна, равная $^1/_{50}$ гривны, ложится въ основу русской счетной торговой системы, гдѣ гривна играетъ роль легкой мины, а куна — легкаго полушекеля. Насколько эта система оказалась жизненной, показываетъ, съ одной стороны, ея распространеніе въ Россіи, а съ другой, заимствованіе ее, черезъ Новгородъ фризами, у коихъ, въ Рустрингенѣ куна, подъ названіемъ ф р и з с к о й м а р к и существовала до XVI столѣтія (E. Wadstein, „Ett Vitnesbörd om Gammal Frisisk Förbindelse med Ryssland", Festskrift Hj. Falk, 1927, Oslo и *S. K.*, 1929, III, 261, прим. 209); также, N. Belaiew, "Frisia and its Relations with England and the Baltic Littoral in the Dark Ages", Journ. British Archaelogical Association, 1931, v. XXXVI, p. II.

[90]) О различныхъ разновѣскахъ и монетахъ поздне-римскаго и византійскаго періода, см. Petrie, Ibidem, 1926, pp. 25, 44 и „Weights & Measures", *E. B.*, Ibidem, 488, гдѣ приведенъ вѣсъ солида Константина въ 327,4 : 72 гр. и солида Юстиніана уже въ 323,7 : 72.

[91]) Petrie, Numizm. Chronicle, 1918, 115; — Wroth, Ibidem; среди солидовъ Гераклія, чеканеныхъ въ столицѣ, до 12% типа золотника; еще больше ихъ въ провинціяхъ, особенно выпусковъ Карѳагенскаго и Римскаго монетнаго двора Тиберія III (698—705), Льва Исаврянина (717—741) и Константина Копронима (741—775). — По Прозоровскому, Ibidem, 138, „легчайшіе ауреусы или солиды тянутъ 90, а тяжелые до 102, а иногда и болѣе долей, какъ я нашелъ по собственной вывѣскѣ"; отсюда среднiй вѣсъ получается въ $\frac{192}{2} = 96$ долей, т. е. какъ разъ 1 золотникъ.

[92]) Какъ мы указывали выше, въ употребленіи были и другіе фунты—литры для разныхъ металловъ и сплавовъ (разной пробы)—въ 96 (для серебра) и 128 драхмъ (для мѣди); поэтому мы полагали, что „литры серебра по закону русскому" были литры изъ 96 золотниковъ, т. е. нашъ русскій фунтъ; Кауфманъ („Русскій Вѣсъ") считаетъ фунтъ въ 96 *з.* „Иракскимъ" фунтомъ.

[93]) „Numismatics", Ibidem, p, 904.

[94]) Прозоровскій, Ibidem, 138.

[95]) *S. K.*, 1927, I, 277.

наше Приднѣпровье; съ V—VII столѣтія торговля начала заносить, наряду съ серебряными сосудами и слитками[96] и драхмы Сассанидовъ, а затѣмъ, съ VII—VIII столѣт. диргэмы Омайядовъ и Абассидовъ. Къ IX—X столѣтію количество драгоцѣнныхъ металловъ, находившихся у насъ въ обращеніи, было уже весьма значительно, и напр., въ договорѣ Олега съ Греками пени исчисляются литрами (т. е. фунтами) серебра, по „закону русскому".[97] Всѣ эти монеты и мѣры принадлежали, какъ мы видѣли выше, къ одной и той же шкалѣ мины *D* III — безмена и ея полушекеля — золотника. Когда при Владимирѣ поднялся вопросъ о чеканкѣ собственной монеты и были выпущены золотыя и серебряныя монеты по образцу византійскихъ солидовъ и миліаресіевъ, то первые, „златьники" (табл. IX, фиг. 7), оказались вѣсомъ въ 1 золотникъ,[98] а вторыя — въ драхму Константина, въ 3,41 грамма; первыхъ приходилось 96 на фунтъ, а вторыхъ 60 на фунтъ. Такъ естественно и стройно укладывались монеты далекаго Царьграда въ нашу родную вѣсовую систему. И происходило это не случайно, а потому что за цѣлое тысячелѣтіе раньше русская равнина уже начала впитывать въ себя древнюю культуру Месопотаміи и Эллады, а къ времени Александра уже вошла въ область эллинистической культуры. Не случайно и то, что изъ всѣхъ странъ новаго германо-славянскаго міра Россія единственная сохранила преемственность своей метрологической системы отъ сумерійской мины *D* III, — къ нашему безмену, отъ золотого выдѣла мины *D* I — къ нашему фунту и отъ полушекеля мины *D* III, zûzu' — къ нашему золотнику.

Даже великій Римъ не сразу, а ощупью подходилъ къ своей либрѣ и ауреусу — шекелю мины *D* I; даже Византія, взявъ ауреусъ отъ Рима и превративъ его въ свой солидъ, съ трудомъ, какъ будто случайно вернула его къ вѣсу золотника; и вернувъ, принесла въ Россію, а въ Россіи золотникъ оказался не пришельцемъ, а у себя на родинѣ, и сталъ главнымъ и неразрывнымъ звеномъ русской системы мѣръ и вѣса.[99] И невольно хочется сказать, что нельзя не

---

[96]) Я. И. Смирновъ. „Восточное Серебро"; А. Орѣшниковъ. „Опись серебряныхъ монетныхъ слитковъ Собранія Россійскаго Историческаго Музея", Труды Москов. Нумизм. Общ., т. II.

[97]) См. выше О договорѣ Олега съ Греками, прим. 89.

[98]) Прозоровскій, Ibidem, p. 139; Кондаковъ и Толстой, „Русскія Древности въ памятникахъ искусства", Спб. 1891, IV, 167; тамъ же шведская копія „Ярославля Серебра" изъ Стокгольмскаго музея, эпохи Викинговъ (стр. 169); капит. трудъ: гр. И. И. Толстой, „Древнѣйшія русскія монеты Великаго Княжества Кіевскаго", Спб., 1882. — На лицевой сторонѣ „златьника" (табл. IX, фиг. 7) изображенъ великій князь Владиміръ на престолѣ; рядомъ съ изображеніемъ великаго князя знакъ въ видѣ трезубца. Въ недавно появившемся изслѣдованіи объ этомъ знакѣ бар. М. А. Таубе („Сборникъ статей, посвященныхъ П. Н. Милюкову", Прага, 1929, 117) высказываетъ предположеніе, что въ этомъ знакѣ мы имѣемъ родовой „гербъ" семьи Св. Владиміра. Вполнѣ соглашаясь съ полной вѣроятностью предположенія автора, полагаю только, что знакъ, общій „семьѣ стараго Игоря" и Рагвальда, двоюроднаго брата Ингигерды, дочери Олафа Скотконунга, д. б. знакомъ именно ихъ дома, т. е. Скіольдунговъ, а не Инглинговъ (*S. K.*, 1929, III, 254).

[99]) Необычайную „живучесть" золотника на русской почвѣ можно показать на примѣрѣ нашей Императорской золотой монеты. При фиксированіи въ 1896 году курса полуимперіала въ 7 р. 50 к. оказалось неудобнымъ чеканить новыя монеты съ надписью 5 руб., какъ было раньше, и поэтому съ 1897 г., оставивъ ее того же вѣса и пробы, стали на ней означать цѣну 7 р. 50 к.; вѣсъ такого полуимперіала, при пробѣ $^{900}/_{1000}$ былъ 1 золотникъ 49,2 доли; далѣе оказалось желательнымъ имѣть и монету пятирублеваго достоинства (фиг. 8) — и вѣсъ такого пятирублевика (лигатурный) оказался 1 золотникъ 0,8 доли (4,30 *g*), а десятирублевика — 2 *g*

вѣрить, чтобы величаво-стройная система нашихъ мѣръ, наслѣдіе славнаго прошлаго и могучее и гибкое орудіе для внутренняго и внѣшняго обмѣна всего что выработано культурой, не была бы дана великому народу.

Н. Т. Бѣляевъ

31 января 1931 г.

*

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы выразить свою глубокую благодарность Директору и Хранителямъ Британскаго Музея за любезное разрѣшеніе воспроизвести разновѣски изъ Ура, Варки, стэлу Дарія Гистаспа, драхму изъ Киренаики и статеръ Лизимаха.

Н. Т. Бѣляевъ

1 февраля 1931 г
Лондонъ

1,2 д. (8,59 *g*). Такимъ образомъ, находившіеся въ обращеніи золотые въ 10 и 5 рублей стали почти равными „шекелю-статэру“ въ 8,53 *g* и золотнику-драхмѣ въ 4,27 *g*, и весьма незначительное измѣненіе пробы, при томъ же количествѣ золота, вернуло бы обѣ монеты къ точному вѣсу 2 и 1 золотника.

THE DARIC AND THE ZOLOTNIK

by

COLONEL N. T. BELAIEW, C. B., M. R. I.

The haematite barrel-weights from Ur and Warka have enabled us to determine the Sumerian standards of the period 2000 B. C., i. e. immediately after the great Sumerian revival of the III[rd] Dynasty of Ur. These standards were (S. K., II, 1927, p. 220; R. A., XXVI, 1929, p. 116):

D I = 491,14 ± 0,56 *g*; *D* II = 502,20 ± 0,07 *g* and *D* III = 511,83 *g*; in the last case no "limits" are stated, as the number of weights, six, is to small to allow to calculate the probable error with a sufficient degree of accuracy.

The minas *D* I and *D* II seem to be independent standards and unrelated one to another by any simple ratio; on the other hand, *D* III = 25/24. *D* I, or *D* III = *D* I + 1/24[th]. *D* I (Transactions of the Newcomen Society, v. VIII for 1927—1928, London, 1929, p. 144).

The *D* III standard stands in the same relation to the *D* I, as the Mina of the King (Transactions, Ibidem, p. 128) of Lehmann-Haupt to his basic mina of 491,17 *g*, which he calls the "Mina of the Land" (Klio, 1915, p. 370 and previous publications).

The shekel of *D* III is 8,5305 *g* and the half shekel or zûzu' (Sidney Smith, "A Pree-Greek Coinage in the Near East", Numismatic Chronicle, 1922, v. II, p. 4; S. K., 1928, v. II, p. 222)— 4, 26575 g, or 4,266 *g*. This last figure was taken by Solon for his monetary drachma (S. K., 1927, I, 287, 269—271) and is attested by several archaic weights, as, for instance, by the one-mina weight of Pernice of 426,63 *g* („Griechische Gewichte", 81; also Viedebantt „Forschungen etc.", 1917, 171) which gives for the Athenian Drachma 4,266 *g*.

The Athenian standard was adopted by Macedonia and became the standard of the Hellenistic world; the chief gold coin was the double drachma or the stater, thus equalling the shekel of the mina *D* III; there also were distaters, corresponding to the heavy shekel and the drachmas. The coinage of Alexander the Great is very abundant, but the most interesting series is that of Lysimachus of Thrace; it is on his coins that the head of Alexander with the attribute of the god Ammon appears for the first time (Fig. 6).

A hoard of twenty gold staters of Lysimachus, all in a very fine state of preservation, enables us to make the necessary computations to obtain the arithmetic mean and the probable error of the meah with the same accuracy as in the previous case of the mina *D* I (Transactions, Ibidem, p. 136). According to Dr. Hill (Num. Chron., 1924, p. 8 and, Ibidem, 1919, p. 9) these staters have not been in circulation, "evidently come from the same mint" and only from two pairs of dies; thus, in that particular case, all the conditions are fulfilled, which, as previously mentioned (Transactions Ibidem, p. 131) are required to obtain reliable results by the statistical method of computation. The weights of the staters, of their respective minas and of the "errors", i. e. of the differences between the arithmetic mean and every particular weight, are entered in Table IV. The arithmetic mean is 8,5305 *g* for the stater and 4,2653 for the drachma. The probable error will be $r = 0{,}0367\ g$ and the error of the mean, $r_{\xi} = \frac{r}{\sqrt{n}} = 0.0082\ g$; thus, the mean value of the stater will be $\delta_{\xi} = 8{,}5305 \pm 0{,}082$, and, for the mina, $M = 511{,}83 \pm 0{,}49\ g$.

The "Lysimachus Mina" is thus exactly equal to the Sumerian Mina *D* III, and the Lysimachus drachma to the halfshekel or zûzu' (Numism. Chronicle, p. 4), both being equal to 4,26525 *g*. As previously mentioned (S. K., 1927, I, p. 277), large amounts of the Lysimachus coins are found in the south-Russian hoards and the weight of his drachma is still that of the Russian standard unit of weight, the "Zolotnik", which according to Mandeléeff's determinations at the St. Petersburg's Bureau of Standards, is 4,26575 *g*. This shows the extraordinary stability of this standard, which remains exactly the same whether determined on the weights of the kings of Ur, on the staters of Lysimachus, on the Athenian weights or on the Russian Zolotnik. It also shows that most of the countries which were brought either politically or commercially into contact with Sumer and Babylonia

adopted for their monetary and trade-transactions the standard of the mina *D* III. In some cases, as in that of Rome, the basic mina or *D* I was adopted for the same purpose. On the other hand, rather early a confusion of these two standards also began to occur, and it seems that from such a confusion the standard *D* II took his origin.

According to Sir Flinders Petrie ("Ancient Weights & Measures", London, 1926, p. 12), the Persian daric "most likely was a mean example of the fused standards in later times", and in fact, the mean of the shekel of *D* I, which is 8,195 *g*, and of that of *D* III or 8,531 will be 8,363 *g* which is very close to 8,37 *g* and within the limits indicated by us for the shekel of the mina *D* II.

Among the 29 weights of the Sumerian standard from Ur and Warka six, or about 20% belong to that class (Transactions, Ibidem, p. 140) and that shows that already at about 2000 B. C. this confusion of standards was taking place. As the Assyrian Lion-weights mostly belong to that standard, it can be assumed that the Assyrians were unwilling or unable to discriminate between the two principal Sumerian standards and contented themselves with the average figure, probably obtained either by fusion or by indiscriminate use of both standards. On the other hand, as attested by the Nebuchadrezzar — Shulgi stela (R. A., XVI, 1929, p. 116, fig. I and Trans., Ibidem, Plate XVIII), the Neo Babylonian kings were very much concerned in bringing their standards of weight back to the Sumerian ones.

The Persians did not follow this example, and the Persian mina of Darius Hystaspes (Fig. 4), the Persian lions and, more particularly the Persian Gold coinage, that of the "Daric" belong to the Assyrian standard of the mina *D* II, i. e. 502,20 *g*. A large number of daric coins (Fig. 3) have come down to us and many determinations of their weight made; according to their state of wear and general preservation the figures arrived at by different observers vary between that of Weissbach, of 8,3362 and that of Hultsch and Brandis, of 8,40 *g*. (Transact., Ibid., p. 141); Thureau-Dangin accepts the latter figure (8,41 *g*; R. A., XVII, 1930, p. 55) from Babelon, "Les monnaies grecques"; Regling, in Klio, XIV, p. 91, cites different figures from 8,354 to 8,375 and 8,41; Viedebantt takes 8,35 and Petrie 8,37. As this last named figure corresponds with the mean between the limits of 8,34 and 8,40, is equal to the shekel of the mina *D* II and is also the mean of a very large number of determinations of the daric weight by Petrie, it can be taken as the most probable value of the daric as a coin and, also, as the shekel of the mina *D* II.

The gold coin of the daric from its purity and superior weight to the previous coins superceded the Lydian currency and became very popular whereever the Persian influence was felt and acknowledged. At a time commercial relations, attested by Herodotus (III, 136) carried the Asiatic influence to Southern Italy, and one of these coinages, that of Tarentum was Persian, the Tarentine stater or "Noummos" being equal to 8,32 *g* (Hill, "Numismatics", E. B., v. XIX, p. 877); the coinage of the city of Byzantium also begins with the *D* II standard, and it seems that these two points, Byzantium and Tarentum mark on the north-west and west the farthest limit of the Persian influence, attested by metrology.

In the east, the vast Achaemenian dominions, as shown by the inscription of Darius the Great at Hamadan, stretched beyond Sogdiana to the country of the Saka ("This Empire that I possess is from Scythia which is beyond Sogdiana as far as Kush, from the Indus to Sardis ...") by trade this influence was carried farther still into central Asia and to the borders of China. At any rate, the talent of the mina *D* II, i. e. 502,20 by 60, and by 2, or 30132 *g* by 2, or 60,26 kilogrammes has become the talent of China; it is called Hu, whereas in Sumerian it was Gun. It was further subdivided in 100 kin of 602,68 *g*, and every kin into 16 Lan or Taels of 37,66 *g* (Table III); further, the tael was divided again by ten into 10 Tzian of 3,766 *g*. As this figure is very close to 3,73 *g*, i. e. $^1/_{100}$th of one pound troy, the latter figure was taken for the so called "Treatise" tzian, or "Official" unit in 1914. Thus, the hu was divided by $10 \times 10 \times 16$ into 1600 units (Taels), and this division, as well as the main unit extends to India (Petrie, Ibidem, p. 28); the Sumerian division, on the other hand, is sexagesimal, $60 \times 60 \times 2$, into 7200 light (or 3600 heavy) shekels; thus, one tael equals 4,5 shekels of the *D* II standard. It is interesting to note, that only the heaviest unit, namely that of the talent was brought from Messopotamia and Persia to China; this points first to the character of the trade, in bulky and heavy commodities, and to the absence of coinage, precious metals, then as also afterwards in China, reckoned by weight; it also shows, that if there existed any intercourse with people of Messopotamian or Elamite culture, this is to be traced mainly to Assyria, with its heavy talent and to Achaemenian Persia, with ist Mina *D* II.

As far as China is concerned, towards the close of the Chou dynasty, i. e. in the fifth and fourth century B. C., when the ascendancy of the Ch'in (Chenzi) state began to be felt, signs of overland traffic with India, via Assam, also become noticeable and the Ch'in emperor may even have heard rumours of the conquests of Alexander the Great in India and central Asia. The Chinese annals however, are silent of such, and only much later, at 139 B. C. i. e. during the Han dynasty, there appears the well known story of the Chang Ch'ien mission to the Yueh'ti and the Hiung-nu. At any rate, from the spread of the *D* II standard, and not of the Bactrian *D* III, it would seem, that direct or indirect intercourse of sufficient magnitude to leave a lasting impression on the weights of China, did exist before the invasion of Alexander the Great.

The victories of Alexander and his generals by opening the east to Greek influence, considerably widened the realm of the Athenian drachma; not only Persia proper had to take that standard instead of her native daric, but for centuries the standard of Bactria, Parthia and India became that of *D* III. The Russian expansion in central Asia during the XIX century speaking "metrologically", simply brought back the *D* III standard — now in the guise of the zolotnik — where 20 centuries before it was brought to by the hosts of Alexander.

In broad lines, the delimination between the daric and the zolotnik coincides with that of east and west, every victory of the Greek influence and of Hellenistic civilisation widening the realm of the *D* III standard.

Neither the Roman Republic, nor Imperial Rome did accept the standard of the mina *D* III; instead, both for their silver and for their gold coinage they took the *D* I standard, which under the name of Mina Italica was already in use in south Italy, along with the already mentioned Tarentine stater and the Campanian didrachm of 7,41 *g*, the two latter both belonging to the *D* II standard. The silver coinage was started in 268 B. C. and by that time the Osco-Latin pound (S. K., 1927, I, p. 263, 287) of 273 *g* was abandoned and the new Roman pound of 327,6 *g* introduced; this latter stood to the former in the relation often met, of 6 to 5; on the other hand, half of the new pound (163,8 *g*) was the third of the *D* I mina of 491 *g* and thus could be considered as a derivative of the latter. The first denarii were struck at the rate of 72 to the pound, their weight being that of the old Solonian weight drachma of 4,55 *g*; then their weight gradually declined, as the number to the pound increased to 84 and, finally, under Nero, to 96 ("Historia Naturalis", by Pliny the Elder, XLV), of 3,41 *g*.

According to Pliny (Ibidem, XLVII), gold coins were struck 51 years after silver coins, a scruple to be worth 20 sesterces; this was done at the current value of the sesterce 400 to the pound; later it was decreed that 40 denarii should be struck from the pound of gold ("Postea placuit XL signari ex auri libris", Ibidem, XLVII), and little by little the Emperors decreased the weight of the denarius aureus, Diocletian to 60 and, finally, Constantine to 72 in the pound. If we divide 327,5 *g* by 72 we arrive at the figure of 4,55 *g*, equal to the silver coin, whereas $^1/_{40}$th of the same pound, or the original aureus of Augustus is 8,19 *g* or the shekel of the mina *D* I; this latter result is obvious, as $^1/_{40}$th of the Roman pound ($^2/_3$ *D* I) is $^1/_{60}$th of *D* I.

Constantinople, the New Rome, quite naturally started with the coinage of the old Empire, i. e. with the denarius aureus or, the Solidus of Constantine; the silver coin of the same weight of 4,55 *g* was equalled in value to $^1/_{1000}$th of the pound of gold, hence its Greco-Roman name of Miliarision. Under Heraclius (610—641) the weight of the light miliarision was reduced to 96 to the pound, as under Nero, and a double miliarision, 48 to the pound, and of 6,825 *g* introduced; this latter was $^1/_{60}$th of pound of 409,5 *g* (The Russian pound; $^5/_6$th of *D* I) and was called the Hexagram.

The actual weight of the Constantine solidi was equal to the theoretical one, and Petrie quotes coins 72 to a pound of 5053 grain or 327,43 *g*; the Campanian Roman pound of 5054 grains and 327,49 *g* is even a little higher ("Weights and Measures", E. B., XIII[th] Ed., p. 488); The solidus of Justinian corresponds to a pound of 323,7 *g*, the weight of the coin being 4,50 *g*; later weights decline to 4,33 *g* and, by the end of the VII[th] century, when caliph Abdal-malik introduced the gold Arabian dinar, based on the solidus, the weight of the latter must have reached 4,26 *g*, as the early Fatimites weights of the VIII[th] century show for half-dinars 2,11 and 2,12 grammes, which gives for the dinar 4,24 *g*, or slightly under 4,26 (Num. Chron. 1918, 115). Prosorovsky (Izvestija Imper. Russ. Arch. Obchestva, 1872, 138) found from a large number of solidi of the same period a medium weight of 4,266 *g*, i. e. of one zolotnik, or of the Athenian drachma; thus, whilst

the gold Byzantine coinage started with the Roman unit, it gradually, and most likely unconciously, was brought back to the Hellenistic standard of the *D* III mina, which, apparently, always lingered in the Byzantine dominions as one or several provincial currencies or units of weight.

Quite an analogous phenomenon occurred last century in this country, when the ancient "Avoirdupois" pound of 453,59 *g* has become the legal standard of weight, thus once more linking up the units of England with those of the weight-mina of Solon and the Egyptian mina. A similar occurrence is that of the Russian Imperial gold coinage, where, after many changes, the standard coin of 5 roubles weighed 4,26 *g* or one zolotnik; the latter, as a unit of weight never fell out of use and remained down to the revolution the standard weight of trade and commerce, as well as its mina of 96 zol., the Russian pound of 409,53 *g*. The Five-rouble coin of 1897 is reproduced on Fig. 8, and the first Russian coin of Wladimir (980—1015 A. D.), equally of one zolotnik weight — on Fig. 7.

The lowering of the weight of the solidus from 4,55 to 4,26 grammes thus occurred at a particularly opportune period, bringing both the newly christianized Russia and the Islamic world within the fold of the standard *D* III.

This lowering, apparently, had also another interesting result. Since the days of Constantine the average citizen became accustomed to consider the pound as consisting of 72 gold aurei and of 96 silver ones (and of 128 copper); till the aureus weighed 4,55 *g*, the corresponding "gold" pound was the old Roman libra of 327,6 *g*, but with the weight of the aureus equal to the old drachma of 4,26 *g*, a pound of the same number of units, i. e. of 72 drachmas would weigh only 307,13 *g*; this new unit became the Byzantine Litra. The silver pound of 96 units would then weigh 409,53 *g*. This latter unit became very popular with the Rus and the fines, mentioned in the first treatise between the Greeks and Oleg are in pounds silver. Five "ounces" or $^5/_{12}$th of that litra were equal to a Russian "Grivna" (which survived down to our days in the coin grivennik); as one silver pound had 60 miliarisii, one grivna had 25 of those and 50 of the light ones; thus this latter was equalled with the Russian "Kuna", which also stood 50 to the grivna. These Kunae became very popular in the whole north and, by trade relations, were brought from Novgorod to Rüstringen (S. K., 1930, III, 262) where, for centuries, entries in trade-books were made in kunae, and the kuna became the Frisian mark (E. Wadstein, "Ett vitnesbőrd om gammal Frisisc Förbindelse med Ryssland"; also. N. T. Belaiew, "Frisia and its Relations with England and the Baltic Littoral in the dark Ages", Journ. British Arch. Ass., 1931).

The old Sumerian weights seem to provide us with an interesting link with the mina of 307,13 *g*, which we have just met in Constantinople of the Macedonian dynasty as the Byzantine Litra. The keeper of the Assyrian Department of the British Museum, Mr. Sidney Smith, some time ago, communicated to me the weights of two interesting specimens, Nos. 91.438 and 91.439; both bear the inscription that they are "Six su", and the weight of each is six and a half ounces, or 184, 27 *g*. Thus, 6 *su* = 184,27 *g*, 1 *su* = 30,71 *g* and 10 *su* = 307,12 *g*; one *su* being equal to $^1/_{10}$th of a litra. Here again we are witnessing the stability of certain units and certain multiples, which, whilst chosen by the Sumerians 4000 or 5000 years ago, supply every people and every civilization with their measures and weights.

The author would like to take this opportunity to express his indebtedness to the Director and the Trustees of the British Museum for their permission to reproduce the Darius weight, the Drachma from Cyrene and the stater of Lysimachus and also the haematite weights from Ur and Warka; he is particularly indebted to Mr. Sindey Smith, Keeper of the Department of Assyrian and Egyptian Antiquities for his kind informations with reference to various weights in the Museum.

N. Belaiew.

London.

LIST OF PLATES.

Plate IX. Various Weights and Coins of the Zolotnik and Daric types.

Fig. 1. British Museum No. 117,993 (*S. K.*, II, 204); weight 4.26 *g.* equal to one zolotnik; the standard of Sumer, Athens, Alexander the Great and Russia . . the "Zolotnik"

Fig. 2. British Museum No. 117,900 (*S. K.*, II, 202); weight 25.57 g. equal to 6 zolotniks; the standard of the Sumerian mina *D* III ($1 \times 2 \times 60$ zolotniks 511.83 *g.*; in the scale of Russian weights it is the Bezmen) . the "Zolotnik"

Fig. 3. Persian gold Daric. The mean weight 8.37 *g.* The standard of Persia, India and China. "Daric"

Fig. 4. Basalt stela, a weight for two-thirds of a light mina; the trilingal inscription, in Persian, Susian and Babylonian records the name of Darius the Achaemenian (520—485 B. C.) British Museum No. 91,117; B. M. Guide, 1922, p. 144. The standard of Assyria and Persia; the mina *D* II weighs 502.2 grammes and its shekel 8.37 *g.*

Fig. 5. A gold drachma from Cyrene, 320—310 B. C.; B. M. Catalogue No. 124; weight 4.278 *g.*, equal to one zolotnik. The standard of the Hellenistic world from Africa to Bactria. X 2. "Zolotnik"

Fig. 6. Lysimachus of Thrace (306—281 B. C.), with a head of Alexander the Great. The mean weight of the gold staters of Lysimachus is 8.5305 *g.*, or two zolotniks. The standard of Alexander the Great . the "Zolotnik"

Fig. 7. The "Zlatnik" or gold coin of Wladimir of Russia (980—1015 A. D.); the so called "First Type" with the "Family (Skioldungar?) sign"; inscribed: "Wladimir; that's his gold"; weight one zolotnik. The standard of Russia since Wladimir's days the "Zolotnik"

Fig. 8. Gold coin of 5 roubles of the Imperor Nicholas II of Russia Weight 1.008 zolotnik. The standard of the Russian Empire ($\times 2$) . the "Zolotnik"

Plate X. The map of the Near East in Achaemenian times; the itineraries of various travellers, from Hiun-Tsiang to Marco Polo, are also shown.

FOUR DOUBLE RECEIPTS FROM THE ESTATE OF APOLLONIUS

In a recent number of the Journal of Egyptian Archaeology, three receipts were published out of the Columbia Library papyrus collection.[1] The three documents are all from the Zenon archives of the third century B. C., and all were executed in duplicate. One of them (P. Col. Inv. N° 220) is an acknowledgement by a farmer who was working a small plot upon the estate of Apollonius, of money advanced to him by the management of the estate. The other two (Inv. N°s 285 and 215) are receipts for wages paid out by the estate for clearing the land. From a study of these receipts and twenty-three similar ones previously published by Professor Vitelli and C. C. Edgar,[2] the following observations and conclusions resulted:

1. All of the receipts of this particular group belong to the year 29 of Ptolemy Philadelphus.[3]

2. The format of all the receipts is fundamentally similar. In all cases in which the state of preservation permits a decision, the Greek text is written in duplicate. That is, they are all σύμβολα διπλᾶ. The upper text was concealed by folding the double document from the top downward, then tying with a strip of papyrus and sealing.

3. Most of the receipts fall into one of two classes, either (a) acknowledgements of advances to small farmers (loans which do not bear interest), or (b) receipts for wages paid out by the management of the Apollonius estate for the same farm operation for which the loans were made, namely, that of cleaning out roots and brushwood from the soil and the disposal of it by burning. In the Greek this operation usually appears as ξυλοκοπία καὶ ἐμπυρισμὸς τῆς κοπάδος.

4. The decision of M. Schnebel, that the process called ξυλοκοπία καὶ ἐμπυρισμὸς

---

[1]) J. E. A. XVI (1930), pp. 24—30. The demotic text which appeared upon P. Col. Inv. N° 215 is now in the competent hands of Professor W. Spiegelberg for publication. He has written me that the demotic version of a patronymic which appears in lines 3 and 10 of that document corresponds to a Greek reading Σαμώντος in place of Σαποῦτος as I read it. Dr. Wilhelm Schubart confirmed this observation by reading Σαμώντος in the photostat copy of the Greek text. Reference to the original assures me of the correctness of Schubart's reading Σαμώντος.

[2]) The list appears in J. E. A. XVI, p. 24, note 2.

[3]) See Edgar's statement to Professor Vitelli in P. S. I. VI Addenda et Corrigenda X (to P. S. I. 323).

[4]) Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten I (Munich 1925), p. 23, cf. J. E. A. XVI p. 26 sq.

τῆς κοπάδος was a part of the preparation of virgin soil for its first croping,[4] is fully confirmed. Schnebel had correctly distinguished this "chopping out and burning of the brushwood" from the regular annual preparation of the land for cropping, namely, the plowing, hoeing and weeding.

5. The loans made to the indigen tenants for clearing the land were uniformly at the rate of four obols per aroura, presumably for each aroura which the tenant was renting. Customarily the Greek word for loan (δάνειον) appears in this type of receipt, though not always.

6. In the wage receipts, as distinguished from the receipts for loans, the wages were paid for services rendered by individuals to Panacestor, who was in charge of this new estate of Apollonius in the year 29 of Ptolemy II Philadelphus. This labor was certainly done upon that portion of the estate which was being worked directly (without tenant leases) under the superintendency of Panacestor. The wage rate was uniform, as the advances were, in all the receipts of this class, standing at two drachmas and a halfs per aroura.[5]

The following observations may be added to the above list: As the Greek word for loan does not appear in all the receipts of loan, it is the rate per aroura which distinguishes the loan receipts from the wage receipts. This particular type of labor upon the estate of Apollonius in year 29 was contracted for, and paid for, on the piecework basis — at $2^1/_2$ drachmas per aroura cleared. In the history of the dorea of Apollonius, the year 257—256 B. C. was important agriculturally, as shown by the extraordinary number of the wage and loan receipts specifically dealing with the primary clearing of the land (ξυλοκοπία καὶ ἐμπυρισμός). I have elsewhere dealt with the money expenditures of Panacestor in the year 29, and the dissatisfaction on the part of Apollonius with the results of these expenditures.[6] Early in the month Pachon of year 29 Panacestor attempts to justify himself in a letter to Apollonius, of which he sent a copy to Zenon, against the charge of negligence of his duties, by telling of his multiple activities. In Pharmouthi he had been measuring the sesame land and the land covered with brushwood.[7] There is little doubt that the money expended by the estate in year 29 in clearing out the brushwood[8] had something to do with the fact that Zenon, late in that year, superceded Panacestor as its manager, as described by Rostovtzeff in his Large Estate.[9] The first date known to us at which Zenon is definitely called "agent of Apollonius in Philadelphia in the Arsinoite nome" is Phamenoth 18th (= May 11th of 256 B. C.).[10] Although Zenon at that time was in a position to advance money for work to be done upon the irrigation canals, Panacestor may still have been nominally in charge. For the receipt P. Col. Inv. N° 215[11] is dated Mesore 23rd (= Oct. 18th). At that date Panacestor was still entitled "agent

---

[5]) J. E. A XVI pp. 29—30.

[6]) In J. E. A. XVI pp. 26—27.

[7]) P. S. I. V. 502, especially lines 25—29.

[8]) P. Cairo Zenon III 59387.

[9]) M. Rostovtzeff, A Large Estate in Egypt in the Third Century B. C., Madison (1922), p. 40; cf. Paul Viereck, Philadelphia, Leipzig (1928), pp. 29—30.

[10]) P. Cairo Zenon I 59137; cf. Viereck, Philadelphia, p. 30.

[11]) J. E. A. XVI, pp. 25—26.

of Apollonius", and he was still paying out the wages for clearing the land and burning the brushwood.

I take this opportunity of presenting four more receipts of these two types and of the same year, which have been found in the Columbia papyrus group:

I. RECEIPTS FOR LOANS FOR CLEARING LAND.

P. Col. Inv. N° 362.

Jan. 7th, 256 B. C. Philadelphia.

4 × 3¼ inches.

(ἔτους) κθ Ἁθὺρ ῑδ. ἔ[χει Ἐριεὺ]ς Παρόιτου
Τρωίτης εἰς ξ[υλοκοπίαν τῆ]ς κοπάδος
ἀρ(ουρῶν) ε ἀν(ὰ) (τετρώβολον) (δραχμὰς) γ
| (δυοβόλους).

(Space of ¾ inch.)

(ἔτους) κθ Ἁθὺρ ῑδ. ἔχει Ἐριε[ὺς πα] ροίτου Τρωί-
της] εἰς ξυλοκοπίαν **τῆ**[ς] κοπάδος ἀρ(ουρῶν) ε
ἀν(ὰ) (τετρώβολον) (δραχμὰς) τρεῖς δυοβόλους.

Verso (lower right hand corner):

Ἁθὺς ῑδ
ἀργυρικ(ά).

The writing of the recto is across the fibres. Though not unpractised, the hand is rough, tending to become cramped toward the ends of the lines. In line 2 final letters are $^1/_{12}$ of an inch in height, as against $^1/_6$ of an inch in the middle of the line. This tendency to reduce the size of the letters toward the ends of the lines is also clear in line 5.

Line 1. All the letters of Παροίτου are here connected. But in the lower text, line 4, the remaining letters,]ροίτου, are quite separate and distinct. This Erieus is to be identified with the Ἐριεὺς Παρύτου of the village of Troja who appears in P. S. I. IV 323, and with the Ἐριεῖ Φαρύτου Τρωίτηι, a quarryman, who will appear, as C. C. Edgar informs me, in a document to be published as N° 59745 (lines 40—44) of P. Cairo Zenon vol. IV (mentioned in P. S. I. VI Addenda et Corrigenda, p. x.). The fact that Erieus appears as a quarryman (λατόμος) in the document to be published by Edgar does not nullify the identification, as his trade would make him "a useful man with an axe" (Edgar). Similarly, in P. S. I. IV 423, Horus, a quarryman (line 1) also works with his men at irrigation ditching.

The interchange of υ and οι (Φαρύτου—Παρύτου and Παροίτου, see Mayser, Grammatik, I, 110—111) is rare at this early period; but Edgar has called my attention by letter to ἀργυροπροίμνωι in P. S. I. VI 551, 1, and the name of a man Μοιρίκων in P. Lille I 27, 4, who is certainly identical with the Μυρικῶν of P. Cairo Zenon II 59225, 2 (see Edgar's note).

P. Col. Inv. N° 366.

Jan. 10th, 256 B. C. Philadelphia.

$3^1/_4 \times 4^7/_8$ inches.

(ἔτους) κθ Ἀθ]ὺ[ρ ι]ζ̣. ἔχει
Πατῖς Π[αίτος εἰς ξυ-
λοκοπία]ν τῆς κοπάδος
δάνειον ἀρ(ουρῶν) ι ἀν(ὰ) (τετρώβολον)] (γίνονται)
| ⊏ (τετρώβολον).

(Space of $^1/_2$ inch,)

(ἔτους)]κ[θ Ἀθ]ὺρ ιζ. ἔχει
Πατῖς Παίτος εἰς ξυ-
λοκοπίαν τῆς κοπά-
δος δάνει(ον) ἀρ(ουρῶν) ι ἀν(ὰ) τετρώβολον
| (γίνονται ⊏ (τετρώβολον).

On the upper left side of the papyrus, the upper text and about three-quarters of an inch downward into the lower text have been eaten away by worms. The script is clear and legible, though careless and informal. There is no attempt at calligraphy. The writing is across the fibres. The upper left part of the mud seal (perhaps one-third of the whole seal) remains attached upon the verso. The seal impression is that of small detached figures, not of a single figure or a group of two figures.

Line 1. The restoration of the year as κθ is chiefly based upon Edgar's observation (P. S. I. VI Add. et Corr., p. x.) that all of the datable receipts of this kind came from that year. Edgar's observation is confirmed by the seven additional Columbia receipts. In the lower copy of the receipt, in line 5, the bottom of a long perpendicular stroke which extends well below the line also indicates the letter κ.

Line 8. δάνει[ον] may be the proper reading; but the space following the letter nu does not seem to me to be adequate for the full word.

P. Col. Inv. N° 343.

March 20th, 256 B. C. Philadelphia.

$3 \times 3^3/_4$ inches.

(ἔτους) κθ Τῦβι κ⊏̣. ἔχ[ε]ι Νι-
κίας τῆς ἑ[α]υτοῦ γ[ῆ]ς εἰς βοτα-
νισμὸ[ν (δραχμὰς). (δυοβόλους).

(Space of $^1/_2$ inch.)

(ἔτους) κθ Τῦβι κ⊏̣ [ἔχ]ει [Νι]κίας
εἰς βοτα·νισμὸν τῆς αὑ-
τοῦ γῆς (δραχμὰς). (δυοβόλους).

Verso (lower right hand corner):

Τυβι κ⊏
ἀργυρικά.

Although the money here receipted for by Nicias was for weeding — not for the usual clearing of underbrush from the virgin land (ξυλοκοπία καὶ ἐμπυρισμὸς τῆς κοπάδος) — the fact that it was to be used for the weeding "of his own land" throws it with the group of money advances made by the estate to speed up the process of bringing the land of the dorea under cultivation. The number of the arourae which Nicias was working is not given, and the inability to read the number of drachmas loaned to him makes it impossible to determine the size of his holding; but the rate of the advance was probably at two obols to the aroura, as in P. Cairo Zenon I 59119.[12]

A small part of the clay seal which came with the document is now lost. The remaining portion of the figure upon the seal was insufficient to suggest the nature of the design. The handwriting is across the fibres. It looks to be the same as that of the scribe of P. Cairo Zenon I 59111 (see Edgar's Plate XXII). Identity of these two hands is regarded by C. C. Edgar as possible. He finds a greater resemblance, however, to the hands of P. Cairo Zenon I 59117 and 59119 (reproduced in Vol. I Plate XXII).

In the upper right corner of the papyrus, following line 1, there is a pen stroke about one-quarter of an inch in length, which may be accidental, as Edgar suggests, or it may have been made to clear the pen of fibre or thread caught in the reed.

Line 1. The identity of this Nicias with the Nicias of P. Cairo Zenon I 59111 is highly probable. If this is correct, Nicias received on Thoth 25th ten obols for ten workmen for repairing the dikes on his plot, and another small sum four months later, to pay for the weeding of his plot.

Line 2. The reading τῆς ἑ[α]υτοῦ γ[ῆ]ς before εἰς βοτανισμό[ν was suggested by Edgar.

Verso. ἀργυρικά: see the similar notations on the versos of P. Cairo Zenon I 59111, 59113, 59115, 59116; and ἀργυρίτου on the verso of 59118. In his note to P. Cairo Zenon 59115, Edgar explains ἀργυρικά as follows: "the category to which the present loan belongs. Nos. 59113, 59114 [advances of barley and wheat as seed] would be filed as σιτικά." Edgar apparently regards these notations as similar to the dockets upon the versos of so many of the letters of the Zenon group, namely, as dockets of the contents and indications for filing purposes. In that case the substantive to be supplied might well be σύμβολα and the verso notation imply, e. g., "Phaophi its (to be filed as) receipts for money", or "(file as) receipts for grain (paid out)", as the case may by. Under this explanation it is difficult to explain the repetition of the date upon the verso, and equally difficult to explain the plural of the substantive which is understood with ἀργυρικά. I would therefore suggest that the substantive δάνεια is to be supplied with ἀργυρικά or σιτικά. δάνειον is sometimes expressed in the text of these loans, sometimes implied. The verso notation ἀργυρικά would then be explained as a direction written by Panacestor's clerk to facilitate the bookkeeping of the estate; and its meaning would be: "Date (of loan) Phaophi Its, (account heading for entry) money loans (ἀργυρικὰ δάνεια)" or "grain loan (σιτικὰ δάνεια)" as the case may be. A variant of this direction for entry in the accounts would be the verso

---

[12]) See J. E. A. XVI, p. 30.

notation upon P. Cairo Zenon I 59118: (ἔτους) κθ Χοιὰκ α̃. ἀργυρίτου. For ἀργυρίτου Edgar has already suggested the explanation: "= ἀργυρικοῦ λόγου?", which also would be an indication to the accounting department for convenience of entry in the account books of the estate.

II RECEIPT FOR WAGES FOR CLEARING LAND.

P. Col. Inv. N° 302.

Feb. 17th, 256 B. C. Philadelphia.

2½ × 4½ inches.

(ἔτους) κθ Χο[ιὰ]χ κε.
πεκύσι(ος)
ἔχει Ἀμω[ ]... εἰς ξυ-
λοκοπίαν ὕλης πα-
λαιᾶς ἀρ(ουρῶν) ι ἀν(ὰ) (δραχμὰς) β (ἥμισυ)
(γίνονται) (δραχμαὶ) κε.

(Space of ¾ inch.)

(ἔτους) κθ [Χοιὰχ] κε. ἔχει
Ἀμω[Πεκ]ύσι[ο]ς
εἰς ξυλ[οκοπία]ν ὕλης
παλ[αιᾶ]ς καὶ ἐνπυρισμ-
ὸν ἀρ(ουρῶν) ι ἀν(ὰ) (δραχμὰς) β (ἥμισυ)
(γίνονται) (δραχμαὶ) κε.

Written along the fibres. The letters are carefully ad clearly made by one accustomed to write Greek. The ink strokes are fine rather than heavy.

Line 1. Χο[ιὰ]χ: of the final letter, only the top of the upper part ot the last stroke remains. It is not curved, thereby indicating chi rather than kappa.

Lines 3—4. The space is right for the suggested reading ὕλης παλαιᾶς. Also in line 8 I read the last two letters with some confidence as -ης. Cf. ὑλοτομία in P. Lond. III 1171 (p. 177), line 58, which is the same operation as ξυλοκοπία according to Schnebel, Landwirtschaft, p. 20. Also note the γῆν ἐ[κάθαρα ...]ὕλης μεστήν in the Zenon papyrus P. S. I. VI 577, 7.

On the same day on which this payment for clearing land was made, Choiak 25th, Panacestor had received 100θ drachmas copper from Jason. Yet five days later, Choiak 30, he wrote to Zenon asking for more money, stating that he needed it to pay for the planting of croton and sesame, for chopping out brushwood (εἰς τὴν ξυλοκοπίαν), and for moving the wheat.[13]

William Linn Westermann

---

[13]) P. S. I. V 499, 4—6; and cf. J. E. A. XVI, p. 26.

СЕРЕБРЯНЫЙ КРЕСТЪ

Изъ собранія Н. Г. Солдатенковой[1]

Серебряный выносной крестъ изъ собранія Н. Г. Солдатенковой. Табл. XI. Длина 34,8 см.; верхняя поперечина — 8,6 см.; средняя поперечина — 16,2 см.; нижняя поперечина 7,8 см. (по наклону); ширина древка — 3,3 см., толщина — 1,7 см.

Техника: рельефныя фигуры — кованы, чеканены и шлифованы; рисунокъ лицъ, деталей облаченія и т. д. сдѣланъ рѣзцомъ; надписи гравированы; фонъ пунцованъ; орнаментъ на ребрахъ гравированъ.

На всѣхъ углахъ и въ разныхъ мѣстахъ по борту сдѣланы петли, для пропусканія низки жемчуга, которымъ были обнизаны всѣ края; одна жемчужина сохранилась въ правомъ нижнемъ углу.

Матеріалъ — серебро (низкопробное), золоченое.

Надписи на лицевой сторонѣ:

наверху между ангелами: АГЛИ ГНИ

надъ крестомъ (на распятіи): РАСПАТІЕ ГА НШЕ ІС ХА

на верхней доскѣ креста: ЦРЬ СЛВ

въ кружкахъ по сторонамъ нимба ІС ХС, около Богоматери МР ѲУ (слѣва), около Іоанна (справа) АГІО ІѠАНЪ.

По сторонамъ изображенія святого подъ Распятіемъ надписи, содержавшія имя, старательно уничтожены такъ, что ничего разобрать нельзя.

На гладкомъ нижнемъ концѣ креста, служившемъ ручкой, выгравирована надпись (легко разбираемая на воспроизведеніи), гласящая: „Повелѣніемъ великаго государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Роусіи самодержца и отца его великаго государя святѣйшаго Филарета патріарха Московскаго и всея Роусіи, здѣланъ сій крестъ . . . . въ 11 лѣто государства его, лѣта 7131 го“.

Въ концѣ надписи три съ половиною строки тщательно выскоблены, чтобы уничтожить указаніе на названіе церкви, въ которую былъ сдѣланъ вкладъ.

Двѣ указанныя даты опредѣляютъ время изготовленія креста. Лѣто отъ сотворенія міра 7131 по нашему лѣтоисчисленію составляетъ 1623 годъ (вѣрнѣе, промежутокъ отъ 1 сентября 1622 года до 31 августа 1623 года). Государь Михаилъ Феодоровичъ вѣнчался на царство 21 февраля 1613 года, слѣдовательно,

---

[1]) Неоконченная работа покойнаго Н. М. Бѣляева, сохранившаяся въ видѣ отдѣльныхъ записокъ. Ред.

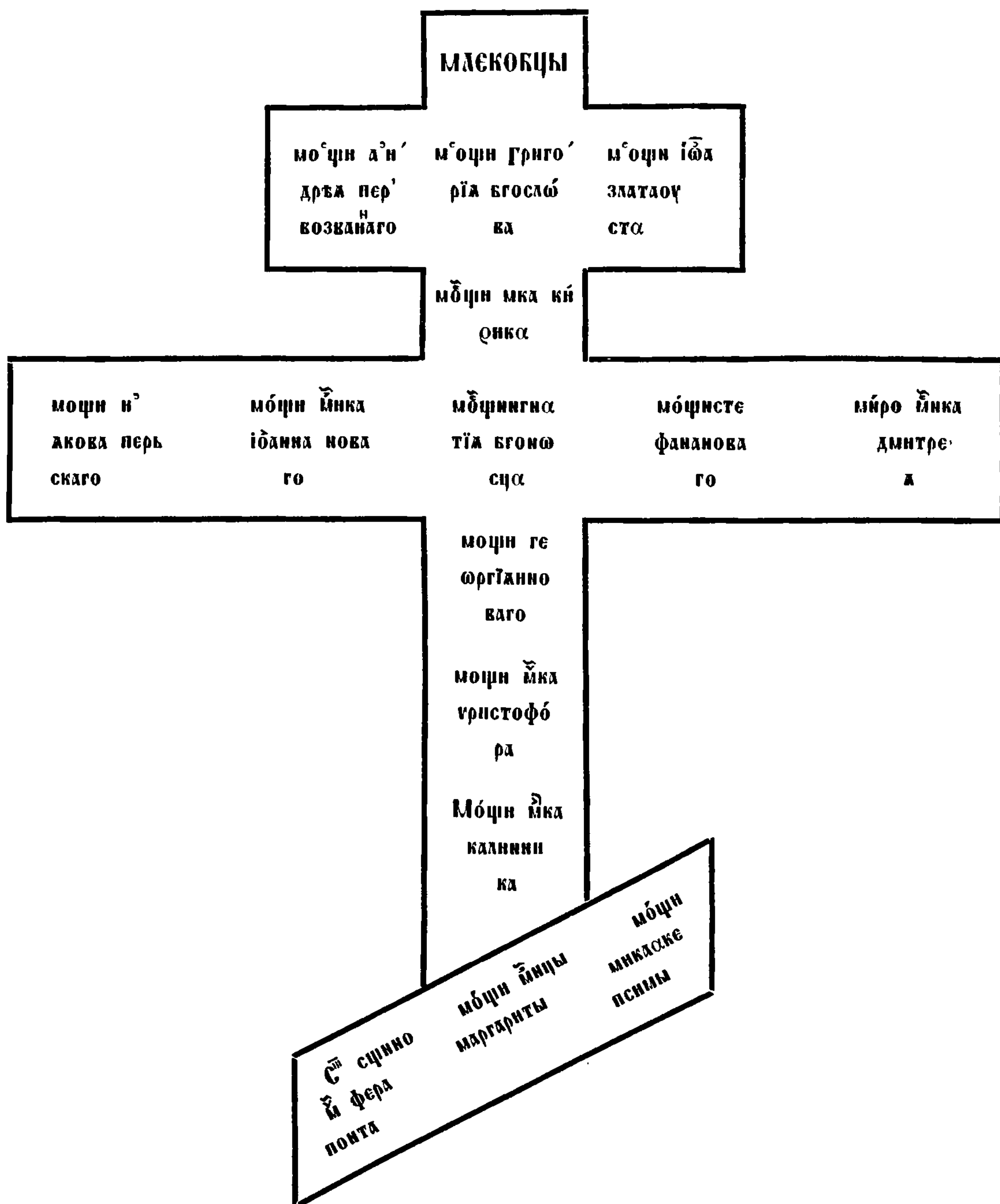


Рис. 1. Надписи на оборотной сторонѣ креста.

11 годъ его царствованія начинался съ 21 февраля 1623 года, и промежутокъ времени, въ который по надписи былъ сдѣланъ крестъ, опредѣляется отъ 21 февраля по 31 августа 1623 года (т. е. 6 мѣсяцевъ).

Несмотря на стараніе уничтожить надпись, все же можно различить нѣсколько буквъ и возстановить начало и конецъ надписи, но самое главное имя святого безвозвратно уничтожено. Вторая половина 12-ой строки, откуда начинается лакуна, даетъ возможность различить слѣдующія буквы всо.оривю, что несомнѣнно означало „въ соборную".

Слѣдующая 13-я строка возстановима только въ началѣ, можно разобрать црквь, далѣе до конца хотя и сохранились отдѣльные слѣды, но ни одной буквы прочесть нельзя.

Въ 14-ой строкѣ въ началѣ различимы кл—н, причемъ л остается подъ сомнѣніемъ.

15-я строка опять позволяетъ прочесть ч-д---рцу, что можетъ означать только „чудотворцу".

На оборотной сторонѣ — надписи, перечисляющія хранящіяся внутри креста мощи, располагающіяся въ слѣдующемъ порядкѣ (см. рис. 1).

На нижнемъ концѣ креста пунктиромъ намѣчено: во ономъ кресте весу всеребре адин фунтъ 33 золотника і зже мчугомъ (въ ономъ крестѣ вѣсу въ серебрѣ одинъ [адин, мѣди?] фунтъ 33 золотника и съ жемчугомъ).

Н. М. Бѣляевъ.

ИЛЛЮСТРАЦІИ:

Таб. XI. Серебряный крестъ собранія Н. Г. Солдатенковой. Лицевая сторона.

Рис. 1 (стр. 212). Надписи на оборотной сторонѣ креста.

CROIX EN ARGENT DE LA COLLECTION N. G. SOLDATENKOV

notes détachées, laissées par le défunt

N. M. BÊLAEV

Croix longue de 34,8 *cm*, traverse supérieure — 8,6 *cm*, traverse du milieu — 16,2 *cm*, traverse inférieure — 7,8 *cm*, largeur de la pièce verticale — 3,3 *cm*, épaisseur — 1,7 *cm*. L'intérieur de la croix renfermait des reliques. A la base de la croix, à sa face on voit une inscription qui fait dater la croix de l'an 1623; mais le nom de l'église, pour laquelle cette croix était faite est effacé. Au dos de la croix on lit les noms des saints, dont la croix contenait les reliques.

ILLUSTRATIONS:

Pl. XI. Croix en argent de la collection N. G. Soldatenkov.
Fig. 1 (p. 212). Inscriptions au dos de la croix.

ПАМЯТНИКИ ГРЕКО-ВОСТОЧНОЙ МИНІАТЮРЫ

Мы предполагаемъ издать на страницахъ сборниковъ Seminarium Kondakovianum рядъ мало извѣстныхъ миніатюръ греческихъ рукописей конца перваго тысячелѣтія нашей эры. Всѣ эти книжныя иллюстраціи и украшенія рѣзко отличаются отъ огромнаго большинства греческихъ миніатюръ и носятъ очевидный отпечатокъ искусства ближняго Востока, и въ частности Сиріи, Месопотаміи, Малой Азіи и даже Персіи. Мы видимъ въ нихъ произведенія греко-восточныхъ мастерскихъ или копіи съ образцовъ греко-восточнаго происхожденія.

Однако издаваемые памятники отражаютъ по разному восточныя художественныя традиціи и примыкаютъ къ нѣсколькимъ теченіямъ въ искусствѣ западной Азіи. Эти миніатюры не принадлежатъ, слѣдовательно, одной и той же школѣ живописи и происходятъ изъ разныхъ мастерскихъ, можетъ быть изъ разныхъ городовъ и даже областей. Можно допустить, конечно, что нѣкоторыя изъ издаваемыхъ рукописей, несмотря на несходство ихъ между собой, могли быть исполнены въ одномъ и томъ же центрѣ, гдѣ одновременно существовали многочисленныя scriptoria разныхъ направленій: такъ въ Константинополѣ, въ IX вѣкѣ, были написаны миніатюры парижской рукописи Григорія Назіанина (Par. gr. 139) и иллюстраціи Хлудовской Псалтыри. Но такъ же, какъ и эти два константинопольскихъ памятника, наши рукописи были бы линь копіями съ образцовъ разнаго происхожденія, случайно исполненными въ одномъ и томъ же городѣ.

Насъ интересуетъ, конечно, главнымъ образомъ мѣсто происхожденія оригиналовъ, а не копій, и не данныхъ рукописей, а искусства ихъ миніатюръ. Къ тому же въ издаваемыхъ рукописяхъ нѣтъ письменныхъ указаній топографическаго характера. Мы считаемся поэтому только съ данными самихъ миніатюръ, и анализъ ихъ сюжетовъ, иконографіи, стиля, техники, ведетъ насъ къ опредѣленію мѣста происхожденія искусства, которое для насъ представлено сохранившимся памятникомъ, гдѣ бы онъ ни былъ исполненъ.

Искусство миніатюры каждой изъ издаваемыхъ рукописей очень своеобразно. То же наблюдеше можно сдѣлать, сопоставляя между ними и другія произведенія греко-восточнаго искусства. Намъ представляется даже, что оригинальность художественныхъ задачъ и средствъ въ нашихъ рукописяхъ должна быть причислена къ характернымъ чертамъ греко-восточнаго искусства. Она объясняется, вѣроятно, не столько обширностью территоріи христіанскаго Востока — географическое распространеніе византійскаго искусства, въ позднѣйшее время, не было менѣе значительнымъ — сколько его оторванностью отъ христіанской

Имперіи послѣ арабскаго завоеванія и продолженіемъ на Востокѣ, вплоть до конца перваго тысячелѣтія, древне-христіанской автономности искусствъ въ отдѣльныхъ областяхъ: въ IX—X вѣкѣ, съ точки зрѣнія собственно-византійскаго искусства, оригинальность каждой греко-восточной рукописи есть черта архаизма, напоминающая до-иконоборческую практику. Христіане Халифата, недосягаемые для Константинопольской церковной власти, могли избѣжать ея руководящей дѣятельности по насажденію однообразія въ православномъ искусствѣ, послѣ 843 года.

Греко-восточное искусство эпохи, послѣдовавшей за арабскимъ завоеваніемъ, очень мало изслѣдовано. Но даже немногіе извѣстные памятники указываютъ на сложность этого художественнаго теченія. Въ немъ уживаются традиціи эллинистическаго искусства (ср. новооткрытыя мозаики въ Дамаскѣ), большей частью преодолѣнныя или переработанныя византійскими художниками той же эпохи, и съ чертами поздне-античнаго греко-восточнаго реализма, въ духѣ иллюстрацій Рабулы (ср. Хлудовскую Псалтырь), и съ декоративно-плоскостнымъ стилемъ, стремящимся къ геометрической схемѣ и враждебномъ воспроизведенію конкретной органической формы (мозаики Вифлеевской базилики, армянская живопись и скульптура, рельефы месопотамскихъ христіанъ). Это послѣднее направленіе испытываетъ вліяніе сасанидскаго и — позже — арабскаго искусства, особенно въ орнаментѣ, и отвѣчаетъ исконнымъ художественнымъ стремленіямъ народовъ Сиріи, Месопотаміи, Ирана.

Примыкая къ ранѣе извѣстнымъ памятникамъ, издаваемыя миніатюры расширяютъ и углубляютъ наше знаніе греко-восточной живописи. Онѣ цѣнны какъ рѣдкіе примѣры греческаго искусства не византійской школы. Позволяя намъ познакомиться съ рядомъ неотмѣченыхъ до сихъ поръ конкретныхъ формъ, въ которыя выливалось творчество живописцевъ христіанскаго Востока, эти миніатюры показываютъ, что въ концѣ перваго тысячелѣтія, наряду съ византійской манерой, которой было суждено блестящее будущее, въ греческой живописи существовали и нѣкоторыя другія теченія. Одни изъ нихъ должны были скоро заглохнуть, другія получили развитіе за предѣлами греческаго міра, въ мусульманскомъ и латинскомъ искусствѣ.

Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ обнаруживаются многочисленныя и рѣдкія формы древне-христіанскаго искусства. Это теченіе, исключительно живо запомнившее отдѣльные образы поздне-античной живописи, должно быть поставлено въ связь съ недавно открытыми мозаиками эллинистическаго стиля, относящимися къ VIII вѣку, а также съ серебряной посудой, украшенной рельефами античнаго стиля, поздняя дата которой (VII в.) была установлена нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Миніатюры этой группы стоятъ въ нѣкоторой близости къ иллюстраціямъ Хлудовской Псалтыри, съ ея давно отмѣченными чертами эллинистическаго стиля и поздне-античнаго реализма. Самый фактъ существованія другихъ цикловъ иллюстрацій, исполненныхъ въ манерѣ сходной съ манерой миніатюръ Хлудовской Псалтыри, заслуживаетъ особаго вниманія и можетъ облегчить датировку ихъ прототиповъ.

Въ другихъ циклахъ миніатюръ художники склоняются къ упрощенной и отвлеченной плоскостной схемѣ, въ которой стираются грани между фигурой,

ΟΙ ΕΝ ΟΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΑΥ
ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΙΔΙΩΣ Α
ΝΕΓΡΑΨΕΝ ΑΥΤΙ ΜΕΝΩΝ
Η ΤΩΝ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ

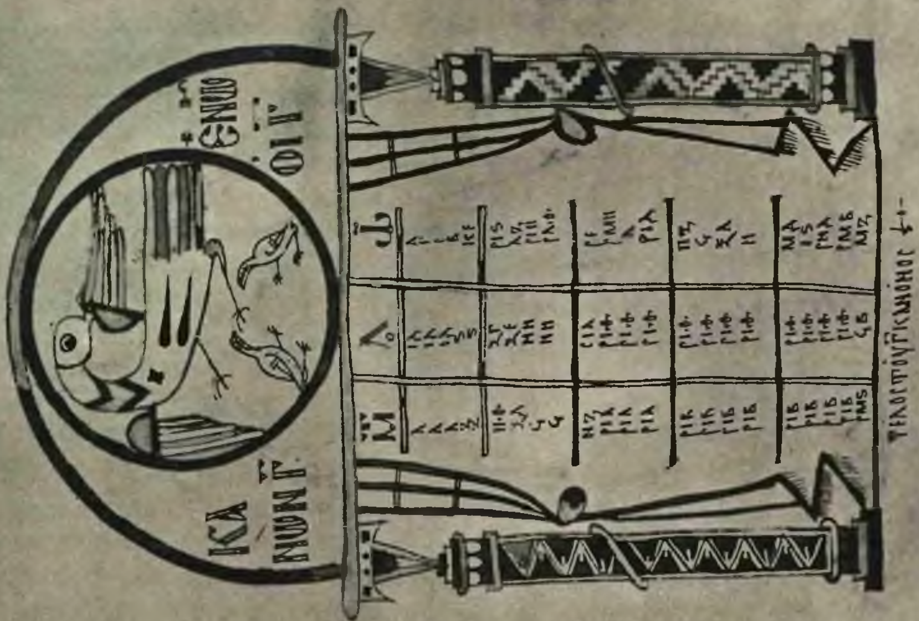
1

ΤΑΣ ΟΜΟΦΩΝΟΥΣ ΤΩΝ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΠΕ
ΡΙΚΟΠΑΣ ΠΑΡΑΘΕΙΣ ΩΣΕ
ΞΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΜΒΗΝΑΙ
ΤΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΕΙΡ
ΜΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΘΑ
ΡΗΝΑΙ ΟΣΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΥΦΕΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΙΝΑ ΔΕ
ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΩΝ

2

IV

1



2

сценой и орнаментомъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ живописцы систематически избѣгаютъ антропоморфическихъ изображеній и одновременно испытываютъ вліяніе азіатскаго искусства (архитектурныхъ формъ и тканей). Эти миніатюры даютъ намъ вѣроятно представленіе объ украшеніи рукописей иконоборцевъ. Въ то же время ихъ сюжеты, стиль и техника настолько сближаютъ ихъ съ ранними мусульманскими памятниками, что позволяютъ связать греко-восточную христіанскую живопись съ исходной точкой искусства Ислама.

Всѣ миніатюры греко-восточнаго происхожденія конца перваго тысячелѣтія представляютъ значительный интересъ въ качествѣ источниковъ византійскаго и ранне-средневѣковаго латинскаго искусства. Позднѣйшія византійскія миніатюры воспроизводятъ нерѣдко, перерабатывая ихъ стилистически, нѣкоторыя декоративныя схемы и орнаментальные мотивы издаваемыхъ рукописей. Близость нашихъ памятниковъ къ нѣкоторымъ серіямъ западно-европейскихъ миніатюръ бросается въ глаза, ввиду сходства стиля, орнаментальныхъ формъ и даже нѣкоторыхъ пріемовъ иллюстраціи. Нѣсколько греко-восточныхъ рукописей сближаются съ меровингскими памятниками и одна рукопись съ карловингскими произведеніями.

Наконецъ, наши миніатюры должны будутъ обратить на себя вниманіе изслѣдователей греко-итальянской и балканской книжной живописи. Нѣкоторыя иллюстрированныя рукописи этихъ областей греческой цивилизаціи восходятъ къ первоисточникамъ, аналогичнымъ издаваемымъ греко-восточнымъ памятникамъ.

Въ настоящемъ изданіи мы ограничиваемся описаніемъ памятниковъ, имѣя въ виду въ дальнѣйшемъ посвятить греко-восточному христіанскому искусству особое изслѣдованіе. Чтобы облегчить спеціалистамъ иностранцамъ пользованіе нашимъ изданіемъ греко-восточныхъ памятниковъ, мы печатаемъ ихъ описаніе на французскомъ языкѣ.

MINIATURES GRÉCO-ORIENTALES.[1]

I. LE TÉTRAÉVANGILE VATICANUS GRAECUS 354.[2]

Tétraévangile grec, sur parchemin (*mm* 358 × 235; fol. IV + 235); texte en deux colonnes, 26 lignes sur la page. Le texte des évangélistes est précédé par la lettre d'Eusèbe à Carpien et les canons (fol. 1—13), par un index des évangiles (fol. 13v—14), un index

[1]) Nous nous proposons de publier, sur les pages des Recueils du «Seminarium Kondakovianum», plusieures séries de miniatures et d'enluminures, tirées des manuscrits grecs d'origine orientale peu connus. Notre travail aura un caractère descriptif, et pourra servir, nous l'espérons, comme collection de documents relatifs à l'art gréco-oriental, en attendant une étude d'analyse que nous comptons consacrer, dans l'avenir, à l'ensemble des œuvres de cet art.

[2]) Avant d'aborder la description du manuscrit, qu'il nous soit permis d'adresser nos remerciements les plus empressés à S. Em. le Cardinal-Bibliothécaire de la Bibliothèque Vaticane et à Mgr. Mercatti, préfét de la même Bibliothèque, qui ont bien voulu nous authoriser d'étudier et de publier les enluminures du cod. Vat. gr. 354.

de Matthieu (fol. 14^{v}—15^{v}) et un texte de Jean Chrysostôme (fol. 16). — Matthieu, fol. 17—77^{r}; Marc, fol. 78—115^{r}; Luc, fol. 116—178^{r}; Jean, fol. 179^{r}—224^{r}. — Suivent plusieurs péricopes (fol. 225—234^{v}).

Le nom du scribe, un certain moine Michel, figure aux fol. 77^{v}, 115^{v}, 234^{v}.

La subscription fol. 234^{v} indique la date du manuscrit (a. 949): ἐγράφει ἡ τιμία δέλτος αὕτη διὰ χειρὸς ἐμοῦ Μιχαὴλ μο(να)χ(οῦ) ἁμαρτωλ(ωῦ) μη(νὶ) μαρτ(ίω) α´ ἡμέρα ε´. ὥρ(α).ς´. ἔτους ͵ςυνζ´, ἰνδ(ικτιῶνος) ζ´.[3]

Description des enluminures.

Fol. 1. Arc porté par deux colonnes (pl. XII, 2). — Chapiteaux triangulaires, bases en marches d'escalier, futs des colonnes ornés de tresses à trois bandes. Dans le médaillon du tympan, deux lièvres qui s'apprètent à mordre dans une grappe de raisin; un ornement de feuilles et de baies court le long du cadre du médaillon. Partiellement illuminé de rouge-brique, d'ocre et de bleu. Contours rouge-brique.[4]

Fol. 1^{v}. Même composition. — Chapiteaux comme avant, bases du type pl. XV, 1, futs des colonnes ornés de feuilles du type pl. XII, 2 (dans le médaillon). Dans le médaillon du tympan, dragon du type pl. XII, 1, mais ailé; il approche sa tête d'oiseau d'un motif qui ressemble à une plante schématisée. Deux canards occupent les écoinçons, entre l'arc et le médaillon (comparez pl. XV, 2). Partiellement illuminé d'ocre et de bleu.

Fol. 2. Même composition. — Arc outrepassé; chapiteaux en forme de feuille à cinq lobes dressée; bases et ornement des futs comme fol. 1^{v}. Dans le médaillon du tympan, dragon comme fol. 1^{v}, mais tourné à gauche; sous ses pieds, un petit oiseau (perdrix? poussin? cf. pl. XIII, 2) qui tient une feuille dans son bec. Dans les écoinçons, deux canards, comme fol. 1^{v}. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 2^{v}. Même composition (pl. XII, 1). — Chapiteaux comme avant, bases en forme de triangles obtenus à l'aide de bandes tressées; futs des colonnes ornés d'un motif de chaîne à anneaux triangulaires. Dans le médaillon, dragon comme avant, mais sans ailes; sous ses pieds un lièvre qui mange des feuilles ou des baies posées devant son museau. Deux coqs dans les écoinçons. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 3. Même composition. Le dessin répète celui de la page précédente. Le dragon est tourné à gauche; les bases des colonnes comme pl. XIII, 2, la colonne à gauche.

Fol. 3^{v}. Même composition. — Chapiteaux comme avant, bases comme fol. 1^{v};

---

3) Voy. la description scientifique du manuscrit dans le Catalogue des manuscrits du fonds grec de la Vaticane, codex 354 (en parution). Nous devons à l'amabilité de M. Devreesse, scriptor à la Bibliothèque Vaticane, d'avoir pu consulter les épreuves de ce catalogue. Nous le prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance. — Dans Max van Berchem et Josef Strzygowski, Amida, Heidelberg, 1910, p. 362—3 et fig. 310, 311, on trouve une liste sommaire des images zoomorphiques du manuscrit et la reproduction de la partie supérieure des fol. 4 et 14.

4) Cette couleur étant adoptée pour les contours de tous les dessins du manuscrit, nous ne la mentionnerons pas par la suite. En dehors du rouge-brique — qui sert aussi pour les remplissages, à l'intérieur des contours — le peintre n'emploie que deux autres couleurs: un bleu assez vif et l'ocre jaune. Les trois tons sont toujours appliqués dans leur état pur. Il n'y a pas de mélanges, ni de modelé à l'aide du blanc. Les couleurs sont liquides et transparentes.

les ornements des futs des colonnes, comme pl. XVI, 2, partie inférieure de la colonne centrale. Dans le médaillon du tympan, un chevreuil tourné à droite et mordant une feuille au sommet d'un arbrisseau schématique; au-dessus, un oiseau qui touche de son bec l'oreille du chevreuil (comparez pl. XV, 1). Dans les écoinçons, deux oiseaux, avec une feuille dans le bec. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 4. Même composition (pl. XV, 1). — Arc outrepassé; chapiteaux comme avant; bases d'un profil particulier, avec les bords relevés; les futs des colonnes ornés d'un zig-zag. Dans le médaillon du tympan, chevreuil comme fol. 3v, mais tourné à gauche; l'oiseau qui le surmonte est tourné à droite et tient une feuille dans son bec. Dans les écoinçons, deux oiseaux comme fol. 3v. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 4v. Même composition. — Arc outrepassé; chapiteaux comme avant; bases remplacées par un rectangle, avec un noeud sur chaque côté da son cadre; futs des colonnes ornés d'un motif analogue à pl. XIV, 2 (les deux colonnes centrales). Dans le médaillon du tympan, un éléphant sellé (cf. pl. XV, 2), tourné à droite; derrière lui, une plante schématique sans branches. Dans les écoinçons, deux oiseaux comme pl. XV, 1. Partiellement illuminé. Couleurs: ocre, bleu, rouge-brique.

Fol. 5. Même composition (pl. XV, 2). — Arc outrepassé; chapiteaux comme avant, bases comme pl. XV, 1, mais simplifiées; futs des colonnes cannelés ou en faisceaux. Dans le médaillon du tympan, éléphant comme fol. 4v, mais tourné à gauche; une curieuse proéminence sur sa queue; sa trompe passe à travers une sorte de petit arc suspendu dans l'air (c'est peut-être un dessin mal compris des défenses?). Dans les écoinçons, deux canards. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 5v. Même composition (pl. XVI, 3). — Chapiteaux comme avant, mais appuyés sur un élément en forme de cœur; bases comme avant; sur les futs des colonnes, série de disques réunis par des petits «cœurs» couchés. Des rideaux munis de franges sont fixés à l'entablement et relevés des deux côtés, à mi-hauteur des colonnes; ils y forment un nœud et retombent ensuite jusqu'aux bases. Dans le médaillon du tympan, les caractères d'un titre. Dans les écoinçons, un ornement de feuilles du type pl. XII, 2 (médaillon). Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 6. Même composition. — Chapiteaux et bases comme avant; les futs sont décorés d'une tresse qui — sur la colonne de droite — s'interrompe, pour donner place à deux nœuds complexes. Rideaux comme avant. Dans le médaillon du tympan, une figure polygonale formée par des bandes intercroisées (comparez au motif analogue pl. XVI, 4, disque supérieur); un oiseau, une feuille dans le bec, en occupe l'octogone central. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 6v. Même composition. — Chapiteaux comme avant, bases du type pl. XIII, 2; futs des colonnes ornés d'un motif du type pl. XV, 2, mais avec deux cannelures seulement, coupées, à mi-hauteur, par un trait horizontal. Rideaux comme avant. Dans le médaillon du tympan, une figure polygonale formée par des bandes intercroisées, avec une rosette au centre (comparez au motif analogue pl. XVII, 2, disque à droite en bas). Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 7. Même composition. — Chapiteaux, bases, rideaux comme avant; futs des colonnes ornés de motifs différents: à gauche, c'est un double zig-zag, à droite, une rangée de «cœurs» séparés par des petits fleurons. Dans le médaillon du tym-

pan, une figure polygonale formée par des bandes intercroisées (comparez au motif analogue pl. XVI, 4, disque à gauche, le deuxième d'en bas). Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 7v. Même composition. — Chapiteaux, rideaux comme avant; bases et ornements des futs des colonnes du type pl. XV, 2 (les futs s'approchent surtout de la variante du même type décrite fol. 6v, mais sans interruption des cannelures à mi-hauteur des colonnes). Dans le médallion du tympan, un motif polygonal analogue à fol. 6 (comparez pl. XVI, 4, disque supérieur).

Fol. 8. Même composition. — Chapiteaux, bases, ornements des futs des colonnes, rideaux comme à la page précédente. Dans le médaillon du tympan, un motif analogue à pl. XVI, 4, disque à droite, le premier d'en haut. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 8v. Même composition. — Chapiteaux, bases, rideaux comme avant; futs des colonnes ornés de deux types de tresses: à gauche, type pl. XII, 1; à droite, tresse type pl. XV, 4. Dans le médaillon du tympan, motif géométrique analogue à l'ornement pl. XVI, 4 (disque supérieur). Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 9. Même composition (pl. XIII, 2). — Arc outrepassé; chapiteaux, bases, rideaux comme avant; futs des colonnes ornés de deux motifs différents: à gauche, des zig-zags; à droite, créneaux dentelés. Une bande est nouée à chacune des deux colonnes; c'est peut-être une schématisation du cordon par lequel les rideaux sont fixés aux colonnes. Dans le médaillon du tympan, un oiseau aux ailes écartées et deux poussins (?). Les écoinçons sont réservés au titre du canon. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 9v. Même composition (pl. XIII, 1). — Arc légèrement outrepassé; chapiteaux comme avant, mais appuyés sur un élément particulier qui rappelle les bases du type pl. XV, 1; bases tressées comme pl. XII, 1; futs des colonnes ornés de feuilles du type pl. XII, 2 (médaillon). Les rideaux ne sont pas fixés aux colonnes et pendent librement, ils sont ornés de points carrés et ronds. Dans le tympan, deux paons des deux côtés d'un grand vase, et le titre du canon (c'est la seule composition où le tympan ne porte pas de médaillon). Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 10. Deux arcs portés par trois colonnes et surmontés d'un arc plus grand (pl. XVI, 1). — Chapiteaux comme avant, bases du type pl. XV, 1; futs des colonnes ornés de trois motifs différents: zig-zags, zig-zags à fleurons, «cœurs» superposés. Les tympans des petits arcs sont réservés à des demi-rosettes; deux fleurons et le titre du canon occupent le tympan du grand arc au-dessus. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 10v. Arc porté par trois colonnes (pl. XVI, 2). — Chapiteaux et bases comme avant; les futs des colonnes sont ornés de plusieurs motifs différents: colonne de droite, «cœurs» superposés; les deux autres colonnes sont interrompues à mi-hauteur par un grand fleuron dressé; trois des quatre tronçons ainsi obtenus portent des ornements, à savoir: zig-zags à fleurons, feuilles pliées, fleurons appuyés sur des chevrons superposés. Dans le médaillon du tympan, un octogone formé de bandes intercroisées, avec une rosette au centre; la rosette a quatre pétales à double pointe (quatre fleurs de lotus vues de côté ?) séparées par un fleuron qui s'appuie sur un chevron. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

2

1

1

2

3

4

Fol. 11. Même composition. — Chapiteaux comme avant, bases comme pl. XII, 2; futs des colonnes ornés de trois motifs différents: tresse, zig-zag à fleurons (deux variantes). Dans le médaillon du tympan, une chaîne de petits disques réunis par des fleurons qui suit le contour du médaillon, et — au centre — un octogone formé de bandes intercroisées (comparez l'ornement pl. XVI, 4, disque supérieur). Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 11^{v}. Même composition. — Arc outrepassé; chapiteaux comme avant, bases comme pl. XVI, 2; futs des colonnes ornés de motifs différents: zig-zags à fleurons, feuilles pliées du type pl. XII, 2, chevrons. Dans le tympan, deux médaillons placés l'un à côté de l'autre, portant des ornements géométriques; l'un reproduit le type pl. XVI. 4 (médaillon à gauche, le deuxième d'en bas), l'autre offre un cercle inscrit dans un carré posé sur l'angle. Partiellement illuminé. Couleurs: bleu et rouge-brique.

Fol. 12. Même composition. — Chapiteaux et bases comme avant; les futs des colonnes sont ornés de bandes intercroisées qui forment une espèce de filet fixé au cadre, avec des trous triangulaires. Dans le tympan, deux médaillons placés l'un à côté de l'autre et portant chacun l'oiseau du type pl. XIII, 2. Les deux oiseaux sont tournés des deux côtés opposés. Sous les pattes de l'oiseau, un lièvre. Entre les deux médaillons, un coq du type pl. XII, 1. Partiellement illuminé. Couleurs: bleu, ocre, rouge-brique.

Fol. 12^{v}. Même composition (pl. XV, 3). — Chapiteaux et bases comme avant; futs des colonnes décorés de trois motifs différents: feuilles pliées du type pl. XII, 2, carrés superposés en imitation de pierres incrustées, zig-zag. Au tympan, dans le médaillon mal dessiné, un dragon sassanide. Le contour dentelé de sa tête imite la technique du tissu ou de la mosaïque. Dans les écoinçons, titre du canon. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 13. Arc sur deux colonnes (pl. XIV, 1). Arc outrepassé. Chapiteaux comme avant, mais appuyés sur un motif qui sert ordinairement pour les bases (voyez pl. XV, 1); les bases reproduisent le même motif, mais en plus compliqué. Rideaux comme pl. XIII, 2, mais sans franges. Futs des colonnes ornés de deux motifs différents: fleurons appuyés sur des chevrons, créneaux dentelés. Dans le médaillon du tympan, aigle aux ailes déployées vu de face; deux palmettes sur les ailes. Le titre du canon remplit les écoiçons. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 13^{v}. Quatre colonnes surmontées de trois arcs et de cinq coupoles coniques (pl. XIV, 2). — Arcs outrepassés, coupoles à renflement; chapiteaux comme avant, bases du type pl. XII, 2; les futs des colonnes sont ornés de deux motifs différents: zig-zag, zig-zag à fleurons. Deux rideaux relevés, entre les colonnes centrales; un rideau qui pend librement entre les deux paires des colonnes latérales. Dans les tympans des arcs, des demi-rosettes imitant la coquille. Des lampes d'église sont suspendues, dans trois coupoles. Partiellement illuminé. Couleurs: rouge-brique et bleu.

Fol. 14. Trois colonnes surmontées d'un entablement et de deux médaillons (pl. XV, 4). — Chapiteaux comme avant, bases du type pl. XII, 1; futs des colonnes ornés de trois motifs différents: tresse ordinaire, tresse à trois bandes, feuilles pliées. Dans les médaillons, réunis par un gros fleuron, deux paons vus de face, les queues déployées; l'un des deux paons tient une feuille dans son bec. Entre les médaillons, un poussin (?) appuyé sur sa queue, les pattes en l'air. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 14v. Arc bilobé porté par deux colonnes. — Pas d'entablement; les deux lobes de l'arc doivent être considéres plutôt comme deux arcs indépendents et de grandeur égale, auxquels on aurait enlevé la colonne centrale. Chapiteaux et bases comme avant, les futs des colonnes sont ornés de zig-zags; sur les archivoltes, des fleurons appuyés sur des chevrons superposés. Partiellement illuminé. Couleurs: rouge-brique, bleu, ocre.

Fol. 15. Même composition. — Le dessin reproduit fol. 14v, excepté les bases qui se rapprochent du type pl. XII, 2. Pas d'ornements.

Fol. 15v. Même composition. — Dessin comme avant, excepté les arcs qui sont outrepassés. Pas d'ornements.

Fol. 16. Quatre colonnes surmontées de trois arcs et de cinq coupoles. — Le dessin reproduit exactement celui de pl. XIV, 2.

Fol. 16v. Laissé en blanc.

Fol. 17. Six disques inscrits dans un cercle (pl. XVI, 4). — Un petit disque central est réservé au titre, il est entouré de cinq disques, avec des motifs géométriques obtenus à l'aide d'un réseau de bandes étroites, intercroisées. — Initiale B, avec une tête d'oiseau à la place de la volute supérieure. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 78. Deux arcs portés par trois colonnes. — Composition du type fol. 10 et suiv. Pas d'ornements. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 78v. Même composition. — Ornement en zig-zag sur les futs des colonnes. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 79. Quatre disques (pl. XVII, 1). — Sur les disques, liés par leurs cadres, un aigle, un dragon, un paon et un oiseau accompagné d'un poussin (comparez fol. 13, de même que 1v, 9, 14). Initiale A. Partiellement illuminé. Couleurs: bleu et rouge-brique.

Fol. 115v. Arc porté par deux colonnes. — Chapiteaux et bases comme avant; pas d'ornements sur les futs des colonnes; rideaux. Dans le médaillon du tympan, paon vu de face, la queue déployée (du type fol. 14). Partiellement illuminé. Couleurs: rouge-brique et bleu. Image inachevée (?).

Fol. 116. Même composition. Dessin comme fol. 115v, mais sans ornements, ni rideaux. Le médaillon est réservé au titre. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 116v. Deux arcs portés par trois colonnes. — Composition du type fol. 78. Ni chapiteaux, ni ornements; bases d'un type analogue à celui de pl. XII, 2. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 117. Même composition. Dessin comme fol. 116v. Bases du type pl. XII, 1. Dans le médaillon, une rosette; dans les écoinçons, deux coqs du type pl. XII, 1. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 117v. Groupe de disques ornementés. — Quatre disques liés par leurs cadres (comparez la composition pl. XVII, 2); au-dessus et à côté d'eux, trois autres disques, plus petits. Chaque disque porte un ornement géométrique différent. Les ornements des grands disques reproduisent les motifs de la vignette pl. XVI. 4 (sauf celui du disque à droite, en bas); auxquels on ajoute une fois un poussin (?) placé au centre du disque. Dans deux autres cas, la même place est réservée aux titres. — Les petits disques sont décorés de rosettes: une rosette à pétales nombreux et

deux rosettes à quatre pétales, obtenues à l'aide de fragments de quatre circonférences intercroisées (comparez les rosettes pl. XVII, 2 et 3). Initiale E. Partiellement illuminé. Couleurs: rouge-brique, bleu, ocre.

Fol. 179. Arc porté par deux colonnes (pl. XVII, 3). — Arc outrepassé, chapiteaux et bases comme plusieurs fois avant; futs des colonnes ornés de zig-zags à fleurons; rideaux. Le médaillon du tympan porte huit disques ornementés, dont un au centre et sept autres tout autour, en suivant la ligne de la circonférence. Sur le disque central, un octogone en filet de bandes intercroisées et un poussin (?) au milieu; disques de la circonférence: six rosettes à quatre pétales et une rosette à huit pétales. Toutes les rosettes présentent quelques particularités, dans les détails. Un gros fleuron entre chaque paire de disques. Deux oiseaux (poussin ?), dans les écoinçons. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 179ᵛ. Même composition. Dessin comme fol. 179, mais dépourvu de tout motif ornemental. Le médaillon du tympan est occupé par le titre. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

Fol. 180. Quatre disques (pl. XVII. 2). — Sur les disques, liés par leurs cadres, des ornements géométriques: polygones formés par des filets de bandes intercroisées; rosettes à quatre, six, huit et seize pétales inscrites dans des cercles; séries de disques. Initiale E. Partiellement illuminé. Mêmes couleurs.

En dehors des enluminures décrites ci-dessus, le Vat. gr. 354 contient une série d'initiales peintes de grandeur différente. Les pl. XVI, 4, XVII, 1 et 2 en donnent une idée suffisante. Leur facture est la même partout: contours rouge-brique accusés formant cadre, à l'intérieur duquel les fonds sont, soit laissés en blanc, soit illuminés de bleu et d'ocre.

*

Dans la distribution des ornements, les enluminures du Vat. gr. 354 suivent un systhème bien connu. Les arcades qui forment des cadres pour les canons et les index des évangiles apparaissent dès le VIᵉ siècle, dans l'art syro-mésopotamien et anatolien. Il en est de même des rideaux qui pendent des deux côtés de chaque arc, des coquilles dans les tympans et des images d'oiseaux et d'animaux, à côté du cadre architectural.

Toutefois, en adoptant le systhème décoratif habituel des manuscrits de l'Asie chrétienne, le peintre du tétraévangile de la Vaticane est loin de copier trait pour trait les prototypes du VIᵉ siècle. Il transforme les motifs traditionnels et en ajoute des nouveaux.

Sous son pinceau les architectures ont perdu les formes antiques qu'elles gardaient encore souvent dans les enluminures du VIᵉ siècle (voy. les chapiteaux et les bases des colonnes). Et si les coquilles et les rideaux ont persisté, ils sont réduits à des schémas graphiques qui plus d'une fois tombent dans le contresens (voy., par exemple, les rideaux pl. XIV, 1).

Les animaux et les oiseaux occupent toujours, dans le Vat. gr. 354, une place importante, mais les images zoomorphiques réalistes des miniatures antérieures, librement tracées sur les marges et aux bords des arcades, se trouvent remplacées par des représentations d'une rigidité héraldique, enfermées dans des cadres de forme géométrique régulière. On pourrait faire la même observation pour les plantes. Et au modelé «im-

pressionniste» — fidèle à la facture antique — des images zoomorphiques et florales du VI[e] siècle, le miniaturiste de 949 substitue des schémas plats d'une abstraction complète.

Les médaillons des tympans occupent encore, en 949, la place qu'on leur attribuait dans les œuvres antérieures, mais l'ancienne imago clipeata réservée au portrait en buste (d'un saint, du Christ) se transforme en disque qui porte une composition décorative. L'image humaine est bannie de ce manuscrit qui nous offre l'œuvre aniconiquela plus remarquable, je crois, dans la peinture grecque chrétienne. Le Vat. gr. 354 conserve vraisemblablement un type de la décoration du Tétraévangile créé à l'époque des Iconoclastes.

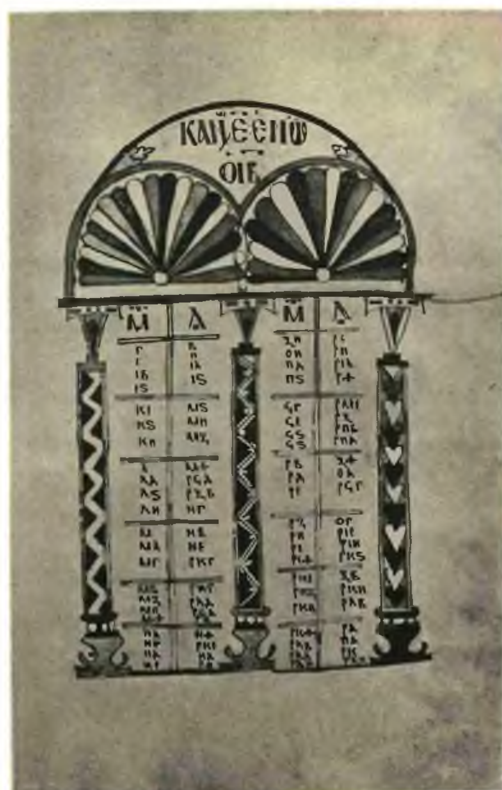
Les transformations que l'artiste du Vat. gr. 354 (ou l'auteur de ses modèles) fait subir aux formules décoratives du VI[e] siècle, éloignent ses enluminures de l'art antique et les rapprochent des conceptions de l'esthétique orientale (voy. plus haut). Mais on trouve, en outre, dans ses miniatures, des preuves d'influences positives de l'art asiatique: arcs outrepassés, coupoles coniques, profils particuliers des bases des colonnes, oiseaux et animaux d'un dessin schématique, plusieurs motifs ornementaux (rangées de cœurs, tresses, zig-zags, rosettes à quatre pétales et à pétales nombreuses, dessins géométriques en bandes liées et intercroisées).

On peut reconnaître quelques-unes des sources auxquelles le décorateur du Vat. gr. 354 doit ses motifs originaux. Le motif des rangées de cœurs et la plupart des images zoomorphiques sur les disques des tympans dérivent des soieries persanes historiées (dragons, éléphants, paons, etc.), et le dragon sassanide fol. 12[v] (pl. XV, 3) conserve même le contour anguleux d'une image tissée. D'autres représentations sur les disques peuvent avoir eu comme modèles les motifs de décoration de l'argenterie sassanide et surtout des plats en céramique du type de Fostat, et les images zoomorphiques de notre manuscrit s'en rappochent aussi par le dessin et la distribution des couleurs, en taches sommaires et négligemment jetées (voy. pl. XIII; 2, XII, 1, etc.). Une parenté étroite relie nos images zoomorphiques et les représentations sur les coffrets d'ivoire peint musulmans, d'origine mésopotamienne et sicilienne.

Sur ce point, les enluminures du Vat. gr. 354 se rapprochent de l'art islamique, et il en va de même, pour les disques aux ornements géométriques et pour les profils bizarres des bases des colonnes (type pl. XV, 1, etc.). Les deux motifs se retrouvent dans les monuments musulmans de l'époque archaïque, dans l'architecture de pierre ou de bois. Ce sont les édifices de la Syrie et de l'Asie Mineure, chrétiens ou musulmans, qui ont pu inspirer le motif des coupoles coniques (pl. XIV, 2); on les voit apparaître dans d'autres miniatures gréco-orientales de la même époque (cf. Ambros. 49—50).

Le Vat. gr. 354 offre des points de rapprochement avec les enluminures des manuscrits latins pré-carolingiens. Il a en commun avec une série d'œuvres occidentales, les procédés essentiels de la technique (contours appuyés, couleurs vives et liquides employés à l'état pur et sans mélanges) et certains motifs ornementaux (disques avec motifs zoomorphiques ou géométriques; rosettes à quatre pétales inscrits dans un cercle).

Les enluminures des deux tétraévangiles grecs, les Par. gr. 62 et 63, sont d'une inspiration assez analogue à celle des peintures du Vat. gr. 354. On y retrouve notamment la technique des miniatures du Vaticanus, le motif des rosettes et — trait important pour un manuscrit grec richement décoré — le principe de la décoratien aniconique. Une



1

2

3

4

1

2

3

vignette du Par. gr. 62 imite un tapis, — motif qui vient confirmer notre observation relative à l'influence des tissus historiés sur les enluminures du Vat. gr. 354.

Malgré l'existence de quelques manuscrits grecs contemporains dont les enluminures peuvent être rapprochées des images de notre manuscrit, son art reste à l'écart des courants connus de la miniature grecque. Parmi les écoles locales des siècles postérieurs, il semble que les ateliers d'enluminure de l'Italie méridionale soient les seuls, en pays grecs, qui retiennent quelques leçons de l'art greco-oriental auquel nous devons les images décoratives du Vat. gr. 354.

A. Grabar.

Strasbourg.

ILLUSTRATIONS:

Pl. XII, 1	Miniatures	du	tétraévangile	Vaticanus	Graecus 354.	Fol. 2^v
XII, 2	»	»	»	»	»	Fol. 1
XIII, 1	»	»			»	Fol. 9^v
XIII, 2	»	»				Fol. 9
XIV, 1	»					Fol. 13
XIV, 2	»					Fol. 13^v
XV, 1						Fol. 4
XV, 2						Fol. 5
XV, 3						Fol. 12^v
XV, 4						Fol. 14
XVI, 1						Fol. 10
XVI, 2						Fol. 10^v
XVI, 3						Fol. 5^v
XVI, 4						Fol. 17
XVII, 1						Fol. 79
XVII, 2						Fol. 180
XVII, 3						Fol. 179

ЗАМѢТКИ ПО ИКОНОГРАФІИ САСАНИДСКИХЪ ТКАНЕЙ

I.

Изъ богатаго запаса орнаментальныхъ формъ сасанидскихъ тканей изображенія отдѣльныхъ или парныхъ животныхъ и птицъ, помѣщенныя въ кругахъ, можно считать наиболѣе характернымъ узоромъ. Нѣкоторыя изъ этихъ изображеній: крылатый конь, козелъ и кабанъ — должны быть объясняемы какъ образъ воплощенія Веретрагны — генія или божества побѣды. Миѳологическое значеніе крылатаго коня не вызываетъ сомнѣній; царственная лента, украшающая сасанидскихъ козловъ, разъясняетъ до нѣкоторой степени ихъ значеніе; изображеніе на тканяхъ кабана не столь ясно. Въ тканныхъ узорахъ мы знаемъ только изображеніе кабаньей головы въ кругѣ, хотя въ сасанидскомъ серебрѣ и скульптурѣ кабанъ изображается очень часто въ сценахъ охоты.

Извѣстны пока двѣ ткани. Лучшій экземпляръ найденъ A. Stein въ погребеніяхъ Астана въ Восточномъ Туркестанѣ. Узоръ изображаетъ на грязно-желтомъ фонѣ голову кабана, окруженную темно-синимъ кольцомъ, на которомъ рядъ желтыхъ кружковъ (изображающихъ вѣроятно жемчугъ). Голова сине-зеленая, съ желтыми глазами, клыками, носомъ, щетиной и пятномъ на лбу. Въ геометризованномъ рисункѣ преобладаютъ углы, границы между желтымъ и сине-зеленымъ цвѣтами раздѣланы зубцами. Ткань воспроизведена въ краскахъ у A. Stein въ «Innermost Asia» табл. LXXVI.

Вторая ткань, сохранившаяся лишь въ небольшомъ обрывкѣ, представляетъ только часть узора, приблизительно четверть круга. Круги орнаментированы такими же свѣтлыми горошинами, а уцѣлѣвшая верхняя часть головы кабана, глазъ и ухо, по характеру аналогичны предыдущей ткани, но рисунокъ нѣсколько гибче. Краски повидимому тѣ-же: сине-зеленая и желтая. Ткань находится въ Kunstgewerbe Museum въ Берлинѣ и воспроизведена въ краскахъ у E. Herzfeld, «Am Tor von Asien», табл. LXIV.

Кромѣ этихъ двухъ прямыхъ образцовъ сасанидскаго тканнаго узора знаемъ примѣры того же орнамента съ кабаньей головой, повтореннаго на изображеніяхъ сасанидскихъ тканей.

Въ Туюкъ-Мазарѣ около Турфана, въ пещерѣ № 38, одна изъ фресокъ воспроизводитъ протянутую по стѣнѣ сасанидскую ткань,[1] на которой изо-

[1]) A. Grünwedel, Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan. Berlin 1912. Рис. 663, текстъ стр. 332. С. Ѳ. Ольденбургъ, Русская Туркестанская Экспедиція 1909—1910 года. СПб., 1914, стр. 50, рис. 47. Воспроизведенія въ краскахъ см. E. Herzfeld, Am Tor von Asien, табл. LXIV.

бражены совершенно тождественныя по рисунку съ приведенными выше — кабаньи головы въ кругахъ (см. рис. 1). Фонъ круговъ желтый, головы — синія, вѣнцы — черные съ бѣлыми кружками, общій фонъ оранжево-красный. Синій и желтый цвѣта несомнѣнно взяты съ оригинала — сасанидской ткани, а красно-оранжевый фонъ — вѣроятно, добавленіе художника, расписывающаго стѣну.

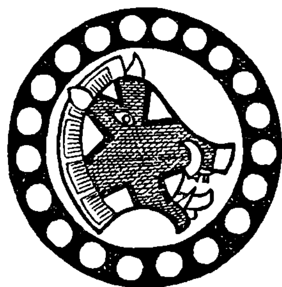


Рис. 1.
Фреска изъ Туюкъ-Мазара.

На извѣстномъ Такъ-и-Бостанскомъ рельефѣ (около 620 года), изображающемъ охоту Хозроя II, въ этомъ важнѣйшемъ, но еще полностью для исторіи сасанидскаго тканнаго узора не использованномъ памятникѣ, E. Herzfeld нашелъ на кафтанѣ одного изъ гребцовъ въ лодкѣ царя изображеніе кабаньихъ головъ въ кругахъ. Головы нѣсколько иного стиля, болѣе вытянуты и менѣе условны,[2] и въ общемъ не отличаются отъ изображенныхъ на томъ-же рельефѣ кабановъ, поражаемыхъ стрѣлами Хозроя.

Можно, пожалуй, упомянуть еще изображенія трехъ кабаньихъ головъ на сасанидскомъ блюдѣ, изданномъ у F. Sarre, «Die Kunst des alten Persien», рис. 111, и изображающемъ пирующаго царя, въ коронѣ Іездегерда II или Балаша, и царицу, въ парадномъ головномъ уборѣ, украшенномъ двумя загнутыми рогами и гранатовымъ яблокомъ. Головы кабановъ, изображенныя внизу подъ ложемъ царя, могутъ быть объясняемы или какъ узоръ на коврѣ, или какъ охотничій трофей, что мнѣ представляется менѣе вѣроятнымъ. Само блюдо, впрочемъ, вызываетъ сомнѣнія въ подлинности.

Наконецъ, кабаньи головы въ кругахъ имѣются еще въ видѣ орнаментальнаго украшенія на гипсовомъ рельефѣ, находящемся въ Pensylvania Museum въ Филадельфіи. Повторяемыя на немъ головы очень плохо моделлированы и въ подлинности ихъ я не очень увѣренъ.

Многочисленныя изображенія кабановъ въ сценахъ царской охоты не имѣютъ прямого отношенія къ разбираемому орнаментальному сюжету.

О томъ, что въ сасанидской Персіи кабанъ считался благороднымъ звѣремъ, говоритъ распространенность имени Варазъ или Баразъ среди персидской знати.[3] Между прочимъ, это имя носилъ и начальникъ царскихъ мастерскихъ Новой Антіохіи, основанной Хозроемъ I около Ктезифона.

Кабанъ — одно изъ воплощеній (пятое) Веретрагны, генія побѣды, самого популярнаго и многообразнаго изъ „Язата" персидской миѳологіи.[4] Въ сасанидскую эпоху Веретрагна-Бахрамъ стоялъ въ народномъ представленіи повидимому значительно выше, чѣмъ въ оффиціальномъ религіозномъ ученіи

---

²) E. Herzfeld, «Am Tor von Asien», рис. 39, стр. 130.

³) См. F. Justi, Iranisches Namenbuch. Th. Nöldeke, Tabari. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, стр. 240. E. Herzfeld, Am Tor von Asien, стр. 130.

⁴) См. Бахрамъ Яштъ XIV, переводъ J. Darmesteter, «Le Zend-Avesta», II, стр. 565. F. Wolff, «Avesta-übersetzung auf der Grundlage von Chr. Bartholomae's Wörterbuch», стр. 258 сл. A. Christensen, Études sur le zoroastrisme de la Perse antique. Det. Kgl. Danske Vidensk. Selskab. XV. Копенгагенъ, 1928.

Авесты. Шесть сасанидскихъ царей носили имя Бахрамъ. Веретрагна, въ отличіе отъ остальныхъ божествъ иранскаго пантеона, представлялся въ конкретной формѣ и олицетворялся въ наибольшемъ количествѣ фигуръ (преимущественно животныхъ, но не въ образѣ хищнаго звѣря). Какъ символъ побѣды, фигура кабана, наряду съ другими воплощеніями Веретрагны, была приспособлена сасанидскимъ дворомъ въ видѣ одного изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ царскихъ знаковъ. Парадный головной уборъ сасанидской царицы, супруги Бахрама II, оканчивался наверху кабаньей головой;[5] мы очень плохо знаемъ, къ сожалѣнію, короны остальныхъ сасанидскихъ царицъ. Оффиціальная печать Хозроя, которой скрѣплялись царскіе указы, носила изображеніе кабана.[6]

Разрѣшеніе вопроса, почему въ сасанидскихъ тканяхъ Веретрагна представляется только въ видѣ головы, а не цѣлой фигуры кабана, слѣдуетъ искать въ происхожденіи этой формы. Кабаньи головы сасанидскаго орнамента формально связаны съ такими же изображеніями на бронзовыхъ скиѳскихъ пластинкахъ изъ Керчи, Тамани и Кубани.[7] Скиѳскія головы кабановъ разнообразны по манерѣ, но одинаковы по формѣ; они длиннѣе, тоньше и выразительнѣе, нѣкоторыя детали, какъ напр., раздѣлка щетины, которой оканчивается голова, въ видѣ параллельныхъ черточекъ, сохраняется цѣликомъ и на сасанидскомъ тканномъ узорѣ. По времени онѣ относятся къ V или къ IV вѣку до Р. Х. Тысячелѣтіе, отдѣляющее эту группу памятниковъ отъ Такъ-и-Бостанскаго рельефа, не разрываетъ возможной преемственности формы, такъ какъ кабанья голова продолжала существовать въ искусствѣ кочевниковъ.

Среди „сарматскихъ“ древностей Венгріи, относимыхъ къ первымъ вѣкамъ нашей эры, находимъ нѣсколько бронзовыхъ пластинъ съ изображеніемъ кабаньихъ головъ, служившихъ наборомъ пояса или уздечки.[8]

По характеру своему онѣ вялы и неумѣлы, передаютъ лишь общую форму головы кабана и стилистически, такъ же какъ хронологически, онѣ занимаютъ какъ разъ промежуточное мѣсто между скиѳскими и сасанидскими фигурами. Вѣроятно, въ необозримомъ матеріалѣ скиѳскихъ древностей можно будетъ найти и другія звенья этой цѣпи.

Н. Толль.

Прага.

---

[5]) J. de Morgan, Manuel de numismatique orientale, fasc. II. P. 1924, стр. 308, рис. 382.

[6]) A. Christensen, L'empire des Sasanides. Mémoires de l'Acad. Royale des Lettres de Danemark. 1907. Стр. 56. На основаніи Mas'udi (Barb. de Meynard II, стр. 204 и 228).

[7]) G. Borovka, Scythian Art. L. 1928. На табл. 17 изданы: C, бронзовая кабанья голова съ Таманскаго полуострова; D, голова изъ Семибратняго кургана, Тамань; E, изъ кургана около Ельтегеня у Керчи.

[8]) N. Fettich. Das Kunstgewerbe der Avarenzeit in Ungarn. Arch. Hung. I. Табл. VII, стр. 57. Приношу свою глубокую благодарность доктору N. Fettich за указанія относительно кабаньихъ головъ въ древностяхъ Венгріи. Извѣстны: бронзовая голова кабана изъ Kiskunhalas (комитатъ Pest), изд. у Hampel'я, I, Fig. 2007; девять литыхъ изъ бронзы кабаньихъ головъ изъ Vizesbánom (комитатъ Békés), наход. въ Нац. Муз. Будапештъ, опубликованы Arch. Hung. I, таб. VII; того же типа голова, происходящая изъ комитатъ Tolna.

NOTES SUR L'ICONOGRAPHIE DES TISSUS SASSANIDES

par

N. P. TOLL.

La tête de sanglier sur les tissus sassanides doit être interprétée comme image de Verethragna — génie de la victoire. Au point de vue de la forme la tête du sanglier sassanide a son origine dans l'art scythe.

ILLUSTRATIONS:

Fig. 1 (p. 228). Fresque de Toyuk Mazar.

KAUKASISCHE BRONZEFIGUREN IN POLNISCHEN SAMMLUNGEN UND IHRE SYRISCHEN PARALELLEN

Die Aufmerksamkeit der polnischen Archäologen wurde in allerletzter Zeit auf die kaukasischen Bronzestatuetten, welche sich in den einheimischen Sammlungen befinden, gezogen. Vor kurzem hatte ich Gelegenheit eine kaukasische Figur (Fig. 1), die aus einem Kurganfunde bei *Kruhowicze* (Kr. Łuniniec, Wojew. Polesie) stammt und gegenwärtig Herrn *Hieronim Wilder* in *Warszawa* gehört, zu veröffentlichen.[1] Weitere vier kaukasische Statuetten, die im Museum des *Towarzystwo Przyjaciół Nauk* in *Wilno* ausgestellt sind, hat Prof. Włodzimierz Antoniewicz publiziert.[2] Wir wiederholen hier die Abbildungen dieser interessanten Plastiken nach seinen, uns freundlich zur Verfügung gestellten Photographien (Fig. 2—5). Alle diese Stücke sind unbekannter Provenienz. Dagegen wurde eine andere kaukasische Kleinplastik, die, nach Beschreibung von Prof. Antoniewicz unseren Fig. 2 & 3 völlig gleicht und ausserdem einen Spitzhelm trägt, in *Jagminy* (Kr. Szawle, Lithauen) entdeckt und befindet sich ebenfalls in dem erwähnten Museum in Wilno.[3] Sie ist demnach, ähnlich wie die Bronze von Kruhowicze, ein kaukasisches Importstück auf osteuropäischem Gebiete, ein Beweis der Handelsbeziehungen ihres Heimatlandes mit dem Südostbaltikum, die sich mindestens seit dem XIII. Jhd. v. Chr. nachweisen lassen.

Zwei kaukasische Bronzefiguren besitzt ferner das Regionale Museum des *Towarzystwo Krajoznawcze* in *Słonim* (Wojew. Nowogródek).[4] Sie wurden von seinem Kustos, Herrn Józef Słabrowski, zur Aufbewahrung übergeben. Dank seiner freundl. Erlaubnis habe ich die Möglichkeit sie hier zu veröffentlichen. Die eine (Fig. 8) wurde von ihm im J. 1893 in Temir-Chan-Schura in Dagestan erworben (H. 8,7 *cm.*, Br. in den Armen 3,2 *cm.*). Die andere (Fig. 7) ist dagegen in Kowno im J. 1902 angekauft (H. 7,7 *cm.*, Br. 3,3 *cm.*). Ich möchte aber daraus nicht den Schluss ziehen, dass sie, wie die zwei bereits genannten Bronzen, von einem lokalen Fund stammt. Es ist m. E. viel wahrscheinlicher, dass diese Figur aus dem Kaukasus nach Kowno auf irgendeine Weise in moderner Zeit gebracht wurde, worauf sie zu ihrem gegenwärtigen Besitzer gelangte.

Beide Statuetten gehören der bekannten Gruppe der ityphallischen Bronzen an, mit

---

1) Światowit, XIII, 1929, 32—69, 24 Fig.

2) Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, XII, 1928—29, 129—136, 4 Fig.

3) Sie wird von Prof. Antoniewicz nebst anderen Fundstücken aus diesem Orte in grösserem Zusammenhange behandelt.

4) M. Drewko, Ziemia, 1930, No. 15—18, 339.

den zuerst von G. Wilke,[5] dann von Prof. A. A. Zacharov[6] und S. V. Bezsonov[7] publizierten Stücken eng zusammen. Wie ich bereits, anlässlich der Figur von Kruhowicze, Gelegenheit auszuführen hatte, sind unter diesen Statuetten, je nach der Kopfbedeckung, durch welche zugleich die Höhe der einzelnen Stücke beeinflusst wird, drei Sonderarten zu unterscheiden. In alien sonstigen Einzelheiten des Stils, der Ausführung, Tracht sowie Massen, stimmen sämtliche diese Bronzen vollkommen überein, als ob sie aus einer Form gegossen wären. Sie müssen demnach einer lokalen Werkstatt entstammen, die mit einem festen Schema der menschlichen Gestalt operierte, die dann durch Hinzufügung von Kopfschmuck zu verschiedener Bedeutung differenziert wurde. Unter den Figuren von Słonim sind zwei Typen dieser Bronzen vertreten, u. zw. derjenige mit dem »Kammhelm«, zu dem auch die Statuette von Kruhowicze gehört, sowie der andere mit der Spitzhaube, der gleichfalls unter den stilistisch verschiedenen Figuren von Wilno belegt ist. Der dritte Typus, der unter den kaukasischen Bronzen nicht minder häufig vertreten ist, nämlich mit dem Hörnerhelm, ist in den polnischen Museen nicht vorhanden.

Die letztere Sonderart hat *A. A. Zacharov* mit den Darstellungen der Schardana auf ägyptischen Denkmälern in Beziehung gebracht. Auffallend ist die gleiche, behörnte Kopfbedeckung, welche sowohl auf Sardinien, wie im Kaukasus beheimatet war. Auf Grund dieses Zusammenhanges hat dann *A. A. Zacharov* nicht nur die Statuetten mit Hörnerhelm um 1200 v. Chr. datiert, sondern sämtliche stilverwandte kaukasische Bronzen dieser Zeit zugeschrieben. Seine Chronologie ist als richtig anzunehmen, umsomehr, da eine Anzahl syrischer Bronzefiguren, die wir sogleich mit den kaukasischen vergleichen werden, aus derselben Periode stammt. Demgegenüber erscheint der Ansatz von *S. V. Bezsonov*, der in diesen Plastiken Darstellungen der heidnischen Götter Armeniens sieht und sie für bedeutend jünger hält (I. Jhd. v. Chr.), als wenig begründet, und muss abgelehnt werden.

Bevor wir zu den einzelnen syrischen Analogien übergehen, möchte ich vorerst bemerken, daß die meisten der angeführten kaukasischen Bronzen den rechten Arm erhoben halten, als ob er eine Waffe schwänge. Tatsächlich finden wir, daß manche Statuetten, wie unsere Fig. 1, 7 & 8, in der Hand einen kurzen, spitz zulaufenden Gegenstand halten, der wohl als Dolch zu verstehen ist. In ähnlicher Weise, d. h. mit erhobenem Arm, werden in der anatolischen und syrischen Plastik des ausgehenden II. und beginnenden I. Jhd. v. Chr. zahlreiche lokale Kriegs- und Gewittergötter, wie Reschef, Hadad, Teschup oder Dattas, dargestellt und mit verschiedenen Attributen, die zumeist verloren gegangen sind, versehen. Durch diese Händehaltung nähern sich die kaukasischen Bronzen den vorderasiatischen nicht nur rein äusserlich. Wir dürfen sie wohl als plastische Darstellungen der einheimischen, kaukasischen Gottheiten betrachten, die mit denen Syriens und Kleinasiens wesensverwandt waren. Allem Anscheine nach war die damalige Bevölkerung Transkaukasiens, woher die Mehrzahl der Figuren stammt, von der vorderasiatischen Vorstellungswelt stark beeinflusst. Ob

[5]) Zeitschrift für Ethnologie, XXXVI, 1904, 89, Fig. 119—20.

[6]) Труды Секции Археологии, II, 1927, 34 f., Tf. II, Fig. 1. — Prof. Zacharov wird sämtliche diese Plastiken in einer in Vorbereitung befindlichen Arbeit ausführlicher behandeln.

[7]) Bulletin de l'Institut des Sciences et des Arts de la République S. S. d'Arménie, IV, 1930, 57—74, 4 Fig.

1

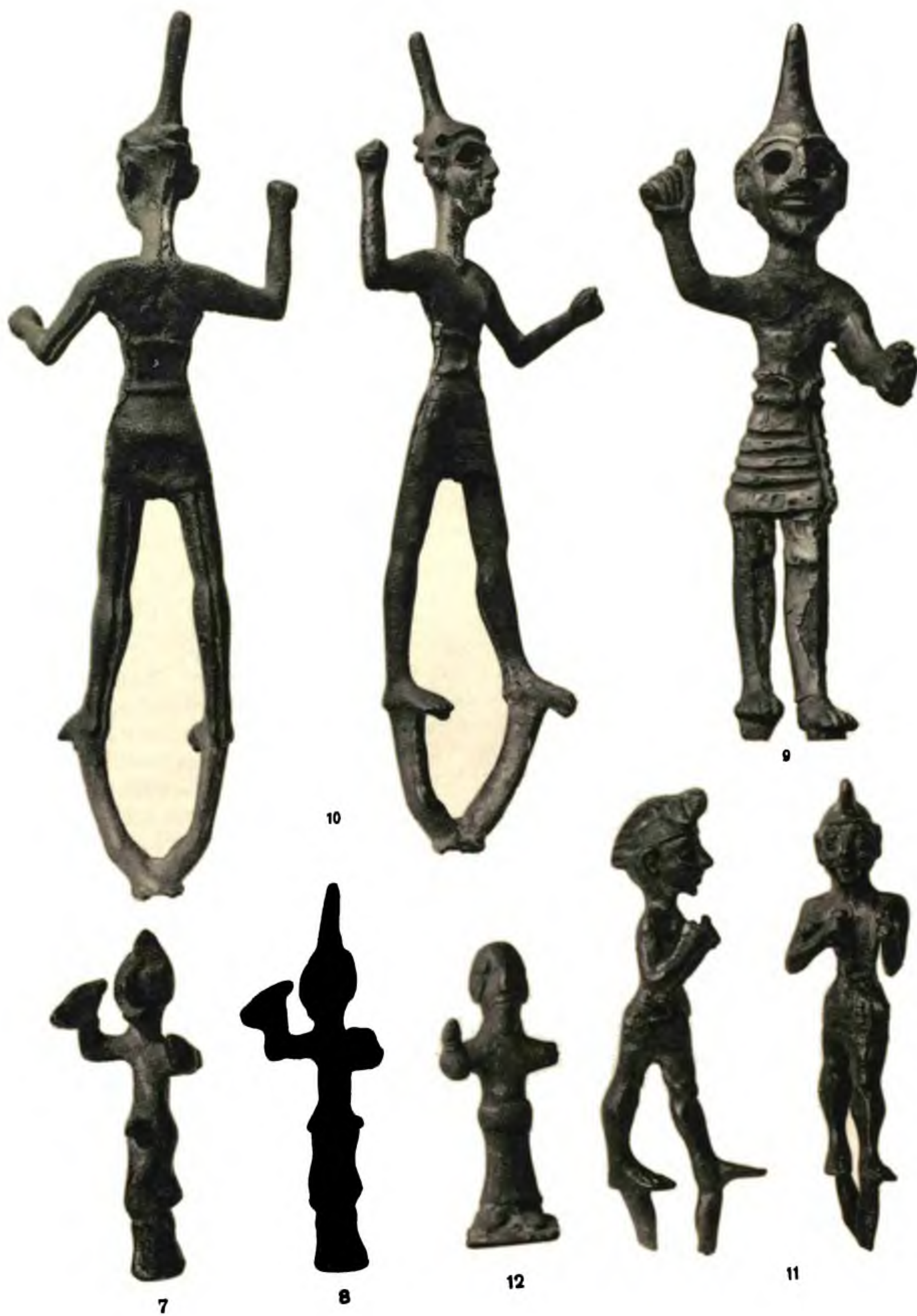
2

3

4

5

6



10
9
7
8
12
11

sich darin irgendwelche ethnische Zusammenhänge bergen, lässt sich auf Grund des augenblicklich zu Gebote stehenden Materials nicht entscheiden. Dabei besteht jedoch ein wichtiger Unterschied zwischen den kaukasischen und vorderasiatischen Plastiken in der Auffassung der göttlichen Gestalt. Die syrischen männlichen Statuetten werden durchwegs bekleidet dargestellt, zumeist in einem kurzen Lendenrock. Nackt erscheinen die dortigen Götter niemals. Dagegen sind die kaukasischen Bronzen stets unbekleidet und ityphallisch, was ein gemeinsames Merkmal der Metallplastik des Kaukasus während der vorgeschichtlichen Zeit bleibt.[8] Darin äussern sich gewiss die eigenen Anschauungen der kaukasischen Stämme, welche sich, abweichend von anderen altorientalischen Völkern, ihre Götter auf diese Weise vorgestellt haben. Sonst sind uns aber diese Gottheiten, wie übrigens das ganze damalige kaukasische Pantheon, unbekannt, was ihre Identifikation augenblicklich verbietet. Dies wird erst dann erflogen können, wenn eine schriftliche Ueberlieferung aus dieser Epoche, Kaukasus betreffend, vorliegen wird, sei es in Berichten der Nachbarvölker, oder in lokalen Ueberresten. Bis dahin verbleibt noch die altkaukasische Götterwelt in dichtem Schleier verhüllt.

Nach dem Gesagten sind wir berechtigt die gesamte Gruppe der kaukasischen Statuetten, zu denen die Bronzen aus Słonim und Kruhowicze gehören, als Kriegs- bzw. Gewittergötter zu betrachten, wenn sie uns auch ihrem Namen nach unbekannt bleiben. Allem Anscheine nach sind unter diesen Figuren drei verschiedene Gottheiten, je nach ihrer Kopftracht, zu unterscheiden. Sie ist, wie wir uns sogleich überzeugen werden, mit derjenigen mancher syrischen Bronzen übereinstimmend. Neben der vorher erwähnten Armstellung ist dies ein weiterer Beweis, daß zwischen der Bronzeplastik beider Gebiete weitgehende Zusammenhänge bestehen; sie bezeugen nicht nur eine Verwandschaft der materiellen Kultur, sprechen aber zugleich von gemeinsamen Zügen der religiösen Ideenwelt, die sich in der Ausstattung der Götter mit gleichen Attributen äussern. Wenden wir uns daher jetzt der Untersuchung der Kopftracht der kaukasischen und syrischen Kleinplastiken zu.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass *A. A. Zacharov* eine Untergruppe der kaukasischen Bronzen, die sämtlich eine behörnte Haube tragen, mit den Darstellungen der Schardana auf ägyptischen Denkmälern in Verbindung gebracht hat. Dieselbe Kopfbedeckung findet man ebenfalls bei den einheimischen sardinischen Bronzeplastiken, die jedoch einer späteren Zeit, als die ägyptischen Bilder, angehören.[9] Aus solcher Uebereinstimmung dürfen wir aber keine Schlüsse von einer etwaigen kaukasischen Herkunft der Schardana ziehen, wie es unlängst *H. R. Hall* getan hat.[10] Dieser Stamm gehört bekanntlich zur alteingesessenen Bevölkerung der Insel.[11] Dazu lässt sich eine gewisse Vorliebe für die mit Hörnern versehene Kopfbedeckung damals nicht nur auf Sardinien und im Kaukasus, sondern auch auf griechischem Festlande nachweisen. Ich erinnere an die mykenischen Helme mit Eberzahnschmuck, der gewissermassen die Rolle der Hörner vertritt. Sie sind auf der sog. Kriegervase aus *Mykenai*

---

[8]) Vgl. hierzu die von Tallgren, Ipek V, '30, 48 ff., 7 Tf., veröffentlichten Bronzen. Nur wenige von ihnen tragen einen schmalen Gürtel (Tf. IV, 1 & 4) als einzigen Körperschmuck.

[9]) Siehe zuletzt Fr. W. von Bissing, Römische Mitteilungen XLIII, '28, 19 ff.

[10]) Klio, XXII, '28, 335 ff.

[11]) Fr. W. von Bissing, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes XXXIV, '28, 230 ff.

aus dem Ende des XIII. Jhd. v. Chr. dargestellt.[12] Solche Eberzähne wurden tatsächlich in Theben im Jahre 1910 von *Kerampoullos* gefunden.[13] Es darf daher angenommen werden, daß der behörnte Kopfschutz am Ausgange des II. Jhd. v. Chr. im ganzen Mittelmeerbereiche und darüber hinaus bis nach Transkaukasien verbreitet war. In Kleinasien und Syrien, die hier hauptsächlich in Frage kommen, ist er allerdings unbelegt. Doch ist es immer möglich, daß er durch neue Funde nachgewiesen wird. Nach Syrien konnten schliesslich die Hörnerhelme durch die dort im ägyptischen Söldnerdienste weilenden Schardana eingeführt werden. Ob sie als Kopfbedeckung der einheimischen syrischen Götter verwendet wurden, blebt allerdings eine offene Frage. In dieser Beziehung lassen sich bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse keine Verbindungsfäden zwischen der Kleinplastik von Kaukasus und Syrien ziehen.

Dagegen ist eine andere Art der Kopftracht, der Spitzhelm, welche von den kaukasischen Bronzeidolen getragen wird, auf syrischem Boden durch zahlreiche Fundstücke vertreten. Als Beispiel bilde ich hier vor allem eine phoinikische Figur unbekannter Herkunft ab (H. 15,5 *cm*); ihre Photographie verdanke ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen von Prof. K. A. Neugebauer, Direktor der Bronzen-Abteilung des Antiquariums in Berlin. Sie wurde dort gegen 1896 von *Rollin-Feuardent* vorgelegt, photographiert, aber schliesslich abgelehnt. Der heutige Verbleib dieses Stückes (Fig. 6) ist mir unbekannt. Es ist mit einer 19,7 *cm* hohen, schon seit längerer Zeit bekannten, Statuette aus *Tartûs*, die sich im *Louvre* (AO 1464) befindet,[14] verwandt (Fig. 9). Beide Figuren zeichnen sich insbesondere durch einem Helm mit hoher Spitze aus, der gleichfalls von einer anderen Plastik aus *Tartûs* im *Louvre* getragen wird (Fig. 10).[15] Als weitere Belege der syrischen Göttergestalten mit dieser Kopfbedeckung ist eine Bronze der ehem. *Sammlung Tyszkiewicz* zu nennen (H. 19, 6),[16] die im Gebiete von *Libanon* gefunden wurde, sowie der Oberkörper (H. 5 *cm*) einer Figur ebenfalls aus *Tartûs*, im Besitze von Prof. *René Dussaud*.[17] Bei der letzteren scheint die Spitze abgebrochen zu sein, so daß nur ein kurzes Stück über dem Helm übrig geblieben ist.

Gleichzeitig sind ähnliche Darstellungen weiter südlich, in *Palästina* bekannt. Das beweist die Bronzefigur mit hoher Spitze, die sich im *Staatlichen Museum* zu *Jeru-*

---

[12]) Bossert, Altkreta '23², Fig. 266.

[13]) Archäologischer Anzeiger XXVI, '10, 125. — Seine abschliessende Publikation über die Grabungen in Theben ist mir leider unzugänglich.

[14]) Ledrain, Notice sommaire des monuments phéniciens, No. 48; Helbig, Mémoires de l'Institut XXXV, 1896, 305, Fig. 9 & Jahreshefte des Oesterreichischen Archäologischen Instituts XII, '09, 28, Fig. 20; Maspéro, Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique II, 1897, 713; Contenau, Civilisation phénicienne '26, 184, Fig. 70, Manuel d'archéologie orientale I, '27, 202, Fig. 212 & Antiquités Orientales II, '30, Tf. 42c; Evans, Palace of Minos III, '30, 479, Fig. 335.

[15]) Ledrain, a. a. O., No. 47; Longpérier, Musée Napoléon III, Tf. XXI, 1; Perrot-Chipiez, Histoire de l'Art dans l'Antiquité III, 1885, 404 f., Fig. 277; Helbig, Mémoires etc., 304, Fig. 6 & Jahreshefte etc., 28, Fig. 18; Milani, Studi e materiali III, '05, 62, Fig. 363; Dussaud, Civilisations préhelléniques '14², 324, Fig. 234.

[16]) Froehner, Collection Tyszkiewicz 1898, 39, Tf. 8, No. 114; Helbig, Jahreshefte etc., 29, Fig. 21; Bates, American Journal of Archaeology XV, '11, 14, Fig. 6; Poulsen, Collection Ustinow, Videnskapsselskapets-Skrifter '20, II, No. 3, 7, Fig. 6; V. Müller, Frühe Plastik in Griechenland und Vorderasien '29, Tf. XLI, Fig. 399.

[17]) Revue Archéologique XXX, 1897, 332, Fig. 15.

salem befindet und von *A. Reifenberg*[18] fälschlich als hethitisch publiziert wurde. Sie verrät nämlich keine hethitischen Züge und ist ohne Zweifel als ein lokales Erzeugnis zu betrachten. Diese Statuette gehört übrigens zu den wenigen Denkmälern der vorderasiatischen Kleinplastik, die ihre Attribute bewahrt haben; ich erinnere vor allem an eine nordsyrische, dem Kunstkreise von Sendschirli-Karkemisch angehörige Bronze,[19] die mit einer Lanze bewaffnet ist. Dagegen trägt die palästinensische Figur ein Zepter. In beiden Fällen sind also die Attribute von denjenigen der kaukasischen Statuetten verschieden, wodurch die erwähnten syrischen Fundstücke, ihrem Händegestus nach, einen anderen Typus repräsentieren. Jedenfalls bleibt die Kopftracht aller soeben besprochenen Bronzen die gleiche und ist zudem auf den syrischen Siegelzylindern öfters anzutreffen.[20] Ob sie zur selben Zeit, abgesehen von Syrien[21] und Transkaukasien, in anderen Gebieten Vorderasiens, insbesondere in Anatolien, beheimatet war, können wir vorläufig nicht beantworten.

Die dritte Art der Kopfbedeckung, die den kaukasischen Bronzefiguren geläufig ist, läßt sich ebenfalls im nordsyrisch-anatolischen Grenzgebiete nachweisen. Wir haben sie vorher schlechtweg »Kammhelm« genannt, obwohl diese Bezeichnung nicht ganz zutreffend ist. Es ist vielmehr eine weiche Mütze, mit der späteren sog. phrygischen verwandt. Sie ist in Kleinasien schon im Ende des III. Jht. v. Chr. bekannt, wie dies die Abrollung eines Siegelzylinders auf »kappadokischer« Tontafel (Louvre, AO 7157) bezeugt.[22] In viel späterer Zeit tritt diese Kopftracht auf einer im J. 1883 von *Marmier* in *Mar'asch* erworbenen Bronzefigur (H. 10,9 *cm*; Fig. 11) im Louvre (AO 1532)[23] entgegen, worauf bereits *A. A. Zacharov* aufmerksam gemacht hat. Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen von Prof. René Dussaud habe ich hier die Möglichkeit dieses Stück, sowie auch die vorher behandelte Bronze (Fig. 10) erstmalig photographisch abzubilden. Leider ist aber diese Statuette ein Einzelfund ohne jeder Provenienzangabe, der zudem keine Beziehungen zur monumentalen Kunst von Mar'asch aufweist[24] und in der Bronzeplastik Nordsyriens einstweilen einen besonderen Platz einnimmt. *Prof. Valentin Müller*[25] hat auf ihre Verwandschaft mit der hethitischen Kunst hingewiesen. Dies steht mit der kleinasiatischen Form der Kopftracht in vollem Einklang. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß diese Figur einer innerana-

---

18) Palästinensische Kleinkunst (Bibliothek für Kunst und Antiquitäten-Sammler, Bd. 31), '27, 87 f., Fig. 112.

19) Weber, Die Kunst der Hethiter '21, Fig. 30.

20) Z. B. Contenau, Glyptique syro-hittite '22, Fig. 152, 156 & 159.

21) Thomsen, Reallexikon der Vorgeschichte X, '25, 297 erwähnt sie allerdings nicht unter den dort auftretenden Helmformen. Ueber verschiedene Helmformen in Kleinasien, Nordsyrien und bei den sog. Seevölkern vgl. die Beobachtungen von M. A. Charuzin, Сборник Московского Общества по изследованию памятников древности имени А. И. Успенского при Московском Археологическом Институте, II, 1917, 137—145, 7 Fig.

22) Contenau, a. a. O., Tf. VIII, Fig. 31.

23) Perrot, Gazette Archéologique IX, 1884, 77 ff., Tf. 11 B; Perrot-Chipiez, a. a. O., 447, Fig. 319 f.; Milani, a. a. O., Fig. 360; Lichtenberg, Mitteilungen Vorderasiatischer Gesellschaft XVI, 2, '11, 68, Fig. 39; vgl. noch Chantre, Mission en Cappadoce 1898, 148, Helbig, Jahreshefte etc., 29[18] & V. Müller, a. a. O., 105.

24) Sie wird in meiner in Vorbereitung befindlichen Arbeit: Recherches d'archéologie hittite I. Les monuments de Mar'ash, zusammenfassend behandelt.

25) A. a. O., 104 ff.

tolischen Werkstätte entstammt und in die Umgegend von Mar'asch als Importstück gelangte. Doch wenn auch die Frage ihrer engeren Heimat einstweilen unentschieden ist, so bleibt doch unzweifelhaft, daß diese Kopfbedeckung zur Erklärung der kaukasischen Bronzen heranzuziehen ist. Ich möchte diese Statuette provisorisch, mit allem Vorbehalt, mit Rücksicht auf die angeführten Umstände, ins Ende des XIII. Jhd. v. Chr. setzen, also ungefähr in die gleiche Zeit, der die kaukasischen Stücke angehören.

Wir haben somit einige Formen der Kopftracht festgestellt, welche die kaukasischen und die syrischen bzw. die anatolischen Denkmäler gemeinsam haben. Wegen der dürftigen Ausstattung der kaukasischen Figuren lassen sich bei ihnen keine weiteren vorderasiatischen Kulturelemente nachweisen. Diejenigen aber, welche vorhanden sind, bilden, wie schon vorausbemerkt wurde, ein wichtiges Bindeglied zwischen der Kleinplastik beider Gebiete, d. h. von Kaukasus und Syrien. Außerdem lassen sich in den kaukasischen Statuetten mancherlei stilistische Züge wiederfinden, welche der syrischen Bronzekunst nicht unbekannt sind und von einer künstlerischen Abhängigkeit des transkaukasischen Hochlandes vom Südwesten Kunde geben.

Der engbegrenzten Gruppe der kaukasischen Figuren, zu der diejenigen von Słonim und Kruhowicze gehören, bleibt eine Sonderstellung unter den dortigen Plastiken vorbehalten. Wir wollen jedoch von jedem Eingehen auf ihre Beziehungen zur Gesamtheit der kaukasischen Kleinbronzen absehen. Eine zusammenfassende Übersicht dieses Zweiges der vorgeschichtlichen Kunst von Kaukasus zu geben, die verschiedenen, zumeist gelegentlichen Fundstücke in ein festes chronologisches Gerüst einzuordnen und den Entwicklungsgang des Ganzen mehr oder weniger lückenlos zu verfolgen, ist einstweilen noch unmöglich. Dies kann erst in absehbarer Zeit geschehen, wenn das Material sicherer Provenienz bedeutend vermehrt und besser publiziert vorliegen wird. Die Mannigfaltigkeit der bisher bekannten Bronzen belehrt uns aber, daß im Kaukasus, ähnlich wie in den angrenzenden Ländern von Nordmesopotamien, Syrien und Kleinasien, zahlreiche lokale Werkstätten tätig waren, die für verschiedene Absatzkreise arbeiteten, wodurch die Erzeugnisse öfters bedeutende Unterschiede voneinander aufweisen. Einer solchen, vermutlich in Transkaukasien sich befindenden Werkstatt, die, wie bereits bemerkt (S. 2), in der Behandlung der menschlichen Gestalt, sowohl in stilistischer, wie in technischer Hinsicht, ein gemeinsames Schema verfolgte, gehören unsere drei Bronzen (Fig. 1, 7, 8) an.

Schon beim ersten Anblick machen diese Statuetten einen ganz primitiven Eindruck, der sich bei näherem Studium der betreffenden Stücke steigert. Von den Gliedmaßen werden bloß die übermäßig großen und dicken Arme in der bewegten Haltung wiedergegeben. Die Beine sind dagegen in einen Block zusammengeschmolzen, sodaß ihre Umrisse nicht unterschieden werden können. Nur die Füße werden durch einen Vorsprung gekennzeichnet, aber auch hier vermißt man jede Angabe der Details. Daran gesellt sich völliger Mangel an Proportionen: der Unterkörper ist im Verhältnis zum Rumpf zu kurz, der ganzen Gestalt gegenüber der Kopf viel zu groß. Auch dort sind alle Einzelheiten nur ganz plump angegeben, insbesondere die große, hervortretende Nase, die in Hochrelief dargestellten Augen und das ziemlich lange Kinn. Ferner sind die Ohren und der Mund nicht angedeutet, geschweige denn die Brustwarzen und die Händefinger. Schließlich fehlt es dem Körper an jeglicher Rundlichkeit; dies zeigen nicht nur die Arme, die kantig behandelt sind, aber auch der Oberkörper, der un-

verhältnismäßig dünn gestaltet ist. Alles zeugt, mit einem Worte, von sehr bescheidener Begabung der Hersteller dieser Figuren und einem Mangel an Kunstsinn der Kreise, für welche sie bestimmt waren. Zu ihrer Rechtfertigung muß aber erwähnt werden, daß man unter den rundplastischen Erzeugnissen des Altkaukasus bisher nur wenige Beispiele kennt, welche den viel weiter fortgeschrittenen Bronzestatuetten des übrigen Vorderasien gleich wären.

Es ist deshalb verständlich, daß wir Analogien zu diesen kaukasischen Kleinbronzen nicht unter der hochentwickelten Bronzekunst Syriens und Anatoliens finden können. Bekanntlich gehen auch dort Werke, die eine hohe Kunstübung verraten, mit den viel primitiveren zusammen. Unter den letzteren sind auch Beziehungen, wenn auch sehr entfernte, zu der kaukasischen Plastik zu finden. So möchte ich eine syrische Bronze aus der Umgegend von *Aleppo* (H. 7,3 *cm*), die sich in *Lyon* im *Muséum d'Histoire Naturelle* (No. 1186)[26] befindet und die ich hier mit freundl. Erlaubnis von Herrn Direktor Gaillard abbilde (Fig. 12), anführen. Sie stellt einen Mann mit nacktem Oberkörper und dem bekannten Händegestus der syrischen Figuren dar. Er ist in ein langes bis zu den Füßen reichendes Gewand bekleidet, das durch einen breiten Gürtelsaum zusammengehalten wird. Die auseinander gestellten Füße treten stark hervor und ruhen auf einem platten Untergestell. Mit unseren kaukasischen Statuetten hat diese Figur die Behandlung der Hüften gemeinsam. Hie und da werden sie, obwohl es sich durchweg um männliche Figuren handelt, durch starkes Ausbuchten gekennzeichnet. Dies hat eine leichte Einziehung des Oberkörpers und der Beine zur Folge, was an der Bronze von Aleppo besonders deutlich hervotritt. So sind zwar in der technischen Ausführung und Behandlung mancher Einzelheiten dieser Statuette und der kaukasischen Bronzen bedeutende Unterschiede nicht zu verkennen, aber die Konturlinie des Körpers bleibt im Wesentlichen die gleiche. Wir sehen darin ein wichtiges gemeinsames Merkmal, das diese Kunstwerke miteinander verbindet. Leider steht aber das syrische Figürchen noch ziemlich vereinzelt da und wir können augenblicklich keine weiteren Denkmäler dieses Stils aus Syrien anführen. Den künftigen Forschungen bleibt es vorbehalten sie ans Licht zu bringen. Dann werden die stilistischen verwandten Züge der kaukasischen und syrischen Rundplastik noch viel markanter hervortreten. Jedenfalls steht es schon jetzt fest, daß die Analogien für die kaukasischen Bronzestatuetten u. a. in Syrien zu suchen sind. Die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, dem Kaukasus und Syrien, reichen doch in eine bedeutend frühere Zeit zurück, wie dies die Fundgegenstände von Byblos bewiesen haben.[27] Als Zwischenglied liegt Armenien, dessen vorgeschichtliche Verhältnisse, vor der Besiedlung des Landes durch die aus dem Westen im XI. Jhd. v. Chr. eingewanderten Chalder, noch ganz im Dunkel gehüllt sind. Daher bleibt dessen Anteil an der Herausbildung der vorderasiatischen Kunst des II. Jhd. v. Chr., insbesondere der Kleinplastik,[28] einstweilen noch ein großes Rätsel.

Unsere Ausführungen haben ergeben, daß eine bewußte Gruppe der kaukasischen Bronzeplastiken, die wir ungefähr um 1200 v. Chr. angesetzt und als Darstellungen

---

[26]) Chantre, a. a. O., 152, Fig. 120 Tf. & XXIV, 8; V. Müller, a. a. O., Tf. XLIII, Fig. 413.

[27]) Montet, Byblos et l'Egypte '28, 122, Tf. LXVI—LXIX, 132.

[28]) Einzig bekannt ist mir die Figur bei Olmstead, History of Assyria '23, Fig. 9 sowie die von Minns, Antiquaries Journal X, '30, Tf. III f. veröffentlichten Bronzen.

der lokalen Kriegs- bzw. Wettergötter gedeutet haben, eine Reihe charakteristischer Merkmale aufweist, die den gleichzeitigen Kleinbronzen Syriens und Anatoliens eigen sind. Dazu gehören der Händegestus, die geschwungene Waffe als Attribut der Gottheit, die verschiedenen Formen der Kopftracht und schließlich manche Züge der Körperbildung. Solche Zusammenhänge können aber, was wir schon im Laufe unserer Untersuchung nachdrüklich betont haben, nicht durch zufällige Konvergenz erklärt werden, sondern sind auf ziemlich gleichzeitiges Wirken der kaukasischen und vorderorientalischen Werkstätten zurückzuführen. Damit darf wohl die Behauptung mancher Forscher[29] widerlegt werden, welche diese Bronzen zumeist als moderne Fälschungen ansehen, ohne berücksichtigen zu wollen, daß sämtliche diese Figuren auf bestimmte altorientalische Vorbilder zurückgehen und mit der damaligen Kulturwelt in enger Verbindung stehen. Unzweideutige Ausgrabungsgegenstände, wie diejenigen aus *Sarykamysch*,[30] beweisen nicht zuletzt, daß diese Denkmälergruppe wirklich altertümlicher Herkunft sein muß, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß unter den in vielen russischen Museen auftauchenden Stücken moderne Nachahmungen der antiken Funde vorhanden sein können. Aber das erschüttert nicht den hier dargebrachten Beweis, daß die überwiegende Mehrzahl der Figuren, an deren Echtheit kein Zweifel unterliegt, der altorientalischen Welt angehöre.

Stefan Przeworski.

Warszawa, März 1931.

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN:

Tafl. XVIII. 1. Kaukasische Bronzefigur, Slg. H. Wilder, Warszawa. H. 7,7 *cm*. Aus Kruhowicze (Kr. Łuniniec, Wojew. Polesie). Nach Photographie.

2.—5. Kaukasische Bronzefiguren, Museum des Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wilno. H. 6,2 *cm*, 6,2 *cm*, 7,7 *cm*, 7,5 *cm*. Herkunft unbekannt. Nach Photographien von Prof. Dr. Włodzimierz Antoniewicz, Warszawa.

Tafl. XIX. 6. Phoinikische Bronzestatuette. Verbleib und Fundort unbekannt. H. 15,5 *cm*. Nach Photographie des Antiquariums, Berlin.

7. Kaukasische Bronzestatuette, Museum des Polskie Towarzystwo Krajoznawcze in Słonim. H. 7,7 *cm*. Fundort unbekannt. Nach Photographie.

8. Kaukasische Bronzestatuette, Museum des Polskie Towarzystwo Krajoznawcze in Słonim. H. 8,7 *cm*. Fundort unbekannt. Nach Photographie.

9. Phoinikische Bronzestatuette, Louvre AO 1464. Aus der Umgegend von Tartûs. H. 19,7 *cm*. Nach Photographie der Archives Photographiques, Paris.

10. Phoinikische Bronzestatuette, Louvre AO. Aus der Umgegend von Tartûs. H. 25,2 *cm*. Nach Photographie der Archives Photographiques, Paris.

11. Kleinasiatische oder nordsyrische Bronzestatuette, Louvre AO 1532. H. 10,9 *cm*. Aus Mar'asch, Nach Photographie der Archives Photographiques, Paris.

12. Nordsyrische Bronzestatuette, Lyon, Muséum d'Histoire Naturelle, No. 1186. H. 7,3 *cm*. Aus der Umgegend von Aleppo. Nach Photographie von Fl. Bourgade, Lyon.

---

29) Tallgren, Ipek V, '30, 51.

30) Bezsonov, a. a. O.

М. И. РОСТОВЦЕВЪ

(Къ шестидесятилѣтію его).

Осенью 1930 года исполнилось шестьдесятъ лѣтъ Михаилу Ивановичу Ростовцеву, завоевавшему себѣ своими учеными трудами всемірную извѣстность.

М. И. Ростовцевъ — докторъ классической филологіи Петроградскаго Университета и почетный докторъ университетовъ Оксфордскаго, Лейпцигскаго, Висконсинскаго.

Ростовцевъ — членъ American Academy of Art and Sciences (Бостонъ), а также Connecticut Academy of Art and Sciences (Нью-Хэйвенъ) и Archaeological Institute of America.

М. И. Ростовцевъ — одинъ изъ семи associés étrangers французской Académie des Inscriptions et Belles-Lettres; Ростовцевъ состоитъ также членомъ-корреспондентомъ ряда другихъ академій, а именно: Прусской, Британской, Норвежской, Польской, Болгарской, Accademia Pontificia. М. И. Ростовцевъ состоялъ (но не состоитъ) членомъ Россійской Академіи Наукъ.

Онъ былъ вплоть до закрытія членомъ Русскаго Археологическаго Общества, Археологической Комиссіи, не говоря о многихъ другихъ русскихъ ученыхъ обществахъ. Онъ замѣнилъ графиню Уварову, какъ почетный членъ Société des Antiquaires de France. Онъ почетный членъ Society of Hellenic Studies, Society of Roman Studies, Society of Antiquarians въ Англіи, American Historical Association, American Philosophical Association, American Philological Association въ Америкѣ.

Полный списокъ печатныхъ трудовъ Ростовцева составить весьма затруднительно по причинѣ многочисленности ихъ.

Михаилъ Ивановичъ Ростовцевъ родился въ Кіевѣ 28 октября (ст. ст.) 1870 года. По отцу, Ростовцевъ происходитъ изъ купеческой семьи, переселившейся нѣкогда въ Воронежъ изъ Ростова Великаго (откуда и семейное прозвище). Прадѣдъ Ростовцева былъ еще купцомъ; дѣдъ пошелъ уже по другой дорогѣ и сдѣлался директоромъ гимназіи въ Черниговѣ. Отецъ Ростовцева по образованію классическій филологъ, знатокъ Вергилія, одинъ изъ піонеровъ классическаго образованія въ Россіи. Онъ былъ также однимъ изъ сотрудниковъ Н. И. Пирогова въ бытность послѣдняго попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа. Отецъ Ростовцева сдѣлалъ видную карьеру по учебному вѣдомству. Онъ былъ директоромъ гимназіи въ Житомірѣ, затѣмъ послѣдовательно занималъ должности окружного инспектора и помощника попечителя учебнаго округа въ Кіевѣ и попечителя Оренбургскаго учебнаго округа.

Мать Ростовцева, рожденная Монахова, происходила изъ военной семьи. Отецъ ея, генералъ, женатъ былъ на балтійской нѣмкѣ, баронессѣ Николаи. Мать Ро-

стовцева была женщина необыкновенной широты образованія, знала нѣсколько языковъ, много переводила съ иностранныхъ языковъ. Кромѣ того, она была большой любительницей садоводства и пчеловодства. Въ Оренбургѣ ею было основано отдѣленіе Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства, которое много сдѣлало для экономическаго подъема края.

М. И. Ростовцевъ получилъ среднее образованіе въ Кіевѣ, окончивъ гимназію въ 1888 г., затѣмъ поступилъ на историко-филологическій факультетъ Кіевскаго же Университета, гдѣ пробылъ два года.

Интересы Ростовцева — начинающаго студента — двоились между классической филологіей и русской исторіей. Къ послѣдней его притягивали лекціи Антоновича. По классической филологіи его учителями въ Кіевѣ были Сонни, Лепсіусъ, Ю. Кулаковскій, которыхъ Михаилъ Ивановичъ впослѣдствіи характеризовалъ, какъ „приличныхъ, но тусклыхъ ученыхъ“. Когда отецъ Михаила Ивановича былъ назначенъ попечителемъ Оренбургскаго учебнаго округа и долженъ былъ изъ Кіева уѣхать, Михаилъ Ивановичъ также покинулъ Кіевъ, переведясь въ С.-Петербургскій Университетъ, гдѣ и прослушалъ третій и четвертый курсы. Въ С.-Петербургѣ Михаилъ Ивановичъ занялся уже почти всецѣло классической филологіей. Учителями его были: Ѳ. Ф. Зѣлинскій, И. В. Помяловскій, В. К. Ернштедтъ, Ѳ. Ѳ. Соколовъ, П. В. Никитинъ. Тогда же онъ началъ работать и по археологіи. Одинъ курсъ онъ прослушалъ въ это время у Н. П. Кондакова.

На университетской скамьѣ М. И. Ростовцевъ сблизился съ С. А. Жебелевымъ и Я. И. Смирновымъ; къ этому тріумвирату позже присоединился и Б. В. Фармаковскій. Это былъ кружокъ извѣстный подъ названіемъ „фактопоклонниковъ“, находившихся подъ замѣтнымъ вліяніемъ Н. П. Кондакова, на „чаяхъ“ у котораго Ростовцевъ съ друзьями были затѣмъ обычными посѣтителями.

Работа этого кружка связана была съ Музеемъ Древности при СПб. Университетѣ (основанъ Ѳ. Ѳ. Соколовымъ), а затѣмъ съ Археологическимъ Обществомъ.

Университетъ М. И. Ростовцевъ окончилъ въ 1892 году и разумѣется уже съ рѣшеніемъ всецѣло посвятить себя научной дѣятельности. Въ послѣдовавшей ученой подготовкѣ Михаила Ивановича видную роль сыграли заграничныя поѣздки. Въ первый разъ Ростовцевъ поѣхалъ въ Италію на свои собственныя средства. Занимался тогда главнымъ образомъ Помпеями. Вслѣдъ затѣмъ Ростовцевъ получилъ длительную ученую командировку за границу; въ этой командировкѣ онъ пробылъ три съ половиной года (1895—1898 гг.). Поѣздку свою Ростовцевъ началъ съ Константинополя, затѣмъ былъ въ Аѳинахъ и на нѣсколькихъ островахъ Архипелага (вмѣстѣ со Смирновымъ, Фармаковскимъ и художникомъ Браиловскимъ). Осенью 1895 г. Ростовцевъ былъ опять въ Италіи, гдѣ работалъ въ связи съ Германскимъ Археологическимъ Институтомъ въ Римѣ и сблизился съ нѣкоторыми нѣмецкими учеными, между проч. съ Wilamowitz-Moellendorf'омъ. Изъ Италіи Ростовцевъ проѣхалъ въ Вѣну. Въ Вѣнѣ много занимался эпиграфикой подъ руководствомъ Е. Бормана и классической археологіей у Отто Беннидорфа. За это время Ростовцевъ написалъ первую свою нѣмецкую статью для Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich. Изъ этой статьи впослѣдствіи выросла его магистерская диссертація. Тогда же онъ сталъ заниматься свинцовыми тессерами.

5 Oct. 1950
New Haven Conn.

M Rostovtzeff

Зимою 1895—1896 г. въ Вѣну пріѣхали по дорогѣ въ Испанію Н. П. Кондаковъ и художникъ Браиловскій. Ростовцевъ присоединился къ этой экспедиціи, которой руководилъ Н. П. Кондаковъ. Въ Испанію весной 1896 г. пріѣхалъ и Я. И. Смирновъ. Поѣздка по Испаніи дала Ростовцеву чрезвычайно много. Въ особенности вспоминаетъ онъ вліяніе Я. И. Смирнова, научившаго Ростовцева „смотрѣть" вещи и „видѣть" существенное въ нихъ.

Изъ Испаніи Михаилъ Ивановичъ проѣхалъ въ Парижъ, гдѣ много работалъ въ Cabinet des Médailles надъ каталогомъ свинцовыхъ тессеръ. Къ этому времени относится начало дружбы Ростовцева съ Maurice Prou (Ecole des Chartes) и нумизматомъ Бабелономъ (Ernest Babelon). Какъ разъ во время пребыванія Ростовцева въ Парижѣ въ Музей Лувра поступило предложеніе купить т. наз. „корону Тиссаферна". Михаилъ Ивановичъ сразу увидѣлъ въ ней поддѣлку и убѣдилъ въ этомъ Бабелона, несмотря на протестъ котораго корона была однако пріобрѣтена въ Лувръ. Получивъ въ 1897 г. въ подарокъ отъ матери нѣкоторую сумму денегъ въ добавленіе къ казенной стипендіи, Ростовцевъ ѣздилъ ненадолго изъ Парижа въ Италію и Сѣверную Африку — Тунисъ и Алжиръ.

Изъ Франціи Ростовцевъ проѣхалъ въ Англію, а затѣмъ вернулся въ Россію послѣ 3½ лѣтъ пребыванія за границей. Въ Германіи тогда не былъ, но съ нѣкоторыми нѣмецкими учеными онъ, какъ сказано было, познакомился во время своего пребыванія въ Италіи. Кромѣ того съ нѣкоторыми нѣмецкими учеными онъ завязалъ во время своей заграничной поѣздки письменныя сношенія. Otto Hirschfeld и Ulrich Wilcken первые изъ нѣмцевъ почувствовали въ Ростовцевѣ крупную ученую силу.

Когда Hirschfeld печаталъ 2-е изданіе своихъ Kaiserliche Verwaltungsbeamten (вышедшее въ 1905 г.), онъ, не зная еще лично Михаила Ивановича, просилъ его читать корректуры, о чемъ съ благодарностью упоминаетъ въ предисловіи. Послѣ этой длительной поѣздки за границу Ростовцевъ почти каждое лѣто предпринималъ поѣздки за границу съ ученой цѣлью, главнымъ образомъ въ Италію и въ Грецію. Одну изъ такихъ поѣздокъ, на этотъ разъ въ Малую Азію, слѣдующимъ образомъ описываетъ А. А. Васильевъ[1]: „Мы ѣздили съ Ростовцевымъ вдвоемъ въ Малую Азію лѣтомъ 1899 г. Это былъ второй годъ моей большой заграничной командировки. Я его проводилъ въ Константинополѣ въ Археологическомъ Институтѣ; весною ѣздилъ изъ Аѳинъ съ Дёрпфельдомъ по островамъ Эгейскаго моря и осенью и ранней зимою копалъ съ Фармаковскимъ въ тогда еще Турецкой Македоніи. Въ то время я исправлялъ корректуры моей магистерской диссертаціи „Византія и Арабы. Политическія отношенія Византіи и Арабовъ за время Аморійской династіи". И вотъ, послѣ защиты своей магистерской диссертаціи, Ростовцевъ лѣтомъ того года (1899) пріѣхалъ въ Константинополь сравнительно не надолго. Въ то время въ связи съ моей магистерской диссертаціей, гдѣ много мѣста отведено походу Ѳеофила на Аморій (Аморію) (см. особ. стр. 139—140), я мечталъ посѣтить развалины этой крѣпости въ Малой Азіи. Ростовцевъ собрался вмѣстѣ со мною, и мы около недѣли пробыли въ Малой Азіи. Маршрутъ былъ такой: изъ Скутари по желѣзной дорогѣ въ Эски-Шехеръ (Dorylaeum), оттуда по желѣзной дорогѣ

[1]) Въ письмѣ своемъ изъ Мадисона (Висконсинъ) отъ 7 февраля 1931 г. къ автору этого очерка.

въ Афіунъ-Кара-Хисаръ. Тамъ турецкій вали (губернаторъ) далъ намъ для охраны турецкаго коннаго жандарма, и мы съ Ростовцевымъ въ примитивной телѣгѣ (арбѣ) поѣхали къ развалинамъ Ассаръ, какъ жители теперь называютъ Аморійскія развалины. Ночевали въ деревнѣ на дворѣ въ телѣгахъ, и утромъ осмотрѣли развалины. Ростовцевъ вымѣрялъ остатки стѣнъ и башенъ, а я записывалъ. Особеннаго интереса развалины не представляли. Оттуда опять въ арбѣ черезъ турецко-греческія деревни, гдѣ видѣли нѣсколько малоинтересныхъ надписей, мы выѣхали на одну изъ станцій на линіи въ Конію, сѣли въ поѣздъ и опять черезъ Эски-Шехеръ вернулись въ Константинополь. Послѣ этого вскорѣ Ростовцевъ уѣхалъ черезъ Балканскій полуостровъ въ Европу; по крайней мѣрѣ, очень скоро я получилъ отъ него письмо изъ Софіи."

По возвращеніи изъ большой своей заграничной командировки, Михаилъ Ивановичъ началъ преподаваніе въ С.-Петербургскомъ Университетѣ (сперва въ качествѣ приватъ-доцента по каѳедрѣ классической филологіи) и на Высшихъ Женскихъ Курсахъ. Въ 1899 г. Ростовцевъ защитилъ диссертацію „Исторія государственнаго откупа въ Римской Имперіи" на степень магистра классической филологіи. Въ 1903 г. онъ защитилъ докторскую диссертацію на тему „Римскія свинцовыя тессеры", послѣ чего получилъ каѳедру въ С.-Петербургскомъ Университетѣ и на Высшихъ Женскихъ Курсахъ. Напряженная преподавательская и ученая дѣятельность Ростовцева въ С.-Петербургѣ продолжалась послѣ того непрерывно до 1918 года.

Съ большимъ увлеченіемъ Михаилъ Ивановичъ отдался также дѣлу археологическихъ разысканій и раскопокъ на югѣ Россіи, принявъ дѣятельнѣйшее участіе въ работахъ Русскаго Археологическаго Общества.

Изъ слушателей Ростовцева какъ по Университету, такъ и по Высшимъ Женскимъ Курсамъ создалось много самостоятельныхъ ученыхъ.

Въ числѣ первыхъ учениковъ Ростовцева были: И. И. Толстой (младшій), Хилинскій (нынѣ проф. древней исторіи во Львовѣ), Сувальскій — много обѣщавшій студентъ (еврей), умершій въ тюрьмѣ; далѣе, къ ученикамъ Ростовцева принадлежатъ Вольдемаръ (нынѣ Вольдемарасъ, извѣстный литовскій политическій дѣятель), археологъ Гриневичъ (убитъ на войнѣ), Лукьяновъ, Боровка (нынѣ директоръ Эрмитажа), Сергіевскій (нынѣ хранитель Музея въ Сараевѣ).

Ученицами Ростовцева по Высшимъ Женскимъ Курсамъ являются между прочими С. И. Протасова, Ернштедтъ (дочь проф. Ернштедта), М. И. Максимова.

Помимо академическихъ интересовъ, у Михаила Ивановича всегда были живые интересы въ области общественной жизни и публицистики.

Михаилъ Ивановичъ принималъ участіе въ разнаго рода общественныхъ организаціяхъ еще до 1905 г., а послѣ 1905 года сдѣлался членомъ „к.-д." партіи. Сотрудничалъ Ростовцевъ и въ нѣсколькихъ „толстыхъ" журналахъ, какъ то: „Міръ Божій" (до того, какъ этотъ журналъ сталъ опредѣленно соціалистическомъ), „Вѣстникъ Европы", „Русская Мысль". Въ первоначальной редакціи „Міра Божьяго", — гдѣ принимали близкое участіе А. А. Давыдова (издательница журнала), П. Н. Милюковъ, Ф. Д. Батюшковъ, — Ростовцевъ былъ свой человѣкъ. Тамъ же Михаилъ Ивановичъ встрѣтился съ Софьей Михайловной Кульчицкой, съ которой и вступилъ въ бракъ 5 августа 1901 года.

Софія Михайловна происходитъ изъ извѣстной польской семьи. Предокъ ея, Ф. Г. Кульчицкій, сыгралъ видную роль въ спасеніи Вѣны отъ турокъ въ 1683 г. Кульчицкому удалось пробраться въ осажденный городъ съ вѣстью о томъ, что польскій король Янъ Собѣсскій идетъ на выручку. Эта вѣсть укрѣпила настроеніе осажденныхъ, рѣшившихъ держаться во что бы то ни стало до прихода помощи. Въ награду Кульчицкій получилъ монополію по продажѣ кофе, большая партія котораго была тогда захвачена въ турецкомъ обозѣ. Послѣ этого онъ открылъ первое въ Вѣнѣ кафе, помѣщавшееся на улицѣ, которая до сихъ поръ называется „переулкомъ Кульчицкаго" (Kolschitzky-Gasse).

Послѣ женитьбы Михаила Ивановича и Софіи Михайловны домъ ихъ сталъ однимъ изъ видныхъ центровъ въ жизни ученаго и литературнаго С.-Петербурга. На „вторникахъ" у Ростовцевыхъ бывали ученые, писатели, артисты. Всегдашнимъ посѣтителемъ бывалъ и Н. П. Кондаковъ.

Софія Михайловна сдѣлалась постоянною спутницею Михаила Ивановича и въ его ученыхъ поѣздкахъ за границу. Въ 1912 году Ростовцевы ѣздили въ Грецію, гдѣ Михаилъ Ивановичъ принималъ участіе въ Международномъ Археологическомъ Конгрессѣ вмѣстѣ съ А. А. Васильевымъ. Въ этой поѣздкѣ участвовали также Ф. И. Щербатскій, Котляревская, С. И. Протасова. Изъ Аѳинъ (гдѣ происходилъ конгрессъ) ѣздили въ Ѳессалію.

Грянула война 1914 года. Ростовцевъ принималъ большое участіе въ организаціи помощи жертвамъ войны. Онъ занялся устройствомъ денежныхъ сборовъ въ пользу раненыхъ и увѣчныхъ воиновъ, бѣженцевъ, въ томъ числѣ поляковъ и армянъ. Послѣдній такой сборъ производился Михаиломъ Ивановичемъ незадолго до Октябрьскаго переворота.

Въ революціи Ростовцевъ активнаго участія не принималъ, на митингахъ не выступалъ. Ростовцевъ отказался отъ участія во Временномъ Правительствѣ; послѣ большевицкаго переворота ему косвенно предложено было принять участіе въ работѣ Совѣтскаго Правительства. Онъ также отказался.

Въ 1918 г. Михаилъ Ивановичъ уѣхалъ изъ Россіи, чтó ему удалось сдѣлать исключительно благодаря помощи покойнаго Оскара Монтеліуса.

Два года Ростовцевъ провелъ въ Англіи, въ Оксфордѣ, по мѣрѣ возможности продолжая свою научную работу, но не имѣя однако опредѣленнаго положенія. Онъ принималъ въ это время дѣятельное участіе въ политикѣ, ведя пропаганду противъ Коммунистическаго Правительства и стараясь помогать Бѣлому движенію. Ростовцевъ былъ основателемъ Russian Liberation Committee въ Лондонѣ, вмѣстѣ съ А. В. Тырковой-Вильямсъ, Гар. Вильямсомъ и П. Н. Милюковымъ. Написалъ по-англійски брошюру о „Пролетарской Культурѣ" (Proletarian Culture). По приглашенію Французскаго Правительства Михаилъ Ивановичъ объѣхалъ вмѣстѣ съ проф. Патуйэ рядъ университетовъ южной Франціи, читая лекціи о современномъ положеніи въ Россіи.

Въ 1920 г. Ростовцевъ получилъ приглашеніе Висконсинскаго университета (Мадисонъ, Виск.) въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ и занялъ каѳедру древней исторіи Тамъ онъ пробылъ профессоромъ до 1925 г., когда перешелъ въ Іэйльскій Университетъ (Yale University), профессоромъ котораго состоитъ и въ настоящее время.

Съ 1927 года Ростовцевъ взялъ на себя наблюденіе за раскопками въ Дурѣ

на Евфратѣ. Раскопки эти начаты были французской академіей еще въ 1925 г. Съ 1927 года раскопки ведутся совмѣстно Іэйльскимъ Университетомъ и Французской Академіей, на средства Іэйльскаго Университета.

Научная работа Ростовцева съ самаго ея начала шла одновременно въ нѣсколькихъ областяхъ. По основной школьной подготовкѣ Ростовцевъ — классическій филологъ. Но интересы его не ограничились чистой филологіей. Самъ себя онъ въ дальнѣйшемъ сдѣлалъ еще историкомъ и археологомъ.

Въ области исторіи и археологіи Ростовцевъ работаетъ также по нѣсколькимъ линіямъ. Одинъ кругъ вопросовъ, который всегда его глубоко интересовалъ — это соціально-экономическая исторія Древняго міра, а въ особенности — эллинизма и Рима. Другой кругъ вопросовъ — исторія и археологія юга Россіи. Въ блестящей плеядѣ русскихъ ученыхъ, занявшихся изслѣдованіемъ юга Россіи, ярко горитъ звѣзда Ростовцева. Связующимъ звеномъ явился для Ростовцева интересъ къ иранскому міру вообще и вліянію иранской культуры на эллино-римскую цивилизацію. Параллелей и вліяній искусства и археологіи иранскаго міра Ростовцевъ ищетъ также и въ Индіи и въ Китаѣ.

Матеріалъ, доставляемый раскопками въ Дурѣ, на Евфратѣ, имѣетъ исключительный интересъ для Ростовцева, т. к. проливаетъ новый свѣтъ на культуру парѳянскую, соотвѣтствующую сарматской культурѣ юга Россіи. Михаилъ Ивановичъ подходитъ здѣсь какъ бы къ основному узлу нитей въ исторіи иранской культуры.

Пожелаемъ же Михаилу Ивановичу еще долгихъ лѣтъ плодотворной работы и дальнѣйшихъ находокъ въ области парѳянскихъ древностей.

Г. Вернадскій.

14 (1) Января 1931 г.
New Haven, Conn.

СПИСОКЪ ТРУДОВЪ М. И. РОСТОВЦЕВА

(МАТЕРІАЛЫ)

BIBLIOGRAPHIE DE M. I. ROSTOVTZEFF

1894

О новѣйшихъ раскопкахъ въ Помпеѣ.
ЖМНП ч. 291, 45—64; 65—101.

1895

Новое о Пантеонѣ (исторія и архитектура).
ЖМНП ч. 298, отд. V, 1—11.

1896

Двѣ метрическія надписи изъ Филиппополя.
ЖМНП ч. 305, отд. V, 63—68; 139—142.

Anabolicum.
Mitt. Deutsch. Arch. Inst. Röm. Abt., 11, 317—321.

Eine neue Inschrift aus Halikarnass.
Arch.-Ep. Mitt. 19, 127—141.

1897

Tablifer.
Commentationes philologicae. (Сборникъ въ честь И. В. Помяловскаго).

Étude sur les plombs antiques.
Revue Numism. 4me serie, 1, 462—493.

Das Patrimonium und die Ratio Thesaurorum.
Mitt. D. Arch. Inst. Röm. Abt. 13, 108—123.

1898

Étude sur les plombs antiques (suite).
Revue Numism. 4me série, 2, 77—102; 251—286; 457—477.

Fragment d'un relief représentant l'intérieur d'un amphithéâtre.
Mélanges d'arch. et d'hist. (École franç. de Rome), 18, 199—205

1899

Étude sur les plombs antiques (suite et fin).
Revue Num. 4me série, 3, 22—61.

Catalogue des plombs antiques de la Bibliothèque Nationale (M. Rostovtseff. M. Prou).
Revue Num. 4me série, 3, 199—219; 278—337; 417—460.

Исторія государственнаго откупа въ Римской Имперіи. (Отъ Августа до Діоклетіана). Спб. 8°, стр. XIV + 304.
Записки Ист.-Фил. Фак. Спб. Унив., 51.

Надписи изъ Македоніи.
Изв. Р. Арх. Инст. въ Константинополѣ, 4, 166—188.

(Ред.) Б. Низе. Очеркъ Римской исторіи и источниковѣдѣнія. Переводъ съ нѣмецкаго слушательницъ В.Ж.К. подъ ред. Ѳ. Ф. Зѣлинскаго и М. И. Ростовцева. Спб. 1899.

1900

Римскіе гарнизоны на Таврическомъ полуостровѣ.
ЖМНП. ч. 328, отд. V, 140—158.

Новыя данныя по исторіи финансоваго управленія греко-римскаго Египта. (По поводу книги Wilcken'a Die griechischen Ostraka aus Aegypten und Nubien).
ЖМНП. ч. 328, отд. II, 133—165.

Памяти Александра Николаевича Щукарева. Некрологъ.
ЖМНП. ч. 332, отд. IV, 46—50.

Δωρεα Σιτου Ταρσω.
Numism. Chron., 20, 96—107.

Roma. Nuove Scoperte. [Piombi. Tessere]. (M. Rostovtsew. D. Vaglieri).
Notizie degli Scavi, 256—268.

Catalogue des plombs de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes conservés au Département des médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale, rédigé par M. Rostovtsew... M. Prou... précédé d'une étude sur les plombs antiques par M. Rostovtsew.
Paris. Bibliothèque Nationale. Département des médailles et antiques.

1901

Свинцовыя тессеры.
ЖМНП. ч. 335, отд. V, 80—89.

Мученики греческой цивилизаціи.
Міръ Божій.

Congiarium.
RE, 4, 875—880.

Der Ursprung des Colonats.
Klio, 1, 295—299.

1902

(Рец.) Э. Гриммъ, Изслѣдованія по исторіи развитія римской императорской власти. Т. II, Римская императорская власть отъ Гальбы до Марка Аврелія. СПБ. 1901.
ЖМНП. ч. 341, отд. II, 148—172.

Römische Besatzungen in der Krim und das Kastell Charax.
Klio, 2, 80—95.

1903

Римскія свинцовыя тессеры. СПБ., 8°, стр. VIII + 332, 5 табл.
Записки Ист.-Фил. Фак. Спб. Унив., ч. 67.

Tesserarum urbis Romae et suburbis plumbearum sylloge. S-Pb.

А. О. Энманъ (некрологъ).
ЖМНП. ч. 350, отд. IV, 84—87.

1904

Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit. (Von Augustus bis Diocletian.)
Philologus, Suppl. 9, 329—512.

Pompeianische Landschaften und römischen Villen.
Jahrb. d. D. Arch. Inst. 19, 103—126.

Древнія костяныя шашки съ юга Россіи.
ИАК, 10, 109—124.

1905

Römische Bleitesserae: ein Beitrag zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit.
Klio, 3. Beiheft.

Tesserarum urbis Romae et suburbis plumbearum sylloge. Suppl.

Die Domänenpolizei in d. röm. Kaiserreiche.
Philologus, 64, 297—307.

Отрывки новой эпитомы Ливія.
ЖМНП. ч. 357, отд. V, 66—72.

1906

Керченская декоративная живопись и ближайшая задача археологическаго изслѣдованія Керчи.
ЖМНП. ч. 3, отд. V, 211—231.

Angariae.
Klio, 6, 249—258.

Kornerhebung und Transport im Griechisch-Römischen Aegypten.
Arch. f. Pap. 3, 201—224.

1907

Новыя латинскія надписи изъ Херсонеса.
ИАК, 23, 1—20.

Миѳридатъ Понтійскій и Ольвія.
ИАК, 23, 21—27.

В. И. Модестовъ. (Некрологъ)
ЖМНП. ч. 10, отд. IV, 72—82.

(Рец.) Михаилъ Хвостовъ. Изслѣдованія по исторіи обмѣна въ эпоху эллинистическихъ монархій и римской имперіи. I. Исторія восточной торговли греко-римскаго Египта. Казань 1907.
ЖМНП. ч. 11, отд. II, 382—413.

Nachtrag zu Angariae (Klio) VI, S. 257, Anm 5.
Klio, 7, 142.

1908

Фрагментъ римскаго легіоннаго знамени.
ЖМНП. ч. 14, отд. V, 129—136.

Новыя латинскія надписи съ юга Россіи.
ИАК. 27, 55—67.

Международный историческій съѣздъ въ Берлинѣ.
ЖМНП. ч. 17, отд. IV, 25—36.

Zur Geschichte des Ost- und Südhandels im ptolemäischen Ägypten.
Arch. f. Pap. 4, 298—315.

1909

Fiscus.
R. E. 6, 2385—2403.

Новыя латинскія надписи съ юга Россіи.
ИАК, 33, 1—22.

Августъ Мау. (Некрологъ.)
ЖМНП. ч. 21, отд. IV, 30—34.

1910

Studien zur Geschichte des römischen Kolonates.
Arch. f. Pap., 1. Beiheft.

Эпиграмма изъ Эль-Тегеня. (В. В. Шкорпилъ и М. И. Ростовцевъ.)
ИАК, 37, 14—22.

1911

Die hellenistisch-römische Architekturlandschaft.
Mitt. d. Arch. Inst. Rom. Abt.. 26, 1—186.

Ein Speculator auf die Reise. Ein Geschäftsmann bei der Abrechnung. (Zwei Reliefs aus dem Museum zu Belgrad).
Ibid., 267—283.

Definitio und Defensio.
Klio, 11, 387—388.

Святилище Ѳракійскихъ боговъ и надписи бенефиціаріевъ въ Ай-Тодорѣ.
ИАК, 40, 1—42.

По музеямъ южно-славянскихъ столицъ.
ЖМНП. ч. 33, отд. Соврем. Лѣт. стр. 35—46.

1912

Frumentum.
RE, 7, 126—187.

Третій международный археологическій конгрессъ въ Римѣ.
ЖМНП. ч. 42, отд. Современной Лѣтописи, стр. 105—111.

1913

Представленіе о монархической власти въ Скиѳіи и на Боспорѣ.
ИАК, 49, 1—62; дополн. 133—140.

(Рец.) Ellis H. Minns. Scythians and Greeks. Cambridge 1913.
ЖМНП. ч. 48, Крит. и библ., стр. 173—194.

1914

Античная декоративная живопись на югѣ Россіи.
Т. I и атласъ 112 таблицъ. СПБ. Изданіе Имп. Археол. комиссіи.

Воронежскій Серебряный Сосудъ.
МАР, 34, 79—93.

Стеклянныя расписныя вазы поздне-эллинистическаго времени и исторія декоративной живописи.
ИАК 54, 1—26; дополн. ibid. 119—120.

Бронзовый бюстъ Боспорской Царицы и Исторія Боспора въ эпоху Августа.
Древности, 25.

Страбонъ, какъ источникъ для исторіи Боспора.
Сборникъ Харьковск. Ист.-Фил. Общ. въ честь проф. В. П. Бузескула.

(Рец.) Михаилъ Хвостовъ. Очерки организаціи промышленности и торговли въ древнемъ Египтѣ. I. Текстильная промышленность въ греко-римскомъ Египтѣ. Казань.
ЖМНП. ч. 53, 348—369.

1915

Сирискъ — историкъ Херсонеса Таврическаго.
ЖМНП, ч. 56, отд. классической филологіи, стр. 151—170.

Военная оккупація Ольвіи Римлянами.
ИАК 58, 1—16.

Двѣ поздне-античныя расписныя гробницы изъ Костолаца (Viminacium) и Рѣка Девне (Marcianopolis).
ЗКОРАО IX.

1916

Defensio.
ЖМНП, ч. 61, отд. классической филологіи, стр. 1—5.

Дѣло о взиманіи проституціонной подати въ Херсонесѣ.
ИАК, 60, 63—69.

Къ вопросу о датировкѣ погребеній Куль-Обы, Чертомлыка и Солохи.
ИАК, 60, 70—72.
Къ исторіи Херсонеса въ эпоху ранней Римской Имперіи.
Сборн. гр. Уваровой, с. 5—16, Москва.

1917

Caesar and the South of Russia.
JRS, 7, 27—44.
Цезарь и Херсонесъ.
ИАК 63, 1—21.
Надпись на золотомъ сосудѣ изъ ст. Мигулинской.
ИАК 63, 106—108.
Мѣдь Динаміи и Аспурга.
Изв. Тавр. Уч. Арх. Ком. № 54.

1918

Эллинство и Иранство на югѣ Россіи.
Петроградъ, изд. „Огни".
Рожденіе Римской Имперіи.
1918.
Курганныя находки Оренбургской области эпохи ранняго и поздняго эллинизма.
МАР 37.
Бронзовыя фибулы съ надписями изъ Донской области.
ИАК 65, 22—24.
Ученыя фантазіи.
ИАК 65, 72—78.
Новая книга о Бѣломъ островѣ и Таврикѣ.
ИАК 65, 177—197.
Pontus, Bithynia and the Bosporus.
Ann. Brit. Sch. Athens, 22, 1—22.
Synteleia Tironon. Συντελεια Τιρωνων.
JRS 8, 26—33.

1919

Queen Dynamis of Bosporus.
JHS 39, 88—109.
Ancient Decorative Wallpainting.
JHS 39, 144—163.
"Proletarian Culture" in Bolshevist Russia.
Struggling Russia, 1, 459—462; 484—487.
Proletarian Culture.
The Russian Liberation Committee's Publications, 11.
Russia's Contribution to the World Science.
Struggling Russia, 1, 602—605.

1920

L'exploration archéologique de la Russie méridionale de 1912 à 1917.
Journal des Savants, 1920, 49—60; 109—122.
The Foundations of Social and Economic Life in Egypt in Hellenistic Times.
JEgArch., 6, 161—178.
L'âge du Cuivre dans le Caucase septentrional.
RA, 12, 1—37.
La Stele d'Untas Nap Gal.
Revue d'Assyriologie, 17, 113—116.
La Russie méridionale et le monde classique.
Revue Bleue, 58e Année, 225—230.
The Sumerian Treasure of Astrabad.
JEgArch., 6, 4—27.
Note on the Matres — or Nutrices — relief from Cirencester.
Archaeologia, 69, 204—209.
The Contribution of Russia to Learning.
The Quarterly Review, 463, 272—287.
Bolshevists as Educationalists.
The New Russia, 1, 364—367.
Bolshevism in Tunis and Algeria.
The New Russia, 2, 250—252.
Martyrs of Science in Soviet Russia.
The New Russia, 2, 275—278; 3, 113—115.
Should Scientists return to Russia? A Reply to Professor Bekhterev.
The New Russia, 2, 370—372.
Memorandum.
The New Russia, 3, 283—285.
Schools and Education in Bolshevist Russia.
Struggling Russia, 1, 672—675.
Why the Russian Intelligentsia is opposed to the Bolshevist Regime.
Struggling Russia, 1, 792—795.
The Worship of Success.
Struggling Russia, 1, 815—816.
The Present State of the Russian Universities.
Struggling Russia, 2, 172—174.

1921

Le Culte de la Grande Déesse dans la Russie méridionale.
REG, 32, 462—481.

South Russia in the Prehistoric and Classical Period.
American Historical Review, 26, 203—224.
Bolshevist Russia and Civilized Mankind.
The Journal of International Relations, 11, 517—528.
(Рец.) The Memoirs of Count Witte, translated from the original Russian and edited by A. Yarmolinsky (Garden City, N. Y., 1921).
The Forum, 65, 668—672.
(Рец.) The Russian Peasant and the Revolution. By M. G. Hindus (New York, 1920).
AHR 26, 364—365.
Происхожденіе Кіевской Руси.
Совр. Зап. III.
Международныя отношенія и международное право въ древнемъ мірѣ.
Совр. Зап. IV, 128—159.
Идея прогресса и ея историческое обоснованіе.
Совр. Зап. VI, 146—166.

1922

Iranians and Greeks in South Russia. Oxford Clarendon Press, 1922, Pp., 260 + XXXII pl.
A Large Estate in Egypt in the Third Century B. C.
University of Wisconsin Studies in the Social Sciences and History, 6.
Augustus.
University of Wisconsin Studies in Language and Literature, 15.
Les origines de la Russie Kiévienne.
RES, 2, 5—18.
Закатъ античной цивилизаціи.
Русская Мысль, VI, VII, VIII, XII.
Fiscus.
Dizionario Epigrafico di Autichita Romane di E. de Ruggiero, 3, 96—139.
Bronze Belt-Clasps and Pendants from the Northern Caucasus.
Bull. of the Metropolitan Museum of Art, 17, 36—40.
Amnesty.
Russian Life, 5, 170—172.
Russian Art and the Bolsheviks.
Russian Life 5, 174—176.
(Рец.) Russian Dissenters. By F. C. Conybeare (Cambridge, 1921).
AHR 27, 313—315.
Государство и личность въ хозяйственной жизни Птоломеевскаго Египта.
Совр. Зап. X, 257—290.
Новости археологической литературы въ Россіи.
Совр. Зап. XI, 397—402.

1923

Notes on the Economic Policy of the Pergamon Kings.
Anatolian Studies Presented to Sir William Ramsay, 359—389.
Commodus-Hercules in Britain.
JRS 13, 91—109.
Une tablette votive Thraco-Mithriaque du Louvre.
Memoires prés. par divers savants à l'Acad. d. Inscr. 13, 1—31.
Une trouvaille de l'époque greco-sarmate de Kertch au Louvre et au Musée de Saint-Germain.
Mon. Piot, 26, 1—67.
La crise sociale et politique de l'empire romain au III^{e} siècle.
Musée Belge, 27, 233—242.
(Рец.) Russia To-day and To-morrow, by Paul Miliukov.
Yale Review, 12, 425—428.
Политическій и соціальный кризисъ въ римской имперіи въ III в. по Р. X.
Совр. Зап. XVII, 281—312.

1924

Савроматъ II, царь Боспора.
Strena Buliciana, 731—732.
L'Art Chinois de l'Époque de Han.
Revue des Arts Asiatiques. Octobre, pp. 11—20.
L'Art Gréco-Sarmate et L'Art Chinois de l'époque des Han.
Arethuse, Avril, 1—14.
Augustus.
Mitt. d. d. Arch. Inst., Röm. Abt. 282—299.
The Museums of Petrograd.
Museum Work, 6, 159—161.

Очерки исторіи древняго міра. Востокъ. Греція. Римъ.
Изд-во „Слово“, Берлинъ, стр. 327.
Политическій и соціальный кризисъ въ Римской имперіи въ III в. по Р. Х.
Совр. Зап. XVIII, 173—205 (окончаніе).
Странички воспоминаній.
Никодимъ Павловичъ Кондаковъ. (Сборникъ.) Прага, стр. 23—29.

1925

Скиѳія и Боспоръ. Критическое обозрѣніе памятниковъ литературныхъ и археологическихъ. Стр. 621.
Изд. Россійск. Акад. Ист. Мат. Культ.
The origin of the Russian state on the Dniper.
Amer. Hist. Assoc. Annual Report... for the year 1920. Washington 1925.
Le gobelet d'argent du trésor de Boscoreale de la collection de M. le baron E. de Rotschild.
Mémoires, présentés par divers savants a l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 13.
Mystic Rome.
The Living Church, 73, 647—649.
(Рец.) The Roman Occupation of Britain... by F. Haverfield, now revised by George Macdonald. (Oxford, 1924).
AHR, 30, 337—339.

1926

The Social and economic history of the Roman Empire.
Oxford, Clarendon Press.
A History of the Ancient World. Translated from the Russian by J. D. Duff. Oxford, Clarendon Press.
Vol. 1: The Orient and Greece.
Сарматскія и индоскиѳскія древности.
Recueil-Kondakov, Prague, 239—258.
Les classes rurales et les classes citadines dans le Haut Empire Romain.
Mélanges d'histoire offertes à Henri Pirenne, 419—434.
Pax Augusta Claudiana.
JEgA, 12, 24—29.
Quelques monuments de l'Italie méridionale.
CR de l'Ac. des Inscr. p. 227—231.
The Problem of the Origin of Serfdom in the Roman Empire.
Journal of Land and Public Utility Economics, 2, 198—207.
(Рец.) East Christian Art. By O. M. Dalton. (Oxford and New York, 1926).
Art and Archaelogy, 21, 249—250.
(Рец.) Griechische und Griechisch-Demotische Ostraka der Universitäts und Landesbibliothek zu Strassburg im Elsasz. Hrsg. von Paul Viereck. Mit Beiträgen von Wilhelm Spiegelberg. Erster Band. Berlin 1923.
Gnomon, 2, 173—174.

1927

A History of the Ancient World.
Vol. 2: Rome.
Inlaid bronzes of the Han dynasty in the collection of C. T. Loo. Paris and Brussels, G. Van-Oest.
Mystic Italy. New York: H. Holt and Co. (Brown University. The Colver Lectures).
Statuette d'un cavalier de la Collection de Mme John D. Rockefeler.
Mon. Piot, 28, 1—20.
L'Art de l'Asie Centrale à l'Époque protohistorique.
L'Art Vivant, 15 Novembre 1927, 905—906.
Самниты.
Совр. Зап. XXX, 327—343.
Новое объ Августѣ.
Совр. Зап. XXXIII, 464—469.
(Рец.) Fouilles de Doura-Europos, 1922—1923. Par Franz Cumont. (Paris 1926.)
AHR, 32, 836—841.
(Рец.) Jerome Carcopino. Études Romaines. La Basilique Pythagoricienne de la Porte Majeure. L'Artisan du Livre (Paris, 1927).
Art and Archaeology, 23, 287.
(Рец.) Die Landwirtschaft im Hellenistischen Aegypten. Erster Band. Von Michael Schnebel. (Munich, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1925).
The Classical Weekly, 20, 190—191.
Богъ-Всадникъ на югѣ Россіи, въ Индо-Скиѳіи и въ Китаѣ.
Seminarium Kondakovianum, Recueil d'études, Prague t. I, 141—146.

1928

„Скиѳскій“ романъ.
Seminarium Kondakovianum, Recueil d'études, Prague t. II, 135—138.

Ptolemaic Egypt.
Cambr. Anc. Hist., Vol. 7, Chapt. 4, pp. 109—154.

Syria and the East.
Cambr. Anc. Hist., Vol. 7, Chapt. 5, pp. 155—196.

Greek Sightseers in Egypt.
JEgA, 14, 14—15.

Les Inscriptions de Doura-Europos (Salihiyeh).
CR AI 1928, 226—240.

Письма съ ближняго Востока.
Руль, 1928 г. № 2314 — 8 іюля; 2318 — 13 іюля; 2320 — 15 іюля; 2326 — 22 іюля.

(Рец.) Dacia: Recherches et Découvertes Archéologiques en Roumanie. Publiées sous la direction de Vasile Pârvan. I. 1924. II. 1925.
AHR, 33, 377—380.

(Рец.) Five Roman Emperors. By Bernard W. Henderson. (Cambridge and New York, 1927).
AHR, 33, 626—627.

1929

The Animal Style in South Russia and China; being the material of a course of lectures delivered in August 1925 at Princeton university under the auspices of the Harvard-Princeton Fine Arts club.
Princeton: Princeton University Press.
London: H. Milford, Oxford University Press.

Срединная Азія, Россія, Китай и Звѣриный стиль. — Le Centre de l'Asie, la Russie, la Chine et le style animal (на русскомъ и французскомъ языкахъ).
Σκυθικά I. Seminarium Kondakovianum, Prague, 1929, стр. 48 + XI табл.

Roman Exploitation of Egypt in the First Century A. D.
Journal of Economic and Business History, I, 337—364.

Перисад II Боспорский и Птоломей II Филадельф.
Сборник статей, посвященных П. Н. Милюкову, стр. 109—116.

О Ближнемъ Востокѣ. Караванные города Аравіи, Заіорданья и Сиріи.
Совр. Зап. XLI и XLII.

[Докладъ въ Археологическомъ обществѣ въ Берлинѣ]. Archäologische Gesellschaft zu Berlin, Sitzung am 2. Juli 1929. Archäologischer Anzeiger (Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts), 1929, 431—438.

(Ред.) The Excavations at Dura-Europos conducted by Yale University and the French Academy of Inscriptions and Letters. Preliminary Report of First Season of Work. Spring 1928. Edited by P.V.C. Baur and M. I. Rostovtzeff. New Haven: Yale University Press.

Greek and Latin Inscriptions.
The Excavations at Dura-Europos. pp. 30—60.

The Yale-French Excavations at Dura.
The Yale Scientific Magazine, 6, 17—20.

(Рец.) Frank Frost Abbot and Allan Chester Johnson: Municipal Administration in the Roman Empire. Princeton, 1926.
Gnomon, 5, 231—236.

[Предисловіе къ книгѣ] A History of Russia. By George Vernadsky (New Haven: Yale University Press).

1930

L'Empereur Tibère et le Culte Impérial.
RH, 163, 1—26.

The Decay ot Ancient World and its economic explanations.
The Economic History Review, 2, 197—214

The Bosporian Kingdom.
The Cambr. Anc. Hist., vol. 8, chapt. 18 (pp. 561—589).

Pergamum.
The Cambr. Anc. Hist., vol. 8, Chapt. 19 (pp. 590—618).

Rhodes, Delos and Hellenistic Commerce.
The Cambr. Anc. Hist., vol. 8, Chapt. 20 (pp. 610—667).

La Porte-Épée des Iraniens et des Chinois.
L'Art Byzantin chez les Slaves. Les Balkans. Premier Recueil dédié à la mémoire de Théodore Uspenskij (Orient et Byzance, IV), pp. 337—346.

South Russia and China. The Animal Style.
The Cleveland Museum of Art, March 7, 1930.

Un contrat de prêt de l'an 121 ap. J.-C. trouvé à Doura, par M. Rostovtzeff et C. Bradford Welles.
CR de l'Acad. des Inscr., 1930, p. 158.

О Ближнемъ Востокѣ. Караванные города Аравіи, Заіорданья и Сиріи (окончаніе).
Совр. Зап. XLIII и XLIV.

(Рец.) Carl Patsch, Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa. 3, 1; 4 (Wien und Leipzig, 1928—1929).
Gnomon, 6, 625—630.

(Рец.) Heichelheim, Fr., Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus. Beitr. hrsg. von A. Spiethoff, Heft 3 (G. Fischer, Jena, 1930).
Zeitschrift f. d. Gesamte Staatswissenschaft 89, 577—582.

1931

Skythien und Bosporus. (Berlin, Hans Schöts & Co, въ печати).

A Parchment Contract of Loan from Dura-Europos on the Euphrates, by M. I. Rostovtzeff and C. Bradford Welles.
Yale Classical Studies, 2.

(Рец). Greek Ostraka in the Bodleian Library at Oxford... (London 1930).
Gnomon, 7, 21—26.

Hadrian und Mark Aurel.
Menschen die Geschichte machten, 1, 184—191.

Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich. Leipzig, Quelle & Meyer, 2 Bd.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ БѢЛЯЕВЪ

23-го декабря 1930 года былъ убитъ въ Прагѣ грузовымъ автомобилемъ на тридцать второмъ году жизни членъ семинарія имени Н. П. Кондакова, Николай Михайловичъ Бѣляевъ. Есть что-то невыразимо горестное въ этой трагической кончинѣ: погибъ человѣкъ молодой, полный жизненныхъ силъ, погибъ ужасной, безсмысленной смертью. Это смерть, съ которой не мирится умъ, утрата, съ которой не свыкается сердце.

Многіе потеряли въ немъ друга. Наука потеряла въ немъ богато одареннаго дѣятеля. Семинарій имени Н. П. Кондакова, которому всецѣло и безраздѣльно отдалъ покойный послѣдніе годы своей жизни, лишился самоотверженнаго, неутомимаго и незамѣнимаго работника, талантливаго и знающаго ученаго.

Пересматриваешь его работы, перечитываешь воспоминанія о немъ его друзей, перебираешь въ памяти впечатлѣнія проведеннаго съ нимъ времени, — и возникаетъ образъ единственнаго въ своемъ родѣ человѣка и ученаго, и видишь передъ собой пройденный имъ жизненный путь, столь безмѣрно краткій срокомъ и столь богатый дѣломъ, столь разнообразный событіями и столь единый по своему внутреннему смыслу.

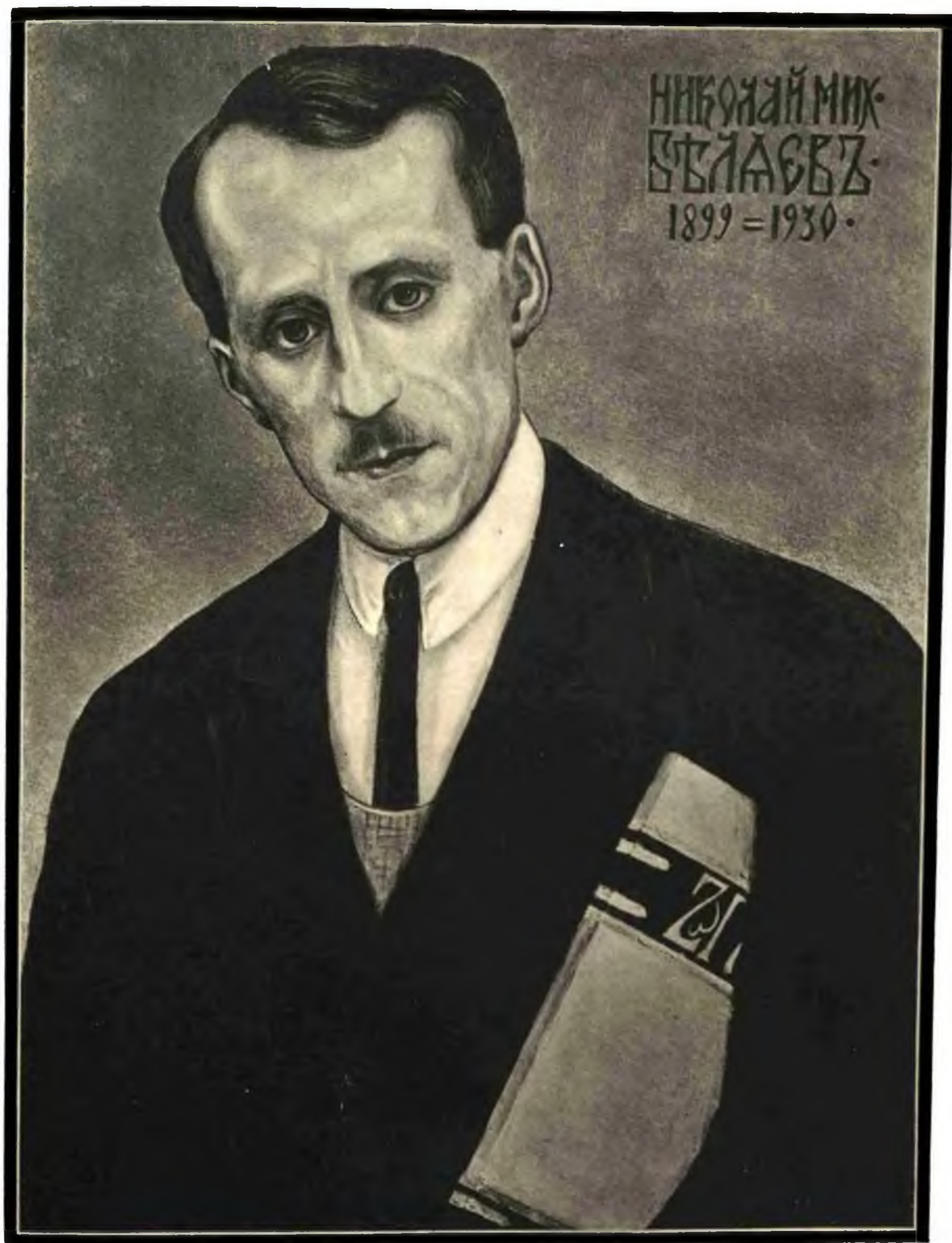
Родился Н. М. Бѣляевъ 11-го сентября 1899 г. въ Петербургѣ, принадлежалъ къ старому дворянскому роду, по семейнымъ преданіямъ происходящему отъ татарскаго мурзы Белая. Большинство предковъ Н. М. состояло на военной службѣ. Отецъ его былъ артиллерійскимъ генераломъ; онъ погибъ въ 1919 г. при крушеніи поѣзда въ Сибири, будучи инспекторомъ артиллеріи у Верховнаго Правителя адмирала Колчака. Семья, въ которой росъ Н. М., была многочисленна: Н. М. былъ старшимъ изъ братьевъ, но имѣлъ трехъ старшихъ сестеръ, всѣхъ же дѣтей у его родителей было восемь человѣкъ. Школьное образованіе Н. М. началъ въ гатчинскомъ реальномъ училищѣ, а въ 1913 г., въ связи съ переходомъ его отца изъ Гатчины на службу въ Петербургъ, поступилъ въ 5-ый классъ 2-го Петербургскаго реальнаго училища. Учился Н. М. очень хорошо, былъ всегда однимъ изъ лучшихъ учениковъ класса и, по свидѣтельству товарищей, выдѣлялся своею начитанностью и знаніями въ области литературы и исторіи. Влеченіе къ гуманитарнымъ наукамъ проявилось у него очень рано, къ точнымъ наукамъ онъ былъ равнодушенъ, но давались онѣ ему легко, и изъ класса въ классъ онъ переходилъ съ наградами. Еще до окончанія училища, рѣшивъ поступить въ университетъ, онъ самостоятельно занялся изученіемъ древнихъ языковъ. Но, несмотря на это, онъ находилъ время для постоянныхъ — добровольныхъ и безплатныхъ — занятій съ малоуспѣшными учениками млад-

шихъ классовъ. Въ этомъ сказалась уже столь памятная всѣмъ знавщимъ покойнаго его неизмѣнная и безкорыстная готовность въ оказанiи любой помощи и поддержки.

Сдавъ дополнительные экзамены, Н. М. осенью 1916 г. поступилъ на историко-филологическiй факультетъ Петербургскаго Университета. Занимался онъ главнымъ образомъ исторiей и работалъ въ семинарiи у Карѣева. Но въ университетѣ не пробылъ и года; весной 1917 г. онъ по собственному желанiю поступилъ вольноопредѣляющимся во 2-ую особую артиллерiйскую бригаду, а въ iюлѣ того же года, по отбытiи бригады во Францiю, былъ принятъ юнкеромъ въ Константиновское артиллерiйское училище.

Послѣ октябрьскаго переворота, когда училище пришлось распустить, Н. М. рѣшился отправиться на Югъ, желая принять активное участiе въ борьбѣ съ большевизмомъ. Подъ видомъ демобилизованныхъ казаковъ, онъ съ товарищами по Константиновскому училищу, переодѣвшись въ казачью форму, пробрался въ Новочеркасскъ къ генералу Алексѣеву, въ начальную пору формированiя Добровольческой Армiи, среди всеобщаго хаоса и упадка. Первые бои съ большевиками подъ Ростовомъ-на-Дону Н. М. продѣлалъ рядовымъ сводной Михайловско-Константиновской роты, затѣмъ попалъ въ первую сформированную въ Добровольческой Армiи, батарею (впослѣдствiи I-ая Марковская бригада), былъ прикомандированъ къ отряду извѣстнаго донского партизана есаула Чернецова, вмѣстѣ съ отрядомъ попалъ въ плѣнъ къ казакамъ-большевикамъ и спасся чудомъ въ числѣ немногихъ. Послѣ этого онъ участвовалъ въ Ледяномъ походѣ генерала Корнилова; раненый, долженъ былъ остаться въ станицѣ Елисаветинской и вторично попалъ въ плѣнъ къ большевикамъ, но затѣмъ вторично спасся и снова сражался въ Донецкомъ районѣ, продѣлалъ все наступленiе на Харьковъ—Курскъ—Орелъ, а затѣмъ въ Сѣверной Таврiи и Крыму участвовалъ во всѣхъ бояхъ вплоть до эвакуацiи Армiи. За это время онъ былъ произведенъ сперва въ прапорщики, потомъ въ подпоручики, представленъ къ чину поручика и штабсъ-капитана, награжденъ Георгiевскимъ крестомъ 4-ой степени, знакомъ отличiя первой степени за первый Кубанскiй (Ледяной) походъ и нагруднымъ знакомъ „Чернецовцевъ" (этотъ знакъ Н. М. всегда носилъ, не снимая).

Онъ продѣлалъ всю гражданскую войну отъ начала до конца, участвовалъ въ самыхъ трудныхъ и опасныхъ походахъ, никогда не желалъ оставаться въ тылу, дважды былъ раненъ, перенесъ сыпной тифъ, дважды побывалъ въ большевицкихъ рукахъ. Единодушныя свидѣтельства его соратниковъ подтверждаютъ, что проявлялъ онъ неизмѣнно большое спокойствiе и мужество, обладалъ рѣдкой стойкостью и выдержкой, легко переносилъ всякiя невзгоды и лишенiя. Между тѣмъ, того, что принято называть „геройствомъ", въ немъ вовсе не было; никакой особенной физической силы тоже не было, здоровья былъ скорѣе слабаго, очень нервный. Но было у него врожденное чувство долга, которое оказалось сильнѣе всего. Онъ „всегда все дѣлалъ хорошо", говоритъ одинъ изъ его сотоварищей по Константиновскому артиллерiйскому училищу, выражая этими простыми словами быть можетъ самую главную отличительную черту этого тѣмъ самымъ уже необыкновеннаго человѣка. Думаю, что и всѣ тѣ, кто сталкивались позднѣе съ Н. М. въ области научной работы, подтвердятъ правильность приведеннаго



Портретъ работы кн. Н. Г. Яшвиль.

Н. М. БѢЛЯЕВЪ
1899—1930.

свидѣтельства: онъ всегда все дѣлалъ хорошо и всегда дѣлалъ то, что дóлжно было дѣлать. Добровольно оставивъ любимыя занятія, онъ пошелъ на военную службу и исполнялъ свои служебныя обязанности такъ серьезно и добросовѣстно, что соратники его были удивлены, узнавъ, что въ душѣ онъ себя чувствуетъ не военнымъ, а ученымъ. Понявъ въ 1917 г., что борьба съ большевизмомъ стала первымъ и главнымъ русскимъ дѣломъ, онъ всецѣло отдался этой борьбѣ, доходя въ ней до подлиннаго героизма. И нельзя не почувствовать внутренняго единства между этой борьбой офицера-мальчика за освобожденіе Россіи отъ большевицкаго варварства и позднѣйшей культурной работой молодого русскаго ученаго.

Вмѣстѣ съ арміей Н. М. былъ эвакуированъ изъ Крыма въ ноябрѣ 1920 г. и высадился въ Константинополѣ, гдѣ находилась съ мужемъ и сестра его, Е. М. Фишеръ. Началась бѣженская жизнь, полная самыхъ тяжкихъ лишеній. Переносилъ ихъ Н. М. опять-таки спокойно и невозмутимо, не падалъ духомъ, часто бывалъ веселъ. Первое время онъ существовалъ тѣмъ, что вмѣстѣ со своимъ дядей, И. Т. Бѣляевымъ, ловилъ на Босфорѣ рыбу, коптилъ и продавалъ ее. Затѣмъ работалъ по очисткѣ отъ ржавчины пароходовъ, стоявшихъ въ Константинопольскомъ рейдѣ; работа была и тяжелая и опасная, — кусочки отскабливаемой ржавчины попадали въ глаза, вызывая воспаленіе. Весной 1921 г. Н. М. перебрался на жительство въ Россійское посольство и получилъ службу въ консульской стражѣ, рядовую солдатскую службу со стояніемъ на караулахъ и пр. Наконецъ, благодаря знанію французскаго языка, ему удалось устроиться разсыльнымъ въ итальянскомъ банкѣ, гдѣ служба его заключалась въ разноскѣ биржевыхъ бюллетеней по банкирскимъ конторамъ и торговымъ домамъ. Заработка хватало теперь и на пищу и на помѣщеніе, и объ этомъ періодѣ своей жизни въ Константинополѣ Н. М. вспоминалъ всегда какъ объ особенно легкомъ. Такъ прожилъ онъ до весны 1922 г., когда благодаря содѣйствію своей сестры и поддержкѣ американскаго Краснаго Креста смогъ переѣхать въ Прагу.

По прибытіи въ Прагу онъ вскорѣ получилъ отъ Чехо-Словацкаго Правительства студенческую стипендію и поступилъ на философскій факультетъ Карлова университета. Такимъ образомъ, послѣ пятилѣтняго перерыва, явившагося цѣпью тягчайшихъ испытаній, удалось ему снова приняться за научныя занятія. Къ немалому смущенію близкихъ, спеціальностью своей избралъ онъ столь непрактичный и недѣловой предметъ, какъ исторію византійскаго искусства. Въ университетѣ онъ слушалъ лекціи проф. Niederle — по русской и славянской археологіи, проф. Vysoký — по классической археологіи, проф. Hrozný — по исторіи Востока, проф. Chytil — по исторіи искусства, акад. Францева — по исторіи русской письменности. Но основныя его занятія протекаютъ подъ руководствомъ акад. Кондакова, у котораго онъ слушаетъ лекціи въ университетѣ, а также работаетъ на дому, въ семинаріи читаетъ доклады о мозаикахъ Кахріэ-Джами, объ иконографіи Рождества, объ ирландскомъ рукописномъ орнаментѣ. Н. М. сталъ однимъ изъ лучшихъ и ближайшихъ учениковъ этого замѣчательнаго русскаго ученаго.

Н. П. Кондаковъ былъ подлиннымъ его учителемъ и наставникомъ, подъ непосредственнымъ руководствомъ котораго сложилось все дальнѣйшее направленіе научной работы Н. М., сложился онъ самъ, какъ ученый и изслѣдователь.

Н. М. это сознавалъ и гордился этимъ, отзывался о своемъ учителѣ всегда съ любовью и благодарностью, память его чтилъ благоговѣйно. Это тѣмъ болѣе бросалось въ глаза, что былъ онъ отнюдь не изъ увлекающихся, въ оцѣнкахъ былъ по меньшей мѣрѣ очень сдержанъ, чувствъ истиннаго уваженія и признанія попусту никогда не расточалъ.

Когда по смерти Н. П. Кондакова въ 1925 г. среди его учениковъ и сотрудниковъ возникла мысль основанія Семинарія его имени, Н. М. естественно принялъ въ этомъ дѣлѣ живѣйшее участіе и сталъ однимъ изъ устроителей и одной изъ главныхъ опоръ Seminarium Kondakovianum. Много труда положено имъ уже на первое большое изданіе Семинарія, Сборникъ статей памяти Н. П. Кондакова. Замѣчательно, что въ этомъ Сборникѣ, посвященномъ памяти Н. П. Кондакова, появилось первое большое изслѣдованіе Н. М.: „Украшеніе поздне-античной и ранне-византійской одежды".

Въ 1926 г. Н. М. женился на Любови Павловнѣ Кондрацкой, слушательницѣ Н. П. Кондакова, окончившей въ 1928 г. пражскій университетъ по отдѣленію исторіи искусства. Самъ Н. М. окончилъ университетъ весною 1927 г. со званіемъ доктора философіи. Докторская диссертація его, представленная профессору Нидерле, трактуетъ о фибулахъ въ Византіи. Въ выборѣ темы несомнѣнно особенно сказалось интенсивное, постоянное и дружеское научное общеніе и сотрудничество съ директоромъ Семинарія имени Н. П. Кондакова, А. П. Калитинскимъ, изслѣдователемъ и знатокомъ вопроса о фибулахъ.

Съ окончаніемъ университета и развитіемъ дѣятельности Семинарія имени Н. П. Кондакова, Н. М. всецѣло уходитъ въ научную работу, почти ничего не удѣляя жизни личной и общественной. Онъ лишь принимаетъ нѣкоторое участіе въ дѣятельности пражскаго православнаго прихода, состоя членомъ приходского совѣта и участвуя въ его ревизіонной комиссіи.

Всѣ силы его безраздѣльно отданы научной работѣ, а работа эта посвящена всецѣло Семинарію имени Н. П. Кондакова. То, что сдѣлано покойнымъ для Семинарія, и то, чѣмъ Семинарій ему обязанъ, не поддается никакому учету. Можно только сказать, что безъ Н. М., безъ его неустанной работы, самоотверженной и безкорыстной до подвижничества, Семинарій не былъ бы тѣмъ, чѣмъ онъ за эти годы сталъ. Сколько мелкой, незамѣтной и неблагодарной работы положено имъ на это любимое его дѣло. А на ряду съ этой повседневной, мелкой, но нелегкой и отвѣтственной дѣловой работой шла научная, изслѣдовательская работа, редакціонная дѣятельность, чтенія докладовъ, какъ въ регулярныхъ закрытыхъ, такъ и въ публичныхъ засѣданіяхъ, устраиваемыхъ Семинаріемъ. (На открытомъ засѣданіи Семинарія, въ годовщину смерти Н. П. Кондакова — 4-го апрѣля 1927 г. — Н. М. читалъ докладъ „О серебряныхъ чашахъ, найденныхъ въ Россіи", а на засѣданіи памяти акад. Я. И. Смирнова — 14-го ноября 1928 г. — „О древнѣйшихъ рускихъ иконахъ".) Кромѣ того работалъ онъ надъ переводомъ Константина Порфиророднаго, въ сотрудничествѣ съ Г. В. Вернадскимъ перевелъ почти всю книгу о церемоніяхъ византійскаго двора, а работа это огромная, требующая большихъ знаній, такъ какъ переводъ тутъ зачастую является уже интерпретаціей, комментаріемъ. Позднѣе ко всему этому присоединились еще занятія со студентами — стипендіатами Семинарія.

Первое крупное изслѣдованіе Н. М., какъ уже было упомянуто, появилось въ 1926 г. въ Сборникѣ, посвященномъ памяти Н. П. Кондакова, и касалось украшеній поздне-античной и ранне-византійской одежды. Работа сразу обратила вниманіе на молодого автора, и дѣйствительно, изслѣдованіе это представляется исключительно цѣннымъ, оно можетъ служить прекраснымъ методологическимъ примѣромъ тому, какихъ вѣрныхъ и точныхъ результатовъ достигаетъ правильно примѣняемое комбинированіе вещественныхъ и литературныхъ данныхъ. Въ 1927 г. онъ напечаталъ въ первомъ томѣ сборника «Seminarium Kondakovianum» статью подъ заглавіемъ: „Благовѣщеніе. Новый памятникъ греческой иконописи". Статья трактуетъ объ иконѣ Благовѣщенія, принадлежащей княгинѣ Н. Г. Яшвиль; какъ показываетъ путемъ тонкаго иконографическаго и стилистическаго анализа Н. М., икона эта является памятникомъ такъ наз. итало-критской школы, относится къ серединѣ или къ концу XVI в. и написана, судя по переводу, на Аѳонѣ. Въ третьемъ томѣ Seminarium Kondakovianum за 1929 г. (т. е. въ выпускѣ, непосредственно предшествующемъ настоящему тому нашего сборника, въ которомъ уже приходится писать о Н. М. некрологъ) напечаталъ Н. М. свои „Очерки по византійской археологіи", распадающіеся на двѣ отдѣльныя работы: „Фибула въ Византіи" и „Херсонесская мощехранительница". Въ основѣ первой работы лежитъ упомянутая выше докторская диссертація Н. М. и посвящена она проф. Нидерле; второй очеркъ посвященъ памяти Я. И. Смирнова. Далѣе въ томъ же сборникѣ помѣщены его отчеты объ осмотрѣ чудотворной иконы Знаменія Божіей Матери Курской Коренной и о выставкѣ русскихъ иконъ въ Берлинѣ.

Въ 1928 г. Семинаріемъ было начато изданіе серіи изслѣдованій, посвященныхъ памятникамъ иконописи: „Зографика". Редактированіе этой серіи было поручено Н. М. При его непосредственномъ содѣйствіи вышло два выпуска этой серіи: А. И. Анисимова „Владимірская икона Божіей Матери" и А. Н. Грабара „Нерукотворный образъ Ланскаго Спаса". Самъ Н. М. подготовлялъ къ печати двѣ дальнѣйшія монографіи этой серіи: „Христосъ во гробѣ — Не рыдай мене Мати" и „Икона Божіей Матери Умиленія собранія Солдатенковыхъ". Въ связи съ послѣдней работой, надъ которой застала его смерть, находится статья его „Образъ Божіей Матери Пелагонитисы", появившаяся въ журналѣ Byzantinoslavica II, 2 (1930). Эта статья, въ основу которой положено изслѣдованіе иконы Божіей Матери Взыграніе Младенца (т. е. усложненнаго типа Умиленія) изъ церкви села Ст. Нагоричино въ Сербіи, начала XIV в., особенно интересна тѣмъ, что разрушаетъ представленіе объ итальянскомъ и сравнительно позднемъ происхожденіи типа Умиленія, — представленіе, котораго, какъ извѣстно, придерживался и Н. П. Кондаковъ.

Кромѣ редактированія серіи „Зографика" на Н. М. было съ того же 1928 г. возложено Семинаріемъ и редактированіе „Русской Иконы" Н. П. Кондакова. Это требовало огромнаго труда, а какъ этотъ трудъ былъ Н-мъ М-мъ исполненъ — извѣстно всѣмъ, кто видѣлъ оба великолѣпные альбома этого изданія. Осуществленіемъ этого большого культурнаго дѣла наука обязана больше всего Н. М. Бѣляеву. Имъ были написаны и краткіе пояснительные тексты къ вышедшимъ альбомамъ репродукцій иконъ, а также редактировался и самый

текстъ капитальнаго сочиненія Кондакова о русской иконѣ; работа надъ первымъ изъ двухъ томовъ текста была имъ почти закончена.

Далѣе, когда въ 1928 г. Чешская Академія Наукъ предприняла изданіе труда Н. П. Кондакова „Очерки и замѣтки по исторіи средневѣковаго искусства и культуры", то редакція его естественнымъ образомъ была поручена опять-таки Н. М. Бѣляеву. Не мало труда положилъ Н. М. на то, чтобы достойно издать послѣднее, предсмертное сочиненіе своего учителя. Слѣдуетъ упомянуть также о работѣ Н. М. въ связи съ изданіемъ монографіи „Byzantské emaily Závišova Kříže ve Vyšším Brodě"; таблицы этого художественнаго изданія, поднесеннаго Семинаріемъ президенту Чехословацкой Республики Т. Г. Масарику по случаю его 80-лѣтія, Н. М. снабдилъ пояснительнымъ текстомъ.

Съ 1929 г. началъ Н. М. систематическія занятія со стипендіатами Семинарія, русскими студентами, проходящими спеціальные курсы при Семинаріи. Въ лѣтнемъ семестрѣ 1929 г. онъ читалъ имъ курсъ по древне-христіанскому искусству; курсъ этотъ заключалъ въ себѣ историческій очеркъ эпохи возникновенія христіанства, краткія свѣдѣнія по исторіи христіанской археологіи, разборъ памятниковъ древне-христіанскаго искусства, попутно давая и общія понятія о стилѣ и манерѣ религіозной живописи. Въ зимнемъ семестрѣ 1929—30 г. онъ читалъ о Н. П. Кондаковѣ и о значеніи его научной дѣятельности, сообщая слушателямъ ученую біографію Кондакова и давая обзоръ его работъ — по разрядамъ: классическое искусство, искусство кочевниковъ, труды по византинологіи и — особенно детально — работы по иконографіи.

По порученію Семинарія Н. М. совершилъ рядъ ученыхъ командировокъ: въ 1926 г. ѣздилъ въ Вѣну и Будапештъ для осмотра мѣстныхъ музеевъ; съ 1927 по 1930 г. ежегодно бывалъ въ балканскихъ странахъ, изучая фрески и мозаики въ церквахъ и монастыряхъ Югославіи, Болгаріи и Греціи; въ 1930 г. былъ кромѣ того и въ Парижѣ. Изъ всѣхъ поѣздокъ онъ возвращался съ новыми впечатлѣніями и знаніями и съ массой снимковъ, въ изготовленіи которыхъ онъ былъ прямо художникомъ. Въ 1927 г. его поѣздка на Балканы была связана съ участіемъ во II Международномъ Конгрессѣ Византологовъ въ Бѣлградѣ, на которомъ Н. М. прочиталъ два доклада. Одинъ изъ этихъ докладовъ онъ частично опубликовалъ подъ заглавіемъ: „L'argenterie byzantine du Trésor de Pereščepina" въ румынскомъ журналѣ Arta şi Archeologia (An. I, f. II. Bucarest, 1928). Отмѣтимъ попутно и слѣдующія работы Н. М., появившіяся на иностранныхъ языкахъ: въ сборникѣ въ честь проф. Я. Бидло (Прага 1928) онъ далъ изслѣдованіе о миніатюрахъ Греческаго Евангелія 1232 г. („Miniatury řeckého evangelia z roku 1232"), а въ сборникѣ въ память акад. Ѳ. И. Успенскаго, вышедшемъ въ 1930 г. подъ редакціей проф. Миллэ въ Парижѣ, напечатана его статья „Le Tabernacle du Témoignage dans la peinture balkanique du XIV^{e} siècle". Послѣдняя статья занимается интереснымъ иконографическимъ сюжетомъ символическаго характера, изображеніями церковнаго служенія Аарона и Моисея передъ алтаремъ скиніи; по мнѣнію Н. М. этотъ иконографическій мотивъ, византійскаго происхожденія, встрѣчающійся на Балканахъ въ церквахъ Грачаницы, Лесново и Куртеа де Аржешъ, служилъ выраженіемъ византійскихъ представленій о царствѣ и священствѣ.

Осенью 1930 г. Н. М., незадолго до своей ужасной кончины, принялъ участіе въ V Съѣздѣ Русскихъ Ученыхъ въ Софіи и въ III Международномъ Конгрессѣ Византологовъ въ Аѳинахъ и прочиталъ на обоихъ съѣздахъ по докладу о новооткрытыхъ памятникахъ древнѣйшей русской иконописи. Поѣздки эти Н. М. опять использовалъ для экскурсіи по греческимъ и славянскимъ церквамъ, сохранившимъ древнія фрески, мозаики и иконы. Осуществилась и давнишняя мечта его, — удалось ему побывать на Аѳонѣ. Съ ранняго утра и до 6—7 часовъ вечера, когда замираетъ жизнь на Аѳонѣ, онъ готовъ былъ проходить безъ перерыва, по труднымъ гористымъ тропинкамъ, въ палящую жару, — чтобы только видѣть еще и еще дивные аѳонскіе иконописные памятники. Приходилось его прямо удерживать, но поддавался онъ на уговоры — да и то не всегда — только потому, что твердо порѣшилъ въ слѣдующемъ же году пріѣхать на Аѳонъ въ другой разъ и на болѣе долгій срокъ. Но другого раза для Н. М. не стало, — жизни ему оставалось всего нѣсколько мѣсяцевъ...

17-го декабря онъ былъ въ Пильзенѣ, гдѣ по приглашенію Городского Музея прочелъ съ большимъ успѣхомъ, на чешскомъ языкѣ, лекцію о древнѣйшихъ русскихъ иконахъ. А черезъ шесть дней его уже не было въ живыхъ. Внезапный ударъ проѣзжавшаго грузовика прервалъ его интенсивную и плодотворную дѣятельность. Какъ сказано въ дневникѣ Семинарія имени Н. П. Кондакова, друзья нашли его трупъ въ моргѣ при Анатомическомъ театрѣ Пражской Городской больницы — съ раной на вискѣ, съ полуоткрытыми глазами, въ которыхъ остановилось выраженіе ужаса.

Въ тяжеломъ и неразрѣшимомъ недоумѣніи останавливаешься передъ этой ужасной судьбой прекраснаго и ничего, кромѣ пользы, не принесшаго человѣка.

Всѣ знавшіе его цѣнили и уважали въ немъ талантливаго ученаго и прекраснаго работника. Заслуги его передъ наукой общепризнаны — и въ русскихъ ученыхъ кругахъ, и въ Чехіи, гдѣ онъ жилъ и гдѣ протекала его работа, и въ Балканскихъ странахъ, гдѣ такъ часто онъ бывалъ, и во Франціи, гдѣ особенно процвѣтаетъ изученіе византійскаго искусства, а равно и въ Германіи и Англіи.

Какъ ученый онъ представлялъ собой яркую индивидуальность, за послѣднее время уже ясно опредѣлившуюся. Прекрасная школа — кондаковская выучка, точность изслѣдовательскаго метода, научная дисциплинированность сочетались счастливѣйшимъ образомъ съ врожденными способностями, художественной зоркостью и наблюдательностью. Онъ любилъ памятники древности, имѣлъ къ нимъ вкусъ и обладалъ огромной предметной памятью. Обладалъ и большимъ даромъ комбинированія, черпающимъ изъ запаса конкретныхъ, живыхъ знаній. Какъ настоящій ученый по всему своему складу, къ тому же прошедшій прекрасную школу, онъ испытывалъ органическое отвращеніе ко всякому дилетантизму и фантазерству, но ни въ какой мѣрѣ не принадлежалъ и къ тѣмъ, кто за деревьями не видятъ лѣса: изучаемый памятникъ въ его умѣ всегда связывался съ общимъ теченіемъ художественнаго и историческаго развитія, — антикварское, безъидейное коллекціонированіе знаній было ему совершенно чуждо. Была въ немъ и еще одна черта, для изслѣдователя восточно-христіанской живописи чрезвычайно существенная, но и чрезвычайно рѣдко встрѣчающаяся: равное распредѣленіе интереса къ иконографической схемѣ и къ

стилистической индивидуальности памятника, сочетаніе пристальнаго вниманія къ общности иконографическихъ очертаній съ интуитивнымъ чутьемъ въ воспріятіи неповторимыхъ особенностей стиля.

Сказанное основывается не только на напечатанныхъ работахъ покойнаго, но и на личныхъ наблюденіяхъ, сдѣланныхъ при совмѣстныхъ осмотрахъ многихъ и многихъ памятниковъ восточной церковной живописи, и, слѣдовательно, относится не только къ тому, что было имъ уже дано въ законченномъ и общедоступномъ видѣ, но и къ тому, что могъ бы онъ дать, не прервись его жизнь такъ трагически въ самомъ началѣ его творческой работы. Встрѣтившись съ нимъ, послѣ болѣе длительнаго перерыва, незадолго до его кончины, нельзя было не замѣтить продѣланнаго имъ именно за послѣднее время быстраго внутренняго развитія, нельзя было не почувствовать, что онъ какъ разъ находился въ періодѣ стремительнаго духовнаго роста. То, что осталось отъ Н. М., относится преимущественно къ періоду накопленія знаній, — настоящая творческая работа, базирующаяся на накопленномъ знаніи, какъ разъ начиналась, была еще впереди. Все предвѣщало большой расцвѣтъ его научной работы. Но планы его, замыслы и идеи умерли вмѣстѣ съ нимъ. Оставилъ онъ много начатыхъ работъ, огромный матеріалъ фотографій и замѣтокъ, которыя жили въ рукахъ ихъ автора, а теперь превратились въ мертвый ворохъ бумагъ.

Жизнь свою онъ провелъ въ служеніи дѣлу, забывая о себѣ и о самыхъ законныхъ своихъ интересахъ. Былъ онъ безкорыстенъ поразительно — и въ житейскомъ смыслѣ и какъ ученый. Профессіональная зависть была ему незнакома и непонятна. Успѣхамъ другихъ онъ чистосердечно радовался, радовался за другого, радовался за пользу дѣла; всегда былъ готовъ помочь, подѣлиться; идеями не скупился и не припрятывалъ ихъ, да и не имѣлъ въ томъ нужды: было ихъ у него достаточно. Въ то же время былъ онъ поразительно скроменъ, — меньше замѣчалъ то, что имъ сдѣлано и усвоено, чѣмъ то, чего ему еще не хватало. Были, повидимому, въ характерѣ его нѣкоторыя шероховатости, но будучи вспыльчивъ и раздражителенъ, былъ онъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ какомъ то смыслѣ замѣчательно легкій человѣкъ, — веселый, очень жизнерадостный, радушный и открытый, прекрасный товарищъ, надежный и всегда искренній.

За все это, за благородство характера, за отзывчивость и безкорыстіе, за серьезное и добросовѣстное отношеніе къ дѣлу, за подвижническое служеніе наукѣ — ему принадлежала наша любовь и уваженіе наше, а теперь принадлежитъ наша память. И она будетъ вѣчна.

Георгій Острогорскій.

В. В. БАРТОЛЬДЪ, КАКЪ ИСТОРИКЪ

Въ лицѣ скончавшагося въ августѣ 1930 г. Василія Владиміровича Бартольда понесло тяжелую, невознаградимую потерю не только русское востоковѣдѣніе, какъ таковое, но и русская историческая наука. В. В. былъ не только знатокомъ восточныхъ языковъ. Онъ былъ и крупнымъ историкомъ.

Свою научную дѣятельность онъ началъ въ первой половинѣ 1890-хъ годовъ.[1] Въ 1893—1894 гг. онъ произвелъ поѣздку съ научною цѣлью въ Среднюю Азію (отчетъ о ней появился въ 1897 г.). Уже тогда опредѣлился интересъ Василія Владиміровича къ исторіи кочевыхъ народовъ. Но этотъ интересъ, и въ силу индивидуальныхъ чертъ его научнаго облика, и по природѣ предмета, отнюдь не приводилъ къ съуженію его историческаго горизонта. Больше всего В. В. поработалъ надъ исторіей народовъ турецкаго корня. Между тѣмъ, по собственному его выраженію, „для изученія исторіи турецкихъ народностей недостаточно быть туркологомъ; необходимо быть также, смотря по тому, какой эпохой интересуешься, синологомъ, арабистомъ или иранистомъ“. Бартольдъ былъ арабистомъ и иранистомъ и широко использовалъ данныя синологіи. Если къ этому прибавить, что В. В. былъ большимъ знатокомъ какъ европейской (включая античную), такъ и русской исторической литературы — то станетъ ясенъ объемъ его эрудиціи. Въ этой связи, нельзя признать случайной тему его диссертаціи, появившейся въ 1898—1900 гг.: „Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія“ (двѣ части). Эпоха монгольскаго расширенія и монгольскаго владычества интересовала В. В-ча въ теченіе всей его научной дѣятельности.[2] И о немъ самомъ можно сказать, что онъ былъ ученымъ съ „монгольскими горизонтами“. Монголы основали вѣдь „самую обширную имперію, когда-либо существовавшую“. И знанія В. В-ча были столь же обширны, какъ область монгольскаго владычества. Они обнимали исторію всѣхъ тѣхъ земель, „до которыхъ доходили копыта монгольскихъ коней“; и въ нѣкоторыхъ случаяхъ выходили за эти предѣлы.

Памятникомъ *ирановѣдной* эрудиціи В. В-ча является „Историко-географическій обзоръ Ирана“ (С.-Петербургъ 1903), возникшій въ связи съ чтеніемъ лекцій на факультетѣ Восточныхъ языковъ С.-Петербургскаго Университета. Эта книга заключаетъ въ себѣ огромное количество разнообразныхъ свѣдѣній. При этомъ написана она настолько просто и образно, что читатель не только не утомленъ обиліемъ собраннаго матеріала, но наоборотъ — увлеченъ имъ и какъ бы собственными глазами созерцаетъ описываемыя авторомъ области.

[1]) Первая печатная работа его появилась въ свѣтъ въ 1892 г.

[2]) Его пробная лекція на соисканіе званія приватъ-доцента была посвящена „образованію имперіи Чингизъ-хана“ (прочтена въ С.-Петербургскомъ Университетѣ 8 апрѣля 1896 г.).

Особое вниманіе удѣлено сохранившимся въ Иранѣ памятникамъ старины. Рѣдко какая страна была описана, съ этой стороны, такъ удачно, какъ это сдѣлано В. В-чемъ въ его сравнительно краткомъ обзорѣ. Въ исторической части обзора центральное мѣсто занимаетъ повѣствованіе объ эпохѣ владычества въ Персіи монголовъ (вторая половина XIII — первая половина XIV вѣка). Краткими, но выразительными чертами характеризовано правленіе ильхановъ Аргуна (1284—1291 гг.) и Газана (1295—1304 гг.). При нихъ расцвѣтъ культуры на территоріи Персіи достигъ особенной высоты. — Въ этой книгѣ, несмотря на географическій и археологическій характеръ темы, В. В. проявляетъ чутье и къ соціальной сторонѣ явленій. Такъ, онъ описываетъ „демократическое движеніе“, возникшее въ Гилянѣ во второй половинѣ IX вѣка. Оно было вызвано попыткой мѣстной династіи „захватить въ свою пользу участки необработанной земли, находившіеся до того въ общемъ пользованіи и никому не принадлежавшіе“.[3] Показателенъ въ этомъ смыслѣ и цѣлый рядъ другихъ характеристикъ. Эта черта въ творчествѣ В. В-ча намѣтилась уже во второй части „Туркестана въ эпоху монгольскаго нашествія“ (см. выше).[4] Въ ней относительно „перваго устроителя Хорасана Абдаллаха б. Тахира (830—844)“ онъ извлекаетъ, напр., у мусульманскаго историка указаніе, что правитель этотъ „владѣлъ Хорасаномъ такъ, какъ еще не владѣлъ имъ никто... заботился объ интересахъ крестьянъ, какъ кормильцевъ остального населенія, велѣлъ составить сводъ правилъ о пользованіи водой для искусственнаго орошенія и далеко опередилъ свое время своими взглядами на значеніе науки, къ которой, по его мнѣнію, надо было открыть широкій доступъ всѣмъ желающимъ и предоставить ей самой отличить достойнаго отъ недостойнаго“.[5] — Именно В. В. Бартольдъ далъ пониманіе борьбы Темучина съ однимъ изъ его соперниковъ — Джамугою, какъ борьбы аристократическаго начала съ демократическимъ.[6] Немалое вниманіе удѣлялъ В. В. соціальнымъ вопросамъ и въ позднѣйшихъ своихъ работахъ. Въ монографіи, посвященной Улугбеку (о ней см. ниже), онъ отмѣчалъ, что этотъ государь держалъ сторону „аристократическихъ слоевъ населенія“. При немъ „именно дервиши отстаивали шаріʼатъ и обличали въ нарушеніи его правилъ какъ представителей верховной власти, такъ и оффиціальнаго главу мусульманскаго духовенства. Всё это дѣлалось во имя интересовъ народныхъ массъ; какъ въ Европѣ послѣдовательные коммунисты отвергали науку и искусство, недоступныя для народныхъ массъ, такъ въ Туркестанѣ XV в. представители дервишизма были противниками всякой книжной учености, не исключая и богословія“.[7] — Въ полномъ согласіи съ этой характеристикой, очерчивается обликъ ходжи Ахрара, фактически правившаго въ Самаркандѣ въ теченіе 40 лѣтъ (съ 1451 г.)[8]:

[3]) Историко-географическій обзоръ Ирана, с. 156.

[4]) Необходимость изученія аграрной исторіи Средней Азіи В. В. подчеркивалъ еще ранѣе въ статьѣ въ „Средне-Азіатскомъ Вѣстникѣ“ (Ташкентъ 1898, ноябрь).

[5]) Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія, часть II, с. 219.

[6]) О возраженіяхъ, выдвинутыхъ по этому поводу Г. Е. Грумъ-Гржимайло и В. Л. Котвичемъ, см. книгу Эренжена Хара-Давана: Чингис-Хан, как полководец и его наследие, Белград 1929, с. 26—28.

[7]) Улугбекъ и его время, Петроградъ 1918, с. 95.

[8]) Улугбекъ правилъ тамъ же съ 1410 по 1449 г.

„своимъ богатствомъ и вліяніемъ онъ старался пользоваться на благо народа. Жизнь и интересы высшихъ классовъ, лучшимъ представителемъ которыхъ былъ Улугбекъ, были для него непонятны; какъ послѣдовательные европейскіе коммунисты, онъ, повидимому, отрицалъ всякую культуру, недоступную народнымъ массамъ“.[9] Въ „Исторіи культурной жизни Туркестана“, вышедшей въ свѣтъ въ 1927 г., собранъ значительный матеріалъ по соціальной исторіи этой страны при русскомъ владычествѣ. Разсмотрѣна политика, направленная противъ „прежней служебной аристократіи“ средне-азіатскихъ ханствъ. Представители ея были лишены принадлежавшихъ имъ земельныхъ имуществъ.[10] Намѣченъ процессъ зарожденія крупной туземной буржуазіи.[11] — Данныя по соціальной исторіи имѣются и въ работѣ В. В-ча по исторіи киргизовъ.[12]

Эти факты позволяютъ утверждать, что одной изъ сторонъ своего творчества В. В. примыкалъ къ тому „соціальному“ направленію въ исторіографіи, которое получило широкое развитіе въ Россіи. Въ области европейской исторіи эта струя представлена именами М. М. Ковалевскаго, Н. И. Карѣева, П. Г. Виноградова, И. В. Лучицкаго, въ сферѣ византиновѣдѣнія — В. Г. Васильевскимъ и Ф. И. Успенскимъ, въ исторіи античнаго міра — М. И. Ростовцевымъ (называемъ только крупнѣйшія имена).

Но эта сторона отнюдь не была единственной, не была она и преобладающей въ научномъ творчествѣ В. В. Бартольда. Не подлежитъ сомнѣнію его интересъ къ проблемамъ географическаго истолкованія исторіи. Правда, В. В. не считалъ себя спеціалистомъ въ тѣхъ отдѣлахъ такъ наз. „доисторической“ археологіи, которые даютъ возможность съ особенной ясностью установить связь между общественной жизнью людей и географическими условіями.[13] „Конечно“, — отмѣчалъ онъ, — „и письменной исторіи достаточно, чтобы убѣдиться въ томъ, какъ часто подъ вліяніемъ дѣйствій человѣка измѣнялось... „лицо земли“ и соотвѣтственно измѣнялись хозяйственныя возможности... хорошо извѣстенъ фактъ, что югъ нынѣшней Европейской Россіи имѣлъ значеніе для международной хлѣбной торговли въ IV в. до н. э. и снова получилъ такое значеніе только въ XIX в. н. э. Въ 1918 г. достаточно было кратковременнаго запущенія Петербурга, чтобы лѣсъ въ чертѣ города снова проявлялъ свою дѣятельность, и ботаники въ самомъ городѣ могли собирать соотвѣтствующія растенія“.[14] Въ этихъ словахъ интересъ къ географической сторонѣ явленій сочетается со вниманіемъ къ экономической исторіи, въ частности, къ исторіи торговли. Эти предметы также входили въ кругъ вѣдѣнія В. В-ча. Чуть ли не въ каждомъ его

---

⁹) Цит. соч., с. 139—140.

¹⁰) История культурной жизни Туркестана, с. 190, 193 и др.

¹¹) Цит. соч., с. 142 и др.

¹²) Киргизы (исторический очерк), Фрунзе 1927, въ особенности с. 49—50 и 57.

¹³) Всё-таки слова В. В-ча въ письмѣ къ автору этихъ строкъ о „крайней скудости“ его познаній „въ области такъ называемой до-исторіи“ нужно считать преувеличеніемъ. Они должны быть отнесены за счетъ личной скромности знаменитаго ученаго. В. В. продолжалъ: „Я всегда считалъ своимъ исключительнымъ призваніемъ изученіе письменныхъ источниковъ, хотя, конечно, и въ этой области сдѣлалъ гораздо меньше, чѣмъ мнѣ бы хотѣлось“ (письмо отъ 28 дек. 1929 г.).

¹⁴) Эта выдержка, какъ и нѣсколько послѣдующихъ, заимствована изъ писемъ В. В-ча къ автору этихъ строкъ и публикуется здѣсь впервые.

трудѣ мы встрѣчаемся съ данными по исторіи земледѣлія и промышленности.[15] Но пристальнѣе всего онъ изучалъ именно исторію торговли. Первыя главы „Исторіи культурной жизни Туркестана", въ значительной степени, посвящены разсмотрѣнію торговыхъ сношеній въ предѣлахъ евразійской „великой степи". „Распространеніе арамейскихъ шрифтовъ среди иранцевъ и турокъ Средней Азіи, какъ нѣкогда распространеніе финикійскаго шрифта вдоль береговъ Средиземнаго моря и Индійскаго Океана, было, конечно, связано съ развитіемъ торговыхъ сношеній." Культурная дѣятельность согдійцевъ и „ихъ мусульманскихъ потомковъ — сартовъ вдоль караванныхъ путей Средней Азіи мало уступаетъ культурной дѣятельности финикіянъ вдоль путей морской торговли".[16] Спеціальное вниманіе къ исторіи торговыхъ путей сказывается и въ „Очеркѣ исторіи туркменскаго народа", появившемся въ 1929 г. Здѣсь довольно подробно прослѣживается исторія торговаго пути „изъ Россіи черезъ устье Волги и полуостровъ Мангышлакъ въ Хорезмъ".[17] Волжскому пути, въ его значеніи для ранняго періода русской исторіи, В. В. Бартольдъ посвящаетъ цѣнныя замѣчанія въ своей „Исторіи изученія Востока въ Европѣ и Россіи". Тамъ же онъ говоритъ о походѣ Святослава на хазаръ и послѣдовавшемъ уходѣ его изъ хазарскихъ земель: „для исторіи Россіи этотъ фактъ имѣлъ большое значеніе; если бы русскіе тогда остались на Волгѣ, они навѣрное подчинились бы мусульманской культурѣ; Святославъ пожертвовалъ бы Кіевомъ для Итиля, какъ потомъ хотѣлъ пожертвовать имъ для Переяславца".[18] Та же мысль повторена въ статьѣ В. В-ча „Кавказъ, Туркестанъ и Волга"[19] Вообще же статья эта, въ значительной мѣрѣ, посвящена исторіи торговыхъ путей, проходившихъ чрезъ указанныя въ ея заглавіи страны. Вмѣстѣ съ тѣмъ, В. В. прослѣживаетъ въ ней миграцію культурныхъ средоточій. При Ахеменидахъ западный Кавказъ „по уровню культурнаго развитія" стоялъ выше восточнаго. Въ эпоху арабскихъ географовъ X вѣка, „въ противоположность древности, прикаспійская часть Кавказа въ культурномъ отношеніи стояла гораздо выше черноморской". Въ современности восточные кавказцы — азербайджанцы „отстали отъ грузинъ и армянъ". Здѣсь намѣчается своеобразная „періодическая ритмичность" въ миграціи культурныхъ средоточій.[20]

Весьма интересно замѣчаніе В. В-ча объ измѣненіяхъ въ пролеганіи торговыхъ путей въ глубинѣ континента: „Въ исторіи Средней Азіи наблюдается постепенное передвиженіе главныхъ торговыхъ путей съ юга на сѣверъ, отъ пути мимо Лобъ-Нора на Хотанъ, Яркендъ и черезъ горы въ Авганистанъ, открытаго китайцами во II вѣкѣ до нашей эры (до тѣхъ поръ китайскіе товары проникали въ Среднюю Азію черезъ Индію), до современной сибирской желѣзной дороги. Соотвѣтственно съ этимъ измѣнялась и степень участія въ этой торговлѣ отдѣльныхъ народностей".[21]

---

[15]) Особую работу В. В. посвятилъ „Исторіи орошенія Туркестана" (С.-Петербургъ 1914).

[16]) История культурной жизни Туркестана, с. 12—13. Ср. также: Очерк истории туркменского народа, сборникъ „Туркмения", том I, Ленинград 1929, с. 7.

[17]) Цит. соч., с. 38 и др.

[18]) Цитуемъ по второму изданію „Истории", Ленинград 1925, с. 167.

[19]) Известия Кавказского Историко-Археологического Института в Тифлисе, Тифлис, 1926, с. 6.

[20]) Понятіе „періодической ритмичности" историческаго процесса выдвинуто Г. В. Вернадскимъ (Начертание русской истории, часть I-ая, Прага 1927, с. 16).

[21]) История культурной жизни Туркестана, с. 13.

Съ однимъ мнѣніемъ В. В-ча, касающимся современности, мы не согласны. Совершенно правильно онъ отмѣчаетъ, что „для болѣе широкаго использованія богатствъ какой-либо страны теперь необходимо включеніе ея въ міровую желѣзнодорожную сѣть“. Въ частности, относительно Восточнаго Туркестана, онъ утверждаетъ, что здѣсь это „по географическимъ причинамъ едва ли возможно. Поэтому Восточный Туркестанъ является только страной прошлаго, но не страной будущаго“.[22] Съ этимъ послѣднимъ заключеніемъ никакъ нельзя согласиться. Современная техника даетъ полную возможность провести желѣзную дорогу въ Восточный Туркестанъ и въ направленіи перевала Терекъ-даванъ (по пути изъ Оша въ Кашгаръ), и въ обходъ съ востока основныхъ хребтовъ Тянъ-Шаня, скажемъ, черезъ Урумчи—Турфанъ. Это дѣло скорѣе легче, чѣмъ труднѣе, напр., проведенія Амурской желѣзной дороги. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что при расцвѣтѣ русскаго народнаго хозяйства основное значеніе въ снабженіи евразійскаго міра рисомъ и хлопкомъ будетъ имѣть именно „единство трехъ Туркестановъ“, т. е. Русскаго, Авганскаго и Восточнаго.

Возвращаемся къ отношенію В. В-ча къ вопросамъ о связи историческихъ проблемъ съ географіей. Въ предисловіи къ „Историко-географическому обзору Ирана“ В. В. говорилъ о себѣ: „въ своихъ курсахъ, посвященныхъ Персіи и Средней Азіи, я стараюсь дать студентамъ понятіе о географическихъ условіяхъ этихъ странъ, выяснить, насколько возможно, зависимость исторической жизни отъ этихъ условій“. Впослѣдствіи, взгляды В. В-ча на эти вопросы расширились и видоизмѣнились. И та концепція, которую онъ даетъ въ „Исторіи изученія Востока въ Европѣ и Россіи“ (изданіе 1925 г.), значительно сложнѣе, чѣмъ только что изложенная. В. В. говоритъ о Риттерѣ, нѣмецкомъ географѣ XIX вѣка: „Какъ для Страбона образованіе Римской имперіи было естественнымъ послѣдствіемъ географическаго положенія Италіи, какъ по мнѣнію арабовъ культурное первенство мусульманскаго міра было естественнымъ послѣдствіемъ климатическихъ преимуществъ того пояса, въ которомъ находятся Багдадъ и Исфаханъ, такъ и для Риттера культурное первенство Европы было естественнымъ послѣдствіемъ географическихъ особенностей этой части свѣта. Ни одно изъ этихъ обобщеній не считалось съ фактомъ, что физико-географическія причины оказывали то или другое вліяніе на судьбу страны только въ опредѣленный моментъ ея историческаго существованія, въ зависимости отъ хода исторической эволюціи... Риттеръ былъ убѣжденъ, что Англія своимъ географическимъ положеніемъ съ самаго начала (von Anfang an) была предназначена къ господству надъ морями, хотя это господство началось, какъ извѣстно, только съ XVII вѣка. Какъ въ Африкѣ, такъ и въ Европѣ побережье Атлантическаго океана, вслѣдствіе большей отдаленности отъ культурныхъ центровъ, восприняло культуру значительно позже, чѣмъ многія области внутри материка“.[23] Этотъ взглядъ далеко отстоитъ отъ того элементарнаго констатированія зависимости исторической жизни отъ географическихъ условій, которое мы привели въ предыдущемъ. Намъ кажется, что мысль В. В-ча можно было бы формулировать еще такъ: нѣтъ одно-

[22]) История изучения Востока в Европе и России, с. 140. Ср. также „Историю культурной жизни Туркестана“, с. 253.

[23]) Цит. соч., с. 159—160.

сторонней зависимости историческихъ явленій отъ географической обстановки. Историческая эволюція и здѣсь играетъ роль активнаго начала: она беретъ изъ географической среды то, что́ наиболѣе соотвѣтствуетъ ея требованіямъ на данной стадіи развитія. Если необходимыхъ географическихъ предусловій не оказывается, — историческая эволюція въ данной странѣ и въ данномъ направленіи замираетъ. Если они налицо, — возникаетъ законченное и яркое историческое явленіе, выражающее собою соотвѣтствіе географическихъ условій требованіямъ исторической эволюціи. Но каждое такое явленіе преходяще. И многое изъ того, что́ имѣло значеніе въ прошломъ, — теряетъ его въ настоящемъ; но въ измѣненномъ видѣ можетъ снова пріобрѣсти его въ будущемъ. Пафосъ измѣнчивости историческихъ явленій былъ едва ли не основнымъ пафосомъ Бартольда, въ его историческихъ построеніяхъ. Именно объ измѣнчивости отношеній и связей говорится въ письмѣ В. В-ча къ автору этихъ строкъ: „Послѣдствія континентальности, которымъ посвящена Ваша статья „Континентъ-океанъ“, тоже были совершенно различны въ эпоху первенства караваннаго пути изъ западной Азіи въ Китай и въ эпоху созданнаго европейцами океаническаго мореплаванія. Въ первый періодъ Семирѣчье не было такой „обездоленной“ страной, какъ потомъ; въ Семирѣчьѣ тогда было довольно большое число городовъ, хотя отъ этого блеска осталась только башня Бурана. По аналогичнымъ причинамъ (направленіе торговыхъ путей) въ Персіи культурная жизнь всегда сосредоточивалась въ городахъ сѣверныхъ областей, далекихъ отъ океана, а не въ береговой полосѣ.“

В. В. Бартольду обязана многимъ исторія русской географіи. Вторая часть его курса по исторіи востоковѣдѣнія, озаглавленная „Обзоръ русскихъ трудовъ по изученію Востока“, содержитъ въ себѣ исторію русскихъ географическихъ открытій и вообще экспансіи русской географической науки, т. е. расширенія поля ея дѣятельности. Въ этомъ качествѣ, работа В. В-ча можетъ быть поставлена рядомъ съ лучшими новѣйшими трудами по исторіи русской географіи, въ частности, съ книгами Л. С. Берга и покойнаго Г. И. Танфильева. Но „обзоръ“ В. В. Бартольда заключаетъ въ себѣ и нѣчто большее. По существу дѣла — это „взглядъ на русскую исторію не съ Запада, а съ Востока“, — по полнотѣ соперничающій со всѣми подобными опытами послѣднихъ лѣтъ, а по времени имъ предшествующій. Тотъ обзоръ культурныхъ связей Руси съ Востокомъ и ея дипломатическихъ съ нимъ сношеній, который далъ В. В., не могъ пройти и не прошелъ безслѣдно для русской исторіографіи. Онъ явился факторомъ расширенія тѣхъ рамокъ, въ которыхъ разсматриваются факты русской исторіи.

Какъ было сказано выше, „монгольскому“ періоду въ исторіи Стараго Свѣта В. В. удѣлялъ самое пристальное вниманіе. Общее значеніе его онъ характеризуетъ, напр., въ книгѣ объ Улугбекѣ[24]: „въ короткое время возникаетъ не только сильная государственная власть, но и представленіе о великодержавномъ могуществѣ, при благопріятныхъ условіяхъ переходящее въ представленіе о міровомъ владычествѣ“. Здѣсь же онъ даетъ исключительную по яркости параллель-

---

[24]) Улугбекъ и его время, с. 3—6.

ную характеристику Чингизъ-хана и Тимура.[25] Къ темѣ о значенiи монголовъ въ исторiи онъ возвращается и въ брошюрѣ 1926 г.[26] Въ „Исторiи изученiя Востока въ Европѣ и Россiи“ онъ разсматриваетъ это значенiе примѣнительно къ проблемамъ русской исторiи: „Несмотря на опустошенiя, произведенныя монгольскими войсками, несмотря на всѣ поборы баскаковъ, въ перiодъ монгольскаго владычества было положено начало не только политическому возрожденiю Россiи, но и дальнѣйшимъ успѣхамъ русской культуры... Татарскiя традицiи больше всего отразились на русской внѣшней политикѣ и на посольскомъ церемонiалѣ. Послѣ исчезновенiя или ослабленiя татарскихъ ханствъ на русскаго царя отчасти была перенесена татарская государственная идея; его стали называть „великимъ бекомъ, бѣлымъ ханомъ“.[27] В. В. характеризуетъ фигуру Касимова, одного изъ эмиссаровъ русскаго правительства, побывавшаго въ XVII в. въ средне-азiатскихъ ханствахъ. При исполненiи своей миссiи Касимовъ держалъ себя съ большой твердостью и достоинствомъ. По словамъ Бартольда, „Касимовъ былъ однимъ изъ тѣхъ дѣятелей татарскаго происхожденiя, которые въ XVII и XVIII вв. оказали Россiи большiя услуги при сношенiяхъ съ передне-азiатскими и даже съ восточно-азiатскими государствами“.[28]

Вопросъ о роли монголовъ В. В. ставилъ не только исторически, но также историософски. Именно такъ онъ трактовалъ вопросъ въ словахъ, обращенныхъ къ пишущему эти строки: „Въ связи съ монгольской имперiей можно до нѣкоторой степени говорить о единствѣ (конечно, тоже временномъ) степной полосы отъ Венгрiи до Хингана, какъ объ особомъ историческомъ мiрѣ; но, несмотря на большое число кочевыхъ политическихъ образований, только монголы на короткое время объединили подъ своей властью культурныя страны восточной и западной Азiи; можетъ ли это совершиться еще разъ, этого никто не знаетъ. Монгольское владычество всѣмъ странамъ, гдѣ оно было, оставило въ наслѣдство бóльшую политическую устойчивость, но въ остальномъ его послѣдствiя были неодинаковы. До сихъ поръ не могу объяснить себѣ фактъ, что изъ Китая только въ эпоху монгольскаго владычества отправлялись большiя морскiя экспедицiи, тогда какъ персидское мореплаванiе въ эпоху монгольскаго владычества потеряло всякое значенiе (сказанное въ моемъ „Историко-географическомъ обзорѣ Ирана“, стр. 99, какъ у моихъ предшественниковъ, будто „средне-азiатскiе арiйцы вообще никогда не могли преодолѣть страха передъ моремъ“, какъ я съ тѣхъ поръ убѣдился, совершенно невѣрно)“. Здѣсь В. В. оперируетъ съ понятiемъ „степной полосы отъ Венгрiи до Хингана“, какъ съ представленiемъ объ особомъ историческомъ мiрѣ. Въ томъ же письмѣ онъ анализуетъ понятiе Европы, какъ особаго культурнаго мiра. Онъ говоритъ: „и это для меня только временное явленiе; такого мiра не было въ древности, и онъ образовался подъ влiянiемъ такихъ позднихъ явленiй, какъ латинская колонизацiя и распространенiе католичества — и, конечно, останется не на-

[25]) Цит. соч., с. 33—35.

[26]) Современное состояние и ближайшие задачи изучения истории турецких народностей, Баку 1926, с. 12.

[27]) Исторiя..., с. 171—172.

[28]) Цит. соч., с. 182.

всегда". Въ связи съ этимъ, В. В. былъ рѣшительнымъ противникомъ европоцентризма въ историческихъ построеніяхъ. Онъ критикуетъ выводы европейской соціологіи: по его мнѣнію, они „основаны почти исключительно на фактахъ исторіи Европы, между тѣмъ даже если принимать во вниманіе только народы, входящіе или входившіе въ кругъ всемірно-историческаго общенія, то и среди этихъ народовъ народы Европы составляютъ только незначительное меньшинство... Этимъ опредѣляется необходимость изученія исторіи Востока для пониманія „всемірной" исторіи, подъ которою уже нельзя понимать только исторію Европы, и для созданія науки „соціологіи", положенія которой не могутъ считаться установленными, пока они опираются только на факты исторіи европейскихъ народовъ".[29]

Изъ числа работъ Бартольда, наиболѣе насыщенной въ исторіософскомъ отношеніи является именно „Исторія изученія Востока въ Европѣ и Россіи". Въ письмѣ къ автору этихъ строкъ В. В. такъ разъясняетъ самое названіе этого труда:

«Давая заглавіе своей книгѣ, я не имѣлъ въ виду какой-либо исторической доктрины. Если бы я началъ свое изложеніе хотя бы со среднихъ вѣковъ, я, можетъ быть, употребилъ бы терминъ „западная Европа"; но въ моей книгѣ довольно много мѣста занимаетъ античный періодъ, когда западной Европы, какъ особаго культурнаго міра, еще не было. Поэтому я счелъ себя вправѣ разсматривать европейскую науку о Востокѣ какъ одно цѣлое, не смущаясь тѣмъ, что эта наука получила начало на западномъ берегу Малой Азіи, что главнымъ мѣстомъ ея процвѣтанія былъ нѣкоторое время африканскій городъ (Александрія), что нѣсколько вѣковъ прерванная въ Европѣ научная работа продолжалась въ Багдадѣ и другихъ центрахъ мусульманской культуры. Изученіе Востока въ Россіи я разсматривалъ отдѣльно совершенно независимо отъ вопроса, причислять ли Россію къ Европѣ или нѣтъ. Я руководствовался только тѣмъ, что въ Россіи отношеніе къ Востоку и связанное съ нимъ изученіе Востока развивались особыми путями, не утратившими своего значенія даже послѣ подчиненія русской науки вліянію западно-европейской. Мнѣ и теперь кажется, что изученіе Востока въ Россіи въ гораздо большей степени, чѣмъ „русская географическая наука", представляетъ „особый научный міръ".» Многіе русскіе географы не согласились бы съ послѣднимъ сужденіемъ В. В-ча, въ его отрицательной части. Для нѣкоторыхъ изъ нихъ „русская географическая наука" есть „особый научный міръ" во всей той мѣрѣ, какая мыслима.[30] Но нужно замѣтить, что собственно естествовѣдныя данныя географіи были не такъ близки В. В-чу, какъ другія ея части. Зато характеристику русскаго востоковѣдѣнья, какъ „особаго научнаго міра", можно считать сдѣланной лучшимъ спеціалистомъ эпохи. Нельзя не поразиться яркости и сжатости даннаго въ немногихъ строкахъ общаго обзора судебъ востоковѣдныхъ изученій. Повторяемъ, В. В. Бартольду были въ одинаково полной мѣрѣ доступны выводы античнаго, мусульманскаго, европейскаго и русскаго востоковѣдѣнья. И работы его составлены съ привлеченіемъ всей совокупности этихъ данныхъ, въ частности, съ широкимъ и постоян-

[29]) История изучения Востока въ Европе и России, с. 16 и 34.

[30]) Сошлемся, напр., на соотвѣтствующія концепціи В. В. Алёхина, В. П. Семенова Тянъ-Шанскаго и Г. И. Танфильева.

нымъ обращеніемъ къ арабскимъ, персидскимъ и турецкимъ источникамъ, используемымъ всегда въ оригиналѣ, а сплошь и рядомъ — по неизданной рукописи. В. В. не ограничивается всѣмъ этимъ и къ „исторіи изученія Востока въ Европѣ и Россіи“ присоединяетъ краткій очеркъ китайскаго западовѣдѣнья.[31] Эрудиція В. В-ча была дѣйствительно безпримѣрна. А разъ осуществившись, она указываетъ русской наукѣ новые пути — пути трактовки Стараго Свѣта, какъ единства. Въ этихъ перспективахъ Востокъ и Западъ видны одинаково хорошо. До сихъ поръ это было не такъ. Востокъ въ русскомъ самосознаніи чувствовался мало и слабо. Но отнынѣ это должно стать именно такъ. Разсматриваемый вопросъ В. В. Бартольдъ трактуетъ не только въ обще-культурной, но также въ экономической плоскости: „Мѣры отдѣльныхъ правительствъ къ открытію и закрытію рынковъ, въ томъ числѣ и завоевательные походы, были только безсознательными шагами на пути къ осуществленію всё болѣе выяснявшагося историческаго призванія Россіи быть посредницей въ сухопутныхъ сношеніяхъ, торговыхъ и культурныхъ, между Европой и Азіей... мрачными страницами прошлаго... не закрывается путь для болѣе свѣтлаго будущаго“.[32]

Одной изъ центральныхъ, постоянно имъ выдвигаемыхъ исторіософскихъ идей Бартольда была идея передвиженія культурныхъ средоточій. Наблюденія этого рода составляютъ основной стержень цѣлаго ряда работъ В. В-ча. Онъ характеризуетъ эпоху Сасанидовъ: „Римская имперія была оттѣснена отъ береговъ Каспійскаго моря, что не могло не отразиться на ея участіи въ караванной торговлѣ; на морѣ прекратились непосредственныя сношенія между гаванями имперіи и Индіи, и вся морская торговля между Индіей и Китаемъ перешла въ руки персовъ. Всѣмъ этимъ было положено начало переходу культурнаго первенства отъ европейскихъ народовъ къ передне-азіатскимъ, окончательно опредѣлившемуся въ мусульманскій періодъ.“[33] В. В. описываетъ эпоху расцвѣта мусульманской культуры. Но уже въ XV вѣкѣ начинается обратное движенье. Іосафатъ Барбаро, итальянскій путешественникъ XV в., „едва ли не первый изъ средневѣковыхъ путешественниковъ говоритъ о возвращеніи въ Европу, какъ о возвращеніи въ болѣе культурныя условія жизни, хотя процессъ перехода культурнаго первенства отъ Передней Азіи къ Западной Европѣ въ то время только начинался“.[34] Въ серединѣ XVII вѣка, „благодаря іезуитамъ, европейская астрономія вытѣснила изъ Китая мусульманскую, что является однимъ изъ наглядныхъ признаковъ окончательнаго перехода первенства къ европейской наукѣ и вообще европейской культурѣ“.[35] „XVIII вѣкъ былъ критическимъ для всего мусульманскаго міра... Въ Европѣ XVIII вѣкъ былъ, напротивъ, вѣкомъ прогресса и реформъ, положившихъ начало господству европейцевъ на всемъ земномъ шарѣ.“[36] Даже въ небольшой замѣткѣ В. В-ча: „Посольство изъ Рима въ Багдадъ въ началѣ X вѣка“ проглядываетъ та же мысль о миграціи культурныхъ центровъ. X вѣкъ есть для

---

[31]) Цит. соч., с. 57—60.
[32]) История культурной жизни Туркестана, 1927, с. 253—254.
[33]) Цит. соч., с. 16.
[34]) История изучения Востока в Европе и России, с. 83.
[35]) Цит. соч., с. 97.
[36]) История культурной жизни Туркестана, с. 103.

него „одна изъ первыхъ страницъ въ исторіи непосредственныхъ, помимо Византіи, сношеній западной Европы съ мусульманскимъ міромъ, подготовившихъ будущее экономическое и культурное первенство западно-европейскихъ странъ".[37]

Говоря объ этихъ вопросахъ, нельзя забывать, что никакое данное состояніе В. В. не считалъ вѣчнымъ (см. выше). И, несомнѣнно, предъ нимъ вставалъ вопросъ о томъ, въ какомъ направленіи пойдетъ дальнѣйшая миграція культурныхъ средоточій...

Разсматривая работы В. В-ча,[38] нужно отмѣтить еще одну ихъ черту. В. В. умѣлъ писать увлекательно. Правда, не всѣ работы его легко доступны читателю. И даже первыя главы „Исторіи культурной жизни Туркестана", насыщенныя разнообразнымъ историческимъ матеріаломъ, создаютъ впечатлѣніе нѣкоторой калейдоскопичности. Но уже послѣдующія главы, излагающія исторію Туркестана отъ времени русскаго завоеванія по 1917 г., производятъ существенно иное впечатлѣніе. Здѣсь достигнута яркость и цѣлостность изложенія. Было бъ желательно, чтобы такія исторіи были написаны примѣнительно и къ другимъ областямъ и районамъ Россіи. Этимъ было бы значительно облегчено дѣло грядущаго Момзена Россійской имперіи.[39] Захватывающей по интересу является книга В. В. Бартольда объ Улугбекѣ. Передъ читателемъ проходитъ рядъ выразительныхъ образовъ, насыщенныхъ то глубокимъ, проникающимъ всё, религіознымъ чувствомъ, то трагическимъ напряженіемъ, то конвульсіей злодѣйства. Упомянутая книга В. В-ча является яркимъ показателемъ того, какъ много поучительнаго и въ высокой степени занимательнаго для каждаго образованнаго читателя можетъ извлечь ученый востоковѣдъ изъ исторіи мусульманскаго и исторіи кочевого міра.

Еще въ 1928 г. В. В. былъ полонъ силъ и плановъ. Лѣтомъ этого года онъ побывалъ въ Туркестанѣ, гдѣ передъ тѣмъ былъ въ 1920 и 1925 гг. Ближайшее бытовое знакомство съ Туркестаномъ, имѣвшее къ этому времени уже 35-тилѣтнюю давность, несомнѣнно въ огромной степени помогло В. В-чу въ написаніи заключительныхъ главъ „Исторіи культурной жизни Туркестана": многія учрежденія, которыя онъ описывалъ, и многихъ людей, которыхъ онъ упоминалъ, онъ зналъ въ свое время по личному опыту. В. В. былъ не только ученымъ спеціалистомъ по исторіи Туркестана. Онъ былъ и несравненнымъ бытовымъ его знатокомъ. — Въ началѣ 1928 г. скончалась его жена — долголѣтняя спутница его жизни (дочь востоковѣда В. А. Жуковскаго). Въ томъ же году В. В. сталъ директоромъ основаннаго тогда Академіей Наукъ турkологическаго кабинета, для котораго онъ „отвелъ часть своей квартиры и въ который передалъ часть своей библютеки". Осенью того же года В. В. писалъ: „Главная задача, стоящая у меня на очереди — изданіе рукописи Туманскаго, съ подробнымъ введеніемъ:

[37]) Сборникъ статей по археологіи и византиновѣдѣнію, издаваемый Семинаріемъ имени Н. П. Кондакова, II, Прага 1928, с. 88—89.

[38]) Перечисленіе ихъ имѣется въ брошюрѣ И. И. Умнякова: В. В. Бартольд. По поводу 30-летия профессорской деятельности (отдѣльный оттискъ изъ „Бюллетеня Средне-Азиатского Государственного Университета", № 14), Ташкент, 1926. Ср. также „Библиографию по Средней Азии" Н. Я. Виткинда (Москва 1929), с. 18—20, 98—100.

[39]) Какъ извѣстно, одинъ изъ лучшихъ томовъ римской исторіи Момзена посвященъ исторіи отдѣльныхъ провинцій

это — долгъ русской науки, который давно слѣдовало бы исполнить, но въ виду массы текущей работы всё не хватаетъ времени“.[40] Тогда же В. В. собирался въ Москву — онъ былъ приглашенъ читать курсъ исторіи Средней Азіи на этнологическомъ факультетѣ Московскаго Университета. В. В. продолжалъ энергично работать и въ 1929 г. Но къ концу этого года силы его стали замѣтно слабѣть. Онъ писалъ 28 декабря 1929 г.: „съ каждымъ годомъ работы больше, работоспособности меньше; кажется, нѣсколько ослабѣваетъ и память; чаще прежняго случается упускать свои обязанности просто по забывчивости, и нѣсколько дней тому назадъ одинъ изъ моихъ русскихъ корреспондентовъ въ мягкой формѣ выразилъ свое удивленіе, что я, вопреки своему обычаю, не поблагодарилъ его за присланную книжку“. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ были написаны эти строки, В. В-ча не стало.

Русской наукѣ онъ открылъ новые пути какъ по части исторіи Востока, такъ и въ области собственно русской исторіи; и болѣе всего — по установленію связи между одной и другой.

Петръ Н. Савицкій.

ПАМЯТИ АВГУСТА ГЕЙЗЕНБЕРГА

Скромные числомъ ряды византинистовъ понесли недавно еще одну тяжелую утрату: 22-го ноября 1930 г. умеръ отъ остраго кишечнаго заболѣванія, полученнаго имъ въ Аѳинахъ во время пребыванія на византологическомъ съѣздѣ, Августъ Гейзенбергъ. Ученикъ и наслѣдникъ знаменитаго Крумбахера на каѳедрѣ средневѣковой и ново-греческой филологіи въ Мюнхенскомъ Университетѣ, долголѣтній издатель »Byzantinische Zeitschrift«, членъ Баварской, Венгерской и Россійской Академіи Наукъ, покойный ученый стоялъ въ первомъ ряду выдающихся византинистовъ нашего времени, и его смерть является большимъ ударомъ для этой научной области, до сихъ поръ еще столь бѣдной изслѣдователями.

Гейзенбергъ родился въ 1869 г. въ Оснабрюкѣ. Университетъ окончилъ въ Мюнхенѣ какъ ученикъ Крумбахера, въ семинарій котораго отовсюду стекались молодые византологи, стремившіеся „вплотную“ подойти къ работѣ съ источниками въ подлинникѣ и усовершенствовать свои знанія въ палеографіи, дипломатикѣ, критикѣ и интерпретаціи византійскихъ рукописей. Вліяніе знаменитаго историка византійской литературы на ученика сказалось не только въ выработкѣ утонченныхъ методовъ изслѣдованія источниковъ, но и въ опредѣленіи научныхъ интересовъ Гейзенберга, главное вниманіе котораго въ теченіе всей его научной дѣятельности сосредоточивалось на изученіи византійскихъ литературныхъ памятниковъ. Вскорѣ по окончаніи Университета, одновременно со службой учителя гимназіи, Гейзенбергъ начинаетъ свой трудъ по изданію византійскихъ источниковъ, трудъ, доставившій ему заслуженную славу какъ по совершенству изданія

---

[40]) Рукопись Туманскаго — сочиненіе неизвѣстнаго персидскаго географа X вѣка, открытое въ 1892 г. въ Бухарѣ и содержащее цѣнный матеріалъ для познанія названной эпохи.

печатавшихся текстовъ, такъ и по исчерпывающимъ Prolegomena къ нимъ. Въ 1896 г. выходитъ Nicephori Blemmydae Curriculum vitae, въ 1901 — Analecta. Mitteilungen aus italienischen Handschriften byzantinischer Chronographen, въ 1903 — Acropolitae Historia, въ 1905 — Leben Kaisers Johannes des Barmherzigen, въ 1907 — Nikolaus Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Komnenos. Послѣдними работами открывается рядъ изслѣдованій Гейзенберга въ области политической исторіи Византіи, съ послѣднимъ же трудомъ, базирующемся на найденномъ и исчерпывающе комментированномъ Гейзенбергомъ Месаритѣ, стоитъ въ связи и фундаментальное изслѣдованіе въ области византійскаго искусства — Grabes- und Apostelkirche (1908).

Сдѣлавшись въ 1910-мъ году преемникомъ Крумбахера на каѳедрѣ византійской и ново-греческой филологіи, Гейзенбергъ посвящаетъ главное вниманіе чисто лингвистическимъ проблемамъ и палеографическимъ изслѣдованіямъ, результатомъ которыхъ явилось (выполненное совмѣстно съ Л. Венгеромъ) замѣчательное изданіе папирусовъ Баварской государственной библіотеки. Война, уведя Гейзенберга въ чинѣ капитана на фронтъ, не прервала его научныхъ занятій. Попавъ послѣ раненія въ греческій лагерь въ Горлицѣ, гдѣ ему пришлось столкнуться съ людьми изъ различныхъ областей Греціи, Гейзенбергъ воспользовался случаемъ изучить современные греческіе діалекты и съ помощью фонографа собралъ цѣнный матеріалъ для греческой діалектологіи. Въ связи съ этимъ стоитъ и созданіе его непосредственныхъ, близкихъ связей съ греческимъ міромъ, культурныя и политическія проблемы котораго всегда привлекали живѣйшій интересъ Гейзенберга.

Послѣднее десятилѣтіе, когда по окончаніи войны профессоръ Гейзенбергъ вернулся къ университетской работѣ, было наиболѣе плодотворной эпохой въ его научной дѣятельности вообще, и въ частности на полѣ византиновѣдѣнія, привлекавшаго его особое вниманіе и въ связи съ изданіемъ Byzantinische Zeitschrift, и въ связи съ преподавательской дѣятельностью, выразившейся въ подготовкѣ цѣлаго ряда спеціалистовъ-византиновѣдовъ, занимающихъ въ данное время университетскія каѳедры не только въ Германіи и Скандинавскихъ странахъ, но и въ Италіи и въ славянскихъ государствахъ. Хотя внутренняя жизнь средневѣковой Греціи — ея литература, искусство, церковная жизнь, государственное и общественное устройство — привлекали бóльшее вниманіе Гейзенберга, нежели вопросы внѣшней политики, однако и въ этой области онъ далъ нѣсколько цѣнныхъ трудовъ, въ особенности трехтомное изслѣдованіе Zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion (1922—1924). Исторіи византійскаго государственнаго и общественнаго строя посвящено, хотя и вызвавшее въ нѣкоторыхъ частяхъ возраженія критики, но очень серьезное и хорошо освѣдомленное изслѣдованіе Staat und Gesellschaft des byzantinischen Reiches (1923), вышедшее во 2-мъ томѣ изданной Гиннебергомъ Die Kultur der Gegenwart. Центральной же частью работъ Гейзенберга являются его труды по изученію византійскихъ писателей, въ особенности позднѣйшаго періода — Никифора Влеммида, Георгія Акрополита, Николая и Іоанна Месарита, Ѳеодора Скутаріота, Николая Иреникоса, Георгія Пахимера, Холовалоса и другихъ. Нѣко-

торые изъ нихъ впервые опубликованы Гейзенбергомъ, другимъ посвящены отдѣльныя монографіи, большая часть приведена и разобрана въ изслѣдованіи Aus der Geschichte und Literatur der Palaiologenzeit (1920); наконецъ, огромное значеніе имѣетъ подготовленное имъ новое изданіе Крумбахеровой исторіи византійской литературы. Рядъ работъ посвященъ Гейзенбергомъ и исторіи византійскаго искусства: сюда относятся (кромѣ главнаго, вышедшаго въ 1908 г. труда Apostelkirche) Ikonographische Studien (1921), Kreuzreliquiar der Reichenau (1926) и др. Очень интересной является статья, трактующая спорный вопросъ — Das Problem der Renaissance in Byzanz (Histor. Zeitschrift, № 133, 1926).

Въ лицѣ покойнаго Гейзенберга византиновѣдѣніе потеряло выдающагося лингвиста, поражающаго остротой этимологическаго и стилистическаго анализа источниковъ, прекраснаго палеографа, для котораго подлинные тексты были родной и любимой стихіей, тонкаго знатока византійской литературы въ ея связи со всѣми проявленіями культурной жизни средневѣковой Греціи, наконецъ, — автора цѣнныхъ изслѣдованій въ области соціальной культуры и политической исторіи поздне-византійскаго періода.

В. Мошинъ.

ХРОНИКА

ТРЕТІЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪѢЗДЪ ВИЗАНТОЛОГОВЪ ВЪ АѲИНАХЪ

Періодически повторяющіеся международные конгрессы византологовъ стали прочно установившейся ученой традиціей. Очередной съѣздъ ученыхъ, работающихъ въ области византиновѣдѣнія и смежныхъ научныхъ областяхъ, состоялся въ октябрѣ 1930 г. въ Аѳинахъ. То обстоятельство, что этотъ съѣздъ, какъ и предыдущій бѣлградскій 1927 г., былъ созванъ въ одной изъ странъ — наслѣдницъ византійской имперіи, уже могло служить благопріятнымъ предзнаменованіемъ для плодотворности его работъ, поскольку работы этихъ съѣздовъ — также по установившейся со временъ прекраснаго бѣлградскаго конгресса традиціи — связаны съ осмотромъ историческихъ памятниковъ и экскурсіями въ мѣста, сохранившія слѣды византійской культуры. Главная цѣль съѣзда, предоставить обычно разобщеннымъ спеціалистамъ-византологамъ возможность широкаго личнаго общенія, также оказалась вполнѣ осуществленной, ибо съѣздъ привлекъ огромное большинство работающихъ въ данной области изслѣдователей, объединивъ представителей всѣхъ европейскихъ странъ, въ которыхъ ведется работа по византиновѣдѣнію. Отсутствовали только русскіе ученые, живущіе въ Совѣтской Россіи и лишенные враждебной серьезной наукѣ сов. властью возможности принимать участіе въ общей культурной работѣ. Изъ русскихъ же ученыхъ, проживающихъ заграницей, въ работахъ съѣзда приняли участіе: М. А. Андреева (Прага), Н. М. Бѣляевъ † (Прага), А. Н. Грабаръ (Страсбургъ), В. А. Мошинъ (Копривница), Н. Л. Окуневъ (Прага), Г. А. Острогорскій (Бреславль), И. О. Панасъ (Прага) и А. В. Соловьевъ (Бѣлградъ). Названными русскими учеными были прочитаны на съѣздѣ восемь докладовъ, на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Торжественное открытіе съѣзда состоялось въ воскресенье 12-го октября въ присутствіи представителей греческаго государства и греческихъ научныхъ учрежденій, которые привѣтствовали съѣхавшихся въ Аѳины ученыхъ. Пріѣзжіе ученые въ свою очередь привѣтствовали съѣздъ и его устроителей отъ имени делегировавшихъ ихъ странъ, научныхъ учрежденій и корпорацій, при чемъ привѣтствіе отъ имени русскихъ ученыхъ заграницей произнесъ проф. Н. Л. Окуневъ. На слѣдующій день начались работы съѣзда, чтенія научныхъ докладовъ, распредѣленныя по секціямъ.

Изъ докладовъ, прочитанныхъ въ исторической секціи, отмѣтимъ: V. Laurent, „Источники для установленія списковъ епископовъ византійскаго патріархата", П. Никовъ, Отношеніе болгарской церкви къ константинопольскому патріархату въ 1235 г.; Д. Анастасіевић, Хронологія войны Цимисхія съ русскими; N. Banescu, Сношенія Генуи съ Трапезундской имперіей въ первую половину XV в.; В. Мошинъ, Кэмбриджскій Анонимъ X в. объ отношеніяхъ хазаръ съ Русью и Византіей; Fr. Dölger, Іоаннъ VIII, императоръ и самодержецъ византійскій 1390—1408; Fr. Dvornik, Византія и Великая Моравія; А. Радонић, Критобулъ, византійскій историкъ XV вѣка.

Въ археологической секціи: O. Wulff, Вопросъ о развитіи древне-христіанской базилики; Кр. Миятевъ, Пластическій стиль круглой церкви Преславы; Г. Σωτηρίου, Древне-христіанскія базилики Греціи; L. Bréhier, Византійскій ларецъ слоновой кости съ языческими

и библейскими украшеніями; Ed. Weigand, Греческая школа въ средневѣковой византійской шелковой промышленности; Б. Филовъ, Происхожденіе Сенъ-Миклошскаго клада; Н. Бѣляевъ, Древнѣйшая русская иконопись; А. Грабаръ, Греко-восточная иллюстрація IX—X вѣковъ; G. de Jerphanion, Хронологія каппадокійской живописи; Ph. Schweinfurth, Вліяніе византійскаго искусства на образованіе стиля Возрожденія; Н. Окуневъ, Живопись церкви въ Нерезѣ и ея датировка; G. Balş, Армянскія и грузинскія вліянія на румынскую архитектуру; Фр. Мессеснель, Фрески второй половины XII ст.; Αν. Ὀρλάνδος, Византійскіе памятники Хіоса по новѣйшимъ изслѣдованіямъ; А. Протичъ, Вопросъ о портретѣ въ Болгаріи въ 1259 г.; P. Henry, Главныя черты молдавской иконографіи; Вл. Петковић, Живопись дечанской церкви XIV вѣка, G. Millet, Византійская псалтырь съ иллюстраціями на поляхъ.

Изъ докладовъ по юридической секціи: F. H. Schmid и E. Bruck трактовали проблему церковной трети при передачѣ наслѣдства; Germaine Rouillard, О финансовыхъ учрежденіяхъ при Палеологахъ; А. В. Соловьевъ, О двухъ сербскихъ компиляціяхъ въ византійскомъ правѣ.

Изъ докладовъ, прочитанныхъ на объединенныхъ собраніяхъ всѣхъ секцій, укажемъ: Ch. Diehl, „Житіе" императора Θеофила (печатается въ настоящемъ сборникѣ, см. стр. 33—37); Г. Χατζιδάκις, Ὁ Θησαυρὸς τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς; Aug. Heisenberg, Византиновѣдѣніе послѣ міровой войны, его развитіе и его цѣли; N. Jorga, Вельможныя семьи Византіи въ Румыніи и возрожденіе идеи Имперіи у румынъ.

Работы съѣзда заполнили всю недѣлю съ 12-го по 18-ое октября; при закрытіи съѣзда былъ, какъ всегда, прочитанъ рядъ резолюцій, выражающихъ научныя пожеланія и предложенія участниковъ съѣзда. Особенно слѣдуетъ отмѣтить принятую по иниціативѣ проф. Грегуара (Брюссель) резолюцію о переизданіи византійскихъ историковъ; это широко задуманное научное предприятие проф. Грегуара, въ которомъ многіе изъ присутствовавшихъ на съѣздѣ спеціалистовъ изъявили готовность принять участіе, замѣнитъ устарѣвшій Боннскій корпусъ, слѣдуя въ изданіи текстовъ принципамъ новѣйшей эдиціонной техники, а также снабжая тексты переводами и историческими комментаріями.

Секціоннымъ работамъ съѣзда отводились обычно до-обѣденные часы, остальная же часть дня уходила на осмотръ аѳинскихъ древностей, на изученіе памятниковъ музеевъ и частныхъ собраній, а также на вечерніе банкеты, театральныя и прочія представленія, предложенные участникамъ съѣзда гостепріимными его устроителями. Какъ ни преобладаютъ во впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ изъ Аѳинъ, несравненныя ихъ сокровища классической эпохи, византологу надлежитъ указать на музей памятниковъ византійскаго искусства, созданный трудами проф. Сотеріу, и на изумительную частную коллекцію г. Левардоса.

По окончаніи съѣзда была устроена поѣздка въ монастырь Дафны съ его знаменитыми византійскими мозаиками, а затѣмъ и большія экскурсіи морскимъ путемъ въ Пелопонесъ для посѣщенія южно-греческихъ центровъ византійскаго средневѣковья. Участникамъ съѣзда были показаны приморскій укрѣпленный городъ византійскихъ временъ — Монемвасія и возвышающаяся надъ Спартанской долиной Мистра съ ея безчисленными, изукрашенннымиї византійскими фресками церквами и замкомъ Вильгельма Виллардуэна на вершинѣ горы. Необходимо отмѣтить необычайное гостепріимство греческаго правительства, которое проявилось и во время этихъ, къ тому же блестяще организованныхъ, поѣздокъ.

Г. Острогорскій.

СЪѢЗДЪ БАЛТІЙСКИХЪ АРХЕОЛОГОВЪ

Съ 19-го по 23-е августа 1930 года въ Ригѣ состоялся съѣздъ балтійскихъ археологовъ, на который съѣхались ученые Германіи, Швеціи, Даніи, Финляндіи, Польши, Литвы, Эстоніи и Латвіи. Большинство прочитанныхъ докладовъ имѣетъ мѣстное, прибалтійское, значеніе; но на ряду съ ними былъ рядъ докладовъ и по археологіи восточной Германіи, центральной Польши и Литвы и одинъ докладъ — чисто организаціоннаго значенія, касаю-

щійся вопросовъ систематизаціи и регистраціи археологическихъ памятниковъ (A. Tade).

Для участниковъ Съѣзда былъ устроенъ рядъ экскурсій по Латвіи и показательныя раскопки.

Изъ прочитанныхъ докладовъ отмѣтимъ слѣдующіе: G. Hallström, Черты сходства и различія искусства каменнаго вѣка на западномъ и восточномъ побережьи Ботническаго залива; B. Frhr. v. Richthofen, Объ искусствѣ сѣверо-восточнаго района младшей желѣзной поры въ Швеціи, Норвегіи и Пруссіи; J. Kostrzewski, О заселеніи польскаго восточнаго побережья въ младшую каменную эпоху; W. La Baume, Критическій обзоръ значенія до-историческихъ рисунковъ; A. M. Tallgren, Дунайскіе элементы ранней желѣзной поры въ восточной Прибалтикѣ; W. Ginters, Къ вопросу о до-римской желѣзной порѣ въ Латвіи; O. Kunkel, Предметы ввоза въ до-историческую Померанію; H. Kjaer, Находки въ Даніи отдѣльныхъ и групповыхъ поселеній въ ранне-желѣзную пору; Fr. Balodis, Латвійскія городища и строительство младшей желѣзной поры; V. Nagevičius, Раскопки въ Пражмонтѣ; J. Dylik, Къ вопросу о введеніи въ до-историческую географію; O. F. Gandert, Къ изученію хозяйственныхъ формъ района культуры гребневой керамики; E. Šturms, Древне-бронзовая эпоха въ юго-восточной Прибалтикѣ; J. Bröndsted, Искусство Востока и возникновеніе древне-германскаго звѣринаго орнамента; W. Schmiedeholm, Сношенія Привислія съ Эстоніей въ римскую желѣзную эпоху; H. Moora, Культура курганныхъ погребеній старшей желѣзной поры въ Латвіи; E. Velteris, Серебряные предметы (изъ Балейки и Пошушве, X—XI вв.) Ковенскаго Музея; R. Jakimowicz, О происхожденіи Гакскаго серебрянаго клада (X—XII вв.); B. Nermann, Раскопки въ Гробинѣ въ 1929 г.; N. Åberg, Война и торговля въ до-историческія времена; T. J. Arne, Шведы на Руси въ эпоху викинговъ; G. Schwantes, Раскопки Національнаго Музея Древностей Киля въ области города Haithabu; O. Scheel, Историческая сторона вопроса о Хаітхабу; W. Unverzogt, Лоссовское городище въ Германіи; C. Engel, Къ вопросу о раздѣленіи на періоды поздне-языческой эпохи восточной Пруссіи; K. Jadzewski, Великопольская культура въ западной Польшѣ; A. Schück, Шведскія переселенія въ Эстонію; A. Kiekebusch, Наблюденія надъ профилями городищъ древнихъ Вендовъ въ Бранденбургѣ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПЕРСИДСКАГО ИСКУССТВА ВЪ ЛОНДОНѢ

7. I. — 28. II. 1931.

Залы Королевской Академіи Искусства не вмѣстили всѣхъ собранныхъ выставочнымъ комитетомъ вещей. Кромѣ предметовъ главнѣйшихъ музеевъ Европы и Америки были выставлены памятники персидскаго искусства изъ трудно доступныхъ и не доступныхъ собраній и частныхъ коллекцій: сокровища шаха Персидскаго, Эрмитажа, Константинопольскаго музея и др. Выставка охватывала исторію персидскаго искусства, начиная съ I тысячелѣтія до Р. Хр. и кончая XIX вѣкомъ. Древности доисторической, архаической и ахеменидской Персіи занимали первый залъ. Самой интересной частью этого отдѣла была такъ называемая „луристанская бронза“, впервые замѣченная и опредѣленная какъ новая группа памятниковъ Ближняго Востока. Было выставлено болѣе 100 предметовъ, представляющихъ главнымъ образомъ бронзовые сосуды, навершія изъ парныхъ звѣриныхъ фигуръ и нащечники конскихъ удилъ въ видѣ фигуръ козловъ, быковъ, лошадей и проч. Типологически и стилистически здѣсь различается не менѣе трехъ группъ, относящихся къ періоду X—V в.в. до Р. Хр. Сравнительно бѣдно былъ представленъ сасанидскій періодъ. Кромѣ нѣсколькихъ хорошо извѣстныхъ тканей (изъ Милана, Кельна, Vict. and Alb. Mus., Musée des Arts Décorat. въ Парижѣ) фигурировали лѣпныя украшенія Берлинскаго Музея и большой рельефъ съ изображеніемъ охоты сасанидскаго царя на кабановъ, № 75 изъ Пенсильванскаго Музея въ Филадельфіи, очень интересный, если только не является поддѣл-

кой. Изъ богатѣйшаго собранія сасанидской торевтики въ Эрмитажѣ — были представлены два золотые кувшина и двѣ чаши Перещепинскаго клада. Невелико собраніе ранне-мусульманской бронзы, занимавшей вмѣстѣ съ сасанидскимъ отдѣломъ половину залы. Зато Персія XIV—XVIII в.в. была представлена въ очень значительномъ количествѣ памятниковъ: керамика, ковры, ткани и миніатюры. Хорошо былъ подобранъ отдѣлъ ковровъ изъ лучшихъ ковровъ европейскихъ музеевъ. Въ богатомъ отдѣлѣ керамики были поддѣлки. Миніатюры, занявшія 2 зала, собраны не особенно удачно. Очень хорошо собраніе персидскихъ тканей XV—XVIII в. в. Интересна поздне-персидская портретная живопись. Въ особой витринѣ на возвышеніи были выставлены драгоцѣнности шахской казны: золотые эмалированые кувшины, блюда, большой парадный щитъ, украшенный камнями и другая золотая утварь, покрытая эмалью тонкой работы XVII—XVIII в.в. Одновременно въ Британскомъ Музеѣ была устроена маленькая выставка хранящихся тамъ персидскихъ вещей, главный интересъ которой заключался въ прекрасно освѣщенномъ и размѣщенномъ Аму-Дарьинскомъ кладѣ.

На конгрессѣ востоковѣдовъ, предшествовавшемъ выставкѣ, принимали участіе почти всѣ крупные историки искусства Востока и выступали съ докладами М. И. Ростовцевъ, В. Ф. Минорскій, G. Contenau, O. G. von Wesendonk, R. Pfister, Fr. Sarre, E. Kühnel, H. Schmidt, K. Creswell, C. Lamm, A. Bey-Sakisian, M. Moghadam, P. Pelliot, H. Terrasse, P. Ricard, J. Shapley, T. Rice, R. Riefstahl, T. Arne, G. Wiet, M. Aga-Oglu, R. Hobsonn, J. Strzygowski. Въ центрѣ общаго вниманія былъ докладъ М. И. Ростовцева объ луристанской бронзѣ.

Къ выставкѣ пріурочивается изданіе большой и дорогой исторіи персидскаго искусства подъ ред. A. U. Pope, которому принадлежала инціатива персидской выставки, имѣвшая, несомнѣнно, большой успѣхъ у лондонской публики.

Изданія: Catalogue of the International Exhibition of Persian Art, I—II ed., An illustrated Souvenir of the Exhibition of Persian Art, Persian Art — краткая исторія персидскаго искусства, изданная Luzac & Co. Кромѣ того персидской выставкѣ посвященъ январьскій номеръ The Burlington Magazine.

Н. Т.

ЧЕСТВОВАНІЕ ПАМЯТИ Н. П. КОНДАКОВА ВЪ РИГѢ

По случаю пятилѣтія со дня смерти проф. Н. П. Кондакова, старообрядческій Кружокъ Ревнителей Русской Старины въ Ригѣ устроилъ 30 ноября 1930 г. вечеръ докладовъ, посвященный дѣятельности покойнаго русскаго ученаго. На вечерѣ присутствовали представители нѣмецкихъ организацій, проф. Фейерэйзенъ и бар. Вольфъ — отъ о-ва изслѣдователей старины при Домскомъ музеѣ, а также рядъ русскихъ общественныхъ дѣятелей и нѣкоторые спеціалисты, близкіе по роду своей дѣятельности къ искусству. Въ числѣ послѣднихъ были архитекторъ Б. Трофимовъ, В. М. Шервинскій и др.

На собраніи памяти Н. П. Кондакова предсѣдательствовалъ писатель-археологъ С. Р. Минцловъ, который во вступительной рѣчи привѣтствовалъ подобное начинаніе Кружка, ставящее себѣ цѣлью напоминаніе русской общественности о выдающихся русскихъ людяхъ. Первое такое собраніе было посвящено княгинѣ М. К. Тенишевой; нынѣшнее, второе, — посвящено русскому ученому, который отличался способностью глубоко проникать въ историческое прошлое и воскрешать въ современной обстановкѣ прежній бытъ.

Вторымъ говорилъ И. Н. Заволоко, охарактеризовавшій проф. Кондакова, главнымъ образомъ, какъ знатока русской церковной живописи, а послѣ него выступилъ проф. В. И. Синайскій, также обрисовавшій знаменитаго русскаго ученаго, какъ изслѣдователя русскаго самобытнаго искусства, связаннаго въ своей исторіи съ византійской и итальянской школами.

Проф. Синайскій предложилъ всѣмъ участникамъ собранія распространять труды Н. П. Кондакова и въ то же время знакомить съ ними ту часть русскаго населенія, преимущественно провинціальную, которая до сихъ поръ даже не знаетъ его имени.

(Газета „Сегодня“.)

ФРИЗІЯ И ЕЯ СНОШЕНІЯ СЪ АНГЛІЕЙ И БАЛТІЙСКИМЪ ПОБЕРЕЖЬЕМЪ ВЪ VI—X в. в.

Резюме доклада, читаннаго Н. Т. Бѣляевымъ въ Британскомъ Археологическомъ Обществѣ въ Лондонѣ, 5-го февраля 1931 г.

Еще Птоломей упоминаетъ фризовъ, занимающихъ пространство по побережью Сѣвернаго моря до устья Эльбы, а Тацитъ говоритъ о нихъ, какъ о населяющихъ устья Рейна. Въ VI в. фризы являются уже сильнымъ морскимъ народомъ. Данныя археологіи эпохи переселенія народовъ свидѣтельствуютъ о проникновеніи фризовъ какъ въ юго-западную Норвегію, такъ и въ Англію, особенно Кентъ, о чемъ есть свѣдѣнія также и у историка Прокопія. Этимъ фризы соединяли рейнскій торговый путь со Скандинавіей и Англіей, сосредотачивая въ своихъ рукахъ все веденіе торговли по этимъ путямъ.

Къ VIII в. они занимали уже побережье отъ устья Шельды и Одера вверхъ по этимъ рѣкамъ. Въ ихъ владѣніи была прибрежная область между Dollart и Jade, называемая Рюстрингенъ; жители этой области — Rustringi, Riustri — славились кораблестроеніемъ и мореходствомъ. Центромъ Фрисландіи былъ городъ Dorestadt на Рейнѣ (Vicum Dorestadum, нын. Wyk-te-Doorestede). Торговыя колоніи фризовъ были во всѣхъ главнѣйшихъ торговыхъ центрахъ Европы — Вормсѣ, Майнцѣ, Страсбургѣ, С.-Дени, Лондонѣ и друг. гор., достигая даже Рима. Рабы, шерстяныя одежды, вино и оружіе были главными предметами ихъ торговли. Монеты, чеканеныя фризами, имѣли широкое распространеніе въ Англіи въ VI—VIII в.в. (это т. наз. „sceattas", съ изображеніемъ переплетающихся животныхъ, и по своему стилю — ближе къ сарматскому звѣриному стилю, чѣмъ къ сѣверо-вендельскому) и чеканились вѣроятно въ Дорестатѣ. Такія тѣсныя связи у фризовъ были и со Скандинавіей, гдѣ въ центрѣ тамошней торговли — Биркѣ находимъ также фризскія монеты (до X в.). Рядъ фризскихъ колоній было и на востокѣ — въ устьяхъ Вислы и Двины, въ восточномъ углу Финскаго залива, всѣ — тѣсно связаныя со своей метрополіей — Дорестатомъ.

Свое распространеніе на востокъ фризы начинаютъ съ IX вѣка. Въ 820—850 г. г. Рюстрингенъ утверждается за домомъ норвежскихъ викинговъ Скьёльдунговъ. Но уже очень скоро послѣ этого, изъ-за непрекращавшихся между различными домами викинговъ войнъ за Фризію, а вмѣстѣ съ нею и за ея торговлю, и упадковъ вслѣдствіи этого рейнскаго пути, — фризскіе маркграфы стали искать новыхъ торговыхъ путей, обративъ свои взоры на востокъ, къ Финскому заливу, въ надеждѣ тамъ найти новые пути на югъ, въ Византію. Трудно размежевать въ этомъ дѣлѣ открытія пути „изъ Варягъ въ Греки" роль и значеніе фризовъ и норманновъ, но надо предполагать, что такія большія экспедиціи норманновъ были бъ не подъ силу имъ безъ помощи фризскаго капитала и флота. Когда во Фризіи утвердилась норманнская династія, норманнская военная предпріимчивость вмѣстѣ съ фризской торговой организованностью и привели къ открытію восточнаго торговаго пути и къ основанію Русскаго государства.

Фризы-рустрингенцы превратились у славянскаго лѣтописца въ Русь, русскихъ, и только при такомъ толкованіи можно объяснить почему лѣтописецъ, перечисляя различные народы, сосѣдившіе со славянами или такъ или иначе извѣстные имъ, — ничего не упоминаетъ о фризахъ, несомнѣнно знакомыхъ ему. Ибо подъ Русью, о которой повѣствуетъ онъ — надо видѣть нашихъ фризовъ.

ПЯТЬДЕСЯТЪ ЛѢТЪ БОЛГАРСКОЙ АРХЕОЛОГІИ

28 января 1931 г. Софійская Народная Библіотека отпраздновала пятидесятилѣтній юбилей (1878/79—1929). Но юбилей этотъ памятенъ и другому культурному учрежденію Болгаріи — Народному Археологическому Музею въ Софіи: онъ началъ свою дѣятельность, въ скромномъ видѣ археологической коллекціи Библіотеки, также въ 1878 году.

Посмотримъ, какъ развивалась его (и ему параллельныхъ учрежденій) археологическая работа за пятьдесятъ лѣтъ.[1]

Первый библіотекарь Народной Библіотеки Ив. Б. Шумковъ въ своихъ безъискусственныхъ воспоминаніяхъ[2] иниціаторомъ болгарскаго музейнаго дѣла называетъ перваго Софійскаго губернатора Петра Владиміровича Алабина, управлявшаго Софіей въ 1878 году. „Губернаторъ", разсказываетъ Шумковъ: „не только приказалъ собрать и принести всѣ древности Софіи и окрестныхъ селъ въ библіотеку, но два раза меня командировалъ въ село Бояну собрать старину и снять копіи всѣхъ изображеній святыхъ въ церкви св. Николая — св. Пантелеймона. Вслѣдствіе распоряженія губернатора взялъ съ собою и современнаго живописца Симеона (если не ошибаюсь), который нарисовалъ или снялъ двѣ копіи въ этой церкви, царя и царицы, изъ древнихъ владѣтелей Болгаріи (не помню имена); и ихъ копіи принесли въ библіотеку, также и двѣ деревянныхъ пушки изъ Панагюрища. Кромѣ вышеуказанныхъ древностей, около подножія Витошы нашелъ котелъ мѣдныхъ денегъ"...

Такъ было положено начало христіанскому и нумизматическому отдѣламъ будущаго Археологическаго Музея. Однако первые годы Народная Библіотека развивала исключительно библіотечное дѣло, а для археологической работы не хватало силъ; они явились въ 1884 году, когда указомъ отъ 4-го января директоромъ Народной Библіотеки и Музея[3] былъ назначенъ чешскій ученый д-ръ Константинъ Иречекъ.

Историко-археологическіе интересы, отличное теоретическое и практическое знакомство съ государствами Балканскаго полуострова, особенное тяготѣніе къ исторіи, географіи и археологіи Болгаріи, административный и организаціонный талантъ и энергія сдѣлали К. Иречека исключительной величиной.[4] Авторитетъ и популярность Иречека въ Болгаріи идутъ съ 1876 г., когда появилась его „Исторія Болгарскаго Народа" (Dějiny národa bulharského), переведенная въ томъ же году на нѣмецкій языкъ, а въ 1877 на русскій. Раскрывая „безпристрастно и согласно съ тогдашнимъ состояніемъ науки прошлое... нѣкогда славнаго и мощнаго народа", „Исторія" вызывала въ болгарахъ національную гордость и энтузіазмъ. Естественно, что послѣ освобожденія Болгаріи временное русское правительство, во главѣ съ императорскимъ русскимъ комиссаромъ, предложило Иречеку поступить на болгарскую службу. Иниціатормъ предложенія былъ министръ народнаго просвѣщенія временнаго правительства болгаринъ, профессоръ Харьковскаго Университета Маринъ Дриновъ, познакомившійся съ

---

[1]) Главная литература: Годишникъ на Народната библиотека въ София, 1912—13; Годишникъ на Народната библиотека въ София, 1914; Д-ръ Б. Филовъ, Рапортъ до Г-на Министра на Народното Просвѣщение върху състоянието на Народния Музей, Архивъ на Министер. на Народн. Просв., год. II, 1910, кн. 1; Докладъ до Негово Величество Фердинандъ I царь на българитѣ отъ Министерския съвѣтъ, София, 1912, стр. 122—131; Б. Дяковичъ, Нашиятъ Народенъ Музей, Мисълъ, X, 1900, кн. 7—8; А. Протичъ, Народниятъ Музей въ София, Водачъ за Народния Музей въ София, 1924, стр. 3—20; проф. Г. И. Кацаровъ, Народниятъ археологически музей, Училищенъ Прегледъ, XXVII, 1929, стр. 675—680; Б. Филовъ, Рапортъ върху дейностьта на Нар. Археол. Музей отъ 1909 до 1919 г.; Годишникъ на Нар. Археол. Музей, I, София 1920; Годишникъ на Нар. Музей за 1920 год., София 1921; Годишникъ на Народния Музей за 1921, София 1922; Годишникъ на Народния Музей за 1922—1925 годъ., София 1926; А. Протичъ, La Bulgarie, 1928, №№ 1399, 1402; 1929, №№ 1722—1724; Gawril I. Kazarow, Das archäologische Nationalmuseum in Sofia, Museumskunde, Band III, Heft 1/2, 1—15. Подробная „Библиография по археологията на България" помѣщена проф. Б. Филовымъ въ Ежегодникѣ Народнаго Музея за 1922—1925 г. Софія, 1926, стр. 613—644.

[2]) Ив. Б. Шумковъ, Патриотически и насърдчителни разкази, София, 1907, стр. 476, 477.

[3]) Софійская библіотека въ первые годы послѣ открытія нѣсколько разъ перемѣнила свое названіе, какъ объ этомъ можно судить по перепискѣ и бланкамъ. Первый годъ она называлась „Софійской Публичной Библютекой". Ставши 5-го іюня 1879 года державнымъ учрежденіемъ, она начинаетъ называться „Болгарской Народной Библіотекой въ Софіи". Наконецъ, въ документахъ 1883 года она называется уже „Народной Библіотекой и Музеемъ".

[4]) О дѣятельности Иречека въ Болгаріи см. В. Н. Златарски, Дѣйностьта на д-ръ Конст. Иречекъ въ България, Периодическо Списание,

Иречекомъ въ Прагѣ въ 1876 г. и тогда же его оцѣнившій.[5] Занимая съ 1/X 1879 по 1/IX 1884 послѣдовательно должности главнаго секретаря Министерства Народнаго Просвѣщенія, управляющаго министерствомъ, предсѣдателя Учебнаго Совѣта и директора Библіотеки и Музея, Иречекъ сдѣлалъ очень много для библютечнаго и музейнаго дѣла.

Найдя музей при Народной Библіотекѣ въ зачаточномъ состояніи, онъ составилъ проектъ его раздѣленія на три отдѣла: археологическій, естественно-научный и промышленный, способствовалъ пополненію археологической коллекціи, далъ начало приведенію въ извѣстность и описанію памятниковъ старины, привлекая для работы мѣстныя силы въ лицѣ провинціальныхъ училищныхъ инспекторовъ, побуждалъ городское управленіе Софіи слѣдить при регуляціонной планировкѣ быстро строющейся столицы за открывающеюся стариной, обращалъ вниманіе министерства общественныхъ построекъ, земледѣлія и торговли на возможность археологическихъ находокъ при постройкѣ мостовъ, дорогъ и зданій, приглашалъ инженеровъ принять участіе въ охранѣ старины и собираніи ея предметовъ, составилъ и напечаталъ руководство для собиранія географическихъ и археологическихъ матеріаловъ. Во время спеціальныхъ научныхъ поѣздокъ по Болгаріи Иречекъ основательно познакомился съ ея географіей и стариной. Результатомъ путешествія была появившаяся въ 1888 г. большая книга «Cesty po Bulharsku». Богатство топографо-археологическихъ данныхъ дѣлають ее незамѣнимой для будущаго составителя археологической карты Болгаріи. Помѣщенные въ нѣмецкихъ и чешскихъ журналахъ многочисленныя статьи основательно разсматриваютъ отдѣльные вопросы болгарской исторіи, географіи и археологіи. Часть статей на болгарскомъ языкѣ, помѣщенная въ журналѣ „Периодическо Списание", способствовала пробужденію интереса къ историко-археологическимъ занятіямъ въ болгарскомъ обществѣ.[6]

Послѣ отъѣзда Иречека, въ археологическомъ отдѣлѣ Народной Библютеки настаетъ тишина, время отъ времени нарушаемая рапортами директоровъ Библіотеки Министру Народнаго Просвѣщенія съ просьбой объ увеличеніи кредитовъ на археологическую работу или указаніемъ на необходимость особой мѣры — учрежденія должности хранителя музейнаго отдѣла, каковая должность должна быть занята лицомъ съ археологическимъ образованіемъ (рапортъ директора В. Д. Стоянова отъ 17/XI 1890 г.). Все же и при неблагопріятныхъ условіяхъ археологическій отдѣлъ понемногу увеличивается и къ моменту превращенія въ самостоятельное учрежденіе (ноябрь 1892 г.) обладаетъ 343 археологическими и этнографическими предметами и 2357 монетами (въ коллекціи были предметы и монеты большого значенія).

Почти одновременно съ Иречекомъ въ Болгаріи начали плодотворную археологическую дѣятельность и два его двоюродные брата Херминъ и Карелъ Шкорпилъ. Въ теченіе полувѣковой службы въ южной и сѣверной Болгаріи, ими изучено и описано громадное количество матеріала. Доисторическая старина, мегалитическіе памятники, курганныя древности, классическая эпиграфика, античная и средневѣковая, гражданская и церковная архитектура и бытъ были предметомъ кропотливаго труда. Рядъ памятниковъ первоклассного значенія сталъ извѣстенъ благодаря имъ. Особенно много сдѣлано Карломъ Шкорпилъ въ изученіи античныхъ и средневѣковыхъ крѣпостей-городовъ Причерноморской Болгаріи и Добруджы и въ выясненіи вопроса о топографіи болгарскихъ столицъ Абобы—Плиски, Преслава и Тырнова. Изученіе сопровождалось точными зарисовками и планами, являющимися украшеніемъ ихъ книгъ и статей на болгарскомъ, нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ.[7]

LXVI, 1905, стр. 1—30; В. Н. Златарски, Проф. Д-ръ Константинъ Иречекъ, Лѣтопись на Българската Академия на Наукитѣ, IV, София 1919, стр. 65—110.

[5]) Вел. Йордановъ, История на Народната библиотека въ София, 1930, стр. 96, прим. 1-ое.

[6]) Библіографія трудовъ Иречека составлена Божо Цвѣтковичъ и Йосифъ Наги и напечатана въ „Периодическо Списание", кн. LXVI, приложеніе, Софія 1905.

[7]) О братьяхъ Х. и К. Шкорпилъ см. докладъ проф. В. Н. Златарскаго въ Болгарской Академіи Наукъ, Лѣтопись на Българ. Акад. на наукитѣ, IV, София, 1919, стр. 78—82; Гавр. И. Кацаровъ, Хермингилдъ Вацлавовъ Шкорпилъ, Училищенъ Прегледъ, XXII, 1923, стр. 682—685; Ст. Андреевъ, Херминъ Шкорпилъ, въ книгѣ Карела Шкорпилъ, Описъ на старинитѣ въ Черноморската область, ч. II, София, 1927, стр. VII—XVII.

Въ 1892 году археологическій отдѣлъ Народной Библіотеки былъ отдѣленъ отъ нея и сдѣлался самостоятельнымъ учрежденіемъ подъ именемъ „Народенъ Музей въ София". 5 сентября, распоряженіемъ Министра Народнаго Просвѣщенія за № 7926, предписано было директору Народной Библіотеки В. Д. Стоянову передать археологическіе предметы Венцеславу Добрусскому, назначенному директоромъ археологическаго музея. Передача состоялась 23 сентября, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ актъ передачи, записанный на „инвентарной книгѣ предметовъ Музея при Б. Н. библіотекѣ" (книга теперь хранится въ библіотекѣ Археологическаго Музея).

Первому директору музея досталась большая организаціонная работа. Прежде всего необходимо было собрать въ музей памятники старины, уже извѣстные. Послѣ того, какъ были собраны археологическіе предметы, случайно хранившіеся въ разныхъ учрежденіяхъ Софіи, древности собираются по всей Болгаріи. Въ своей дѣятельности Добрусскій находитъ поддержку со стороны административныхъ властей. Помощь „окружныхъ управителей" (губернаторовъ) и „околійскихъ начальниковъ" (уѣздныхъ исправниковъ) была настолько значительна, что дала основаніе одному изъ свидѣтелей того времени считать „дѣйствительными создателями музея... административныя власти".[8] Въ провинціи регистрируются тѣ памятники, которые не могутъ быть высланы въ Софію. Музейная коллекція дѣлится на три отдѣла: 1) „старовѣковный", включающій древности доисторическія, ѳракійскія, античныя, византійскія, болгарскія и турецкія, 2) нумизматическій и 3) этнографическій. Покупкой современныхъ, преимущественно болгарскихъ картинъ и скульптуры, кладется основаніе будущему художественному отдѣлу. Естественно-историческіе предметы, входившіе въ коллекціи музейнаго отдѣла Народной Библіотеки, передаются Высшему Училищу (университету). Пополненіе археологическихъ коллекцій производится и путемъ раскопокъ, изъ коихъ самыми значительными были въ развалинахъ римскаго города Nicopolis ad Istrum и въ кремлѣ г. Тырнова. Но главное средство увеличенія коллекцій — покупка предметовъ отъ частныхъ лицъ на суммы, опредѣляемыя бюджетомъ музея. Устраивается и ремонтируется помѣщеніе — старая турецкая мечеть Буюкъ-Джамія, предоставленная музею. Поступающій матеріалъ начинаетъ подвергаться изученію, и студіи о немъ публикуются въ журналахъ „Периодическо Списание", „Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина" и „Известия на Народния Музей въ София". Время жизни Музея до 1905 г. проходитъ въ организаціонно-подготовительной работѣ. Только 18 мая этого года происходитъ оффиціальное, въ присутствіи царя Фердинанда, открытіе музея для публики. По выраженію Добрусскаго „съ этого праздника окончился... доисторическій періодъ Музея, періодъ его неизвѣстности, и начался новый періодъ, историческій".[9] Въ 1906 году этнографическій отдѣлъ музея выдѣляется въ самостоятельное учрежденіе — Этнографическій Музей, и Народный Музей становится исключительно археологическимъ. Несмотря на отдѣленіе этнографическихъ предметовъ, музейное собраніе за восемнадцатилѣтнее директорствованіе Добрусскаго возрастаетъ съ 2700 предметовъ до 21.639.

Дѣятельность музея долгое время идетъ безъ точнаго юридическаго оформленія. Лишь въ 1909 году положеніе музея опредѣляется „Закономъ о Народномъ Просвѣщеніи" (18 февраля 1909 года, §§ 374—402) и инструкціей музею („Врѣмененъ правилникъ за Народния Археологически Музей", утвержденный 31/X 1909 г. за № 2979).

По этому закону музей былъ раздѣленъ на четыре отдѣла — античный, средневѣковый, нумизматическій и художественный, съ опредѣленнымъ штатомъ ученыхъ и административныхъ служащихъ, съ подробнымъ указаніемъ ихъ ценза, правъ и обязанностей. Ученая работа возлагалась на директора и четырехъ хранителей отдѣловъ, а для обсужденія основныхъ вопросовъ, связанныхъ съ дѣятельностью музея, и для ревизіи имущества и коллекцій учреждался „Музейный комитетъ", въ составѣ директора, хранителей отдѣловъ и двухъ лицъ по назначенію Минист. Народнаго Просвѣщенія.

Во время директорствованія Добрусскаго въ Болгаріи были произведены изслѣдованія и раскопки Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ, подъ руководствомъ директора Ѳ. И. Успенскаго. Съ самаго

[8]) Б. Дяковичъ, Нашиятъ Народенъ Музей, Мисълъ, X, 1900, кн 7 и 8, стр. 443.

[9]) Рѣчь В. Добрусскаго на открытіи 18 мая 1905. Училищенъ прегледъ, 1905, кн. 7, стр. 770—777.

начала ученой дѣятельности, Успенскій показалъ особенный интересъ къ болгарской старинѣ и исторіи. Интересъ сдѣлался еще напряженнѣе, когда Успенскій сталъ во главѣ Константинопольскаго Института, учрежденія, главной задачей котораго было изслѣдованіе исторіи и древностей Византіи и странъ, съ нею сосѣдившихъ. Организованная въ 1899 году при Институтѣ комиссія для изслѣдованія сѣверо-восточной Болгаріи въ археологическомъ отношеніи (въ ней участвовалъ по порученію болгарскаго правительства проф. В. Н. Златарскій) рѣшила произвести раскопки близъ села Абобы Шуменскаго округа, на мѣстѣ предполагаемаго древняго болгарскаго аула. И организація раскопокъ (участіе ряда спеціалистовъ по отдѣльнымъ археологическимъ дисциплинамъ), и ихъ производство, и результаты имѣли исключительное значеніе въ развитіи болгарской археологической науки, давши „впервые ясное представленіе о большой мощи болгарскихъ владѣтелей IX в. и состояніи тогдашняго болгарскаго строительства,... подняли интересъ къ болгарскимъ памятникамъ и показали, чего можно ожидать отъ нихъ для выясненія болгарскаго историческаго прошлаго.[10]

Проф. Филовъ считаетъ Θ. И. Успенскаго также иниціаторомъ созданія Болгарскаго Археологическаго Общества (Българското Археологическо Дружество). Оно было открыто 16 декабря 1901 г. Цѣли, указанныя § 1 его Устава, заключались „въ открытіи, охраненіи и изученіи памятниковъ прошлаго въ предѣлахъ единой Болгаріи и въ пробужденіи интереса къ нимъ въ народѣ". Въ исполненіе цѣлей Общество руководило закрѣпленіемъ старинныхъ церквей св. Георгія въ Софіи и села Калотина, производило раскопки въ Гигенъ (римская Colonia Ulpia Oescus), въ мѣстности Кадинъ Мостъ (предполагаемый городъ Prima Iustiniana), въ кремлѣ гор. Кюстендиля (Ulpia Pautalia), θракійскаго кургана около с. Тулово, издало „Упѫтване за събиране и запазване на старини", устраивало открытыя и закрытыя собранія съ докладами по археологическимъ вопросамъ.

Изъ сказаннаго видно, что первыми работниками въ археологической области были преимущественно иностранцы: малочисленная болгарская интеллигенція была занята разрѣшеніемъ внѣшнихъ и внутреннихъ, политическихъ, государственныхъ и церковныхъ вопросовъ. „Въ освобожденной Болгаріи", замѣчаетъ объ этомъ времени Иречекъ: „имѣются другія заботы, чѣмъ раскопки основъ старинныхъ построекъ и надгробныхъ камней прадѣдовъ".[11] Но какъ только настаетъ болѣе спокойное время, археологическая работа переходитъ въ болгарскія руки и принимаетъ планомѣрный характеръ, включая постепенно въ кругъ своей дѣятельности всю территорію Болгаріи.

Особый подъемъ въ жизни археологическихъ учрежденій наступаетъ со времени назначенія, 1/II 1910 г., директоромъ Археологическаго Музея доктора Б. Филова.[12] За десятилѣтіе его директорствованія (до 9/VI 1920 г.) выполненъ рядъ важныхъ организаціонныхъ и научныхъ работъ въ музеѣ и другихъ археологическихъ учрежденіяхъ. Скоро по вступленіи въ должность, въ рапортѣ Министру Народнаго Просвѣщенія о состояніи приня-

---

[10]) Проф. Б. Филовъ, Ф. И. Успенски, като археологъ, VIII отчетъ на Българския Археол. Институтъ за 1928 г., стр. 39. Общая оцѣнка дѣятельности Θ. И. Успенскаго въ области болгарской исторіи и археологіи дана: М. Г. Попруженко, Сорокалѣтіе ученой дѣятельности Θ. И. Успенскаго, Одесса, 1912; В. Златарски и Л. Милетичъ, Θ. Ив. Успенски, Лѣтописъ на Българската Академия на Наукитѣ, IX, 1925—26, стр. 24—26; В. Н. Златарски, Академикъ н проф. Θ. Ив. Успенски, VIII Отчетъ на Българския Археологически Институтъ въ София за 1928 г., 19—34, Ch. Diehl въ предисловіи къ L'art byzantin chez les slaves. Les Balkans, Paris, 1930, стр. VII—X. См. также: Θ. Успенскій, Отчетъ о дѣятельности Русскаго Археологич. Инст. въ Константинополѣ въ 1896 г., Византійскій Временникъ, приложеніе къ IV тому, вып. 1 и 2, стр. 26—36; В. Н. Златарски, Резултатитѣ отъ экскурсията по България, предприета отъ Руския Археологически Институтъ презъ лятото на 1896 година, Български Прегледъ, 1897, кн. IV, стр. 130—140.

[11]) К. Иречекъ, Княжество България, Пѫтувания по България, Пловдивъ, 1899, стр. 228.

[12]) О его дѣятельности: Г. И. Кацаровъ, Д-ръ Б. Филовъ, Лѣтописъ на Българската Академия на Наукитѣ, IV, София, 1919, стр. 75—78; Водачъ за Народния Музей въ София, София, 1923, стр. 12—14; М. Ростовцевъ, По музеямъ южнославянскихъ столицъ, Журналъ Мин. Нар. Просв., XXXIII, 1911, отд. 4, стр. 39, 40.

таго имъ музея, онъ указываетъ мѣры, необходимыя для развитія археологическаго дѣла, каковыя впослѣдствіи и проводитъ постепенно и систематично. Первая забота Филова — замѣщеніе музейныхъ должностей научно подготовленнымъ персоналомъ. Медленная осторожность въ осуществленіи задачи приводитъ къ тому, что на должностяхъ хранителей отдѣловъ оказываются лица подготовленныя, работоспособныя и преданныя своему дѣлу (Р. Поповъ, завѣдующій доисторической коллекціей, нынѣшній директоръ музея, Н. Мушмовъ, хранитель нумизматичес аго отдѣла, П. Мутафчіевъ, хранитель отдѣла среднихъ вѣковъ, теперь профессоръ византійской исторіи въ Софійскомъ Университетѣ, и А, Протичъ, хранитель художественнаго отдѣла. впослѣдствіи директоръ музея). Подкрѣпленныя дружной работой персонала, организаціонныя способности директора продолжаютъ устроеніе музея. Музейныя коллекціи путемъ раскопокъ и покупки пополняются настолько усиленно, что къ концу директорствованія Филова исчисляются въ 44274 предмета. Производится пересмотръ ихъ съ цѣлью болѣе правильнаго распредѣленія по отдѣламъ и болѣе точной записи въ инвентарныхъ книгахъ. Начато составленіе подвижного каталога. Между отдѣлами музея устанавливается равновѣсіе. При Добрусскомъ вниманіе сосредотачивалось преимущественно на античной старинѣ (римскихъ и ѳракійскихъ предметахъ и монетахъ). Теперь интересы ширятся, захватывая доисторическую, старохристіанскую, византійскую и болгарскую старину. Сознавая важность изученія доисторической культуры Балканскаго полуострова вообще (въ 1911 году предполагалось открытіе при Русскомъ Константинопольскомъ Институтѣ отдѣла изъ русскихъ, болгаръ и сербовъ для изученія преимущественно доисторіи Балканскаго полуострова) и на территоріи Болгаріи въ особенности, музей принимаетъ настойчивыя мѣры къ формальному открытію доисторическаго отдѣла.

Раскопки Софійской базилики св. Софіи, крѣпости и базилики въ городѣ Хисаръ-Баня, Еленской базилики и крестовидной церкви Клисе-Кьой около города Пирдопа даютъ интересный матеріалъ для исторіи, археологіи и искусства старохристіанскаго и византійскаго времени и для выясненія вопроса о сущности и происхожденіи такъ называемаго „византійскаго“ архитектурнаго стиля. Сама организація и техника раскопокъ становятся иными, отвѣчающими научнымъ требованіямъ. Если при Добрусскомъ главною цѣлью раскопокъ было открытіе вещей (характерно, что нѣкоторыя его раскопки не имѣли никакого отчета), теперь раскопки служатъ для выясненія какого-либо вопроса исторіи культуры. Важнымъ является не только находимый предметъ, но и вся обстановка, его окружающая. Раскопки сопровождаются веденіемъ дневника, фотографированіемъ, чертежами и отчетомъ съ соображеніями о времени и характерѣ открытаго матеріала.

Въ 1914 г. открывается при музеѣ фотографическое ателье, составившее большую коллекцію снимковъ, отлично выполненныхъ фотографомъ Трайчевымъ и особенно важное для ознакомленія съ средневѣковыми памятниками архитектуры и фресковой живописи. Шире и серезнѣе, чѣмъ раньше, ставится вопросъ о поддержаніи памятниковъ архитектуры и фресковой живописи. Кромѣ бюджетныхъ ассигнованій для этой цѣли идутъ частныя средства, добытыя энергіей и личнымъ вліяніемъ директора и щедрымъ покровительствомъ царя Фердинанда, всегда проявлявшаго просвѣщенный интересъ къ археологіи.

Собираемый матеріалъ энергично публикуется въ „Извѣстия на Българското Археологическо Дружество“ и Jahrbuch d. K. D. A. J., причемъ описаніе памятниковъ сопровождается анализомъ стиля и отличными репродукціями.

Чрезвычайное значеніе для развитія археологической дѣятельности имѣло изданіе 10 февраля 1911 г. „Закона о старинѣ“, по которому всѣ движимые и недвижимые предметы древности (отъ доисторическаго времени до 1878 г.) были объявлены находящимися подъ верховнымъ надзоромъ государства (Министерства Народнаго Просвѣщенія), выполняющаго функціи охраненія и поддержанія старины черезъ открываемую при музеѣ „Комиссію о древностяхъ“ („Комиссия за старинитѣ“). § 8 закона обязывалъ всѣ державныя и общественныя учрежденія царства, имѣющія какія-либо древности, представить списки находящейся въ ихъ владѣніи движимой и недвижимой старины. § 9 возбранялъ уничтоженіе, поправки и перемѣщеніе древностей безъ разрѣшенія „Комиссіи о старинѣ“. § 27 ставилъ подъ контроль „Комиссіи“ постройки и регуляцію въ старинныхъ городахъ. §§ 28 и 30 предоставляли исключительно государству

право производства раскопокъ по всей территорiи царства и допускали частную инициативу только подъ условiемъ мотивированнаго согласiя на нее „Комиссiи". Эти статьи закона становились въ рукахъ высшей археологической власти юридическимъ оружiемъ для борьбы съ двумя явленiями, уничтожавшими памятники старины — кладоискательствомъ, съ незапамятныхъ временъ распространеннымъ въ Болгарiи и особенно опаснымъ для кургановъ, и модернизующими стремленiями городскихъ самоуправленiй, легко склоняющихся къ уничтоженiю мѣстной старины ради неправильно понятыхъ благоустройственныхъ цѣлей. Глава VIII закона опредѣляла условiя открытiя провинцiальныхъ музеевъ и основныя правила ихъ внутренняго распорядка. Узаконяя существованiе провинцiальныхъ музеевъ и давая возможность широкой работѣ мѣстнымъ работникамъ, законъ благодѣтельно централизовалъ (§§ 4, 6, 11, 22, 27, 30, 38, 40) высшее наблюденiе за провинцiальной археологической работой въ рукахъ Народнаго Музея въ Софiи.

За десятилѣтiе 1910—20 г.г. Музей издалъ одну книгу „Ежегодника Народнаго Музея" и два тома изъ серiи „Матерiалы для археологической карты Болгарiи".

Дѣятельность музейнаго персонала нашла самую энергичную поддержку делегатовъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя въ „Музейномъ Комитетѣ" историковъ и археологовъ профессоровъ Г. Кацарова и Й. Иванова.

Время музейнаго директорствованiя д-ра Филова было временемъ расцвѣта и другихъ археологическихъ учрежденiй — археологическихъ обществъ и провинцiальныхъ музеевъ. Новый съ 1908 г. составъ правленiя Болгарскаго Археологическаго Общества въ Софiи, во главѣ съ предсѣдателемъ проф. Г. Кацаровымъ, проявляетъ кипучую дѣятельность, Производятся раскопки Червенской крѣпости около г. Русчука, базилики св. Софiи и церкви св. Георгiя въ Софiи, ц. Сорока Мучениковъ въ Тырновѣ. „Общество" даетъ матерiальную поддержку ученымъ на изслѣдованiе отдѣльныхъ историко-археологическихъ вопросовъ, устраиваетъ публичныя засѣданiя съ докладами и популярныя лекцiи. Пробуждаемый такимъ путемъ въ широкихъ кругахъ общества интересъ къ археологическому знанiю приводитъ къ основанiю Софiйской Городской Думой „Фонда по написанiю исторiи г. Софiи". При помощи фонда Археологическое Общество, а съ 1914 г. особый „Комитетъ", издаетъ „Матерiалы по исторiи Софiи", въ видѣ отдѣльныхъ монографiй. Но главная заслуга Болгарскаго Арх. Общества за этотъ перiодъ времени — созданiе археологическаго журнала. До сихъ поръ археологическiя публикацiи помѣщались гл. обр. въ журналахъ „Периодическо Списание", „Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина" и терялись въ ихъ широкомъ по программѣ матерiалѣ. Въ 1910 г. Археологическое Общество начало издавать „Извѣстiя Болгарскаго Археологическаго Общества" („Извѣстия на Българското Археологическо Дружество"), исключительно посвященныя старинѣ. Сотрудничество въ журналѣ лицъ, много и хорошо работавшихъ по археологiи, планъ (кромѣ научныхъ статей, отдѣлы: археологическiя новости, новооткрытая старина, критика и библiографiя), прекрасная внѣшность и богатыя иллюстрацiи сразу завоевали болгарскому изданiю хорошее мѣсто среди европейскихъ коллегъ. За десятилѣтiе 1910—20 г.г. вышло семь томовъ.

„Законъ о старинѣ" 1911 года, давая право открытiя провинцiальныхъ музеевъ окружнымъ совѣтамъ, городскимъ самоуправленiямъ, культурнымъ обществамъ, болгарскимъ и иностраннымъ учебнымъ заведенiямъ, духовнымъ и военнымъ учрежденiямъ, юридически узаконялъ фактически уже существовавшiе провинцiальные музеи. Самымъ старымъ изъ нихъ былъ „Пловдивская библiотека и Музей", второе государственное археологическое учрежденiе въ Болгарiи. Дѣятельность Пловдивскаго Музея первые двадцать лѣтъ ограничивалась случайнымъ и хаотическимъ коллекцiонированiемъ преимущественно монетъ. Организацiя началась съ 1901 года, когда директоромъ былъ назначенъ Борисъ Ив. Дяковичъ.[13] Благодаря его знанiю дѣла, любви къ нему, административнымъ способностямъ, Музей развился до значительныхъ размѣровъ, храня въ своихъ коллекцiяхъ нѣсколько важныхъ вещей и интересную серiю предметовъ быта старыхъ ѳракiйцевъ. Результаты дѣятельности (музейныя прiобрѣтенiя, раскопки, изслѣдованiя) публикуются съ 1921 г. въ спецiальномъ органѣ — „Ежегодникѣ Народной Библiотеки въ Пловдивѣ („Годишникъ на Народната Библиотека

---

[13]) О Пловдивскомъ Музеѣ и Бор. И. Дяковичѣ см. Юбилеенъ Годишникъ на Народната Библиотека въ Пловдивъ за 1925 г., стр. 24—34.

въ Пловдивъ"), а также въ нѣсколькихъ изданныхъ монографіяхъ по археологіи и исторіи искусства.

Почти одновременно съ Пловдивскимъ былъ основанъ и Варненскій Музей. Существованіе музея и его организація обязаны исключительно братьямъ Хермину и Карлу Шкорпилъ. Еще въ 1888 г. Карлъ Шкорпилъ началъ собирать предметы старины. Въ 1901 г. было образовано археологическое общество. Дѣятельность его стала особенно энергичной съ 1914 года, когда Херминъ Шкорпилъ поселился въ Варнѣ, и два брата, раздѣливъ функціи, взаимно стали дополнять другъ друга въ работѣ. Умѣлая пропаганда любви къ старинѣ, исключительные связи въ Варненскомъ округѣ, неутомимый личный трудъ создали живое и дѣятельное археологическое общество. Многочисленные члены-корреспонденты общества по селамъ и городкамъ сообщали о всякомъ археологическомъ открытіи или находкѣ, благодаря чему старина попадала въ музей.

Технически хорошо веденныя раскопки дали очень цѣнныя открытія (раскопки и находки старо-христіанской церкви въ Еланъ-Тепе около Варны, церкви села Фундукли, на Черноморскомъ побережьи, между Варной и Месемвріей). Накопленныя музейныя богатства были систематизированы и въ 1921 году открыты для публики. Археологическое общество издавало годовые отчеты и „Извѣстия на Варненското археологическо дружество" (всего семь книгъ) со статьями по археологіи и исторіи гор. Варны и округа.

Остальные провинціальные музеи были открыты мѣстными археологическими обществами преимущественно въ старыхъ городахъ, когда-то культурныхъ центрахъ античнаго и средневѣковаго времени. На первой археологической конференціи въ Тырновѣ въ іюнѣ 1910 г. участвовало десять археологическихъ обществъ. Теперь ихъ 27. Они возникли по частной инціативѣ и были видимымъ выраженіемъ патріотическаго чувства и той безкорыстной любви къ старинѣ, которую неоднократно видѣлъ и помянулъ добрымъ словомъ К. Иречекъ.[14] Обыкновенно одинъ изъ такихъ энтузіастовъ старины собиралъ мѣстную чиновничью интеллигенцію на засѣданіе, заражаяъ своимъ археологическимъ настроеніемъ и проводилъ резолюцію объ открытіи археологическаго общества и музея при немъ. По утвержденіи Устава, онъ начиналъ дѣйствовать. Не получая матеріальной поддержки тъ государства, мѣстные музеи и археологическія общества принуждены были ограничить свою дѣятельность собираніемъ, на основаніи „закона о старинѣ" и пріятельскихъ отношеній съ мѣстнымъ населеніемъ, предметовъ, открываемыхъ во время государственныхъ, общественныхъ и частныхъ земельныхъ работъ и построекъ; также охраняли недвижимую старину. Приведемъ отрывокъ изъ отчета археологическаго общества въ гор. Стара-Загора, иллюстрирующій работу провинцій: „1. Раскопанъ Красный курганъ и открыта сводчатая корридорная гробница на средства господина Михаила Тенева; 2. Изучена сводчатая гробница Окружного разсадника у вокзала; 3. Найдены и взяты въ музей находки изъ гробницы при депо строящейся желѣзной дороги Стара-Загора-Борущица; 4. Прослѣжены, изучены и взяты находки гробницы около виноградника разсадника Аязмы; 5. Узнали, что открыта гробница во дворѣ А. Мехмедова и откопали сложенную изъ кирпича и засыпанную гробницу съ цѣлью ея изученія, для чего взяли и размѣры ея; 6. Обслѣдовали каменную гробницу, открытую въ виноградникѣ Димитрія Драгіева, въ которой оказались два скелета, одинъ обезглавленный, и на большомъ камнѣ надпись „Ηεκατα", имя одной ѳракійской а позже и греческой богини"...[15]

Главная же заслуга провинціальныхъ археологическихъ работниковъ состояла въ пробужденіи среди мѣстнаго населенія любви къ исторіи и старинѣ. Воздѣйствуя на патріотическое чувство указаніемъ на героическія событія и славные моменты прошлаго, они пріучали населеніе бережно хранить и собирать памятники этого прошлаго. Насколько

[14]) Разсказывая о посѣщеніи города Калофера (на южномъ склонѣ Балканскихъ горъ), онъ замѣчаетъ: „Нашелъ здѣсь и мѣстнаго археолога-самоучку, изъ тѣхъ, каковые нерѣдко встрѣчаются въ Болгаріи; читаютъ прилежно болгарскія книги, знаютъ всѣ топографическія названія, знаютъ мѣстоположеніе старыхъ крѣпостей, собираютъ древности и съ горячей любовью изучаютъ прошлое своего края" (К. Иречекъ, Пѫтувания по България, Пловдивъ, 1899, стр. 370).

[15]) Отчетъ на археологическото дружество „Августа Траяна" въ гор. Стара Загора за изтеклитѣ 1912, 1913 и 1914 години, Стара Загора, 1915, стр. 44, 45.

значительна была популяризаторская работа, особенно среди учащейся молодежи, можно судить по такой, напримѣръ, справкѣ: за годы 1907—11 Старо-Загорское археологическое общество провело въ учебныхъ заведеніяхъ города пятьдесятъ двѣ историко-археологическихъ бесѣды, а за время 1912—15 гг. восемьдесятъ.

Дѣятельность провинціальныхъ археологическихъ обществъ и музеевъ нашла всеобщее одобреніе, оффиціальнымъ выраженіемъ котораго былъ отзывъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, данный въ мотивировкѣ внесеннаго въ Народное Собраніе „Закона о Старинѣ". Отзывъ говоритъ: „То, чего не могли сдѣлать цѣлыхъ двадцать лѣтъ Министерство Народнаго Просвѣщенія, его органы и университетъ, то сдѣлали недавно созданныя въ Болгаріи археологическія общества". Необходимо особенно отмѣтить работу археологическихъ обществъ: Карнобатскаго, съ хранителемъ музея А. Игнатовымъ, Преславскаго — хранитель Ю. Господиновъ, Разградскаго — хранитель А. Явашевъ, Старо-Загорскаго — хранитель А. Кожухаровъ, Тырновскаго — хранитель Т. Николовъ и Шуменскаго — хранитель И. Молловъ.

До изданія „Закона о Старинѣ" взаимныя отношенія центральныхъ археологическихъ учрежденій (Народнаго Музея въ Софіи и Болгарскаго Археологическаго Общества) и провинціальныхъ обществъ и музеевъ не всегда шли гладко. Вѣчный и вездѣ повторяющійся вопросъ о централизаціи и децентрализаціи приводилъ иногда къ недоразумѣніямъ и огорченіямъ.[16] „Законъ" установилъ всѣмъ надлежащее мѣсто. Въ настоящее время предсѣдатели мѣстныхъ археологическихъ обществъ и хранители музеевъ являются уполномоченными „очами" Народнаго Музея въ Софіи, наблюдающими за исполненіемъ „Закона о Старинѣ".

20 іюня 1920 г. д-ръ Филовъ, избранный профессоромъ по классической археологіи, оставилъ музей, и директоромъ сталъ Андрей Протичъ. За время его управленія музеемъ (былъ въ должности до 20. XI. 1928 г.) въ организаціи музея произошли значительныя измѣненія. Чрезвычайно разросшаяся и важная коллекція доисторической культуры по закону отъ 11 іюля 1921 г. превратилась въ отдѣлъ. Для копированія фресокъ, картинъ и выполненія чертежей старой церковной и свѣтской архитектуры открыто живописное ателье. Впослѣдствіи архитектурная работа ателье перешла въ архитектурное бюро, во главѣ котораго сталъ архитекторъ. Въ обязанности бюро входило также закрѣпленіе и реставрація архитектурной старины. Введенъ въ помощь хранителямъ отдѣловъ институтъ ассистентовъ.

Происходитъ пополненіе персонала: хранителемъ доисторическаго отдѣла становится Р. Поповъ, хранителемъ „старовѣковнаго" отдѣла И. Велковъ, хранителемъ средневѣковаго отдѣла, вмѣсто получившаго каѳедру византійской исторіи П. Мутафчіева, — К. Міятевъ, должность архитектора занялъ А. Рашеновъ, ассистентами въ доисторическій отдѣлъ назначенъ В. Миковъ, а въ средневѣковый В. Иванова. Кромѣ штатнаго персонала въ музеѣ работаютъ, на основаніи закона о Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, прикомандированные къ музею учителя среднихъ учебныхъ заведеній, выполняя иногда важныя функціи (напр. одинъ изъ нихъ является реставраторомъ иконъ средневѣковаго отдѣла). Послѣ этихъ дополненій и измѣненій, организація службъ музея приняла видъ, отвѣчающій дѣйствительнымъ и неотложнымъ нуждамъ болгарской археологіи.

Персоналомъ музея выполнено было систематическое описаніе музейныхъ предметовъ въ видѣ карточнаго каталога. На основаніи его былъ составленъ и въ 1923 г. напечатанъ „Путеводитель по музею" („Водачъ за Народния Музей въ София"), иллюстрированное подробное по отдѣламъ описаніе коллекцій, съ краткимъ очеркомъ исторіи музея и вводными руководящими статьями къ каждому отдѣлу.

Многочисленныя командировки музейнаго персонала по Болгаріи съ разнообразными научными цѣлями были существенной его работой. Оживленно и систематически велись изслѣдованія и раскопки доисторическихъ пещеръ Сѣверной Болгаріи, мѣстности около села Мадара, Шуменскаго округа, сохранившей древности послѣдовательно смѣнявшихся эпохъ (доисторической, римской, праболгарской и византійской), античныхъ кургановъ около села Дуванли, Пловдивскаго округа, замѣчательной по плану, конструкціи и декораціи „Круглой церкви" Симеоновой эпохи въ Преславѣ. Раскопки могли осуществиться благодаря поддержкѣ Министерства Благо-

---

[16]) См. „Първа Българска Археологична Конференция въ В. Търново", Варна, 1910 и „Втора Българска Археологическа Конференция" въ гр. Варна, Варна, 1911.

устройства и Общественныхъ Работъ, предоставлявшаго ежегодно, начиная съ 1924 года, въ распоряженіе музея для раскопокъ и реставраціонныхъ работъ, даровыя рабочія дисциплинированныя команды, такъ называемыхъ „трудоваковъ".

Раскопки, изслѣдованія и случайныя находки являлись источникомъ продолжающагося обогащенія Музея. Особо интересными пріобрѣтеніями были: золотое сокровище гальштадской эпохи изъ с. Вълчи Трънъ Плевенскаго округа, художественные серебряные гравированные сосуды и краснофигурныя вазы изъ гробницъ греческихъ могилъ V в. до Р. Хр. изъ с. Дуванли, мраморная и каменная скульптура и изумительная глазурованная керамика изъ „Круглой церкви" г. Преслава, серія болгарскихъ монетъ неизвѣстнаго до сихъ поръ типа и одинъ βουλλωτήριον XII—XIII в., самый старый изъ до сихъ поръ гдѣ-либо найденныхъ; средневѣковый отдѣлъ обогатился серіей въ 40 византійскихъ иконъ XIV—XVIII вѣковъ изъ церквей г. Месемвріи.

§ 2 „Закона о старинѣ", объявляя всѣ археологическіе памятники Болгаріи народнымъ достояніемъ, указалъ только общіе виды этихъ памятниковъ. Суммарность этого указанія приводила къ недоразумѣніямъ и спорамъ между археологическими властями и городскими и общинскими управленіями. „Комиссія о старинѣ" въ 1927 и 1928 годахъ составила и опубликовала списки 315 археологическихъ монументальныхъ памятниковъ, являющихся національнымъ сокровищемъ, чѣмъ дала безспорное и конкретное содержаніе § 2 „Закона".

Работа новыхъ службъ Музея — художественнаго ателье и архитектурнаго бюро — выразилась въ выполненіи рисунковъ и чертежей для текущей работы отдѣловъ, снятіи копій съ фресокъ, иконъ и картинъ, въ обмѣрахъ и изслѣдованіи памятниковъ архитектуры, ихъ закрѣпленіи и реставраціи. Особенно важной работой было многолѣтнее изученіе архитектуры Месемвріи, сохранившей группу интереснѣйшихъ церквей XIII—XV вѣковъ, и изученіе и реставрація Софійской церкви Св. Софіи.

Издательская дѣятельность Музея за время 1921—1928 г. сказалась въ напечатаніи трехъ томовъ „Ежегодника Народнаго Музея" и ряда интересныхъ, иногда роскошно изданныхъ, монографій на болгарскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ — результатъ научной работы персонала и лицъ, къ Музею близкихъ.

А. Протичъ директорствовалъ до 20/XI 1928 г. Послѣ него Музеемъ управялъ проф. Г. Кацаровъ. 1-го іюля 1929 г. директоромъ былъ назначенъ хранитель доисторическаго отдѣла Музея, профессоръ доисторической археологіи Р. Поповъ.

Параллельно музейной и въ полномъ дружественномъ согласіи съ ней шла работа Болгарскаго Археологическаго Института. Въ 1920 г. былъ принятъ уставъ, согласно которому „Болгарское Археологическое Общество" переустраивалось и переименовывалось въ „Болгарскій Археологическій Институтъ". Переустройство произошло по желанію самаго общества, члены котораго убѣдились въ существенномъ, понижающемъ качество работы, организаціонномъ недостаткѣ общества — членскомъ равноправіи между двумя группами членовъ: большинствомъ — любителей археологіи — и меньшинствомъ — ея научными представителями. Для поднятія научной значимости въ Уставъ Института были введены §§ 10 и 18 и примѣчаніе къ 17-му, по которымъ только почетнымъ и дѣйствительнымъ членамъ (избиравшимся изъ людей археологической науки) предоставлялось право выбора и избранія въ совѣтъ, остальные же виды членства („корреспонденты", члены — „благодѣтели", члены — „дарители" и вспомогательные члены) этого права не имѣли. Предполагалось также, что общепринятая въ международномъ обиходѣ форма „института" будетъ болѣе способствовать взаимной работѣ съ иностранными археологическими учрежденіями.

Институтъ ставилъ цѣлью „всестороннее изученіе древностей и художественныхъ памятниковъ болгарской земли и основательную разработку болгарской исторіи." Закономъ 11 іюля 1921 г., Институтъ былъ признанъ самостоятельнымъ научнымъ учрежденіемъ съ правомъ полученія ежегодной государственной помощи. Директоромъ Института былъ выбранъ проф. Б. Филовъ, а членами правленія профессора Г. Кацаровъ, В. Златарскій, Й. Ивановъ (во время заграничныхъ командировокъ замѣщавшійся проф. А. Иширковымъ) и Р. Поповъ. Его Царское Величество, Царь Борисъ III соблаговолилъ принять высочайшее покровительство надъ Институтомъ. Управляемый этимъ до настоящаго времени безсмѣннымъ правленіемъ и руководимый также безсмѣннымъ директоромъ, кому Уставъ предоставляетъ полноту научно-административнаго руководства, Институтъ

развилъ большую работу. § 5 Устава предусматривалъ слѣдующіе виды дѣятельности: *а)* организація, инициатива и помощь научнымъ зслѣдованіямъ, раскопкамъ и экспедиціямъ; *б)* изданіе печатнаго органа подъ названіемъ „Извѣстия на Българския Археологически Институтъ“ и отдѣльныхъ сочиненій, относящихся къ области его научной дѣятельности; *в)* устройство спеціальныхъ курсовъ и лекцій и общедоступныхъ бесѣдъ; *г)* забота по подготовкѣ ученыхъ археологовъ путемъ выдачи стипендій и единовременной помощи; *д)* организація библіотеки и коллекцій: фотографической, гипсовыхъ отливовъ и другихъ научныхъ пособій; *е)* совмѣстная работа съ иностранными учрежденіями и учеными и *ж)* научная и матеріальная поддержка археологическихъ обществъ. Всѣ эти виды дѣятельности и осуществлялись Институтомъ. Отъ открытія до 1931 г. въ Институтскихъ засѣданіяхъ были прочитаны 133 научныхъ доклада, было организовано 35 археологическихъ изслѣдованій и экспедицій. Въ 1921 г. раскопана чрезвычайно интересная по плану и конструкціи „Красная церковь“ около села Перущицы Пловдивскаго округа, а въ 1924 г. Бѣловская базилика того же округа (обѣ раскопки на средства американскаго археолога Th. Wittemor'а). Этими раскопками было закончено изслѣдованіе старохристіанской серіи церковной архитектуры Болгаріи IV—VI вв. Не менѣе удачны были раскопки въ 1925 году пещеръ около с. Карлуково Плевенскаго округа — первое, изъ открытыхъ до сихъ поръ, въ Болгаріи значительное палеолитическое поселеніе — и раскопки въ 1929 году кургановъ с. Дуванли съ античными погребеніями и художественными находками.

Матеріальная помощь нѣкоторыхъ городскихъ самоуправленій и частныхъ лицъ дала возможность Институту широко примѣнить систему „фондовъ“. Полученный по наслѣдству отъ археологическаго общества „Фондъ болгарской исторіи и археологіи“ въ 307.156 лева, къ 1930 году увеличился вдвое. По рѣшенію Софійскаго городского совѣта самостоятельно существовавшій „Комитетъ по исторіи Софіи“ былъ приданъ Институту вмѣстѣ съ его фондомъ. Въ 1923 году былъ образованъ „Фондъ Ив. Бурова“ для изданія серіи популярныхъ книжекъ по археологіи Болгаріи, а въ 1926 году образовался „Фондъ Елизаветы Д. Филовой.“ Въ 1928 г. положено начало „Фонду проф. д-ра В. Моллова“ съ назначеніемъ ежегодной выдачи 10.000 лева награды лицу, наиболѣе отличившемуся въ области археологіи. Административное управленіе Пловдивскаго округа значительнымъ денежнымъ пожертвованіемъ основало „Фондъ Пловдивскаго округа“ съ цѣлью способствовать археологическому изученію округа.

Печатнымъ органомъ Института являются солидныя, цѣнныя и богато иллюстрированныя „Извѣстия“. Вышедшія до 1931 г. 5 томовъ (6 книгъ) содержатъ публикацію научныхъ трудовъ преимущественно членовъ Института и обзоры археологической жизни страны. Съ четвертаго тома была установлена традиція печатанія нѣкоторыхъ статей иностранныхъ членовъ Института на иностранныхъ языкахъ. Изданы были также: V и VI тома серіи „Матеріалы по исторіи Софіи,“ 1 томъ серіи „Художественные памятники Болгаріи“, „Юбилейная книга гор. Софіи (1878—1928),“ „Руководство по археологическимъ раскопкамъ и сохраненію старины“ и три книжки „Популярной археологической библіотеки“.

Въ 1926 году, совмѣстно съ Музеемъ, Институтъ устроилъ давшіе хорошіе результаты курсы по археологіи и музеевѣдѣнію для группы завѣдующихъ провинціальными музеями.

Созданный сразу послѣ Великой войны и при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, вытекавшихъ изъ ея результатовъ, Институтъ положилъ много усилій прежде чѣмъ достигъ общенія, главнымъ образомъ, черезъ обмѣнъ научными изданіями, съ 150 иностранными учеными археологическими учрежденіями.

Отчасти этому общенію обязана Институтская археологическая библіотека. Ея содержаніемъ и организаціей Институтъ особенно имѣетъ право гордиться. Получивъ отъ археологическаго общества около 300 названій, институтская библютека, систематически пополняясь отъ обмѣна, покупки и дареній, къ 1 января 1931 г. увеличилась до 7470 названій лучшихъ, преимущественно иностранныхъ, археологическихъ сочиненій и журналовъ, удобныхъ для пользованія, благодаря основному и азбучному каталогамъ. Съ большимъ вниманіемъ, но и трудностями, пополняется отдѣлъ русскихъ изданій.

Энергіи руководителей Институтъ обязанъ и собственнымъ, вполнѣ отвѣчающимъ нуждамъ, помѣщеніемъ, купленнымъ въ 1925 году.

Болгарскій оффиціальный и археологическій міръ всегда оказывалъ широкое гостепріимство археологамъ-иностранцамъ. О ра-

ботѣ Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ сказано выше. Въ 90-хъ годахъ прошлаго столѣтія надъ античной археологіей и эпиграфикой работали въ Болгаріи нѣмцы E. Bormann и E. Kalinka. Въ началѣ XX столѣтія французъ G. Seure копалъ античные города и изучалъ античную и ѳракійскую старину. Въ 1920—22 годахъ присно-памятный Н. П. Кондаковъ читалъ лекціи въ Софійскомъ университетѣ, „съ юношескимъ увлеченіемъ показывая большой интересъ и къ болгарской старинѣ и оставивъ доброе воспоминаніе своими цѣнными совѣтами и авторитетными указаніями при опредѣленіи характера и времени нѣкоторыхъ археологическихъ памятниковъ, особенно фресковой живописи“.[1] Въ 1919—23 годахъ А. Н. Грабаръ занимался интереснѣйшими разысканіями въ области христіанскаго искусства VI—XVII вв. Начавъ въ 1924 году, до настоящаго времени успѣшно продолжаетъ изслѣдованіе древне-болгарской старины и быта венгерецъ проф. Gesa Fehér.

*

Большой и давно уже оцѣненный своими и чужими трудъ продѣланъ болгарскими археологическими учрежденіями: организована служба разысканія, охраненія, публикации и научнаго изученія археологическихъ памятниковъ. Безгранично насыщенная стариной почва ждетъ дальнѣйшей планомѣрной работы. Но энергія ближайшихъ лѣтъ должна быть направлена на постройку музейнаго зданія, отвѣчающаго современнымъ требованіямъ. Какъ бы ни было интересно и почтенно нынѣшнее помѣщеніе Музея — когда-то турецкая мечеть Буюкъ-Джамія, постройки 1494 года, — она совершенно не удовлетворяетъ нуждамъ. Сырая, не отапливаемая, лишенная помѣщенія для дирекціи и персонала, уже давно не вмѣщающая накопленныхъ коллекцій, она была всегда слабымъ мѣстомъ въ работѣ археологическихъ учрежденій и постояннымъ источникомъ огорченія всѣхъ музейныхъ директоровъ. Многократныя и настойчивыя попытки приблизить вопросъ къ разрѣшенію не дали результата, гл. обр. вслѣдствіе труднаго финансоваго положенія государства. Хочется вѣрить, что придутъ лучшія времена и разрѣшатъ и этотъ насущный вопросъ.

Софія. *С. Покровскій.*

[1]) Докладъ В. Н. Златарскаго на торжественномъ Засѣданіи Болгарскаго Археол. Инст. 16/X 1924 г. въ честь Н. П. Кондакова, IV Отчетъ на Българския Арх. Инст. въ София, стр. 51.

ЗАМѢТКИ О РЕСТАВРАЦІИ ИКОНЪ

Посвящается памяти Алексѣя Васильевича и Александра Алексѣевича Тюлиныхъ, моихъ иконописцевъ-реставраторовъ.

Прошло двадцать пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я началъ смотрѣть на икону не только съ Божественной точки зрѣнія, но и съ художественной ея стороны. Съ малыхъ лѣтъ привыкши ежедневно посѣщать нашу моленную въ Москвѣ по Мало-Харитоньевскому переулку, разукрашенную почти одними древними иконами или точными копіями съ нихъ, съ малыхъ лѣтъ слушая разсужденія нашихъ старообрядческихъ священниковъ и начетчиковъ о древнихъ иконахъ въ сравненіи съ новыми ихъ изображеніями въ православныхъ храмахъ, слыша и читая хулы миссіонеровъ православной церкви на древнее двухперстное сложеніе на иконахъ, у меня зародилась мысль опредѣлить значеніе перстосложенія въ иконописи и прослѣдить изображеніе его по древнимъ лицевымъ рукописямъ, фрескамъ, мозаикамъ и иконамъ.

Я усердно началъ посѣщать древнія хранилища церковной старины, кремлевскіе соборы, московскіе и другіе храмы, старообрядческія моленныя и, главное, Рогожское и Преображенское кладбища. Эти два кладбища, и въ особенности первое, имѣли богатѣйшія собранія древнихъ, чудныхъ образовъ, изъ которыхъ многіе не тронуты были реставраціей. Тутъ впервые я рѣшилъ собирать древнюю русскую икону.

Первая икона, которую я вымѣнялъ для своего собранія, была икона „Смоленской Божіей Матери“. Вымѣнялъ я эту икону у Ивана

Лукича Силина, смотрѣлъ на нее и ничего не понималъ. Икона была XV—XVI вѣковъ, новгородскихъ писемъ; говорили, что она хороша, хорошей сохранности и мало поновлена. Меня это мало удовлетворило и захотѣлось самому разобраться въ древней иконописи и понять, какъ поновляются древнія иконы. Я началъ искать себѣ помощника-иконописца. Черезъ Ивана Лукича Силина, великаго знатока древней русской иконописи, который помогалъ покойному П. М. Третьякову составить небольшую, но чудную коллекцію древнихъ иконъ, находящуюся въ Третьяковской галереѣ въ Москвѣ, я познакомился съ Алексѣемъ Васильевичемъ Тюлинымъ.

Родъ Тюлиныхъ издавна былъ извѣстенъ и далъ многихъ выдающихся иконописцевъ и знатоковъ древне-русскаго иконописанія. Алексѣю Васильевичу Тюлину было тогда около 45 лѣтъ. Онъ всю свою жизнь, съ малыхъ лѣтъ, просидѣлъ въ иконописныхъ мастерскихъ и, въ концѣ концовъ, главной его работой была расчистка иконъ, т. е. снятіе съ нихъ всякаго наноснаго слоя, какъ времени, такъ и реставраціоннаго. Этотъ человѣкъ, какъ о немъ отзывались всѣ, былъ виртоузомъ въ своемъ дѣлѣ. Его познаніе новаго и стараго наслоенія, его знаніе древней иконописи были колоссальныя. Вотъ съ этимъ человѣкомъ и свела меня судьба въ самомъ началѣ изученія мною древне-русской иконописи.

Постепенно я началъ пріобрѣтать древнія, нерасчищенныя иконы, и не зналъ, какъ приступить къ ихъ реставраціи. Отдавать ихъ въ извѣстныя мнѣ иконописныя мастерскія мнѣ не хотѣлось, такъ какъ я къ реставраціи этихъ мастерскихъ относился очень критически. Неоднократно мнѣ приходилось видѣть, какъ онѣ искажали и портили древность. Мое знакомство съ Алексѣемъ Васильевичемъ Тюлинымъ продолжалось, и въ одинъ прекрасный день мы сговорились съ нимъ и я открылъ у себя въ Москвѣ на Малой Никитской свою собственную, небольшую мастерскую для расчистки древнихъ иконъ. Главой этой мастерской и моимъ учителемъ сталъ незабвенной памяти Алексѣй Васильевичъ Тюлинъ.

Черезъ годъ съ небольшимъ сговорился я съ сыномъ Алексѣя Васильевича Тюлина — Александромъ Алексѣевичемъ, членомъ-сотрудникомъ Императорскаго Московскаго Археологическаго Института. Александръ Алексѣевичъ былъ выдающимся иконописцемъ и знатокомъ стилей и пошибовъ разныхъ эпохъ иконописаній и ему можно было поручить написать любую копію съ древняго образа, и получалось такъ, что трудно было отличить копію отъ оригинала. Въ этихъ двухъ лицахъ я нашелъ себѣ удивительныхъ учителей и помощниковъ при пріобрѣтеніи древнихъ, чудныхъ иконъ для моего собранія. Всѣ иконы, которыя проходили черезъ мою мастерскую, детально нами изучались, осторожно расчищались и приводились въ такой порядокъ, гдѣ ясно было видно, что все новое, наносное снято и осталась одна красота древняго письма. Тѣ мѣста или выпадины, которыя мѣшали полнотѣ впечатлѣнія, поправлялись и реставрировались Александромъ Алексѣевичемъ въ полутонъ. Выдерживая точный рисунокъ оригинала поправка дѣлалась такимъ образомъ, что утраченныя мѣста ясно были видны и икона не носила характера сплошной записи. Благодаря этимъ лицамъ я научился смотрѣть въ глубь старины и разбираться во всѣхъ стиляхъ древне-русскаго иконописанія.

*

Исторія реставраціи въ Россіи иконъ и фресокъ относится къ глубокой древности. Въ лѣтописяхъ сохранились нѣкоторыя имена Святителей, которые удѣляли свой досугъ этому дѣлу. Древнѣйшая икона „Владимірской Божіей Матери“, по преданію писанная Евангелистомъ Лукою и находящаяся въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ, была поновлена въ 1514 году митрополитомъ Варлаамомъ, а въ 1566 году митрополитомъ Афанасіемъ.

На одномъ изъ полей образа святого великомученика Дмитрія Солунскаго, находящагося тоже въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ, сохранилась слѣдующая надпись: „Благословеніемъ Божіимъ и молитвами святого великомученика Христова Дмитрія Мироточца и славнаго чудотворца поновленъ бысть сей святый образъ его благословеніемъ господина преосвященнаго Варлаама Митрополита всея Россіи, Божіею милостью и повелѣніемъ благовѣрнаго и Христолюбиваго Великаго Князя Василія Іоанновича, Государя и Самодержца всея Россіи въ лѣто 7025 (1517), въ 17-е лѣто государства его, мѣсяца Іюля“.

Тотъ же Митрополитъ Варлаамъ въ 1518 году поновляетъ образъ Спаса, сидящаго на престолѣ, „греческаго письма вельмо чудна“ (Никон., VI, стран. 214, 225), принесеннаго изъ Владиміра; внизу на окладѣ надпись:

„Въ лѣто 7026 (1518) повелѣніемъ Благовѣрнаго Василія, Божіею милостью Государя

и Самодержца всея Россіи и Великаго Князя, по совѣту Варлаама Митрополита всея Россіи принесены святыя иконы отъ града Владиміра въ славный градъ Москву, образъ Господа Бога и Спаса нашего Ісуса Христа Вседержителя, греческаго письма, образъ Пречистыя Богородицы, построиши и поновлиши многими лѣтами обветшавшаго и украсивъ ихъ сребромъ и златомъ, пречистыя Богородицы образъ проводиша ко граду Владиміру, а сію святую икону велѣлъ Князь Великій поставить въ соборныи церкви Пречистыя Богородицы на Москвѣ въ лѣто 7028 въ пятоенадесятъ лѣто государство его."

Да на той иконѣ въ подножіи написано: „Лѣта отъ сотворенія міра 7208, отъ Рождества Бога слова 1700, при державѣ благочестивѣйшаго Великаго Государя и Великаго Князя Петра Алексѣевича всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, благословеніемъ же великаго Господина святѣйшаго Кира Андріана архіепископа Московскаго и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ Патріарха, при благородномъ Государѣ Царевичѣ и Великомъ Князѣ Алексѣѣ Петровичѣ поновленъ сей святый чудотворный образъ Спасителевъ греческаго письма вовторые изографомъ Георгіемъ Терентьевымъ сыномъ Зиновьевымъ."

Митрополитъ Макарій, написавшій для Успенскаго собора въ Москвѣ икону Успенія Пресвятыя Богородицы, въ 1551 году поновляетъ образъ Николы Великорѣцкаго вмѣстѣ съ протопопомъ Благовѣщенскаго собора Андреемъ. Еще раньше въ 1528 году тотъ же митрополитъ Макарій, будучи епископомъ, поновилъ въ Новгородѣ образъ Знаменія Пресвятыя Богородицы.

Древняя икона Тихвинской Божіей Матери была возобновлена игуменомъ Тихвинскаго монастыря Герасимомъ въ началѣ семнадцатаго вѣка. Работа игумена Герасима была извѣстна Царю Михаилу Феодоровичу и эта икона была возобновлена съ его разрѣшенія.

Всѣ эти реставраторы не умѣли поновлять святыя иконы иначе, какъ записывая всю икону сплошь по старой олифѣ хотя и придерживались стараго рисунка и прорѣзи, но манера работы была уже своего времени.

Реставраторы-иконописцы второй половины семнадцатаго вѣка даже не сохраняютъ древняго рисунка и прорѣзи при реставраціи иконъ, а сплошь ихъ записываютъ по новому.

Образъ Спаса, сидящаго на престолѣ, находящійся по правую сторону царскихъ вратъ въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ, переписанъ въ концѣ семнадцатаго вѣка Кирилломъ Улановымъ. Этотъ образъ по преданію письма Мануила, царя греческаго, въ 1576 году перенесенъ изъ Великаго Новгорода царемъ Іоанномъ Васильевичемъ и поставленъ „въ первомъ мѣстѣ" по правую сторону царскихъ вратъ Успенскаго собора. Прорѣзь съ этого образа еще до реставраціи или, правильнѣе сказать, до переписи его Кирилломъ Улановымъ, была снята и зафиксирована подлинникомъ Антонія Сійскаго монастыря въ началѣ семнадцатаго вѣка. На прорѣзи сохранилась надпись: „Переводъ сыконы Спасовъ что въ большомъ успенскомъ соборѣ на право руки царскія двери еже золотая риза, письма царя Мануила Греческаго".

Если мы сравнимъ эту прорѣзь съ тѣмъ, что сейчасъ изображаетъ этотъ Спасовъ образъ, то увидимъ, что Улановъ ничего не оставилъ отъ древняго рисунка, а весь образъ переписалъ вновь и нѣтъ уже той Богодухновенной красоты лика, нѣтъ той граціи положенія, нѣтъ той изящной пропорціи древняго рисунка, а получилась бездарная икона Ушаковской школы и другихъ послѣдователей запада конца семнадцатаго вѣка, та школа, которая свела на нѣтъ древне-русскую иконопись, какъ искусство.

Въ началѣ восемнадцатаго вѣка въ томъ же Успенскомъ соборѣ Кирилломъ Улановымъ переписывается образъ „Царь-Царемъ" или „Предста-Царица", по преданію письма перваго русскаго иконописца св. Алимпія, Печерскаго Чудотворца.

Икона Казанской Божіей Матери, находящаяся въ Московскомъ Казанскомъ соборѣ, реставрирована нѣсколько разъ и сохранилось двѣ подписи реставраторовъ. Первая подпись относится къ 7146 (1638) году: „146 года сей пречистый образъ поновлялъ Михаилъ Малютинъ", а вторая — къ 1754 году: „а сего 754-го паки сей святый образъ поновляла госпожа баронесса Прасковія Ивановна Строгонова". Реставраторы, какъ Малютинъ, такъ и баронесса Строгонова, собственно говоря, не реставрировали иконы, а только задѣлали утраченныя мѣста. Тамъ, гдѣ рука этихъ реставраторовъ не коснулась иконы, видны слѣды древняго московскаго письма шестнадцатаго вѣка.

На выставкѣ „Древне-Русскаго Искусства" въ 1913 году въ Москвѣ были выставлены

„Деисусы“, новгородскихъ писемъ пятнадцатаго вѣка, изъ собранія Вл. П. Рябушинскаго. Эти иконы имѣли нѣсколько наслоеній реставраціи и самая послѣдняя относилась къ сороковымъ годамъ XIX-го вѣка; подъ ней была запись XVII-го вѣка въ московской манерѣ, а внизу и другія. При снятіи всѣхъ реставраціонныхъ наслоеній, иконы оказались новгородскихъ писемъ пятнадцатаго вѣка, хотя сильно утраченныя.

Примѣровъ различныхъ реставрацій древнихъ иконъ въ восемнадцатомъ и девятнадцатомъ вѣкахъ можно привести очень много и только отъ этой реставраціи станетъ на душѣ очень грустно. Д. А. Ровинскій пишетъ: „извѣстно, что при поновленіи въ прежнее время иконники переписывали по большей части иконы заново, замазывали прежнія подписи, перекрашивали свѣтъ и поля, покрывали другими красками ризы, переписывали лица и нерѣдко дѣлали на иконахъ приписи. Очень ясно, что послѣ двухъ-трехъ подобныхъ поновленій не остается никакой возможности судить о первобытномъ состояніи иконы“.

Такую же участь, если даже не худшую, пришлось испытать и древне-русскому стѣнному письму. Стѣны храмовъ съ древними фресками заштукатуривались, забѣливались и замазывались масляной краской. Въ 1835 году всѣ стѣны собора Св. Софіи въ Новгородѣ были сплошь закрашены масляной краской и только въ 1893 году было приступлено къ расчисткѣ и открыты древнія фрески, а въ 1827 году въ Новгородской кладбищенской церкви Рождества по указанію архимандрита Макарія древнія фрески, покрывавшія всѣ стѣны храма, были забѣлены и закрашены.

Фрески кіевскаго Кириллова монастыря были подъ штукатуркой скрыты, и только въ 1881—1883 годахъ открыты и реставрированы, хотя и очень неудачно.

Фрески церкви Св. Георгія въ Старой Ладогѣ, шедевръ древне-русскаго искусства, тоже чуть не всѣ погибли отъ реставраціи храма. „Въ 1847 году ревнители благолѣпія храма начали исправлять его и отбили множество фресокъ; отбили бы всѣ, если бы какое-то лицо, случайно посѣтившее церковь, не остановило эту варварскую затѣю приходского священника, задавшагося цѣлью по отбитіи всѣхъ фресокъ заштукатурить стѣны вновь“. (Н. Е. Бранденбургъ. Старая Ладога. СПБ., 1896 г.).

И такихъ примѣровъ можно привести „нѣсть числа“.

Ввиду того большого интереса, который появился въ началѣ этого столѣтія къ древнерусской иконѣ, вездѣ старались съ любовью, съ осторожностью и вниманіемъ найти, открыть и расчистить древнія иконы и очень часто наталкивались на ужасныя и губительныя проявленія реставраціи восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣковъ. Подъ словомъ „реставрація святыхъ иконъ“ въ восемнадцатомъ и девятнадцатомъ вѣкахъ, и даже до послѣднихъ дней, понимали и понимаютъ у насъ — счистить старое темное изображеніе, какъ никуда не годное, и написать на старой же доскѣ новую, уродливую, кричащую и чувственную икону. Это дѣлали настоятели нашихъ храмовъ и монастырей до послѣднихъ дней въ угоду благотворителей и по своей иниціативѣ. Рѣдкая икона уцѣлѣла отъ этихъ реставраторовъ и, если нѣкоторыя уцѣлѣли, то только благодаря сплошнымъ металлическимъ ризамъ, которыми за послѣднія двѣсти лѣтъ одѣваютъ иконы.

Въ XVIII и XIX-хъ вѣкахъ древне-русская икона кромѣ того была по многимъ причинамъ не въ фаворѣ и даже болѣе того — подвергалась гоненію. Она слишкомъ много напоминала новаторамъ древне-православные догматы, а потому старинныя иконы уничтожались, изъ храмовъ выкидывались, у старообрядцевъ отбирались и складывались на чердакахъ, колокольняхъ, въ подвалахъ и погребахъ, гдѣ онѣ отъ сырости, птицъ и другихъ причинъ гибли, а храмы замѣняли древнія иконы новыми, по большей части бездарными произведеніями современнаго иконописанія.

Мнѣ вспоминается одинъ ужасный примѣръ вандализма въ концѣ прошлаго столѣтія. Въ самомъ центрѣ Москвы сторожа церкви 12 Апостоловъ въ Кремлѣ, въ подвалѣ которой были сложены древнія иконы, въ 1896 году кололи ихъ на дрова и топили ими печи.

Гоненіе на древне-русскую икону меня не удивляетъ еще потому, что русская древняя иконопись до послѣдняго времени даже великими учеными совершенно не признавалась какъ искусство. Они не любили древней иконы, потому что не знали ея: они думали, что въ древне-русской иконѣ не было искусства, красоты и красокъ. Они не видѣли красоты иконы за темнотой слоя вѣковъ и не предполагали, что за красота скрыта подъ старой, закоптѣлой олифой. А понятіе въ массѣ народа о древне-русской иконописи до сихъ поръ самое наивное. Черные, темные, закоптѣлые

съ едва видимымъ изображенiемъ образа принимались и принимаются до сихъ поръ за древне-русское искусство. Такiе образа назывались „старообрядческими“. Но что скрывалось подъ старой олифой, подъ пылью времени, какiя красоты содержала та или иная икона, это знали и понимали старообрядцы, и только благодаря имъ мы можемъ гордиться, что не всѣ еще древнiя иконы уничтожены, не всѣ онѣ записаны и что осталось еще много шедевровъ древне-русскаго искусства. Въ старообрядческихъ моленныхъ и домашнихъ церквахъ не записывались и не замазывались древнiя иконы, а бережно сохранялись и умѣло съ любовью расчищались и реставрировались.

Реставрацiя иконъ требуетъ глубокаго пониманiя времени написанiя каждой иконы и возможности отнести ее къ той или иной школѣ и эпохѣ. Одна и та же икона бываетъ записана и переписана по нѣсколько разъ. Эти разныя реставрацiи и время ихъ надо умѣть разбирать, что, конечно, достигается только долголѣтней практикой. Очень часто подъ старою московской или сѣверной записью XVI и XVII вѣковъ, не говоря уже про болѣе позднюю, при расчисткѣ оказываются иконы болѣе древнiя, другихъ эпохъ и школъ, хорошо сохранившiяся, съ небольшими выпадками и изъянами.

Благодаря тому, что иконописцы въ древности не умѣли зачинять выпадки и изъяны на иконахъ и относились къ иконѣ какъ къ святынѣ, не осмѣливаясь дотрагиваться до нея, чтобы не счистить святого изображенiя, какъ это дѣлалось въ XIX и XX вѣкахъ, предпочитая по старой олифѣ переписать всю икону, могло сохраниться столько дивныхъ памятниковъ древне-христiанскаго искусства.

Реставраторъ въ иконописномъ дѣлѣ долженъ быть очень образованнымъ человѣкомъ. Чтобы реставрировать, надо понимать, что реставрируешь. Держать кисть и умѣть рисовать — этого мало. Реставраторъ долженъ въ совершенствѣ знать всю технику иконописнаго искусства. Онъ долженъ понимать икону, научиться смотрѣть въ глубь ея вѣковъ, онъ долженъ знать всѣ особенности той или иной школы и манеры различныхъ писемъ въ различныя ихъ эпохи, и долженъ быть знатокомъ древне-христiанской палеографiи. Знающiй въ совершенствѣ стили и манеры разныхъ школъ и эпохъ при расчисткѣ иконы никогда не счиститъ, при снятiи слоевъ записи и олифы, старое древнее письмо. Расчистка состоитъ въ томъ, чтобы, не трогая древнихъ красокъ, удалить съ иконы всѣ накопившiяся отъ времени наслоенiя и реставрацiи.

На расчистку древнихъ иконъ надо обращать самое серьезное вниманiе, потому что она представляетъ собою трудъ далеко не такой легкiй, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Расчистка иконъ требуетъ много времени, знанiя, опытности, аккуратности и громаднаго терпѣнiя.

Послѣ расчистки иконы наступаетъ моментъ возстановленiя утраченныхъ мѣстъ. Эта работа должна быть въ рукахъ знающихъ, опытныхъ и толковыхъ людей. Древнiя иконы должны приводиться въ полный порядокъ, хотя утраченныя мѣста не должны вполнѣ записываться, а только прописываться въ полутонъ, чтобы ясно были видны мѣста реставрацiи и ярче бы выступала красота древнихъ красокъ. Со стороны реставратора требуется знанiе древнихъ красокъ, ихъ составовъ и примѣненiя. Новыя химическiя краски нельзя употреблять при реставрацiи древнихъ иконъ и примитивовъ; онѣ не выдерживаютъ времени, мѣняютъ свой цвѣтъ, тускнѣютъ и чернѣютъ. При реставрацiонныхъ работахъ надо употреблять тѣ краски, которыми иконописцы писали въ древности.

Въ нашихъ церквахъ и въ домахъ очень часто, даже до сихъ поръ, протираютъ иконы деревяннымъ масломъ, не сознавая какъ этимъ губятъ иконы. Деревянное масло временно даетъ свѣжесть красокъ и ясность изображенiя иконы, но послѣдствiя отъ деревяннаго масла ужасны: краски мѣняютъ свой цвѣтъ, тускнѣютъ, а левкасъ промасливается, желтѣетъ, мякнетъ и отваливается. На промасленномъ левкасѣ невозможно произвести реставрацiю. Левкасъ—это грунтъ всякой иконы. Онъ долженъ быть чистымъ и прочнымъ. Чистый, бѣлый левкасъ даетъ возможность реставратору ближе подойти своими красками къ краскамъ древности при возобновленiи иконы.

Реставраторовъ древнихъ иконъ въ Россiи было очень много, но не многимъ можно было довѣрить эту работу. Много иконъ у насъ на Руси испорчено плохими реставраторами, которые часто въ угоду заказчиковъ даже переписывали иконы и передѣлывали изъ одного святого другого. Но были и есть у насъ на Руси чудные мастера-иконописцы. Эти

иконописцы живутъ изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Родъ Тюлиныхъ, Чириковыхъ, Гурьяновыхъ и другіе дали много знаменитыхъ иконописцевъ и реставраторовъ. Такихъ художниковъ своего дѣла и знатоковъ древней иконописи нѣтъ на Западѣ. На Западѣ не знаютъ тѣхъ пріемовъ и способовъ расчистки, которыми пользуются наши иконописцы, и если бы ихъ допустили до реставраціи древнихъ византійскихъ иконъ и итальянскихъ примитивовъ, то можно было бы сдѣлать много интереснѣйшихъ открытій.

*

Реставрацію древнихъ иконъ надо раздѣлить на нѣсколько отдѣловъ и пріемовъ, а именно: 1) Закрѣпленіе досокъ. 2) Припариваніе. 3) Расчистка, т. е. удаленіе съ иконъ копоти, записи и вообще всего того, что только есть наноснаго на ней. 4) Залевкашеніе утраченныхъ мѣстъ. 5) Возстановленіе иконописи на утраченныхъ мѣстахъ.

1) Доски, на которыхъ съ самыхъ первыхъ временъ иконописанія изображались святыя иконы, приходили въ ветхость отъ сырости, червоточины и многихъ другихъ причинъ. Большинство древнихъ иконъ приходится выпрямлять или переводить на новыя доски. Способъ перевода иконъ, примитивовъ и картинъ на новыя доски или полотно очень хорошо извѣстенъ на западѣ.

2) Древнія иконы часто отъ времени, сырости или какихъ-либо другихъ причинъ покрываются вздутіями, и грунтъ (левкасъ) мѣстами начинаетъ отставать и грозитъ даже полнымъ отпаденіемъ, а вслѣдствіе этого и полнымъ уничтоженіемъ древняго изображенія. Для того, чтобы предохранить иконопись отъ дальнѣйшаго разрушительнаго дѣйствія, необходимо сначало припарить икону. Способъ припариванія иконы состоитъ въ слѣдующемъ: доску иконы по лицевой ея сторонѣ сплошь покрываютъ только что разведеннымъ, не горячимъ, чистымъ рыбьимъ (осетровымъ) клеемъ не особенно густо, сверху покрываютъ въ нѣсколько слоевъ тонкой бумагой и послѣ этого водятъ по иконѣ горячимъ утюгомъ, стараясь прогладить и поставить на мѣсто всѣ вздутія и отставшій грунтъ. Послѣ того, какъ все будетъ приглажено, иконѣ даютъ совершенно просохнуть въ теченіи нѣсколькихъ дней. Этотъ способъ примѣняется къ тѣмъ иконамъ, которыя залевкашены прямо на доску, а не на паволоку. На иконѣ съ паволокой, которая отстаетъ отъ доски вмѣстѣ съ грунтомъ (левкасомъ), дѣлаютъ надрѣзы въ паволокѣ и вливаютъ туда горячій, чистый рыбій клей, которымъ также покрываютъ и всю икону. Дальше же поступаютъ такъ, какъ сказано выше, т. е. берутъ горячій утюгъ, которымъ проглаживаютъ вздутія и т. д. Когда икона совсѣмъ высохнетъ, бумага, наклеенная на икону, отмачивается и всѣ частицы красокъ, которыя отставали отъ грунта, снова видимъ на своихъ мѣстахъ, а самый грунтъ является прикрѣпленнымъ къ доскѣ. Такимъ образомъ начавшееся разрушеніе иконы предотвращено.

3) Послѣ того, какъ икона припарена, можно приступить къ самой отвѣтственной части реставраціи, а именно къ расчисткѣ иконы, т. е. удаленію всего наноснаго слоя.

Есть нѣсколько способовъ и пріемовъ при расчисткѣ древнихъ иконъ: 1) Сухой способъ, 2) на политуру, 3) на нашатырный спиртъ, 4) на огонь, 5) на винный спиртъ со скипидаромъ и 6) на воду.

Ранѣе чѣмъ приступить тѣмъ или инымъ способомъ къ расчисткѣ иконы, надо сдѣлать пробу, какимъ способомъ легче и лучше будетъ производиться расчистка.

Сухой способъ состоитъ въ слѣдующемъ: записанную или загрязненную икону смазываютъ подсолнечнымъ масломъ и приступаютъ къ аккуратному соскабливанію старой олифы и наноснаго слоя острымъ ножичкомъ; этотъ способъ расчистки иконы употребляется очень рѣдко. Самымъ общепринятымъ является способъ расчистки иконы на политуру. Составъ политуры состоитъ изъ виннаго спирта и шеллака (смолы съ примѣсью эфирнаго масла). Преимущество этого способа заключается въ слѣдующемъ: политура даетъ прозрачность и травитъ олифу и наносный слой не сразу, а постепенно. Расчистка политурой производится слѣдующимъ образомъ: мѣсто на иконѣ, гдѣ предстоитъ снять слой старой олифы или записи, смазывается подсолнечнымъ масломъ, а потомъ это мѣсто небольшой кисточкой смачиваютъ политурой и даютъ олифѣ и наноснымъ краскамъ раствориться. Для этого достаточно небольшого количества времени, всего нѣсколько секундъ. Послѣ этого мѣсто опять обильно смазывается подсолнечнымъ масломъ, чтобы растрава не пошла дальше и не коснулась бы древнихъ красокъ. Послѣ каждаго пріема подсолнечное масло стираютъ ватой и старую олифу или наносный слой красокъ аккуратно соскабли-

ваютъ ножичкомъ. Эти пріемы продѣлываются послѣдовательно до тѣхъ поръ, пока не будетъ удаленъ съ древней иконописи весь наносный слой.

Когда реставраторъ замѣтитъ, что расчистка совсѣмъ не идетъ на политуру, что бываетъ при слишкомъ твердомъ слоѣ застарѣлой олифы масляныхъ красокъ, тогда прибѣгаютъ къ третьему способу расчистки — на нашатырный спиртъ. Пріемы этого способа расчистки тѣ же, что и при расчисткѣ посредствомъ политуры. Способъ расчистки иконы нашатырнымъ спиртомъ очень серьезный и съ нимъ надо обращаться очень аккуратно. Какъ въ томъ такъ и въ другомъ случаѣ надо обильно смазывать икону во время работы подсолнечнымъ масломъ, чтобы умалить силу спирта и политуры. Способы расчистки древнихъ иконъ, извѣстные до сего времени въ Россіи, очень просты, но въ то же время требуютъ громадной, абсолютной аккуратности и всѣ пріемы должны производиться послѣдовательно.

Четвертый способъ расчистки иконъ — это расчистка на огонь. Этотъ способъ употребляется, когда старая олифа или масляныя краски или лаки совершенно не поддаются и не травятся ни на одинъ изъ вышеупомянутыхъ способовъ. Въ прежнее время этотъ способъ состоялъ въ слѣдующемъ: мѣсто, которое должно было быть расчищено, смачивали нашатырнымъ спиртомъ и нагрѣвали на свѣчкѣ. Когда это мѣсто достаточно было нагрѣто, его обильно смазывали подсолнечнымъ масломъ, чтобы уничтожить силу спирта, и послѣ уже осторожно и аккуратно счищали наносный слой ножичкомъ. Гораздо болѣе принятый способъ расчистки иконы на огонь состоялъ въ слѣдующемъ: мѣсто для расчистки смачивали политурой и поджигали. При этомъ надо особо строгое вниманіе обращать на то, чтобы какъ только наносная краска или олифа начнутъ закипать, немедленно гасить политуру и это мѣсто обильно смазать подсолнечнымъ масломъ. Этотъ пріемъ повторяется до тѣхъ поръ, пока наносный слой красокъ или старая олифа не размякнутъ, и только тогда уже прибѣгаютъ къ другимъ способамъ расчистки иконы или на политуру или на нашатырный спиртъ, какъ было указано выше.

Извѣстенъ еще способъ расчистки — это винный спиртъ со скипидаромъ. Винный спиртъ и скипидаръ берутся въ равныхъ частяхъ. Способъ расчистки тотъ же самый, какъ политурой или нашатырнымъ спиртомъ, но надо знать, что этотъ составъ гораздо сильнѣе всѣхъ предыдущихъ, а потому онъ требуетъ абсолютной осторожности и вниманія.

Способъ расчистки на воду примѣняется къ иконамъ, которыя покрыты такъ называемой тягучей олифой, которая тянется и липнетъ къ ножу при расчисткѣ. Эта олифа чаще всего встрѣчается не на очень древнихъ иконахъ, а именно на такъ называемыхъ „столѣтникахъ“. Способъ расчистки на воду состоитъ въ слѣдующемъ: смочивъ мѣсто, предполагаемое къ расчисткѣ водой, приступаютъ къ соскабливанію олифы ножичкомъ. Если это мѣсто будетъ бѣлѣть отъ воды, то надо его смазать подсолнечнымъ масломъ, и бѣль пропадетъ. Когда тягучая олифа будетъ снята, въ дальнѣйшемъ при расчисткѣ иконы поступаютъ такъ же, какъ я писалъ раньше.

Когда расчистка иконы оканчивается, приступаютъ къ залевкашиванію утраченныхъ мѣстъ, т. е. выпадинъ. Левкасъ — это грунтъ всякой иконы. Онъ приготовляется изъ чистаго мѣла на рыбьемъ клеевомъ растворѣ. Покрываютъ выпадины левкасомъ постепенно, въ нѣсколько слоевъ, причемъ первые слои должны быть на болѣе жидкомъ клеевомъ растворѣ. Когда реставрируемая икона залевкашена, ей даютъ нѣсколько дней просохнуть, потомъ залевкашенныя мѣста пемзуютъ, т. е. заглаживаютъ, и тогда уже приступаютъ къ возстановленію древней иконописи на утраченныхъ мѣстахъ.

О томъ, какъ возстановлять древнюю иконопись на иконахъ, которыя представляютъ изъ себя музейныя сокровища, я высказался въ своихъ воспоминаніяхъ раньше.

Ст. П. Рябушинскій.

Миланъ. 1928 годъ.

БИБЛІОГРАФІЯ

L'art byzantin chez les Slaves. Les Balkans. Premier recueil dédié à la mémoire de Théodore Uspenskij. Paris, Paul Geuthner, 1930 (2 тома in 4°, 503 стр. съ многочисленными иллюстраціями).

Широко задуманный планъ изданія сборника въ честь и въ память русскаго византолога Феодора Ивановича Успенскаго осуществленъ нынѣ G. Millet въ видѣ двухъ большихъ хорошо изданныхъ книгъ, составляющихъ IV томъ „Orient et Byzance". Въ отличие отъ хаотическихъ сборниковъ „въ память", статьи этого изданія подобраны на опредѣленную тему „l'art byzantin chez les Slaves", что выгодно отличаетъ его отъ другихъ сборниковъ. Подзаголовокъ „Les Balkans" съуживаетъ первоначальное заглавіе, и книга почти не касается обширной сферы вліянія византійскаго искусства въ древней Россіи. Это прискорбное сокращеніе первоначальнаго плана произошло отнюдь не по винѣ редактора сборника G. Millet. Матеріалъ расположенъ по отдѣльнымъ главамъ, въ зависимости отъ содержанія:

Les Slaves et Byzance dans l'histoire. Les Slaves dans l'histoire de l'art. Ancienne architecture chrétienne. Premier empire bulgare, architecture et sculpture. Second empire bulgare, peinture murale. Serbie, influences des doctrines sur l'art. Serbie, architecture. Serbie, peintures murales. Serbie, miniatures. Roumanie, architecture. Roumanie, arts mineurs. Balkans, iconographie. Histoire du costume. Les Barbares et l'art oriental. Miniatures arméniennes en Crimée. Pénétration des motifs. Pénétration des doctrines.

Прекрасное предисловіе G. Millet объясняетъ задачи и планъ сборника. Ch. Diehl даетъ блестящій, но краткій обзоръ трудовъ Ѳ. И. Успенскаго. Сборникъ заканчивается толковыми обзорами литературы по византійскому искусству Болгаріи, Сербіи и Румыніи и хорошо составленными индексами. Редактированіе сборника стоило, конечно, громаднаго труда G. Millet, особенно принимая во вниманіе, что онъ долженъ былъ провѣрять и слѣдить за переводами отдѣльныхъ статей на французскій языкъ. Къ сожалѣнію, вслѣдствіе сложности и трудности печатанія столь большой и разнообразной книги, сборникъ нѣсколько запоздалъ съ выходомъ, что отразилось, конечно, на значеніи отдѣльныхъ статей.

Géza Fehér. Le titre des khans bulgares d'après l'inscription du cavalier de Madara. Авторъ лучшій знатокъ надписей мадарскаго всадника, даетъ короткое изслѣдованіе титула болгарскаго хана и устанавливаетъ соотвѣтствіе съ титулатурой орхонскихъ надписей.

A. A. Vasiljev. La Russie primitive et Byzance. Авторъ пересматриваетъ вопросъ о возникновеніи имени Руси въ ея двухъ формахъ: сѣверной — „Русь" и южной — „Росъ"; признавая за послѣдней бо́льшую давность, авторъ опредѣляетъ время, когда оба эти имени начали сливаться въ византійскихъ и другихъ источникахъ (IX-ый вѣкъ) и старается различить — какія извѣстія этого времени должны относится къ Руси сѣверной, а какія — къ Руси южной.

Dragutin N. Anastasijević. L'hypothèse de la Bulgarie Occidentale. Авторъ опровергаетъ сложившееся утвержденіе о существованіи еще со времени царя Петра самостоятельнаго „Западно-Болгарскаго царства" и доказываетъ, что самостоятельность этой Болгаріи (подъ властью Самуила и его братьевъ) возникла лишь въ 976 г. и какъ слѣдствіе возстанія болгаръ противъ Византіи.

Emile Haumant. Les Serbes au Moyen Age et les Grecs. Разсматривается проникновеніе латино-католическихъ и византійско-православныхъ культурныхъ вліяній на средневѣковую Сербію, опредѣляется сущность этихъ противоположныхъ вліяній и ихъ территоріальныя границы.

Nicolas Jorga. Entre Slaves et Roumains. Разбираются нѣкоторыя общія черты въ куль-

турной жизни румынъ (соб. молдаво-валаховъ) и балканскихъ славянъ въ древности.

Miloš Weingart. Les chroniques byzantines dans la littérature slave ecclésiastique. Весьма значительная и интересная статья профессора М. Вейнгарта представляетъ сокращенное résumé большого труда, напечатаннаго на чешскомъ языкѣ въ 1923 году, посвящена обзору и анализу славянскихъ переводовъ византійскихъ хроникъ.

Josef Strzygowski. Zur Mittlerrolle Osteuropas in der bildenden Kunst Nord- und Westeuropas. Въ короткой статьѣ авторъ высказываетъ мысли о значеніи восточной Европы какъ передатчицы восточныхъ вліяній на Западъ.

Ivan Velkov. La basilique de la Mer à Mésemvrie et sa dénomination, сообщаетъ объ открытыхъ имъ въ Месемвріи на берегу моря остаткахъ базилики V—VI вѣка.

Bogdan Filov. Les palais vieux-bulgares et les palais sassanides — находитъ въ планѣ дворца въ Абоба-Плискѣ сходство съ сасанидскими дворцами (Фирузабадъ и Сарвистанъ), и подкрѣпляетъ свою теорію о сасанидскомъ вліяніи на ранне-болгарское искусство ссылкой на мадарскаго всадника.

Gabriel Kacarov. Notes sur la sculpture rupestre de Madara, доказываетъ сасанидское происхожденіе мадарскаго конника, разбираетъ детали одежды (очень мало различимыя и неясныя). Методъ работы скорѣе историческій, чѣмъ археологическій, а аналогіи не всегда убѣдительны.

André Protič. Le style de l'école de peinture murale de Tirnovo au XIII^{e} et au XIV^{e} siècle, по незначительнымъ сохранившимся остаткамъ фресокъ даетъ опытъ характеристики тырновской школы XIII—XIV вѣковъ.

Krsto Mijatev. Les „quarante martyrs", fragment de fresque à Vodoča (Macédoine), внимательно разбираетъ фреску сорока мучениковъ въ Водочѣ и попутно разсматриваетъ рядъ аналогичныхъ памятниковъ съ тѣмъ же иконографическимъ сюжетомъ.

Miloje M. Vasič. L'hésychasme dans l'église et l'art des Serbes du Moyen Age, въ большой статьѣ пытается поставить развитіе средневѣковаго сербскаго искусства въ зависимости отъ монашеской секты езихіастовъ.

Žarko Tatić. La cellule de jeûne de Saint-Sava à Karyès, описываетъ келью святого Саввы на Аѳонѣ — архитектурный памятникъ конца XII вѣка.

Alexandre Derocco. Les deux églises des environs de Ras, даетъ краткое описаніе двухъ памятниковъ сербской архитектуры: столповъ св. Георгія и Сопочаны.

Gabriel Millet. Étude sur les églises de Rascie. Большая статья, дающая прекрасный обзоръ памятниковъ церковной архитектуры западной Сербіи съ подробнымъ описаніемъ отдѣльныхъ храмовъ, разборомъ архитектурныхъ формъ и деталей. Статья является весьма важнымъ дополненіемъ къ прежнему большому труду автора о сербской архитектурѣ (L'ancien art serbe, 1919).

Georges Bošković. Deux églises de Milutin: Staro Nagoričino et Gračanica. Внимательный и толковый разборъ архитектуры церквей въ Старо-Нагоричино и Грачаница (начала XIV вѣка), снабженный прекрасными планами и зарисовками.

Pierre Popović. Le mur occidental de l'église de Ravanica, разбираетъ архитектуру западной стѣны церкви въ Раваницѣ и заключаетъ, что нарфикъ былъ пристроенъ позже.

V. R. Petković. La mort de la reine Anne à Sopoćani, описываетъ фреску въ Сопочанахъ (XIII в.), изображающую смерть царицы Анны.

N. L. Okunev. Lesnovo. Большая толковая статья, содержащая описаніе и разборъ фресокъ Лесновскаго монастыря. Очень внимательный анализъ иконографіи и стиля росписей, опредѣляемый какъ примѣръ живописи монастырской школы XIV в.

A. Grabar. Deux images de la Vierge dans un manuscrit serbe, издаетъ миніатюры сербской рукописи XIII в. и устанавливаетъ зависимость ихъ стиля отъ восточныхъ (египетскихъ) вліяній, и содержанія текста — отъ коптскихъ апокрифовъ. Интересная статья для вопроса о происхожденіи типа Богоматери „Взыграніе Младенца", возникновеніе котораго обычно относятъ къ XIV вѣку.

G. Bals. Influence du plan serbe sur le plan des églises roumaines, устанавливаетъ нѣкоторую зависимость плановъ румынскихъ церквей отъ средневѣковой сербской архитектуры.

P. Henry. Les principes de l'architecture religieuse serbe et l'école moldave, разбираетъ памятники молдавской церковной архитектуры и указываетъ, что несмотря на вліяніе сербскаго зодчества она имѣетъ все же самостоятельный характеръ.

I. D. Stefănescu. Un chef-d'œuvre de l'art roumain, le voile de calice brodé du monastère

de Vatra Moldovitei, описываетъ вышитые „воздухи“ XV в.

R. P. G. de Jerphanion. Le trésor de Putna et les peintures de Cappadoce, высказываетъ нѣсколько замѣчаній объ общихъ чертахъ иконографіи каппадокійскихъ фресокъ и вышивокъ, и другихъ памятникахъ ризницы въ Путнѣ.

N. Bêljaev. Le „Tabernacle du Témoignage“ dans la peinture balkanique du XIV siècle. Интересная статья, разбирающая символику византійскихъ росписей съ изображеніемъ Моисея и Аарона у Скиніи Завѣта.

J. Ivanov. Le costume des anciens Bulgares. Большая статья, посвященная разбору древне-болгарской одежды, основанному на отрывочныхъ письменныхъ извѣстіяхъ и на изображеніяхъ древнихъ болгаръ въ византійской миніатюрѣ; устанавливаетъ, что въ начальный періодъ болгарской исторіи болгары сохраняли кочевническій азіатскій костюмъ.

M. Rostovcev. Le porte-épée des Iraniens et des Chinois. Блестящая статья, объясняющая способъ ношенія меча у кочевниковъ Азіи; является цѣннымъ дополненіемъ къ работѣ автора въ Monuments Piot, t. XXVI.

F. Macler. Arménie et Crimée. Note d'histoire, notice de manuscrits. Большая статья объ армянскихъ поселеніяхъ въ Крыму, хорошо обоснованная разборомъ ряда армянскихъ рукописей, писанныхъ въ Крыму.

A. Kalitinskij. La question des fibules byzantines en Russie. Внимательный и методологическій разборъ формъ византійскихъ фибулъ, найденныхъ въ Россіи.

N. Toll. La broderie populaire russe et les tissus du Moyen Age. Зависимость русской народной вышивки отъ узора византійскихъ и сасанидскихъ тканей.

G. Ostrogorskij. Les décisions du „Stoglav“, concernant la peinture d'images et les principes de l'iconographie byzantine. Очень любопытная статья, разбирающая постановленія Стоглава объ иконописаніи, содержащая рядъ интересныхъ мыслей о существѣ иконописи, о дѣлѣ Висковатаго и др.

G. Vernadskij. Note sur les vêtements sacerdotaux du patriarche Nikon, указываетъ на возрожденіе въ Россіи при Никонѣ византійской теоріи о двойственности власти царя и патріарха.

Н. Т. и Д. Р.

Eurasia Septentrionalis Antiqua, томъ V. Helsinki, 1930.

На этотъ разъ въ заголовкѣ грустное измѣненіе: скончался 2-ой редакторъ И. Т. Сирелiусъ и мѣсто его занялъ Иньмари Манниненъ — доцентъ этнографіи при Гельсинфорскомъ университетѣ. Здѣсь хочется отмѣтить цѣнную особенность E. S. A. — это помѣщаемыя на ея страницахъ, рядомъ съ археологическими, также и этнографическія статьи, каковыми и вѣдаетъ этотъ 2-ой редакторъ. Храня въ себѣ пережитки глубочайшей древности, матеріалы этнографическіе служатъ необходимѣйшими, иногда единственными, указателями, объясняющими многіе непонятные предметы и явленія археологическія.

Въ данномъ выпускѣ всего 12 статей (изъ нихъ 8 принадлежатъ русскимъ ученымъ), причемъ большая статья А. М. Талльгрена является особенно выдающейся по своему содержанію.

Открывается сборникъ рѣчью А. М. Талльгрена, произнесенною по случаю смерти Сиреліуса.

Проф. Д. Д. Букиничъ. „Новое объ Анау и Намазга-Тепэ (Neues über Anau und Namazga-Tepe). Указывая на большое значеніе, какое имѣли для науки археологическія раскопки въ Анау (въ Туркестанѣ), авторъ досадуетъ на Пумпелли (Америк. эксп. 1908 г.) ихъ производившаго, что онъ вообще не достаточно внимательно отнесся ко многому, чтó, въ сущности, могло бы послужить къ подтвержденію имъ же высказываемыхъ гипотезъ. Далѣе авторъ нѣсколько разъ подчеркиваетъ, что только планомѣрное изслѣдованіе холмовъ, разбросанныхъ по всей долинѣ рѣки Кельтэ-Чинаръ можетъ дать правильную картину всей Анауской культуры и особенно сопоставленіе находимыхъ тамъ предметовъ съ предметами сосѣдствующихъ древнихъ поселеній, гл. обр. Намазга-Тепэ, причемъ приводитъ нѣсколько сравнительныхъ таблицъ, дѣйствительно указывающихъ на поразительное сходство предметовъ. Дается также чертежъ долины рѣки Кельтэ-Чинаръ и разбросанныхъ по ней холмовъ (обросшихъ развалинъ), которые онъ, кстати сказать, въ своемъ текстѣ неправильно именуетъ „курганами“. Но авторъ не даетъ чертежа общаго соотношенія ряда поименованныхъ имъ мѣстъ и даже имъ же обслѣдованнаго Намазга-Тепэ къ основному — Анау, что составляетъ, конечно, большой пробѣлъ въ его интересной работѣ.

Н. Макаренко. „Скиѳская культура и Гальштадтъ“ (La civilisation des Scythes et Hallstatt). Путемъ тщательнѣйшаго описанія и приложенныхъ рисунковъ, авторъ воспроизводитъ рядъ сосудовъ изъ склепанныхъ мѣдныхъ листовъ въ формѣ „ситулъ“, по своему матеріалу, техникѣ и внѣшнему виду необычайно близкихъ къ сосудамъ Гальштадта. Между тѣмъ, всѣ эти сосуды найдены въ ранне-скиѳскихъ погребеніяхъ Приднѣпровья. Попадаются они и въ Заднѣпровьѣ, далеко къ востоку и есть даже подобный же сосудъ Кавказскій изъ Рутхи (раскопки гр. П. С. Уваровой). Кромѣ того воспроизводятся также глиняные сосуды, своею формой какъ бы имитирующіе мѣдные, въ данномъ случаѣ вопреки установившемуся въ археологіи взгляду, что металлическая утварь черпала свои образцы въ издѣліяхъ керамическихъ. Приводится и еще нѣсколько аналогій, между проч., массивной золотой фибулы изъ бассейна р. Дона (ст. Дебальцово), несомнѣнно гальштадтскаго типа и очень близкой къ фибулѣ Михалковскаго клада. Указывая, что приведенный имъ матеріалъ является далеко не исчерпывающимъ, авторъ дѣлаетъ вполнѣ естественный выводъ о безусловной родственности, хотя пока еще не совсѣмъ ясной, культуръ Гальштадта и кавказской Кобани, о чемъ высказывались уже нѣкоторые ученые: Шантръ, Вильке и др., причемъ вышеописанные предметы служатъ для этого какъ бы связующими звеньями.

М. Егоровъ. „Сосуды съ Юцы“ (Gefässe von Juck). Описывается находка загадочнаго глинянаго сосудика цилиндрической формы съ большимъ отверстіемъ въ своемъ днѣ, близъ „Провала“ подъ Пятигорскомъ. Позднѣе, при починкѣ водопровода подъ Юцой, въ проложенной траншеѣ былъ обнаруженъ рядъ подобныхъ же сосудовъ, притомъ стоявшихъ вокругъ такого же, но бóльшаго, среди площадки куда вели 2 ступени. Всѣ сосуды были наполнены углемъ и пепломъ, чтó и заставляетъ предполагать ихъ культовое значеніе; они, вѣроятно, служили курильницами. Наконецъ такіе же точно сосудики были найдены подъ Грознымъ. Примѣчательно, что во всѣхъ трехъ мѣстахъ они оказались близъ остатковъ древнихъ аланскихъ поселеній. Нѣсколько куріозно, что извѣстная подъ Пятигорскомъ водоносная гора Юца, въ нѣмецкой транскрипціи автора называется „Юцкъ“, чтó совершенно искажаетъ названіе.

Н. Феттихъ. „Объ отношеніи венгерскихъ находокъ къ таковымъ изъ Перніё Тіинела въ южной Финляндіи“ (Über die Ungarländischen Beziehungen der Funde von Ksp. Perniö, Tyynelä, Südwestfinland). Опубликовываетъ находки въ 1929 г. кочевническихъ погребеній, преимущественно поясныхъ наконечниковъ и пряжекъ въ Кёрёшладани Бекешкаго комитата въ восточн. Венгріи. Къ сожалѣнію, прежде чѣмъ свѣдали археологи, обширный могильникъ былъ большею частью разрушенъ земляными работами и значительная часть вещей расхищена. Тѣмъ не менѣе, автору удается установить близкую аналогію съ таковыми же наконечниками недавно найденными А. М. Талльгреномъ въ могильникѣ съ трупосожженіемъ въ Тіинела подъ Перніё въ Финляндіи и полагаетъ, что туда они могли проникнуть изъ долины р. Тиссы — этого центра кочевническихъ памятниковъ, — по пути Днѣпро-Балтійскому.

Д. Л. Бартуцъ. „Кёрёшладанскіе скелеты“ (Die Skelettreste von Köröstadány). Даетъ подробный разборъ остатковъ остеологическаго матеріала изъ вышеописаннаго Н. Феттихомъ могильника, считая погребенныхъ монголоидами съ большой примѣсью (но только предположительно) одной сѣверной (германской?) и другой — славянской расъ.

А. Кузнецова. „Древности долины средняго теченія р. Иньи“. (Altertümer aus dem Tal der mittleren Inja). Описываетъ свои археологическія развѣдки въ долинѣ рѣки Иньи Кузнецкаго округа, которыя она дѣлала среди своихъ основныхъ (палеонтологическихъ) работъ. Описанія ея являются интереснымъ матеріаломъ для будущихъ изслѣдователей. Между проч. найденными ею вещами она даетъ описаніе и рисунокъ (къ сожалѣнію очень неясный) сердцевидной бронзовой пластины съ человѣческой маской (ст. 82, табл. VI, р. 1), которую она называетъ оковкой (Beschlag) и далѣе (стр. 88) говоритъ что подобныя сердцевидныя оковки встрѣчались до сего времени лишь въ случайныхъ находкахъ Минусинскаго края. Она, и совершенно справедливо, считаетъ ихъ китайской продукціей, приблизительно эпохи Танъ. Но подобные сердцевидные съ человѣческимъ лицомъ и растительнымъ обрамленіемъ предметы воспроизводитъ Арнэ въ своей книгѣ: «La Suède et l'Orient»: 1) привѣску (правда безъ лицев. изображенія) изъ Гнѣздовскаго могильника (стр. 44, р. 25); 2) пластинку оттуда же и изъ

того же кургана, съ ясно-выраженнымъ лицевымъ изображеніемъ (ст. 152, р. 256) и 3) бронзовую пластину найденную въ Херсонесѣ (ст. 153, р. 257). Арнэ считаетъ эти предметы также дальневосточнаго китайско-сибирскаго происхожденія.

В. И. Громовъ. „Остеологическій матеріалъ изъ могилъ средняго теченія р. Иньи" (Das ostiologische Material aus den Gräbern an der mittleren Inja). Даетъ подробное описаніе остеологическаго матеріала въ погребеніяхъ по р. Иньѣ, но воздерживается отъ какихъ бы то ни было заключеній.

Б. В. Александровъ и А. М. Талльгренъ. „Находка римской эпохи въ Новгородской губ." (Funde aus der römischen Eisenzeit im Guv. Novgorod). А. М. Талльгренъ печатаетъ неопубликованный отчетъ раскопокъ Александрова близъ дер. Солоничекъ и воспроизводитъ по зарисовкамъ проф. Хакмана теперь затерянные предметы изъ погребенія римской эпохи въ той же мѣстности, являющееся самымъ восточнымъ изъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ.

А. М. Талльгренъ. „Памятники Кавказа: Казбекскій кладъ" (Caukasian Monuments. The Kazbek treasure). На чрезвычайно содержательной, богато иллюстрированной статьѣ А. М. Талльгрена хочется остановиться нѣсколько подробнѣе. Затронутый имъ вопросъ о Казбекскомъ кладѣ, особенно въ томъ освѣщеніи, которое онъ ему придаетъ, касается, не только именно этого интереснаго памятника, но и гораздо болѣе широкаго вопроса о соотношеніяхъ культуръ восточныхъ — именно Кавказскихъ и въ частности доселѣ загадочнаго Кобанскаго могильника къ культурамъ западно-европейскимъ: Гальштадту, древностямъ Этрусскимъ и Иберійскимъ. Излагая подробно исторію открытія этого клада, затѣмъ послѣдующія раскопки Филимонова, Байерна, Антоновича, авторъ даетъ также перечень статей, гдѣ и кѣмъ эти раскопки были описаны и перечисляетъ мѣстонахожденіе предметовъ изъ этого клада, хранящихся въ Эрмитажѣ и разсѣянныхъ по европейскимъ музеямъ. Далѣе слѣдуетъ подробнѣйшее обозрѣніе и описаніе вещей, прежде всего извѣстной чаши съ гусиными головками, причемъ А. М. Талльгренъ ссылается на работу А. П. Калитинскаго: „Изъ исторіи фибулы на Кавказѣ" въ Recueil — Kondakov и именно на его работѣ строитъ свои опредѣленія этихъ фибулъ.

Въ своемъ заключеніи Талльгренъ даетъ широкую картину культурныхъ воздѣйствій сиро-малоазійскихъ и микено-эгейскихъ на кавказскія древности съ юга и степныхъ-причерноморскихъ съ сѣвера, называя преобладающимъ теченіемъ сѣверное и такимъ обр. считаетъ древности Кобанскаго могильника послѣдующей стадіей развитія культуры Майкопскаго кургана.

Что касается самого Казбекскаго клада, то авторъ полагаетъ его находящимся подъ взаимовліяніемъ обоихъ поименованныхъ археологическихъ центровъ и раздѣляетъ мнѣніе Байерна, что весь комплексъ вещей являлся вотивными приношеніями святилищу, скорѣе всего посвященному Пріапу (согласно стиля и подбора вещей). Рядомъ съ этимъ, онъ отнюдь не считаетъ возможнымъ датировать весь кладъ серебряной чашей VI—VII вѣка до Р. Хр. памятуя ошибку подобной, чисто стилистической датировки вещей Майкопскаго кургана, но считаетъ что вотивные предметы Казбекскаго клада накоплялись въ теченіе ряда столѣтій, а именно съ 1000 г. по VI вѣкъ до Р. Хр.

А. А. Захаровъ. „Большой могильникъ въ Дагестанѣ" (A lagre barrow in Daghestan). Опубликовываетъ подробный дневникъ раскопокъ по журналу Т. А. Афанасьева, обнимающему 26 погребеній и на основаніи аналогій высказываетъ предположеніе, что обширный этотъ могильникъ принадлежалъ какому нибудь изъ народовъ тюркскихъ.

А. А. Захаровъ и В. В. Сергѣевъ. „Черепа погребеній въ курганѣ подъ Темиръ-Ханъ-Шура. (Schädel aus Steinkistengräbern im Kurgan von Temir-Chan-Šura). Безъ всякихъ комментаріевъ приводятся таблицы индексовъ череповъ вышепоименованнаго кургана.

Е. Клетнова.

Eurasia Septentrionalis Antiqua, томъ VI, Helsinki, 1931.

Только что вышедшій томъ E. S. A. имѣетъ нѣсколько иной характеръ, чѣмъ предыдущіе: въ немъ преобладаетъ теперь матеріалъ этнологическій, занимающій бóльшую половину книги. Собственно-археологическихъ статей — 6, изъ всего числа — 11-ти.

Этнологическій отдѣлъ открывается статьей I. Manninen'a, Die nord-eurasischen Torsionsfallen (стр. 1—14) — со множествомъ рисунковъ

и подробнымъ описаніемъ капкановъ, преимущественно у финскихъ племенъ.

Его же вторая статья „Überreste der Sammlerstufe und die Notnahrung aus dem Pflanzenreich bei den nordeuraisischen, vorzugsweise den finnischen Völkern" (стр. 30—48) даетъ перечень собираемыхъ дикихъ ягодъ и растеній (грибы почему то выпущены), а также и историческія свидѣтельства, когда и какимъ способомъ онѣ употреблялись въ пищу, особенно въ голодные годы.

A. O. Väisänen, Die Leier der Ob-ugrischen Völker. Ihr Bau, Gebrauch und Ursprung (стр. 15—29). Авторъ даетъ детальное описаніе лиры, богато его иллюстрируя, и приходитъ къ выводу, что происхожденіе лиры надо искать въ культурномъ кругѣ передне-азіатской цивилизаціи, — колыбели всѣхъ музыкальныхъ инструментовъ.

С. П. Толстовъ, Les principales étapes du développement de la civilisation terioukhane стр. 49—68). Терюхане въ числѣ 25 деревень живутъ въ южной части Нижегородской губерніи и относятся къ мордовскому племени. Авторъ очень подробно описываетъ ихъ костюмъ, указывая на различныя культурныя воздѣйствія, которымъ подвергался этотъ народецъ, приводитъ о немъ лѣтописныя свидѣтельства и называетъ прямыми потомками древнѣйшихъ народовъ юга Россіи, впослѣдствіи оттѣсненныхъ къ сѣверу, особенно сопоставляя и выводя орнаментальные мотивы Теріуханъ изъ т. наз. Андроновской культуры, къ чему Талльгренъ въ особомъ своемъ примѣчаніи (стр. 68) относится весьма критически.

Albert Hämäläinen, „Der voršud- mudor-Kult der Wotjaken (стр. 69—95). Дается всестороннее описаніе этого свообразнаго культа древесныхъ вѣтвей, причемъ отмѣчается, что каждый родъ обоготворялъ свою особую древесную породу: одинъ — липу, другой березу и т. д. Вѣтви такого дерева считаются геніями-покровителями семьи, берегутся въ хатѣ и культъ ихъ тѣсно связанъ съ культомъ предковъ.

Археологическій отдѣлъ начинается коротенькой статьей Г. Дебетца „Les crânes de l'époque dite Ananino" (стр. 96—99), въ которой авторъ, приведя подробную таблицу измѣреній 10-ти череповъ, находящихся въ музеяхъ Казани и добытыхъ изъ могильниковъ Полянскаго и Маклашеевскаго, высказывается въ пользу теоріи, считающей финновъ прямыми потомками носителей ананьевской культуры.

A. M. Tallgren, Biarmia (стр. 100—120). Руководствуясь скандинавскими сагами, а затѣмъ привлекая матеріалъ археологическій, доказываетъ, что Біармія вовсе не является Пермью или продолжательницей ея древней культуры, но должна быть помѣщена въ область Кареліи, въ ея лѣсную территорію съ оріентаціей на Ладожское побережье, и что, слѣдоват., біармійцами были Карелы.

Вторая статья A. M. Tallgren'а „Zu der nordkaukasischen frühen Bronzezeit" (стр. 126—145) является добавленіемъ къ его прежнимъ работамъ въ той же области, отчасти на основаніи новаго, публикуемаго имъ, матеріала.

П. Дмитріевъ, Über die Gusstechnik auf dem Burgberge Irtjaš im Uralgebiete (стр. 121—125). Небольшая замѣтка, снабженная рисунками формъ для отливки кельта, а, главное, очень рѣдко находимыхъ формъ для отлитія т. наз. „скиѳскихъ стрѣлъ".

Franz Hančar, Einige Gürtelschliessen aus dem Kaukasus (стр. 146—158). Тема автора касается только опредѣленнаго отдѣла, именно — квадратныхъ прорѣзныхъ пряжекъ, которыя авторъ подробно описываетъ и опредѣляетъ, путемъ сравненія, какъ „культурное достояніе древняго Кавказа въ оформленіи скиѳскаго искусства".

А. А. Захаровъ, Contributions to the Archaeology of Dayhestan (стр. 159—170). Печатается еще до сего времени не опубликованный дневникъ раскопокъ Е. Коцубскаго 1897—1898 г. г. въ селеніяхъ Новый Ширкей, Искарты, Карабудахъ-Кентъ, безъ какихъ-либо комментаріевъ и выводовъ.

Въ Miscellanea archaeologica (стр. 171—180) заключается три замѣтки: K. Tackenberg'а „Zur Datierung der Metallgefässe mit dreieckigen Fortsätzen an der Wandung". А. Сидорова „Tüllenaxt von Ustsysolsk" и очень интересная „Varia" A. M. Tallgren'а съ публикаціей новыхъ находокъ въ Россіи.

Книга заканчивается прекраснымъ обзоромъ археологической библіографіи восточной Европы за 1927—1929 г. (стр. 181—209), составленнымъ А. М. Талльгреномъ.

Е. Клетнова.

G. de Jerphanion, S. J. La voix des monuments. Notes et études d'archéologie chrétienne. Paris, 1930 г., стр. 330 + Pl. LXIII + Frontispice Ed. G. van Oest.

Объемистый, обильно и хорошо иллюстрированный томъ составленъ изъ 16-ти совер-

шенно самостоятельныхъ, но тѣмъ не менѣе столь тѣсно связанныхъ между собой статей (особенно начиная со II-ой по XI-ую), что оставляетъ впечатлѣніе одного цѣлостнаго, притомъ широко задуманнаго труда по исторіи ранняго христіанскаго искусства.

Гл. I „Археологія и исторія искусства" содержитъ общія разсужденія на эту тему.

Гл. II посвящена анализу изданія M. Bréhier „Христіанское искусство". Цитаты изъ этой книги, дополненныя и уясненныя самимъ Жерфаніономъ составляютъ сжатый, но чрезвычайно выпуклый очеркъ развитія христіанскаго иконографическаго искусства, начиная съ его простѣйшихъ символическихъ изображеній въ криптахъ и на саркофагахъ, кончая болѣе сложными композиціями изъ жизни Христа, находившихся первоначально всецѣло подъ вліяніемъ эллинистическаго искусства, каковое, собственно послѣ иконоборческой эпохи, вытѣсняется, особенно на Востокѣ, искусствомъ византійскимъ.

Въ III гл. описываются новѣйшія открытія памятниковъ ранне-христіанскаго искусства въ подземномъ Римѣ, гдѣ особенно ярко выступаетъ именно та символика, о которой такъ много говорилось въ предыдущей главѣ.

Въ гл. IV воспроизводятся и разбираются христіанскіе памятники Равенны.

Гл. V посвящена всецѣло описанію, развитію и распространенію византійской, собственно „Θеодосійской" капители. Въ многочисленныхъ таблицахъ даются главнѣйшія ихъ разновидности, а затѣмъ перечисляются всѣ мѣста нахожденія коллоннъ съ таковыми капителями.

Въ гл. VI приводится детальное описаніе такъ наз. „антіохійской чаши", которую большинство ученыхъ склонно приписывать ранне-христіанской эпохѣ, а Жерфаніонъ доказываетъ, путемъ ряда сопостановленій, ея болѣе позднее и даже не антіохійское происхожденіе. Попутно имъ дается прекрасная характеристика двухъ противоположныхъ искусствъ — ранняго эллинистическаго, стремящагося къ благородству и изяществу выраженія и позднѣйшаго — восточнаго, традиціи коего — въ стремленіи выражать реальную жизнь.

Гл. VII трактуетъ объ изображеніи Распятія въ христіанской иконографіи и о томъ необычайно медленномъ и позднемъ созданіи подобнаго изображенія (оно появляется лишь въ VI вѣкѣ). Авторъ полагаетъ, что высокое христіанское чувство удерживало художниковъ отъ изображенія страдающаго Богочеловѣка, но въ VI в. многочисленныя ереси, между проч., отрицавшія страданіе и смерть Христа, вызвали наконецъ необходимость иконографическаго изображенія Распятія.

Гл. VIII „Эпиθанія и Теоθанія" — Крещеніе Спасителя — Богоявленіе. Указывая, что празднованіе Богоявленія началось именно на Востокѣ и около III в., тогда какъ на Западѣ въ этотъ день, глав. обр., вспоминается поклоненіе волхвовъ, авторъ даетъ чрезвычайно обстоятельный очеркъ какъ литургическаго, такъ и иконографическаго развитія этого праздника включительно до описанія современнаго водоосвященія въ Іорданѣ, у коптовъ на Нилѣ и наконецъ въ Россіи — на Невѣ.

Въ IX гл. излагается исторія иконографическаго изображенія апостоловъ, которое также началось съ изображеній символистическихъ, въ видѣ, напр., 12 ягнятъ или 12 голубей и лишь позднѣе переходитъ къ изображеніямъ лицевымъ.

Самая обширная и чрезвычайно содержательная гл. X, трактуетъ о значеніи Сиріи и Малой Азіи въ развитіи христіанской иконографіи, доказывая, что терминъ „византійскій" совершенно неосновательно употребляется въ слишкомъ широкомъ смыслѣ и что Сирія и Каппадокія совершенно самостоятельно оказывали большое вліяніе на иконографію западную, не говоря уже о восточной.

Въ гл. XI говорится о происхожденіи названій четырехъ символическихъ животныхъ и приводятся ихъ древнѣйшія изображенія.

Глава XII посвящена иконографическому циклу храма St. Angelo in Formis.

Въ гл. XIII описывается итало-византійскій ларецъ (мощехранительница) XIII в. принадлежавшій княгинѣ Волконской.

Гл. XIV даетъ краткое описаніе и великолѣпный снимокъ храма Фамагусты на Кипрѣ.

Гл. XV критикуетъ много разъ переизданную книгу монсиньора Carl Maria Kaufmann „Manuel d'Archéologie chrétienne", гдѣ между прочимъ, совершенно не упомянуты многочисленныя христіанскія надписи южной Россіи и Фригіи; авторъ попутно высказываетъ свой взглядъ на то, какимъ должно быть вообще руководство христіанской эпиграфики.

Въ послѣдней XVI гл. разбирается вопросъ расхожденія во времени празднованія Пасхи восточной и Пасхи латинской.

Книга прекрасно издана и снабжена превосходными иллюстраціями. *Е. К.*

Byzantinoslavica, ročník II., svazek 1. a 2., Praha 1930.

За второй годъ своего существованія издаваемый Византійской Комиссіей Славянскаго Института въ Прагѣ сборникъ вышелъ, согласно намѣченной программѣ, въ видѣ двухъ полутомовъ. Оба полутома содержатъ много цѣнныхъ и интересныхъ изслѣдованій, касающихся разныхъ областей византійско-славянскихъ взаимоотношеній, и за которыя говорятъ уже сами имена авторовъ. Это создаетъ молодому славянскому журналу, сумѣвшему привлечь рядъ видныхъ сотрудниковъ, извѣстное положеніе наряду со старыми періодическими изданіями.

Большинство статей принадлежитъ русскимъ ученымъ — 12 изъ общаго числа 18.

Въ 1 полутомъ входятъ статьи:

Valerij Pogorělov: Формы греческих слов в Кирилло-меѳодіевском переводѣ Евангелія. Стр. 1—28. Собранный матеріалъ ведетъ автора къ заключенію, что греческія слова, вошедшія въ славянскій языкъ еще до появленія славянскаго перевода Евангелія, представлены въ послѣднемъ въ той формѣ, въ которой они впервые вошли въ славянскій обиходъ. Всѣмъ же остальнымъ словамъ, оставленнымъ безъ перевода, даже и не склоняемымъ, приданы формы славянскаго склоненія. Замѣчающіяся грамматическія неправильности въ отношеніи греческаго языка, а не славянскаго, вызываютъ сомнѣніе въ греческомъ происхожденіи переводчика (или переводчиковъ). Авторъ склоненъ считать св. Константина (Кирилла) славяниномъ византійской культуры.

N. Trubetzkoy: Das »Münchener slavische Abecedarium«. Стр. 29—31. Авторъ статьи, снабженной фотографическимъ снимкомъ, имѣетъ въ виду два старославянскихъ алфавита (кирилловскій и глаголическій), приписанные на послѣднемъ листѣ латинской рукописи X в. (въ изданіи изв. какъ »Hrots vithae opera«) Мюнхенской Государственной библіотеки. Этотъ Abecedarium былъ извѣстенъ, по фотографическому снимку, Ягичу (Энц. сл. фил. в. 3, стр. 137), не знавшему лишь его мѣстонахожденія. Время и цѣль внесенія славянскихъ алфавитовъ въ рукопись остаются загадкой. Знаки вписаны чисто механически лицомъ, не знавшимъ славянскихъ азбукъ. Палеографическія соображенія позволяютъ, однако, считать, что алфавиты вписаны въ рукопись не ранѣе XII столѣтія.

Nikolaj Durnovo: Das Münchener Abecedarium. Стр. 32—41. Высказавши общія соображенія объ этомъ памятникѣ, согласныя съ мнѣніемъ предыдущаго автора, разсматриваетъ оба алфавита съ палеографической точки зрѣнія, что позволяетъ: отнести источникъ обоихъ алфавитовъ ко времени не позже XII ст., а также сдѣлать, на основаніи данныхъ этого важнаго памятника, нѣкоторые выводы о первоначальномъ составѣ славянской азбуки.

Theodor Saturník. Γουβελιατικόν. Стр. 42—46. Приводитъ два новыхъ текста, кромѣ того единственнаго, которымъ до сихъ поръ пользовалась наука, заключающіе терминъ γουβελιατικόν (названіе византійскаго налога), правильное произношеніе котораго — κουβελιατικόν. Этотъ терминъ встрѣчается у сосѣдей Византіи, особенно у славянъ. Всѣ данныя приводятъ къ заключенію, что κουβελιατικόν — хлѣбный налогъ, платившійся натурой, причемъ это терминъ народный, который могъ появиться въ народной рѣчи для различія двухъ видовъ платежа хлѣбнаго налога, обыкновенно называвшагося въ Византіи σιταρκία и платившагося, какъ деньгами такъ и натурой. То обстоятельство, что этотъ терминъ часто встрѣчается въ славянскихъ языкахъ и только въ извѣстныхъ случаяхъ въ греческомъ, позволяетъ предположить о возможности возникновенія этого названія подъ вліяніемъ славянскимъ.

M. A. Andreeva. Политическій и общественный элемент византійско-славянских гадательных книг. I. Стр. 47—73. Въ рамки работы вошло разсмотрѣніе гадательныхъ книгъ лишь съ содержаніемъ астрологическаго характера, въ которыхъ нашелъ отраженіе политическій и общественный элементъ. Въ данной статьѣ, составляющей вводную часть всего изслѣдованія, представленъ обзоръ изданій источниковъ и разработки матеріала въ научной литературѣ, затѣмъ — разборъ состава и содержанія сочиненія Іоанна Лида „О знаменіяхъ“ — главнаго источника по данному вопросу для первыхъ вѣковъ Византіи, а также разсмотрѣны позднѣйшія гадательныя сочиненія греческія и славянскія.

N. L. Okunev. Портреты королей-ктиторовъ въ сербской церковной живописи. Стр. 74—97. Въ своемъ обстоятельномъ изслѣдованіи авторъ разсматриваетъ церковныя портретныя изображенія, являющіяся принадлежностью старыхъ сербскихъ церквей и представляющія въ XIII в. опредѣленную компо-

зицію — Христа, сидящаго на тронѣ, къ которому Божья Матерь подводитъ ктитора, держащаго модель церкви. Помѣщеніе композиціи въ западной части храма на нижнемъ поясѣ южной стѣны, повидимому, было обусловлено помѣщеніемъ тамъ гробницъ ктиторовъ. Аналогію находимъ въ росписи XII в. церкви Спаса Нередицы близъ Новгорода. Все ведетъ къ предположенію общаго болѣе древняго образца византійскаго происхожденія. Въ теченіе XIII в. трехфигурная ктиторская композиція развивается въ многофигурную. Въ XIV в. наблюдаются измѣненія въ составѣ и мѣстонахожденіи ктиторской композиціи. Въ древнихъ сербскихъ росписяхъ находятся и отдѣльные портреты. Ктиторскіе портреты носятъ реалистическій характеръ, но лишь въ изображеніи современниковъ.

G. Iljinskij. Лебедия Константина Багрянородного. Стр. 100—107. Представлено новое рѣшеніе вопроса о Лебедіи. Съ географической точки зрѣнія авторъ помѣщаетъ Лебедію въ бассейнѣ рѣки Χιγγυλούς, упоминаемой Константиномъ, въ которой видитъ нынѣшній Ингулъ. Названіе Лебедіи, въ отличіе отъ господствовавшаго мнѣнія о славянскомъ происхожденіи этого слова, связываетъ съ именемъ мадьярскаго вождя Лебедіаса, отождествляемаго имъ съ хазарскимъ каганомъ Обадіей.

G. Iljinskij. † П. А. Лавров (nekrolog). Стр. 108—112.

2-ой полутомъ составляютъ статьи:

Karel Škorpil: Надписи на първото българско царство въ черноморската область на Балканския полуостровъ. Стр. 189—196. Указавши, что обычай дѣлать надписи у болгаръ явился слѣдствіемъ византійскаго вліянія, авторъ въ печатаемой I-ой части своей работы обслѣдуетъ греческія надписи на столбахъ, находящихся среди развалинъ базилики въ Абобѣ-Пliскѣ, поддерживаетъ мнѣніе о перенесеніи этихъ столбовъ изъ Ѳракіи во время похода Крума 812 и 813г., послѣ чего на нихъ были сдѣланы однимъ и тѣмъ же мастеромъ надписи названій взятыхъ городовъ. Изъ столбовъ была воздвигнута тріумфальная колоннада передъ дворцомъ въ Плискѣ и, наконецъ, они были использованы для сооруженной царемъ Борисомъ базилики.

Karel Škorpil: Стратегически постройки въ черноморската область на Балканскія полуостровъ. Стр. 197—230. Въ помѣщаемой первой части работы обслѣдуетъ сохранившіяся остатки сооруженій главной заградительной линіи въ восточно-балканской римско-византійской крѣпостной системѣ, тянущейся почти непрерывно отъ берега Чернаго моря до р. Елешницы, а затѣмъ идущую дальше на западъ въ видѣ отдѣльныхъ преградъ въ горныхъ проходахъ.

V. N. Zlatarski: Единъ грѫцки фалсификатъ, който се относя къмъ българската история. Стр. 231—258. Обстоятельная работа посвящена разсказу на греческомъ языкѣ, находящемуся на концѣ стараго рукописнаго аѳонскаго устава и касающемуся отношеній іерисовскаго епископа къ аѳонскимъ монастырямъ и вопросовъ болгарской церкви въ XIII вѣкѣ. Разсматривая три извѣстныхъ изданія памятника, авторъ возстанавливаетъ его первоначальный греческій текстъ и даетъ переводъ его на болгарскій языкъ. Анализъ содержанія памятника ведетъ къ заключенію, что это фальсификатъ, цѣлью составленія котораго была защита нарушенной въ срединѣ XIV в. загорскимъ патріархомъ вѣковой автономіи аѳонской монашеской общины, подчиненной имъ юрисдикціи іерисовскаго епископа. Данныя позволяютъ отнести эту поддѣлку къ послѣдней четверти XIV вѣка.

M. Speranskij: По поводу новаго издания писаний Саввы Сербского. Стр. 259—274. Приводитъ планъ изданія сочиненій Саввы Сербскаго, принадлежащій проф. В. Чоровичу. Въ вопросѣ о руссизмахъ Саввы авторъ придерживается своего стараго мнѣнія, считая ихъ результатомъ участія въ литературной работѣ Саввы русскихъ силъ, несогласно съ Ч., видящимъ въ нихъ отраженіе живого сербскаго языка, въ который вошли русскіе элементы во время совмѣстной жизни Саввы съ русскими монахами. Касаясь „Устава о псалтири“, приписываемаго Чоровичемъ Саввѣ, считаетъ мнѣніе Ч. недостаточно обоснованнымъ. Привлеченіе ряда болѣе древнихъ русскихъ текстовъ „Устава“, позволяетъ автору рѣшить вопросъ въ томъ смыслѣ, что Савву, упоминающагося въ „Уставѣ“ нельзя отождествлять съ Саввой сербскимъ. Въ концѣ статьи помѣщенъ отрывокъ „Устава“ по русскому тексту XIV вѣка, недостающій въ изданіи Чоровича а также „Уставъ Феодора Студита“ по югославянскому списку XVI в.

A. V. Solovjev: Греческіе архонты въ сербскомъ царствѣ XIV вѣка. Стр. 275—287. Въ подтвержденіе извѣстныхъ статей Законника Стефана Душана, на основаніи извлечен-

ныхъ данныхъ изъ сербо-греческихъ грамотъ, доказываетъ полное равноправіе грековъ въ сербскомъ царствѣ XIV в., гдѣ они занимали должности придворныя и административныя.

Linos Politis: Griechische Handschriften der serbischen Kaiserin Elisabeth. Стр. 288—304. Разсматривая 3 рукописи литургическаго характера Аѳинской Національной библіотеки, останавливаетъ вниманіе на находящихся въ нихъ, приписанныхъ писцомъ, замѣткахъ, въ которыхъ упоминается имя сербской царицы Елизаветы, въ міру Елены. Факты жизни этой замѣчательной царицы XIV вѣка позволяютъ отнести время написанія рукописей къ періоду 1360—1371 г. г. Замѣтки, не всегда достаточно ясныя, свидѣтельствуютъ, что рукописи были написаны неизвѣстнымъ авторомъ для названной царицы.

Robert Eisler. Die slavische Übersetzung der ʽΆλωσις τῆς ʽΙερουσαλήμ des Flavius Josephus. Стр. 305—373. Даетъ обзоръ литературы по вопросу. Принимая дѣленіе Берендтомъ рукописей въ отношеніи сочиненія Іосифа Флавія на двѣ категоріи (на непосредственно заключающія текстъ Іосифа и на важныя при возстановленіи его полнаго вида), даетъ перечень этихъ рукописей. Излагаетъ исторію славянскаго перевода Іосифа, вслѣдъ за чѣмъ касается отношенія греческаго образца славянскаго переводчика къ тексту сохранившихся греческихъ рукописей „Іудейской войны", дѣлая выводы относительно исторіи писательской дѣятельности Іосифа. Прилагаетъ старо-русскій текстъ съ нѣмецкимъ переводомъ нѣскольких важныхъ мѣстъ изъ »Halosis«, отсутствующихъ въ текстѣ греческаго »Polemos«.

V. Ržiga: Новая версия легенды о земном рае. Стр. 374—385. Разбирая „Повѣсть о двою монахахъ в' Новѣградѣ", находящуюся въ рукоп. XVIII вѣка Публ. Библ. и впервые въ этой работѣ издаваемую, авторъ считаетъ ее поздней версіей легенды о земномъ раѣ и видитъ въ ней сюжетное сходство съ апокрифомъ о Макаріи Римскомъ, а также вліяніе Сказанія объ Индѣйскомъ царствѣ. Отмѣченъ реализмъ изображенія въ повѣсти, въ языкѣ которой замѣтно наличіе фольклорныхъ элементовъ. Время сложенія повѣсти авторъ относитъ къ концу XVII или началу XVIII стол.

† Nikolaj Běljaev: Образъ Божьей Матери Пелагонитисы. Стр. 386—394. Даетъ новыя данныя для рѣшенія вопроса о первоначальномъ происхожденіи иконографическаго типа „Взыграніе Младенца", одного изъ усложненныхъ типовъ Умиленія. Обслѣдуя образъ Божьей Матери Пелагонитисы, типъ „Взыгранія", входящій въ составъ стараго иконостаса церкви св. Георгія въ с. Старо-Нагоричино, перестроенной и расписанной въ 1318 г., авторъ доказываетъ одновременность написанія иконы со всей росписью церкви. Рукопись Евангелія Національной Библіотеки (Cod. 297), обнаруживающей греко-восточное вліяніе, миніатюры которой изданы А. Н. Грабаромъ, въ одной изъ нихъ даетъ типъ изображенія Божьей Матери Пелагонитисы, кустарнаго характера, что свидѣтельствуетъ о распространенности типа. Всѣ данныя ведутъ къ заключенію о существованіи въ Македоніи, не позже XIII в., почитаемаго образа Божьей Матери Пелагонитисы типа „Взыграніе". Ясный византійскій стиль композиціи разсматриваемой иконы исключаетъ возможность возникновенія этого типа подъ западнымъ, итальянскимъ вліяніемъ, которое трудно предположить для XIII в. Все вышесказанное уничтожаетъ сомнѣнія въ древности типа Умиленіе, прототипъ котораго долженъ быть, по всей вѣроятности, еще древнѣе разсмотрѣнныхъ варіантовъ.

M. A. Andreeva: Политическій и общественный элемент византійско-славянских гадательных книг. Глава II. Стр. 395—415. Авторъ, классифицируя по отдѣльнымъ группамъ, разсматриваетъ предсказанія политическаго и общественнаго характера, въ большомъ количествѣ встрѣчающіяся въ сочиненіи Іоанна Лида „О знаменіяхъ".

Въ концѣ каждаго полутома находимъ много обстоятельныхъ рецензій и библіографическихъ сообщеній.

Н. К.

L. Niederle. »Příspěvky k vývoji byzantských šperků ze IV.—X. století.« V Praze. Nákladem České akademie věd a umění. 1930. 154 стр.

Книга профессора Любора Нидерле — „Пособіе къ [исторіи] развитія византійскихъ драгоцѣнностей IV—X столѣтій, по замыслу автора, какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ въ предисловіи, должна представить собой „попытку нѣкоего введенія въ исторію развитія византійскихъ драгоцѣнностей". Попытка эта подъ опытнымъ перомъ автора превратилась въ сжатый, стройный, насыщенный матеріаломъ очеркъ о характерѣ мелкаго прикладного византійскаго искусства, особенно

интересный тѣмъ, что по нѣкоторымъ пунктамъ авторъ не соглашается съ ранѣе высказанными мнѣніями отдѣльныхъ изслѣдователей.

Въ I главѣ (введеніи) проф. Нидерле разсматриваетъ тѣ источники, которые вліяли на возникновеніе византійскаго искусства (эллинистическая традиція въ основѣ, сильное воздѣйствіе восточныхъ художественныхъ оригиналовъ — въ техникѣ, въ декораціи, въ художественныхъ мотивахъ и особенно въ принципѣ красочнаго эффекта). Опираясь на спеціальную литературу, авторъ указываетъ также причины, въ силу которыхъ Византія оказалась однимъ изъ центровъ развитія мелкой индустріи и устанавливаетъ приблизительныя границы расширенія византійскаго художественнаго вліянія.

Во II главѣ — „Драгоцѣнности" — проф. Нидерле дѣлаетъ рядъ методологическихъ и принципіальныхъ замѣчаній объ анализѣ матеріала и его классификаціи. При этомъ авторъ напоминаетъ, что вообще интегрирующимъ признакомъ произведеній византійскаго искусства можно считать эффекты красокъ и блеска, частое обильное употребленіе золота, серебра, драгоцѣнныхъ камней, жемчуга, эмалей и т. д. Въ самомъ Константинополѣ почти никакихъ памятниковъ не сохранилось. Гораздо богаче ими Балканскій полуостровъ, венгерская придунайская область, Италія южная и отчасти сѣверная (авторъ считаетъ, что въ лангобардскихъ гробницахъ VI—VII вв. имѣется много византійскихъ издѣлій). Изъ германскихъ находокъ авторъ называетъ майнцскія. Въ Россіи указываются авторомъ матеріалы съ территоріи Корсуни, Перещепинскій кладъ, клады изъ Михельсфельда у Анапы въ Кубанской области, съ береговъ рѣки Чулека, изъ села Новомихайловскаго на Черномъ морѣ, изъ Залѣсья у Чорткова и т. д. Рядъ находокъ имѣется въ Сиріи, на Кипрѣ, въ Сузахъ, въ Египтѣ.

Глава III посвящена разсмотрѣнію техники изготовленія вещей. Византійскіе золотыхъ дѣлъ мастера придерживались всѣхъ техническихъ способовъ, которые были извѣстны въ римской, греческой и восточной индустріи. Исключеніе составляетъ инкрустація серебромъ по желѣзу (tausia) и техника зарубокъ (vrubořez, Keilschnitt), которая, по мысли проф. Нидерле, въ противовѣсъ мнѣнію A. Riegl'a, различающему технику зарубокъ восточно- и западно-римскую, неизвѣстна въ византійскихъ вещахъ со временъ Юстиніана, за исключеніемъ черноморскаго побережья, гдѣ она является мѣстной. Изъ остальныхъ техникъ встрѣчается въ началѣ византійской эпохи декоративное opus interrasile, затѣмъ зернистая филигрань, позднѣе филигрань сканная (получила особенно широкое распространеніе съ IX вѣка), восточная инкрустація (появилась уже съ V вѣка), украшеніе жемчугами и драгоцѣнными камнями, niello (чернь), эмаль. Относительно каждаго типа техники авторъ даетъ сжатый очеркъ, объясняющій и исторію появленія техники и пріемы работы. Авторъ не согласенъ съ мнѣніемъ Zahn'a о преимущественномъ распространеніи техники opus interrasile въ Галліи и Прирейнской области. По мнѣнію автора, изъ украшеній зерновой филигранью къ издѣліямъ византійскихъ мастерскихъ относится прежде всего тотъ матеріалъ, который декорированъ крупными зернами, чаще всего золотыми, соединенными въ рельефныя гроздевидныя фигуры. Этотъ родъ крупнозернистыхъ драгоцѣнностей былъ и въ классическомъ греческомъ искусствѣ. Чаще всего типичныя формы этой техники встрѣчаются на Балканахъ и въ той части Россіи, которая была въ тѣсномъ культурномъ общеніи съ Царьградомъ. На сѣверѣ, напримѣръ, въ окрестностяхъ Владиміра, видъ этотъ исчезаетъ, и, наоборотъ, усиливается филигрань восточнаго происхожденія — маковыя зерна, серебряныя, положенныя обычно въ треугольники, безъ стремленія дать рельефъ. Авторъ оговаривается, что подобныя маковыя украшенія вырабатывались также византійскими мастерскими, но въ мѣстностяхъ, находившихся подъ восточнымъ вліяніемъ, особенно часто въ Сиріи. Въ инкрустаціяхъ драгоцѣнными камнями проф. Нидерле различаетъ cabochon (восточнаго происхожденія) и украшенія, составленныя изъ гладко приточенныхъ другъ къ другу камней, собранныхъ въ орнаментальныя ленты и плоскости; въ Византію перешли они изъ Черноморья. Происхожденіе niello, черни, авторъ считаетъ восточнымъ.

Въ IV главѣ разбираются декоративные мотивы украшеній византійскихъ драгоцѣнностей. Авторъ даетъ сжатыя характеристики стилей: фигурнаго (человѣческаго), звѣринаго (особенно привилась въ Византіи спокойная композиція геральдическаго типа, основанная на принципѣ абсолютной симметріи), растительнаго (основаннаго на традиціяхъ классической и эллинистической). Правдоподобнымъ, но еще требующимъ изслѣдованія, счи-

таетъ проф. Нидерле предположеніе, что во времена императоровъ-иконоборцевъ на драгоцѣнностяхъ вмѣсто изображеній святыхъ появлялись только военные портреты.

Въ V главѣ разбираются отдѣльные виды византійскихъ ювелирныхъ вещей, отличающихся отъ античныхъ, въ первую очередь, богатствомъ и пестротой отдѣлки. Разнообразность формъ осталась прежней.

Начавъ обозрѣніе съ діадемъ, авторъ опирается въ изложеніи, главнымъ образомъ, на Ebersolt'a. Подробно останавливается авторъ на коронахъ вестготскихъ королей VII столѣтія. По его мнѣнію, какъ и по выводамъ Riegl, Basserman и Molinier, короны эти могутъ считаться за изготовленіе византійскихъ мастерскихъ. Форма, видъ инкрустацій (cabochon), трактовка листьевъ — указываетъ, если не на чисто византійкое, то хотя-бы на сѣверо-итальянское происхожденіе, изъ мастерской, работавшей на варваровъ.

Излагая эволюцію формы фибулъ, отмѣчая фактъ бытованія въ Византіи двухъ главнѣйшихъ типовъ фибулъ (крестовидной и щитовидной) до конца VI столѣтія, авторъ высказываетъ мнѣніе о византійскомъ или греческомъ происхожденіи изъ Черноморья такъ называемыхъ „готскихъ и лангобардскихъ фибулъ". Украшенія этихъ драгоцѣнностей, по мнѣнію автора, принадлежатъ, повидимому, къ тому декоративному стилю, который уже передъ появленіемъ готовъ въ I и III столѣтіи послѣ Р. Х. былъ созданъ черноморскими греческими мастерскими подъ вліяніемъ Востока, главнымъ образомъ, сарматовъ и Персіи, какъ видно, напримѣръ, по находкамъ изъ Бори, изъ сарматскихъ кургановъ или изъ древнѣйшихъ керченскихъ катакомбъ. Авторъ указываетъ, что этотъ вопросъ является больиой археологической проблемой, т. к. противъ византійскаго происхожденія фибулъ свидѣтельствуютъ тѣ обстоятельства, что фибулы эти почти неизвѣстны въ другихъ византійскихъ находкахъ (кромѣ Крыма) VI—VII вв. и что не существуетъ ни на какомъ византійскомъ изображеніи фибулъ готскаго типа. Однако, авторъ не считаетъ возможнымъ допустить, чтобъ эти фибулы могли быть сдѣланы внѣ сферы византійской индустріи, разъ онѣ несутъ на себѣ столь сильныя византійскія и восточныя вліянія въ техникѣ и въ укращеніи, разъ современнымъ германцамъ подобная техника была неизвѣстна и разъ, наоборотъ, черноморскія греческія мастерскія владѣли ею уже нѣкоторое время передъ этимъ. Когда и гдѣ германцы стали имитировать эти фибулы, какія находки можно принять уже за германскія издѣлія — вопросы, требующіе дальнѣйшаго изученія. Въ дальнѣйшемъ своемъ изложеніи авторъ производитъ обзоръ безспорно византійскаго матеріала, отмѣчая, между прочимъ, что крестовидныя фибулы встрѣчаются на памятникахъ IV—VI ст., что щитовидныя фибулы распространены были отъ IV до XIII ст., что фигурныя римскія фибулы сохранились и въ византійскомъ искусствѣ.

Выработка булавокъ привлекала въ византійской индустріи мало вниманія ввиду большого развитія и распространенія діадемъ. Считаетъ авторъ достаточно правдоподобной мысль A. Alföldi, что въ культурѣ Keszthely такія булавки употреблялись женщинами въ волосахъ.

Говоря о запонкахъ, авторъ датируетъ запонку, найденную Хойновскимъ въ Таганчѣ, VIII—IX ст. За византійскія считаетъ авторъ пуговицы изъ чешскихъ погребеній (изданы у J. Schránil въ „Niederlův Sborník").

Къ византійскому типу пряжекъ авторъ относитъ тѣ, которыя за лукомъ пряжки имѣютъ щитокъ овальный или подковообразный, или въ формѣ креста или листа. Кромѣ того, обычно самъ щитокъ несетъ характерное декоративное украшеніе пальметками, листами. Другой типъ пряжекъ, который нужно также считать за византійское издѣліе, это инкрустированныя пряжки V—VI столѣтія, называемыя готскими и лангбардскими. Возникли онѣ въ Черноморьѣ, поэтому среди пряжковыхъ украшеній встрѣчаются восточные декоративные сюжеты. Третій типъ: псевдо-пряжки, названныя такъ Л. А. Мацулевичемъ. Центръ ихъ выработки неизвѣстенъ. Только пряжки перещепинскаго клада указываютъ на византійское ихъ происхожденіе. Въ данномъ вопросѣ авторъ совпадаетъ съ мнѣніемъ Л. А. Мацулевича, высказаннымъ послѣднимъ въ статьѣ „Большая пряжка Перещепинскаго клада" въ „Seminarium Kondakovianum" I. Проф. Нидерле считаетъ еще недостаточными работы J. Hampel, A. Alföldi и N. Fettich для полнаго выясненія вопроса объ отношеніи къ византійской промышленности венгерскихъ и имъ аналогичныхъ матеріаловъ въ южной Россіи, въ сѣверной Италіи, на Балканахъ (пряжки и поясной наборъ). Часть такого матеріала авторъ считаетъ за

принесенный изъ Хозарскаго царства, отъ булгаръ, изъ Средней Азіи и т. д. Но часть, по его мнѣнію, несомнѣнно имитація варварскихъ вещей изъ византійскихъ мастерскихъ. Кромѣ того многія вещи попали въ Венгрію и Хозарію изъ Византіи торговымъ путемъ.

Въ очеркѣ объ ожерельяхъ (гривнахъ) и подвѣскахъ авторъ особо выдѣляетъ подвѣску крестоваго типа. Ожерелья упоминаются имъ пяти видовъ.

Наиболѣе типичнымъ византійскимъ браслетомъ авторъ признаетъ щиткообразные, встрѣчающіеся часто въ коптской индустріи. Наиболѣе характернымъ для византійскаго искусства перстнемъ признается проф. Нидерле тотъ, у котораго chaton образуется небольшими аркадками.

Очень подробно останавливается авторъ на различныхъ типахъ серегъ, поочередно разсматривая виды: кружковидный, звѣздообразный, гроздевидный, щитовидный, лунообразный (кольтъ), корзинковидный, жолудовидный.

Обобщая полученныя наблюденія, проф. Нидерле считаетъ, что главнѣйшимъ признакомъ при опредѣленіи византійскихъ драгоцѣнностей является матеріалъ и техника, вторымъ — форма и стиль орнамента. При этомъ вещи въ цѣломъ часто несутъ на себѣ слѣды греческаго вкуса и восточнаго вліянія. Въ IV—V в.в. преобладаютъ еще форма и техника античныя. Въ V—VI в.в. усиливаются греко-восточныя вліянія. За время иконоборцевъ положеніе мелкаго византійскаго искусства неизвѣстно. Но съ VIII ст. византійская художественная индустрія начинаетъ опять необычайно усиливаться и достигаетъ расцвѣта въ X и XI в.в.

Книга проф. Нидерле, какъ онъ самъ упоминаетъ объ этомъ, стремится пополнить пробѣлъ въ изученіи мелкой византійской индустріи, т. к. центральная работа на эту тему (книга Дальтона „Byzantin art and archeology“ L. 1911) вопросовъ всѣхъ не исчерпала. Несмотря на нѣкоторые пропуски въ перечнѣ археологическаго матеріала, что вполнѣ понятно по современнымъ условіямъ и большой его разбросанности, книга проф. Нидерле представляетъ очень важную попытку систематическаго обзора византійской художественной промышленности и распространенія ея въ предѣлахъ сосѣднихъ странъ.

Ник. Андреевъ.

N. de Baumgarten, Le dernier mariage de Saint Vladimir. Orientalia Christiana, vol. XVIII—2, num. 61, Roma, Maio-Iunio 1930, стр. 165—168.

Его же, Pribyslava de Russie. Orientalia Christiana, vol. XX—3, num. 66, Roma, Decembri 1930, стр. 157—161.

Его же, Cunegonde d'Orlamunde, тамъ же, стр. 162—168.

Въ этихъ трехъ статьяхъ авторъ касается вопросовъ древне-русской генеалогіи; вторая и третья статьи были уже разъ напечатаны въ Запискахъ Московскаго Генеалогическаго Общества и нынѣ издаются вторично, съ измѣненіями и добавленіями, по французски, въ журналѣ Понтификальнаго Восточнаго Института.

Въ первой статьѣ „Послѣдній бракъ Владиміра Святого“ авторъ, основываясь на извѣстіи Дитмара Мерзебургскаго о томъ, что Болеславъ Храбрый, король Польскій, при взятіи въ 1018 г. Кіева, плѣнилъ семью Ярослава Мудраго и въ томъ числѣ и его вдову-мачеху (»noverca regis«), заключаетъ, что Владиміръ Святой, отецъ Ярослава, послѣ смерти въ 1011 г. Анны Греческой, женился еще разъ; сопоставляя же это извѣстіе съ генеалогіей Вельфовъ, въ которой находится указаніе на то, что третья дочь графа Куна Онингенскаго, родившаяся около 990 года »regi Rug(i)orum nupsit«, Н. А. Баумгартенъ считаетъ, что она и была этой послѣдней женой Владиміра, т. к., по мнѣнію автора, никому другому, для этого времени, кромѣ какъ Владиміру, латинскіе источники не могли бы дать званіе короля. Въ такомъ случаѣ Владиміръ Св. черезъ мать своей жены, становился внукомъ Оттона Великаго, т. к. жена графа Куна Онингенскаго была дочерью этого императора.

Во второй статьѣ „Пребыслава Русская“ Н. А. Баумгартенъ пытается возстановить происхожденіе этой княгини. Въ документахъ, относящихся къ исторіи Помераніи, не разъ упоминается имя княгини Прибыславы, жены Ратибора, князя Померанскаго (съ 1136 г.). Авторъ задается цѣлью выяснить личность этой Прибыславы. Никакихъ другихъ извѣстій о ней, какъ лишь о женѣ Ратибора — нѣтъ въ источникахъ. Единственное наводящее указаніе — это свидѣтельство, что мужъ дочери Ратибора и Прибыславы — Маргариты — графъ Конрадъ Рацебургскій благодаря этому браку сталъ родственникомъ датскаго

короля Вальдемара I. Отвергая возможность какихъ-либо родственныхъ связей съ датскимъ королевскимъ домомъ самого Ратибора, недавно крещенаго и его языческаго рода померанскихъ князей, Н. А. Баумгартенъ находитъ возможнымъ искать объясненіе родства графа Конрада лишь черезъ мать своей жены, княгиню Прибыславу. Ея славянское имя говоритъ за то, что она была или польской или русской княжною. Разобравъ съ одной стороны совсѣмъ не дружескія отношенія между Помераніей и Польшей за это время, а съ другой генеалогическія связи польскихъ Пястовъ съ датскимъ королевскимъ домомъ, авторъ не находитъ возможнымъ искать Прибыславу среди Пястовъ и переходитъ къ Рюрикову дому. Здѣсь родство съ Вальдемаромъ I можно искать въ семьѣ вел. кн. Мстислава I, дочь котораго Ингеборгъ, была матерью короля Вальдемара. Очень возможно, что мать Прибыславы была одной изъ сестеръ Ингеборги. Авторъ предполагаетъ, что это была та изъ ея сестеръ, которая въ 1112 г. вышла замужъ за кн. Ярослава Святополковича волынскаго, убитаго въ 1123 г. Такимъ образомъ дочь послѣдней, Прибыслава, вышедшая въ 1130 г. за померанскаго князя, по мужской линіи принадлежала бы къ туровопинскимъ Рюриковичамъ.

Однако трудно представить, чтобы семья захудалыхъ турово-пинскихъ князей, роднящаяся въ эти десятилѣтія гл. образомъ уже лишь съ русскими же князьями, смогла бы осуществить подобный заграничный бракъ. И авторъ справедливо указываетъ, что въ осуществленіи этого брака надо скорѣе видѣть старанія родни Прибыславы со стороны ея матери — могущественной линіи старшихъ Мономаховичей, въ частности ея двухъ тетокъ, дочерей Мстислава I, Ингеборги, королевы Ободритской и Мальфриды, королевы Датской. Но вспоминая, какая вражда была между отцомъ Прибыславы, Ярославомъ Святополковичемъ и Мономаховичами, и что Ярославъ въ 1117 г. прогналъ отъ себя свою жену, дочь Мстислава I, а затѣмъ самъ былъ убитъ подъ Владиміромъ Волынскимъ въ борьбѣ съ Мономахомъ и его сыновьями, послѣ чего его вотчина Туровъ перешла на долгое время во владѣніе Мономаховичей, а дѣти Ярослава принуждены были ютиться въ мелкихъ волостяхъ турово-пинской земли, — трудно было бы, на нашъ взглядъ, понять такую заботу дочерей Мстислава къ своей турово-пинской племянницѣ, если только не попытаться найти этому объясненіе въ одномъ обстоятельствѣ, именно, нашемъ предположеніи, что въ 1117 г. прогнанная мужемъ, мать Прибыславы взяла дочь съ собою, въ семью Мономаха; тогда были бы понятны и всѣ послѣдующія заботы о Прибыславѣ со стороны ея тетокъ. Примѣръ съ Прибыславой указывалъ бы, между прочимъ, и на то, какое значеніе имѣли въ тѣ времена русскія княгини, устраивавшія подобные политическіе браки.

Въ приложенной къ статьѣ генеалогической таблицѣ предковъ Вальдемара Великаго (на стр. 160) обидная опечатка года смерти Владиміра Мономаха: 1225 вмѣсто должнаго 1125.

Въ своей третьей статьѣ „Кунигунда Орламюндская“ авторъ разбираетъ бракъ этой принцессы съ однимъ изъ русскихъ князей. По западнымъ хроникамъ извѣстно, что »Cunigunda nupsit regi Ruzorum«. Устанавливая, что этотъ бракъ могъ произойти лишь между 1069 и 1074 гг., авторъ приходитъ къ выводу, что Кунигунда была женою князя Ярополка, старшаго сына Изяслава I Ярославича. Послѣ убійства въ 1087 г. Ярополка, Кунигунда вернулась въ Германію и въ 1190 г. вторично вышла замужъ за графа Куна Бейхлингенскаго.

Д. Расовскій.

N. de Baumgarten, Chronologie Ecclésiastique des terres Russes du X^{e} au XIII^{e} siècle. Orientalia Christiana, vol. XVII—1, num. 58, Januario—Februario, 1930. Roma. Стр. 176.

Въ этомъ трудѣ, вышедшемъ отдѣльной книжкой въ изданіи Pontificium Institutum Orientaliam Studiorum собраны, главнымъ образомъ по лѣтописямъ, извѣстія, касающіяся русской церковной жизни до-монгольскаго періода (987—1239 гг.), т. е. всѣ упоминанія о русскихъ митрополитахъ, епископахъ и пр. церковнослужителяхъ, о церквахъ, монастыряхъ и о событіяхъ церковной жизни Руси. Извѣстія расположены въ хронологическомъ порядкѣ и изложены конспективно, со ссылками на источники, а въ спорныхъ случаяхъ и на соотвѣтствующую литературу; много критическихъ примѣчаній самого автора.

Трудно было бы лишь согласиться съ положеніями, выставленными авторомъ въ его „Заключеніи“ (с. 158—160), гдѣ указывается,

что варяго-руссы Новгорода и Кіева болѣе были склонны къ церкви западной, чѣмъ восточной, и только лишь дружинные круги князя Мстислава Владиміровича Тмутораканьско-Черниговскаго, состоявшіе, по мнѣнію автора, изъ грековъ, готовъ, хазаръ, ясовъ и касоговъ, тяготѣли къ Византіи. Ярославу Мудрому, по смерти своего брата, упомянутаго князя Мстислава (въ 1034 г.), пришлось уступить желаніямъ перешедшихъ теперь къ Ярославу, этихъ дружинныхъ круговъ и, вопреки симпатіямъ своей собственной, варяго-русской дружины, встать на путь церковныхъ связей съ Византіей. Другое напр. утвержденіе Н. А. Баумгартена: византійское церковное вліяніе постепенно возростало все болѣе и болѣе, побѣждая автокефальныя стремленія русской церкви, приведя ее къ XIII вѣку къ окончательному подчиненію.

Въ концѣ книги приложенъ указатель русскихъ епископовъ до-монгольскаго періода; въ началѣ же книги приведены источники и литература по исторіи русской церкви за этотъ періодъ. Въ переченѣ литературы отсутствуютъ весьма важные труды въ этой области, какъ напр. М. Д. Приселкова, Очерки по церковно-политической исторіи Кіевской Руси X—XII вв. Спб., 1913 и многіе другіе (Абрамовича, Айналова, иг. Арсенія, Малышевскаго, Никольскаго, Пономарева, Шахматова).

И все же, въ своей фактической части, книга Н. А. Баумгартена послужитъ удобнымъ руководствомъ-справочникомъ, преимущественно для иностранцевъ, интересующихся древнерусской церковной исторіей.

Д. Р.

Grégoire Lozinskij, La Russie dans la littérature française du Moyen Âge: le pays, la population et ses richesses. Revue des Etudes Slaves, tome IX^{e}, fasc. 1—2 (pp. 71—88), fasc. 3—4 (pp. 253—269). Institut d'Études Slaves. Paris. 1929.

Авторъ задался очень интересной цѣлью — прослѣдить упоминанія о Руси въ средневѣковой французской литературѣ и тѣмъ показать — насколько древняя Русь XII—XIII столѣтій была извѣстна современному ей образованному французскому міру. Свое изслѣдованіе авторъ раздѣлилъ на три части: въ первой — собраны свѣдѣнія о географическомъ положеніи Руси, во второй — о населеніи Руси, въ третьей — о богатствахъ Руси и ея торговлѣ.

Изъ разсыпанныхъ во французскихъ средневѣковыхъ романахъ и поэмахъ (chansons de geste) упоминаній о Руси, можно заключить, что у французовъ были довольно опредѣленныя представленія о географическомъ положеніи Руси, которую они знали, какъ страну, представляющую собою предѣлъ европейскихъ странъ на востокѣ (почему нерѣдки выраженія: «n'a tel vassal jusqu'en Roussie» или «la plus bele paiene qui soit jusc'a Russie»), страну, сосѣдющую съ Германіей, Польшей и Венгріей, омываемую Балтійскимъ и Чернымъ морями, благодаря которымъ она легко связывается съ Англіей и Скандинавіей на сѣверѣ и Византіей и Арменіей на югѣ; у авторовъ французскихъ романовъ было вѣрное представленіе о томъ, что можно воднымъ путемъ черезъ Россію проникнуть изъ Англіи въ Черное („Русское" по терминологіи французскихъ хроникеровъ) море. Обширность территоріи Руси создала ей у французскихъ поэтовъ наименованіе ея »Roussie la large«, »Roussie le grant«, а культурный расцвѣтъ ея въ XII—XIII в.в. давалъ представленіе о ея владѣтели (всегда въ единственномъ числѣ: «duc de Russie», «duc et sires de Ruissie», «l'orgoillous dux de Ruissie») какъ о способномъ поспорить о первенствѣ среди другихъ могущественныхъ рыцарей.

Авторъ указываетъ и на тѣ источники, которые давали пищу французамъ о географическомъ представленіи древней Руси. Это были: свидѣтельства путешественниковъ, какъ Веніамина Тудельскаго, рабби Петахія, Плано Карнини, Рубруквиста, различные изустные пересказы очевидцевъ, какъ, напр., свиты королевы Анны, дочери Ярослава Мудраго и жены Генриха I, хронисты — какъ Адамъ Бременскій и средневѣковыя географическія карты XII—XIII вв., на которыхъ, начиная съ самаго начала XII в., появляется имя «Russia».

Что касается обитателей Руси, то здѣсь мы находимъ менѣе исторической правды, а скорѣе отраженія литературныхъ традицій, м. б. византійскаго происхожденія. Chansons de geste знаютъ русскихъ лишь какъ язычниковъ, а Русь — какъ часть „сарацинской имперіи". Отчасти этому, м. б., способствовала и историческая дѣйствительность о тѣхъ русскихъ наемникахъ въ византійскихъ отрядахъ, которыми Византія вела войны въ Сициліи и южной Италіи.

О богатствѣ Руси говорятъ часто встрѣчающіяся въ средневѣковой французской литературѣ выраженія, какъ «or del millor qu'il ot en Russie» или «li lorain furent d'or dou meillor de Roussie». Какъ показатель русской торговли, chansons de geste нерѣдко упоминаютъ о русскомъ сандалѣ, шелкѣ, сукнѣ, мѣхахъ, лошадяхъ и, одинъ разъ, кольчугѣ («haubert fait en Rossie»).

Въ концѣ своего изслѣдованія г. Лозинскій разбираетъ начертанія самаго слова „Русь" во французской средневѣковой литературѣ. Встрѣчаются двѣ формы: одна съ *u*, другая съ *o*, *ou*, съ варіантами *ui*, *oi*. Форма Russie Ruissie — рѣдка; форма Rousie, Roussie, Rossie — гораздо распространеннѣе. Первая форма характерна для романовъ и произведеній дидактическаго характера, вторая — для chansons de geste. И такъ какъ латинскія хроники знаютъ лишь форму съ *u* (Russia и т. под.), то происхожденіе формы, принятой у французскихъ эпическихъ поэтовъ (Rossie и т. под.) надо искать въ византійскомъ Ros. Авторъ предполагаетъ, что знакомство съ русскими создателей французскихъ эпическихъ поэмъ шло гл. обр. черезъ воиновъ византійскихъ отрядовъ, м. б. дѣйствительно язычниковъ, откуда и такія представленія о русскихъ въ chansons de geste, тогда какъ авторы романовъ и произведеній дидактическаго характера черпали свою терминологію изъ латинской средневѣковой письменности. По вѣрности передаваемыхъ извѣстій о Руси эти романы содержатъ свѣдѣнія болѣе точныя по сравненію съ chansons de geste, представляющія Русь — языческой и частью апокрифической сарацинской имперіи. Когда надъ Русью разразился татарскій погромъ, французская современная поэзія тотчасъ же отмѣтила это событие и Philippe Mousket явился выразителемъ общаго ужаса и скорби за Россію. Въ своей «Chronique rimée» онъ подъ 1223 г. отмѣчаетъ несчастную для русскихъ калкскую битву, а подъ 1239 г. полное разореніе Руси татарами.

Имя Руси французская литература знаетъ вплоть до XIV в., послѣ чего оно пропадаетъ на цѣлыхъ три столѣтія, чтобы возродиться въ новомъ имени — Московіи.

Д. Р.

Elis Wadstein. Ett vittnesbörd om gammal Frisisk förbindelse med Ryssland (Нѣкоторыя указанія на древнѣйшія связи фризовъ съ Россіей). Festkrift til Hj. Falk (Сборникъ, посвященный Г. Фальку). Oslo, 1927, pp. 289—292.

Richthofen въ Friesische Rechtsquellen неоднократно упоминаетъ и приводитъ счетъ на skillinga cona; напр. »achta skillinga cona twilif skillinga cona«, и, далѣе: »thiu fulle merk is sextine skillinga cona«... »thiu leyn merk is twilif skillinga cona«; эту „кону" Рихсхофенъ приравниваетъ одному пфеннигу: »ein cona is dat veerde deel van eynn penninge«.

Вадстейнъ приводитъ попытки объясненія слова „кона" отъ »koenen«, »conio« и »cuño« и, отбрасывая ихъ, сопоставляетъ cona съ русскимъ „куна", и „skillinga cona" съ „гривной кунъ".

Переходъ изъ куна въ cona авторъ объясняетъ характеромъ восточно-фрисландской вокализаціи, которая требуетъ, передъ носовыми согласными (W. L. van Helten, »Altostfries. Grammatik«, s. 15), перехода *u* въ *o*.

Въ счетѣ на куны, сохранявшимся въ Рустрингенѣ до XVI столѣтія (см. также Seminarium Kondakovianum, III, 261), Вадстейнъ видитъ доказательство давно существовавшихъ торговыхъ связей между фризскими колоніями, Рустрингеномъ и Биркой — съ одной стороны, и Великимъ Новгородомъ — съ другой. Здѣсь авторъ ссылается на недавно вышедшія свои лекціи »Norden och Västeuropa i gammal tid« (стр. 11 и примѣчанія), а также на житіе св. Ансгарія.

Изслѣдованіе проф. Вадстейна чрезвычайно цѣнно и показываетъ, какой интересъ начинаетъ пробуждаться въ Скандинавіи къ Новгороду и его значенію въ міровой торговлѣ въ IX—XIII вѣкѣ. Чрезвычайно показательно, что новгородская счетная денежная единица „куна" и „мордки кунъ" утвердилась во Фризіи, и именно въ ея восточномъ Рустрингенскомъ углу. Такимъ образомъ, если съ одной стороны, еще съ VII—VIII вѣка фризы заносятъ въ Англію свои монеты, сшеатты, то съ другой, они заимствуютъ у Новгорода счетъ на куны; какъ намъ приходилось указывать въ другихъ работахъ, и сшеатты, въ свою очередь, отразились на новгородской монетѣ, и восемнадцатидольная новгородка болѣе всего напоминаетъ по формѣ, по характеру и по вѣсу англо-фризскій сшеаттъ.

Н. Т. Б.

Списокъ лицъ и учрежденій, приславшихъ книги и оттиски въ Семинарій за время 1929 г. — 15. V. 1931 г.

Liste des personnes et institutions qui ont envoyé des ouvrages au Séminaire, en 1929—1931.

Анастасіевић, Д. (Бѣлградъ).
Андреева, М. А. (Прага).
Башмаковъ, А. А. (Парижъ).
Бобринская, гр. В. Н. (Парижъ).
Бобринскій, гр. А. А. (Сіузи).
Бѣляевъ, Н. Т. (Лондонъ).
Вернадскій, Г. В. (Нью-Хэвенъ, САСШ).
Геруа, Б. В. (Лондонъ).
Грабаръ, А. Н. (Страсбургъ).
Грбић, М. (Бѣлградъ).
Грујић, Р. (Скопле).
Грюнейзенъ, В. Ѳ. (Парижъ).
Заволоко, И. Н. (Рига).
Лукъяновъ, Г. И. (Геліополь, Египетъ).
Малеш, Бр. (Бѣлградъ).
Мельниковъ, Е. И. (Прага).
Минцловъ, С. Р. (Рига).
Миятевъ, Кр. (Софія).
Нинковић, Л. (Бѣлградъ).
Острогорскій, Г. А. (Бреславль).
Петковић, Вл. (Бѣлградъ).
Погорѣловъ, В. А. (Братислава).
Прибыловскій, А. И. (Парижъ).
Протичъ, А. (Софія).
Пушкаревъ, С. Г. (Прага).
Расовскій, Д. А. (Прага).
Рерихъ, Н. К. (Нью-Іоркъ).
Рерихъ, Ю. Н. (Нью-Іоркъ).
Родзянко, Т. Н. (Прага).
Рутковскій, Н. П. (Парижъ).
Савицкій, П. Н. (Прага).
Саханевъ, В. В. (Прага).
Смирновъ, С. Н. (Бѣлградъ).
Сухраварди, Х. (Парижъ).
Толль, Н. П. (Прага).
Филовъ, Б. (Софія).
Францевъ, В. А. (Прага).
Четвертинская, кн. Е. К. (La Celle S[t] Cloud, Франція).
Шахматовъ, М. В. (Прага).
Шклаверъ, Г. Г. (Парижъ).
Шмурло, Е. Ф. (Прага).
Яворскій, Ю. А. (Прага).

Balş, G. (Бухарестъ).
Banescu, N. (Клюжъ, Румынія).
Čadík, J. (Прага).
Dvorník, Fr. (Прага).
Ebersolt, J. (Парижъ).
Fettich, N. (Будапештъ).
Grégoire, H. (Брюссель).
Jerphanion de G., R. P. (Римъ).
Kostrzewski, J. (Познань).
Millet, G. (Парижъ).
Minns, E. H. (Кэмбриджъ).
Moravcsik, Gy. (Будапештъ).
Niederle, L. (Прага).
Tallgren, A. M. (Гельсингфорсъ).
Tkadlecová, M. (Прага),
Werner, J. (Марбургъ).
Ziegler, A. (Прага).

Ορλανδος, Α. (Аѳины).
Σωτηριου, Г. (Аѳины).
Συγγοπουλου, А. (Аѳины).

Министерство Народнаго Просвѣщенія Чехо-Словацкой Республики.

Русскій Институтъ въ Прагѣ.

Русскій Научный Институтъ въ Бѣлградѣ.

Славянскій Институтъ въ Прагѣ.

Acta Archaeologia (Копенгагенъ).

Analecta Bollandiana (Брюссель).

Annales du Musée Guimet (Парижъ).

Archaeologiai Értesitő (Будапештъ).

Arta şi Archeologia (Бухарестъ).

Bergen Museums Årbok (Бергенъ).

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (Бухарестъ).

Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher (Аѳины).

Byzantinoslavica (Прага).

Byzantion (Брюссель).

Двайцятьпеть-ліття Національного Музею у Львові. Збірник (Львів) 1931.

Dolgozatok A. M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből (Сегедъ, Венгрія).

Echos d'Orient (Парижъ).

Ἐπετηρὶς ἑταιρείας Βυζαντινῶν σπουδῶν (Аѳины).

Eurasia Septentrionalis Antiqua (Гельсингфорсъ).

Гласник Српског Научног Друштва (Скопље).

Годишникъ на народната Библиотека въ Пловдивъ (Пловдивъ).

Irénikon (Prieuré d'Amay-sur-Meuse, Бельгія).

Известия на Българския Археологически Институтъ (Софія).

Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Institut, Roemische Abt. (Римъ).

Monuments de l'art byzantin (Парижъ).

Museion (Парижъ).

Научные Труды Русскаго Народнаго Университета въ Прагѣ (I—III, Прага, 1928—30).

Orientalia Christiana (Римъ).

Отчетъ на Археологическото Дружество „Августа Траяна" въ гр. Стара-Загора (Ст. Загора, Болгарія).

Památky Archeologické (Прага).

Przegląd Archeologiczny (Познань).

Revue des études slaves (Парижъ).

Ročenka Slovanského Ústavu (Прага).

Родная Старина (Рига).

Sammlungen des Ukrainischen Nationalmuseums in Lwow (Львовъ).

Сборникъ Русскаго Института въ Прагѣ (Прага).

Slavia (Прага).

Slavia Occidentalis (Познань).

Slavische Rundschau (Прага).

Slovanský Přehled (Прага).

Современныя Записки (Парижъ).

Studi Bizantini (Римъ).

Światowit (Варшава).

The Christian East (Лондонъ).

Труды IV-го съѣзда русскихъ академическихъ организацій за границей 2 ч. (Бѣлградъ, 1929).

Vyroční zpráva Západočeského Umělecko-Průmysl. Musea města Plzně (Пильзенъ).

Wiadomości Archeologiczne (Варшава).

Записки Русскаго Историческаго Общества въ Прагѣ (Прага Чешская).

Записки Русскаго Научнаго Института въ Бѣлградѣ (Бѣлградъ).

Всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ, приславшимъ свои изданія, Семинарій приноситъ глубокую благодарность.

ОГЛАВЛЕНIЕ—TABLE DES MATIÈRES

Personalia:

Хроника. Chronique.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ

Страница:	Строка[1]:	Напечатано:	Слѣдуетъ:
7	14 св.	элленистическій	эллинистическій
11	14 св.	хозяственности	хозяйственности
24	5 св.	художествнныя	художественныя
24	23 св.	предметамъ)	предметамъ),
26	8 св.	соединія	соединенія
27	17 св.	филисофское	философское
31	8 сн.	кожанныхъ	кожаныхъ
50	4 св.	эти самыя	эти самые
51	2 сн.	Κωνσταντῖνος	Κωνσταντῖνος
55	4 сн.	преобразованномъ	преобразованнымъ
55	2 сн.	коммисарамъ	коммисаромъ
56	10 сн.	N. Bănesku	N. Bănescu
57	19 сн.	въ данномъ моментѣ	въ данный моментъ
60	14 св.	діоцезу	діецезу
66	22 св.	діоцезу	діецезу
75	4 сн.	Λαργραφία	Λαογραφία
79	17 св.	Манассія	Манассіи
87	6 св.	было-ли	было ли
90	7 св.	Отъ него	Изъ него
180	9 сн.	въ до	въ до-
186	7 сн.	соотвѣтствущія	соотвѣтствующія
199	5 св.	31 янвяря	31 января
275	24—25 св.	наслѣдутва	наслѣдства
275	26 св.	счрежденіяхъ	учрежденіяхъ
283	13 св.	нумизматичес аго	нумизматическаго
285	12 св.	поддержки тъ	поддержки отъ
288	4 св.	зслѣдованіямъ	изслѣдованіямъ
305	9 сн.	столѣтій,	столѣтій",
315	6 св.	W. Z. Westermann	W. L. Westermann
316	6 св.	М. Т. Бѣляевымъ	Н. Т. Бѣляевымъ

[1]) При счетѣ снизу принимаются во вниманіе и строки примѣчаній.

PUBLICATION
DU
SEMINARIUM KONDAKOVIANUM
LORETÁNSKÉ NÁM. 109, PRAGUE IV.

N. P. KONDAKOV

L'ICONE RUSSE

ÉDITION COMPLÈTE. (Deux albums de planches et deux volumes de texte) . Prix $ 100.—

I. PREMIER ALBUM (65 pl. en couleurs) grand in-folio (32 × 42), Prague, 1928 . Prix $ 50.—
Description des planches en français, anglais, allemand, tchèque et russe. Ne se vend qu'en complet

II. SECOND ALBUM (136 planches en phototypie), petit in-folio (24 × 32), Prague, 1929 Prix $ 30.—
Description des planches en français, anglais, allemand, tchèque et russe.

III. TEXTE, TOME I[r] (200 p. p., XVI pl. en phototypie et 1 en couleurs), petit in-folio (24 × 32) Prague, 1931 . . Prix $ 10.—
En russe, avec résumés français.

IV. TEXTE, TOME II[e] . sous presse.

L'œuvre du professeur N. P. KONDAKOV (1844—1925) est trop universellement connu pour qu'on soit obligé d'insister sur sa portée scientifique. Jamais son autorité ne fût contestée dans la connaissance approfondie de l'art de la peinture religieuse sur bois. N. P. Kondakov consacra 30 années de sa laborieuse vie à l'étude de l'Icone russe. Sans parler des musées, la plupart des collections privées furent visitées et soigneusement étudiées par l'éminent savant. Les recherches de N. P. Kondakov donnèrent naissance à une œuvre inestimable quant à sa valeur scientifique et artistique. Malheureusement le Maître n'a pas pu voir son travail édité. Le «Seminarium Kondakovianum» à Prague a entrepris l'édition complète de son œuvre. Cette édition comprendra 4 parties: deux collections de reproductions artistiques des icones et deux volumes de texte richement illustrés. Le plan en est conçu de façon à pouvoir servir aux études d'un savant et contenter les goûts d'un amateur d'art. Artistiquement édité, l'ouvrage intéressera sûrement les bibliophiles.

ZΩΓΡΑΦΙΚΑ

Série d'études sur la peinture religieuse sur bois en particulier sur les icones orthodoxes de l'Orient. Le texte est publié en deux langues. (Fascicules grand in 4°, $27 \times 34^1/_2$ *cm*).

Выпускъ I. А. И. АНИСИМОВЪ. Владимірская Икона Божіей Матери (русское изданіе). Прага, 1928. 48 стр., 6 таблицъ черныхъ и 2 въ краскахъ Цѣна $ 5.—

Fascicule I[r]. OUR LADY OF VLADIMIR. By prof. A. J. ANISIMOV. English edition. Translated by Princess N. G. JASCHWILL and T. N. RODZIANKO. Prague, 1928. 40 Pp., 6 plates and 2 plates in colour. 300 numbered copies . Prix $ 8·—

Выпускъ II. Н. М. БѢЛЯЕВЪ. Икона Божіей Матери Умиленія изъ собранія Солдатенковыхъ. Русское изданіе. (Готовится къ печати.)

Fascicule II[e]. ICON OF OUR LADY «UMILENIE» IN THE SOLDATENKOV COLLECTION. By N. M. BÊLAEV. English edition. (In preparation.)

Выпускъ III. А. Н. ГРАБАРЪ. Нерукотворенный Образъ Ланскаго собора. Русское изданіе. Прага 1930. 40 стр., 6 таблицъ черныхъ, 2 въ краскахъ и 4 рисунка въ текстѣ Цѣна $ 6·—

Fascicule III[e]. A. N. GRABAR La Sainte Face de Laon. Recherches sur l'iconographie de la Sainte Face dans l'art orthodoxe. (Edition française) Prague, 1931 . Prix $ 8·—

Выпускъ IV. Н. Л. ОКУНЕВЪ. Христосъ во гробѣ. Русское изданіе. (Готовится къ печати.)

Fascicule IV. N. L. OKUNEV. Le Christ de pitié. Études iconographiques. Edition française (en préparation.)

ΣΚΥΘΙΚΑ

Série consacrée à la civilisation (archéologie, histoire, ethnographie) du monde, que les écrivains classiques et byzantins nommaient «Skythia», comprenant dans ce terme tous les peuples nomades, habitant l'espace de la plaine Pannonienne jusqu'à l'Océan Pacifique.

Выпускъ I. М. И. РОСТОВЦЕВЪ. Срединная Азія, Россія, Китай и звѣриный стиль. (Текстъ русскій и французскій). Прага, 1929. (48 стр., 11 таблицъ, 4°, 22 × 29 *cm*) . . Цѣна $ 3·—

Fascicule Ir. M. I. ROSTOVTZEFF. Le centre de l'Asie, la Russie, la Chine et le style animal (texte français et russe). Prague, 1929. (48 pages, 11 planches; 4°, 22 × 29 *cm*) . Prix $ 3·—

Fascicule IIe. N. FETTICH. Bronzeguss und Nomadenkunst auf Grund der ungarländischen Denkmäler; mit einem Anhang von L. BARTUCZ, Über die antropologischen Ergebnisse der Ausgrabungen von Mosonszentjános, Ungarn. Prag, 1929. (S. 96, mit 17 Tafeln, 16 Textabbildungen) . Prix $ 6.—

Выпускъ III. Ю. Н. РЕРИХЪ. Звѣриный стиль у кочевниковъ сѣвернаго Тибета. (Текстъ русскій и англійскій). Прага, 1930. (48 стр., 5 таблицъ и 10 рис. въ текстѣ) . . Цѣна $ 3.—

Fascicule IIIe. J. N. ROERICH. The animal style among the nomad tribes at Northern Tibet. (Text english and russian). Prague, 1930. (48 Pp., 5 plates and 10 designs in the text) . Prix $ 3·—

Fascicule IVe. GY. RHÉ und N. FETTICH. Jutas und Öskü, Zwei Gräberfelder aus der Völkerwanderungszeit in Ungarn mit einem antropologischen Anhang von L. BARTUCZ. Prag, 1931. (S. 92, mit 20 Tafeln und 30 Textabbildungen) . . . . Prix $ 6·—

RECUEIL-KONDAKOV. (Recueil d'études dédiées à la mémoire de N. P. Kondakov.) Prague 1926. (4°, 31 × 23 *cm*, XLIV + 300 pages, 115 figures dans le texte, 30 planches hors texte, dont une en couleurs.) . . . . Prix $ 12·—

Contient les articles de: Andréeva (M. A.), Bănescu (N.), Bêlaev (N. M.), Belaiew (N. T.), Cibulka (J.), Dalton (O. M.), Fettich (F.), Francev (V. A.), Hopfner (Th.), Jorga (N.), Kalitinsky (A. P.), Millet (G.), Muñoz (A.), Niederle (L.), Ostrogorsky (G. A.), Protitch (A.), Puig I. Cadafalch (J.), Rostovcev (M. I.), Sotériou (G.), Toll (N. P.), Vernadsky (G. V.), Whittemore (Th.), Zlatarsky (V.), Žebelev (S. A.).

SEMINARIUM KONDAKOVIANUM. I. Recueil d'études. Archéologie. Histoire de l'art. Études byzantines. Prague 1927. (8°, 20 × 28 *cm*, 341 p., 18 fig. dans le texte, 26 pl. hors texte.) . . Prix $ 6·—

Contient les articles de: Aïnalov (D. V.), Andréeva (M. A.), M-is de Baye, Beneševič (V. N.), Bêlaev (N. M.), Belaiew (N. T.), Florovsky (A. V.), Gebelev (S. A.), Izmaïlova (N. V.), Kalitinsky (A. P.), Kondakov (N. P.), Kube (A. N.), Malicky (N. V.), Markevič (A. I.), Maculevič (A. I.), Maximova (M. I.), Okunev (N. L.), Orešnikov (A. V.), Ostrogorsky (G. A.), Rassovsky (D. A.), Rostovcev (M. I.), Smirnov (A. P.), Toll (N. P.), Uspensky (Th. I.), Vernadsky (G. V.).

SEMINARIUM KONDAKOVIANUM. II. Recueil d'études dédiées à la mémoire de J. J. Smirnov. Archéologie. Histoire de l'art. Études byzantines. Prague 1928. (8°, 382 pp., 44 fig. dans le texte, 43 pl. hors texte, dont deux en couleurs.) . . . . Prix $ 8·—

Contient les articles de: Aïnalov (D. V.), Andréeva (M. A.), Bartold (V. V.), Belaiew (N. T.), Fettich (N.), Gebelev (S. A.), Grabar (A. N.), Hozerov (I. M.), Inostrancev (M. A.), Kalitinsky (A. P.), Kosteckaïa (E. O., Kračkovsky (J. J.), Kube (A. N.), Malicky (N. V.), Maculevič (L. A.), Nocq (H.), Orešnikov (A. V.), Ostrogorsky (G. A.), Perdrizet (P.), Romanov (K. K.), Rostovcev (M. I.), Sahanev (V. V.), Spicyn (A. A.), Strzygowski (J.), Syčev (N. P.), Troinicky (S. N.), Tschubinaschwili (G.).

SEMINARIUM KONDAKOVIANUM III. Recueil d'études dédiées à la mémoire de J. J. Smirnov (suite). Archéologie. Histoire de l'art. Études byzantines. Prague 1929. (8°, 330 pp., 47 fig. dans le texte, 30 pl. hors texte.) . . . . Prix $ 8·—

Contient les articles de: Anastasievič (D.) Andreev (N. E.), Bêlaev (N. M.), Belaiew (N. T.), Lossky (V. N.), Martinovitch (N. N.), Niederle (L.), Okunev (N. L.), Rassovsky (D. A.), Rengarten (A. I), Rutkovsky (N. P.), Toll (N. P.), Vernadsky (G. V.), Wulff (O.).

SEMINARIUM KONDAKOVIANUM. IV. Recueil d'études. Archéologie. Histoire de l'art. Études byzantines. Prague 1931. Prix $ 8·—)

Contient les articles de: Baumgarten (N. A.), Bêlaev (N. M.), Belaiew (N. T.), Bellinger (A. R.), Blochet (E.), Grabar (A. N.), Diehl (Ch.), Hopfner (Th.), Kondakov (N. P.), Masaryk (A.), Moravcsik (G.), Mošin (V. A.), Mutafčiev (P.), Ostrogorsky (G. A.), Pokrovsky (S. I.), Przeworski (St.), Savicky (P. N.), Schweinfurth (Ph.), Tallgren (A. M.), Toll (N. P.), Vernadsky (G. V.), Westermann (W. L.), Zielinsky (Th. F.), Zlatarsky (V. N.).

SEMINARIUM KONDAKOVIANUM. V. Recueil d'études. Archéologie. Histoire de l'art. Études byzantines . (sous presse).

MÉMOIRES de N. P. KONDAKOV (en russe; Н. П. КОНДАКОВЪ. Воспоминанія и Думы). Prague 1927. (in 8°, 20 × 28 *cm*, 79 pages, 1 planche hors texte) . . . . . . Prix $ 1·—

N. P. TOLL. Tissus coptes. Collection du Musée des Arts et Métiers de Prague. (En russe; Н. П. ТОЛЛЬ. Коптскія ткани Художественно-Промышленнаго Музея въ Прагѣ), Prague 1928. (in 4°, 22 × 29 *cm*, 44 pages, 11 planches, dont une en couleurs) . . Prix $ 3·—

Psse M. C. TENICHEVA. Émaux et Incrustations (œuvre posthume, en russe; кн. М. К. ТЕНИШЕВА, Эмаль и инкрустація). Prague 1930. (in 8°, 20 × 27 *cm*, 116 pages, 40 planches) . Prix $ 8·—

THE BYZANTINE ENAMELS ON THE ZÁVIŠ CROSS AT VYŠŠÍ BROD. English edition. 50 numbered copies. Prague 1930. (in 8°, 20 × 25 *cm*, 40 pp. 10 plates in colours & 2 in phototype) . Prix $ 15·—

BYZANTSKÉ EMAILY ZÁVIŠOVA KŘÍŽE VE VYŠŠÍM BRODĚ (ÉMAUX BYZANTINES DE LA CROIX DITE DE ZÁVIŠ AU COUVENT DE VYŠŠÍ BROD; édition tchèque), 100 exemplaires numérotés. Praha 1930. (in 8°, 20 × 25 *cm*, 40 pp. 10 planches en couleurs, 2 phototypies) . . . . Prix $ 15·—